


лидия чуковская

записки об анне ахматовой

II



ЛИДИЯ ЧУКОВСКАЯ

ЗАПИСКИ
ОБ
АННЕ АХМАТОВОЙ

Том 2

1952 — 1962

YMCA-PRESS
11, rue de la Montagne Ste Geneviève - 75005 Paris

НЕМНОГО ИСТОРИИ

14 августа 1946 года особым постановлением ЦК ВКП(б) решено было журнал «Ленинград» уничтожить, а в журнале «Звезда» — сменить редакторов.

Вина двух журналов сформулирована была так: они «предоставляли свои страницы для пошлых и клеветнических выступлений Зощенко, для пустых и аполитичных стихотворений Ахматовой»; руководящие работники из соображений приятельства «допустили протаскивание в журналы чуждой советской литературе безыдейности и аполитичности», и, еще того хуже, «культивировали несвойственный советским людям дух низкопоклонства перед современной буржуазной культурой Запада».

Руководящие работники редакций допустили, а руководящие работники Союза Писателей и Горкома партии проглядели это протаскивание безыдейности и это культивирование культуры.

Ошибка журналов в том, что они напечатали ряд ошибочных произведений.

Ими оказалось забытым одно из важнейших положений ленинизма: ленинизм учит нас, что нельзя воспитывать молодежь в духе наплевизма.

Ленинизм и наплевизм несовместимы.

Кроме Ахматовой и Зощенко в постановлении 14 августа названы были еще несколько литераторов, драматургов, сценаристов, чуждых народу и безыдейных. Но самыми чуждыми, самыми несвойственными, самыми аполитичными, самыми безыдейными, вредными и отравляющими оказались всё-таки

Ахматова и Зощенко. Дух их творчества наносит вред духу воспитания молодежи в духе бодрости и оптимизма.

Автор — или авторы? — постановления создали два литературные портрета, изобразили, если употребить их собственный термин, две «физиономии» двух, с позволения сказать, литераторов.

«Физиономия» Зощенко: он «специализировался на проповеди гнилой безыдейности, пошлости и аполитичности, рассчитанных на то, чтобы дезориентировать нашу молодежь и отравить её сознание». Зощенко — пошлый пасквилянт и проповедник наплевизма.

«Физиономия» Ахматовой: «Ахматова является представительницей чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии». Поэзия Ахматовой застыла «на позициях буржуазно-аристократического эстетства и декадентства — «искусства для искусства», не желающего идти в ногу со своим народом».

Казалось бы, какая связь, какое сходство между лирической — и высокой! — поэзией Анны Ахматовой и отнюдь не лирической, по колено окунающей нас в житейскую прозу, — прозой Михаила Зощенко?

Казалось бы, можно разыскивать — и находить! — связи поэзии Ахматовой с поэзией Пушкина и Тютчева, Анненского, Мандельштама, Кузмина или Блока; искать связи Зощенко с Гоголем — и, быть может, с Козьмой Прутковым и Олейниковым. Но какая связь между Ахматовой и Зощенко? Для авторов постановления трудностей нет: оба, Ахматова и Зощенко, писатели «несоветские». В этом н е и заключена связь между ними. Оба они наносят вред народу и государству, оба отравляют сознание молодежи, а потому оба н е могут быть терпимы в нашей литературе.

Авторы постановления к искусству касательства не имеют, они мыслят не литературными, не философскими, не моральными, не общественными и даже не политическими категориями. Они — администраторы, привыкшие к мерам административным. Увольняют ведь из торговой сети завмагов, уличенных в воровстве? Отчего же не уволить из литературы писателей, уличенных в несоветскости? Уволить их! Снять!

Оканчивалось постановление 14 августа, как и полагается всякому постановлению — идет ли в нем речь об урожае, черной металлургии, железнодорожном транспорте или литературе — оргвыводами. Без оргвыводов — какое же постановление? «Ввиду вышеизложенного» и «в целях наведения надлежащего порядка» один журнал «прекратить», а в другом «иметь главного редактора и при нем редколлегию».

«Утвердить главным редактором журнала «Звезда» т. Еголина А. М., сохранив за ним должность заместителя начальника Управления пропаганды ЦК ВКП(б)».

Судя по слогу, автором постановления (разумеется, опирающимся на референтов) был Генералиссимус — сам. На странице — толчея одних и тех же, одних и тех же, одних и тех же слов. «Безыдейные», «аполитичные», «отравляющие»; «пустая», «чуждая», «дезориентирующая»; и опять «аполитичная», и опять «чуждая», и опять «безыдейная», и опять «пустая» — это уж и не слова, а пустые скорлупки от давно выеденных слов.

Из каждого абзаца торчат августейшие усы... А вот довести новый документ до сведения широкой общественности, разъяснить, растолковать его поручено было Жданову. (Среди членов Политбюро он слыл интеллигентом.) Выступал Жданов дважды: один раз на собрании актива ленинградской партийной организации, вторично на собрании писателей. Сугубо канцелярский слог нового исторического документа Жданов оживил площадной бранью. Иное бранное словцо оказалось столь непечатным, что в печать не попало. Но и та словесность, которую пресса аккуратно воспроизвела, отличается большой выразительностью.

О Зощенко, например, докладчик сообщил собравшимся, что этот пасквилянт, хулиган и подонок был «публично выпорот» журналом «Большевик». Ахматова в докладе названа «взбесившейся барынькой», «полу-монахиней, полу-блудницей»; блуд у неё сочетается с молитвой и она «мечется между будуаром и моленной». Поэзию Ахматовой Жданов попросту, по-нашему, по-рабочему, с большевистской прямотой определил так: «хлам».

Блуднице и хулигану в нашей литературе не место. Мы не нуждаемся в хламе.

Однако, сколь ни непристойной была ждановская брань — не она, думаю я, произвела наиболее устрашающее впечатление на современников.

Шел август 46-го года. Показательные процессы тридцатых годов, палаческая терминология, разрабатывавшаяся десятилетиями, была на памяти у всех, у всех на слуху. Такие словосочетания, как «сползать на позиции», «дворянско-буржуазные течения», «социальные корни» морозом пробегали по коже. (Не ленинградским и не московским морозом — колымским.) От несоветских до антисоветских, от чуждых и несвойственных до вражеских; от низкопоклонства перед Западом до службы в одной из иностранных разведок — короче говоря, от «поставщиков дезориентации» до «врагов народа» — рукой подать. Кавычки, в которых произносились — и печатались! — слова «творчество», «деятельность», «произведение», «авторитет» рябили в глазах, как решетки тюремных окон; стереотипное «с позволения сказать, творчество» звучало как «десять лет дальних лагерей без права переписки»; а слово «группа» уж просто как выстрел в затылок. Прочитав доклад Жданова на страницах газеты или журнала, люди спрашивали друг друга шопотом: «А что, Зощенко и Ахматова еще на свободе?»

И понимали: война окончилась, окончилась победой, а перемен — нет...

Обстановка вокруг доклада создана была и впрямь времен большого террора. Вспоминались регулярные наезды из Москвы в Ленинград Военной коллегии Верховного суда (расстрел или в лучшем случае 25 лет лишения свободы), вспоминались дни после убийства Кирова. У всех приглашенных в Смольный троекратно проверяли пропуска. Слушая доклад, одна молодая писательница почувствовала дурноту, но когда она кинулась к боковым дверям, поскорее на воздух — солдаты скрестили перед нею ружья. Можно было подумать, что в Смольном обсуждают не работу двух — довольно-таки заурядных, и уж во всяком случае безобидных журналов — а способы расправы с новым восстанием кронштадтских моряков. По меньшей мере.

Под ногами каждого литератора разверзлась ненасытная бездна безыдейности.

Хозяйство у нас плановое. Чуть не в каждой республике была обнаружена своя маленькая блудница и свой маленький пасквилянт. И, как в 1937-38 г.г. каждое промышленное предприятие и каждое советское учреждение, будь-то́ завод, фабрика, аптека или почтамт, обязаны были найти среди своих сотрудников и поставить на убой хоть одного вредителя, шпиона или диверсанта, творившего своё грязное дело под носом партийной организации (утратившей, разумеется, должную бдительность) — так в 1946-47 г.г. каждая литературная организация (будь-то́ отделение Союза Писателей, редакция издательства или журнала) обязана была обнаружить среди своих сотрудников, выявить и разоблачить двух-трех чуждых советскому народу литераторов. Если не преклонение перед растленной культурой буржуазного Запада — то аполитичность; если не аполитичность, можно найти ноты безнадежности, несвойственные нашей вечно бодрой молодежи; если и того нет, можно, на худой конец, выявить недостаток художественности — благо точных измерителей этой пресловутой художественности не существует в природе. («Маловысокохудожественно» написал некогда Зощенко.) Теперь в своей борьбе за «многовысокохудожественность» можно было опираться на постановление ЦК.

Обслуживающий персонал приступил к делу.

М. Шагинян сообщила, что литературовед Г. Гуковский в своей работе о русском баснописце Крылове проявил низкопоклонство перед Западом. С. Крушинский сообщил, что детский писатель К. Чуковский протаскивает на страницы журнала «Мурзилка» безыдейную сказку «Бибигон». Театральные критики пошли один за другим сообщать, что, например, театр им. Ленинского комсомола с подозрительной медленностью репетирует советские пьесы на современную тему, а, например, театр Комедии и его руководитель Н. П. Акимов явно имеют пристрастие к западному репертуару. А уж поэты! Новый генеральный секретарь Союза Писателей А. А. Фадеев разоблачил Пастернака в крайнем субъективизме, отталкивающем от него наш народ, а других поэтов в том, что они, из соображений приятельства, поддерживают Пастернака. Все профессора гуманитарных отделений Ленинградского университета — историки, филологи и востокове-

ды — были скопом уличены в низкопоклонстве перед гнилой буржуазной культурой Запада. Некто В. Молова разоблачила поставленную студией Ленфильм народную сказку «Золушка», уличив её в псевдонародности.

«Золушка» — псевдонародный фильм» — так и написала Молова 12 сентября 1946 года в «Ленинградской правде». «Кто в ней действующие лица? Неизвестно! Никто не поймет этой сказки. Народного в ней нет ничего!»

В. Катаев заявил, что постановление наполнило нашу жизнь новым воздухом.

Вдыхая свежий воздух ждановского доклада, услужающие литераторы подрядились обнаружить самые корни безыдейности, аполитизма и низкопоклонства. Анна Караваева срочно занялась разоблачением «Серапионовых братьев» — прозаиков, назвавшихся братьями в двадцатые годы, то есть четверть века назад. Под пером Анны Караваевой «Серапионовы братья» — сущие братья-разбойники. Недаром именно из их шайки вышел на большую дорогу Зощенко.

«С возмущением и презрением читаешь сейчас цитаты из декларации «Серапионовых братьев» — прокурорствовала Караваева 28 сентября 1946 года. — Это была воинствующая «школа» равнодушия и безыдейности, внутренняя эмигрантщина, стремившаяся столкнуть советскую литературу с её генерального пути». Досталось от Караваевой и немецкому писателю Эрнсту Теодору Амадею Гофману, из чьих сочинений преступная «группа» (в кавычках) или «школа» (в кавычках), низкопоклонничая перед гнилым Западом, заимствовала своё наименование... Что такое произведения этого Теодора Амадея? Это — писала Караваева — «пустыня визионерства, реакционной аристократической фантастики и мистицизма».

Из шести слов в этом определении — четыре иностранные. И что значит: пустыня визионерства?

Каравай — русское слово. Караваева — сугубо русская фамилия. А вот мистицизм, реакционность, фантастика — эти слова пришли в наш язык оттуда же, откуда и наименование «Серапионы» — с того же проклятущего Запада. Уж если берешься поносить без разбора всё западное, то к чему тебе, казалось бы, «визионерство», «реакция», «мистицизм»?

Не примечательно ли: ярые гонители низкопоклонства перед гниющим Западом словечка неспособны сказать на родном языке? Живого русского языка они не знают, не чувствуют; вводить в него иностранные слова в соответствии со складом и ладом русского (как умеет это делать только народ и поэт) — они не умеют; по-русски они умеют только ругаться. Перечитайте их циркуляры, постановления, доклады, рецензии — слов без приставки *а* или *анти*, без окончания *изм* или *ист* для них просто нет. Попалось им на язык русское слово «наплевать» — они сотворили из него «наплевизм».

«Наплевизм Зощенко». «Наплевист Зощенко».

Персонажи «Сентиментальных повестей» и «Уважаемых граждан», все, кого прозорливый сатирик и наивный проповедник добра Зощенко надеялся усовестить своею сатирою и своею проповедью — мещане-хищники, мещане-карьеристы, мещане-злодеи, надышавшись «новым воздухом постановления» сошли со страниц зощенковских книг и кинулись на своего разоблачителя. «Крой его, робя! Хватай! Здеся! Сюды, братцы, сюды загоняй! Бери его, братцы!»

С Ахматовой расправиться было сложнее. Трудность состояла в том, что в годы войны её имели неосторожность признать патриоткой. Раньше была она раз и навсегда камерная-камерная, буржуазная-буржуазная, писала только о своих мизерных любовных переживаньицах, но Великая Отечественная война (именно Великая Отечественная — первая мировая не в счёт) внезапно пробудила в ней патриотку. Такие стихотворения Ахматовой, как «Славно начато славное дело», «Nox», «Победа у наших стоит дверей» разрешалось даже похваливать и не за что-нибудь, а за патриотизм; «Мужество» напечатано было 8 марта 1942 года не где-нибудь, а в Ц. О. «Правде».

Но вот в 46-м году велено доказать, что Ахматова всегда, во все времена, и даже во время Великой Отечественной войны была равнодушна к судьбам народа и России. А так как Муза Ахматовой всегда была Музой истории, а так как любимицей её Музы всегда была родная земля («Чтобы туча над темной Россией / Стала облаком в славе лучей» — постоянная молитва поэта) — тут голой брани оказалось недостаточно, тут в ход пошло мелкое мошенничество: критики

передергивали строки и даты, как шулера — карты. Так, 14 сентября 46 г., Тамара Трифонова в «Ленинградской правде», в статье, озаглавленной «Поэзия, вредная и чуждая народу», под довоенным стихотворением 1941 года смело поставила «1942», и вышло, будто Ахматова во время ленинградской блокады совершала прогулки по городу, любуясь отражением золотых шпилей в водах каналов и рек.

О, есть ли что на свете мне знакомей,
Чем шпилей блеск и отблеск этих вод!

Кругом рвутся бомбы, пылают дома, гибнут люди, а она... она любуется блеском и отблеском шпилей. Это ли не равнодушие к судьбам своих сограждан? «Мужество» Тамара Трифонова трактовала тоже как антинародное стихотворение. В этом случае Ахматовой вменялось в вину, что в России, будто бы, дорог ей только язык, а до родного народа и родной земли ей и дела нет.

Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова, —
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово! —

клялась Ахматова в 1942 году, когда немцами захвачено было пол-страны. В 1946-м Тамара Трифонова так комментировала эти строки: «судьбы народа и России никогда не волновали Ахматову. Даже в стихотворении «Мужество» Ахматова остаётся аполитичной и говорит л и ш ь (разрядка моя, — Л. Ч.) о сохранении «великого русского слова».

Но вот Ахматова в своих стихах военного времени, в феврале 1945-го года, заговорила уже не о такой пустяковине, как русский язык, который дóлжно спасти из немецкого плена, а непосредственно об освобожденной из немецкого плена русской земле.

Чистый ветер ели колышет,
Чистый снег заметает поля.
Больше вражьего шага не слышит,
Отдыхает моя земля.

Как в этом случае извернется Трифонова? Нашлась. Передернула. Из четырех строк процитировала только четыре слова и обнаружила в этих четырех словах чуждость народу: Ахматова радуется, видите ли, всего лишь чистому ветру и чистому снегу, «ни словом не обмолвившись о народе».

Если язык — не народ, и земля — не народ, то где же тогда, по Трифоновой, народ? Может быть, в воинах, отстоявших родной язык и родную землю?

Сзади Нарвские были ворота,
Впереди была только смерть...
Так советская шла пехота
Прямо в желтые жерла «берт».

Тут уже прямая хвала русским воинам. Тут впервые (и, кажется, единственный раз) гордо звучит в поэзии Ахматовой слово «советский»:

Так советская шла пехота
Прямо в желтые жерла «берт ».

Подвиг защитников Ленинграда бессмертен: они погибли, но смертью своей победили врага. Стихотворение так и названо — «Победителям».

Вот о вас и напишут книжки:
«Жизнь свою за други своя»,
Незатейливые парнишки, —
Ваньки, Васьки, Алёшки, Гришки, —
Внуки, братики, сыновья!

Стихотворение напечатано было в газете «Красноармеец» в мае 1946-го года. Через месяц после постановления с первыми четырьмя строками расправился в журнале «Звезда», в статье под названием «Об антинародной поэзии А. Ахматовой» критик И. Сергиевский. Он объяснил читателю, что Ахматова приписывает советским бойцам вовсе несвойственные им настроения смертников. «Впереди была только смерть». Это поклеп на наших воинов. По Сергиевскому, на-

ша пехота, отстаивая Ленинград, шла не на смерть, а... ну, не знаю куда. Может быть на первомайский парад?

Со второй строфой — материнской, сестринской — словно Ахматова благоговейно склонилась над каждым юношей, каждому взглянула в мертвое лицо, каждого благословила — со второй строфой расправился не Сергиевский, а секретарь Союза Писателей, Александр Александрович Фадеев. В одном из своих выступлений он заявил, что в этих стихах — барское, чуть не крепостническое отношение к народу:

Ваньки, Васьки, Алёшки, Гришки...

Так барыня кличет дворовых...

И это говорилось о строках, в которых единое слово «братики» роднило Анну Ахматову с идущим в смертный бой народом, одно это слово горше и утешительнее пронзало сердца, чем все риторические фигуры всех, славословящих народ, виршеплётов.

...Ахматова и Зощенко до конца дней своих пытались разгадать причину постигшей их катастрофы. Предположений они, да и друзья, и враги их, высказывали множество. Зощенко полагал, что Сталин в одном из персонажей одного из его рассказов заподозрил, в качестве прототипа, — себя. Ахматова полагала, что Сталину пришлась не по душе её дружба с оксфордским профессором, посетившим в 1945-м году Ленинград. Полагала она также, что Сталин приревновал её к овациям: в апреле 1946-го года Ахматова читала свои стихи в Колонном зале, в Москве, и публика аплодировала стоя. Аплодисменты стоя причитались, по убеждению Сталина, ему одному — и вдруг толпа устроила овацию какой-то поэтессе.

Правильны ли эти предположения? Быть может и да. Я не берусь ни подтвердить их, ни опровергнуть. Но вот в чем я убеждена безусловно: подозрения Сталина насчёт прототипа в зощенковском рассказе и его неудовольствие по поводу дружбы Ахматовой с иностранным гостем и оваций, устроенных ей, могли явиться всего лишь поводом, но не причиной. Цель ясна: снова, опять и опять, привести интеллигенцию в оцепенение. Цель ясна, поводов — сколько угодно, а в чём причина?

И причина ясна.

Сталин и Жданов искренне, быть может, воображали, что чужда им поэзия Анны Ахматовой. «Декадентщина, привязанность к прошлому, религиозность, пессимизм» и т. д. Они заблуждались. Людям постановлений и циркуляров ненавистна поэзия вообще, любая поэзия, Муза Смеха или Муза Плача, всё равно. Слушайте их убогий язык! Слушайте слово поэта! Люди, чей умственный — и словесный — запас сводится к трём понятиям: выправить линию, прекратить, обеспечить — для таких людей естественно непереносима и враждебна поэзия: она слишком богата смыслами и чувствами, оттенками смыслов и чувств, слишком глубока и многозначна, чтобы в политиках, чувствующих и думающих плоско, однолинейно, не вызывать раздражения и подозрительности. Язык поэзии глубоко уходит в то, что «всякой косности косней»: в неистребляемую память личности и народа; к тому же он имеет власть над сердцами — соперничающую власть! — как же владычествующей бюрократии не бояться поэзии?

...Слушайте это волшебное слово «иволга», эти долгие *и*, *ол*, *ло*, пронизывающие всё четверостишие, глубиною звука дающие глубину смыслу, преображающие печаль в радость, предрекающие рай. Это не звукоподражание, а душепреображение. Слушайте пенье птиц и свист серпов, расслышанный поэтом и перенесённый им на страницу книги — из своего слуха и своей памяти в душу и память читателя:

Я слышу иво*л*ги всегда печальный г*олос*
И лета пышного приветствую ущерб,
А к к*оло*су прижатый тесно к*олос*
С зме*и*ным свис*т*ом *ср*езывает серп.

На каком языке это произнесено? На русском? Нет, на райском, извлеченном из русского.

Но приходи взглянуть на рай, где вместе
Блаженны и невинны были мы.

«... иметь главного редактора и при нём редколлегию. Утвердить главным редактором журнала «Звезда» т. Еголина А. М., сохранив за ним должность заместителя начальника пропаганды ЦК ВКП(б)».

Имейте! Имейте с сохранением! В виду всего вышеизложенного выпрямляйте в целях обеспечения... Имейте!

Куда там иволге состязаться с отделом пропаганды ЦК.

2.

Зощенко не арестовали. Анну Ахматову не арестовали и не расстреляли («Реквием» и стихи, подобные ему, до властей не дошли). Обоим был вынесен другой, менее жестокий, но достаточно тяжелый, приговор. Года полтора со страниц газет и журналов не сходили цитаты из доклада Жданова, обогащенные новыми доказательствами, что Ахматова — народу чужда, а Зощенко — тот прямо-таки ненавидит народ. Не только заведующий каждой редакцией, но и каждый издательский курьер, обязаны были усвоить, намотать себе на ус, зарубить у себя на носу, что Ахматова полумонахиня-полублудница, а Зощенко — полный наплевист. Не только каждый редактор, но также и каждый студент гуманитарного ВУЗ'а и каждый школьник, ибо постановление ЦК от 14 августа на долгие годы введено было в учебные программы. Не стихи Анны Ахматовой о Шекспире и Данте, о бомбежках Лондона, о погибшем Париже, о родном Петербурге, о вымирающем Ленинграде, не её любовные признания, — высокие, чистые, страстные! — не стихи о Пушкине заучивали наизусть наши дети:

Смуглый отрок бродил по аллеям,
У озерных грустил берегов,
И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов —

не шедевры русской лирики сызмальства запоминали наши дети, а сквернословие Жданова.

В сентябре 1946 года ленинградские писатели приняли по тому же докладу резолюцию: «редакции [журналов] оказались в плену дутого «авторитета» Ахматовой. Собрание особо отмечает, что среди ленинградских писателей нашлись люди <...>, раздувавшие «авторитет» Зощенко, Ахматовой и иже с ними».

4 сентября 1946 года Президиум Правления ССП сделал из всего вышеизложенного соответствующие оргвыводы: Зощенко М. М. и Ахматову А. А. из Союза Советских Писателей исключить. Отныне ни одна их собственная строка не могла быть опубликована, зато сотни строк об их нелюбви к народу — народ читал постоянно. Читал в газетах, слушал по радио. Отныне Ахматовой и Зощенко предстояло, голодая, ожидать, когда пожаловано им будет, в виде высокой милости, разрешение заняться переводами.

Прочитав о себе в газетах, что он — «публично выпорот», Зощенко медленно, постепенно и неуклонно погружался в душевную болезнь. Братья по давнему Серапионову братству, например, В. Каверин, да и просто друзья не оставляли его, но принимать деньги от друзей, даже ближайших, не зная, когда вернешь их, — для человека чести, для деликатнейшего и щепетильнейшего Михаила Михайловича Зощенко было мукой. Он готов был на любую работу — ведь до того, как сделаться писателем, он изучил немало специальностей! — но какой же зав или зам примет на работу наплевиста? Писатель Зощенко, в своих повестях и рассказах с изумительной меткостью передавший язык и мышление своих будущих гонителей («и вот, при такой ситуации, у них происходит рождение ребенка» — при ситуации происходит рождение! или: «жила, жила она с таким отсталым элементом» — жила с элементом! — разве это пристрастие к неуклюжему внедрению иностранных слов в вульгарную разговорную речь — разве это не пародия на чиновничьи документы?), он, казалось бы, постигший до точки их невежество, жестокость, мстительность и безмозглость, еще недостаточно изучил их. Когда они кинулись на него из подворотни каждой газеты, когда газеты и радио сделали своё дело и имя Зощенко для миллионов людей зазвучало как синоним ненавистничества — Зощенко расправы не вынес. Он повредился в уме. «Пачкун Зощенко». «Мерзкая пачкотня Зощенко». «Грязный хулиган Зощенко».

А как перенесла постановление ЦК, доклад Жданова, статьи Трифоновой, Сергиевского и других — Анна Ахматова?

Об этом свидетельствовать я не вправе. И не потому, что нас разделяла в ту пору семисоткилометровая даль между двумя городами, а потому, что разделены мы были далью душевной. К 1946-му году мы находились — уже почти четыре года — «в состоянии ссоры», начавшейся в Ташкенте поздней осенью 1942 года и окончившейся лишь летом 1952-го в Москве. Десять лет! Десять лет незнакомства! Десять лет я не вела свои «Записки». (Вот почему мой второй том «Записок об Анне Ахматовой начинается с 1952 года.)

В 1946 году, узнав из газет о новой катастрофе, постигшей Ахматову, я рванулась было в Ленинград, даже билет взяла, но — остановила себя. Из страха перед властями? Нет. Из страха перед нею, перед Анной Андреевной.

Осенью 1942 года, в Ташкенте, она с полной наглядностью выразила своё неудовольствие — мною; я, не выясняя отношений, не узнавая причин — от неё отошла. Снова навязать ей свою персону, пользуясь её новой бедой, казалось мне грубостью. Я побаивалась, что мой внезапный приезд к ней она истолкует как попытку возобновить наше знакомство, оборванное по её воле.

Я пишу «мы находились в состоянии ссоры», а не «поссорились» потому, что никаких ссор между нами никогда не случалось. В моём сознании гром грянул с ясного неба. Никогда еще Анна Андреевна не относилась ко мне с такой сердечной отзывчивостью, заботой и благодарностью, как в эвакуации, в Ташкенте. Сблизила нас общая дорога через всю Россию из Чистополя в Ташкент в страшную военную осень 1941-го года; связывали годы 1938-40, пережитые вместе; связывал «Реквием» и другие непечатаемые стихи, доверенные ею моей памяти. В Ташкенте мы вместе стояли в очередях к окошечкам почты («до востребования»). Что ни письмо из Ленинграда, что ни треугольник из армии — то весть о гибели: от бомбы, от пули, от голода. Если же писем не было — а их не бывало месяцами — на ум шла не только гибель, потому что радиовести были еще хуже почтовых. Что ни радиосводка — то: «наши войска оставили город Ростов»; «наши войска оставили город Киев». В Ташкенте моим родным и мне сделалось почти наверное известно, что брат мой Борис погиб под Москвой. Изредка получала Анна Ан-

древевна письма от Владимира Георгиевича Гаршина, или от Берггольц и от Томашевских — о Гаршине, и всегда читала их мне. Получала письма от Владимира Георгиевича с расспросами об Анне Андреевне и я. Связывали нас, конечно, как всегда, и стихи её; знала я, с каким нетерпением ждёт меня Анна Андреевна, чтобы прочесть мне строки стихов, порою еще неоконченных; или новые строфы в «Поэму без героя».

(В первые недели по приезде в Ташкент мы жили вместе в гостинице; затем ей предоставили комнату — чердачок с печью — в общежитии писателей на улице Карла Маркса, 7; я несколько месяцев жила с детьми у родителей, на улице Гоголя, 54, а потом перебралась с Люшей в другое писательское общежитие, на улицу Жуковского, 56, в шестиметровую комнатушку под лестницей, которую смело можно было бы назвать чуланом, если бы в ней не было окна.) Где бы я ни жила и чем бы ни была занята, навещала я Анну Андреевну почти ежедневно; случалось мне приносить ей с базара саксаул или уголь для печи, стоять для неё в очереди за её скудным пайком, держать корректуру её стихотворений. Если я пропускала день-два, являлся гонец от Анны Андреевны: она тревожилась — почему меня нет?.. На моих глазах — ушах! — окончены были Анной Ахматовой «Птицы смерти в зените стоят», написаны «Nox», «Славно начато славное дело», «Постучи кулачком — я открою», «Мужество» и, обращенное к Гаршину, «Глаз не свожу с горизонта», и новые строфы в «Поэму без героя». Читая свои тогдашние записи (по военному времени, по занятости, кроме работы — бытом, записи более короткие, чем до войны и менее разборчивые: тетрадь самодельная, сшита чуть ли не из обоев, чернила водянистые) — перечитывая свои тогдашние записи, я могу указать, в какие дни Ахматова выступала перед ранеными бойцами в госпитале и какие вопросы они задавали ей; в какой день создана была строфа, начинающаяся строчками:

И уже предо мною прямо
Леденела и стыла Кама

и та, знаменитая, кончающаяся строчками:

Только зеркало зеркалу снится,
Тишина тишину сторожит.

Я могу рассказать, что́ послужило толчком для возникновения этих строчек.

На ахматовском чердачке слышала я и множество отзывов о «Поэме» — суждений, которые Анна Андреевна усердно и безуспешно пыталась классифицировать: какому типу слушателей нравится новая «Поэма», какому — нет. Кому она близка, кому чужда. Слушатели же были разнообразны (и по возрасту и по специальности), и было их множество: старые знакомые Ахматовой — Эфрос, Липскеров, Городецкий, Волькенштейн — и новые. У неё на чердаке мы вместе читали «Поэму горы» и другие поэмы Цветаевой. Здесь же, на чердачке, Анна Андреевна устроила однажды торжественное чаепитие в мою честь: я позабыла о дне своего рождения, а она — вспомнила.

Когда летом 1942 года я заболела брюшным тифом и, отдав Люшу родителям, вылёживала шестинедельный бред в своём чулане — Анна Андреевна не раз навещала меня. Однажды я расслышала над своей головой: «у вас в комнате 100 градусов: 40 ваших и 60 ташкентских». В Ташкенте я впервые рискнула показать ей тетрадку своих стихов. «Время пишет вам книгу», — сказала Ахматова. Во всяком случае одно из моих стихотворений ей понравилось наверняка: она запомнила его наизусть. В Ташкенте Анна Андреевна не единожды повторила мне: «Изо всех друзей я выбрала вас — к вам приехала в такое время! — и ни разу не раскаялась, что поехала к вам и с вами».

Внезапно наступила пора — это случилось поздней осенью 1942-го года — когда Анна Андреевна весьма демонстративно, наедине со мною и при людях, начала выказывать мне своё неудовольствие, свою неприязнь Что́ бы я ни сделала и ни сказала — всё оказывалось неверно, неуместно, некстати. Я решила реже бывать у неё. Анна Андреевна, как обычно, прислала за мною гонца. Я тотчас пришла. Она при мне переоделась и ушла в гости.

Что это означало? Не сама ли она объяснила мне еще в

Ленинграде: «Благовоспитанный человек не обижает другого по неловкости. Он обижает другого только намеренно».

Вот она и принялась обижать меня намеренно. В Ташкенте Анна Андреевна переболела брюшным тифом, — к счастию, не в очень тяжелой форме, и в сравнительно хороших условиях. Пора преднамеренных обид началась как раз незадолго до начала болезни; длилась во время болезни (хотя Ахматова и поручала мне по-прежнему тó навести справку в издательстве; тó написать письмо Гаршину; тó послать телеграмму Пунину; тó принести в больницу чайник или протертое яблоко). Её раздраженность, начавшуюся накануне тифа, я пыталась объяснить «тифозным чадом». Но вот «чад» позади, Анна Андреевна, слава Богу, здорова; а обиды, наносимые мне, продолжаются. Насколько я понимаю теперь, Анна Андреевна не хотела со мною поссориться окончательно; она желала вызвать с моей стороны вопрос: «за что вы на меня рассердились?» Тогда она объяснила бы мне мою вину, я извинилась бы, и она бы великодушно простила. Таков, кажется мне, был её умысел. Но, к великому моему огорчению, совесть меня не мучила, никакой вины перед Анной Андреевной я найти не могла Ни в слове, ни в мысли. И вот это отсутствие вины и чистота совести терзали меня более, чем терзала бы любая вина. Я кровно была заинтересована в том, чтобы виноватой оказалась не она, а я: ведь полная вера в безусловное её благородство была лучшим моим достоянием. Мне выгоднее было бы оказаться виновной. Но увы! Сколько ни крутила я ленту назад — я не находила и тени проступка. Сколько ни перелистываю я теперь, сорок лет спустя! листки «Записок» с осени 1941 по осень 1942-го — не нахожу.

«Вас кто-нибудь оговорил!» — твердили мне свидетели происходящего, которых было не мало. Оговорил! Попробовал бы кто-нибудь оговорить передо мною — её! Разве за 4 года нашего знакомства она не успела узнать меня?.. Выяснять отношения, да еще при вмешательстве третьих лиц под жадными взглядами всей «Вороньей слободки» (так Ахматова называла писательское общежитие), представлялось мне унизительным. «Он сказал, что она сказала, что вы сказали... А на самом деле я говорила, что он говорил...» Нет. Ни за что.

С середины декабря 1942-го я перестала у Анны Андреевны бывать. И она более не посылала за мною гонцов. Вплоть до моего отъезда из Ташкента в Москву осенью 1943 года (то есть почти целый год!) — мы, живя в одном городе, изредка встречались всего лишь на улице — на окаянно-знойной, непереносимо-длинной улице азиатского города (который ей удалось, а мне так и не удалось полюбить).

От тополя до тополя, от тени до тени тащилась я по раскаленной до́бела земле то́ с углем, то с книгами.

Случалось, Ахматова шла мне навстречу, опираясь на чью-нибудь руку.

— Здравствуйте, Лидия Корнеевна! — громко говорила она, всегда первая увидев и узнав.

— Здравствуйте, Анна Андреевна! — отвечала я, чуть замедляя шаги.

Мы проходили мимо. Друг мимо друга. Опять я тащусь от тополя до тополя, от тени до тени, снова задавая себе вопрос: что же случилось? Ведь это не только обидно, это необычайно глупо, ни с того ни с сего проходить друг мимо друга...

После случайной встречи на улице я, придя в свой чулан и едва передохнув от жары, открывала черную школьную тетрадь, исписанную ахматовским почерком. Это была «Поэма без героя» — подарок Анны Андреевны. Текст от начала до конца — карандашом. А пером на титульном листе чуть пониже заглавия выведено:

«Дарю эту тетрадь
моему дорогому другу Л. К. Ч.
с любовью и благодарностью
А».

Не утешение, а скорее недоумение вызывала эта надпись после сегодняшней встречи. Сегодня Анна Андреевна безо всякой любви и благодарности прошла мимо меня... Почему? В стихах у неё сказано:

...та, над временами года
Несокрушима и верна,
Души высокая свобода,
Что дружбою наречена...

Если дружба — это свобода, — размышляла я, — то свобода, конечно, даёт право и проходить мимо... Но как быть с несокрушимостью? Я-то, ведь, ничего не нарушила.

Я прятала драгоценный подарок в ящик стола и бралась за свои записи.

Не за ахматовские — другие. За те, которые я начала вести еще в феврале 1942 года, — начала и продолжала с её благословения. Дело в том, что вскоре после нашего приезда в Ташкент, Наркомпрос «в общественном порядке» привлёк меня к работе «Комиссии помощи эвакуированным детям». Я навещала детей в детских домах — детей с Украины, из Белоруссии, из Воронежа, Киева, Курска, Ленинграда — детей, привезённых со всех концов страны в глубокий тыл, в Ташкент.

Многие из них были круглые сироты: отец убит на фронте, мать — во время воздушного налёта на город, село, автобус или поезд. Многие не знали — живы ли их родные, нет ли? Убита мама или ищет меня по всей стране? Убит ли отец или ранен или без вести пропал? Многие из этих детей были для своих родных тоже пропавшими без вести: разлученные с сыном или дочерью разорвавшейся бомбой, пожаром, обстрелом — матери блуждали по всей стране: детские дома раскиданы были тогда и по Сибири и по всему Узбекистану. Первая забота Комиссии: составить списки детей и их детдомовские адреса... Случалось, трехлетние, двухлетние, четырехлетние ребятишки знали только свои имена — не фамилии. «Коля, как зовут твою маму?» Молчит. «А папу?» После долгого молчания: «Папа». «А где ты раньше жил?» Рёв. «У мамы, папы и бабушки...»

Государство щедро снабжало детские дома хлебом, молоком, мясом, одеялами, одеждой, даже яблоками и виноградом, но щедрость имела и свою дурную сторону: воры устраивались в детские дома кто завхозом, кто поваром, а кто и директором, и не управиться было с налетевшим ворьём ни воспитателям, честно заботившимся о детях, ни Наркомпросу, ни Комиссии.

В Азии всё колоссально, огромно: звёзды, луна; если роза — то уж величиною с тарелку, если морковь — по ло-

коть, орех — с яблоко, черепаха — с собаку. И воровство во время войны приняло в Ташкенте (и, конечно, не только там!) чудовищные, гомерические размеры. Помню случай, когда трехтонка, груженая пальтишками, вся, целиком, не заезжая в ворота детского дома, проследовала на рынок. Помню, как материал, посланный для зимнего ремонта детских спален, весь, целиком, пошел на постройку нового дома: во дворе вырос персональный дом директора.

Воры быстро смыкались с Прокуратурой, и управы на них практически не было. Считалось, что детские дома снабжены отлично, а там случались и цынга и пеллагра. Делали работники Наркомпроса и члены Комиссии что могли: писали жалобы из инстанции в инстанцию; сами, втихомолку, из своих рук, подкармливали наиболее изнурённых и голодных; старались отвлечь их, развлечь; подыскивали круглым сиротам новые семьи; устраивали для детей праздники, собирали для них игрушки и книги.

Счастливее, чем на государственном попечении, оказывались те, кого «брали в дети». Местные жители — узбеки, русские, татары — принимали сирот в свои семьи: усыновляли их, удочеряли. «Колю взяли в дети», — говорили с завистью детдомовские: «Скоро Катю возьмут». «А меня никто не возьмёт, я рыжий». Ребятишки, взятые в дети, были счастливее других, хотя вряд ли и в новой и в хорошей семье (а хороших семей я видела много) возвращалось к ним детство. Были они душевно уже искалечены. Самое детское в детях — доверчивость — было вытравлено. Они не доверяли ни людям, ни жизни, они не умели справляться со страхом, даже если умом понимали, что бояться нечего. Я видела не раз, как подростки, гурьбой идущие по улице, внезапно кидались врассыпную, бросались в арыки или ложились в вязкую глинистую землю ничком, услыхав издалека нарастающий гул самолёта. Они неодолимо этого гула боялись, хотя вражеских самолётов в Ташкенте никогда не бывало.

Я не сразу догадалась записывать рассказы детей, не сразу поняла, что передо мною — живая подлинность, которую грех упустить, не запечатлев её. Белоруссы, евреи, украинцы, русские. Дети из Киева, из Курска, из Нежина, из Минска, из Ленинграда. Впервые, помнится, пришло мне

на ум взяться за карандаш, когда одиннадцатилетняя девочка из-под Курска рассказала мне, как они жили при немцах. У них в избе стоял немецкий офицер. «Он был не злой, кормил нас консервами, а один раз ночью взял на руки сестрёнку — грудную — да и бросил в колодец. Четыре месяца, пятый. Он её взял из люльки, покачал — умелый был, наверное, у него дома свои маленькие — она и плакать перестала, а он вышел во двор, да и бросил её в колодец». «Зачем же?» — крикнула я. — «А вы что — немцев не видели? — с презрением ответила девочка. — Мешала ему дрыхнуть, вот и кинул. У нас что ни двор — во всех колодцах грудняшки валялись».

После этого первого рассказа я начала записывать детей постоянно. Одни отмалчивались и с угрюмостью от меня отходили, другие рассказывали охотно, с жадностью, будто им самим нужен был этот рассказ.

Мальчик Володя, двенадцати лет, из Белоруссии, из города Лида, с ожогами на руках и лице:

«Я проснулся от того, что загремели стёкла. Наш дом стоял между линиями, и стёкла всегда тряслись от поездов, но на этот раз они по-другому загремели. Я выскочил поглядеть. Пассажирский четыре тридцать стоял у переезда и горел. Вдруг что-то засвистело, как свисток, но машинист дёрнул поезд, и бомба попала в задний, в почтовый вагон.

Там загорелись посылки, письма и тюки, и сразу сделалось светло, как будто не утро, а полный день.

Прибежали мальчишки из ремесленного и кинулись растаскивать почту. И я с ними кинулся. Я схватил тюк писем, они шевелились и заворачивались у меня в руках, и оттуда, изнутри, вдруг вырвалось пламя мне в лицо».

Девочка Аня из города Львова, тринадцати лет.

«Мы с мамой и другие соседи крылися в лесах под деревьями. В домки́ крыться было нельзя, бо он всё кидал в домки́ бомбы. Мы когда бежали, то по лошакам мёртвыим и людя́м мёртвыим шли. Ночью мы шли, а днём крылися. Там на мохе лежала одна девочка, так у неё руки и ноги и пальцы — всё было отдельно. Вот тут девочка, а вот тут нога, а вот тут палец».

Минск. Семья села обедать: мать налила всем супу, а Витю послала во двор — в чайник из крана воды набрать.

Витя, тринадцати лет, рассказывает:

«Я только дошел до крана, как засвистело что-то, а потом шипение, грохот, а потом я подбежал — одни камни и черный дым, и нет ни мамы, ни братишек, ни сестрёнки.

Папу я нашел под камнями. Но только у него не было головы и одной руки».

Доня, мальчик тринадцати лет, из Кириковки Сумской области:

«Мы стали на станцию. Батька спал. Я у матери спросился выйти в уборную.

— Скорійше вертайся! — казала матерь.

З нашего села усі їхали у том єшелоні.

Уже как раз вечеріло. Паровіз набирал воду.

В уборной я слышу: бомбёжка началась. Я скорійше побіг до нашого поїзда.

Далечéнько от вагона лежали батько з матірью — вже вбиті.

Они, вірно, тікать хотіли. А їх із пулемёта вбило. Я затулил їм рани, щоб кровь не текла. Я батька будил: думал — ранен. Но нічого не помогает. І матірь.

Я посмотрел їм в лицо, заплакал, і побіг за товарним».

Девочка Таня, тринадцати лет, из Киева:

«Мы эшелоном ехали. Возле Конотопа наш поезд стал постоять. Солнышко светило, и мама мне сказала: — «Ты посиди на воле, а я буду обед варить». Она в вагоне и варила, и стирала, и всё. Я села возле нашего вагона и начала читать книжку — журнал «Затейник». Там были пьески смешные. Вдруг они налетели. Люди попрятались под вагоны. А он спустился низко и начал под вагоны застрачивать. Я испугалась, побежала, не знаю куда, в поле. А тут он начал бомбы кидать, и теперь попал в поезд. Вагоны загорелись. Я бежала по полю. Хлеб уже в снопах лежал. Я пряталась в снопы.

Гляжу из-под хлеба — поезд горит, и тот вагон, где была мама».

Петя, тринадцати лет, из Могилёва:

«...В один ужасный день загудели сирены, фабрики, заводы, поезда. Над городом появились немцы. Я был один дома. Я кинулся бежать ко Днепру, чтобы спрятаться в скалистых берегах. Вижу, по другой стороне улицы бежит моя мать. И вдруг промежду нами взорвалась бомба. Моя мать упала, но поднялась и побежала снова. Возле неё взорвались еще две бомбы. Мать опять упала, и гляжу — на этот раз её ранило: кровь льется по лицу и по боку. Но она встала и побежала опять. Я был уже близко от неё, она мне кричала.

И тут опять третий взрыв. Я упал, и мама тоже. Потом подошел, вижу — она уже мёртвая лежит».

Алёша, пятнадцати лет, из города Полонного:

«Мы ехали на подводах недалеко от Белой Церкви. Тогда налетели пятнадцать самолётов, и началась горячая стрельба. Сперва они строчили из пулемётов, а потом скинули двенадцать бомб. А мы полегли в рожь. Мы лежали все лицом вниз. И вдруг на нас набросилась земля. Я лежал под землею не знаю сколько. Во рту была земля, и в носу земля, и в ушах, как уже лежит не человек, а настоящий мертвяк. Я только думал одно: почему у меня нет нагана, я бы застрелился. Но это я думал зря: ведь всё равно, я не мог бы двинуть рукой.

Один, который с нами ехал, был очень здоровый, или на нём не так много лежало, но он сам вырылся. Он позвал военных, и нас отрыли».

Толя, двенадцати лет, из Ленинграда:

«Озеро я увидел издалека. Там баржа вмёрзла в лед, а кругом мертвые лежат, и обломки в снегу.

Мы долго ещё ехали лесом. Машину перекачивало на ухабах. Над нами кружились наши провожающие ястребки. Я больше сидел с закрытыми глазами. Ветер и острый снег били в лицо. А если глаза открою, то вижу кузов передней машины и головы в платках.

Это впереди ехали наши мамы. Они сами так захотели: детей посадили в задние машины, а сами сели в передние.

И вдруг я услыхал треск. Это уже от того берега было недалеко. Я увидел, как кузов передней машины ушел под воду. Женщины кричали: «погибаем! погибаем!», но никто не кричал «спасите!», потому что они знали, что нельзя их спасти. Это они попали в полынью, где вчера бомбили, льдом затянулось сверху и припорошило снежком. Наша машина пошла в объезд полыньи. Там была черная вода, плавали маленькие льдинки и чемоданы — верно, те, которые полегче.

На морозе больно плакать. И мы все были такие слабые, что плакали очень мало. Где другие машины с мамами и с моей мамой — мы не знали. Не видать их было за метелью. Теперь моя машина шла впереди всех, и если проваливаться — то наша первая очередь.

Когда мы выехали на берег и снова поехали лесом, на нас налетели три немецких самолёта. Они стали бросать бомбы, но в нас не попали, а попадали в лес, выворачивали деревья вверх корнями. Наши ястребки сшибли одного немца. Мы видели, как он трахнулся в лес, а другие повернули и полетели прочь.

Поздно вечером мы приехали на станцию. Там мы закричали: «Сколько прибыло с женщинами машин?» — «Ни одной» — отвечают. Все взрослые машины, значит, пошли под лёд.

На станции нам дали горячего супу и по 500 граммов хлеба. Нам объяснили, что опасно его столько съесть, но раз мы его видели, то уже не могли удержаться. А утром нас посадили в эшелон».

3.

Осенью 1943 года я приехала из Ташкента в Москву, куда еще ранее вернулись мои родители. Но оставаться в Москве я не имела намерения. Да, собственно, и места не было: квартира Корнея Ивановича рассчитана была на двоих,

а жили в ней к моему приезду — четверо взрослых и трое детей. И без меня и Люши — семеро.

Целью моего приезда в Москву был Ленинград.

Я ждала освобождения родного города, чтобы как можно скорее вернуться туда. Вернуться к себе.

Тень Большого Дома не пугала меня. Война шла к концу; казалось, в то немыслимое время, именуемое «после войны», всё будет новое, всё будет по-другому, чем д о. Память о моём последнем бегстве из Ленинграда я упорно прятала от самой себя.

Между тем, моя ленинградская квартира, как я узнала из писем, была занята. Занята незаконно. По тогдашним правилам военного времени, люди из разбомбленных домов, жители, утратившие жилье, имели право переселяться в квартиры уехавших. Но в нашу квартиру переехал с семьёю некто, чьё жилье, как сообщили мне, не пострадало от бомб и снарядов. Просто приглянулись ему мои комнаты более, чем свои. Комнаты у меня были самые обыкновенные, но ощущалось, что, перегороженная после революции фанерными стенками, квартира некогда была хороша: высокие потолки, цельные высокие окна. А может быть нового хозяина прельстил удобный район? Центр? Не знаю. Знаю только, что пост он занимал для захвата удобный: начальник или заместитель начальника Жилищного управления нашего района.

Выселить его будет не просто. Но без Ленинграда я не представляла себе жизнь, а потому и не сомневалась в успехе. Большой Дом, вынудивший меня уехать в мае 1941 года? Ни в Чистополе, ни в Ташкенте, ни в Москве я не чувствовала над собой никакого надзора... Мало ли чего не было до войны!

С трепетом думала я не о предстоящей борьбе за свою квартиру, а о встрече с городом.

«Все дорогие места в то же время лобные места», — написано в «Былом и Думах». Это правда, и потому чувств своих при встрече с городом, с друзьями, с могилами описывать не буду. Остановившись у знакомых, я несколько дней ходила по городу, не смея поднять на него глаз.

Это было во второй половине июня 1944-го года. Я не

знала тогда, что 1-го июня в Ленинград уже вернулась Анна Андреевна. Я вообще не знала о ней тогда ничего и думала не о ней — о Ленинграде.

Друг, приютивший в 1940 г. мою тетрадь — «Софью Петровну» — зимою 1942-го умер от голода. Об этом я узнала еще в Ташкенте. Но сейчас, навестив его сестру, я узнала, что перед смертью он принёс «Софью Петровну» — ей. Со странным чувством отчуждённости перелистывала я страницы — след другого, давнего времени; перелистывала повесть о другой, довоенной гибели: 1937-1940. Не бомбы, не артиллерийский обстрел, не осада, не блокада: беззвучная война вместо грохочущей.

В 1944-м мне казалось, что т а война кончилась.

Собравшись с силами, я, через несколько дней после приезда, отправилась к Пяти Углам. Тут предстояло взойти на самую вершину лобного места — если у лобного места бывает вершина. Подняться по той же лестнице на тот же третий этаж, открыть своими тремя ключами свои три замка.

Ключи у меня с собою — с ними я не расставалась никогда и нигде, как с талисманом. Однако, мне было известно, что хотя новый хозяин — в командировке, семейство его — в эвакуации, а в квартире уже стоят их вещи. Входить туда без официальных свидетелей не следовало. Я отправилась в домоуправление и предъявила свой паспорт. Домоуправша оказалась новая и глянула на меня подозрительно. Но порывшись в измызганной, обшарпанной, видавшей виды домовой книге, она установила, что, действительно, в квартире № 4 дома № 11 по Загородному проспекту проживала некогда семья: Бронштейн, Матвей Петрович; жена его, Чуковская Лидия Корнеевна; её дочь, Елена и домашняя работница Ида Петровна Куппонен. Одна комната 12 метров, другая 14, а третья (тут в книге было что-то перечеркнуто; повидимому, поверх Бронштейна написано было Катышев; потом замазали и Катышева). «Что ж, пойдёмте», — сказала управдомша неуверенно.

Поднялись. Вошли. Пожалуй, мне повезло: когда я переступала порог своего дома, рядом оказалась чужая, незнакомая, посторонняя женщина. На ходу она задавала вопросы:

почем нынче в Ташкенте помидоры или сколько же там бывает градусов? Никакого соблазна расплакаться или, например, погладить обои, или дотронуться до оставшихся после конфискации книг или картинок на стене — у меня не было... «Сколько там бывает градусов? Да в тени до сорока доходит... Зимою ливень ливмя». На дверях Митиной комнаты я увидела сухие, побуревшие следы сургуча. Не отмыта еще дверь от крови.

Легче всего мне было повернуться спиной ко всему, что еще сохранилось в этих комнатах моё, наше, и смотреть в окно на улицу, на дом напротив. Впрочем, на дом напротив глядеть было тоже нелегко, потому что дом был тоже из моего окна, из моей прежней жизни. Дом, где жила до войны Рахиль Ароновна, сменявшая меня в тюремных очередях.

Женщина сплетничала о новых хозяевах. «Сам-то такой сурьёзный, из себя видный». Благоволит ли она к «самому» или ко мне, понять было трудно. Сказала, что площади свободной в Ленинграде нынче много, и если «сам» упрётся — мне могут предоставить взамен моих прежних комнат другие. Мы вышли вместе и простились: «Вам, гражданочка, одна теперь дорога — в суд», — сказала управдомша на прощанье. «Да комнаты подыскать можно, — вот хоть бы и на вашей лестнице, этажом выше, пустые стоят».

На следующий день я побывала в юридической консультации и выслушала советы юриста. Он перечислил, какие я должна представить справки. Перспективы назвал обнадёживающими. На радостях я разрешила себе Летний Сад, потом набережную, а оттуда свернула за угол — в Союз Писателей — пообедать. (Членом Союза я тогда еще не была, но была членом Групкома литераторов при Детгизе.)

Подойдя к дверям особняка, я сквозь стекло увидала, что навстречу мне — дама. Я отворила перед нею дверь и посторонилась. «Здравствуйте, Лидия Корнеевна!» — сказала дама, быстро мелькнув мимо. «Здравствуйте!» — ответила я, не зная, кому отвечаю, и вошла внутрь.

У вешалки старуха-гардеробщица шевелила спицами. Я отдала ей шляпу и зонтик.

— Вы — Ахматова? — спросила она, взяв у меня вещи и протягивая номерок. — Вам телеграмма.

Пошарила в ящике.

Никто никогда не принимал меня за Ахматову. Между мною и ею никогда не было ни малейшего сходства... Но более, чем несуразный вопрос старухи, поразила меня мгновенная догадка: та дама, которая только что прошла мимо, была Анна Андреевна! Я не узнала её от неожиданности: для меня она всё еще жила в Ташкенте. Но что за наваждение — как старуха могла перепутать нас? И почему как раз в ту самую секунду, когда Ахматова прошла мимо? И что мне делать теперь: воспользоваться случаем, схватить телеграмму, догнать Анну Андреевну и, наконец, заговорить? Но не она ли только что промчалась мимо с такою поспешностью? Значит, если не замедлила шаг, она по-прежнему не желает со мной разговаривать.

— Я не Ахматова, — ответила я старухе, уже протягивавшей мне белый прямоугольник. — Ахматова только что прошла. Вы ещё можете догнать её.

«Дура я или умная?» — раздумывала я, жуя и глотая. И гордилась собою: умная! Нечего навязывать себя, если с тобой не хотят говорить. Но как это всё странно совпало! — моя встреча с нею, и телеграмма, и странная, в ту самую секунду, ошибка старухи...

(Если бы я знала тогда о предстоящем 46-м! И предстоящем 49-м! Как ухватилась бы я за эту, с неба свалившуюся мне в руки чужую телеграмму! За этот мостик! За возможность примирения!)

Но 1946-й настал через два года, 49-й — через пять. А пока шел 1944-й, кончалась война, и думала я только об одном: я хочу жить у себя дома, в Ленинграде, и чтобы Люша росла в Ленинграде. Ни одного города, кроме этого, своего, я никогда не любила. Однако в судьбу мою снова властно вмешался Двор Чудес, и борьба за комнаты кончилась, не развернувшись.

Началось с того, что в ту коммуналку, где я гостила у друзей, ночью явились незванные визитёры: проверять документы. Время военное, такие ночные проверки были не редкость — да еще в Ленинграде! К тому же паспорта потребовали не у меня одной и не только у моих гостеприимных

хозяев, но и у всех жильцов коммунальной квартиры. Можно было не принимать этот визит на свой счёт.

Но еще через день телефонным звонком пригласили в Большой Дом сестру моего мужа, Михалину Петровну Бронштейн. Следователь задал ей всего один вопрос: зачем это я приехала в Ленинград?

(В самом деле, какая это трудная для следствия загадка: выяснить, зачем человек, родившийся, выросший, учившийся, работавший в Ленинграде, возвращается к себе домой?)

— Она приехала... потому что она здесь жила... — растерянно ответила Михалина Петровна.

— Где же она собирается поселиться теперь? У вас?

— Нет, у себя...

— Да ведь она в мае 1941-го года переехала из Ленинграда в Москву.

— Она не переехала, — ответила Михалина. — Она легла там в клинику... Её оперировали...

(Судя по описанию, это был тот самый следователь, который когда-то допрашивал няню Иду. Ему ли было не знать, почему в мае 41-го я бежала в Москву! Ведь от него-то я и бежала!)

Еще дня через три я отправилась в юридическую консультацию, к прежнему юристу. Я протянула ему необходимые справки: когда именно мы с Матвеем Петровичем переехали на Загородный 11 в кв. 4, сколько занимали квадратных метров и пр.

Но он-то был вовсе не прежний.

— В нашу первую встречу, — сказал он, — я не учел один момент. Решающий момент. В Ленинграде возвращают жилплощадь эвакуированным. Вы не из Ленинграда эвакуированы. Вы — он глянул в свою записную книжку — уехали отсюда еще до войны, в мае 1941-го года. Самовольно бросили квартиру. Какая же вы эвакуированная?

— Откуда вам известно, какого числа в 1941-м году я уехала в Москву? — спросила я и ушла.

Объяснять ему, что я — эвакуированная, что тысячи лю-

дей оказались застигнуты войною внезапно! — и их эвакуировали не оттуда, где они жили всегда — не требовалось. Он знал это и без меня... Метнулась я было к домоуправше. Та глядела волком. «Никакой вам площади не будет», — сказала она. «Нечего площадью кидаться. Каждому приезжему площадь давать — этак прокидаешься. Мы только эвакуированным возвращаем».

На следующий день Михалину Петровну снова вызвал следователь. Оттуда она вернулась в слезах. Еще через день — Рахиль Ароновну.

Я уехала. Признаюсь, об Анне Андреевне, о ссоре, о примирении я совсем перестала думать и даже помнить. Утрата Ленинграда заслоняла собою всё. Видно, в какой-то комнате Большого Дома, в чьем-то сейфе, на каком-то листе стоит против моей фамилии какая-то галочка: не арестовывать, но и не возвращать в Ленинград. Жизнь в Москве значила для меня жизнь в нежеланном городе, в уничтожающей тесноте. О своём, об отдельном жилье, моём и Люшином, нечего было и думать. «У меня больше нет у меня». И Люша будет расти не в Ленинграде.

Иногда достигали до моих ушей вести об Анне Андреевне — у нас было немало общих знакомых. С удивлением и болью узнала я, что она оставлена Владимиром Георгиевичем. С большой радостью, что Лёва из лагеря попал в ссылку, а оттуда добровольцем ушел на фронт и вернулся в Ленинград — участником взятия Берлина. Иногда долетали до меня её стихи, напечатанные и ненапечатанные — я попрежнему запоминала их наизусть мгновенно. Летом 1946-го года я прочла «Возвращение на родину» — стихи о Ленинграде, кончающиеся строчками:

Но мнится мне: в сорок четвёртом,
И не в июня ль первый день,
Как на шелку возникла стёртом,
Твоя страдальческая тень.

Еще на всем печать лежала
Великих бед, недавних гроз, —
И я мой город увидала
Сквозь радугу последних слез.

XXX

Иногда кто-нибудь произносил: «Анна Андреевна интересовалась: как вы устроились, как Люша?»...

— Она поручила вам передать это мне? — спрашивала я с раздражением.

— Нет, она ничего не поручала.

— Зачем же вы передаёте?

Но вот, в 1949-м году мне стало известно: среди многих и многих новых арестов (в 1947-48-49-м арестовывали преимущественно тех, кто уже отсидел 5, 8 или 10 лет и вернулся) снова арестован Лёва. В 1951-м мне рассказали, что у Анны Андреевны тяжелый инфаркт. И я впервые, как это ни странно, впервые! — задумалась: она ведь старше меня, много старше, сердце у неё больное смолоду, и как отец её умер от сердечной болезни внезапно, так и она может умереть в любую секунду. Ахматова — умереть? И — и тогда мы уж наверняка не увидимся.

А разве я собиралась с ней видеться? Нет, не собиралась, вот даже в 46-м удержала себя от поездки к ней — не съездила ни на день, ни на час.

Оказывается, я всегда жила в сознании, что мы непременно увидимся снова. Оказывается, мне всё равно, что́ случилось в Ташкенте. Что́ бы ни случилось — жить в стране, где живёт и творит Анна Ахматова, и не видеть и не слышать её — какая нелепость. Нелепица! Уж куда нелепей!

Смахивает на ту глупость, о которой говорила Анна Андреевна: «Глупо прожить жизнь на планете Земля и не прочесть Шекспира в подлиннике».

Летом 1952-го года мне сделалось известно, что Анна Андреевна месяц провела под Москвой, в санатории, в Болшеве, а теперь она в городе — «у Ардовых, на Ордынке».

«У Ардовых? — думала я. — Почему мне так памятно это слово?» Ночью я припомнила и рассмеялась вслух. Мне вспомнилось, как в Ташкенте Анна Андреевна просила: «Дайте, пожалуйста, Ардова»; «Найдите на подоконнике Ардова». «Ардовым» она именовала тетрадь, которую, по-видимому, он подарил ей — толстую, переплетенную, куда она записывала свои тогдашние стихи... Туда она записала «Пер-

вый артиллерийский», «Мужество»... А сейчас у неё, наверно, другая тетрадь.

Утром я схватила лист бумаги, приготовила конверт. Написала письмо. Копии у меня не осталось, я восстанавливаю по памяти лишь общий смысл. Смысл же был такой: мне перестало быть интересно, из-за чего прогневалась она на меня в Ташкенте. А не видеться нам — да есть ли в этом разум?

Я попросила дочку приятельницы, школьницу, съездить на Ордынку (точный адрес указан был в писательской адресной книге) и опустить письмо прямо в почтовый ящик на двери. Через два часа телеграфист принёс мне городскую телеграмму:

«Очень прошу позвонить мне телефон В-1-25-33 привет Ахматова».

Я набрала номер. Анна Андреевна взяла трубуку. Я назвала себя.

— Приходите, пожалуйста, скорее, — сказала Анна Андреевна нетерпеливым голосом. — Я жду вас через 20 минут.

Такими словами начинается новый том моих «Записок об Анне Ахматовой».

1978-1979

Теперь арестанты вернутся, и две России глянут друг другу в глаза: та, что сажала, и та, которую посадили.

Анна Ахматова

4 марта 1956

1952

13 июня 52

Арка второго двора дома с решеткой на Большой Ордынке. Лужа под аркой от стены до стены. Развороченная черная лестница: ребра торчат. Ступаю осторожно. Второй этаж. Здесь.

Звонок надо дернуть.

Мы не виделись десять лет. Я медлю. Потом дергаю.

Анна Андреевна сама открывает мне дверь. Пожимает мне руку, сразу поворачивается, идет вперед.

Разительно новое: яркая сплошная седина. И отяжеленность, грузность. Она стала большая, широкая.

Я иду за ней. Прямо, направо и еще раз направо.

Крохотная комнатушка, пожалуй, даже меньше, чем моя. Окно во двор. Некое подобие тахты и постель на этом подобии занимает все пространство. Впрочем, есть еще школьный столик для уроков и стул, которому тесно. Тумбочка.

И вот мы сидим друг против друга, я на стуле, она на постели. Она сидит очень прямо, в белой шали и желтом ожерелье, только чуть-чуть опираясь о постель ладонями, глядя на меня снизу и как будто искоса. Наверное ей также трудно привыкать ко мне новой, как и мне к ней.

Вот оно, значит, что: горе, годы, болезнь. Совсем другая, не та. Расплылась, отяжелела. Лицо полное, рот кажется маленьким между полных щек. Лицо утратило свою четкую очерченность, свою резкую горбоносость, словно и нос сде-

лался меньше и неопределеннее, чем был. Даже руки переменились: огрубели, набухли. А были такие легкие, детские! Десять лет! Только взгляд остался прежний. И голос.

И молчание. Она привольно молчит, поглядывая то́ в окно, то́ на меня. (Серебряная, густая, ровная челка. Ни одного не седого волоса). Я же от смущения задаю ей вопросы. Слишком много вопросов сразу. Как ее здоровье теперь? Что известно о Леве? Что она теперь переводит?

— Мое здоровье? В Болшеве я так окрепла после болезни, что, вернувшись в Москву, от избытка сил сразу поехала смотреть Коломенское. Ничего похожего я в жизни не видывала, это прекраснее Notre Dame de Paris. Я целую неделю просто бредила Коломенским. Это неслыханно. Это должен видеть каждый и притом каждый день.

Смолкла. Потрогала ожерелье на шее.

Я осведомилась, была ли она на выставке Серова.

— Нет, не была, хотя меня и звал Борис Леонидович. Я не люблю Серова. Вот, принято говорить про портрет Орловой: «портрет аристократизма». Спасибо! Какой там аристократизм! Известная петербургская великосветская шлюха. — Она отвернулась и возмущенно поглядела в окно. — Этот пустой стул с тонкими золочеными ножками, как на приеме у зубного врача. Эта шляпа! Нет, благодарю!

Умолкла.

Странная вещь: слушая её речи, я опять узнала её. Её прежнюю наружность. Не интонации только, или возмущенный поворот плеч, или слова́. Я и не заметила, в какую секунду был возвращен мне весь ее привычный прежний облик. Десяти лет как не бывало, она, оказывается, не переменилась совсем. Горбатый нос, статность, челка, молчание. Такая же, как в моей комнате, у Пяти Углов, в Ленинграде, или у себя в Фонтанном Доме, или в моей чистопольской избе, или в Ташкенте. Такая же или, точнее, та же. Вне времени, болезней, горя. Анна Ахматова, она сама.

Анна Андреевна расспросила меня о Люше, о Корнее Ивановиче, о моей теперешней работе. Помолчав, прочитала наизусть строки из последнего Левиного письма. Потом повела пить чай в столовую — большую красивую комнату со старинной мебелью.

В доме, видно, кроме нас никого. Пьем чай в тишине пустой большой квартиры.

— Мне хочется рассказать вам о «Шинели», — говорит Анна Андреевна. Она сидит на диване, раскинув руки, и этот старинный диван с высокой красной спинкой очень идет ей, или она ему. — Я, как и все граждане, читала в этом году Гоголя. «Шинели» не трогала: боялась, очень уж буду жалеть Акакия Акакиевича. Но ко мне пришел Журавлев и прочел ее (1). Тогда я и сама ее перечла. И обнаружила, что это шкатулка с двойным дном... Жалеть Акакия Акакиевича нечего, у Гоголя тут была совсем другая мысль: николаевский режим уничтожил в нем человека. Акакий уже почти что и не человек. И бумагу чуть-чуть посложнее составить не может, и перышки чинит. За что мне его жалеть? Что у него шинель старая? А я и сама четвертую зиму хожу в осеннем. Вот Евгения из «Медного Всадника», того можно жалеть: он, хоть и глуп, но готов пожертвовать жизнью ради любимой женщины и на Петра восстает... Он человек, а гоголевский Акакий уж полное ничтожество. Но дело не в них, а я, представьте, сделала маленькое открытие: я поняла, что «значительное лицо» в «Шинели» — это не кто иной, как Александр Христофорович Бенкендорф, собственною своею персоной. Все совпадает, каждая черточка: и видимость доброты, и наружность, и бабник он отчаянный.

Я сказала, что завтра же непременно перечту «Шинель». Анна Андреевна заговорила о Гоголе, о его дружбе со Смирновой. Я сказала, что Гоголь, как человек, как личность, непредставим для меня.

— Не только для вас. Представить себе Гоголя никто не может. Тут все непонятно, от начала и до конца. Из отдельных черт ничего не складывается. Даже Лермонтова легче вообразить себе: гусар, нахал... А Гоголя — ни за что. И никогда не поймут... А знаете, я догадалась, почему он со Смирнихой дружил: оба они без памяти любили Украйну.

Она спросила, что я сейчас читаю? Когда я ответила «дневники Толстого подряд», разговор перешел на Толстого и Достоевского.

---

(1) О Дмитрии Николаевиче Журавлеве см. «Записки» т. 1, примеч. к стр. 21.

— Мы, модернисты, — сказала Анна Андреевна, — ошибались, противопоставляя их друг другу. В действительности они похожи и делали одно дело, только один внутри церковной ограды, другой во вне. (От старца Зосимы, впрочем, монахи тоже в ужасе были). Оба они — великие учителя морали и оба пеклись об одном... А вы заметили, — спросила она, помолчав, и лицо ее мгновенно дрогнуло и переменилось, всё, от подбородка до челки, словно скомкалось, и эта молния, которой я не ожидала, которая внезапно, без всякой подготовки и постепенности, настигла ее лицо, оказалась озорной, прелестной, забытой мною улыбкой, — вы заметили, что сегодня я обращаюсь с вами, как некогда Зайцева в Ташкенте со мной? Помните? История и история литературы? Вы помните ее первый визит?

Скоропостижная улыбка миновала, а я все еще смеялась. Я вспомнила.

(Зайцева просила меня представить ее Ахматовой. Анна Андреевна разрешила. В назначенный час новая гостья поднималась вместе со мною по лестнице вдоль наружной стены в общежитии писателей на ул. Карла Маркса, 7. На каждой ступеньке Зайцева объясняла мне, как она любит Ахматову. На площадке объяснила, что от волнения не откроет рта. Когда я постучала в дверь, она перекрестилась. Поздоровавшись, села и замолчала, словно каменная. Хозяйке едва удавалось извлекать из нее «да» и «нет». Наконец, Анна Андреевна спросила у Клавдии Васильевны, над чем она сейчас работает. Тогда в Зайцевой — наверное тоже от смущения! — проснулся историк, доктор наук, профессор: она открыла рот и не закрывала его 50 минут, полный академический час; по новонайденным материалам прочитала нам лекцию об одном из первомартовцев. Кончив, встала, объявила, что ей пора, простилась и вышла. «Я вижу, меня из этого города без высшего образования не выпустят», — сказала мне Анна Андреевна, когда за гостьей закрылась дверь.

Впоследствии знакомство между Ахматовой и Зайцевой наладилось, упрочилось, они, помнится, бывали друг у друга, но первая встреча была вот такая.)

Я смеялась.

— Вы не пугайтесь, — сказала мне серьезным голосом

Анна Андреевна. — Гоголь, Зайцева, Толстой, Достоевский... Это я только для первого раза. В следующий раз такого не будет.

Я спросила, нравится ли ей Гюго, которого она сейчас переводит.

— Ах, так вам еще нехватает Гюго?.. Пожалуйста, плох необыкновенно. Напыщен, трескуч, риторичен.

— А сами-то французы его любят?

— Да. Очень. Когда у одного француза спросили, кто лучший поэт Франции, он ответил: « Hugo, hélas ! » И это, разумеется, не соответствует истине: взять, хотя бы, Верлена, он в двадцать раз лучше.

Мы вернулись в маленькую комнату, где Анна Андреевна чувствовала себя, мне показалось, более дома. Тут она стала рассказывать мне о Борисе Леонидовиче и, как и в прежние годы, говорила о нем с восхищением и в то же время с какой-то нежной насмешливостью. С восхищением — понятно, речь идет о чуде; с нежностью — потому что о друге; а с насмешливостью, я так понимаю, потому, что в насмешке легче спрятать нежность.

— Он вам никогда не рассказывал, как впервые видел Толстого? Нет? Бореньке было три года. Он спал. И вдруг проснулся у себя в кроватке, разбуженный дивной музыкой. Слушал, слушал и заплакал. Вылез из кровати и заглянул в соседнюю комнату: мать за роялем, а рядом сидит старик, слушает музыку и плачет. Это был Толстой. Молодец Борька, знал, когда проснуться, не правда ли?

Я попрощалась. Анна Андреевна, помня мою близорукость, вышла со мною на площадку и подробно объяснила, какие ступени на лестнице самые коварно-косые. Пока я шла вниз, она стояла на площадке, опершись о перила.

— Теперь вам осталась только Вечная Лужа, — сказала она, когда я добралась до низу. — Держитесь правой стенки. Спокойной ночи.

1 августа 52

На днях вечером, вернувшись из Ленинской библиотеки, я нашла у себя на бюро записку от Корнея Ивановича.

«Тебе звонила Ахматова и просила позвонить».

В тот же вечер я была у нее.

Анна Андреевна неподвижно лежит на спине, вытянув руки вдоль тела. Сердце. Не звонила она мне долгое время время потому, что жила у Шервинских в Старках. [1]) * Там чувствовала себя хорошо, а здесь, в Москве, ее мучает жара.

— У Чехова... которого, как вы помните, я не люблю... — начала она, — есть один рассказ... про мальчика Егорушку. Его куда-то везут. Очень долго везут.

— «Степь» — сказала я, насторожившись. (Чехов — наш постоянный старый спор).

— Да, «Степь». По-моему, это очерк, но почему-то называется рассказ или даже повесть. Так вот, там описана жара, пыль, а потом говорится, что вдруг в жаре будто ниточка прохлады протянулась... [2]) Цимлянское море — как раз в тех местах, можете себе представить, какая там теперь прохлада! [3])

Спор не возобновился. Пусть очерк. Речь шла не о Чехове, а о жаре.

В комнате было душно, как в шкафу. Я предложила открыть окно.

— Нельзя. Играют.

Я все-таки приоткрыла на секунду одну половинку и выглянула. Под самым окном пенсионеры на лавочке с бешеной бранью забивали козла.

Анна Андреевна, стараясь двигаться как можно осторожнее, достала из-под подушки сумку, из сумки листок и прочитала мне подстрочник одного маленького стихотворения. Якутский поэт. О тайге.

— Слышите — какая наивность, сила, не знаю, удастся ли мне. А остальные у него, кажется, плохи. (2)

Потом прочитала уже готовый свой перевод из Гюго. Восточное любовное прощание. Александрийский стих, великолепная, мощная поступь стиха, все как следует, — но Боже

---

* Так помеченные примечания помещены автором в конце книги, в разделе «За сценой». (Примеч. изд-ва).

(2) Не об этом ли якутском поэте идет речь на стр. 104?

мой, какое пустозвонство! Рассудочно, холодно, пышно — не для меня. И главное, не для неё. (3)

Прочла наизусть перевод маленького стихотворения Нерис, — трогательного, пожалуй.

— У Саломеи, может быть, встречаются стихи и с длинными строчками, — объяснила Анна Андреевна, — но мне не повезло, попались все с короткими, а это очень трудно.

Наступило очередное долгое молчание. Я рискнула попросить ее прочесть что-нибудь свое.

— В другой раз, — ответила она. — Я не люблю читать свое вместе с переводами. В другой раз буду вам читать целый вечер.

Но все-таки произнесла четыре собственные строчки о Волге и Доне, написанные, по ее словам, два года назад. (4) Потом рассказала, что один молодой человек, с которым она поделилась своей догадкой о Бенкендорфе в «Шинели», взял да и вставил эту новость в свою работу.

И, подумайте, пришел ко мне и сам же прочел! Быть может, по молодости лет он просто не знает, что излагать в своих работах чужие мысли не принято? Статья его скоро идет в печать.

Я предложила напустить на молодого человека когонибудь из старых, чтобы те ему объяснили. Но Анна Андреевна не согласилась.

— Ну, нет, я так не работаю. А то, знаете, есть такая игрушка: кажется, будто обыкновенный пень, а подойдешь поближе — оттуда выскакивает страшная сова.

С трудом, медленно повернувшись на бок, она протянула руку к тумбочке и взяла однотомник Пушкина. Поискала там какое-то стихотворение, устала, не нашла и велела искать мне: 1830 год, неоконченный отрывок, во второй половине брусника, тундра, остров, Я нашла. Она попросила прочесть его вслух. Начинается строчками:

Когда порой воспоминанье
Грызет мне сердце в тишине
И отдаленное страданье
Как тень опять бежит ко мне —

---

(3) Предполагаю, что прочитано мне было стихотворение «Прощание аравитянки» — см. Виктор Гюго. Собрание сочинений в 15 томах. Т. 1. М., Гослитиздат, 1953, стр. 404.

(4) ?

а во второй половине:

...Стремлюсь привычною мечтою
К студеным северным волнам.
Меж белоглавой их толпою
Открытый остров вижу там.
Печальный остров — берег дикой
Усеян зимнею брусникой,
Увядшей тундрою покрыт
И хладной пеною подмыт.
Сюда порою приплывает
Отважный северный рыбак,
Здесь невод мокрый расстилает
И свой разводит он очаг.
Сюда погода волновая
Заносит утлый мой челнок
. . . .

Анна Андреевна убеждена, что в этом неоконченном, необработанном отрывке речь идет о могиле декабристов. Набросок был найден, как ей сообщил Томашевский, среди черновиков «Онегина», и, хотя это не онегинская строфа, он полагает, что место отрывку в «Путешествии Онегина» или в X главе.

Разумеется, я ничего не могла сказать — Онегин не Онегин, Путешествие или X глава — но несомненная верность основной догадки сразу поразила меня. «Печальный остров — берег дикой» — да, за звуками этих пустынных слов — одиночество и могила, а «отдаленное страданье» — это его память о погибших друзьях и братьях, — «о тех, кто в ночь погиб», как о своих погибших друзьях и братьях сказала Ахматова. (5)

Память и темное чувство вины.

Ахматова не рукопись пушкинскую расшифровала, а силою родства биографии в с п о м н и л а вместе с ним то, что и он, и она всегда носили в душе — казнь близких — и

(5) «О тех, кто в ночь погиб» — строка из стихотворения Ахматовой «И вот, наперекор тому» — см. «Записки», т. 1, стр. 105.

потому ясно увидела недописанное: запретную, пустынную могилу на диком берегу. Она не стихи дописала, а пошла следом за тем душевным движением, от которого стихи родились, доверилась звуку предстиховой тишины и он повел ее точной доро́гой: доро́гой пушкинской памяти, которая казнью декабристов была ранена навсегда. Она проникла в «отдаленное страданье».

Я попыталась высказать всё это ей, но не успела. (6) В дверь постучали. Вошла пожилая, неряшливо раскрашенная женщина, с соломенными волосами, уже почерневшими у корней. Анна Андреевна поднялась, накинула шаль и учтиво приветствовала гостью. Это оказалась редакторша, принесшая ей для перевода норвежские стихи. Подстрочники. Я притащила из кухни для нее табуретку, Анна Андреевна величаво опустилась на стул, я устроилась в углу постели.

Из разговора мне сделалось понятно, что норвежец в нынешнем году празднует свое пятидесятилетие, книжку его у нас выпускают молнией и по всему по этому Ахматова должна переводить «в срочном порядке». (7)

— Вам, с вашей высокой техникой, это не составит труда, — объясняла редакторша. — Я выбрала для вас самые разные... Я уверена, вам понравятся... Вы будете довольны... Я придерживалась вашего вкуса...

(Словно речь идет о материи на платье и продавщица подбирает подходящие цвета для дамы-покупательницы!)

Анна Андреевна внимательно прочитала подстрочники один за другим. Потом попросила редакторшу указать возле каждого стихотворения, какой где размер.

---

(6) Приведенный разговор имеет прямое касательство к неоконченной статье Ахматовой «Пушкин и Невское взморье». Впервые эта статья была опубликована Э. Г. Герштейн в «Литературной Газете» 4 июня 1969 года. Ныне все статьи Ахматовой о Пушкине, опубликованные ранее и неопубликованные, оконченные и неоконченные, а также многие из черновых набросков к задуманной книге, — собраны и прокомментированы Э. Г. Герштейн в сб.: Анна Ахматова. О Пушкине. Статьи и заметки. Л., «Советский писатель», 1977. (Сборник этот в дальнейшем мы для краткости будем именовать ОП). Статью «Пушкин и Невское взморье» — см. ОП, стр. 148.

(7) Речь шла о переводах из Нурдаля Грига — см. «Избранное», М., Гослитиздат, 1953.

Редакторша заметалась.

— Я не умею... я недостаточно овладела теорией... я занимаюсь этим недавно... я замещаю.

Анна Андреевна сняла очки, аккуратно собрала подстрочники и уложила их в сумку. Потом спросила у редакторши, когда договор. О договоре та знала столько же, сколько о размерах.

Анна Андреевна смолкла, явно ожидая, когда посетительница уйдет. На лице — оледенелый гнев.

Редакторша поднялась, я проводила ее в переднюю и заперла за нею дверь.

Когда я вернулась, Анна Андреевна уже снова лежала на спине, широкая, на своей неширокой постели.

— А помните, — спросила я, — очень давно, в Ленинграде, вы говорили, что никогда не станете переводить?

— Да, помню. — И, медленным голосом: — Теперь-то мне уже все равно, а в творческий период поэту, конечно, переводить нельзя. Это то же самое, что есть свой мозг.

31 августа 52

Несколько дней назад я забежала на минуточку к Анне Андреевне.

Она с распущенными волосами, только что после ванны.

Вернулась из Крыма Нина Антоновна — веселая, энергичная, красивая, загар, как шоколад. Мне показалось, Анна Андреевна тоже повеселела.

Нина Антоновна командует ею с заботливой свирепостью:

— Не сидите после ванны так близко от окна. Пересядьте, дует.

— Вы надели не то ожерелье. Сейчас подам другое. Не ленитесь, наденьте.

— M-me, вы забыли, что вам до конца жизни запрещена ветчина.

Анна Андреевна слушается кротко и радостно. [4])

4 сентября 52

Вчера я была у Анны Андреевны.

Она показала мне экземпляр своей книжки — той, уничтоженной. Ей ее подарил Сурков, а титул украшен драгоценным автографом Еголина. Построен сборник так же, как и «Из шести книг»; есть и незнакомый мне отдел: «Нечет», на который я сразу накинулась. (8) Но Анна Андреевна вынула у меня книгу из рук, заявив, что ей скучно так сидеть: «лучше я расскажу вам о Пушкине».

Она по-своему анализирует обстоятельства, приведшие к дуэли. Исходит она из того, что роман Дантеса с Наталией Николаевной длился не два года, как принято полагать, а всего полгода.

Пушкин угадал автора анонимных писем — Геккерна — и убедил в его авторстве Бенкендорфа и царя; но на этом удачи его наступления кончились. Женитьба на Екатерине Гончаровой, к которой Пушкин принудил Дантеса, на самом деле вполне устраивала жениха, потому что Наталию Николаевну он уже не любил, а женитьба на девушке хорошей фамилии была ему необходима. Геккерн и Дантес, в противовес пушкинской, создали собственную версию этой женитьбы: Дантес, мол, героически женится на Екатерине Гончаровой во имя своей высокой страсти к Наталии Николаевне: чтобы быть поближе к любимой женщине. Этой версией они уничтожали пушкинскую, для Дантеса позорную.

Говорила Анна Андреевна с большой горячностью.

— Пушкин, который даже Музу свою не подпускал к своему семейному очагу! и вдруг царь унтер-офицерскими лапами лезет в его семейную жизнь и делает замечание Наталии Николаевне, «предостерегая ее отечески»! Мог ли он это перенести? (9)

---

(8) Речь идет о книге стихотворений Ахматовой, уже подписанной к печати в 1946 г. и уничтоженной после Постановления ЦК. По-видимому, несколько экземпляров из отпечатанного тиража все-таки сохранились и один оказался сначала у А. М. Еголина, а потом у А. А. Суркова.

А. М. Еголин — деятельный гонитель Ахматовой. После Постановления ЦК он выступил против нее с погромной статьей в журнале «Звезда», 1946, № 10. О Еголине подробнее в предисловии («Немного истории») и в примеч. [98]).

(9) Этот разговор имеет прямое отношение к неоконченной работе Ахматовой «Гибель Пушкина» — см. ОП, стр. 119.

Любовную связь Пушкина с Александриной Гончаровой Ахматова отвергает решительно.

Рассказала мне также о дневнике Александрины, найденном в Австрии во время войны.

Из него явствует, что Наталия Николаевна виделась с Дантесом, уже сделавшись Ланской.

— Конечно, она в ту пору была уже старая толстая бабища, так что никакие зефиры и амуры тут ни при чем. Ей просто захотелось дружески побеседовать с человеком, который убил ее мужа и оставил сиротами ее четверых детей. (10)

Я спросила, прочитала ли Анна Андреевна «Грибоедова и декабристов» Нечкиной — книгу, которая мне кажется очень интересной, хотя Тамара Григорьевна считает ее неубедительной, «это собственно целый том одного лишь «и» — Грибоедова в книге нет, декабристов тоже нет, а на сотни страниц тянутся обоснования для «и».

— Тамара Григорьевна права, — ответила Анна Андреевна, — но дело обстоит еще хуже: какой длины ни тянулось бы «и», я все равно не верю, что Грибоедов был декабристом. Его дальнейшая карьера опровергает такое предположение. Они никогда не позволили бы ему сделаться блестящим дипломатом, если бы он принадлежал к тайному обществу... Вспомните, какую жизнь они устроили Катенину. [5])

Почему-то — не знаю уж, почему — мы заговорили о грубости. Анна Андреевна сказала, что единственное место, где с ней неуклонно и постоянно грубы, — это Ленинградское отделение издательства «Советский писатель».

— Грубость апокалипсическая! Секретарша называет меня Анной Михайловной. Я звоню раз в месяц, а она кричит так, будто я сегодня уже шесть раз звонила. Эта баба прислала мне письмо с надписью на конверте: «А. Ахматовой». Я

---

(10) Об этом эпизоде рассказала Анне Андреевне известная пушкинистка Т. Г. Зенгер-Цявловская. Через некоторое время Цявловская сама усумнилась в истинности своего сообщения. Действительно ли Н. Н. Ланская, гостя у своей сестры в Австрии, в Бродянах, лично встретилась там с убийцей Пушкина — этот факт и по сию пору считается пушкинистами неустановленным. См. ОП, стр. 118-119 и 245.

этот конверт храню... (11) А в других местах, всюду, в Гослите здесь и в Гослите в Ленинграде, в «Советском Писателе» здесь — всюду со мной безупречно предупредительны и вежливы.

Она осведомилась, как идут мои хлопоты об Эмме Григорьевне; я доложила; она вникала во все подробности. Я сказала, что в удаче не уверена, но попытки буду продолжать. (12)

— Только бы удалось! — сказала Анна Андреевна со вздохом. И добавила:

— Вы заметили? Делать зло легко, оно удается всегда, а вот сделать хоть что-нибудь доброе очень трудно. Одна дама уверяла меня, что, напротив, делать добро легко, но я думаю, она просто не пробовала. Как вы полагаете?

29 декабря 52

Сегодня по телефону светлый голос Ахматовой.

— Что́ не приходите?.. А я сейчас еду в больницу, к Борису Леонидовичу. Что́ ему от вас передать?

Мы условились повидаться во вторник, то есть за́втра.

31 декабря 52

Вчера была на Ордынке.

Нина Антоновна украшает елку. На диване, рядом с Анной Андреевной, собака Лапа, непонятной породы и загадочного нрава. Внезапно, вдруг, безо всякой видимой причины, среди разговора, взлаивает и даже кидается.

Анна Андреевна за чаем рассказала о Борисе Леонидовиче:

---

(11) Хранит как знак невежливости. Анна Андреевна полагала — в соответствии с представлениями интеллигентных людей ее времени — что на конверте (или в обращении) имя и отчество каждого человека полагается писать в развернутом, а не сокращенном виде.

Об употреблении имени поэта в печати см. примеч. на стр. 43.

(12) Э. Г. Герштейн долгие годы жила на случайные заработки; друзья — в том числе и я — пытались приискать для нее работу более или менее постоянную. О ней см. «Записки», т. 1, примеч. к стр. 54.

— Он напуган своею болезнью. После больницы едет с Зинаидой Николаевной в Узкое. Какой красивый стал! Ему переменили передние зубы. Конечно, лошадиность придавала лицу своеобразие, но так гораздо лучше. Бледный, красивый, голова большого благородства.

Увела меня к себе и прочитала куски из I и II акта «Марьон Делорм». Говорит, что Гюго исказил историческую Марьон и что в этом искажении есть нечто безнравственное.

Потом сказала:

— Драму можно переводить, прозу тоже, но в переводы лирических стихов я не верю.

И тут я спросила: «а вы сейчас пишете свое?» Я еще не успела окончить фразу, как мне стыдно стало за свою жестокость и глупость

Но Анна Андреевна ответила спокойно, с достоинством:

— Конечно, нет. Переводы не дают. Лежишь и прикидываешь варианты... Какие стихи, что вы!

Заговорили о переводах Бориса Леонидовича.

— Замечательны у него «Хроники», — сказала Анна Андреевна. — Я сличала. И «Макбет». Я подлинник почти целиком наизусть знаю. Перевод очень точный.

— А «Фауст»?

— Пестро. Начало, где ангелы поют, лучше, чем у Гете. Но вот Маргарита иногда у него грубее, чем надо. У Гете она девочка. Примеряя убор, говорит: «Ах, какие богатые счастливые. А мы бедные». У Пастернака это место сделано не так наивно, гораздо взрослее. Но дальше уже идет точно, ему снова удается Маргарита-дитя.

1953

17 января 53

Была на днях у Анны Андреевны. Она читала мне Гюго — опять Гюго, будь он неладен! Скоро она уезжает.

19 апреля 53 (13)

— Ночью я несколько раз просыпалась от счастья, — сказала Анна Андреевна, когда разговор зашел об освобождении врачей. [6])

В столовой пили чай два остроумца — Ардов и Шток. [7]) Мы присоединились к ним ненадолго. Взвизгивала из-под дивана Лапа: оказывается, ее в детстве ударили ногой и она теперь на всякий случай всех боится. Анна Андреевна величественно сидела посреди дивана и высочайше покровительствовала остротам.

Когда мы вернулись к ней в комнату, она прочитывала мне 5-й акт Марьон Делорм. Струятся, струятся стихи, мерным, прекрасным движением, а по мне хоть бы их и вовсе не было. Я не могу словами определить разницу — где поэзия, а где мертвечина, но слышу ее ясно. Мне хотелось спросить у Анны Андреевны, много ли денег даст ей Гюго, то есть надолго ли освободит от необходимости переводить, но я не решилась.

Она бранила маршаковские переводы сонетов Шекспира.

---

(13) Напоминаю читателю, что в промежутке между этой и предыдущей датой — в марте 1953 г. — умер Сталин.

— И зачем это ему понадобилось переводить всё? Ну выбрал бы один-два любимых... И в действительности ведь сонеты в большинстве своем посвящены мужчине, а в переводах женщине. Фальсификация какая-то.

1 мая 53

К четырем часам, как обещала накануне, я собиралась к Анне Андреевне. В 3 внезапно позвонил Д. и со свойственной ему настырностью стал требовать, чтобы я ехала с ним в Загорск. Я отказывалась, он настаивал. Тогда, чтобы он понял всю невозможность, я объяснила, куда иду. Не подействовало, напротив, — только поддало жару: он заявил, что мы возьмем Ахматову с собой. «Это ведь первая дама Империи!» — кричал он в восторге.

Знакомить Анну Андреевну с Д. у меня не было охоты. «Она-то первая, да вы не второй», — сказала я. Но может быть, она — одна и скучает. Может быть, ей захочется в Загорск?

Я решила ей позвонить.

В ответ на мое предложение раздался обрадованный голос:

— Всю жизнь мечтала побывать в Загорске. Поблагодарите вашего приятеля. Жду вас.

И трубка была повешена с такой быстротой, с какою, кажется, умеет ее вешать только она одна.

Минут через пять Д. был у моих ворот. Через десять мы подъезжали к дому на Ордынке. Вел машину шофер. Ехал с нами и Петя, сын Д., толстый угрюмый мальчик лет 13-ти.

Я поднялась к Анне Андреевне. Она довольно долго пила кофе и собиралась. Наконец, надела старое пальто, старые черные перчатки, повязала лицо под шляпой старомодной вуалью, и мы спустились.

Д. усадил Анну Андреевну впереди, рядом с шофером, и хорошо сделал, потому что сын его, Петя, в виде протеста, что едем мы не туда, куда хотел он — в Углич, а туда, куда хотел отец — в Загорск — барином развалился на заднем сидении, и нам с Д. было решительно некуда девать свои руки и ноги.

Я в долгу перед Подмосковьем — я его совсем не знаю,

наверное, в отместку судьбе, насильно разлучившей меня с Павловском и Царским. И не знаю зря. Чуть только из-под арки ворот глянули мне в глаза звезды на куполах, сердце обрадовалось: какой веселый храм! и кругом тоже всё пестрое, веселое, праздничное, разное!

Но лучше всех архитектурных чудес была на этой прогулке Анна Андреевна. Я давно не видела ее в таком спокойном, добром и радостном духе. Омрачилась она за всю прогулку только один раз: мы проезжали мимо Рижского вокзала, и она, по ее словам, впервые его разглядела.

— Ужасно, — сказала она, отворачиваясь. И через минуту, хотя вокзал уже остался далеко позади: — Постыдно. И на таком видном месте! [8])

Стрекотание Д., к моему удивлению, не раздражало ее: напротив, она весело и добродушно на него откликалась. Ее образованность светила нам всю дорогу. Отвечая на расспросы шофера и наши, она рассказывала нам о Сергии Радонежском, о возведении Лавры, о поляках и татарах.

Когда мы вышли из машины в Загорске, нас сразу охватил ветер. День был темный, ветреный, близился дождь.

Мы вошли в Патриаршую церковь. На паперти копошились нищие, совершенно суриковские. Анна Андреевна, сосредоточенно крестясь, уверенной поступью, торжественно шла по длинному храму вперед, а мы плелись за нею. (Мне в церкви всегда неловко). Пение было ангельское. Из Патриаршего храма мы пошли в другой, поменьше. Вокруг нас шептались: «Мирские, мирские!» Тут пели не только певчие, но и прихожане. Пение стройное, сильное, будто не люди, а сама церковь поет. Лиц таких не увидишь на улице Горького; тут нет серой, безличной толпы, стертых лиц; каждое лицо определенное, свое; и глаза не без сумасшедшинки, особенно у женщин.

Анна Андреевна опустилась на колени перед иконой Божьей Матери, а мы вышли.

Скоро она присоединилась к нам. Мы направились было в Музей — но он, по случаю 1 мая, оказался закрыт, и мы просто побродили по двору минут 20, любуясь на уютную семью церквей — таких разных и таких похожих. Бродили бы и дольше, если бы не буйный ветер.

Д. все время порывался сфотографировать Анну Андре-

евну. Она не позволяла, он настаивал. Тогда она, помедлив секунду, повела вокруг зоркими глазами и сразу нашла то, что искала:

— «Фотографировать запрещено» — прочитала она по складам. — Видите? Черной краской? И отлично. А то сказали бы, что я специально сюда приехала сниматься на фоне древностей.

Но когда мы вышли на площадь, Д. все-таки ухитрился снять нас обеих возле машины.

Мы быстро уселись внутрь, спасаясь от ветра.

— У вас волосы стояли дыбом, когда нас снимали, — шаловливо сказала мне Анна Андреевна. — До самого неба. Вот будет интересная фотография! (14)

Д. открыл свой тугой портфель и закормил нас бутербродами, шоколадом и пастилой.

Отправились в обратный путь. В машине стало просторнее: сытый Петя подобрел и уселся по-божески. Я тоже стала испытывать к Д. нечто вроде благодарности за эту интересную и уютную поездку.

Дождь не состоялся. Посветлело. Плохая дорога длилась недолго. Вдруг из-за туч вышло солнце, и всё засияло кругом. Едва распускающиеся деревья бежали по сторонам. Под солнцем стало видно, что они зеленеют. Анна Андреевна рассказывала об Истре, где была у Эренбургов, и о Новом Иерусалиме. Д. спросил, посетила ли она выставку 53 года. «Да». — «Ну, как?» — «Опять двойка!» (15)

Д. захохотал. Он вообще оказался смешлив, словно дьякон в «Дуэли».

Анна Андреевна стала рассказывать, весьма неодобрительно, о Музее-квартире Пушкина на Мойке в Ленинграде.

— Я помню, как в квартире Пушкина помещался Рыбтрест. Потом на том месте, где Пушкин умер, — ванная. Это

---

(14) Эта фотография, к сожалению, сохранилась. Она чудовищна. Я — настоящее огородное чучело, и даже А. А. некрасива. Примеч. 1969 г.

(15) «Опять двойка!» — картина Ф. Решетникова (р. 1907), появившаяся в 1952 году на ежегодной выставке художников РСФСР.

уже на моей памяти. Зачем же внушать экскурсантам, будто всё так и было при Пушкине, как в этой квартире сейчас? И какая бестактность, какое бездушие — повесить в его спальне, над его постелью витрину с портретами всех его врагов! Тут и Николай I, и Уваров, и Бенкендорф, и Полетика. Внизу бы повесили, в раздевалке, там можно 20 таких витрин разместить. Поглядев на это, я раздумалась о том, что такое слава. Умрешь, и над твоей постелью повесят портреты твоих врагов... Да ну ее к черту!

Д. захохотал..

Анна Андреевна внимательно глядела в окно. Еще в Лавре она сказала мне:

— Сколько пьяных! Все, кроме нас. Посмотрите на этого — бедненький! для праздника голубенькую рубашечку надел, а теперь ноги не держат.

И по дороге она все дивилась пьяным.

— Это как в день мира с Финляндией, помните, Лидия Корнеевна? Я шла к вам (а жили мы друг от друга очень близко — пояснила она Д.) — и по пути насчитала четырех женщин, лежавших в луже и уже успевших примерзнуть.

Д. захохотал. Я перестала испытывать благодарность.

Мы снова проезжали мимо Рижского вокзала.

— А, вот оно опять, — сказала Анна Андреевна. — Да. Так и есть. Оно.

Д. повез нас смотреть иллюминацию, Ленинские горы, Университет.

Выйдя из машины во дворе на Ордынке и поблагодарив Д., Анна Андреевна сказала:

— Я запомню 1 мая 1953 года. Счастливый день.

Д. был очень польщен. Подвозя меня на улицу Горького, он все повторял:

— Она может считаться первой дамой Империи, не правда ли? Многие ее высказывания имеют, не правда ли, м е м у а р н ы й х а р а к т е р?

4 мая 53

Сегодня я провела у Анны Андреевны совсем ленинградский вечер: читала она мне, наконец, собственные стихи, а не переводы. Читала Ахматову — не Гюго.

Пять стихотворений 45-46 г. — « Cinque ». «Иду я, чудеса творя». В самом деле, чудеса: 5 чудес. (16)

В довершение счастья, она, без просьбы с моей стороны, подарила мне окончательный вариант «Поэмы». Надписи не сделала, только поставила на обложке свое перечеркнутое А. Говорит, что вынуждена писать к «Поэме» новое предисловие: вещь эта вызывает множество кривотолков, политических и непристойных. (17)

---

(16) « Cinque » — «Как у облака на краю», «Истлевают звуки в эфире», «Я не любила с давних дней», «Знаешь сам, что не стану славить», «Не дышали мы сонными маками» — Анна Ахматова. Бег времени. М.-Л., «Советский писатель», 1965, Седьмая книга (в дальнейшем это издание мы будем кратко именовать БВ).

(17) Ахматова работала над «Поэмой без героя» с осени 1940 г. и почти что до конца своей жизни. (Последние, известные мне, перемены сделаны ею в 1965 году.) Изменениям подвергался и отрывок «Вместо предисловия», возникший в 1943 г. В том экземпляре 53 года, о котором идет здесь речь, текст «Вместо предисловия» — уже не удовлетворявший автора — был таков:

«Она пришла ко мне в ночь на 27 декабря 1940 г., прислав как вестника, еще осенью один небольшой отрывок (про актерку).

Я не звала ее. Я даже не ждала ее в тот холодный и темный день моей последней ленинградской зимы.

Ее появлению предшествовало несколько мелких и незначительных фактов, которые я не решаюсь назвать событиями. («Бес попутал в укладке рыться»).

В ту ночь я написала два куска первой части («1913») и «Посвящение». В начале января я почти неожиданно для себя написала «Решку», а в Ташкенте (в два приема) — «Эпилог», ставший третьей частью поэмы, и сделала несколько существеннейших вставок в обе первые части. *)

Я посвящаю эту поэму памяти ее первых слушателей — моих друзей и сограждан, погибших в Ленинграде во время осады.

Их голоса я слышу и вспоминаю их отзывы теперь, когда читаю поэму вслух, и этот тайный хор стал для меня навсегда оправданием этой вещи.

Всё это ни в какой мере не отменяет первоначальные (НЕ УКАЗАННЫЕ) посвящения, которые продолжают жить в поэме своей жизнью.

8 апреля 1943
Ташкент

*) Работу над поэмой я продолжала и после возвращения в Ленинград (т. е. после 1 июня 1944).

[Окончание сноски на стр. 21.]

Тут же она сообщила прекрасную новость: ее перевод Гюго принят, деньги ей должны перевести на днях!

— Мне говорили: «Котов любит держать счета на столе», но мой он подписал сразу. (18)

Когда получит все деньги, собирается купить Алеше Баталову в подарок «Москвича». (Та комната, которую она занимает на Ордынке — это ведь Алешина комната.)

Неужели у нее будут деньги? Неужели когда-нибудь окончится ее нищета? Вот еще одна безусловная заслуга Гюго перед литературой: благодаря ему на какое-то время Ахматова избавится от переводов и снова будут беспрепятственно рождаться ее стихи.

...Вечер мы провели с ней совсем по-ленинградски еще и потому, увы! что она рассказывала мне о последних подвигах Двора Чудес. (19) А я-то воображала — это уже позади!

14 мая 53

Сегодня среди дня вдруг позвонила Анна Андреевна: «Можно к вам сейчас?» — пришла и просидела до вечера.

В солнечном луче, от которого она не отклонялась, ярко были видны ее зеленые глаза и глядящая из них — она.

Я сейчас читаю дневники Толстого, том за томом, один лежал на столе. Анна Андреевна заговорила о Толстом. Как всегда, когда она говорит о нем, в ее речах смесь негодования и восторга.

До меня часто доходят слухи о превратных и нелепых толкованиях «Поэмы без героя». И кто-то даже советует мне сделать поэму более понятной.

Я воздержусь от этого.

Никаких третьих, седьмых и двадцать девятых смыслов поэма не содержит.

Ни изменять, ни объяснять ее я не буду.

«Еже писах — писах».

Ленинград
Ноябрь 1944 года»

(18) Анатолий Константинович Котов (1909-1956) — в то время директор Гослитиздата.

(19) О деятельности Двора Чудес см. «Записки», т. 1, стр. 117.

— Силища какая. Полубог! Но все из себя и через себя — и только. Пока он любил Софью Андреевну, она и в Кити, она и в Наташе... Да, да, и в Наташе, не удивляйтесь... Вы думаете, отчего Наташа жмот — в конце, в эпилоге? От того, что Софья Андреевна оказалась скупой. Другой причины нет: ведь Наташа-то была добрая, щедрая, сбрасывала с саней вещи, чтоб поместить раненых... Отчего же она стала скупая? Софья Андреевна!.. А когда он разлюбил Софью Андревну — тогда и «Крейцерова Соната», и вообще чтобы никто никого не любил — никто, никогда! — и чтоб никто ни на ком не смел жениться.

«Воскресенье»... В чем корень книги? В том, что сам он, Лев Николаевич, не догадался жениться на проститутке, упустил своевременно такую возможность... А деревня там, конечно, ненастоящая, деревня, как правило, такой не была, это он на голоде такую видел и сюда вписал. И эс-эры там не эс-эры, а толстовцы. Все через себя, всегда и только — уверяю вас.

Исторической стилизацией — стилизацией в хорошем смысле слова, в смысле соблюдения признаков времени — он никогда не занимался. Высшее общество в «Войне и Мире» изображено современное ему, а не александровское. Отчасти он прав: высшее обществе менялось менее всего, но все-таки оно менялось. При Александре, например, оно было гораздо образованнее, чем потом. Наташа — если бы он написал ее в соответствии с временем — должна была бы знать пушкинские стихи, Пьер должен был бы привезти в Лысые Горы известие о ссылке Пушкина. И, разумеется, никаких пеленок: женщины александровского времени занимались чтением, музыкой, светскими беседами на литературные темы и сами детей не нянчили. Это Софья Андреевна погрузилась в пеленки, потому и Наташа.

Затем она стала рассматривать первый герценовско-огаревский том «Литературного Наследства». Из ее вопросов я с огорчением убедилась, что, хотя она и ценит высоко Герцена, знает она его менее, чем мне хотелось бы, и меньше, чем я. [9]) Я не утерпела и, когда Анна Андреевна кончила рассматривать том «Наследства», сняла с полки несколько моих любимых статей — те, где мысли ходят валами ритма — и

прочитала ей вслух. По-видимому, она была увлечена, потому что, пока я разогревала обед, а потом бегала вниз за мороженым, она прилежно перелистывала Лемке, перечитывая те же статьи — «Плач», «Письма к противнику», «Поляки прощают нас» и пр. [10])

— Да, — сказала она за обедом, — великая проза, наравне с гоголевской, достоевской... Вы правы: именно это есть проза Герцена, а не его беллетристика: «Кто виноват» и «Сорока-воровка». То — второсортно.

...Я между прочим спросила у нее, получила ли она деньги за свои переводы? Она рассмеялась:

— Представьте себе, я рассчитывала в этот раз получить 9 тысяч, а получила 58!

Был уже вечер, когда я отправилась ее провожать. Мы шли пешком. Когда мы проходили через Красную Площадь, Анна Андреевна показала мне дом Бориса Годунова. [11]) Сообщила, что из ленинградского издательства ей внезапно вернули рукопись книги «Нечет»; раньше отказывались, а теперь вот вернули сами «за истечением срока хранения в архиве».

Мы взошли на мост. Анна Андреевна сказала радостно:

— Вот, получила деньги и теперь буду отдавать долги. Я Борису Леонидовичу 8 тысяч должна. У меня с этим семейством странные финансовые отношения. Борис Леонидович человек благородный, добрый, помогает многим, ссыльным и не ссыльным, да еще содержит детей Ольги Всеволодовны. (20) Зина же скупа. Чтоб оправдаться, он ее уверяет, будто все эти деньги дает мне. В ее представлении вот уже много лет он меня роскошно содержит. И вдруг я принесу всего 8 тысяч!

На мосту к нам подбежали две молоденькие девушки: «Как пройти к Малому Театру?» Анна Андреевна подробно и толково объяснила им. Мне жаль было, что девочки не знают, кто она, и не запомнят на всю жизнь ее лицо.

---

(20) Об О. В. Ивинской и о ее первом пребывании в лагере см. примеч. [84]).

20 мая 53

Третьего дня Анна Андреевна уехала в Болшево.

30 июня 53

Вот и мне привелось доставить радость Анне Андреевне. Третьего дня она меня позвала; я пошла под вечер.

Жара, в горле пересохло. Когда Анна Андреевна предложила мне чаю, я обрадовалась. Ответила строкой:

— «И я прошу как милости...»

— Как милостыни? — повторила она, подняв брови.

— Нет, как милости, — поправила я вполне уверенно, — «И я прошу как милости».

— О чем же тут уж так просить? — сказала Анна Андреевна недовольно.

Только в этот миг меня осенило, что она принимает собственные стихи за мою просьбу.

« — Но знаю, что иду туда, к врагу» —

сказала я еще одну строчку.

Тогда она вдруг поняла и все ее лицо осветилось.

« — Но знаю, что иду туда, к врагу» — произнесла она по складам, прислушиваясь.

Я прочитала:

И я прошу как милости. Но там
Темно и тихо. Мой окончен праздник.
Уж тридцать лет как проводили дам.
От старости скончался тот проказник.
Я опоздала. Экая беда!
Нельзя мне показаться никуда. (21)

Она и праздника, оказывается, не помнила и ужасно обрадовалась ему, вернувшемуся из небытия, и трогательно меня благодарила.

Дальше начались огорчения: это всего лишь середина — и ни начала, ни конца. Анна Андреевна уверяла меня, что я

---

(21) «Подвал памяти» — см. «Записки», т. 1; № 24, а также в книге, подготовленной к печати академиком В. М. Жирмунским: Анна Ахматова. Стихотворения и поэмы. Библиотека Поэта. Большая серия. Л., «Советский писатель», 1976, стр. 196. (В дальнейшем это издание мы будем для краткости именовать так: ББП.)

должна вспомнить всё, а я надеялась на неё. Я спросила, неужели это не записано?

— Было записано, — ответила она неопределенно.

Быть может, по случаю воскрешения «Подвала памяти» мы многое вспомнили в этот вечер из ленинградских вместе пережитых времен. И она задала мне тот вопрос, который все сейчас задают друг другу: надеялась ли я дожить до смерти Сталина?

— Нет, — ответила я. — Как-то про это не думалось. Я жила в сознании, что он придан нам навсегда. А вы? Надеялись дожить до его смерти?

Она покачала головой.

Я спросила, как она думает: предполагал ли сам он когда-нибудь умереть?

— Нет, — ответила она. — Наверное, нет. Смерть — это было только для других, и он сам ею ведал.

Провожая меня в переднюю, она сказала:

— Вот как мы с вами сегодня хорошо поговорили — по душам. А то всё литература и литература.

5 июля 53

Сегодня Анна Андреевна расказала мне свой «первый день» (22):

— Утром, ничего решительно не зная, я пошла в Союз за лимитом. В коридоре встретила Зою[12]). Она посмотрела на меня заплаканными глазами, быстро поздоровалась и прошла. Я думаю: «бедняга, опять у нее какое-то несчастье, а ведь недавно сына убили». Потом навстречу сын Прокофьева. Этот от меня просто шарахнулся. Вот, думаю, невежа. Прихожу

---

(22) Рассказала о том, как она ничего не знала о постановлении 46 года, когда о нем уже знали все. Оно было вынесено 14 августа. По-видимому, А. А. посетила Союз между 16-м и 19-м; в эти дни Жданов выступал в Ленинграде дважды (см. газеты 22 августа 1946 года: «Правда», «Ленинградская правда», «Вечерний Ленинград»). В городе и уж, конечно, в Союзе, знали о катастрофе, но А. А. — нет. Когда она пришла в Союз, ее удивило, как странно при виде нее ведут себя люди: одни плачут, другие пугаются.

в комнату, где выдают лимит, и воочию вижу эпидемию гриппа: все барышни сморкаются, у всех красные глаза. Анна Георгиевна[13]) меня спросила: «Вы сегодня, Анна Андреевна, будете вечером в Смольном?» Нет, говорю, не буду, душно очень.

Получила лимит, иду домой.

А по другой стороне Шпалерной, вижу, идет Миша Зощенко.

Кто Мишеньку не знает? Мы с ним, конечно, тоже всю жизнь знакомы, но дружны никогда не были — так, раскланивались издали. А тут, вижу, он бежит ко мне с другой стороны улицы. Поцеловал обе руки и спрашивает: «Ну, что же теперь, Анна Андреевна? Терпеть?» Я слышала в полуха, что дома у него какая-то неурядица. Отвечаю: «Терпеть, Мишенька, терпеть!» И проследовала... Я ничего тогда не знала.

Это случилось 7 лет назад. И длится до сих пор.

Сегодня она озабочена Сурковым: тем, что он не звонит. Он — редактор ее новой книги. Чагин обещал, что Сурков позвонит ей... Состав книги предписан такой:

I. Переводы.

II. Стихи о мире.

III. Лирика после 46 года.

После 46-го... Только после 46-го! А *до*, видимо, все зачумленное.

И еще озабочена она тем, что, несмотря на большой успех ее Марьон Делорм среди специалистов, ей в Гослите не предложили ничего нового из Гюго. Дали китайца, необыкновенно трудного.

— Работала три часа, глянула в зеркало — губы посинели... Такой трудный! — объяснила она. (23)

Показала мне подстрочник, по ее словам «совершенно немотствующий». Он сделан каким-то старым специалистом. Тут же на полях карандашные разъяснения более молодого, более толкового китаеведа. И — крохотный китайский иероглиф, который ее очень трогает.

---

(23) Речь идет о стихах великого китайского поэта Цюй Юаня (предположительно: 340-278 до нашей эры). Об ахматовских переводах из Цюй Юаня см. стр. 28, 59 и 62.

Анна Ахматова.

Поэма без героя.

„Tout le monde a raison."
Rochefoucault.

Ленинград (1940) – Ташкент (1942)

Дарю эту тетрадь
моему дорогому другу Л. К. Ч.
с любовью и благодарностью
А

Все вы мной любоваться могли бы,
Когда в брюхе летучей рыбы
Я от злой погони спаслась
И над Ладогой и над лесом,
Словно та одержимая бесом,
Как на Брокен ночной неслась.
А за мною тайной сверкая
И назвавши себя – Седьмая
На неслыханный мчалась пир,
Притворившись нотной тетрадкой
Знаменитая Ленинградка
Возвращалась в родной эфир.

Окончено 19 августа
1942.
Ташкент.

×

× ×

Часть II-ая
Решка.
(Intermezzo).

В. Г. Гаршину.

„Я воды Леты пью.
Мне доктором запрещена
унылость."
Пушкин.

Мой редактор был недоволен,
Клялся мне, что занят и болен,
Засекретил свой телефон...
Как же можно! три темы сразу!
Прочитав последнюю фразу,
Не понять, кто в кого влюблен.

Я сначала сдалась. Но снова
Выпадало за словом слово,
Музыкальный ящик гремел.
И над тем надбитым флаконом,
Языком прямым и зеленым,
Неизвестный мне яд горел.

А во сне все казалось, что это
Я пишу для кого-то либретто
И отбоя от музыки нет,
А ведь сон – это тоже вещица!
"Soft embalmer." Синяя Птица.
Эльсинорских террас парапет.

И сама я была не рада
Этой адской арлекинаде,
Издалека заслышав вой.
Все надеялась я, что мимо
Пронесется, как хлопья дыма,
Сквозь таинственный сумрак хвой.

Не отбиться от рухляди пестрой!
Это старый чудит Калиостро
За мою к нему нелюбовь.
И мелькают летучие мыши,

Милую Лидию Корнеевну,
узнайте про мою книгу
и когда уезжает Радзинск
Очень жаль, что не
увижу Вас — никого не
пускают.
Ахм.

27 ноября 1942 года. Ташкент. Записка из больницы

С грозных ли площадей Ленингра
Иль с блаженных летейских полей
Ты прислал мне такую прохладу
Тополями украсил ограду
И небесных светил ~~мириады~~
Разослал над печалью моей.

Я твоей доброты несравненной

1942, Ташкент. Черновой набросок



Анна Ахматова на могиле художника А. А. Осмеркина.
Москва, 29 июня 1953 года.



Борис Пастернак и Лидия Чуковская (1952)



Лидия Чуковская, Переделкино, 50-е годы.

к стр. 84

Милой

Лидии Корнеевне

Чуковской

давнюю книгу

на память о ее авторе

с любовью

Ахматова.

28 июня

1955

Москва

Лидии Корнеевне
Чуковской

Вы хотите, чтобы я над-
писал Вам Шекспира. Тогда
я напоминаю Вам с благодар-
ностью, как нравилось мне
многое из Ваших стихов и
места в поэме, и какою
поддержкой были разгово-
ры с Вами, когда я еще
что-то поделывал и начи-
нал роман.

Б. Пастернак
7 авг. 1949 г.

к стр. 201

+ **ВОРОНЕЖ** О. М.

И город весь стоит оледенелый.
Как под стеклом деревья, стены, снег.
По хрусталям я прохожу несмело.
Узорных санок так неверен бег.
А над Петром воронежским — вороны,
Да тополя, и свод светлозеленый,
Размытый, мутный, в солнечной пыли,
И Куликовской битвой веют склоны
Могучей, победительной земли.

. . . .

И тополя, как сдвинутые чаши,
Над нами сразу зазвенят сильней,
Как будто пьют за ликованье наше
На брачном пире тысячи гостей.

1936 — в комнате опального поэта
(Март) Дежурят страх и Муза в свой черед
И ночь идет, Которая не ведает рассвета

к стр. 212



Лидии Корнеевне
Чуковской
большому другу моему
на добрую память
Б. П.

к стр. 239

АННА АХМАТОВА

Стихотворения

Лидии Корнеевне
Чуковской,
чтобы она вспомнила
все, чего нет в этой книге
Ахматова.

Государственное
издательство
художественной
литературы

Москва 1958

19 декабря
1958
Москва

Последний сонет

Здесь всё меня переживёт
Всё, даже ветхие скворешни
И этот воздух, воздух вешний
Морской свершивший перелёт.

И голос вечности зовёт,

ПЕРЕВОДЫ

С неодолимостью нездешней
И над цветущею черешней
Сиянье лёгкий месяц льёт.

И кажется такой нетрудной,
Белея в чаще изумрудной
Дорога не скажу куда,

Там средь стволов еще светлее
И все похоже на аллею
У Царскосельского пруда.

1958 июнь

Комарово

к стр. 333

БИБЛИОТЕКА
СОВЕТСКОЙ
ПОЭЗИИ

Милой
Лидии Корнеевне
Чуковской
за ее поэтичное
и глубокое отношение
к этим стихам
дружески
Анна Ахматова
22 июня 1961


1962
20 авг.
Комарово
1926
Фонтанный
Дом
Милой
Лидии Корнеевне
Чуковской
от ее друга
Ахматовой

Эпилог

I.

Узнала я как опадают лица,
Как из под век выглядывает страх,
Как клинописи жёсткие страницы
Страдание выводит на щеках,
Как локоны из пепельных и чёрных
Серебряными делаются вдруг,
Улыбка вянет на губах покорных
И в сухоньком смешке дрожит испуг.
И я молюсь не о себе одной,
А обо всех, кто там стоял со мной
И в лютый холод и в июльский зной
Под красною ослепшею стеной.

2.

Опять поминальный приблизился час.
Я вижу, я слышу, я чувствую вас.
И ту, что едва до окна довели,
И ту, что родимой не топчет земли,
И ту, что красивой тряхнув головой,
Сказала: "Сюда прихожу, как домой."
Хотелось бы всех поимённо назвать,
Да отняли список и негде узнать.
Для них соткала я широкий покров
Из бедных, у них же подслушанных слов.
О них вспоминаю всегда и везде,
О них не забуду и в новой беде.

к стр. 388

14

И если зажмут мой измученный рот,
Которым кричит стомильонный народ,
Пусть так же они поминают меня
В Канун моего погребального дня.

А если когда нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне -
Согласье на это даю торжество,
Но только с условьем не ставить его
Ни около моря, где я родилась:
Последняя с морем разорвана связь,
Ни в царском саду у заветного пня,
Где тень безутешная ищет меня,
А здесь, где стояла я триста часов
И где для меня не открыли засов.
Затем, что и в смерти блаженной боюсь
Забыть громыхание чёрных марусь,
Забыть, как постылая хлопала дверь
И выла старуха, как раненый зверь.
И пусть с неподвижных и бронзовых век
Как слёзы струится подтаявший снег,
И голубь тюремный пусть гулит вдали
И тихо идут по Неве корабли.

(Анна Ахматова)

Около 10 марта
1940
Фонтанный Дом
Записано
29 октября
1962
Москва

к стр. 541

Чѣмъ хуже этотъ вѣкъ предшествующихъ? Развѣ
Тѣмъ, что въ чаду печалей и тревогъ
Онъ къ самой черной прикоснулся язвѣ,
Но исцѣлить ее не могъ.

Еще на западѣ земное солнце свѣтитъ
И кровли городовъ въ его лучахъ горятъ.
А здѣсь ужъ бѣлая дома крестами мѣтитъ
И кличетъ вороновъ и вороны летятъ.

Анна Ахматова.

11 января 1920 г.

Она спросила, читаю ли я статьи Гладкова о языке и что о них думаю. Я их изо всех сил обругала. [14])

— Клинический случай старческого маразма, — сказала Анна Андреевна. — Как можно такое острое заболевание демонстрировать на всю страну! — и, бросив гладковскую чушь, заговорила о языке Замоскворечья.

Пойдешь в баню и слушаешь банщиц: «а татары-то разодралися» — словно симфонию... Дивно говорит Борис Леонидович, чисто по-московски, лучшего языка я не слыхивала. И сестры Игнатовы. Фонетически определить, в чем тут дело, я не могу, но наслаждение их слушать. [15])

Затем разговор коснулся Чехова, и она снова отозвалась о нем неодобрительно — как это бывало уже столько раз!

Я пожаловалась на свою неудачу в кино со сценарием «Анны на шее»; когда я истратила на работу уже несколько месяцев, начальство вдруг спохватилось, что в рассказе нет положительного героя.

«Попрыгунья» была бы, пожалуй, более проходима — сказала я — там все есть, что требуется: и отрицательная героиня, и положительный герой...

— И высмеяны люди искусства, — сейчас же сердито подхватила Анна Андреевна, — художники. Действительно, все, что требуется!

Я высказала предположение, что, быть может, там не люди искусства, а люди при-искусства, возле-искусства...

— Ну да, Левитан!? — перебила меня Анна Андреевна. — Ведь Рябовский — Левитан... И заметьте: Чехов всегда, всю жизнь изображал художников бездельниками. В «Доме с мезонином» пейзажист сам называет себя бездельником. А ведь в действительности художник — это страшный труд, духовный и физический. Это сотни набросков, сотни верст не только по лесам и полям с альбомом, но и непосредственно перед холстом. А сколько предварительных набросков к каждой вещи! Мне Замятины, уезжая, оставили альбомы Бориса Григорьева — там тысячи набросков для одного портрета. Тысячи — для одного.

Я спросила, чем же она объясняет такую близорукость Антона Павловича.

— По-видимому, Чехов невольно шел навстречу вкусам

своих читателей — фельдшериц, учительниц, — а им хотелось непременно видеть в художниках бездельников.

Осведомилась, что я сейчас читаю. Я читаю и читаю Фета. Прочла ей наизусть: «Ель рукавом мне тропинку завесила», «Я болен, Офелия, милый мой друг», «Снова птицы летят издалека»; она просила «Еще! еще!» и я читала еще и еще.

— Он восхитительный импрессионист, — сказала Анна Андреевна. — Мне неизвестно, знал ли он, видел ли Моне, Писсарро, Ренуара, но сам работал только так. Его стихи надо приводить в качестве образца на лекциях об импрессионизме.

11 июля 53

Была у Анны Андреевны.

У нее Эмма Григорьевна.

Сурков не звонил.

Анна Андреевна начала было читать нам своего китайца, но запуталась в листках и, огорчившись, отложила.

А китаец интересный. Ей осталось 28 строк.

Анна Андреевна дала Эмме Григорьевне деньги на покупку машинки — заработок, спасенье для нее.

Пришла Нина Бруни, подарила берестяную коробочку и шпажник. [16])

16 июля 53

В 10 часов вечера, когда я уже лежала в постели, телефонный звонок: Ахматова.

— Лидия Корнеевна, не может ли случиться, что вы согласитесь сейчас ко мне придти? В порядке чуда?

Я встала, оделась и в порядке чуда пошла к ней по проливному дождю.

У нее в комнате Ардов. Острит, сыплет анекдотами, показывает игрушки и коробочки, склеенные им самим. Анна Андреевна выслала его из комнаты: «Я хочу прочесть Лидии Корнеевне китайца. Я его кончила». (24)

---

(24) Переводы Анны Андреевны опубликованы в сборнике: Цюй Юань. Стихи. Перевод с китайского. М., Гослитиздат, 1954. О том же сборнике речь идет на стр. 62.

— Вы будете первой слушательницей... Нет, неправда... Я читала еще Липскерову, и он сказал... Нет, я вам потом скажу, что он сказал...

Надела очки, опустила глаза — лицо сразу сделалось неподвижным, суровым — и тихо, торжественно начала читать.

Ну, что я понимаю в китайцах? Ровным счетом ничего. Мне оставалось только честно отдаваться своему восприятию и следить за стихами и за собою. Наверное, этот поэт для Ахматовой роднее, чем Гюго, потому что сквозь века стих позволяет расслышать струю жизни. Перевод, по-видимому, отличный. Вслушиваясь, я искала пустот, натяжек, искусственностей и не нашла нигде. Я поздравила автора, повторив, конечно, 100 раз, что я тут не судья.

— А вот Липскеров объявил так: «для первого раза это ничего». [17])

Мы пошли пить чай с Ардовым. Он был очень радушен, заварил какой-то особенный чай. Анна Андреевна меня сконфузила, сказав: «Лиде нравится».

Мы быстро вернулись к ней в комнату. Она прилегла. Китаец ее замучил. Жалуется на сердце, говорит: «Живот чужой, руки и ноги холодные».

Сурков не звонит.

19 июля 53

С утра позвонила Анна Андреевна и попросила непременно придти к ней сегодня: завтра она уезжает.

Я пошла днем. У нее Харджиев. Анна Андреевна осунулась за те два дня, что я ее не видала, и с горечью объяснила причину своего отъезда. (25) Мы долго сидели втроем в столовой. Ардовых нет; Анна Андреевна попробовала было найти чай и заварить его, но не нашла. Я тоже. Зато Николай Иванович быстро разобрался в хозяйстве, и мы пили вкусный, крепкий чай.

Почему-то зашла речь о Тургеневе. Мы дружно на него накинулись.

— Так провинциально! — говорила Анна Андреевна. —

---

(25) ?

«Клара Милич» или «Стук-стук!» прямо как из подвала провинциальной газеты.

Я сказала, что зато «Первая любовь» у него хороша.

— Вы просто давно не читали. Перечтите! — строго ответила Анна Андреевна. — Что у него хорошо, так это «Конец Чертопханова». А вовсе не «Первая любовь».

3 октября 53

Приехала Анна Андреевна, и я у нее была. Но я долго не писала дневник и позабыла дату.

Вот упомненные речи:

1) — Заметили ли вы, что в какой-то момент Толстой выпал из литературы? Он был в ней, а потом перестал иметь к ней какое бы то ни было отношение. Конечно, он всегда и отовсюду был слышен и виден — из любой точки земного шара, — но уже как явление природы: ну как зима, осень, заря...

2) — В Ленинграде Союз Писателей не обращает на меня ровно никакого внимания. Я ни одной повестки не получаю, никогда, никуда, даже в университет марксизма-ленинизма. Со мною обращаются, как с падалью — или, пожалуй, еще хуже — вы слышали, как в очередях говорят: «вас здесь не стояло»!

3) — Ленинград этим летом был прекрасный. Я к нему привыкла, всяким его видела, но таким — никогда. Весь в розах и маках. Летний Сад великолепен. Но там за мной идет такая вереница теней...

На прощанье — после чаю и фарсов Ардова — она мне сказала:

— Приходите! Поедем куда-нибудь вместе на Алешиной бибишке. («Бибишкой» называется Алешин «Москвич»).

10 октября 53

Была на днях у Анны Андреевны. Она прочитала мне свою статью о «Каменном Госте». (26)

---

(26) См. ОП, стр. 89.

Опять-таки: какой я пушкинист? Но меня поразило проникновение в душевную биографию Пушкина, обилие интуитивных догадок, подтвержденных логикой ясного, трезвого ума... Написана при этом статья не очень хорошо — дурная литературоведческая традиция сказывается даже на Ахматовой: статья только местами дорастает до прозы.

Анна Андреевна вынула из чемоданчика и показала мне экземпляр своей рукописи, сданной в издательство в 1946 году и возвращенной недавно с пометкой:

«возвращается за истечением срока хранения».

17 октября 53

Вчера мне звонила Анна Андреевна.

Звонила она от Ардовых — но туда пришла только в гости, а живет у Харджиевых, на Кропоткинской, где нет телефона.

Новости великолепные: однотомник будет! и скоро! и лирика разрешена не только после 46 года, но и д о! по ее выбору! И обращались с ней в издательстве почтительнейше — посылали машину! И Сурков объявил о будущей книге официально, на большом собрании — так что всё как бы и в самом деле!

Рада ли я? О, что говорить! Лучше поздно, чем никогда. Лучше; но почему-то это радость отравленная, как странным образом отравлены все наши теперешние радости. Наверное, интоксикация прошлым.

Долгих лет нескончаемой ночи
Страшной памятью сердце полно.

21 октября 53

Звонила Ахматова. Книга ею сдана... Вот как!

30 октября 53

27-го была у меня Анна Андреевна.

Позвонила от Ардовых, куда пришла ненадолго. Вызвалась приехать ко мне. Потом:

— Только я не знаю, где вы живете.

— ?

— Признаюсь, в последний раз меня к вам провожали.

Я объяснила подробно, где живу, и осведомилась, хорошо ли она справляется с лифтом.

— Великолепно! (Ударение на втором *е*, оно долгое, а *о* посреди — почти не слышно). Великолепно! Я, конечно, с легкостью поднимаюсь и опускаюсь, вот только кнопки нажимать не умею.

Я вызвала такси и поехала за ней.

И вот она у меня.

Я была счастлива видеть ее новую шубу, туфли, перчатки... Спасибо Гюго и милой Нине Антоновне!.. В черном новом платье и в белом платке на плечах под белой сединой, сидит у меня в кресле,

Строга, прекрасна и ясна,

приложив к щеке руку с отгибающимися назад пальцами.

Чуть-чуть запавший рот, чуть-чуть поблекшие серо-зеленые глаза.

Она была оживлена и даже весела, но я сразу почувствовала под оживлением — тревогу.

Так и есть: она боится, что Сурков предложит ей квартиру в Москве.

Она не хочет. Почему? Говорит, потому, что если она переедет сюда — в ее комнату в ленинградской квартире кого-нибудь непременно поселят и, таким образом, Ирина окажется в коммунальной квартире.

Но я думаю, тут не только в Ирине дело.

Анна Андреевна жить одна не в состоянии, хозяйничать она не могла и не хотела никогда, даже и в более молодые годы. А что же теперь, с больным сердцем? Теперь ей гораздо удобнее жить в Москве не хозяйкой, а гостьей. (Судя по ее частым наездам в Москву, в Ленинграде, «у себя», ей совсем не живется.)

— Не знаю, как быть, — сказала она со вздохом. — Нина Антоновна и Николай Иванович требуют, чтобы я согласилась.

Я промолчала. Я недостаточно уверена, чтобы советовать.

Разговор с Сурковым состоится завтра, он обещал заехать за ней и увезти к себе. Разговор будет о книге — и вот, она боится, о квартире.

Я спросила, читала ли она когда-нибудь стихи Суркова и что о них думает.

— Местами есть нечто, отдаленно напоминающее поэзию.

Помолчав, она попросила меня снова прочитать ей кусок из «Подвала памяти». Оказалось, к моему огорчению, она более ничего не вспомнила, ни в начале, ни в конце. На этот раз я не только повторила вслух вспомненные мною раньше строки, но и написала их: быть может, думала я, бумага подтолкнет ее память — и, записывая середину, внезапно сама вспомнила последнюю строчку всего стихотворения:

Но где мой дом и где рассудок мой?

(Как я могла забыть, хотя бы на минуту, эту строку, — это угрожающее длинное *с* в слове «рассудок» — и четыре трезвые *д* — эту страшную строку, венчающую весь монолог каким-то приступом безумия?

Но г*д*е мой *д*ом и г*д*е рассу*д*ок мой?)

Анна Андреевна взяла в руки листок, поглядела на него, поглядела на меня и проговорила:

И кот мяукнул. Ну, идем домой!
Но где мой дом и где рассудок мой?

Так нашлись еще две строки, но дальше ни шагу.

— Значит, там был кот, — с надеждой сказала я.

— Мало ли на свете котов! — ответила Анна Андреевна.

В 11 часов я вызвала такси и поехала ее провожать на Кропоткинскую к Николаю Ивановичу.

— Звонил Борис Леонидович, звал на понедельник к ним, — рассказывала она по дороге. — «От этого дня зависит, стоит ли жить!» Это означает: чтение романа, ведра шампанского, икра, актеры... Я не пошла.

— Вот с этого места началась для меня Москва, — сказала она, когда мы проезжали мимо какого-то переулка близ

Кропоткинской. — В 18 году, я, замужем за Шилейко, жила тут, в Третьем Зачатьевском. Лютый холод и совершенно нечего есть... Если бы я тогда осталась в Москве, другой была бы моя биография... Неподалеку был храм, там всегда звонили.

— «С колоколенки соседней звуки важные текли»? — спросила я. (27)

— Нет, «Переулочек-переул»... (28)

Мы приехали.

На лестнице

Пролог

Под лестницей

Входит секретарша нечеловеческой красоты.

— «Как ваша фамилия?» — «Всё та же». (29)

---

(27) «Проводила друга до передней» — БВ, Четки.

(28) «Записки», т. 1; № 44.

(29) Эта запись, на вид столь бессмысленная, есть в действительности моя попытка зафиксировать со слов Анны Андреевны содержание драмы «Энума Элиш», написанной ею в Ташкенте в 1943-44 г.г., а потом, в Ленинграде, в 1944 году, сожженной.

В статье Л. А. Мандрыкиной «Ненаписанная книга» приводятся следующие ахматовские строки: «Ташкентская драма: Энума Элиш, в III частях. Первая — На лестнице, вторая — Пролог (в стихах). Третья — Под лестницей. И ее судьба. (Сгорела 11 июня 1944 в Фонтанном Доме.)»

В начале шестидесятых годов А. А. возобновила работу над ташкентской пьесой, или точнее, над второй ее частью, под названием «Пролог». Черновики и наброски «Пролога» весьма многочисленны и разнообразны. А. А. читала мне их в Комарове: там я подробнее узнала от нее и о ташкентской пьесе. См. мои «Записки», т. 3.

Статья Л. А. Мандрыкиной помещена в сб. «Книги. Архивы. Автографы. Обзоры, сообщения, публикации» (М., 1973). В дальнейшем это издание для краткости мы будем именовать так: «Книги. Архивы. Автографы...».

Вечер провела у Анны Андреевны. Она снова у Ардовых. Полеживает. Где-то в гостях ее настиг радикулит — ни встать, ни сесть — она переносит боль, слегка морщась, но с иронической улыбкой.

Была она у Суркова. Оказалось: ей предлагают в Москве не квартиру, а комнату, а в книге стихи все-таки только после 1946 года... Вот и радость!

— Сурков уверяет, что на стихах только после 46 года настаивал Симонов. Предлог такой: если напечатать стихи до 46 года и после — сразу будет видно, что после 46 года я стала писать гораздо хуже. Но, конечно, это лишь предлог. Просто ему кто-то передал, будто я браню его стихи. И это месть. А я их и не читала.

Симонов в 49 году приезжал в Ленинград и метал громы и молнии: «ахматовщину надо выжечь каленым железом». Я сказала об этом Суркову. (30)

А Сурков был очень деликатен и мил. Уверяет, что будет настаивать на полноте. Из представленных мною стихов просил меня убрать только 6 стихотворений: «Хорошо здесь: и шелест, и хруст», (31) «Тот город, мной любимый с детства» (32) — и еще какие-то, я не помню...

Наверное, я изменилась в лице, потому что Анна Андреевна спросила:

— Что с вами? Что случилось?

Оба эти стихотворения — любимейшие мои из любимых и одни из самых замечательных в русской лирике.

— Почему же деликатный Сурков хочет изъять «Хорошо здесь: и шелест, и хруст»? — спросила я, сдерживая злобу, тихим голосом.

— Идеализм, — спокойно ответила с кровати Анна Андреевна. — В стихотворении говорится: мы прошли вместе в далеких веках, а этого на самом деле не бывает. Человек

---

(30) Год написан неразборчиво. Кроме того, я пока не имею возможности проверить: действительно ли К. М. Симонов выступал против Ахматовой, или А. А. была введена в заблуждение.

(31) БВ, Anno Domini.

(32) БВ, Тростник.

живет в определенном веке и в далеких веках ни вместе, ни не вместе пройти не может. Это идеализм.

— Вы сами догадались или вам объяснил Сурков?

— Сама.

— Ну, а «Тот город, мной любимый с детства» почему нельзя?

Она не ответила.

Господи, когда же наконец перестанут твориться над нами эти злодейства? Оба стихотворения — ликующие: в первом — долгая остановка посередине, точно набираешь дыхание накануне счастья, и оно наступает:

И на пышных, парадных снегах
Лыжный след, словно память о том,
Что в каких-то далеких веках
Здесь с тобою прошли мы вдвоем;

оба полны любовью к русским сугробам, к зиме, к русскому языку —

...И слушала язык родной.
И дикой свежестью и силой
Мне счастье веяло в лицо,
Как будто друг от века милый
Всходил со мною на крыльцо.

Да, русский язык ей «друг, от века милый», а вот редакторам, издателям, собратьям по перу...

— Я прошу вас пока никому ничего о Симонове не говорить, — сказала Анна Андреевна. — Через некоторое время я сама скажу человекам десяти и тогда ему станет не очень весело: он ведь любит казаться либеральным... А насчет книги мне совершенно все равно: выйдет ли так называемая большая книга, или маленькая или совсем не выйдет никакой. «Большая» — это обескровленное «Из шести книг», дающее о поэте ложное представление — как, знаете, бывает очерк лица, беглый, не в 3/4, а еще меньше. «Маленькая» — это вообще вздор. Я не обрадуюсь, если книга выйдет, и не опечалюсь, если она не выйдет совсем. [18])

Анна Андреевна, поморщась от боли, села, приказала мне взять перо и бумагу, и мы снова начали вспоминать «Подвал памяти». Она вспомнила почти всё (не знаю, при мне или раньше), я — ничего. Теперь нехватает только первых двух строчек.

...Не часто я у памяти в гостях,
Да и она меня всегда морочит.
Когда спускаюсь с фонарем в подвал,
Я слышу, как опять глухой обвал
За мной по узкой лестнице грохочет.
Чадит фонарь, вернуться не могу,
А знаю, что иду туда, к врагу.
И я прошу как милости... Но там
Темно и тихо. Мой окончен праздник.
Уж тридцать лет, как проводили дам,
От старости скончался тот проказник...
Я опоздала. Экая беда!
Нельзя мне показаться никуда.
Но я касаюсь живописи стен
И у камина греюсь. Что за чудо!
Сквозь эту плесень, этот чад и тлен,
Сверкнули два зеленых изумруда.
И кот мяукнул. Ну, идем домой.
Но где мой дом и где рассудок мой?

Я напомнила Анне Андреевне, как в Ташкенте мы были с ней вместе у Толстых; там, после ужина, Алексей Николаевич просил Ахматову читать стихи; она отнекивалась, не знала, чтó и, наконец, недовольно спросила меня: «Скажите, Лидия Корнеевна, что читать?» Я посоветовала: «Подвал памяти». Она прочла. И тут вдруг Толстой на меня напустился: «Зачем вы такое подсказываете? К этому незачем возвращаться!» Мне хотелось ему ответить как в анекдоте: «Простите, господин учитель, это не я написал ”Евгения Онегина”».

— Вот, всякий вздор помните, а первые две строки не можете вспомнить! — сказала Анна Андреевна. И прибавила жалобным голосом: — Вы хоть скажите мне — про что там?

Затем заговорили о Пастернаках; о Зинаиде Николаевне с негодованием:

— Целый день играет в карты с женой Сельвинского. Вот и всё. Какое тупое, бездарное времяпрепровождение... Кстати, вам очень кланяется Сельвинский. Его затащил сюда Ардов, не предупредив обо мне: для Ардовых я лицо партикулярное. Сельвинский же перепугался и смутился, увидев меня неожиданно. От смущения десять раз просил передать привет вам. (33)

Когда я прощалась, Анна Андреевна попробовала было встать на ноги. И вскрикнула от боли. Я умоляла ее не провожать меня, сама открою и захлопну дверь, но она не послушалась.

— Я вспомнила, как это надо делать, меня учили: надо сначала лечь и потом встать — сразу.

Легла поперек постели и встала — уже без стона; даже не поморщась.

---

(33) Илья Сельвинский (1899-1968) — поэт; просьба его показалась Анне Андреевне забавной потому, что в Переделкине дача Сельвинского расположена прямо напротив дачи моего отца: ворота в ворота, и с ним мы постоянно встречались на общей аллее. Таким образом, он не мог ощущать необходимости передать мне привет через кого бы то ни было.

1954

18 января 54

На днях — не помню точно, когда — была у Анны Андреевны. На ней новый халат — лиловый — и такой пышный, торжественный, что в доме у Ардовых он именуется «рясой». Она здорова, соблюдает разгрузочные дни, красиво причесана, ухожена.

— Слышала о вашей статье, — сказала Анна Андреевна. — Расскажите о шуме.

Я рассказала: телефонные звонки, письма и даже телеграммы. Одна: «Перенесите вашу справедливую критику на взрослую литературу». Вторая: «Надо организовать общество по борьбе с ханжеством, вам одной не справиться».

— Это — от кого? — спросила Анна Андреевна.

— Офицер танковых войск.

— В один прекрасный день, — сказала Анна Андреевна, — вы увидите у себя под окном на улице Горького танковую дивизию, явившуюся в ваше распоряжение: бороться с ханжеством.

— Не дай Бог, — сказала я.

— Не дай Бог, — сказала Анна Андреевна. [19])

Я рассказала ей, что на днях Борис Леонидович прислал мне в подарок «Фауста» с феноменальною надписью, которую я приняла бы за злую издевку, если б доброта Пастер-

нака не была известна мне. (34) Я «Фауста» читаю потихоньку, а предисловие Вильмонта прочла всё и дивлюсь безвкусице. [20]) Например, о Ломоносове написано так: «наш чудо-богатырь Михайло Ломоносов».

— Это еще пустяки, — ответила Анна Андреевна и взяла со стола книгу. — А вот, смотрите: «Гретхен, задушив ребенка, прижитого ею от Фауста...» Прижитого ею! Так раньше в полиции писали...

Вызвал Анну Андреевну в Москву здешний Союз по поводу предоставления ей квартиры. По-видимому, это великая честь и милость, но дают ей всего лишь комнату — 10 метров в коммуналке. Квартиру, отдельную и хорошую, предоставляют Ардаматскому (тому самому, «Пиня из Жмеринки»), а его бывшую комнату — Ахматовой. [21])

Анна Андреевна спросила, слышала ли я о скандале, происшедшем с Ираклием на вечере памяти Тынянова. Я могла ей сообщить с чужих слов, что Ираклий в своем выступлении сильно, будто бы, подчеркивал «ошибки» Тынянова, за что и был неистово обруган Шкловским:

— Искусство — дело кровавое! — кричал будто бы Шкловский. — С искусством надо пуд соли съесть, прежде, чем заслужить право каяться в ошибках учителя.

Анна Андреевна отозвалась об Ираклии весьма нелестно; впрочем, она его вообще не любит. [22])

Меня очень смешат шутки Ардова, которые Анна Андреевна выносит с благосклонной полуулыбкой. Он постоянно «снижает» величавость Ахматовой, называя ее то «m-me Ципельперчик», то «жиличка», то «командировошная из Ленинграда». Когда она при мне вошла в столовую в шуршащем лиловом халате — Ардов сказал, поднимаясь ей навстречу: «благословите, отец благочинный!»

---

(34) Гете. Фауст. Перевод Б. Пастернака. М., Гослитиздат, 1953. На книге написано: «Дорогая Лидия Корнеевна! Любовь, уважение и благодарность моя Вам, как писательнице, представительнице декабристов и Герцена в нашем веке и дочери Корнея Ивановича — неизмеримы. Желаю Вам здоровья и счастья. Б. Пастернак. 3 янв[аря] 1954 г.»

20 января 54

Была еще раз у Анны Андреевны. Она припоминает и записывает свои стихи. Чудесно! Уже и «Подвал памяти» записан. Она вынула рукопись из чемоданчика и показала мне. Но там и сейчас нет первых двух строчек.

— Как заколдованные! — пожаловалась Анна Андреевна. — Придумать новые легко, но я не хочу, хочу вспомнить... А этого вы не помните, Лидия Корнеевна? Что там дальше?

Показала страницу. Вижу — вверху «Б. П.» А потом записаны несколько строчек, первая такая:

И снова осень валит Тамерланом...

Читаю. Неуверенно спрашиваю:

— «Могучая языческая старость»?

Как хищно сверкнули у нее глаза, я никогда не видывала такого сверкания!

— Да, да, конечно! (35)

И сразу схватила рукопись, спрятала ее в чемоданчик и заговорила о другом.

Опять она показалась мне сегодня изваянием самой себя — а, может быть, собственной Музы. Каждое ее движение, и, главное, каждую ее неподвижность, необходимо запечатлевать — кистью, резцом, а лучше бы всего кино-пленкой. Вот сидит на постели, опираясь на обе ладони, голова поднята, в глазах — ум и насмешка, каждая черта оживлена, на устах слово, которое сейчас зазвучит — насмешливое или гневное; вот наклонилась над столиком, на котором раскрыта тетрадь — в руке карандаш — глаза опущены, веки непод-

---

(35) Случай, трудно объяснимый... Стихотворение это написано в 47 г. Между тем, с 42-го по 52-ой я с Анной Андреевной не встречалась и, стало быть, от нее услышать его не могла. Выходит, что мне показал или прочитал его кто-то другой. Но кто — я не помню.

Не знаю также, было ли там когда-нибудь «языческая» (вместо «евангельская») или это просто — моя ошибка.

Примеч. 1968 г.

вижны, лицо как на замке... ее будто нет здесь, она где-то у себя, далеко, «у памяти в гостях». Мрамор? Бронза? Подпись: «Ахматова над своими стихами».

Во время чаепития разговор зашел о Казакевиче. Оказывается, муж Иры Пуниной прочитал Анне Андреевне вслух тот абзац из «Сердца друга», где о ней. Ну зачем это? Я давно знаю — и молчу. Ничего прямо оскорбительного там нет, но есть насмешливое, ироническое — а время ли сейчас над ней иронизировать? Он там поминает студенток, ярых поклонниц стихов Анны Андреевны Ахматовой. Не совсем понятно также, полагает ли и Казакевич, вместе с дурочками-студентками, что стихи эти специфически-дамские, что Ахматова не один из великих русских поэтов, а поэтесса, пишущая на женские темы — ну нечто вроде Шкапской или еще там когонибудь?

Анна Андреевна обиделась — и очень. Главным образом, на отчество.

— Я же не Л. Н. Толстой! Зачем же так почетно? Разумеется, идя по стопам товарища Жданова, он имеет полную возможность ругать меня на все буквы алфавита, но по отчеству-то зачем?.. (36). Я была у Никулина. Там мне представили Казакевича. Я ничего, подала ему руку, поздоровалась, но ушла в комнату к девочкам. Мне потом звонила хозяйка дома: «он так жалел, ему было так интересно с вами познакомиться».

«Бедняга Казакевич!» — подумала я. — Он наверное не понял, почему она ушла. Он наверное не знает, что когда говоришь о поэте, следует именовать его в соответствии с

---

(36) Подразумевается один абзац в повести Э. Казакевича «Сердце друга», напечатанной в журнале «Новый мир» в начале 1953 г. А. А. была права: абзац глубоко оскорбительный, вне зависимости от наличия или отсутствия отчества. В № 1, на стр. 19, говорится, что героине, когда началась война, показались «ничтожными повседневные интересы» ее соучениц, которые «думали о нарядах, молодых людях, и обожали стихи Райнера-Марии Рильке и Анны Андреевны Ахматовой». Однако, необходимо отметить, что в первом же отдельном издании (Воениздат, 1954) из этого абзаца исчезло отчество Ахматовой; а в издании Гослитиздата 1962 года — исчезло и насмешливое упоминание об обоих великих поэтах.

литературным, не бытовым именем. (37) Я сказала, что Казакевич не совсем тонко, не во всех оттенках знает язык и потому отчеством, быть может, и не хотел ее обидеть. («Сердце друга» вообще слабая вещь, написанная с большими погрешностями.) Но Анна Андреевна моего заступничества не приняла. А я подумала еще, что Казакевич порядочный человек и, несмотря на неудачу, — писатель — «Звезда», «Двое в степи» — и уж во всяком случае лучше водиться с ним, чем с Никулиным... Но не сказала.

Я спросила о Борисе Леонидовиче, которого давно не видела: как он поживает? как выглядит? как его здоровье?

— Я обожаю этого человека, — ответила Анна Андреевна. — Правда, он несносен. Примчался вчера объяснить мне, что он ничтожество. Ну на что это похоже? Я ему сказала: «Милый друг, будьте спокойны, даже если бы вы за последние 10 лет ничего не написали, вы все равно — один из крупнейших поэтов Европы XX века».

Как он выглядит? Он старик, но красивый старик. Густые седые волосы, умные, полные жизни глаза. Прекрасная старость. А я и не люблю этих моложавых старичков: не поймешь, то ли ему 35 лет, то ли 85... Мне некоторые советуют выкрасить волосы. Я не хочу. Та́к мне за седину хоть место в трамвае уступят, а если буду крашеная: «ну и стой, стерва, стой!» Потом вдруг:

— Помните, Лидия Корнеевна, как мы с вами, только что приехав в Казань, расспрашивали дорогу, а вам татарин один ответил: «провожу тебя за то, что ты молодая, а седая». И проводил нас до самого Дома Печати...

---

(37) А. А. говорила: «Когда я о себе читаю в печати: «А. А. Ахматова», я не сразу догадываюсь, о ком речь». «Если я поэт, — говорила она, то я — Анна Ахматова, как Пастернак — Борис или как Блок — Александр. Каждый сам выбирает свое литературное имя для себя».

Через два года после смерти Анны Андреевны, в 1968 году, мне случилось делать подпись под фотографией, где рядом сидят Ахматова и Пастернак. Я обратилась за советом к отцу: как написать? «Анна Андреевна и Борис Леонидович» или «Анна Ахматова и Борис Пастернак»? Он ответил: «Мне кажется, нужно подписывать под фотоснимком Анна Ахматова и Борис Пастернак. Это их литературные имена. Из-за того, что они попали на фотопленку, они не утратили своих прав называться именами, которые они завоевали для себя своим творчеством. Когда я видел в газетах: «А. Ахматова», мне казалось, что это опечатка или что дело идет о другом человеке».

Примеч. 1970 г.

27 января 54

Вчера звонила мне Анна Андреевна, просила придти. По озабоченному голосу слышно: какое-то дело. Вчера я придти не могла, позвонила ей сегодня с утра. Она сказала, что увидеться надо непременно, но ее вызвали в Гослит и она позвонит мне позднее.

Вернувшись, она позвонила, и я отправилась к ней.

Она как-то сдержанно-тревожна. Терпеливо пережидает шутки Ардова. Скоро мы остаемся одни. Оказывается, надо написать два письма о Леве. (38)

Я сажусь за столик, она мне диктует. Мне все представляется неудачным, слабым, но я не понимаю, как и что поправлять. Трудный это жанр! Пока я думаю, перечеркиваю, предлагаю, Анна Андреевна, сидя на постели, ищет в сумке листок, где записано имя и отчество второго нашего адресата. Листка нет. Она нервно выкидывает из сумки пачку сторублевок, анализы, письма в конвертах и без конвертов, чьи-то стихи... Нет.

— Когда я возвращалась в номере Б из Гослита, — говорит она, — меня сильно теснили какие-то парни. Когда они вышли — в четыре голоса мне закричали кондукторша и пассажиры: «они подбирались к вашей сумке!..» Деньги целы — не могли же они взять один только листок с его именем! А-а! Они взяли паспорт.

Я внимательно перебрала все бумаги, вываленные Анной Андреевной на кровать. В самом деле, паспорта нет.

А если паспорта нет — то и письма писать бессмысленно, а надо ехать в Ленинград хлопотать о новом. Без паспорта все равно не получить ответа.

Одна надежда — подбросят.

Анна Андреевна каждую минуту вставала к телефону, ожидая звонка Ирины, которая приехала в Москву. Но звонки все были поздравительные: Нина Антоновна сегодня именинница.

Именинница пришла погоревать вместе с нами. Тоже перебрала все бумаги — нет.

---

(38) Одно — Председателю Верховного Совета СССР К. Е. Ворошилову, а другое не помню кому. См. примеч. на стр. 45.

Я спросила у Анны Андреевны, как у нее дела с комнатой. Видела ли она ее?

— Да, я ездила смотреть вместе с Алешей. Этаж пятый, лифт не каждый день. Комната вроде этой, только длинней. Стоят две кровати, а между ними может пройти канатоходец. Кроме моей комнаты — еще восемь. Мне будут стучать в дверь: «Товарищ Ахматова, ваша очередь мыть коридор».

Она была раздражена и несчастлива.

Пришла Ирина (лицо у нее плоское и для меня какое-то невнятное). В столовой собирались гости. Нина Антоновна звала к столу. Я извинилась и ушла.

5 февраля 54

Вчера меня вызвала к себе Анна Андреевна. Я торопилась в «Литературное наследство» и была у нее всего час. Руднев (кого она только не посещает!) написал письмо Ворошилову и говорил по телефону с ворошиловским секретарем. Тот передаст оба письма: Рудневское и Ахматовское. Мы сели сочинять. На этот раз дело пошло бойко, и письмо Ахматовой к Ворошилову вчерне готово. Анна Андреевна положила передо мною письмо Руднева — оно оказалось малограмотным: «Клемент», «Многуважаемый»...

Мы робко исправили *е* на и. (39)

---

(39) В 1976 в Анн Арборе, в журнале «Russian Literature Triquaterly» помещена работа Э. Г. Герштейн «Мемуары и факты (об освобождении Льва Гумилева)». (В дальнейшем мы будем кратко именовать эту статью RLT). Э. Г. Герштейн принимала самое деятельное участие в многолетних хлопотах Анны Андреевны о Лёве: ходила с ней вместе, а иногда и вместо нее, в Прокуратуру; добывала у влиятельных лиц письма в его защиту и мн. др. Обо всем этом она и рассказала в своей статье «Мемуары и факты». На дальнейших страницах своих «Записок» я буду отсылать читателя к этой статье каждый раз, как речь у меня зайдет о хлопотах, предпринимавшихся в защиту Л. Н. Гумилева. Об эпизоде с Рудневым на стр. 646 работы Э. Г. Герштейн читаем:

«Летом 1953 г. мы были на похоронах художника А. А. Осмеркина. К Ахматовой подошел архитектор Лев Владимирович Руднев, строивший тогда здание Московского университета на Ленинских Горах. Он сказал ей, что часто встречается с К. Е. Ворошиловым, который запросто называет его «борода». Руднев предложил свое посредничество для хлопот о Л. Н. Гумилеве. Анна Андреевна выждала еще некоторое время. В январе-феврале 1954 г., в Москве, она решилась воспользоваться предложением Руднева». [23])

Паспорт нашелся: пролежал несколько дней в троллейбусном парке.

Руднев собирается писать ее портрет.

12 февраля 54

Только что пришла от Анны Андреевны.

Ардов изображает дурака-грузина, попрекающего тещу: «Вам, мама, в вашем возрасте не пудриться надо, а размышлять о потустороннем мире». Анна Андреевна, сидя на диване в пышном лиловом халате, сохраняет полное спокойствие и неподвижность лица — всё вместе уморительно смешно.

Она была оживлена сегодня: показала мне по секрету очень плохие переводы Адалис с китайского; выбранила Гюго за самодовольство и прочла свой новый перевод; с возмущением рассказала, как Зинаида Николаевна самым грубым манером не пустила Бориса Леонидовича на вечер Асеева — но я все время чувствовала, что она утомленная, вялая, что она искусственно преодолевает усталость.

Письмо Ворошилову она уже послала.

20 февраля 54

Узнав о моей болезни, вчера несколько часов провела возле меня Анна Андреевна.

Мне запрещено писать, но попробую.

В домашнем теплом платке, в толстых шерстяных носках, она была по-стариковски проста и прекрасна.

Жалуется, что отекают ноги.

Говорили обо всем на свете: о смерти Сталина и его похоронах, о постановлении 46 года. Анна Андреевна объяснила мне, что это уже не первое, а второе постановление на ее счет — первое состоялось в 1925 г.

— Я узнала о нем только в 27-м, встретив на Невском Шагинян. Я тогда, судя по мемуарам, была поглощена «личной жизнью» — так ведь это теперь называется? — и не обратила внимания. Да я и не знала тогда, что такое ЦК...

Сильно сердится на А. О.:

— Если она будет себя дурно вести, я перестану ее пускать. В последний свой визит она преподнесла мне несколько

грубостей сразу. Она, оказывается, мелко-злая, а Виктор Ефимович уверяет даже, что она не совсем в уме. Все ее удовольствие — противоречить, спорить, отвечать наоборот. Точно нет иного удовольствия: понимать другого с полуслова, угадывать.

Сил нет писать дальше.

8 мая 54

Я видела их обоих вместе — Ахматову и Пастернака. Вместе, в крошечной комнате Анны Андреевны. Их лица, обращенные друг к другу: ее, кажущееся неподвижным, и его — горячее, открытое и несчастное. Я слышала их перемежающиеся голоса.

Вообще слишком много сегодня: я слышала новые куски «Поэмы».

Все это во мне остро и живо, как незаслуженное внезапное счастье, обернувшееся бедой. Какой-то пир горечи, жалости и гнева. Может быть, записывать следовало бы не сейчас, а позже, когда все уляжется и понимать я буду яснее. Но я боюсь утратить верный звук. Лучше уж запишу сразу — пусть неразборчиво, комом, подряд.

Анна Андреевна приехала сегодня и позвонила. Ранним вечером я помчалась к ней.

Она встретила меня словами:

— Нам ничто не грозит, кроме появления Бориса Леонидовича.

Поспешно, без обычных расспросов и пауз, вынула из чемоданчика экземпляр «Поэмы» (на машинке и в переплете) и стала читать мне новые куски. Читала она одни только вставки — строки, строфы, — быстро переворачивая страницы и мельком указывая, куда вставляется новое — а я, от боязни, что не пойму и не запомню, куда — вообще ничего не расслышала и ничего не запомнила. На обратном пути проверяла, теперь проверяю — ни строки.

«1913 год» стал называться «Петербургская повесть».

— Как долго она вас не отпускает! — сказала я.

— Нет, тут другое. Сейчас я ее не отпускаю. Я пыталась рассказать всё, что за этим вижу. Оказывается, вижу только я. Ну, может быть, вы. Теперь пусть видят все... А то Лидин

ходит и толкует Бог знает как. Пусть теперь ему говорят: «Ничего там такого нету, вам надо лечиться...» [24])

Затем, спрятав «Поэму» в чемоданчик, рассказала мне увлекательнейшую новеллу — происшествие четырехдневной давности:

— Я позвонила в Союз, Зуевой, заказать билет в Москву. Ее нету. Отвечает незнакомый голос. Чтобы придать своей просьбе вес, называю себя. Боже мой! Зачем я это сделала! Незнакомый голос кричит: «Анна Андреевна? А мы вам звоним, звоним! Вас хочет видеть английская студенческая делегация, Обком Комсомола просит вас быть». Я говорю: «больна, вся распухла». (Я и вправду была больна). Через час звонит Катерли: вы должны быть непременно, а то они скажут, что вас удавили. (Так прямо по телефону всеми словами.) Я предложила выход: найти какую-нибудь другую старушку и показать им. Вместо меня. Но она не согласилась.

За мной прислали машину, я поехала. Красный зал, знакомый вам. Англичан целая туча, русских совсем мало. Так сидит Саянов, так Зощенко, так Дымшиц, а так я. (40) Еще переводчица, девка из ВОКС'а — да, да, всё честь честью... Я сижу, гляжу на них, вглядываюсь в лица: кто? который? Знаю, что будет со мной катастрофа, но угадать не могу: который спросит? Сначала они расспрашивали об издании книг: какая инстанция пропускает? долго ли это тянется? чего требует цензура? Можете ли вы сами издать свою книгу, если издательство не желает? Отвечал Саянов. Потом они спросили: изменилась ли т е п е р ь литературная политика по сравнению с 46 годом? отошли ли от речи, от постановления? Отвечал Дымшиц. Мне было интересно услышать, что нет, ни в чем не отошли. Тогда отважные мореплаватели бросились в наступление и попросили m-r Зощенко сказать им, как он относится к постановлению 46 года? Михаил Михайлович ответил, что сначала постановление поразило его своей несправедливостью и он написал в этом смысле письмо Иосифу Виссарионовичу, а потом он понял, что многое в этом документе справедливо... Слегка похлопали. Я ждала. Спро-

---

(40) Литераторы Е. И. Катерли (1902-1958), В. М. Саянов (1903-1959) и А. Л. Дымшиц (1910-1975) в ту пору были членами Правления Ленинградского отделения Союза Писателей.

сил кто-то в черных очках. Может быть, он и не был в очках, но мне так казалось. Он спросил, как относится к постановлению m-me Ахматова? Мне предложили ответить. Я встала и произнесла: «Оба документа — и речь т. Жданова, и постановление Центрального Комитета партии — я считаю совершенно правильными».

Молчание. По рядам прошел глухой гул — знаете, точно озеро ропщет. Точно я их погладила против шерсти. Долгое молчание. Потом кто-то из них спросил: «Известно ли вам, что у нас пользуются большой популярностью именно те произведения m-me Ахматовой, которые здесь запрещены?» Молчание. Потом кто-то из русских сказал переводчице: «Спросите их, почему они хлопали Зощенке и не хлопали m-me Ахматовой»? «Ее ответ нам не понравился — или как-то иначе: нам неприятен».

А мне было неприятно, что наши тоже стали называть меня «madame Ахматова». «Товарищ Ахматова» или даже Ахметкина гораздо лучше. В madame «заключена смрадная мысль, будто существует некто monsieur Ахматов»...

Таков был ее рассказ, повергнувший меня в смятение. Что же эти англичане — полные невежды, дураки, слепые или негодяи? Зачем им понадобилось трогать руками чужое горе? Людей унизили, избили, а они еще спрашивают: «нравится ли вам, что вас избили? Покажите нам ваши переломанные кости!» А наши-то — зачем допустили такую встречу? Садизм.

От повествования Анны Андреевны у меня всё заныло внутри. Я вспомнила ясно тот августовский день 1946 года. Я была в квартире одна, раскрыла газету, прочла и села плакать.

— Да, мне все сообщают про эту минуту — сказала Анна Андреевна, — где, кто, когда прочел в газете или услышал по радио — как, помните, все рассказывали друг другу в сорок первом, где, кого, когда и при каких обстоятельствах застигла весть о войне. Какая была погода, что он в эту минуту делал...

В столовой раздался телефонный звонок. Никто не подходил. Я подошла.

— Это вы, Анна Андреевна? — спросил Борис Леонидович.

— Нет, Борис Леонидович, это Лидия Корнеевна.

— Наконец-то я вас слышу! Вы еще не ухо́дите? Не уходите, пожалуйста, я через полчаса на 10 минут зайду.

Этого получаса я не помню.

Он пришел. В присутствии их обоих, как на какой-то новой планете, я заново оглядывала мир. Комната: столик, прикрытый потертым платком; чемоданчик на стуле; тахта не тахта, подушка и серое одеяло на ней; ученическая лампа на столике; за окном — нераспустившиеся ветви деревьев. И они оба. И ясно ощущаемое течение времени, как будто сегодня оно поселилось здесь, в этой комнате. И я тут же — надо уйти и нельзя уйти.

Комната наполнена его голосом, бурным, рокочущим, для которого она мала. Голос прежний, да сам он не прежний. Я давно не видала его. Всё, что в нем было восторгом, стало страданием. «Август»:

То прежний голос мой провидческий
Звучал, нетронутый распадом...

Голос прежний, нетронутый, а он — тронут, уже тронут... чем? болезнью? горем? Его новый вид и смысл пронзает мне сердце. Никакой могучей старости. Измученный старик, скорее даже старичок. Старая спина. Подвижность, которая еще недавно казалась юношеской, теперь кажется стариковской и при том неуместной. Челка тоже неуместна. И курточка. А измученные, исстрадавшиеся глаза — страшны.

«Его скоро у нас не будет», — вот первая мысль, пришедшая мне на ум.

Войдя, он снял со стула чемодан, сел — и сразу мощным обиженным голосом заговорил о вечере венгерской поэзии, устроенном где-то за Марьиной рощей, нарочно устроенном так, чтобы никто из любящих не мог туда попасть; афиши были, но на них стояло «вход по билетам», а билеты нарочно разослали учащимся ВТУЗ'ов, которым неинтересно.

— Вечер из серии: «лучше смерть» — сказала Анна Андреевна.

— Да, да, и они роздали свояченицам...

Но бросаю — пересказывать речь Пастернака нет возможности, и я не берусь, это не Анна Андреевна. В его моно-

логе были Ливанов, юбилей, Тихонов, кучера с ватными задами, вечер «Фауста» в Союзе Писателей, где он, Борис Леонидович, заплакал, читая сцену Фауста с Маргаритой... И многое, многое еще, чего и пытаться не могу воспроизвести. Да и слушала я плохо, такую я чувствовала острую жалость к страданию, глядящему из его глаз.

Я спросила, как роман. Он сказал, что сейчас на несколько дней отложил роман, потому что занят срочной работой: переделывает «Фауста» для охлопковского театра. И стал объяснять нам, как именно он его переделывает. (41)

Когда Пастернак ушел, Анна Андреевна по своему обыкновению прилегла на постель. Помолчав, она заговорила о славе.

— Я сейчас много об этом думаю, и я пришла к твердой мысли, что это мерзость и ужас — всегда. Какая гадость была Ясная Поляна! Каждый и все, все и каждый считали Толстого своим и растаскивали по ниточке. Порядочный человек должен жить вне этого: вне поклонников, автографов, жен мироносиц — в собственной атмосфере.

О Борисе Леонидовиче сказала:

— Жаль его! Большой человек — и так страдает от тщеславия.

Мне показалось, она неправа. Разве это непременно тщеславие? У него, видимо, творческое кровообращение нарушено от насильственной разлуки с аудиторией. Слушатели, читатели ему, видимо, необходимы.

— Разлучить Пастернака с читателями — это, разумеется, преступление, — сказала Анна Андреевна, — но он-то почему не умеет извлечь из этой разлуки новую силу? Для своей поэзии?

Нас позвали чай пить. На время это смягчило остроту моей тревоги. Ардов был зятем-грузином: «Дорогая мама, я только сейчас осознал, что вы приехали». После чая Анна Андреевна показала мне штапельное полотно, купленное ей сегодня Ниной Антоновной. Очень красивое. От усталости и потерянности я сидела слишком долго.

---

(41) Борис Леонидович создал сокращенный вариант для одновечернего спектакля. Но «Фауст» в переводе Пастернака не был поставлен ни в одном театре и ни в каком варианте.

Анна Андреевна собирается в Болшево.

На ее письма и заявления о Лёве ответа нет.

Сейчас я лягу. Ночь. Два часа ночи. Но вряд ли мне удастся уснуть. Строки «Поэмы», которые я не могу вспомнить. Глаза Пастернака. Что будет с Зощенко? Слова Ахматовой на собрании. Всё это на меня наезжает. Всё это от меня чего-то требует — только я не знаю, чего.

15 мая 54

Сегодня разговор с Анной Андреевной о Есенине.

С утра она звонила, что вечером придет. Но вечером звонок: не приду ли я? Она нездорова.

Лежит... Тревожится за Михаила Михайловича. Сколько уже раз видела я скорбь и тревогу на этом лице.

Я подняла с полу какую-то книжку, упавшую с подоконника. Оказалось — Есенин.

— Ни я, ни вы — мы его не любим, — сказала Анна Андреевна. — Вы давно не перечитывали? Я перечла. Не люблю по-прежнему. Но понимаю, что это сильно действующая теноровая партия. Известному кругу людей он заменил Надсона.

Я сказала, что мне нравились есенинские стихи 40 минут в жизни: когда на одном ленинградском вечере он сам читал их. А потом опять — нет.

— Я выступала с ним вместе раза три, — сказала Анна Андреевна. — Но не запомнила, как он читает. Мы тогда друг друга не очень-то слушали.

— А как вы думаете, — спросила я, — если бы он не погиб, быть может и выработался бы из него настоящий поэт? Ведь было же в нем что-то? Перестал бы перепевать Блока — перекладывать блоковский оркестр на одну струну — съехал бы со своей единственной темы...

— Не знаю. Не думаю, — ответила Анна Андреевна. — Слишком уж он был занят собой. Одним собой. Даже женщины его не интересовали нисколько. Его занимало одно — как ему лучше носить чуб: на правую сторону или на левую сторону?

Имя Надсона сразу вызвало у меня в памяти Марию Ва-

лентиновну Ватсон, и анекдоты, ходившие о ней в моем отрочестве. «Здравствуйте, Марья Валентиновна! Какая сегодня прекрасная погода!» — «Погода-то прекрасная, да вот большевики...» Я запомнила на всю жизнь: летом, не то 19-го, не то 20-го года, в голод, когда мы жили на станции Ермоловка, в помещении бывшей гостиницы, которую Петроградский совет предоставил на лето литераторам — меня послали в кухню вскипятить чайник; там, над своей керосинкой, стояла Марья Валентиновна — в пальто вместо халата — и беседовала с кушаньем, шипевшим у неё на сковородке. «Не хочешь быть котлеткой, — говорила она, размешивая что-то на сковородке, — будь кашкой, будь кашкой!»

Анне Андреевне не понравились мои анекдоты.

— Марья Валентиновна очень тронула меня однажды, — сказала она. — В Доме Литераторов был объявлен вечер новой поэзии. Стоял там бюст Надсона. Мария Валентиновна сказала мне: «Я хочу унести его отсюда, а то они могут его обидеть». [25])

17 мая 54

Третьего дня (42) много часов, почти целый день, провела у меня Анна Андреевна. Отдыхала, чуть-чуть спала, обедала. Перелистывала том «Художественного Наследства». Доложила две новости в пушкиниане — две находки: письмо Волконской к Вяземской о стихотворении «На холмах Грузии лежит ночная мгла» [26]) и письма Карамзиных в Париж к Андрею Николаевичу в 1836-37 годах.

— Письма Карамзиных накануне и после дуэли — это сенсация, — сказала она. — Это может многое переменить и разрушить. (43)

В «Художественном Наследстве» она долго разглядывала портрет Андреевой:

---

(42) По-видимому, ошибка; может быть — вчера?

(43) Так и случилось. Письма разрушили легенду о прочной и надежной дружбе Карамзиных к Пушкину и сделали явной приверженность молодежи обоих домов, Карамзиных и Вяземских, к Дантесу. См. стр. 126.

— Какая она тут красавушка! [27]) Это мои старшие сестры в то время такие были: загадочные, стройные...

Сказала о Шаляпине, рассматривая его портрет:

— Я поняла главный недостаток подобных людей: Есенин, Шаляпин, Русланова... Они самородки. И тут это «само» сыграло с ними скверную шутку. У них есть всё, кроме самообуздания. Относительно других они позволяют себе быть какими угодно, вести себя Бог знает как.

Когда она отложила «Наследство», я спросила, не слышно ли что́ о ее книге?

А спрашивать было нельзя. Она сразу сделалась сердитой и печальной.

— Может быть, единственное хорошее, что случилось со мной в этом году, — сказала она, — это что книга не вышла. Вы и еще человек 10 читателей, знающих всё, мною написанное, любили бы и её, восстанавливая в уме все пропуски. Но те, кто читал бы впервые... Полное разочарование, полное... И были бы правы: «у нас столько несчастий, столько событий, а она всё сидит в своем болоте и размышляет о любовных происшествиях и собственных косах».

У меня так и защемило сердце от этих слов. Хотя я и не верю в разочарование читателей (самый урезанный ахматовский сборник всё равно окажется собранием шедевров), но я разделяю её возмущение и её боль: что это за Ахматова без «Поэмы», без (44) и многих других. Как истинно великий поэт, она жила и живет всеми скорбями времени, щедро на них отзываясь, но этот звук заботливо глушат и глушат и глушат.

Я её попросила прочесть мне некоторые стихи, слышанные мною от неё когда-то в Ленинграде. Хотелось еще раз услышать их из её уст да и память свою проверить: нет ли утруски, утечки? Она прочитала два. Оказалось, помню точно.

Увидим ли мы когда-нибудь эти стихи напечатанными?

Вряд ли. Для этого нужна слишком длинная жизнь. (45)

---

(44) «Реквиема».

(45) Её жизни нехватило. А я — дожила. Оба стихотворения: «И вот, наперекор тому» и «Немного географии» напечатаны в 1974 году в сб. «Памяти Анны Ахматовой». Paris, YMCA-Press, 1974, на стр. 23 и 11, а потом в «Записках», т. 1, стр. 105 и 65.

Сб. «Памяти Анны Ахматовой» в дальнейшем для краткости мы будем именовать сб. «Памяти А. А.».

Мы заговорили о наших погибших. И о тех, кто еще, быть может, жив и вернется. Какая будет встреча. И о неизвестных могилах — не зная их, так трудно жить.

И еще говорили об одной категории людей. Я задала ей вопрос, который меня очень занимает: кто они социально? по своему происхождению? (46) Если обобщить?

— Социально — не знаю. По-разному это бывало, наверное. Но вот о чем я думаю: Раскольников п о с л е уже ничего не мог. Только броситься на кровать одетым и так лежать. Больше ничего. Не мог и не хотел. А этим хотелось, вернувшись «с работы», увидеть жену в новом платье и чтобы у дочки — бант в волосах... (47)

От меня она поехала к Липскерову.

26 мая 54

Заезжала к Анне Андреевне. Она вялая, полубольная. У неё Эмма Григорьевна. Скоро пришли Шток и Мария Сергеевна. (48) От Штоковых острот она немного оживилась. Рассказывала про Аничку, дочку Ирины. Я спросила Анну Андреевну, почему в той семье её называют Аку̀ма.

— Правильнее было бы А̀кума, — отвечала она. — По-японски это значит Злой Дух. Так меня называл Володя Шилейко. И Николай Николаевич один раз так назвал в телеграмме. За ним стала называть Ирина. И вот теперь Аничка.

Помолчав, она добавила:

— Ира и Аня единственные люди на земле, которые говорят мне «ты». Я рада. Как в детстве.

31 мая 54

Вчера весь день лежала пластом: ни читать, ни писать. Боясь мозговой спазмы, старалась не двигаться. Днём забегала Фридочка, (49) которая долго не могла ко мне прорвать-

---

(46) Следователи сталинского времени.

(47) Ту же мысль, развернутую более подробно, см. на стр. 368.

(48) О Марии Сергеевне Петровых см. примеч. 118).

(49) Фридочка — Ф. А. Вигдорова. О ней см. примеч. 271).

ся: по случаю парада, дом наш, как всегда, оцеплен. (50) Но вечером, к счастью, пройти уже можно было, и пришла Анна Андреевна. Принесла розы. Пришла пешком и ушла пешком — очень трогательно. Был салют; под моими окнами гулянье; колеблющиеся огни в стеклах. Анна Андреевна какая-то затуманенная, будто не в себе, хотя спокойная, ровная. Говорила, что в страшном состоянии Борис Леонидович, что он звонил ей с безумной речью, а потом пришел — торжественный, горький. Зинаида Николаевна с Лёничкой в Переделкине, а он здесь один. Непонятно, что там происходит: то ли Зинаида Николаевна его бросила, то ли с Ольгой у него нелады.

16 июня 54

Анна Андреевна в Болшеве. Я была у неё накануне отъезда. Кажется, она уехала 10-го.

29 августа 54

Навестила в Голицыне Анну Андреевну.

Она внизу, в просторной светлой комнате; Нина Антоновна наверху, в маленькой. Они, кажется, были мне рады.

Анна Андреевна спокойная, красивая. Чувствует себя хорошо. За окном зелень. Лежа на кровати возле окна, читает по-английски детективный роман. Объясняет мне:

— Говорят, что очень полезно для языка. Тут и быт, тут и светская жизнь.

Мы втроем пошли в лес. По дороге Анна Андреевна указала мне домик, где живет и болеет Александр Николаевич Тихонов.

— Тишенька! — сказала она. — Я хотела его навестить, но мне отсоветовали: говорят, он уже не в своем уме и меня всё равно не узнает.

---

(50) 31 мая 1954 года «Правда» сообщала, что накануне, 30 мая, в Москве на Красной площади состоялись «парад и демонстрация представителей трудящихся в честь всенародного праздника 300-летия воссоединения Украины с Россией».

Нина Антоновна вдруг вспомнила, что забыла заказать мне ужин, ахнула и поспешила обратно.

Мы вошли в лес. Лес не лес, — так, дачный перелесок, — но высокие хмурые ели. Анна Андреевна села на вывернутый корень, прислонясь спиной к стволу, а я на пенек. Она рассказала, что вчера ходила на похороны Оболдуева.[28])

— Все пошли — и я. Благинину я не знаю, но она была тронута, обняла меня и поцеловала. Я заметила, что вдовы, самые безутешные, всегда видят и помнят, кто был на похоронах. Значит и бывать надо, и письма писать надо — исполнять всё. Я Оболдуева не видала живым, но вчера, глядя ему в лицо, снова поняла: смерть — это не только горе, но и торжество и благообразие. Когда я узнала, что умерла Ольга, я, конечно, была опечалена. А утром проснулась и думаю: «что это мне вчера хорошее сказали про Олю?» (51)

Было видно, как по минскому шоссе в тучах пыли летят машины.

— Пыль, какая она издали красивая, — сказала Анна Андреевна. — И посмотрите — золото на небе, словно на иконе... В машине сидя, отвратительно чувствовать пыль, а поглядеть издали — какое счастье.

У неё в самом деле в эту минуту было счастливое лицо. Она не спускала глаз с шоссе. Пыль, пронизанная солнцем, плыла золотыми и розовыми клубами.

Вернулась Нина Антоновна и тоже устроилась на пеньке. Она стала расспрашивать Анну Андреевну о перипетиях в детективном романе. Какое-то murder.

Среди деревьев, колыхаясь, бродили гуси. Один подошел к нам близко.

— Это мой знакомый гусь — сказала Анна Андреевна. — У него вместо головы что-то неприличное.

— Сейчас он начнет браниться, — предупредила Нина Антоновна.

---

(51) Ольга Афанасьевна Глебова-Судейкина (о ней см. «Записки, т. 1, стр. 20) скончалась в Париже в ночь с 19 на 20 января 1945 года. (См. Eliane Moch-Bickert. Olga Glebova-Soudeikina — amie et inspiratrice des poètes. Thèse prés. devant l'Univ. de Paris IV, Lille, 1972, p. 89.)

И верно — гусь вытянул свою мерзкую голову и с большим ожесточением нас выбранил: каждую в отдельности и всех вместе. Потом удалился.

Мы пошли домой. После прогулки Анна Андреевна ненадолго прилегла. Взяла с подоконника и протянула мне толстую книгу: «прочтите-ка тут первый абзац».

Это был том из собрания сочинений Веры Фигнер. Я прочла:

«В прошедшем, 1921, году Россия понесла две тяжелые утраты: в феврале скончался Кропоткин, а в декабре — Короленко.

— А в августе Блок, — сказала я. — И Гумилев. Она забыла.

— Да, в августе Блок, — повторила Анна Андреевна. — Она не забыла, для неё Блока просто не было. И не только для неё. Целый слой неинтеллигентной интеллигенции, глухой к стихам. [29])

Анна Андреевна надела красивое черное платье, и мы пошли ужинать. За столом все на неё смотрели. Тут были Эйдлины, жена Гребнева, Ольга Зив, Фельдман. Я тоже глянула, как впервые, на её профиль под белизной седины, осанку, руку. Рядом с её лицом опять все лица показались мне неопределенными, невыраженными.

После ужина Анна Андреевна проводила меня до калитки, а Нина Антоновна до самого вокзала. Оказывается, И. Р. говорит, что, глядя на Анну Андреевну, она перестала бояться старости.

И напрасно, подумала я. Такое даётся не всем.

1955

14 января 55

В день моего приезда,(52) сразу, мне позвонила Анна Андреевна. Я хотела пойти, но прорваться сквозь 42 листа корректуры нечего было и думать. Я вырвалась только 12-го, во вторник. Жаль; она в беде — и в одном из худших своих состояний. Слабая, несчастная, раздраженная; волосы неприбраны; из-под пышного халата на груди торчит ночная рубашка. Не спала три ночи. Судьба немилосердна к ней; горе горем, а тут еще какие-то лишние дополнения, терзающие хуже горя. От Левы телеграмма с упреками, вызванная, по мнению Анны Андреевны, чьими-то лживыми письмами. Чьими-то письмами к нему. Теперь пойди, распутывай психологические узлы на расстоянии, да еще подцензурно! Всё это лишнее, все это ей не под силу. Ее больному сердцу.

Выговорилась — и стала спокойней. Прочитала переводы: с китайского и из Райниса. Китаец великолепен, а Райнис скучен, вял: ординарен.(53)

Она навещала Бориса Леонидовича.

— Он полуболен, полуарестован, — сказала она. — Зине кто-то насплетничал анонимно про Ольгу, и она его заперла. У него глаза грустные и удивленные, как бывают у детей. Зина очень груба с ним.

---

(52) Я провела около полутора месяцев в Голицыне (когда Анны Андреевны там уже не было); вернулась в Москву 9 января 1955 года.

(53) См. Ян Райнис. Сочинения в двух томах. М., Гослитиздат, 1955. В первом томе напечатаны 37 стихотворений, переведенных Ахматовой.

Рассказывала о съезде.

— Ко мне подходили поэтессы всех народов. А я чувствовала себя этакой пиковой дамой — сейчас которая-нибудь из них потребует: «три карты, три карты, три карты».

Рассказала новеллу:

— Сижу один раз со Шварцем в нашем ресторане. Обедаем. (54) К нашему столику подсаживается Городецкий: «Анна Андреевна, разрешите представить вам моего зятя». — «Пожалуйста». Ушел за зятем, возвратился: «Анна Андреевна, он говорит, что ему неохота знакомиться с контрреволюционной поэтессой». Я ответила ангельским голосом: «Не огорчайтесь, Сергей Митрофанович, зятья — они все такие». Не правда ли, я его перехамила?.. Через несколько дней я, чтоб похвастать, рассказала всю историю Эренбургу. Он спрашивает: «а что же Шварц? неужели ни слова? это недостойно мужчины. Я бы Городецкому так ответил, что он костей бы не собрал». Я сказала: «не могу же я, на случай возможного хамства, всегда водить с собою Эренбурга. Слишком большая роскошь».

И еще одно веселое сообщение:

— Вышла «История литературы», издание Академии Наук, 1954. Там про меня говорится, что я мещанская поэтесса... (55)

Я спросила, кто написал статью.

— Волков. Он давно обо мне пишет... Когда-то в Ленинграде, в Пушкинском Доме, я читала свое исследование о «Золотом Петушке». (56) Слушали меня пушкинисты. Когда я кончила, подошел Волков. Он сказал, что давно изучает мою биографию и мое творчество и хотел бы зайти ко мне, чтобы на месте ознакомиться с материалом. А я ни за что не

---

(54) Делегаты Съезда писателей, размещенные в гостинице «Москва», получали завтраки, обеды и ужины в тамошнем ресторане. Евгений Львович Шварц был членом той же делегации, что и А. А. — ленинградской — и жил в том же коридоре, что и она.

(55) «Многие стихи Ахматовой воспринимаются как интимный мещанский дневник» — см. «История русской литературы». М.-Л., изд. АН СССР, т. 10, 1954, стр. 776.

(56) «Последняя сказка Пушкина» — ОП, стр. 8.

желала его пускать. «Они, — сказала я, кивнув на пушкинистов, — жизнь свою кладут, чтобы найти материал, а вы хотите всё получить сразу».

Я спросила, как этот Волков выглядит.

— Совершенная горилла. Похож на гориллу до такой степени, что непонятно, как могли ему выдать паспорт. В мохнатую лапу. (57)

По дороге домой я размышляла о слове мещанство. Им пользуются, не определяя смысла. Тамара (58) определяет так: тот слой населения, который лишен преемственной духовной культуры. Для них нет прошлого, нет традиции, нет истории, и уж конечно нет будущего. Они — сегодня. В культуре они ничего не продолжают, ничего не подхватывают и ни в какую сторону не идут. Поэзия Ахматовой, напротив, вся — воплощенная память; вся — история души, история страны, история человечества; вся — в основах, в корнях русского языка. У мещанина ж и языка нет, у него в запасе слов 300, не более; да и не основных, русских, а жаргонных, сегодняшних...

21 января 55

Вчера была у Анны Андреевны. И очень огорчилась.
Ею.

Приехала Эмма Григорьевна, мы все пили чай у Нины Антоновны. Нина или Эмма, не помню, как-то небрежно отозвались о шенгелевском переводе «Дон Жуана». Анна Андреевна рассердилась. И произнесла речь — столь же гневную, сколь несправедливую:

— Кто сказал, что байроновский «Дон Жуан» хорош? А все кричат: «Шенгели перевел неблагозвучно». Я читала подлинник 40 раз — это плохая, даже безобразная вещь — и Шенгели здесь ни при чем. Байрон эпатировал читателей и нарочно сделал вещь неблагозвучной. К тому же постельные мерзости — во множестве. При чем тут Шенгели? У Байрона

---

(57) Об Анатолии Андреевиче Волкове см. «Записки», т. 1, примеч. к стр. 62.

(58) Тамара Григорьевна Габбе.

там только и есть хорошего, что одно лирическое отступление.

Я знаю английский слишком слабо и судить о качестве байроновских стихов не могу. Не могу почувствовать, эпатировал ли он, не эпатировал. Но на мой слух Шенгели плох безмерно, у него «Дон Жуан» вообще не стихи, а корявая проза. И не только «Дон Жуан».

Я сказала это Анне Андреевне, но она не вняла и продолжала бранить тех, кто бранит Шенгели...

Непонятно и неприятно.

Эмма Григорьевна простилась и ушла. Анна Андреевна увела меня к себе. Сказала, что работает сейчас очень много, переводит корейцев и сильно устаёт.

— Сажусь с утра. Это легче, чем китайцы: без рифм, но всё-таки трудно. Иногда идет, будто само, съезжаешь, как на салазках. Но зато потом стоп — и стоишь, стоишь...

Внезапно, среди разговора, она быстрым движением открыла чемоданчик, вынула оттуда листок и положила передо мной на стол. Я прочла:

Но сущий вздор, что я живу грустя
И что меня воспоминанье точит...

— Узнаёте? — спросила Анна Андреевна, глядя на меня в упор.

Я узнала: первые строки «Подвала памяти»!

Теперь «Подвал» восстановлен весь, целиком...

Я ушла счастливая, забыв про Шенгели. [30])

6 февраля 55

На днях была у меня Анна Андреевна. Привезла в подарок китайца. (59) Бледная, отекшая — тяжело даются ей китайцы! Да если бы только труд... Мне в тот день нездоровилось тоже, слушала я её плохо, сразу не записала и потому сейчас записываю немногое.

---

(59) Судя по надписи на книге, это было 2 февраля. Надпись: Милой Лидии Корнеевне Чуковской — малый дар. Ахматова. И слева: 2 февраля 55. Москва.

Анна Андреевна потрясена смертью Лозинских. Говорит о них с умилением, с гордостью.

— Величественная кончина! Завидная. Он умер, не зная, что она умирает. Что ж! Дети у них пристроены, только внуков жаль... Какие люди! (60)

Потом рассказывала об «эфирной Ахматовой».

— Уму непостижимо, что вытворяет в эфире эта дама! (61)

14 апреля 55

Только что от Анны Андреевны. Она приехала сегодня утром. Привезла оконченную работу: корейцев. Теперь ей предлагают «Тимона Афинского». (Когда же предложат Ахматову?) Я ее застала лежащей, она больна и мрачна. В руках — новая книжка Берггольц.

Анна Андреевна недовольна — и Ольгой и книжкой.

— Ольга мне звонила много раз, — и каждый раз одно и то же: «хочу к вам придти, но не могу — пьяна. Не стою на ногах». Однако в те же дни она ходила по делам в Лениздат и выступала в защиту мира. Значит, только для друзей она не стоит на ногах.

Я сказала, что прочла «Верность» и мне очень не понравилось, интонация какая-то противоестественная. [31])

---

(60) Михаил Леонидович Лозинский скончался 31 января; жена его, Татьяна Борисовна, убедившись, что он — накануне кончины, приняла яд. Оба они умерли в один и тот же день и в один день похоронены.

В своем «Слове о Лозинском» Ахматова, в частности, говорит: «Я горда тем, что на мою долю выпала горькая радость принести и мою лепту памяти этого неповторимого, изумительного человека, который сочетал в себе сказочную выносливость, самое изящное остроумие, благородство и верность дружбе (...) Верность была самой характерной для Лозинского чертою». (Анна Ахматова. Стихи и проза. Л., 1976, стр. 559).

Об М. Л. Лозинском см. — «Записки», т. 1, примеч. к стр. 22.

(61) До Анны Андреевны дошли слухи о передачах иностранного радио, посвященных ее трагической судьбе. В те годы сильные радиоприемники в Советском Союзе были редкостью; иностранные радиостанции подвергались глушению, а их слушатели — преследованиям. Сама я впервые увидела радиотранзистор с короткими волнами лишь в 1963 г.

— А я не прочла, — отозвалась Анна Андреевна. — Эта вещь сама не дает себя читать. Фальшивый звук. Я не могла бы ее прочесть, если бы мне платили по 18 рублей за строчку.

Она спросила, читала ли я «Лирику», и узнав, что нет, продолжала:

— И это тоже очень странная книга. Всего два-три новые стихотворения, а то всё старые: мама-Кама и про шофера на льду. (62) Может быть, эти стихи имели еще какой-то смысл в 42 году, потому что пахли трупом, но сейчас пятьдесят пятый. Их надо было оставить в маленькой книжечке 42 года, чтобы потом извлекли, а не перепечатывать без конца. [32])

Вошел Ардов. Изобразил речь Суркова на Съезде; я каталась со смеху; обоймы имен, причем каждая кончается рефреном: «и Мирза Турсун Задэ»... Позвал нас чай пить. За столом Нина Антоновна, Наташа Ильина (63) и мать Виктора Ефимовича. Тут же в столовой мелькают Миша и Боря. Приносят чай, приходят и уходят, двоятся и превращаются в других: у них гости. Борю, Мишу и Алешу я помню маленькими, еще в Чистополе; пресмешные ребятишки, мал мала меньше — лесенкой; теперь это большие, красивые мальчики, и они мне по душе, потому что чувствуется, что они любят Анну Андреевну и ей с ними хорошо. [33]) Причесавшись и надев красивый халат, вышла в столовую и она. Разговор был общий, то есть никакой, Анна Андреевна молчала. Рассказала, впрочем, о своих корейских переводах: Холодович, редактор книги и заведующий кафедрой, прочитал их студентам. Корейцы спросили: «А не было это уже в « Anno Domini » ? »

— Для переводчика — дурной комплимент, — добавила Анна Андреевна, — но я польщена.

---

(62) О. Берггольц. Лирика. М., Гослитиздат, 1955; в эту книгу, в частности, вошли стихотворения: «Первое письмо на Каму», «Второе письмо на Каму», «Третье письмо на Каму», а также «Ленинградская поэма», — где в третьей главе говорится о шофере, доставлявшем во время блокады хлеб в умирающий Ленинград. А. А. считала вымышленным и ненужным рассказ о том, как шофер, решив срочно отремонтировать застрявшую на льду машину, облил себе руки бензином и поджег их.

(63) О писательнице Наталье Иосифовне Ильиной см. примеч. на стр. 71 и 89, а также примеч. [70]).

Потом она снова увела меня к себе. Рассказала, что Смирнов предложил ей для перевода «Двенадцатую ночь» и она с негодованием отказалась.

— Вы, кажется, забыли, кто я!.. Над свежей могилой друга я не стану... У меня это не в обычае. (64)

Сама она всегда помнит, кто она. Сквозь все унижения и все переводы.

22 апреля 55

Как-то на днях, когда мне можно было не ехать в Переделкино, меня позвала Анна Андреевна, и мы целый вечер читали японские стихи.

Голос в телефонной трубке показался мне бодрым, радостным. По этому случаю, пока я шла через мост, я нянчилась с такой мыслью — Анна Андреевна сама откроет мне дверь и еще в передней скажет: «Леву освободили». Но нет, я все это придумала. Ничего нового. На последнее организованное ею заявление (Струве, [34]) Эренбург) ответа нет. (65) Анна Андреевна удручена. Куда еще идти? Кого еще просить? Куда писать?

Лежит — у ног грелка — в руках красненькая книжечка: «Японская поэзия». Читала мне вслух сама и меня просила читать. Все стихи из одного отдела: «позднее средневековье». Книга только что вышла. [35])

— Правда, дивные? По любому счету — самого первого класса.

Это правда. Мы с упоением, по очереди читали стихи японцев вслух, передавая книгу друг другу и выискивая всё новые чудеса. (Переводы Марковой).

Вот что я запомнила:

---

(64)А. А. считала поступком недопустимым, недружественным, заменить своей работой работу Лозинского. «Двенадцатую ночь или что угодно» перевел в свое время М. Лозинский. (См. Вильям Шекспир. Полное собрание сочинений в восьми томах. Под общей редакцией С. С. Динамова и А. А. Смирнова. М.-Л., « Academia », т. 1., 1937).

(65) См. RLT, стр. 649-650.

Первый снег в саду.
Он едва-едва нарцисса
Листики пригнул.

Или:

Нищий на пути.
Летом весь его покров —
Небо и земля.

Или:

И поля и горы —
Снег тихонько всё украл.
Сразу стало пусто.

Эти три прочитала мне Анна Андреевна и спросила, могу ли определить, в чем тут прелесть? Чем это так хорошо?

— Всё это увидено и сказано в первый раз, — попыталась я. — Какое-то сочетание первозданности с изысканностью. И как всё точно. И похоже на рисунки.

— Теперь мне кажется, что мои переводы корейцев плохи, — сказала Анна Андреевна.

Просила читать еще.

Я прочитала:

Та́к кричит фазан,
Будто это он открыл
Первую звезду.

И еще одно:

Верно, в прошлой жизни
Ты сестрой моей была,
Грустная кукушка.

И еще:

На голой ветке
Ворон сидит одиноко.
Осенний вечер.

Лучшие, пожалуй, — «фазан» и «нищий». Кажется, будто их сочинила чеховская девочка — та самая, которая сказала: «море было большое». У Мандельштама где-то написано: «Как детский рисунок просты». Да, эти стихи чем-то похожи на детские рисунки.

Анна Андреевна снова взяла у меня книжку из рук.

— По чьей-то серости, — сказала она, — тут иногда переводчики пускаются в рифмовку, хотя у японцев рифм не бывает. Серость и тупость. Сразу огрубляется, опрощается стих. В собственных стихах рифма — крылья, а в чужих, когда переводишь, — тяжесть. Здесь же это и совсем ни к чему!

Она засунула книгу в тумбочку.

Потом сказала:

— Известно ли вам, что я родилась в один год с Гитлером? Но не пугайтесь: в этом же году родился Чаплин. Год двоякий. (66)

Она потянула к себе со стола книгу Садуля о Чаплине и прочитала вслух два отрывка. Книга ей сильно не нравится.

Заговорили о Хемингуэе. Анна Андреевна объяснила, что не любит у него рыбной ловли, а я, при этих словах, сразу же схватилась за губу.

— Ах, я вижу, — сказала Анна Андреевна, — вы тоже понимаете, каково рыбам? Крючок впивается им в губу! Это еще хуже, чем охота, о которой пишут столь поэтично и несут домой окровавленных птиц...

Я сказала, что ни она, ни я прелести охоты понять не можем: чтобы любить охоту, надо быть мужчиной.

— Вы ошибаетесь, — с некоторой даже торжественностью ответила Анна Андреевна, — многие мужчины думают так же, как мы.

---

(66) С этими словами Анны Андреевны интересно сопоставить ее собственную запись:

«Я родилась в один год с Чарли Чаплиным и «Крейцеровой сонатой» Толстого, Г[итлеро]м, «Эйфелевой башней» и, кажется, Элиотом. В это лето Париж праздновал столетие падения Бастилии — 1889. В ночь моего рождения справлялась и справляется знаменитая древняя «Иванова ночь» — 23 июня (Midsummer night)». (Сб. «Книги. Архивы. Автографы...» стр. 73.)

Я переменила ей грелку у ног. Она пожаловалась, что чувствует себя очень плохо:

— Мне предлагают работу, а я не могу её взять, просто не в силах, — сказала она.

Я спросила, не собирается ли она в Болшево?

— Нет, нет. Не с моими нервами. Я слишком хорошо изучила и санаторий и себя. Я не персонаж для санатория.

26 апреля 55

Анна Андреевна прочитала «Старика и море». По этому случаю последовал монолог о Хемингуэе:

— Нет, книга мне не понравилась. Я читала и думала: «Мне бы ваши заботы, господин учитель». Ведь это он сам и его дама появляются в конце, с их позиций всё и написано... Всё такое надмирное... В «Прощай, оружие!» ему было что́ сказать — свое, категорическое, а тут — нет, не слышу. Больше всего я люблю у него «Прощай, оружие!» и «В снегах Килиманджаро»... А вы заметили — он совсем не американец? Он европеец, парижанин, кто хотите. У него и Штатов почти нет, всё больше другие страны. И вы заметили, какие в его вещах все люди одинокие — без родных, без родителей? В «Прощай, оружие!» говорится про кого-то: «у него даже был где-то отец». Полная противоположность Прусту: у Пруста все герои опутаны тетками, дядями, папами, мамами, родственниками кухарки.

Сегодня Анна Андреевна живее, бодрее немного. Даже не лежит.

Опять сказала мне о книжке Берггольц:

— Всё старое, мама-Кама, нового почти ничего... Кстати, вы не знаете, откуда это?

Она протянула мне книжку с дарственной надписью. Сначала «Милой» и пр., а потом две строки:

Лишь к Твоей золотой свирели
В черный день устами прильну...

Я вспомнила сразу. Это из Блока — «Ты в поля отошла без возврата». Я это знаю с детства и потому сразу прочитала наизусть начало и конец.

— Ну вот, вы помните, а все остальные граждане, в том числе и я, позабыли. Я имела полную возможность выучить

назубок только эти две строки, потому что Ольга пишет мне их регулярно на каждой своей книге.

Дальше случилось смешное происшествие, которое, между прочим, показало мне, что Анна Андреевна, несмотря на болезнь, сильна и находчива.

Её позвали к телефону. Она ушла и говорила довольно долго. Я взяла книжку Берггольц. И вдруг из-под кровати выскочила Лапа и вцепилась мне зубами в туфлю! Я громко закричала. Отталкиваю её ногой, колочу по шее — держит. На мой крик вошла Анна Андреевна. Лапа мигом уползла под кровать. Тогда Анна Андреевна нагнулась, одною рукою за шкирку вытащила собаку из-под кровати (Лапа, повиснув у неё на руке, вся скорчилась от конфуза), шлепнула другою по спине и вышвырнула за дверь.

Всё это она проделала в одно мгновение, гибко, сильно — и даже не задохнулась.

Потом пришла не то портниха, не то просто какая-то дама продавать ей летнее пальто. Одергивая на Анне Андреевне полы, она говорила:

«Только зад вам короток, а перёд в самый раз. Я как услышала «Ахматова», я прямо села. Ведь вот, например, Пушкин: «Зима, крестьянин торжествуя» — больше я ничего не помню. А ваши все стишки знаю наизусть. Про сероглазого короля очень красиво. Да, зад придется выпустить, а перёд в самый раз. Я у одной видела: вы на карточке нарисованы с челочкой, молодая, очень пикантно».

6 мая 55

Вчера, наконец, я опять провела вечер у Анны Андреевны. В майские дни она звала меня дважды: но я никак не могла к ней вырваться: то Переделкино, то люди, то прорва работы. Теперь и перед ней совестно, и сама себя обокрала.

Она встретила меня словами:

— Сегодня в Китае «День Поэзии». Праздник Дракона. Китайцы бросают в реку рис в честь Цюй-Юаня, который утонул.

Помолчав, рассказала:

— Видела я Бориса Леонидовича. Грустно. Он стареет и даже как-то дряхлеет. Выглядит очень дурно. Кончает роман. После такой напряженной работы нужна отдача — а

будет ли она? Страшная у него жизнь. Представьте себе, он не слыхал до сих пор о смерти Лозинского! Где же он живет, кого видит? Наверное одного Ливанова. [36])

Когда я передала ей (со слов Ольги), (67) что Борис Леонидович, для предполагаемого однотомника, собирается исправлять ранние стихи — например, «Ужасный! — Капнет и вслушается...» — она всплеснула руками, а потом произнесла тихо, раздельно, медленно:

— Это вершина русской поэзии. Классика XX века... Борис — безумец.

Потом мы пили чай вместе с Ардовым и Галиной Христофоровной. [37]) У Ардова возле прибора стоял волшебный китайский гусь, который сам пьёт воду. В общем разговоре Виктор Ефимович между прочим упомянул, что пьесу Д. Б. помог построить Файко и что кому-то из сценаристов помог дотянуть сценарий Коварский.

— Кажется, только я одна с а м а написала свою «Белую Стаю», — сказала Анна Андреевна и увела меня к себе.

Она спросила, что я читала в последние дни? И услышав в ответ: «Роллана, которого не люблю, биографии героев» — произнесла целую анти-роллановскую речь. Как всегда, ее нападки оказались совершенно неожиданными:

— Терпеть его не могу. Такое убожество! Не в силах был понять, как это Микеланджело давал приданое неимущим девушкам из собственного кармана. Да, да, я читала! Сам же он скряга, сквалыга на французский манер. Он даже и сущей малости не мог сообразить — тот был католик, тому сказал его духовный отец: «сын мой, вокруг нас нуждающиеся» — и Микеланджело счел себя обязанным дать приданое неимущим девицам. Роллан и представить себе такого не может: взял собственное свое родное золото и кому-то отдал! Майя Кудашева мне объяснила, что он жил в Швейцарии только потому, что прислуга там гораздо дешевле, чем во Франции. Там молоденькие девушки, приучаясь перед замужеством вести хозяйство, идут в услужение почти бесплатно. [38])

Потом, уже не помню по какому поводу, я посмеялась над давешней её поклонницей-портнихой.

---

(67) Ивинской, уже вернувшейся из лагеря.

— По правде сказать, — ответила мне Анна Андреевна, — я рада была тогда, что вы ушли. Мне казалось, вы её сейчас ударите. Но не беспокойтесь, пожалуйста, не все мои поклонники в её роде. Попадаются и совершенно особенные. Есть один в Ленинграде, инженер по турбинам. Любит мои стихи. Когда он защитил диссертацию, друзья подарили ему все мои книги. Так вот, у него был однажды билет в Филармонию, но узнав случайно, что и я в этот вечер должна быть там, он заявил, что не пойдет: «я не имею права находиться под одной крышей с нею, я того не стою». Вот какие у меня бывают поклонники!

Потом сказала — не знаю, всерьез или в шутку:

— Среди писателей у меня мало друзей. В сущности, я ни с кем незнакома. Вот разве что с Исидором Штоком и Сашей Кроном... (68) И еще знаете, кто в последнее время? Сказать? — Она взглянула на меня с веселым лукавством. — Самуил Яковлевич. Вы думаете, он всё только лежит в кровати и хворает? Ошибаетесь, по ресторанам и отлично... ЗИМ похож на самолет. [39])

Когда мы заговорили о романе, над которым работает Наташа Ильина, Анна Андреевна сказала:

— Трудный у нее материал. Она ведь пишет о том, чего нет и никогда не будет, и уже неизвестно, было ли. Это всё равно, что месить тесто из облаков... Смотрит на свою газету и удивляется: неужели было? (69)

Потом, когда я собралась уходить:

— Ну посидите еще десять минут. За это время я постараюсь привыкнуть к мысли, что вы уходите.

И вдруг вынула из чемоданчика «Поэму» и показала мне

---

(68) Само собой разумеется, это утверждение не следует понимать буквально: знакомых и друзей у Анны Андреевны среди писателей и среди не-писателей было великое множество.

Об И. В. Штоке см. примеч. [7]) и примеч. на стр. 92, а также т. 3 моих «Записок». Об А. А. Кроне см. примеч. [229]).

(69) Роман Н. Ильиной «Возвращение» посвящен жизни русской эмиграции в Китае. «Своя газета» — это просоветская газета, которую одно время в Шанхае издавала Н. Ильина.

Первая книга романа «Возвращение» опубликована издательством «Советский писатель» в 1957 г.; вторая в 1966; обе вместе в 1969.

одно место. Я охнула, разглядев, что строка «Не видавших казни очей» заменена другою: «Наших прежних ясных очей». (70)

— Анна Андреевна, это хуже! — взмолилась я. — Та была очень важная строчка. Ведь это грань в каждой человеческой жизни: знаешь ли ты уже, что такое казнь, или нет.

— Непременно надо было заменить эту строку, — строго ответила Анна Андреевна. — Она давала повод к ложным толкованиям. Я читала множеству людей, убедилась. И не одна она — и другие строки и строфы.

Она быстро перелистывала «Поэму». Передо мной мелькали вычеркиванья и замены.

Я увидела на лету еще один разбой: вместо строки «Что глядишь ты так смутно и зорко?» написано «печально и зорко».

Я стала умолять Анну Андреевну оставить ее. Ведь это такое изумительное сочетание: «смутно и зорко»!

— Я все эти поправки сделала еще в прошлом году в один вечер, — торжественно произнесла Анна Андреевна. — И не спорьте, пожалуйста. Перестаньте.

Я перестала. Как же это можно менять: «смутно и зорко»! Но я перестала. Я только попросила разрешения явиться с «Поэмой» на днях, чтобы перенести все вставки и поправки в свой экземпляр.

— Не переносить надо, а предыдущий экземпляр уничтожить, — сказала Анна Андреевна сердито. — Он уже никуда не годится. (71)

10 мая 55

Вечером вчера всё получилось неудачно. Анна Андреевна позвонила, когда у меня сидел гость, и просила придти ско-

---

(70) В ББП, на стр. 437, указан другой вариант этой строки:
Не глядевших на казнь очей...

(71) Экземпляр, подаренный мне Анной Андреевной 4 мая 1953 года, я не уничтожила, а храню. В этот экземпляр из месяца в месяц, из года в год А. А. либо сама вносила перемены, либо диктовала их мне. И так длилось вплоть до июня 1960 года, когда А. А. подарила мне новый экземпляр, который недолгое время она считала окончательным. Тогда последующие поправки я стала вносить в него.

рее, потому что она осталась одна в квартире и ей «неуютно». Я же была связана. Когда же гость ушел и я, следом за ним, выбежала на улицу и сразу поймала такси — то оказалось: салют, Красная Площадь оцеплена, надо объезжать через Каменный Мост — новая задержка.

Ардовы были уже дома. Зря я неслась сломя голову.

Но не в этом дело. Главная неудача оказалась впереди.

Анна Андреевна ввела меня в свою комнату, села на кровать, я на стул. Вижу, письменный столик сегодня какой-то прибранный, расчищенный. И она чего-то ждет.

— Принесли? — спрашивает Анна Андреевна.

— Чтó принесла?

— «Поэму»!

Такая досада! Оказывается, я её не поняла. Она ожидала, что я принесу свой экземпляр и хотела продиктовать поправки. А я не поняла и не принесла!

Анна Андреевна дала мне листы бумаги и свой экземпляр. Я сразу заплуталась в этом экземпляре, но все-таки переписала кое-что, с указанием, чтó куда. Переписала бы я и больше и толковее, но Анна Андреевна ждала нервно и меня торопила.

Ей хотелось рассказывать.

Она была в Доме Ученых, слушала еврейские песни Шостаковича и говорит о них с ужасом, даже с отчаяньем. Не о музыке — музыкой восхищена — о словах.

— Это предел безвкусицы! Хуже этого я не слышала ничего. И люди слушают и не замечают! И он! Им не важно, какие слова! [40])

Затем, припомнив, что Виктор Ефимович сказал недавно в похвалу кому-то: «это настоящий Гарун-аль-Рашид», — Анна Андреевна произнесла целую речь. На свою любимую тему: о бессмысленности молвы людской.

— Одни делают всю жизнь только плохое, а говорят о них все хорошо. В памяти людей они сохраняются как добрые. Например, Кузмин. Он никогда никому ничего хорошего не сделал. А о нем все вспоминают с любовью... В исторических случаях никакие поправки не помогают никогда. Вот, Виктор Ефимович помянул Гаруна-аль-Рашида. Он, видите ли, добрый, он спасал бедных и пр. Всё неправда! Он был на самом деле злодей, вешатель. Это установлено.

Но уже ничего нельзя изменить. То же с Лукрецией Борджиа, только наоборот. Я читала книгу, в которой фактами доказано, что она не была ни отравительницей, ни развратницей. Но ведь это не помогло её памяти. Нисколько!

По дороге домой, я размышляла о её словах. Почему так, в самом деле? Думаю, потому, что художество сильнее всего. У Герцена где-то написано: «Люди гораздо больше поэты и художники, чем думают». О Гаруне-аль-Рашиде, о Лукреции Борджиа созданы сказки, легенды. Сказку исследованиями и фактами не переборешь. Она все равно сильнее.

Разве что новой сказкой.

Ну, а случай с Кузминым? Тут уж что-то другое.

12 мая 55

Анна Андреевна встретила меня сегодня радостным сообщением:

— Я подумала и уступаю вам смутно и зорко. (72)

(Это я с утра пришла к ней со своим экземпляром «Поэмы». И она достала из чемоданчика свой. И мы уселись рядышком за расчищенный стол).

Осмелев от этой уступки, я сказала, что питаю вражду еще к одной новой строке:

А дурманящую дремоту
Очень трудно всем превозмочь —

то есть ко второй из них. Какая-то она прозаическая.

Анна Андреевна кивнула с неожиданной кротостью:

— Да, я это и сама собиралась исправить. (73)

Показала мне несколько отступов, сдвигов, соединений и обозначила их своей рукой в моем экземпляре. Я ей заме-

---

(72) «Что глядишь ты так смутно и зорко» — эта строка в таком виде и сохранилась во всех вариантах «Поэмы».

(73) И впоследствии исправила:

А дурманящую дремоту
Мне трудней, чем смерть, превозмочь.

тила, что теперь, в новом варианте, придется убрать из предисловия строки о самостоятельных безымянных «Посвящениях», потому что теперь ведь «Посвящения» перестали быть безымянными, она указала, кому что: «Первое посвящение» — Вс. Князеву, «Второе» — Судейкиной; (74) а из объяснений надо снять «Георг — это Байрон», потому что в тексте теперь не «факел Георг держал», а «Байрон факел держал». (75)

И это она с готовностью пометила у себя.

Так беседовали мы поначалу очень мирно. А потом последовал взрыв.

Последовал он из-за «Лирического отступления» — из-за моей любимейшей Камероновой Галереи. (76)

---

(74) Раньше прозаический кусок под названием «Вместо предисловия» содержал в себе такие строки:

«Все это ни в какой мере не отменяет первоначальные (НЕ УКАЗАННЫЕ) посвящения, которые продолжают жить в «Поэме» своей жизнью». С 1954, а вернее с 1955 года «Посвящения» сделались именными. Имена к «Посвящениям» я переписала из экземпляра Анны Андреевны в свой 9 мая 55 г.

(75) Скоро А. А. снова вернула Георга.

(76) Отрывок, условно именуемый «Камероновой Галереей» в том экземпляре «Поэмы», которым я тогда располагала, читался так:

(А сейчас бы домой скорее,
Камероновой Галереей
В ледяной таинственный сад,
Где безмолвствуют водопады,
Где все девять * мне будут рады,
Как бывал он когда-то рад,

Что над юностью встал мятежной
Незабвенный мой друг и нежный,
Только раз приснившийся сон.
Чья сияла юная сила,
Чья забыта навек могила,
Словно вовсе и не жил он.

Здесь, за островом, здесь, за садом,
Разве мы не встретимся взглядом
Наших прежних ясных очей.
Разве ты мне не скажешь снова
Победившее
смерть
слово
И разгадку жизни моей.)

---

* Музы.

Анна Андреевна, перелистывая «Поэму», сказала:

— Этот кусок сниму совсем, а то его толкуют неверно.

Я глянула через плечо: она водила пальцем по Камероновой Галерее.

— Что снимете совсем?

— «Мне бы только домой скорее
Камероновой Галереей».

Я не поверила.

— Камеронову Галерею выкинете?

— Да.

Безумие какое-то!.. А еще бранит Бориса Леонидовича за то, что он собирается исправлять ранние стихи!

— Лучше снимите всю «Поэму», — сказала я, потеряв узду. — Это мое самое любимое место. Вершина вершин. Снимите всё остальное, а это оставьте.

— Ах, так? — сказала Анна Андреевна. — А я-то думала, что вы любите «Поэму». Я ошиблась.

Я видела, что она не по-настоящему сердится, и осмелилась говорить. Конечно, сказала я, вся «Поэма» целиком — «классика XX века», как сама она определила недавно стихи Бориса Леонидовича. Но есть в ней особо неприкосновенные строки. Я спросила, что́ она имеет против своего «Лирического отступления»?

Сегодня она добрая и соблаговолила объяснить: во второй из трех камероновских строф поминается забытая могила, а это нельзя, потому что читатели путают ее с забытой могилой драгуна, героя поэмы.

— Но я подумаю, подумаю, — закончила она милосердно. — Кажется, я уже понимаю, как поступлю. (77)

Когда мой экземпляр был приведен в порядок и она уложила обратно в чемоданчик свой, — я попросила ее почитать

---

(77) Поступила так: оставила весь кусок, но выкинула вторую строфу, чтобы могилу Н. Недоброво, к которому обращены эти строфы, читатели не путали с могилой «драгуна» — Вс. Князева. Кроме того, внесла в отрывок о Камероновой Галерее некоторые мелкие перемены.

мне Пушкина. (78) Она согласилась. Читала много, щедро. Слушая ее голос, произносивший слова, которые я столько раз произносила сама, и про себя, и вслух, и в постели, и в метро, и на улице, и в лесу, и в поезде, я боялась, что громко заплачу. Я опять стояла со всем пережитым лицом к лицу.

21 мая 55

Сегодня с утра к Анне Андреевне. Она какая-то отсутствующая, смутная: смотрит — не видит, спрашивает — не слышит ответа. Непричесана, в туфлях на босу ногу, в ситцевом капоте. Думает что-то свое, а, может быть, продолжает — среди разговора — писать стихи. (Это с ней случается, я замечала.) Чувствуя ее потусторонность, я хотела поскорее уйти, но она меня не отпустила. Нет, не стихи, оказывается, а вот что у нее на уме: она подумывает о поездке к Леве, о свидании с ним. Хорошо бы, но, я боюсь, в такое путешествие ее не пустит болезнь.

Потом она всплыла на поверхность и стала поразговорчивее, расспрашивала меня о Дрезденской галерее, где я уже была и куда она собирается. Потом сказала, что в час дня к ней должен придти редактор — внезапно позвонил и попросил разрешения придти — наверное что-нибудь дурное случилось с ее корейскими переводами. (Хорошего она никогда не ожидает.) Потом вынула из сумки письмо и протянула мне: «Прочтите!»

Письмо от поклонницы.

«Всю жизнь мечтаю Вас увидеть... Узнала, что Вы сейчас в одном городе со мной... Я не молода, одинока и феноменально застенчива. «Путь мой жертвенный и славный здесь окончу я».

Читая, я вся измазалась в пошлости. Оказывается, и у нее тоже славный и жертвенный путь. Экая дурища!

— Это письмо я получаю с 1915 года, — сказала Анна Андреевна. — Сорок лет! Вчера получила еще раз. Его же.

Я вернула ей письмо с живым отвращением.

---

(78) Не Пушкина, а стихотворения Ахматовой тридцатых-сороковых годов: «Реквием» и др. Даже после смерти Сталина я еще боялась без зашифровки упоминать о них в дневнике. Примеч. 1968 г.

— И стихи пишет? — спросила я.

— Будьте спокойны! Одно, в виде взятки, посвящено мне, остальные, как полагается, е м у... Но это еще что! Мои современницы, я нахожу, гораздо хуже. У них уже склероз мозга, и они городят невесть что. Недавно в Ленинграде я получила письмо от одной своей сверстницы. Сначала похвалы мне, тоже очень много цитат, а потом, черным по белому: «никогда не забуду тот дом на Пряжке, так и стоит он перед моими глазами, где «в спальне горели свечи равнодушно-желтым огнем». Это она уже меня прямо в спальню к Блоку засовывает! Мне, конечно, всё равно, хоть в Сандуновские бани, но зачем же врать? Я хотела было позвонить ей по телефону, но мне рассказали, что инсульт, я представила себе скрюченную ручку, скрюченную ножку — и отменила звонок.

— Я дала прочесть тó письмо Тане Казанской, — продолжала Анна Андреевна. — Она очень острая дама. Прочитала и спрашивает: «Значит, это и есть слава?» — «Да, да, это и есть, и только это. И ничего другого». [41])

Я напомнила, что существуют ведь и другие читатели.

— Да, пишут, конечно, худшие. Это известно.

Через четверть часа должен был придти редактор. Я предложила Анне Андреевне переодеться, а сама ушла к Нине Антоновне. Спросила у нее, чем, по ее мнению, вызван внезапный редакторский визит? «А ничем, — весело ответила Нина Антоновна, — он просто хочет посмотреть на старуху. И более ничего. Уверяю вас».

В лиловом облачении в столовую вышла Анна Андреевна. Она ошеломила меня, сообщив, что Ленинградский Литфонд предоставил ей в Комарове дачу. Чудеса в решете! Ахматовой, а не Ардаматскому! Сколько там комнат, и какая она, дача, зимняя или летняя, Анна Андреевна «забыла узнать». Жить там будут также Ирина Николаевна с дочерью. Когда дочь Ирины услышала эту новость, она спросила у Анны Андреевны:

— Акума, а ты будешь к нам приезжать?

24 мая 55

Вчера, в десятом часу вечера, позвонила Анна Андреев-

на и попросила срочно придти посмотреть корейца. Голос оживленный, добрый, нету ее обычного телефонного лаконизма; рассказала, что была у Николая Ивановича и он надписал ей книгу. (79) Приехав, я застала ее в столовой, где Нина Антоновна укладывала чемоданы (едет с театром в командировку в Сибирь).

Анна Андреевна в сером платье, очень идущем к ее седине. Возбужденная, приподнятая, веселая. Рассказала о давешнем редакторе: он предъявил ей несколько требований и внес несколько самостоятельных стихотворных предложений.

— В общем, он был в меру нагл, в меру почтителен, в меру глуп, — сказала Анна Андреевна, — но кое-где наглость вышла из берегов... Я умоляю вас, Лидия Корнеевна, — она сложила руки у груди, — прочитайте и переводы, и пометки редактора, придирайтесь ко всему и посоветуйте, как быть. Вы окажете мне благодеяние.

Конечно, мне следовало бы наотрез отказаться. Но, не знаю, вышла ли из берегов моя наглость, или я привыкла слушаться Анну Андреевну — но я покорно отправилась к ней в ее комнатушку. Там, на столике, уже были приготовлены корейцы (80) и чистые листы бумаги. Анна Андреевна ушла и оставила меня одну. На полях пометки редактора: «слабовато», «следует пересмотреть»; в одном месте им предложена строка собственного изделия: «Вдруг сразу он»...

Я читала часа два. Сквозь чтение, как будто сквозь сон, смутно слышала разговоры в столовой: пришла Наташа Ильина, вернулся с концерта Ардов; Анна Андреевна что-то рассказывала, и все смеялись. Конечно, работала я не так, как надо: нельзя такую уйму стихов читать подряд и без перерыва. Но старалась я изо всех сил, читала вслух, возвращалась к уже прочитанному. Кончила, извлекла Анну Андреевну из соседней комнаты, и мы опять сели рядышком за стол. Мне очень трудна ее быстрота. Она понимает мгновенно и мгновенно решает. (Как тогда мигом вытащила и

---

(79) По-видимому, — «Судьбу художника» (повесть о Федотове). М., «Советский писатель», 1954.

(80) У меня не помечено, и я не помню, была ли это машинопись или уже корректура. Примеч. 1968 г.

выбросила Лапу). Кое-что из моих предложений она сразу отвергла; кое с чем согласилась и тут же вписала в текст; и лишь очень немногое отложила для дальнейшего обдумывания.

27 мая 55

Сегодня с Анной Андреевной смешной разговор в машине (по ее просьбе я ее отвозила к кому-то в гости на Арбат). Оказывается, она была дружна с ленинградской художницей, Ниной Коган, которую я знала слегка, издали: она приходила в нашу редакцию, к Лебедеву. Скромная женщина, некрасивая и очень талантливая. (Я видела портрет Ахматовой работы Коган — интересный: самая суть ахматовской красоты.) [42]) Так вот, Анна Андреевна рассказывает:

— Однажды я собиралась к ней в гости, вечером. Была уже в пальто. Вдруг телефонный звонок: Нина. «Приходите, пожалуйста, не сейчас, а немного позднее, я должна уложить спать мою курицу».

Отсмеявшись, я спросила у Анны Андреевны, в чем же было дело, какая оказалась курица, почему спать? Выяснила ли она это всё у Коган?

— Ну вот еще! Как можно! Напротив: я сделала вид, что сама каждый вечер укладываю спать по несколько куриц!

Редактор будет завтра. Вчера Мария Сергеевна Петровых помогла ей обосновать возражения редактору.

30 мая 55

В субботу я ездила с Анной Андреевной к Наташе Ильиной. Заехав, как было условлено, на Ордынку, в 7 часов, я думала, мы отправимся сразу — но нет, Анна Андреевна велела мне раздеться и повела к себе в комнату. Я спросила, чем кончилось свидание с редактором, как принял он ее упреки?

— «И лобзания, и слезы, и заря, заря!» Упреков никаких я не делала. Я была кротка, как ангел. Я просто показывала ему, что здесь будет вот так, а здесь вот этак. И он был в восторге. Я проявила подлинный гуманизм, — о строке «вдруг сразу» ни слова.

Она сбросила со стула охапку платья, валявшегося на чемодане, и вынула оттуда знакомую рукопись.

— Строфа? — обрадовалась я.

— Нет, не строфа.

Показала мне, куда сделана вставка: примечание к предпоследней фразе предисловия: «ни изменять, ни объяснять ее я не буду». Потом я увидела страницу — белую, большую страницу, исписанную ее почерком, строчками, ползущими вверх и направо, забирающими всё выше и выше и всё правее и правее. Написанное она прочла мне вслух. Целая страница прозы, озаглавленная «Письмо к NN» или «Из письма к NN», точно не помню. Письмо не письмо, а отрывок, начинающийся с полуфразы. Замысел: положить предел кривотолкам. Нападки на нападающих и кое-какие объяснения. Написано со странной смесью беспомощности и надменности — странное сочетание, присущее ей вообще. (Когда-то об этом сочетании, как о главной черте ее характера, говорил мне Владимир Георгиевич.)

Окончив, она подняла на меня глаза. В вопросительном взгляде были доверчивость и беспомощность.

— Отрывок восхитительный, — сказала я, — но и совершенно ненужный.

— Необходимый, — надменно ответила Анна Андреевна.

Мы отправились к Ильиной. Анна Андреевна весь вечер была живая, веселая, озорная — очаровательная — мне было жаль, что кроме нас никто не видит ее такою. Она и на Ордынке была радостно возбуждена — по-видимому тем, что хорошо поладила с редактором и написала эту страницу — а тут еще выпила с Ильиной бутылочку муската и совсем развеселилась. В такие минуты она мне представляется «студентом» — как у Достоевского подросток называл генеральшу Ахмако́ву, когда она ненадолго из важной барыни превращалась в задорного мальчишку. Анна Андреевна оттаивала на глазах: лицо порозовело, заблестели глаза и больше не было ахматовских поднятых скорбных бровей. Говорила она без умолку. Сама, по собственному почину, без нашей просьбы, прочитала нам стихи: «И время прочь, и пространство прочь», «Нет, я не выплакала их»; (81) затем сообщила,

---

(81) БВ, Седьмая книга.

смеясь, что М. М. Смирнов (из журнала «Нева») заказал ей по телефону стихи о лете и «страницы три взволнованной прозы»... Потом вдруг:

— Знаете, Наталия Иосифовна, Лидия Корнеевна говорит, что я могу писать прозу. Неужели это правда? Неужели я могу?

Потом мне:

— А вы догадались, кому адресовано «Письмо к NN»? Кто NN? Догадались?

— Да, — сказала я.

— Кто же?

— Это я, Анна Андреевна. Это мне.

— Верно, угадали. Как же вы угадали? (82)

5 июня 55

Дважды за это время была у Анны Андреевны. В первый раз (2/VI) застала ее в постели — сердце. Лицо серое, отекшее. При мне явилась районная врачиха. Анна Андреевна ей верит, потому что когда-то она вóвремя определила инфаркт. Тоже поклонница таланта. Прописывая рецепт, произнесла: «Когда мне было 18 лет, я так обожала ваши стихи... Они такие звонкие, звучные... Теперь таких не пишут».

Звонкие, звучные!

После ее ухода разговор зашел о Герцене. Анна Андреевна с какой-то нарочитой грубостью напустилась на Наталью Александровну:

— Терпеть не могу баб, которые вмешивают мужей в свои любовные дела. Сама завела любовника, сама с ним и расправляйся, а не мужу поручай — тем более, что, как теперь известно, она прямо-таки висела на Гервеге, он от нее избавиться не мог... А когда Герцен в «Былом и Думах» пишет о ней, сразу страницы линяют. Какой-то фальшивый звук. Все вокруг нее плохие, она одна хорошая. И тетки, которые ее воспитали, тоже плохие.

Я ответила, что тетки в самом деле были стервозные. А Наталью Александровну я люблю. Если бы она была жен-

---

(82) См. примеч. на стр. 91-92.

щиной заурядной, ординарной, она преблагополучно осуществляла бы жизнь втроем, не страдая и не мучась. Но ложь, двойная любовь, двойная игра совсем не были свойственны ее натуре, и от этой двойственности, по природе ей чуждой, она и умерла. Она сама не могла понять, что с ней творится... Кроме того, я ценю в ней тонкость, восприимчивость, ум, литературность — она оказалась в состоянии понимать, о чем шла речь в кружке Герцена, быть участницей общей беседы. Не имея систематического образования, она была интеллигентна.

— Ну, это дело темное, — перебила меня Анна Андреевна. — Когда женщина молода и хороша, мужчины говорят сами и воображают, что это она сказала. Я видела это тысячу раз.

Но зачем же нам в данном случае следовать чьему-то воображению! Ведь множество писем Наталии Александровны к Герцену и к его друзьям сохранились и напечатаны, а ничто ведь не дает такой возможности точно судить о духовном уровне человека, как дневники и письма. Семнадцатилетней девчонкой Наташа писала Герцену восторженные, возвышенные, экзальтированные письма, которые сейчас смешно читать (как, впрочем, и все сентиментальные романы того времени), но и тогда уже сквозь экзальтацию проглядывали природный ум, твердость, самостоятельность, воля. Когда девочка выросла, экзальтация пошла на убыль, а ум, великодушие и твердость окрепли. Читала Наталия Александровна очень много, так что была вполне в состоянии следить за возбужденной умственной жизнью, бурлившей вокруг нее.

Анна Андреевна прекратила наш спор, ничего не возразив, но и не согласившись. (83)

Затем я была у Анны Андреевны на бегу вчера утром. Она уже встала, но лицо серое, отекшее. Рассказала о позоре с Дрезденской галереей: туда не велено пускать детей до 16

---

(83) Оказывается, мой первый довод А. А. приняла. Сейчас, в семидесятые годы, мне нередко случается слышать от общих знакомых, что А. А., порицая Наталью Александровну Герцен, имела обыкновение добавлять: «но женщина она была незаурядная — не всякая расплачивается за двойную любовь смертью». Примеч. 1977 г.

лет. Наталия Иосифовна позвонила администрации и невинным голосом осведомилась, почему? Девка ответила:

— Ясно, почему! Картинки-то там какие! — то есть, по ее мнению, непристойные.

Новые перемены в «Поэме»:

I. Эпиграф из Хемингуэя к «Эпилогу» « I suppose, all sorts of dreadful things will happen to us » (84) заменен пушкинским: «Люблю тебя, Петра творенье».

— Уж очень к этой части подходит Пушкин, — сказала Анна Андреевна.

II. Вместо Нечистого Духа («Вежлив, прячет что-то под ухо / Тот, кто хром и кашляет сухо. / Я надеюсь, Нечистого Духа / Вы не смели ко мне ввести») появился Владыка Мрака; это сделано потому, что рифма к уху существует уже в другой новой строфе, о другом герое (о Блоке: «Плоть, почти что ставшая духом, / И античный локон за ухом / Всё таинственно в пришлеце»).

III. Какие-то перемены в «Решке».

— Я дерзнула (!) покуситься (!) на «Решку», — сказала Анна Андреевна. — Столько лет ее не трогала.

Показала мне две школьные зеленые тетрадки, куда переписана «Поэма» в полуновом виде.

8 июня 55

Вчера — внезапная поездка с Дедом и Анной Андреевной в Переделкино. (85) Вышло так: Корней Иванович, на машине, приехал по делам в Москву. Удрученный жарой, он спросил меня, не увезти ли и Анну Андреевну за город? Позвонил ей сам, она согласилась. В половине шестого мы были на Ордынке. Вместе поднялись к ней. Анна Андреевна уже ждала нас нарядная, в сером платье. Я села рядом с Геннадием Матвеевичем, (86) а Корней Иванович и Анна Андреевна

---

(84) «Я думаю, с нами случится всё самое ужасное» (англ.).

(85) «Дедом» называли Корнея Ивановича не только внуки, но и другие члены его семьи.

(86) Шофер Корнея Ивановича.

позади. И еще одна пассажирка — «Поэма»! Анна Андреевна незаметно сунула мне в сумку школьные зеленые тетради.

На Арбате мы захватили Женю. (86а) Едем. Духота нестерпимая, но терпеть недолго: сейчас — на шоссе и вылетим за город, к деревьям.

Однако не тут-то было. Мы не предусмотрели стихийных бедствий.

Впереди толпа, машины, люди, опять толпа, опять машины и какой-то плакат через улицу...

Встречают Неру.

Я люблю Неру. Но сразу встревожилась за Анну Андреевну, зная, как плохо она переносит всякие дорожные осложнения. (Помню эвакуацию.) И недавно был сердечный приступ. И жара.

Геннадий в унынии, Корней Иванович смущен. Женя говорит, всё ерунда, и сыплет проектами.

Попробовали мы вырваться на Можайское шоссе через Воробьевы горы.

— Вид совершенно заграничный: Берлин, Вена, — сказала Анна Андреевна, когда мы объезжали Университет.

Стоп. Милиционер.

— Вся Можайская шоссе забита народом, — сказал он. — Проезда нет.

— Вы нам сообщаете об этом прямо с радостью! — рассердился Корней Иванович.

Милиционер ответил внушительно, солидно, назидательно:

— Я не за вас рад. Я за вас не рад, гражданин. Какая тут может быть для милиции радость. А радость народа за мероприятие.

Мы повернули. Анна Андреевна как-то потускнела, поникла. Корней Иванович сердился, что по радио не предваряют в таких случаях, какой путь будет закрыт. Я предложила отвезти Анну Андреевну домой. Один Женя не смутился и по-прежнему сыпал предложениями. Благодаря своей автомобильной страсти, он несомненно, лучше всех и лучше Геннадия знает здешние дороги, беспокойством же о

(86а) Женя (р. 1937) — мой племянник; о нем см. «Записки», т. 1, стр. 201.

стариках и больных он не обременен. Он настаивал, что пробиваться надо по Киевскому шоссе: «ну, там, несколько километров до Переделкина — ямы, подумаешь!»

Решили пробиваться.

Сначала дивное гладкое шоссе. Поворот — и мы на проселочной дороге. И на какой еще! Рытвины, колдобины, ухабы, ямы, поваленные сосны, сучья. Анна Андреевна умолкла. Хотя Геннадий Матвеевич вел машину очень осторожно и искусно, нас трясло и то и дело подбрасывало. Корней Иванович предложил, назло ямам, каждый раз после встряски улыбаться, но, кажется, это не удавалось даже ему.

— Может быть лучше пройти пешком? — спросила Анна Андреевна.

— Конечно! — закричал умный Женя. — Тут какие-нибудь пять километров! Добежать можно.

(Анна Андреевна так же в состоянии пройти пять километров, как поднять на плечи дом.)

...Но вот, наконец, последний бугор взят, последняя колдобина объехана и впереди асфальт. Перевели дух. А вот и наши ворота, и цветы, и лес. Мы вышли. Другой воздух. Другой климат. Океан прохлады. Может быть, стоило мучиться!

Вдвоем с Анной Андреевной мы пошли по тропинке вглубь сада — вернее, леса! — и сели на лавочку под высоченными соснами. Птицы поют. Тишина. Легкий ветер качает ветви, и тени плавают по яркой поляне. Анна Андреевна первая увидела белку, вьющуюся вокруг ствола: вокруг и вверх, вокруг и вверх. И ее полет на другую сосну.

— Ртуть, — сказала Анна Андреевна.

Потом:

— Быстрая, как тень.

Потом:

— Здесь преступно хорошо.

Корней Иванович пришел звать нас обедать. Он старше Анны Андреевны, но ходит гораздо легче, свободнее, чем она, быстро, уверенно, без одышки. Когда она похвалила лес и сад и кленовую дорожку перед домом, он стал убеждать ее поселиться у нас на лето. Показал комнату внизу, с видом на сиреневый куст, где ей было бы хорошо. Анна Андреевна

благодарила и обещала подумать. За обедом, когда Корней Иванович стал расспрашивать ее о здоровье, она рассказала о своем посещении литфондовской Поликлиники. Врач, фамилии не помнит, глядя в ее карточку, начал с допроса: «Вы кто — мать писателя или сами пишете? Сами? А почему вы из Ленинграда сюда приехали лечиться? В Ленинграде ведь тоже есть Литфонд».

После обеда мы поднялись в кабинет Корнея Ивановича. Анна Андреевна села на диван, надела очки, и я подала ей тетрадки. Она прочла «Поэму» всю целиком с новыми строками и строфами, а потом, без промежутка, — «Письмо к NN».

Корней Иванович бурно хвалил «Поэму» и новые строфы, сказал, что они с такою естественностью введены в текст, будто всегда тут и были. Тогда Анна Андреевна, лукаво поглядев на меня, спросила у Корнея Ивановича, как он думает, нужно или не нужно «Письмо к NN»?

— Необходимо! — ответил Корней Иванович к полному ее удовольствию. А я промолчала.

Анна Андреевна решила зайти к Пастернаку. Я с ней. Корней Иванович пошел провожать нас.

По дороге Корней Иванович опять заговорил о «Поэме». Он сказал, что вещь эта проникнута необыкновенно острым чувством истории. Что она о главном. Что это — трагедия времени, того и нашего. Что не любить ее невозможно. Что она заставила его дышать воздухом 13 года.

Мы проходили мимо длинного фединского забора. Корней Иванович предложил зайти к Федину, посмотреть на японские чудеса у него в саду.

Зашли. Константин Александрович поспешил к нам навстречу. На нем была какая-то великолепная парчовая куртка. Повел нас по саду. Его молчаливый зять перекапывал клумбу, Нина что-то полола. Варенька, с косичками и живыми глазами, увидев Корнея Ивановича, взвизгнула и бросилась ему на шею. Константин Александрович вел нас куда-то вглубь. «Как живёте, Лида?» — спросил он на ходу. «Отлично», — ответила я. Мы сели на скамью. Перед нами было розово-белое цветущее дерево, а за ним еще и еще его белые японские сёстры. Анна Андреевна смотрела на них в молчаливом благоговении. Когда Варенька, Корней Иванович и

Константин Александрович заговорили о чем-то своем, она сказала мне, показывая на белое деревцо:

— Словно в нем живет белая ночь.

Корней Иванович вспомнил, что кто-то должен к нему приехать из города, и заспешил домой, а Константин Александрович пошел проводить нас до ворот пастернаковской дачи. У калитки откланялся.

А мы вошли во двор.

Пусто. Ни цветов, ни деревьев, один огород. И в глубине — коричневая мрачная дача. Дом беды.

Мы пошли по дорожке к дому. Анна Андреевна тяжело опиралась на мою руку. Трудно она стала двигаться.

На крыльцо вышла какая-то женщина. Крикнула нам издали: «никого дома нет!»

— Передайте, что была Ахматова, — громко сказала Анна Андреевна, и мы пошли обратно.

А потом машина в город, — на этот раз без всяких приключений. Когда мы переезжали через пруд, освещенный закатом, Анна Андреевна произнесла четыре строки из своего стихотворения Борису Пильняку:

И по тропинке я к тебе иду.
И ты смеешься беззаботным смехом.
Но хвойный лес и камыши в пруду
Ответствуют каким-то странным эхом... (87)

Так это тот самый пруд! (Пильняк жил в Переделкине). Теперь уж мне от этих строк не избавиться. Я всегда буду повторять их на этом месте. Каждый раз.

У Анны Андреевны был вид утомленный, и она всю дорогу молчала. Только выходя из машины в ордынском дворе, сказала мне:

— Поблагодарите хорошенько Корнея Ивановича за прекрасную прогулку, за его приглашение и слова о «Поэме»... Как эти Чуковские умеют говорить о стихах!.. А вы поняли, я надеюсь, что Борис Леонидович и Зина были дома, когда мы пришли?

---

(87) «Всё это разгадаешь ты один» — БВ, Тростник, а также см. «Записки», т. 1; № 18.

Я мотнула головой с удивлением.

— Ну нельзя же быть такой простодушной! Оба дома, уверяю вас. Ну конечно же! И он и Зина. Просто не захотели принять нас.

11 июня 55

Опять за последние дни самое сильное впечатление — встреча с Анной Андреевной.

И с «Поэмой». И со стихами — старыми, сороковых годов, но для меня новыми.

Была у неё 9-го вечером. Скоро на несколько дней она переезжает к Л. Д. Большинцовой, т. е. к Любочке Стенич, [43]) в Сокольники. Там хорошо, большая квартира и деревья под окнами, но пятый этаж и нет лифта — значит, поднимется раз и окажется взаперти безвыходно... А сюда на время приезжает Алеша Баталов.

Начали мы не со стихов, а с Дрезденской галереи. Пришла Наталия Иосифовна — элегантная, моложавая, молодая. Рассказала о своём визите к Заславскому. По неопытности своей, (88) она не поняла сразу, как сразу поняли все мы, что запрещение посещать галерею детям до 16 лет исходит не от администрации, а от «вышестоящих организаций». И пошла к Заславскому объясняться, воображая, будто этого холуя можно переубедить.

Старый лицемер немедленно вскарабкался на высокие моральные позиции:

— У меня сын 14 лет, очень чистый мальчик. И я не уверен, что ему следует показывать Дрезденскую. [44])

Таково отношение к искусству воинствующего и правительствующего мещанства. Управдомы, инструкторы ЦК комсомола — наверное думают так же. Пригородные молочницы, мед- и культ-работники тоже не отстают. «Венера» Джорджоне в их восприятии непристойное зрелище.

Я ждала гнева Анны Андреевны, и гнев разразился.

Заговорила она негромко и раздельно, как всегда, когда

---

(88) Наталия Иосифовна Ильина (р. 1914) детство и молодость провела в эмиграции, в Китае, куда была увезена еще ребенком. Вернулась она на родину в 1948 году.

ею владеет негодование. Голос тихий, медленный, и чем сильнее бешенство, тем тише голос.

— Я уверена, что этот чистый мальчик с пятилетнего возраста слышит один только мат, — сказала она. — А что же нам делать с Эрмитажем? Рембрандт, Рубенс, Тициан? — Она перевела дыхание. — Ведь туда на экскурсии толпами водят этих чистых мальчиков с утра до вечера! А Русский музей? Фрина Семирадского? А греки, которые богов своих изображали нагими?.. Считать наготу непристойной — вот это и есть похабство.

Она с брезгливостью повела плечами.

Скоро Наталия Иосифовна ушла. Чуть только мы остались одни, я вынула из портфеля и разложила на столе «Поэму». Анна Андреевна, нисколько не удивившись, достала из чемоданчика свой экземпляр. Она сидела на краю постели, я на стуле. Продиктовала мне новую строфу в «Примечания» («Всех наряднее и всех выше, / Хоть не видит она и не слышит, / Голова madame de Lamballe») и добавления к «Решке» (89). Диктуя строфу о мадам де Ламбаль, сказала:

— Я отлично знаю французский, но писать не умею. И ни на одном языке не умею. Только «мама» и «папа».

Дала мне поручения: узнать точно, как пишется по-французски фамилия Ламбаль (можно ли рифмовать с Carnaval) и подробнее — что такое баута?

(За окном полил дождь. Он шумел в листьях и барабанил по стеклу. Меня поразило, что Анна Андреевна его не услышала. У неё так же плохо со слухом, как у меня со зрением. Машина дождя работала за окном гулко и бесперебойно уже минут двадцать, когда Анна Андреевна, увидев на стекле струйку воды, проговорила: «Смотрите, оказывается, дождь. У вас зонтик с собою?»).

К «Письму» она продиктовала мне большие новые поправки. Попросила, чтобы я отдала «Письмо» машинистке. Поправки диктовала каким-то беспомощным голосом, всё

---

(89) Строфа о madame de Lamballe впоследствии из «Примечаний» была перенесена Анной Андреевной в первую часть «Поэмы»: в Интермедию «Через площадку»; добавления же к «Решке» были, судя по рукописи, сделаны ею не к строфам, а в прозаической ремарке.

время перебивая себя вопросами: «это лучше? это понятно?» В прозе движется она неуверенно, «как будто под ногами плот, а не квадратики паркета». Обаяние чувствуется то же, что и в стихах, но силы, непреложности — нет. Синтаксис какой-то неуверенный. (90)

---

(90) Прилагаю текст «Письма к NN», который А. А. дала мне в тот день для перепечатки.

«I. Из письма к NN.

...и Вы, зная обстановку моей тогдашней жизни, можете судить об этом лучше других.

Осенью 1940 г., разбирая мои старые (впоследствии погибшие во время осады) бумаги, я наткнулась на давно бывшие у меня письма и стихи, прежде нечитанные мной («Бес попутал в укладке рыться»). Они относились к трагическому событию 1913 г., о котором повествуется в «Поэме без героя».

Тогда я написала стихотворный отрывок «Ты в Россию пришла ниоткуда» (второй из женских портретов моих современниц — первый назывался «Современница»). Вы даже, может быть, еще помните, как я читала Вам оба эти стихотворения в Фонтанном Доме, в присутствии старого шереметевского клёна («А свидетель всего на свете»). В бессонную ночь 26-27 декабря этот стихотворный отрывок стал неожиданно расти и превращаться в первый набросок «Поэмы без героя». История дальнейшего роста поэмы кое-как изложена в бормотании под заглавием «Вместо предисловия». (Набросок этот я читала на моем вечере в Союзе писателей в марте 1941 года).

Вы не можете себе представить, сколько диких, нелепых и смешных толков породила эта петербургская повесть. Строже всего, как это ни странно, её судили мои современники, и их обвинения сформулировал, может быть точнее других Х., когда он сказал, что я свожу какие-то старые счеты с эпохой (десятые годы) и с людьми, которых или нет, или которые не могут мне ответить. Тем же, кто не знает этих счетов, поэма будет непонятна и неинтересна... Другие — в особенности женщины, считали, что «Поэма без героя» — измена какому-то прежнему идеалу и, что еще хуже, разоблачение моих давних стихов, которые они «так любят».

Так в первый раз в жизни я встретила вместо потока патоки, иногда превращающего поэта в идиота, искреннее негодование читателей, и это, естественно, вдохновило меня.

В течение пятнадцати лет эта поэма неожиданно, как припадки какой-то неизлечимой болезни, вновь настигала меня, и я не могла от неё оторваться, дополняя и исправляя по-видимому оконченную вещь.

Я пила ее в капле каждой
И, бесовскою черной жаждой
Одержима, не знала, как
Мне разделаться с бесноватой.

[Окончание сноски на стр. 92.]

Излагая в «Письме» мнение о «Поэме» Абрама Эфроса (по «Письму» он — «X»), Анна Андреевна теперь развила его слова, выделила, удлинила; говорят — специально призывала к себе Штока и допрашивала с пристрастием. (91)

А я сделала «Поэме» подарок, которым очень горжусь.

Однажды в Ташкенте, я утащила из пепельницы брошенный Анной Андреевной клочок бумаги. Строки, обращенные к Судейкиной:

..Ужели
Ты когда-то жила в самом деле
И топтала торцы площадей
Ослепительной ножкой своей?

И вот они наконец пригодились. Я их прочитала Анне Андреевне наизусть (клочок потерялся) и спросила, помнит ли их она?

— До сих пор не вспоминала никогда, а теперь помню, и помню, что вы их любили. Давайте-ка введем их сейчас же. В «Поэме» мне очень нехватает торцов. Какой же Петербург без торцов!

И не удивительно, что Z., как Вам известно, сказала мне: «Ну, Вы пропали! Она Вас никогда не отпустит».

Но... я замечаю, что письмо мое длиннее, чем ему следует быть, а мне еще надо...

27 мая 1955 г.
Москва»

Наивно было бы, однако думать, что «Письмо к NN» — это реальное письмо, адресованное мне или кому-нибудь иному. Это одна из игр автора с читателем, которыми столь богата «Поэма без героя». «Письмо к NN» недолго удержалось в «Поэме». Сначала оно было введено в текст, а затем через несколько лет, при очередной переработке изъято навсегда. Начиная с 1960 года, в машинописных экземплярах «Поэмы», исходящих непосредственно от Анны Андреевны, «Письмо к NN» более не встречается. Досадно видеть, что «письмо» это, переименованное в «Письмо к Н.», открывает собою «Поэму без героя» во 2-м томе «Сочинений» Анны Ахматовой. (Нью-Йорк, Международное Литературное содружество, 1968, стр. 97; впоследствии это издание мы будем краткости называть «Сочинения»).

(91) И. В. Шток, один из постоянных посетителей чердачка Анны Андреевны в Ташкенте, слышал не раз, как она читала «Поэму без героя» своим гостям и присутствовал, по-видимому, при разговоре Анны Андреевны с Абрамом Эфросом.

Она в один миг нашла место. Вписала эти строки после свиданья в Мальтийской Капелле. Судя по рифмам, они тут и были. Только вводная фраза была какая-то другая. (92)

— На днях я видела экземпляр Зубовой, — сказала Анна Андреевна. — Знаете, что там написано? (Она заговорила тихим голосом: близилось негодование). «Ты — один из моих дневников»! Дневников вместо двойников! (93) Какой смрад! Это у Толстого было несколько дневников — один он показывал Софье Андреевне, другой не показывал и в валенке таскал — а моя героиня-то тут при чем? И как же люди читают?.. — Она гневно умолкла. — Но зато там я нашла надпись, сделанную мною в Ташкенте в 44 году. Я о ней наглухо забыла... Я вам ее прочту, только помните, и дайте мне слово, что она никогда не прилипнет к «Поэме»... И зачем это я, дура, сходной строфой ее написала? Другой не нашла? [45])

Она произнесла короткое стихотворение, горестное, открытое, будто дала мне потрогать рукою свою беззащитность и боль.

И ты ко мне вернулась знаменитой,
Темно-зеленой веточкой повитой,
Изящна, равнодушна и горда...
Я не такой тебя когда-то знала
И я не для того тебя спасала
Из месива кровавого тогда.

---

(92) Недавно я разыскала этот листок:

Горы пармских фиалок в апреле,
И свиданье в Мальтийской капелле
И записочка в полночь... Ужели
Ты когда-то жила в самом деле
И топтала торцы площадей
Ослепительной ножкой своей?

В последующих вариантах стро́ки о ножке и торцах остались, но введены они по-другому. См. БВ, стр. 327.

(93) На самом деле:

Петербургская кукла, актерка,
Ты — один из моих двойников.

Не буду я делить с тобой удачу,
Я не ликую над тобой, а плачу,
И ты прекрасно знаешь, почему.
И ночь идет, и сил осталось мало.
Спаси ж меня, как я тебя спасала,
И не пускай в клокочущую тьму.

Я думаю, это впервые за все существование поэзии поэт обращается с мольбой о помощи не к другу, не к людям вообще, не к природе, не к Богу, а к собственному своему творению. Поэт просит помощи у созданной им Поэмы.

Спаси ж меня, как я тебя спасала...

В этих стихах, что редкостно в поэзии Ахматовой, нет никакой опоры на реальный мир, никаких внешних конкретностей — ни облаков, ни бессмертника, ни муфты, ни хлыстика, ни сада, ни дома, ни набережной, ни птиц, ни Петропавловской крепости, ни мостов, ни закатов — одно раздумье, оканчивающееся мольбой:

Спаси ж меня, как я тебя спасала...

Хотелось бы мне когда-нибудь понять, догадаться — чем преображена фраза, воспроизводящая интонацию совершенно обыденную, домашнюю, даже словно выговор ребенку:

И ты прекрасно знаешь, почему...

Что превращает ее из прозаического упрека в торжественную жалобу, в какую-то музыку стона... То место, на котором строка эта поставлена в стихе?

Анна Андреевна сказала мне, что оно было написано в 44 г., в Сочельник.

Я запомнила всё стихотворение мгновенно, от слова до слова, будто оно всегда жило во мне; записала его на чистом листке и дала Анне Андреевне проверить и подписать.

Пока она боролась с моим пером, жалуясь, что не умеет писать им, я с новым чувством умиления смотрела на эти

старческие руки в перстнях, на эту склоненную над столом седую голову, на эти выцветшие, пронзительно умные глаза.

Седое чудо! «О мое седовласое чудо!»

Она написала под стихами «9 июня 55 г.»

По моей просьбе она продиктовала мне и стихотворение Пильняку, — я помнила пруд и конец, но позабыла начало. А теперь оно у меня целиком.

Всё это разгадаешь ты один...
Когда бессонный мрак вокруг клокочет,
Тот солнечный, тот ландышевый клин
Врывается во тьму декабрьской ночи.
И по тропинке я к себе иду...

и т. д.

— Совсем не помню, когда оно было написано, — сказала Анна Андреевна, окончив диктовать. — А вот что помню: незадолго до той поездки в Переделкино, о которой тут речь, я написала стихотворение Пастернаку. Пильняк тогда сказал: «А мне?» — «И вам напишу». И вот когда довелось написать! (94)

14 июня 55

Дважды звонила Анна Андреевна, которая уже снова у Ардовых. А я не могла откликнуться на ее зов: я больше на даче, чем в городе. Наверное, там накопились уже новые строки, и она хотела вместе поняньчить «Поэму».

16 июня 55

Из «Нового Мира», куда ходила за своей версткой, — к Анне Андреевне.[46]) Она тревожная, грустная бродит по ардовским комнатам. Приняла меня в столовой. У нее в комнате спит Ирина Николаевна, приехавшая из Ленинграда вместе с Аней и мужем. В столовой с ногами на диване сидит Аня и читает «Викторию». Анна Андреевна находит эту де-

---

(94) То есть после ареста Пильняка, когда уже разнесся слух о его гибели. См. «Записки», т. 1; № 18.

вочку красивой, а на мой взгляд она несколько простовата. Скоро пришел Ирин муж, уж совсем непонятный. Анна Андреевна увела меня в комнату мальчиков, и там я вынула из портфеля «Поэму», которую на всякий случай всегда таскаю с собой. Она внесла поправку в одну из строф «Решки» — сделала теперь так:

У шкатулки ж двойное дно (95)

Затем на обороте моего экземпляра, где было написано ею: «Окончательный текст 9 июня 55», она перед девяткой поставила единицу, и получилось 19 июня, хотя сегодня только 16-е. Но дело не в этом, а в том, что и 19-го текст не станет окончательным, и не скоро еще — я уверена.

Пересказала мнение Шервинского о «Поэме», по-моему, совершенно ошибочное. Это, якобы, не поэма, а цепь отдельных лирических стихотворений. Неправда, никаких отдельных стихотворений тут нет. Второе: это старомодно, десятые годы. Неправда, тут только по материалу — десятые годы, а сама «Поэма» оглушительно нова, в такой степени нова, что неизвестно, поэма ли это, и нова не для одной лишь поэзии Анны Ахматовой, а для русской поэзии вообще. (Может быть и для мировой; я судить не могу, я слишком невежественна). Тут всё впервые: и композиция, создающая некую новую форму, и строфа, и самое отношение к слову: акмеистическим — точным, конкретным, вещным словом Ахматова воспроизводит потустороннее, духовное, отвлеченное, таинственное. Конечно, это свойство всегда было присуще поэзии Ахматовой, но в «Поэме» оно приобрело новое качество. Острое чувство истории, тоже всегда присущее поэзии Ахматовой, тут празднует своё торжество. Это праздник памяти, пир памяти. А что память человека нашей эпохи набита мертвецами — вполне естественно; поколение Ахматовой пережило 1914, 1917, 1937, 1941 и пр. и т. п. История

---

(95) Было: «И смущенье свое не прячу / Под укромный противогаз». Потом, вместо противогаза, стало: «чем как будто смущаю вас». Затем А. А. посередине строфы сделала: «Впрочем, это мне все равно» (вместо «это в последний раз»); тогда стала возможна новая рифма, и А. А. закончила строфу по-новому: «У шкатулки ж двойное дно».

пережита автором интимно, л и ч н о — вот в чем главная сила «Поэмы». Тут и те, кто погиб в предчувствии гибели — самоубийца Князев, например. («Столько гибелей шло к поэту, / Глупый мальчик, он выбрал эту»... «Не в проклятых Мазурских болотах, / Не на синих Карпатских высотах...»). В «Поэме» не вообще мертвые — убитые, замученные, расстрелянные — а е е мертвые, те, что когда-то делали живой ее жизнь, герои ее лирических стихов. Но это вовсе не превращает «Поэму» в цепь лирических стихотворений, как полагает Шервинский. Это только пропитывает эпос лирикой, делает «Поэму» лирико-эпической, бездонно глубокой, хватающей за душу. «У шкатулки ж двойное дно» — а какое дно у памяти? четверное? семерное? не знаю, память бездонна, поглядишь — голова закружится.

— Напишите мне то, что вы сейчас сказали, — попросила Анна Андреевна.

Написать? Я обещала, но вряд ли сдержу обещание. «Поэма» слишком сложна; тут, как Анна Андреевна говорит о «Пиковой даме», — слой на слое, слой на слое.

30 июня 55

Получила от Анны Андреевны подарок. Недавно она спросила, каких ее книг у меня нет. Я ответила без всяких задних мыслей. И вот теперь она купила у Крученыха и сама привезла мне «Белую Стаю»! Берлинское издание 1923 года! С надписью! Признаться, я никогда не чувствовала в этой книге особой нужды, потому что почти всю ее знаю наизусть с детства, но так приятно держать её в руках, и перечитывать добрую надпись, и заново узнавать знакомые стихи. (96)

За это время Анна Андреевна была у меня дважды; первый раз я не записала вовремя, да и ничего особенно интересного не говорилось; а второй раз это третьего дня, 28/VI.

Она позвонила мне перед вечером и попросила увезти её к себе, потому что Ардовы празднуют день рождения Евгении Михайловны, матери Виктора Ефимовича, а у неё голова болит. И вот, преподнесла мне «Белую Стаю». Села за

---

(96) Надпись: «Милой Лидии Корнеевне Чуковской давнюю книгу на память о ее авторе с любовью Ахматова. 28 июня 1955. Москва».

большой письменный стол Корнея Ивановича, и я положила перед ней все её книги. Она начала перелистывать «Из шести книг» и проставлять под стихами даты. Потом зачеркнула над стихотворением «Как мог ты, сильный и свободный» имя Шилейко и объяснила мне:

— Никакого отношения к Владимиру Казимировичу эти стихи не имели. Пришлось в ту пору так пометить, чтобы прекратить сплетни. (97)

Над стихами «Зажженных рано фонарей» вместо «Встреча» поставила «Призрак». (98) Книга «Ива», оказывается, должна называться «Тростник» (она объяснила, почему); (99) и первое стихотворение там не «Ива», а Лозинскому («Почти от залетейской тени»). (100)

---

(97) «Как мог ты, сильный и свободный» — БВ, Anno Domini.

(98) БВ, Anno Domini.

(99) А. А. своею рукою зачеркнула название «Ива» и написала «Тростник». Объясняя мне, почему она дала этому циклу такое заглавие, А. А. пересказала одну восточную легенду: старшие сестры убили меньшую на берегу реки. Убийство удалось скрыть. Но на месте пролитой крови вырос тростник; весною пастух срезал дудочку, дунул в нее — и тростник запел песню о тайном злодействе.

Не знаю, помнила ли А. А. стихотворение Лермонтова «Тростник» — это тоже стихи о тайном убийстве: рыбак срезал тростник на берегу реки, сделал дудочку и дунул в неё.

И будто оживленный,
Тростник заговорил —
То голос человека
И голос ветра был.

Голос убитого человека.

После того, как А. А. пересказала мне легенду, я поняла первоначальный — и не состоявшийся — замысел всего «тростникового цикла»: по-видимому, именно в этот цикл должны были войти такие стихотворения тридцатых годов, как: «Привольем пахнет дикий мед», «С Новым Годом! С новым горем!», «Немного географии», «И вот, наперекор тому». И безусловно стихи из цикла «Венок мертвым». Осуществить этот замысел в печати тогда нечего было и думать — и весь цикл в книге сорокового года мирно назывался «Ива». В первой половине шестидесятых А. А. попыталась было включить некоторые из перечисленных выше стихов в «Бег времени», но редакция их оттуда выкинула. Большинство из этих стихотворений впервые напечатаны посмертно и притом заграницей: см. сб. «Памяти А. А.», а также «Записки», т. 1, № 25, № 9, стр. 65, 105 и примеч. на стр. 85.

(100) БВ, Тростник.

Я спросила у нее, что она сейчас читает?

— «Мистерии»!

Я обрадовалась: изо всех гамсуновских романов этот мой самый любимый.

— Я читала его лет 30 назад, — сказала Анна Андреевна. — Конечно, в смысле чувств я его и тогда понимала вполне, а в смысле литературном — нет. Я только сейчас до конца поняла, какая это смелая вещь — в ней Джойс, и вся современная литература — и какая она русская, как виден в ней Достоевский.

Я спросила, за что она не любит Станиславского? (Однажды мимоходом призналась).

— Не люблю, он многое и многих загубил в театре. Он нашел способ ставить чеховские пьесы, что-то в них открыл, но потом пытался применить тот же метод к другим пьесам — паузы и пр., — и это оказалось губительно. Мы видим, что вышло. Не говорите, пожалуйста, как все: «плохо, мол, сделалось без него», «бездарные люди не умеют применять его систему» — и при нем было точно так же, не обольщайтесь. Когда в других театрах смотришь, например, «Федру», — думаешь о страстях человеческих, о любви, о судьбе, о смерти. Это и есть театр. А когда смотришь спектакль, поставленный Станиславским, всё так уж реально, так уж точь-в-точь, что думаешь: а есть ли в этой квартире комната для домашней работницы? а не пора ли им уже обедать — они что-то давно не ели? а не пора ли уж и в уборную?

Я спросила, видала ли она Станиславского на сцене? (Я видела в «Вишневом саде» — и никогда не забуду: великий актер).

— На сцене не случалось, — ответила Анна Андреевна. — А лично видела. В санатории. Там все демонстративно его обожали.

— А был ли он в самом деле такой красивый, как на фотографиях? — спросила я.

— Что вы! Николько! Напротив: обезьянье лицо, обезьяньи руки. Но вот чем он мне привлекателен: настоящей одержимостью искусством. Ему, конечно, на всё и всегда было наплевать: только бы ставить и ставить спектакли, только бы торжествовал театр. «Жизнь» помимо театра его просто не занимала: такая ли, иная ли...

Я пошла ее проводить. По дороге заговорили о Фрейде. Я призналась в своей нелюбви. Всё мне кажется неправдивым, придуманным в его теориях, кроме, разве, той огромной роли, какую он приписывает раннему детству.

— Фрейд — мой личный враг, — с торжественной медлительностью произнесла Анна Андреевна. — Ненавижу всё. И всё ложь. Любовь для мальчика или девочки начинается за порогом дома, а он возвращает ее назад, в дом, к какому-то кровосмешению... А насчет раннего детства догадывались и без него.

Анна Андреевна шла трудно, с одышкой. Я остановила такси. В машине случился смешной эпизод: она прочитала мне одно свое давнее стихотворение, которого я никогда не слыхала.

Кажется, так:

Я знаю, с места не сдвинуться
Под тяжестью Виевых век.
О, если бы вдруг откинуться
В какой-то семнадцатый век.

И дальше:

С боярынею Морозовой
Сладимый медок попивать.

Жалуясь, что безнадежно забыла какие-то первые четыре строки, Анна Андреевна потребовала, чтобы я их вспомнила. Я ей толкую: это стихотворение вы мне сейчас прочитали в первый раз! А она повторяет:

— Ну постарайтесь... пожалуйста... припомните... Я вас прошу... Тут нехватает всего только четырех строк... Для вас это пустяки. Вы — моя последняя надежда.

Я опять объясняю, что стихов этих до сего дня никогда не слыхала. Она словно поняла, поверила, и мы заговорили о другом.

Но когда я помогала ей выйти из машины во дворе ее дома, она повторила опять:

— Пожалуйста, вспомните первые четыре строки. Остальное известно. (101)

11 июля 55

Вчера днем я забегала ненадолго к Анне Андреевне. Она собиралась в гости. Мы посидели за столом в столовой вместе с Мишей и Виктором Ефимовичем. Ели молодую картошку и огурцы. Виктор Ефимович во главе стола в сапожницком фартуке мастерит какой-то короб: орудует шилом, прошивает крышку толщенными нитками как заправский сапожник. Миша хозяйничает. С первого взгляда он разительно похож на отца, со второго видишь в нем Нину: смуглое белозубое лицо, бархатные темные глаза, что-то мягкое сквозь решительность. Анна Андреевна недавно сказала мне: «Миша у нас добрый, как девочка».

Она собиралась к Фаине Георгиевне, [47]) переодевалась, долго говорила по телефону. Видела я ее сегодня лишь мельком и на людях. За столом я начала цитировать идиотическую рецензию Ложе́чко — «внутреннюю» — на чьи-то стихи:

«Ритм обыкновенный, рифма нормальная, поэтика на среднем уровне» — и не могла продолжать, потому что у Анны Андреевны исказилось лицо и она ударила кулаком по столу:

— Это бандит! Это бандитизм!

(Меня порадовало её возмущение: братья-литераторы давно разучились возмущаться такими вещами и принимают невежество и наглость Ложе́чко как нечто неизбежное. Я это много раз наблюдала. А ведь Ложе́чко надо лишить права рецензировать рукописи за эту одну единственную фразу и бороться против Ложе́чко обязаны мы). [48])

Миша вызвал машину и проводил нас через двор. Анна Андреевна велела шоферу ехать по улице Горького. В машине я ей рассказала, что, перечитывая «Записные книжки»

---

(101) Стихотворение было прочитано мне Анной Андреевной начиная со второго четверостишия: «Я знаю, с места не сдвинуться». См. «Памяти А. А.», стр. 15; № 55. Первое четверостишие не обнаружено до сих пор. Примеч. 1977 г.

Блока, с удивлением слежу за черновиками:[49]) оказывается, стихи его лились потоком, сплошным, общим, и только потом, постепенно из этого общего потока выкрасталлизовывались отдельные стихотворения, посвященные разным людям и «на разные темы». А поначалу они были едины. Словно широкая река у нас на глазах распадается на речки, ручейки, озера.

— Это очень интересное наблюдение, — сказала Анна Андреевна. — Вам непременно следует написать статью. Ведь обычно-то бывает наоборот...[50]) А вы не заметили там черновика стихотворения, посвященного мне? Нет? В окончательном виде это мадригал, всё как полагается, а в черновике чего только нет: тут и демон, тут и невесть что... (102)

18 июля 55

Событие: Анна Андреевна на днях читала мне новые стихи. И какие! Начала она с переводов вьетнамцев, а потом прочитала свое. Не сороковых годов стихотворение, а теперешнее. Первое теперешнее со времен нашего московского знакомства.

Набросок новой ленинградской элегии. Всех их, по ее словам, будет пять. (103)

Я мало что запомнила, к сожалению.

---

(102) Я не знаю, откуда Анне Андреевне был в 55 г. известен черновик блоковского «мадригала». Черновики этого стихотворения опубликованы позднее; стрóки:

Кругом твердят: «Вы — демон, Вы — красивы»
И Вы, покорная молве,
Шаль желтую накинете лениво,
Цветок на голове... —

я прочла только в 1960 г. (См. Александр Блок. Собрание сочинений в восьми томах. М.-Л., Гослитиздат, т. 3, 1960). Впрочем, Анну Андреевну могли ознакомить с черновиками специалисты-блоковеды.

(103) На самом деле с е м ь. (См. В. М. Жирмунский. Творчество Анны Ахматовой. Л., «Наука», 1973, стр. 138). Седьмая, оставшаяся недописанной, носила заглавие «Последняя речь подсудимой»; о ней поминает Ахматова в строфе из «Решки»: «И со мною моя Седьмая, / Полумертвая и немая». В приводимой же мною беседе разговор идет о черновике Второй. См. ББП, стр. 333; № 56.

Кончается так:

И длилась пытка счастьем.

Где-то в начале:

Приятелей средь камешков речных...

И еще:

Уже я знала список преступлений,
Которые должна я совершить...

Сразу не охватишь и не ухватишь. Родственно «Эпическим мотивам», но бемолизировано до такой степени, что мороз по коже.

Она спросила:

— Что это? Как?

Я попробовала найти слова.

— Страшное, — сказала я. — Страшнее, чем гофманиана в «Поэме». Не жизнь, не эпизод из жизни, а «один, всё победивший звук» — главный звук прожитого. Над всем торжествующий.

Анна Андреевна слушала внимательно и в то же время как будто рассеянно.

— Может быть, может быть, — приговаривала она. — Пожалуй... А еще?

— Сильное, — сказала я. — Особенно ко второй половине, к концу. Но мне не нравится «они с ума сошли» — очень уже по-обывательски для этого высокого звука и потом где-то к концу какой-то неуместный намек на рифму.

— Не только это. Тут еще много будет перемен, — сказала она. (104)

...Вьетнамцы искусны. Хочу попытаться стихотворение о

(104) Речь идет о Второй из Северных элегий; работу над ней А. А. так и не завершила. Об автобиографическом замысле Ахматовой, воплощенном в Ленинградских (впоследствии Северных) элегиях, о том, когда они были написаны и в каком порядке расположены — подробно см.: В. М. Жирмунский, указ. соч., стр. 138-143. № 56.

мальчике пристроить в «Пионерскую Правду». Я была поражена, как Анна Андреевна обрадовалась моему намерению. Деньги? Вряд ли; что там могут заплатить за одно маленькое стихотворение! Или необходимость прочно утвердить себя на материке переводов? (105). Она с удовольствием дала мне прочесть в «Литературной Газете» заметку Д. Романенко, где упоминают в числе удачных её переводы из Попова. (106) Заметка ничтожная.

Я шла домой, негодуя на свою утраченную память. Мне уже тяжело жить в разлуке с этой последней элегией. И когда еще Анна Андреевна кончит над ней работать и позволит переписать!

Вспомнила первую строку:

И никакого розового детства...

Я давно уже подозревала, по многим признакам, — да и по ее ленинградским рассказам — что детство у Ахматовой было страшноватое, пустынное, заброшенное, нечто вроде Фонтанного Дома, только на какой-то другой манер. А почему — не решаюсь спросить. Если бы не это — откуда взялось бы в ней чувство беспомощности при таком твердом сознании своего превосходства и своей великой миссии? Раны детства неизлечимы, и они — были.

И никакого розового детства...

Сейчас, ночью, зацепившись за «чем сильней», я восстановила в памяти весь конец:

---

(105) В 1955 г., с предисловием А. Сафронова, Гослитиздат срочно выпустил «Стихи поэтов Вьетнама», где на стр. 207 напечатано и стихотворение То Хыу о вьетнамском мальчике («Лыом») в переводе Ахматовой. В газете же этот перевод опубликован не был, причин отказа не помню. Опубликованы ли другие ахматовские «переводы из вьетнамцев», мне неизвестно.

(106) Леонид Попов (р. 1919) — якутский поэт; заметку Д. Романенко «Свет над тайгой» см. «Литературная газета», 12 июля 1955 г.

И чем сильней они меня хвалили
Чем мной сильнее люди восхищались,
Тем мне страшнее было в мире жить.
И тем сильней хотелось пробудиться.
И знала я, что заплачу̀ сторицей,
В тюрьме, в могиле, в сумасшедшем доме,
Везде, где просыпаться надлежит
Таким, как я, — но длилась пытка счастьем.

Кусок необыкновенный — но вот она где неуместная полу-рифма: «пробудиться — сторицей».

19 июля 55

Вчера забыла записать: я рассказала Анне Андреевне о письме, полученном Лидией Николаевной Кавериной от жены Зощенко. Это письмо Лидия Николаевна принесла Корнею Ивановичу. Жена Зощенко пишет, что Михаил Михайлович тяжело болен, отекают ноги, отсутствие работы сводит его с ума. Из «Октября» ему вернули рассказ, в Союзе — в Ленинграде — разъяснили, что печатать его не будут... Корней Иванович поехал в Союз к Поликарпову, но — тот в отпуске. — Корней Иванович пошел с этим письмом к Смирнову, потом к Суркову. У Корнея Ивановича впечатление такое, что спасать Зощенко они не станут, хотя разговоры велись корректные.

(А ведь это лучший из современных прозаиков... Итак всё, как положено Дьяволом или Богом: художник умрет, книги его воскреснут, следующие поколения объявят его классиком, дети будут «проходить» его в учебниках... «Всё, Александр Герцович, заверчено давно».)

Анна Андреевна сказала:

— Михаил Михайлович человек гораздо более наивный, чем я думала. Он вообразил, будто в этой ситуации можно что-то им объяснить: «сначала я не понял постановления, потом кое с чем согласился...» Кое с чем! Отвечать в этих случаях можно только так, как ответила я. Можно и должно. Только так.

Не повезло нам: если бы я отвечала первой, а он вторым,

— он, по моему ответу, догадался бы, что и ему следовало ответить так же. Никаких нюансов и психологий. И тогда гибель миновала бы его. Но его спросили первым... (107)

7 августа 55

На-днях была у Анны Андреевны — так, начерно, забегала поздороваться после приезда. (108)

Сегодня вечером пойду к ней опять.

Она какая-то грустная, вялая, хотя и сообщила мне две хорошие новости:

I. Постановление 46-го года не будет больше проходиться в школе;

II. Полковник Ковалев сказал Эмме Григорьевне, что Левино дело рассматривается «душевно»... (109) О, Господи, хоть бы конец!

Узнав, что в Ленинграде я побывала у Зощенко, Анна Андреевна потребовала полного отчёта об этом посещении. (110) Я торопилась, но не могла отказать ей. Она выспрашивала все подробности: какая комната? как он выглядит? как и что говорит?

Я постаралась ответить возможно точнее:

Комната большая, опрятная, пустоватая, с остатками хорошей красной мебели. Михаил Михайлович неузнаваемо худ, все на нем висит. Самое разительное — у него нет возраста, он — тень самого себя, а у теней возраста не бывает. Таким, вероятно, был перед смертью Гоголь. Старик? На старика не похож: ни седины, ни морщин, ни сутулости. Но померкший, беззвучный, замороженный, замедленный —

---

(107) Главной причиной, по которой А. А. ни в коем случае не могла отвечать «по правде», была судьба Лёвы. Примеч. 1975 г.

(108) Я ездила в Ленинград.

(109) Полковник Ковалев — заведующий приемной Военной Прокуратуры СССР.

(110) У Зощенко я побывала 30 июля; Корней Иванович поручил мне передать Михаилу Михайловичу деньги и пригласить его провести лето в Переделкине.

предсмертный. В молодости он разговаривал со всеми очень тихим голосом, но тогда это воспринималось как крайняя степень деликатности, а теперь в его голосе словно не осталось звука. Звук из голоса выкачан. При этом на здоровье он не жалуется — напротив, уверяет, будто с помощью открытой им психотехники сам вылечил свое больное сердце. Заботливо расспросив, отчего умерла моя мать, (111) он выразил уверенность, что если бы врачи владели тем методом психотехники, который открыт им, Михаилом Михайловичем, она безусловно до сих пор была бы жива.

Тут Анна Андреевна перебила меня:

— Бедный Мишенька! Он потерял рассудок. Он не выдержал второго тура. (112)

Я продолжала: был он со мною доверчив, внимателен, ласков (хотя мы и не виделись лет 20), расспрашивал о Люше. О себе сказал: «Самое унизительное в моем положении — что не дают работы. Остальное мне уже все равно».

Прочитал телеграмму от Вениамина Александровича Каверина: «правление Союза постановило добиваться обеспечения тебя работой».

Пожаловался, что ничего не ест, что даже с помощью психотехники не может заставить себя есть.

— Он боится, его отравят. Мне говорили, — сказала Анна Андреевна. — Вот в этом все дело.

Михаил Михайлович поделился со мною своими предположениями «о причине причин» и о том, почему были сопоставлены такие, в сущности, далекие имена: он и Ахматова.

Обе версии Анна Андреевна нашла вполне вероятными. (113) Провожая меня в переднюю, она снова повторила:

— Человека убили. Не выдержал второго тура.

Я обещала придти вечером опять.

---

(111) Мария Борисовна Чуковская скончалась 21 февраля 1955 г. от удара.

(112) То есть не выдержал второго тура травли, поднятой в советской печати после встречи Ахматовой и Зощенко с английскими студентами.

(113) Ни той, ни другой версии я вовремя не записала, но первую помню ясно.

[Окончание сноски на стр. 108.]

Только что вернулась от Анны Андреевны. Давно я не видела ее такой встревоженной и раздраженной. При мне какой-то мужской голос позвонил ей из Ленинграда с требованием срочно ехать в Комарово, а то Литфонд недоволен. По телефону она говорила спокойно, но мне, положив трубку, сказала:

— Клинический случай идиотизма.

Потом легла и попросила дать ей валидол. Лежала несколько минут с закрытыми глазами. Попробовала рассказать что-то о книге сына Лескова, которую сейчас читает, но на полуслове умолкла.

— Это все пустяки, — сказала она, помолчав. — Комарово, дача... Это все не то. Сейчас мне предстоят очень тяжелые испытания. Нет, нет, вы ничего про это не знаете. Это совсем другая область. Новая.

И ничего не объяснила. И после долгого и глубокого молчания снова стала расспрашивать о Зощенко.

— Скажите правду, — попросила она. — Он на меня в обиде?

Мне не хотелось, но я ответила:

— Некоторый оттенок обиды был в его расспросах о вас... Но всего лишь оттенок. И быстро притушенный.

В одной из новелл Зощенко о Ленине рассказано, как часовой, молодой красногвардеец Лобанов, никогда не видавший Владимира Ильича в лицо, отказался однажды пропустить его в Смольный потому, что Ленин, в задумчивости, не сразу нашел в кармане пропуск. Какой-то человек с усами и бородкой грубо крикнул Лобанову: «извольте немедленно пропустить! Это же Ленин!» Однако Владимир Ильич остановил грубияна и поблагодарил красногвардейца «за отличную службу». Пропуск нашелся, и все кончилось хорошо.

Но не для Зощенко. Первоначально рассказ этот был напечатан в журнале («Звезда», 1940, № 7). Редактор посоветовал Михаилу Михайловичу лишить человека, который грубо кричит на красногвардейца — бородки, а то с усами и бородкой он похож на Калинина. М. М. согласился: вычеркнул бородку, остались усы и грубость. Сталин вообразил, что это о нем.

И участь Зощенко была решена... (А в последующих изданиях человек с усиками был заменен «одним каким-то человеком, должно быть из служащих» — безусым и безбородым.)

10 августа 55

Вчера я была у Анны Андреевны. Сегодня она едет в Питер и оттуда сразу на дачу. Пунины вызвали ее по срочному делу: ей необходимо «показаться», а то соседи ропщут — дачу дали Ахматовой, а она там, будто бы, и не живет. А соседям-то что? Пусть бы Ахматова жила где и когда ей удобнее. Но «глупость ветрена и зла».

Узнаю «вязальщиц»! Значит они и всюду одинаковы, всюду водятся — и в Комарове, как в Ташкенте. (114)

---

(114) «Вязальщицы» — или, иначе, «фурии гильотины» — прозвище женщин-фанатичек, возникшее в годы Великой Французской Революции. Их изобразил Диккенс в романе «Повесть о двух городах». Накануне казней они рассаживались перед гильотиной «в первых рядах на стульях, расставленных, как на увеселительном зрелище» и «деловито перебирали спицами». Во время казней «"вязальщицы", не переставая шевелить спицами» подсчитывали отрезанные головы.

Ахматова в эвакуации насмешливо называла «вязальщицами» некоторых из своих соседок по писательскому общежитию (ул. Карла Маркса, 7) — злоязычных сплетниц, тех, кто завидовал ей и клеветал на нее.

— «"Вязальщицы" полагают...» — говорила она иронически. И далее цитировала какую-нибудь очередную грубость или пошлость.

В эвакуации, как и всюду, Ахматова была окружена почетом, восхищением и уважением. Но, разумеется, далеко не всеобщим. Находились среди ее соседей (преимущественно писательских жен) такие, которых раздражало в ней всё: и ее беспомощность, и ее властность, и ее болезнь, и ее слава, и ее независимость, и то, что сама она не таскает ведра с водой и с углем, а делают это за нее с большой охотой — другие. «Вязальщиц» раздражал ореол величия, которым была окружена Ахматова. Неудовольствие, вперемежку со сплетнями, доходило до ушей Анны Андреевны и, чаще всего, вызывало в ответ с ее стороны одни лишь остроты и насмешки. Но порою — гнев. И даже пророческий. К «вязальщицам» всех мастей Ахматова обратила стихотворение «Какая есть. Желаю вам другую...», одно из самых своих негодующих. (Оно продолжает тему, издавна звучавшую в поэзии Ахматовой; см. например стихотворение «Клевета» 1921 года; № 63. Тут та же тема: поэт, клевета, смерть. Ташкентское стихотворение напечатано по-разному: см. ББП, стр. 291; «Сочинения», т. 2, стр. 142; а также Dutch Studies in Russian Literature. 3. « Tale without a Hero » and Twenty-Two Poems by Anna Achmatova. Essays by Eanne van der Eng-Liedmeier, Kees Verheul. Paris. Mouton. The Hague, 1973. Я предлагаю читателю текст более полный и, на мой взгляд, более достоверный. № 57.

14 августа 55

Анна Андреевна на днях уехала в Ленинград.

27 сентября 55

Была у Анны Андреевны. Она сказала, что переводит Чаренца. (115) Очень нервна. При мне совещалась с Эммой Григорьевной о следующем ходе по Лёвиному делу. Эмма Григорьевна от нее отправилась за очередной справкой в прокуратуру. Надежды растут. У Анны Андреевны какое-то новое выражение глаз — тревога, доведенная до физической боли. Что-то похожее на август 39 года, хотя тогда был канун разлуки, а сейчас, может быть, канун свидания.

Говорили все о том же, о том же. Анна Андреевна, сидя на своей постели и обеими руками оттягивая вниз шаль на груди, говорит:

— Словно у Пушкина сон Татьяны. Помните?

... Вот мельница вприсядку пляшет...

... Здесь ведьма с козьей бородой,
Тут остов чопорный и гордый...

... Тут карла с хвостиком, а вот
Полужуравль и полукот...

... Лай, хохот, пенье, свист и хлоп...

С нами все это случилось не во сне. Наяву слышали и видели: и лай, и пенье, и мельницу вприсядку, и рака «верхом на пауке»... И всего пуще — «длинный нож», с которого каплет кровь.

2 октября 55

30-го вечером я была у Анны Андреевны. Там множество

---

(115) См. примеч. на стр. 134.

поздравительных звонков: невестка Нины Антоновны родила ей внучку.

Анна Андреевна послала Борю за ветчиной; пришла Эмма Григорьевна с новыми сообщениями о ходе дела; мы пили чай в столовой — потом Эмма дала Анне Андреевне подписать какую-то очередную бумагу и ушла.

Анна Андреевна вспоминала свое свидание с Шолоховым, насколько я поняла, уже довольно давнишнее. По поводу Лёвы. (116)

— Он был совершенно пьян. Ничего не понимал и не помнил. Но я должна быть ему благодарна, он твёрдо помнил две вещи: что я хорошая и что он мне действительно обещал. И обещанное он исполнил, хотя, с пьяных глаз, перепутал все, что мог.

Потом она сказала веселым голосом:

— А знаете, меня обругали на *О!*

— Как это? — спросила я, потерявшись.

— Да, да, уже на все буквы алфавита и вот теперь на *О!* Вышел том энциклопедии, где я обругана в статье «*О* журналах». [51])

Боря рассмеялся, как-то беззвучно, внутрь. А я — вслух.

Анна Андреевна увела меня к себе. Она вчера сдала Чаренца и теперь переводит Анатоля Франса.

— Идет с подозрительной легкостью. Перевела в один день 13 страниц. Кончится это каким-нибудь скандалом.

— А вы любите Франса?

— Нет, что вы! Показная эрудиция, все это выписки. Когда-то мне нравились «Боги жаждут» — посмотрела недавно, — да это сырой материал, настриженный ножницами и еле соединенный!

Прочитала мне вслух свои 13 страниц. В самом деле, неинтересно. Я когда-то любила «Книгу моего друга» и «Жизнь в цвету» — надо будет перечитать. (117)

Мы заговорили о стихах — о Фете, Полонском, Случевском.

---

(116) См. RLT, стр. 650.

(117) Не могу объяснить, в чем тут дело: никакие переводы Ахматовой из Анатоля Франса, насколько мне известно, в печати не появились.

— Да, у всех них были дивные стихи — избранные, немногие, но самого первого класса. Кажется, только у Мея нельзя разыскать ни единой строчки.

Я спросила, как она думает, почему им было так трудно писать? Почему у каждого, при великолепных стихах, рядом провалы в немощь, в безвкусицу?

Она сказала:

— Время для поэзии было уж очень тяжелое. Чернышевский и Писарев, а отчасти и Белинский, объяснили публике, что поэзия — вздор, пустяки. Они внушали людям, кроме того, еще нечто очень верное — например, о вреде богатства, о зле социального неравенства, — но этой стороны их проповеди мещане не усвоили. Зато что поэзия — вздор, они усвоили отлично и на этом основании чувствовали себя передовыми... И техника поэтами была утрачена, ею никто не занимался. А ведь такая утрата равна катастрофе. Ведь все и без поэзии знают, что надо любить добро — но чтоб добро потрясало человеческую душу до трепета, нужна поэзия, а поэзия без техники не существует.

10 октября 55

На-днях мне звонила Анна Андреевна: она хотела, чтобы я прочла корректуру корейцев. Но я, к стыду своему, не могла никак — столько надо кончить работы до отъезда и лютая мигрень! (118)

1 ноября 55, на Чкаловской

Последняя неделя до отъезда сюда была суматошная. К тому же я все время болела.

Один раз навестила меня Анна Андреевна. Вместе с Эммой. Она ведет кочевой образ жизни: к Ардовым кто-то приехал.

У неё роковые дни. Решается Лёвино дело. (119)

---

(118) Я собиралась в подмосковный санаторий близ станции Чкаловская.

(119) Далее в оригинале 4 строки густо зачеркнуты.

...Она какая-то оглушенная. Не слышащая чужих речей. Тиха и напряжена. Да и какие тут речи! Не знаешь, о чем и говорить с ней, каждое слово кажется неуместным. Вслушивается во что-то свое с таким напряжением, будто, сидя в кресле у меня в комнате, можно каждую секунду получить откуда-то долгожданную весть. Даже озирается по сторонам. Расспросила меня о здоровье, об отъезде и умолкла. Выручало присутствие Эммы Григорьевны: мы тихонько беседовали в стороне. Анна Андреевна, сидя отдельно от нас поодаль у стола, перелистывала какой-то альбом и тяжело молчала. Иногда мне казалось, что, молча, она шевелит губами: может быть, молится?

Я, неверующая, готова молиться вместе с ней. Мне-то ждать уже некого, и я готова одарить ее ожидание своим неистраченным.

8 ноября 55

Со здешней почты я с трудом дозвонилась до Наташи Ильиной: нет ли новостей у Анны Андреевны?

Нет. Новостей нет.

Анна Андреевна бездомна, кочует от Шенгели к Раневской, от Раневской к Петровых. Часто целые дни проводит у Наташи.

Решения нет.

16 ноября 55, Чкаловская

Читаю № 11 «Нового Мира», там новые письма Блока и его пометки на книгах — в частности, на книгах Ахматовой, чье имя упоминается редакцией без бранных определений.

11 декабря 55, Москва

Третьего дня вечером была у Анны Андреевны.

У нее Эмма Григорьевна, смотрит в столовой телевизор. Мы много были одни.

Реабилитирован Квитко. Посмертно.

Реабилитирован Мейерхольд. Посмертно.

Этими известиями встретила меня Анна Андреевна. Я не посмела спросить о Лёве. Она сказала сама:

— С Лёвой плохо.

Потом осведомилась, занимаюсь ли я реабилитацией Матвея Петровича. Я сказала: да, занимаюсь, хотя и безо всякой охоты. В попытке оправдать себя нуждается не он, а его убийцы. В глазах моих, в глазах всех порядочных людей, он ни в чем и не был повинен. Они расстреляли его просто так, для ровного счета по какой-нибудь из своих рубрик. Я не стала бы добывать бумажку, но увы! без нее невозможно воскресить его книги. Сама я в приемную не пойду — она та же! — я не в силах — и поручила хлопоты знакомой юристке. А ей пообещали сообщить номер Митиного дела через полтора месяца. Когда будет известен номер, прокуратура найдет дело и приступит к пересмотру.

— Через полтора месяца пообещали сообщить номер! — повторила Анна Андреевна. — Вы понимаете, что это значит? Сколько же там этих номеров? этих карточек? этих дел? Миллионы. Десятки миллионов. Если положить их одно на другое, они покроют расстояние от Земли до Луны.

Я сказала, что пересматривать каждое дело в отдельности представляется мне идиотской затеей. Ведь никаких индивидуальных, частных дел в 37-38 г.г. не было или почти не было: тогда истреблялись целые слои, целые круги населения: по национальному, по номенклатурному, по анкетному признаку: то директора́ всех заводов, то первые и вторые секретари обкомов и райкомов, то пригородные финны, то лица польского происхождения, то все, кто дрался в Испании, то чистильщики сапог, то глухонемые, то все, у кого заграницей родственники или кто сам побывал заграницей. Ну, конечно, в стройную программу врывался некоторый хаос — та же бездна поглощала и тех, кто не угодил местному начальству или своему соседу по коммунальной квартире. Время для сведения личных счетов было удобнейшее. Арестованным, всем без разбора, фабрика, изготовлявшая «врагов народа», предъявляла вымышленные и притом одинаковые обвинения: диверсия, шпионаж, террор, вредительство, антисоветская пропаганда. Какой же смысл теперь пересматривать каждое дело в отдельности? В лагеря надо срочно послать спасательные экспедиции: врачей, лекарства, еду,

теплую одежду — и поездами, самолетами, пароходами вывезти оттуда тех, кто еще жив. И общим манифестом реабилитировать всех разом, живых и мертвых, или, точнее, разоблачить самое заведение, фабрикующее «врагов народа». Если станут ясны масштабы и методы фабричного производства, то и изучать каждое дело в отдельности не будет нужды. А то всё всерьез: номера дел! поиски папок! Чушь.

Анна Андреевна слушала мою сбивчивую и длинную речь терпеливо и спокойно, даже не указывая, как обычно, глазами на потолок. Потом заговорила сама с нарочитым бесстрастием.

— Ваши рассуждения справедливы, — сказала она, — но лишены трезвости. Вам угодно воображать, что остальные люди не менее вас рады возвращениям и реабилитациям и ждут не дождутся, когда воротятся все. Вы ошибаетесь. Сообразить легко, что если пострадавших миллионы, то и тех, кто повинен в их гибели, тоже не меньше. Теперь они дрожат за свои имена, должности, квартиры, дачи. Весь расчет был: оттуда возврата нет. А вы говорите: самолеты, поезда! Что вы ! Оказаться лицом к лицу с содеянным?! Никогда в жизни.

Она умолкла. Она смотрела на меня снисходительно и даже не без насмешливости. Как на маленькую.

...а то, что случилось,
Пусть черные сукна покроют
И пусть унесут фонари...
Ночь! —

повторила я про себя.

— А всё-таки, — сказала я, — фонари зажигаются. Сталин умер, умер в самом деле, мы до этого дожили. И Берия расстрелян. И тысячи людей уже воротились домой. И Лёва вернется.

Анна Андреевна не ответила мне ничего и, помолчав, переменила разговор. Она рассказала, что «осыпана милостями», «обласкана»: читала в Союзе переводы корейцев, Алигер просит у неё стихи для «Литературной Москвы», и она хотела бы дать стихотворение «Третью весну встречаю вдали от

Ленинграда», но не помнит, печаталось ли оно. И, «слушайте, слушайте!» — поговаривают об издании ее однотомника.

— Вы верите? — спросила она меня.

— Чего не бывает! — ответила я.

— Не бывает именно этого. Со мной. Мне недавно рассказывала Наташа плохая о своем детстве. (120) И говорит: когда мне было 7 лет, я написала письмо отцу. «Сегодня я после долгого перерыва каталась на лодке. Мне было трудно грести от долгого некатания на ней». Вот и мне трудно поверить, что выйдет моя книга — повидимому «от долгого некатания на ней».

Оставив телевизор, пришла к нам Эмма Григорьевна. Заговорили о последних фильмах. Анна Андреевна хвалила «Терезу Ракен» и весьма критически отозвалась о фильме «Красное и Черное».

— Хороша там только семинария. От Наполеона ничего не осталось, кроме сундучка... А эта несчастная дама, которая по собственному дому ходит ночью в чулках, и видно, какие у нее старые ноги...

Я спросила Эмму Григорьевну, как поживает А. О., и ответ ее дал повод к примечательной реплике Анны Андреевны. А. О., по словам Эммы, процветает, ее литературные дела наладились, и у нее три поклонника сразу: один молодой и двое престарелых.

— Трое — маловато, — с деловитой серьезностью перебила ее Анна Андреевна. — Когда у меня их заводилось много зараз, Коля Гумилев говорил: «Аня, более пяти неприлично». И все молодые. Старые были не приняты. Не шли в счет.

16 декабря 55

Вчера вечером ездила в гости к Наташе Ильиной, куда давно обещала — и там неожиданно Анна Андреевна. Говор-

---

(120) «Наташа плохая» — шутливое прозвище, которое А. А. дала одной из своих знакомых Наташ в отличие от Наташи Ильиной — «хорошей». Иногда она называла «плохую» Наташу — «бывшая плохая», а Наташу Ильину «бывшая хорошая»; эпитеты возле Наташ часто менялись местами.

ливая, улыбчивая, радостная. Несколько удач сразу: известный ученый (я сразу забыла фамилию) написал письмо о Лёве; (121) снова была Алигер и просила стихи; корейцы посланы на лондонскую выставку — к тому же, бутылочка муската на столе, и я с завистью смотрела, как они вдвоем её выпили.

Разговор перескакивал с одного предмета на другой — не разговор, а точнее, монолог Анны Андреевны. Мельком она сообщила, что навещала Маршака и между ними состоялась беседа, как она выразилась, «историческая»: «Впервые я поняла, в чем сила этого человека; в неистовой одержимости искусством». (Меня радует новая дружба двух старых знакомых — в Ленинграде, да и позднее в Москве, Анна Андреевна нередко отзывалась о Маршаке не без иронии. Беседа же была о Пушкине.) (122) Затем принялась бранить Бунина: «Ворон», «Легкое дыхание», «Антоновские яблоки», «Солнечный удар»... Я спросила, знает ли она Леопарди, которого так высоко ценил Герцен. Она ответила: «это из серии "Века и народы"», и к той же серии причислила стихи Брюсова и Бунина.

Сообщила слух о предполагаемом издании Цветаевой и Гумилева.

Дал бы Бог.

Я стала подтрунивать над Наташей, вкушающей первую славу [52]). «Не притворяйтесь, — сказала я, — вы, наверное, очень довольны. Поначалу слава, я думаю, похожа на любовь: приятно чувствовать, что тебя любят».

— Ничего общего, — сразу перебила меня Анна Андреевна. — Слава — это значит, что вами обладают все и вы становитесь тряпкой, которой каждый может вытереть пыль. В конце жизни Толстой понял ничтожество славы и в «Отце Сергии» объяснил, что от нее надо отмыться. Я особенно уважаю его за это.

В машине на обратном пути Анна Андреевна попросила меня проверить в Библиотеке — печаталось ли стихотворение «Кто мне посмеет сказать, что здесь / Я на чужбине» — она хочет отдать его Алигер.

---

(121) По-видимому, речь идет об Н. И. Конраде. См. RLT, стр. 651.

(122) «Одержимость искусством» отмечала А. А., как основную черту, также и в характере К. С. Станиславского (см. стр. 99).

Попытаюсь. (123)

18 декабря 55

Хожу каждое утро в Ленинскую, читать газеты для Шмидта. (124) От газетного шрифта сразу начинает болеть глаз и потом болит уже весь день. Вчера перелистывала также журналы, в поисках ахматовской «Третьей весны», но не нашла, хотя пересмотрела «Звезду», «Ленинград», «Ленинградский альманах», за 44, 45, 46 годы. Теперь осталось «Знамя». Работа эта не зря, потому что общая библиография Анне Андреевне всё равно нужна.

Третьего дня была у неё. Доложила. Раз не напечатана эта ташкентская весна, стало быть её можно отдать Алигер. А еще Анна Андреевна решила предложить «Литературной Москве» элегию «Есть три эпохи у воспоминаний». Ею я была наново изранена, прочтя её переписанную. Люблю: но вещь беспощадная — быть может, самое обезнадеживающее стихотворение во всей русской поэзии. Не грусть, не печаль, не трагедия: мужественная жестокость. Этими стихами поэт отнимает у человека последнее достояние: уж не любовь, а самую память о любви, уже не людей любимых, а самую память о них. «Мы сознаем, что не могли б вместить / То прошлое в границы нашей жизни, / И нам оно почти что так же чуждо, / как нашему соседу по квартире...» «А возвратившись, моют руки мылом» — возвратившись от старых писем! Оскорбительно здесь это «мылом»... Тютчев о смерти горя говорит гораздо возвышеннее:

Минувшее не веет легкой тенью,
А под землей, как труп, лежит оно.

По крайней мере без мытья рук мылом и без соседа по квартире. Без изощренной жестокости.

---

(123) Речь идет о стихотворении «Третью весну встречаю вдали / От Ленинграда». Я ошибочно сообщила Анне Андреевне, будто оно не печаталось, и она отдала его в первый сборник «Литературной Москвы» (М., Гослитиздат, 1956). Между тем, это стихотворение в то время было уже напечатано — правда, совсем в ином варианте (см. «Знамя», 1945, № 4), и я его просто не нашла.

(124) Я работала тогда над сценарием о лейтенанте Шмидте.

Но отвагою злой правды и сильна ахматовская элегия. Отвагой чувств и мыслей.

— Не знаю, почему эта элегия для вас такое страшилище, — сказала Анна Андреевна в ответ на мои рассуждения. — Никто мне этого не говорил. Элегия как элегия. (125)

Не говорил! Но она должна знать это сама от себя. А может быть я чего-то не понимаю тут? — и «всё к лучшему» в конце сказано не с иронией, а всерьез?

— Страшнее, чем пытка счастьем? — спросила Анна Андреевна.

— Несравненно! — ответила я.

Анна Андреевна озабочена сейчас экспедицией Эммы Григорьевны в Ленинград: Эмма поехала добывать письмо о Лёве от Артамонова. (126) Материалу уже хватило бы на целый том писем и заявлений о Лёве. Это будущий шестой том в собрании сочинений Ахматовой: том дополнительный, отдел «приложения». Может быть и какие-нибудь цитаты из Лёвиного дела будут приведены, хотя я сильно сомневаюсь в существовании такового: он сын Николая Степановича, вот и все дело.

Анна Андреевна вглядывалась в темноту окна.

— Утром, когда солнце восходит, здесь так красиво, — сказала она, указывая во тьму. — Видна колокольня Клементовского собора, освещенные деревья в снегу и голуби. Мы отвыкли от голубей, а в Царском они были повсюду. И в Венеции.

(Царское я знаю, хотя и не её времени и уже без голубей, а вот в Венецию воображением никак последовать за ней не могу: даже несмотря на Герцена, на «Охранную грамоту», на её и Мандельштамовские стихи).

Венеция? А существует ли в самом деле на свете Венеция? Не уверена я.

В столовой кричал телевизор: брат Нины Антоновны смотрел «Белую Гриву». Я спросила у Анны Андреевны, что это за вещь. Не помню, о «Белой» ли «Гриве» или о чем другом, но она сказала:

---

(125) «Есть три эпохи у воспоминаний» — БВ, Седьмая книга; № 58.

(126) Об М. И. Артамонове см. примеч. [54]).

— Существует совершенно непонятный для меня и вредный на мой взгляд род американских картин — анти-человеческих, против человека. Пума хорошая, а человек плохой.

Потом вдруг:

— Сейчас я вас удивлю. Я совсем, совсем распростилась с одним поэтом. Его для меня просто нет больше.

— С кем же это?

— С Есениным.

— Ну уж нашли чем удивить! Вы и раньше его не жаловали.

— Всё-таки, хоть и не жаловала, но признавала. А теперь, вчера, Боря прочитал мне стихотворение, в котором поэт скорбит, что у него редеют волосы и как же теперь быть Луне, что она, бедненькая, станет освещать? Подумайте, в какое время это написано. (127)

И долго еще потешалась и сердилась по этому поводу.

Пошли в столовую чай пить. (Телевизор умолк.) За столом — о письмах Карамзиных и о том, что Ираклий слишком долго над ними работает, задерживая печатанье.

Анна Андреевна заговорила о Пушкине и Мицкевиче:

— У нас очень радуются легенде, будто Пушкин и Мицкевич были друзья. Складно выходит. А между тем, это выдумка. После отъезда из России Мицкевич совсем не интересовался Пушкиным, что видно, например, из его статьи, которую перевел Вяземский, [53]) ничего о Пушкине Мицкевич не знал, не читал его новых стихов, хотя все ездили за границу и могли привезти что угодно, даже и «Медного Всадни-

---

(127) А. А. имеет в виду стихотворение Есенина, написанное в 1920-м году. (Сочинения в двух томах. М., Гослитиздат, 1955, т. 1, стр. 170). Привожу начало:

По-осеннему кычет сова
Над раздольем дорожной рани.
Облетает моя голова,
Куст волос золотистый вянет.

Полевое, степное «ку-гу»,
Здравствуй, мать голубая осина!
Скоро месяц, купаясь в снегу,
Сядет в редкие кудри сына.

ка». Пушкин же в черновиках «Он между нами жил» честил Мицкевича отчаянно. И в «Египетских ночах» — импровизатор, это, конечно, Мицкевич — и до до чего же он там неприятный! (128)

— Как вы думаете, — спросила меня Анна Андреевна, уже простившись со мной у дверей, — Артамонов даст Эмме письмо?

— Конечно, даст! — ответила я, не имея об Артамонове ровно никакого понятия. [54])

26 декабря 55

Вчера днем навещала Анну Андреевну: она в больнице. Обострение хронического аппендицита. Во 2-й Градской. Я была недолго — внизу ожидали Мария Сергеевна и Наталия Иосифовна. Палата на шесть человек, душно. И возле грязной стены — профиль и руки Ахматовой. Она полусидит, опираясь на блин подушки.

— Сегодня утром просыпаюсь, — сказала Анна Андреевна, — слышу, одна больная спрашивает другую: «А что, бабка та́ в углу — еще не померла?»

Но выглядит она не худо, даже — чуть розовая.

После того, как я все у нее выведала насчет докторов и анализов (сейчас никаких болей уже нет, и был ли то́ приступ аппендицита или чего другого, еще неизвестно), она спросила вдруг:

— Я давно хочу, чтобы вы мне напомнили: когда я читала «Поэму» у вас — тогда, в Ленинграде, — что говорила Тамара Григорьевна? Помню — интересное, но я забыла, что́.

С точностью и я могла вспомнить только одну мысль — Тамара Григорьевна сказала Анне Андреевне: «Вы будто поднялись на высокую башню и оттуда, с высоты другого времени, взглянули вниз, в прошлое».

— Потом эти её слова вошли в вашу «Поэму» строками:

Из года сорокового,
Как с башни, на все гляжу...

---

(128) Ср. ОП, стр. 194-197 и 266.

— добавила я. — Так и вижу свою комнату, как вы сидите, куря, на диване, а Тамара Григорьевна стоит, прижавшись спиною к книжным полкам. Знаете, она ведь всегда любила рассуждать стоя.

— В лиловом шарфе? — быстро спросила Анна Андреевна.

— Да.

Она помолчала и, опираясь на руки, поднялась немного повыше.

— Странная вещь, — сказала она. — Очень странная. Всегда я свои стихи писала сама. А вот «Поэму» иначе. Я всю её написала хором, вместе с другими, как по подсказке. Вот и про башню. (129)

30 декабря 55

Вчера отвозила Анне Андреевне в больницу сок черной смородины — говорят, это лучшие витамины. Была у нее недолго, некоторое время вместе с Эммой Григорьевной. Эммочка докладывала о своем походе к Конраду. [55]) Анна Андреевна сказала, что если её и будут оперировать, то не раньше, чем через 2 недели, когда «живот успокоится». Эмма Григорьевна скоро ушла, а я еще побыла немного. Анна Андреевна жалуется, что Алигер очень груба с Эммой в переговорах о стихах для «Литературной Москвы». Она пишет какие-то новые — про Азию. (130) Я спросила, не мешают ли ей тут работать.

— Нисколько, — ответила она.

Бранила стихи Бориса Леонидовича — «На дереве свистит синица» и «Хмель».

---

(129) А. А. говорила об этом не мне одной. И не единожды (см. напр. стр. 310). А с недавнего времени в печати стали появляться отрывки из ахматовских записей о «Поэме». Привожу один:

«Борьба с читателем продолжалась всё время. Помощь читателя (особенно в Ташкенте) тоже. Там мне казалось, что мы пишем ее все вместе». (См. Р. Д. Тименчик, А. В. Лавров. Материалы А. А. Ахматовой в рукописном отделе Пушкинского Дома. — «Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1974 год», Л., «Наука», 1976, стр. 77.)

(130) В «Литературной Москве», в сборнике первом, опубликованы три стихотворения Ахматовой под названием «Азия».

— Про халат с кистями... как она падает в объятия... про Ольгу. И как ложатся в роще... Терпеть не могу. В 60 лет не следует об этом писать. [56])

Когда-то, в Ленинграде, Анна Андреевна говорила, мне, что из Пастернаковских любовных стихов возникает обычно образ любви, но не образ женщины, к которой они обращены. «А вот в «Свидании», — сказала я, — женщина видна очень ясно. Тут не только портрет чувств, но и портрет героини». [57])

— Научился, — согласилась Анна Андреевна. — Это ему труднее всего далось. Раньше он умел только про природу, про любовь и про искусство. Но не про людей.

Уйдя, я подумала, что она не права. Разве в «Шмидте» нету Шмидта (речь на суде) и, скажем, «агитаторши-девицы», а в «Морском мятеже» — матросов?

— Я зачем к тебе, Степа, —
Каков у нас младший механик?
— Есть один.
Ну и ладно.
Ты мне его на́верх отправь. [58])

Тут по голосам люди так слышны, что даже, можно сказать, и видны.

И в стихах «Годами когда-нибудь в зале концертной» — разве не видна художница?

Художницы робкой, как сон, крутолобость,
С беззлобной улыбкой, улыбкой взахлеб.
Улыбкой, огромной и светлой, как глобус,
Художницы облик, улыбку и лоб. [59])

Наверное, говоря о неумении создавать людей, Анна Андреевна имела в виду только первые книги Пастернака.

1956

4 января 56

В первый день Нового Года я навестила в больнице Анну Андреевну. Ее скоро выпишут. Оперировать если и будут, то не раньше, чем через полтора месяца. Чувствует она себя хорошо: свободно сидит и спускает ноги с кровати. Я принесла ей в подарок ташкентскую запись Якова Захаровича.[60]) Кажется, она была довольна. Потом я рассказала ей, что Корней Иванович получил смешное письмо от Машеньки, в котором та пишет: «у вас жара, а у нас холодно».(131) Маша побывала в Переделкине в июле и думает, что там и теперь жарко.

Анна Андреевна сказала:

— Представления детей о мире статичны. Мир для них весь в статике, твердо установлен раз навсегда. Старость уже знает динамику, знает перемены и ждет их. Детство — нет.

Она попросила меня навести порядок на подоконнике, в тумбочке, выбросить ненужную бумагу, вымыть баночки и пр. Для этого мне пришлось побегать по коридору. Я смотрела кругом. Какая бедность, какое убожество — эти рваные халаты не по мерке, эти рубища, эти грязные стены. Вернувшись к Анне Андреевне и взглянув на нее, я подумала:

Но грязь обстановки убогой
К ней словно не липнет...

---

(131) Машенька — пятилетняя правнучка Корнея Ивановича.

Из пакета, принесенного мной, она взяла в руки апельсин, и в ее маленькой властной руке он сразу стал похож на державу.

6 января 56

Анна Андреевна уже дома, но я к ней еще не поспела.

8 января 56

Была вчера у Анны Андреевны. Она на ногах, осунувшаяся, но бодрая. У нее Эмма. Обсуждают тагильскую находку. Хозяев нету дома; Эмма кормит Анну Андреевну какой-то диетической едой, которую заранее приготовила Нина Антоновна. Я налегаю на чай: мороз лютый, никак не отогреешься. Анна Андреевна, прервав свою беседу с Эммой, потребовала, чтобы я немедленно высказалась о новой публикации. [61])

Меня раздражает, что напечатаны только обрывки писем; письма Карамзиных мне хочется читать подряд, целиком и судить о них самой, без подсказки. Конферанс Ираклия несносен; это какое-то «занимательное литературоведение» подстать «Дому занимательной науки», который я всегда не терпела. Речь идет о великом несчастье — быть может, о величайшем на протяжении всей русской истории. Заставь нас снова расслышать стон Пушкина сквозь злословие и сплетни; вознегодовать вместе с Лермонтовым; заново пережить случившееся как трагедию; пусть снова дрогнет сердце — а не развлекай нас усиками и глазками инженера Боташова. Эмма согласилась со мной; Анна Андреевна отпустила несколько привычно-гневных реплик по адресу Ираклия и принялась излагать собственную концепцию гибели Пушкина; над книгой о его гибели она, по ее словам, работала целых шесть лет, потом потеряла все написанное («зелененькие тетрадки») и теперь снова нашла.

Все происходило не три года, а развернулось мгновенно.

Автор анонимок — Геккерн, при участии Долгорукова, а, быть может, и Гагарина.

Пушкин был у царя и представил ему доказательства вины Геккерна; если бы он представил не доказательства, а лишь предположения — его сослали бы в Нерчинск. А какие же? По-видимому Долгоруков предал Геккерна Пушкину.

Геккерн и Дантес — карьеристы и мерзавцы. Дантес вовсе не любил Наталию Николаевну; изображал высокую страсть, чтобы не выгнали из кавалергардов за отказ от дуэли; Екатерина Гончарова была от него беременна, и он женился на ней весьма охотно потому, что ему, при его подмоченной репутации, трудно было сделать лучшую партию... Во всех своих расчетах мести Пушкин ошибался совершенно.

Наталия Николаевна не только глупа; это хищная, жадная, злая стерва. Дантеса обожала.

Его любили все: и молодежь у Карамзиных, и Вяземские. Пушкин к моменту дуэли одинок.

Из опубликованных писем оказывается также, что Софья Николаевна Карамзина была пустейшая дура. (132)

На этом месте нашу беседу шумно прервали хозяева, вернувшиеся домой с закусками и водкой. Я заторопилась на метро.

16 января 56

Вчера пришла я к Анне Андреевне, а у нее, говорят, врач, хирург. Я уселась ждать на кухне, потому что в столовой кричал телевизор. Вдруг слышу из комнаты Анны Андреевны: мужской голос читает стихи. Я вошла. Это читал хирург.

Стихи плохие. Но меня, к счастью и само собой разумеется, никто не спрашивал, Анна же Андреевна вяло и вежливо хвалила.

Профессор записал на бумажке десять своих телефонов, объявил, что колбасы и ветчины нельзя, но грубую пищу можно, и уехал.

От операции он рекомендовал воздержаться.

Анна Андреевна по-видимому очень довольна, что с медициной на некоторое время покончено. Она засунула телетелефонно-диэтный листок в сумку, сказав «это для Ниночки», и велела мне прочитать вслух стихотворение Асеева, напечатанное в «Огоньке».

Отвратные стихи. Когда я прочитала их, она сказала:

— Асеев принадлежит к тому поколению поэтов, которое

---

(132) См. ОП, «Гибель Пушкина», стр. 110.

выступило как молодое, молодость была главным признаком школы, и они были уверены, что молодость будет принадлежать им всю жизнь. А теперь, когда они уже несомненно старые, они никак не могут с этим освоиться.[62])

Из ванной пришла к нам Эмма Григорьевна, специально приехавшая сюда купаться. В чьем-то чужом халате, с мокрыми распущенными волосами, она устроилась на постели сушить их. Речь зашла о молодых, выступавших по телевизору. Анна Андреевна потешалась над одной девицей, которая подробно рассказывала, как ее принимала акушерка.

— Меня называли старухой уже в 30 лет, — сказала Анна Андреевна. — И даже не старухой, а стариком.

— Как это? — в один голос вскрикнули мы с Эммой.

— Да, да, в рецензии на один альманах говорилось: «тут же напечатаны и старики: Ахматова и Мандельштам».

Эмма Григорьевна покатилась со смеху, она даже как-то всхлипывала от смеха.

Анна Андреевна ткнула в ее сторону пальцем:

— Узнаю голос друга! — и торжественно вышла из комнаты распорядиться насчет чая.

24 января 56

Анна Андреевна бывает иногда удивительно несправедлива в своих суждениях.

— Балерина никакая, — говорит она об Улановой. — В «Жизели», в том месте, где смотрит сквозь кусты, лицо у нее страшное, а шея безобразная и тоненькая... Она гениальная мимистка и больше ничего... Мимистки такой действительно в мире не было... Когда умирает — подбородок делается восковым.

Почему же мимистка? Уланова гениальная актриса. (О том, балерина ли, судить не берусь).

Это все на днях, вечером. В столовой Наталия Иосифовна и пикирующийся с ней Ардов. У них такая игра: он называет ее «ходя», «китайская морда» — она в долгу не остается. В первом часу из театра вернулась сверхусталая Нина Антоновна, и все взялись за рюмочки.

Анна Андреевна поговаривает о поездке в Ленинград. Очень интересуется, справедливы ли слухи, будто Сурков, на

пленуме молодых, сказал в заключительном слове о выступлении Шолохова: «это было паясничество». (133)

Никто из нас ничего про это не знал.

28 января 56

Вечером сегодня у Анны Андреевны.

Утром, в Переделкине, я видела Бориса Леонидовича, и потому разговоры вечерние по большей части о нем.

Я попробовала было описать нашу встречу «в общем».

— Нет, о Борисе так нельзя, — сказала Анна Андреевна, — Борис это Борис. Извольте как следует.

Она сегодня одушевленная, живая, нарядная; сверкают перстни на пальцах и промытое, гладкое серебро седины.

...Иду на поезд. В одной руке чемоданчик, в другой — муфта, которой я прикрываю от ветра лицо. Метель пастернаковская, и там, с левой стороны дороги, березы наряжены тоже в пастернаковский иней. «Мело, мело, по всей земле / Во все пределы», а платок, поверх шубы и шапки, упорно наползал на лоб и хуже встречного снега мешал мне глядеть. И вдруг, я вижу, навстречу человек — большой, широкий, в валенках. Хозяин здешних мест и метелей — Пастернак. Я бросила в снег чемоданчик и муфту, он — рукавицы, обнял меня и поцеловал прямо в губы. Потом поднял мне всё мое, подал — «Я немного провожу вас» — и пошел рядом. Я смотрела на него сбоку, искоса, платок и снег мешали видеть ясно. Кажется, он похудел, лицо заострилось. Он сразу заговорил о романе: «Шестьсот страниц уже. Это главное, а, может, единственное, что я сделал. Я пришлю рукопись Корнею Ивановичу, а потом вам». (134)

Я спросила про театр.

— «Малый» поставил «Макбета». Мне с ними легко, по-

---

(133) «Литературная газета» от 12 января 1956 года дает некоторое представление о паясничестве Шолохова, но умалчивает об отклике Суркова.

(134) По приглашению Бориса Леонидовича я дважды слушала в его чтении начальные главы романа: 6 февраля 1947 года, в доме его близкого друга, пианистки Марии Вениаминовны Юдиной (1899-1970) — тогда Б. Л. сам заехал за мною; и вторично — 5 апреля 1947-го в доме у случайного знакомого О. Ивинской — П. А. Кузько (р. 1884). Кроме того, некоторые главы Б. Л. давал мне читать в рукописи. Говорил: «слушатели романа для меня — особое племя».

тому что они мне менее родственны, чем МХАТ. Они просто хорошие люди, хорошие актеры — Царев, Гоголева, — а в отношениях моих с МХАТ'ом наличествует некий лунатизм.

Слева началась новая цитата из Пастернака: кладбище. (135) Сам он обрастал снегом, белел, круглел, ширел, «шапка и плечи в снегу», не человек — сугроб. Он спросил меня, что делаю я. Ответила: пишу сценарий о Шмидте, и добавила, что Зинаида Ивановна, оказывается, еще жива.

Он остановился и потер рукавицей лоб. Снег полетел между нами. «Зинаида Ивановна? — повторил он. — Жива?» — «Да, — сказала я, — она, говорят, сейчас работает медицинской сестрой в каком-то ванном заведении в Крыму». Мне казалось, он все не понимает. «Та самая, Борис Леонидович: «однако как свежо Очаков дан у Данта». 63)

Он понял, помычал от удивления (в самом деле, то, что Зинаида Ивановна жива, так же удивительно, как если бы вдруг оказалась жива другая дама из другой эпохи — например, Наталия Николаевна Пушкина), и мы пошли дальше. Идти навстречу ветру в гору было трудно, он взял у меня из рук чемоданчик. Заговорили об ожидаемой «Литературной Москве».

«Нет, нет, никаких стихов. Только «Заметки о Шекспире», да и те хочу взять у них. 64) Вышло у меня с ними так неприятно, так глупо... Какая-то странная затея: всё по-новому, показать х о р о ш у ю литературу, все сделать по-н о в о м у. Да как это возможно? К ...... (136) по-новому! Вот если бы к ...... (137) — тогда и впрямь ново... У меня с ними вышла глупость. Я такой дурак. Казакевич прислал мне две свои книжки. Мне говорили: «проза». Я начал смотреть первую вещь: скупо, точно. Я и подумал: в самом деле. В это время я как раз посылал ему деловую записку, взял да и

---

(135) То, на котором он ныне покоится. Но тогда я еще воспринимала переделкинское кладбище не как реальность — мертвую, живую и страшную, — а как цитату из стихотворения «Август», пророчествующего о такой невообразимой, немыслимой реальности: о грядущих похоронах Бориса Леонидовича. («Август» — см. Борис Пастернак. Стихи. М., «Художественная Литература», 1966, стр. 253.)

(136) Партийному съезду.

(137) Беспартийному.

приписал: «я начал читать Вашу книгу и вижу, что это прекрасная проза». И потом так пожалел об этом! Читаю дальше: обычное добродушие... (138) Конечно, если убить всех, кто был отмечен личностью, то может и это сойти за прозу... Но я не понимаю: зачем же этот новый альманах, на новых началах — и снова врать? Ведь это раньше за правду голову снимали — теперь, слух идет, упразднен такой обычай — зачем же они продолжают вранье?

Мы взошли на гору. Он умолк и на мои попытки продолжать разговор отзывался вяло. Я почувствовала, ему уже не хочется идти рядом со мной, а хочется туда, куда он спешил до нашей встречи. Он как оскудевающий ручей, который вдруг начинает просыхать, утекать в землю. Он ведь случайно встретил меня, случайно пошел рядом. Теперь он оскудевал.

— Вы похудели и потому стали похожи на Женю, — сказала я, не зная, что сказать.

Ответ прозвучал неожиданно:

— Разве Женя красивый?

Я не нашлась...

— Тут никто не найдется! — прервала меня Анна Андреевна.

Он поставил мой чемоданчик в снег, повернулся и побежал с горы вниз и уже из далекой сплошной белой мути я услышала басистое, низкое, мычащее: «до свиданья!»

— Да, — сказала Анна Андреевна. — Вот это Борис. «Мело, мело по всей земле / Во все пределы». Конечно, русская метель теперь навеки пастернаковская, но о ней писали и Пушкин, и Блок, а вот так ответить насчет Жени — это может один только Борис Леонидович. Это самый что ни на есть пастернаковский Пастернак. «Вы стали похожи на Женю» — «А разве Женя красивый?» Я расскажу это Ниночке. И до станции вас не проводил с чемоданом.

Я призналась, что мне очень хотелось бы, чтобы Борис Леонидович прочитал мою повесть. (139)

---

(138) К 1955 году из крупных вещей Э. Казакевича были опубликованы: «Звезда», «Весна на Одере» и «Сердце друга». Какие именно свои «две книжки» Казакевич прислал Пастернаку — не знаю.

(139) «Софью Петровну».

Анна Андреевна замахала на меня руками.

— Нет, нет, ничто чужое его не интересует. Это не Осип, который носился по городу с каждой чужой строкой, как собака с костью. Этот ничего чужого не может услышать. В сороковом году я послала ему свои «Из шести книг» — и он прислал мне письмо — помните? — из которого я поняла, что он читает меня впервые. (140)

Словам ее противоречит один весьма существенный факт: стихи Пастернака Ахматовой, написанные в 1928 г. Там о ее ранних книгах сказано очень точно: «где крепли прозы пристальной крупицы». Как же это — не читал, а определение дано меткое.

— Ну, это по причине собственной гениальности, — сказала Анна Андреевна. — Никогда ничего не читал моего, кроме «Лотовой жены», напечатанной в «Русском Современнике», где он печатался сам. (141)

(Анна Андреевна отвлеклась от Пастернака и мельком снова ругнула Ираклия. Он забраковал какую-то режиссерскую работу Нины Антоновны: ее ученица читала кусок из «Идиота».

— Ираклий — нынешний Канитферштандт, — сказала Анна Андреевна. — Возде Ираклий главный. И дурно делают Федин и Корней Иванович, что поддерживают его.

Но это было так, между прочим.)

Важное — она прочитала мне свои стихи, не то 45, не то 46 года, которые, она говорит, были забыты ею, недавно к ней вернулись и записаны с чужих слов. «Вкусили смерть свидетели Христовы». Прочитав, медленно и очень печально, эти стихи, она протянула мне листок и позволила переписать. Какая безумная ахматовская энергия и дерзость — вдруг точно с обрыва летишь! — сказать о мертвых:

Их выпили в вине, вдохнули с пылью жаркой...

---

(140) См. «Записки», т. 1, стр. 147.

(141) Журнал «Русский современник» выходил в 1924 году. (Об этом журнале подробнее см. примечание 233).) В № 1 были напечатаны два стихотворения Ахматовой: «...И праведник шел за посланником Бога», «И месяц, скучая в облачной мгле» («Лотова жена» и «Новогодняя баллада», БВ, Anno Domini), а в № 2 — рассказ Пастернака «Воздушные пути» и стихотворения «Отплытье», «Петухи», «Осень», «Перелет».

Мертвых вдохнули с пылью, выпили в вине... А о слове в последнем четверостишии сказано с такою мощью, с какою только и имеет право поэт говорить о слове.

Ржавеет золото, и истлевает сталь.
Крошится мрамор. К смерти все готово.
Всего прочнее на земле — печаль
И долговечней — царственное слово.

Само это четверостишие — прочнейшее сооружение на века. И движется стих царственной поступью. (142)

(Разглядывая листок, я теперь ясно поняла: почерков у нее два. Один — беспомощный, кругловатый, детский, вкось — и не очень особенный, на все, в сущности, похожий. Это один. А другой — тот, которым она делает надписи: затейливый, твердый, ни с чьим не спутаешь; слова точно и расчетливо распределены на странице, будто это не надпись, а рисунок...

---

(142) А. А. прочитала мне такие строки:

Вкусили смерть свидетели Христовы:
И сплетницы старухи, и солдаты,
И прокуратор Рима — все прошли.

Там, где когда-то возвышалась арка,
Где в гору шел согнувшись водонос,
Их выпили в вине, вдохнули с пылью жаркой
И с запахом блаженных роз.

Ржавеет золото, и истлевает сталь,
Крошится мрамор. К смерти всё готово.
Всего прочнее на земле — печаль
И долговечней — царственное слово.

В БВ (Седьмая книга) по соображениям цензурным А. А. опубликовала лишь конец этого стихотворения, открыв им «Вереницу четверостиший». В. М. Жирмунский впоследствии обнаружил стихотворение целиком, но не в том виде, в котором оно было прочитано мне Анной Андреевной, а в еще более полном: четыре добавочные строки в начале, а во втором четверостишии — перемены. Либо А. А. заново переработала эти стихи, либо нашла свой прежний вариант уже после разговора со мной.

В ББП стихотворение опубликовано полностью, но не там, где ему следует быть, а в отделе «Другие редакции и варианты» (стр. 411). И с ошибкой (или опиской): я настаиваю, что эпитет к розам — «блаженные», а не «бессмертные»: стихотворение утверждает бренность, смертность, тленность всего на свете, кроме печали и слова. Розы блаженны, но не бессмертны. № 59.

Этот — у меня в руке, на листочке — был детский, незащищенный).

Мы снова вернулись к Пастернаку и к Шмидту. В настоящую минуту я «шмидтовед» — и Анна Андреевна расспрашивала меня подробно о нем, о З. И. Р., о матросах, о сестре Шмидта, которую я видела — и еще о том, насколько Пастернак точно шел по документам. (Очень точно). Я призналась ей в странном своем ощущении: хотя я родилась в 907, но мне всегда кажется, будто я помню 905 год, будто я сама его пережила — и это благодаря «905 году» Пастернака и «Виктору Вавичу» Житкова.[65]) Когда я упомянула о Севастополе, Анна Андреевна сказала, что она жила на той же улице, где Шмидт — на Соборной, в доме Семенова. И добавила:

— Главная черта моей биографии — все домá, где я жила, стерты с лица земли. Севастополь, Царское. Один мой усердный почитатель — заика — поехал в Царское поглядеть на мой дом. Я ему объяснила: второй от вокзала. Вернулся, спрашиваю — как? «Ттам рабботтает ттрактор»... Оказывается, на том месте прокладывают бульвар.

10 февраля 56

На-днях я у Анны Андреевны. Разговор о Толстом:

— Обожаю, когда старик начинает выбрыкивать! «Крейцерова соната» — самая гениальная глупость, какую я когда-либо читала. За всю его долгую жизнь ему ни разу и в голову не пришло, что женщина не только жертва, но и участница на 50%.

У ног Анны Андреевны — маленькая электрическая печка. В доме почему-то не топят. Из соседней комнаты голоса и шум: там играют в карты.

29 февраля 56

Слухи, слухи, ничего толком не разберешь.

Неужели мы дожили до Слова? (143)

---

(143) Слухи о разоблачении Сталина на XX Съезде. Свою знаменитую разоблачительную антисталинскую речь Н. С. Хрущев произнес в отсутствии иностранных делегаций на особом закрытом заседании съезда, 25 февраля 1956 г.

Вечером на-днях за мною заехала Наталия Иосифовна — я обещала взглянуть на ее новое жилье. Внизу, в такси, ждала Анна Андреевна. Я сразу почувствовала, что она напряженная, тревожная, недобрая. Я спросила о здоровье.

— Сердце как утюг. Вчера целый день лежала. Сегодня утром под гнетом утюга переводила Чаренца. Перевела 44 строки. (144)

Мы приехали. Наконец-то у Наташи сносное жилье. Всякая пошлость на комодах и стенах, но зато тепло, на окнах уютные ставни, чисто и, главное, т и х о. Довольно она мыкалась по патефонно-телевизорным углам.

Анна Андреевна, тяжело дыша, опустилась в кресло. Я спросила: и сейчас утюг?

— Нет, — ответила она с раздражением и принялась ожесточенно бранить «Литературную Москву».

— Совсем дикие люди. Казакевич поместил 400 страниц собственного романа. [66]) Редактор не должен так делать. Это против добрых нравов литературы.

О стихах Асеева: [67])

— Не стихи, а рифмованное заявление в Моссовет.

О рассказе Шкловского: [68])

— Совершенное ничто. Недоразумение какое-то. Полный ноль. Однажды Мейерхольд сказал мне про Любовь Дмитриевну Блок: «Я никогда не видел женщины, менее приспособленной для игры на сцене». То же я могу сказать о Шкловском: «Я никогда не видела человека, менее приспособленного для литературной деятельности».

О главе Твардовского из поэмы очень сурово: «Новая ложь. Большей гнусности я в жизни не читала» — это повторила Анна Андреевна несколько раз, сердясь, что я молчу — а я просто еще не успела прочесть. И потом Твардовский... Так ли это? Я его люблю. И все вокруг находят эту главу очень смелой. (145)

---

(144) Переводы Анны Ахматовой из Чаренца см. в сб. Егише Чаренц. Избранное, М., Гослитиздат, 1956.

(145) Глава из поэмы Твардовского «За далью даль» называлась «Друг детства». Речь в ней идет о случайной встрече автора с другом юности, проведшим 17 лет в лагерях и ныне возвращавшимся домой. Встреча происходит в Сибири, на станции Тайшет. Подробнее см. стр. 138-139.

Когда Наталия Иосифовна убежала за покупками, Анна Андреевна объяснила мне, почему вчера утюг, опять Лёвино дело ни с места. Кроме того, ее страстно тревожит то же, что и нас всех; съезд, разговоры о Сталине. Разоблачить Сталина — это ведь значит вернуть домой миллионы людей и произнести правду о «замученных и убиенных».

Наталия Иосифовна принесла закуски и бутылочку. Мне налили скучный чай, а они вдвоем потягивали веселое вино. Я, как всегда, томилась завистью, Анна Андреевна, как всегда, от вина помолодела и порозовела.

Рассказала нам, что на ней хотел жениться Пильняк.

— Он был вполне человеком 22 года — и только, — сказала она. (Я не совсем понимаю это определение). — Корзины цветов, когда ехал на Север и на возвратном пути. Меня удивляла такая настойчивость: мы даже дружны особенно не были.

Затем мы сверяли с ней по памяти впечатления от стихов московского альманаха. В большинстве случаев мнения ее и мои совпали, но не во всех. Обеим нам нравятся «Журавли» Заболоцкого, но мне еще очень и «Некрасивая девочка», а ей — нет. Обеим нам понравилась «Осень» Алигер и обеим нет — Мартынов.[69]) (Я Мартынова вообще не воспринимаю; у него много поклонников, а меня отталкивает рассудочность, рационализм, бессердечие, риторика. И навязчивая многозначительность в придачу). Анне Андреевне, насколько я поняла, стихи его в альманахе тоже не пришлись по душе, но с общей моей характеристикой Мартынова она не согласилась.

— Я не отношусь к нему с такой безнадежностью, — сказала она.

Потом Наташа прочитала нам свою великолепную пародию на приключенцев. Я покатывалась со смеху, Анна Андреевна радовалась каждому удачному повороту.[70])

Но когда я провожала ее домой в такси, она снова была уже печальная и серьезная. Сказала, понизив голос, что дур-

ную роль в судьбе Пильняка сыграл счастливец. (146) И опять о поэме Твардовского ворчливо:

— Как это вы могли до сих пор не прочесть? Что же вы читаете? Это новая ложь взамен старой. Читайте немедля.

4 марта 56

Анна Андреевна стояла слегка опираясь рукой о стол. Она говорила тихим голосом, но как будто не для меня одной, а с трибуны.

Мы стояли друг против друга — в маленькой комнате, в ясном свете окна, между столом и кроватью.

— Сталин, — говорила Анна Андреевна, — самый великий палач, какого знала история. Чингизхан, Гитлер — мальчишки перед ним. Мы и раньше насчет него не имели иллюзий, не правда ли? а теперь получили документальное подтверждение наших догадок. В печати часто встречалось выражение: «лично товарищ Сталин». Теперь выяснилось, что лично товарищ Сталин указывал, кого бить и как бить. На профессора Виноградова лично товарищ Сталин распорядился надеть кандалы. Оглашены распоряжения товарища Сталина — эти резолюции обер-палача на воплях, на стонах из пыточных камер. О врачах он сказал министру: «если вы не добьетесь, чтобы они признались, полетит ваша голова». Прекрасно звучит в этом контексте выражение «не добьетесь». Я надеюсь, эти слова будут запечатлены в учебниках и школьники будут их учить наизусть.

Вчера впервые мелькнула мне в облике Анны Андреевны репинская «Царевна Софья». Неистовство в расширенных зрачках, в развернутых плечах, в голосе — тихом, но страстном. Гневная одышка. Сила — запертая, скованная, рвущаяся из тисков.

Звонили друзья, просились в гости: Наталия Иосифовна, еще кто-то. Но Анна Андреевна не приняла никого.

— Нет, — сказала она мне, вернувшись очередной раз

---

(146) То есть автор романа «Счастье» П. Павленко (1899-1951) — писатель, сделавший прославление Сталина своей основной специальностью, четырежды (в 1941, в 47, 48 и 50 годах) получивший Сталинскую премию. Сыграл ли он какую-либо роль в аресте и гибели Бориса Пильняка — мне неизвестно.

от телефона. — Я и подходить больше не стану. Этот праздник мы будем праздновать с вами вдвоем.

Праздновали мы так: Анна Андреевна велела смочить полотенце холодной водой, легла и положила его себе на лоб.

Я села возле. Фадеев послал письмо о Лёве.[71]) Радость — но даже и эта радость тонет в лучах хрущевской речи.

— Того, что пережили мы, — говорила с подушки Анна Андреевна, — да, да, мы все, потому что застенок грозил каждому! — не запечатлела ни одна литература. Шекспировские драмы — все эти эффектные злодейства, страсти, дуэли — мелочь, детские игры, по сравнению с жизнью каждого из нас. О том, что пережили казненные или лагерники, я говорить не смею. Это не называемо словом. Но и каждая наша благополучная жизнь — шекспировская драма в тысячекратном размере. Немые разлуки, немые черные кровавые вести в каждой семье. Невидимый траур на матерях и женах. Теперь арестанты вернутся, и две России глянут друг другу в глаза: та, что сажала, и та, которую посадили. Началась новая эпоха. Мы с вами до нее дожили.

Я сказала, что многие, в особенности из молодых, смущены и ушиблены разоблачением Сталина: как же так? гений, корифей наук, а оказался заплечных дел мастером.

— Пустяки это, — спокойно ответила Анна Андреевна. — «Наркоз отходит», — как говорят врачи. Да и не верю я, что кто-нибудь чего-нибудь не понимал раньше. Кроме грудных младенцев.

Я с ней не согласилась. На своем пути мне довелось встречать людей чистых, искренних, бескорыстных, которые и мысли не допускали, что их обманывают.

— Неправда! — закричала Анна Андреевна с такой энергией гнева, что я испугалась за ее сердце. Она приподнялась на локте. — Камни вопиют, тростник обретает речь, а человек, по-вашему, не видит и не слышит?! Ложь. Они притворялись. Им выгодно было притворяться перед другими и самими собой. Вы еще тогда понимали всё до конца — не давайте же обманывать себя теперь. Ну, конечно, они, как и мы с вами, не имели возможности выучить наизусть бессмертные распоряжения в оригинале, но что насчет «врагов

народа» все ложь, клевета, кровавый смрад — это понимали все. *Не хотели понимать* — дело другое. Такие и теперь водятся. Вот, например, Твардовский... Вы прочли, наконец?

Я прочла. Читать мне было тяжело. В отличие от Долматовского и прочей наемной бездарности, в отличие от Симонова и Алигер (людей, хоть и не лишенных карьеризма, но и не без доброты, хоть и не лишенных приспособленчества, но и не без таланта), в отличие от них Твардовский — поэт замечательный, редкий талант, настоящий, и человек настоящий (при всех минусах). И в теперешней сенсационной главе встречаются строки, берущие за душу, строки, которые я полюбила:

Уже свистка мы оба ждали,
Когда донесся этот звук.
Нам разрешали наши дали
Друг друга выпустить из рук.

Тем ужаснее, что у него не хватило мужества мысли, да и самого простого мужества написать правду.

Альманах лежал на столе. Я открыла главу о друге. Почему «*Одной* судьбы *особой* повесть, / Что сердцу стала на пути»? Чем же это такая о с о б а я судьба? — судьба миллионов! И что это за вопросы без ответа? Кто виноват? спрашивает автор и отвечает вопросом на вопрос:

Страна? При чем же тут страна?

Народ? При чем же тут народ?

А кто же при чем? Сами арестованные, что ли, себя за решетку загоняли? Вот и ищи — кто? это и есть твоя работа писательская — понимать... И каким все это произнесено мягким, задушевным, элегически-скорбным голосом, непристойно — в этом случае — безгневным: речь-то ведь идет о массовых убийствах, не о разлуке с возлюбленной... И какой убогий, лживый, рабий конец: совесть проснулась с превеликим опозданием, да и то не сама, оказывается, а по команде. (147) И что это за вознесение ужасной реальности в какую-то надмирную сферу: мы, дескать, в высшем смысле всегда были с ним, он, в высшем смысле, с нами; мы с ним

---

(147) «Мне правда Партии велела» и т. д.

вместе томились в лагере, он с нами вместе поднимался по лестнице в Кремль — что за кощунственный вздор! И сколько комплиментов вынужден наворотить автор необъятной братской могиле, именуемой «Сибирь», чтобы иметь право выговорить наконец свою четверть-правдочку!

— Все так, — медленно сказала Анна Андреевна, выслушав меня. — Но самой главной мерзости вы не приметили. Там возвращающийся из заключения лучший друг не может ответить на вопрос: жива ли его мать? Это естественно: он провел 17 лет в заключении, без писем. Но друг-то этого лучшего друга, сам автор, тот, кто говорит о себе «я» — он-то почему не знает, жива ли старуха? Он-то существовал на свободе...

Анна Андреевна сняла со лба полотенце и спустила ноги на пол. Тяжело поднялась.

— Мы знали, живы ли матери и дети наших погибших друзей. Не правда ли, Лидия Корнеевна?

12 марта 56

Третьего дня у Анны Андреевны.

Она накалена ожиданием. Во вторник обещан ответ насчет Лёвы. Пойдет Эмма Григорьевна.

Снова бранила Твардовского. На этот раз с литературной точки.

— Он воображает, будто можно написать поэму обыкновенными кубиками. Да ими 16 строк напишешь, не больше! Все это от невежества. Греки писали емким гекзаметром, Дант терцинами, где были внутреннние рифмы, где все переливалось, как кожа змеи. Пушкин, пускаясь в онегинский путь, создал особую строфу. Все играет внутри, на смену каламбуру приходит афоризм и т. д. А тут — отмахать целую поэму — тысячи километров — кубиками. Какая чепуха!

Про «Обезьянку» Мориака сказала:

— Полный смрад. Многие в восторге, потому что не знают образцов: не читали Сартра, Хемингуэя, Стейнбека. Например, Стейнбек: « Of mice and men ». Каждому слову веришь, и страшно. А этот бежит сзади и кричит: «и я! и я!» А сам не умеет ровно ничего. Единственный вывод: если мужчина импотент — ему не следует жениться. Всё. [72])

Сказала, что уже много месяцев перечитывает Шекспира, «Хроники». А переводит теперь Галкина — и восхищена. [73])

Еще рассказала про одну из Наташ.

— Я отменяю титул «плохая». Не знаю, надолго ли, но сейчас так. Была у меня, веселая, хорошенькая, попросила зажечь свет, чтобы я взглянула на ее туфельки. В самом деле, туфельки как розы... Но не в этом, конечно, перемена, а вот в чем: никаких сплетен, никакого злословия, никого не ругала — только иногда под текстом вспыхивали синие огоньки.

К Анне Андреевне от имени редакции «Литературного Наследства» приходили просить воспоминания о Маяковском.

— Я отказалась. У меня было когда-то написано страниц 8, но я их потеряла. И Бог с ними. Я в сущности очень мало знала его — и только издали. Терпеть не могу этих воспоминаний дальних лиц. Да и зачем мне бежать за его колесницей? У меня своя есть. Кроме того, ведь публично он меня всегда поносил, и мне не к лицу восхвалять его.

20 марта 56

Мне хочется спросить у Анны Андреевны: почему так тяжело на душе? Сквозь счастье?

Уж если она не объяснит — больше некому.

У нас теперь много радостей, но каждая чем-то отравлена. Даже величайшая из всех возможных — возвращение друзей.

Разве я не рада? Тогда я просто деревяшка, пень, оледенелая глыба.

Можно брать их к себе на житье, одевать, лечить, хлопотать о скорейшей реабилитации, о комнате для них, о восстановлении в Союзе — я это делаю сама и помогаю делать другим — и все удается.

Это ли не радость?

И изгнанники в доме моем...

А на душе, вместе с радостью, какая-то ядовитая муть.

Стыд перед ними, что их судьба миновала меня? Стыд

за молчание, свое и наше общее, когда они подвергались мучениям?

Но ведь заговорить тогда, — это значило вырыть себе своими руками могилу и лечь в нее. Живьем. И рядом с собой положить: своих близких. Погибнуть и не принести ни малейшего облегчения страдающим.

(Логически это может служить оправданием, но почему-то не служит. Стыд, хоть и не дым, а ест глаза.)

Это вот — одна отравленная радость.

Но есть и другая. Огромная и тоже отравленная.

Мы дожили до светлого часа: слово «Сталин» стоит наконец рядом со словом «застенок». (Пусть по-ихнему: «культ» и «массовое нарушение социалистической законности»).

Пусть! Хоть и на ихнем жаргоне — а все равно, счастье.

Но и это счастье испорчено, замутнено для нас, и тут я догадываюсь — чем. Опять по команде: «поворот все вдруг». По команде славили, теперь по команде будем хаять.

Фридочку вызвал в редакцию Камир и попросил срочно убрать из повести о Зое и Шуре тот абзац, где Зоя полумолитвенно размышляет о Сталине.

— Не трудно вам будет? — спросил он.

— Почему же мне может быть трудно? — ответила Фрида. — Ведь это вы сами, Борис Исаакович, вписали в мою рукопись абзац о Сталине. С текстом он не сросся, убрать его оттуда теперь — легче легкого. [74])

Позвонил Камир и мне — по поводу «Чалдонки». [75]) Там десятилетний школьник Володя, во время войны, пишет Сталину письмо об изобретенной им пушке: построить такую — и наша армия сразу победит немцев. Ничего холуйского в письме нет, обыкновеннейшая детская техническая фантастика. (Я подобных писем Сталину от школьников видела десятки). Так вот Камир на-днях позвонил мне: «советую вам подумать вместе с автором». Думать нам не о чем, мы с удовольствием убрали проклятое имя, и переадресовали Володино письмо Ворошилову. Но у нас обоих такое чувство, будто мы снова измазались в какой-то гадости. От этого начальственного приказа вычеркнуть одно и вставить другое имя повеяло на меня очередной кампанией, которой, если она кампания, грош цена, повеяло запахом времени, которое, как нас хотят уверить, навсегда прошло. Вправду ли прошло?

Если бы вправду, то и Камир прошел бы вместе с ним, а он по-прежнему начальствует! по-прежнему распоряжается! и при этом совершенно на прежний манер... Даже словцо «подумайте!» — оно тогдашнее, из прежнего времени: следователь выпроваживает своего упорствующего собеседника в коридор и дружески предлагает «посидеть и подумать». (Между коридором того заведения и издательским — такая ли уж большая разница? Но мы в этом случае не упорствовали...).

Анна Андреевна просила меня, когда документ будут читать в Союзе, непременно прослушать. (Читают всюду кругом, даже школьникам старших классов). Просила, если окажется возможным, сделать конспект. Мне и самой, конечно, хотелось своими ушами услышать благую весть. Но если бы не Фрида, я вряд ли удостоилась бы. Случилось так: сначала мне позвонил Могилевский-Октябрьский и сообщил, что в среду, в 6 часов, будут читать «важный партийный документ» и мое присутствие «весьма желательно». (148) (Я чуть было не спросила, давно ли меня приняли в партию). Накануне назначенного часа позвонила секретарша: чтение в детской секции отменено. Я встревожилась: где я теперь услышу? И тут выручила Фридочка: на-днях, совершенно внезапно, вызвала меня в Союз. Я сразу смекнула, в чем дело, и помчалась. Мы пошли в партком, к Сытину, просить, чтобы нас допустили, если где-то читают. (149) А Сытина нет. И вдруг мы увидели: все, тихонько ожидавшие в коридоре, потекли в конференц-зал. Фридочка молча меня подтолкнула, и мы пошли со всеми. Какая это была секция, я так и не поняла: судя по Левику и Станевич, по-видимому — переводческая. Всего человек тридцать. Мы сели за длинный стол. Молодая миловидная дама в зеленом костюме заперла дверь на ключ и села во главе стола. Читала она очень отчетливо, с интеллигентными интонациями. Чтение длилось два с половиной часа. Доклад составлен почти без казенных фраз. Очень неприятно, что трагедия понята только как

---

(148) Борис Львович Могилевский-Октябрьский (р 1908) — член Партбюро Детской секции Союза Писателей. Я, как автор критических работ о литературе для детей, состояла в детской секции Союза.

(149) Виктор Александрович Сытин (р. 1907) — секретарь партийной организации Московского отделения Союза Писателей.

трагедия коммунистов, а беспартийных будто и не губили миллионами. Но в общем толково.

Мы с Фридочкой, как и все, слушали молча, сидели неподвижно, не переписываясь и не перешептываясь. И не конспектировала я ничего: ведь это панихида, суетиться грех. Письмо Эйхе! Письмо Эйхе! Концентрат, сгусток. Когда читались письма казненных, женщины плакали. Все плакали, кроме нас с Фридой. Меня и не тянуло расплакаться, напротив, я испытывала к плачущим злобу: уж слезы ронять они могли бы и раньше. Другим эти судьбы, быть может, в новинку, а мною давно оплаканы и даже отчасти описаны. Не из доклада Хрущева узнала я, в каких руках были наши близкие.

А они — из доклада? [76])

Фридочка пошла меня провожать, и, когда мы шли бульваром, я у нее спросила: как она думает, почему женщины плакали? о ком и о чем? О замученных? О своем преступном молчании?

— Думаю, — ответила Фрида, — они оплакивали свою утраченную веру. Всю жизнь веровали свято в товарища Сталина, повинуясь этой вере, совершали всякие подлые поступки, одни чаще, другие реже, а вера сегодня рухнула. Сегодня им сказали в лицо, что они — обманутое стадо. Как же им не плакать?

Измученная бурными чувствами и смутными мыслями, сбитая с толку и слабая, явилась я к Анне Андреевне. Придя, поняла, что не надо бы мне сегодня вываливать ей на голову все мои недоумения и тревоги... Сегодня она светла и радостна: Левино дело, судя по обращению прокуратуры с Эммой Григорьевной, будет вот-вот решено... (150) Но я не могла удержаться, да она и сама сразу же стала расспрашивать меня о письме Хрущева.

Она слушала, не перебивая. Когда я сказала, что женщины плакали, у нее гневно дрогнули ноздри, но ни слова. Потом, прежде чем я, окончив, задала ей свои вопросы, она сама предложила мне один:

— Вот, прослушали вы письмо от начала и до конца, ска-

---

(150) См. RLT, стр. 655.

жите, нашлось ли для вас в нем что-нибудь новое? Какие-нибудь факты или обстоятельства, проливающие новый свет? Я нарочно спрашиваю об этом именно вас, потому что вы и раньше не обольщались.

Я подумала. Узнала ли я что-нибудь новое? Существует магия открытого слова. Знать про себя, среди молчания, всеобщего и своего, и вдруг услышать громко высказанным то, о чем молчишь, — это ошеломляет уже само по себе. Я думаю, от выговоренных впервые или услышанных впервые долгожданных слов у людей меняется состав крови... Но Анна Андреевна спросила проще: узнала ли я из этого доклада что-нибудь принципиально и фактически новое, до сих пор неизвестное мне?

Да, узнала.

Новостью, и весьма существенной, оказалась для меня одна сталинская телеграмма. Я помню, лет 18-19 назад, в Ленинграде, в узком кругу, мы задавали друг другу вопрос: каким способом Сталин показывает своим соратникам, что на следствии можно и должно пытать арестованных? Усом помаргивает? Не мог же он так прямо и говорить: поджарьте Рыкова на сковороде, а Бухарина сварите живьем? Как же они вообще на эти темы объяснялись между собой: знаками? усмешками? щелканьем пальцев? бровями? Мы, конечно, понимали, что все эти обывательские разговоры: «Сталин не знает, безобразия творятся его именем без его ведома» — чепуха, вздор, малоумье («царь батюшка не ведает, министры виноваты»), понимали, что он — автор пыточной системы, но, мы думали, скрытый. Лицемерный. Не мог же он так прямо и брякать? Ведь «советская власть не мстит», ведь «советский строй — самый гуманный в мире», ведь «гестапо» бранное слово... Оказалось, отлично мог, так и говорил — не подмигиваньем, а словами, попросту и без затей, и вот эта откровенность и оказалась новизной для меня. Какой-то наивный провинциальный обком — в 38, кажется, году, запросил Сталина, допустимо ли в советских следственных органах «применение физических методов воздействия». Сталин ответил, что да, допустимо, безусловно, и мы были бы плохие марксисты, если бы избегали их.

— Для вас это ново? Что он был прям? Для меня ни-

сколько! — сказала Анна Андреевна. — Кого же ему было стесняться? Мне даже кажется, я эту телеграмму собственными глазами читала. Вот именно: подлинная наука требует... Быть может, читала во сне. Жаль, в те годы мы не записывали своих снов. Это был бы богатейший материал для истории.

Я подумала, что мы и явь-то описали едва-едва, одну миллионную, какой-то краешек яви — и действительность «корчится безъязыкая», «ей нечем кричать и разговаривать». И тоже, надо признаться, материал богатейший.

Я попыталась задать Анне Андреевне неотвязный вопрос: отчего все теперешние радости пропитаны для меня отравой? Даю честное слово: не от того, что другие вернутся, а Митя нет. Честное слово.

— Отчего? — Анна Андреевна серьезно поглядела мне в лицо: пойму ли? — От того, что бессознательно, того не ведая сами, вы хотите, чтобы этих лет будто и не было, а они б ы л и. Их нельзя стереть. Время не стоит, оно движется. Арестованных можно из лагерей воротить домой, но ни вас, ни их нельзя воротить в тот день, когда вас разлучили. Этот день для них и для вас был ужасен, но он был днем вашей жизни, и вы хотите, чтобы не только люди, но и день вернулся и чтобы жизнь, насильно перерванная, благополучно началась с того самого места, где ее прервали. Склеилась там, где ее разрубили топором. Но так не бывает. Нет такого клея. Категория времени вообще гораздо сложнее, чем категория пространства. Справедливость, которая торжествует через 17 лет, это уже не та справедливость, которой ваше сердце жаждало тогда. Да и сердце ваше не то... А про Камира и про систему, что она прежняя... Конечно, прежняя... Откуда же взяться другой? — Анна Андреевна опять серьезно и даже как-то с укором посмотрела на меня. — Давайте я вам лучше стихи почитаю. Сорокового года. Марине Ивановне. В них целое четверостишие посерединке я написала заново.

Скорбно подняв брови, скорбным глубоким голосом, она прочитала мне стихотворение, обращенное к Цветаевой. «Невидимка, двойник, пересмешник». Я запомнила только 4 строки:

То кричишь из Маринкиной башни:
«Я сегодня вернулась домой.
Полюбуйтесь, родимые пашни,
Что за это случилось со мной...»

Дальше — дивный переход к самой концовке.

— Ей я не решилась прочесть, — сказала Анна Андреевна. — А теперь жалею. Она столько стихов посвятила мне. Это был бы ответ, хоть и через десятилетия. Но я не решилась из-за страшной строки о любимых. (151)

Нас позвали ужинать. В столовой Нина Антоновна оканчивала беседу с молодым человеком, по-видимому, актером, ее учеником, а Миша хозяйничал. Анна Андреевна села на свое обычное место — на диван под зеркалом — и усадила рядом меня, погрозив пальцем Лапе, которая ворчала из-под дивана. Миша подал Анне Андреевне какую-то особую еду, но вино она пила вместе со всеми. Часто наклонялась к моему уху и тихонько шептала что-нибудь посреди общего разговора. Один раз так:

— Правда ведь, за 800 рублей можно купить хороший мужской костюм?

Это она уже готовится к Левиному возвращению...

Речью Хрущева он спасен, как и другие, «от тысячи тысяч смертей».

И я еще смею рассуждать, копаться в себе, быть печальной!

29 марта 56

В день своего рождения, вечером, я была с Люшенькой в кино на «Деле Румянцева». Оба главные героя, следователь и арестованный, играют превосходно. Арестованный — Алеша Баталов.

На другой день я видела Баталова уже не на экране, а за чайным столом. У Анны Андреевны или, точнее, у Ардо-

---

(151) Судьба мужа и дочери М. Цветаевой рассказана мною в примечании 189). «Поглотила любимых пучина» — строка из стихотворения Ахматовой «Поздний ответ» — «Сочинения», т. 1, стр. 342; № 60. 77) О встречах Анны Андреевны и Марины Ивановны см. стр. 373-374.

вых. Он был с женой. Мы долго все вместе сидели в столовой. Он, видимо, актер замечательный, и я вглядывалась в него с интересом. Лицо рано уставшего мальчика. (Сейчас много таких лиц.) Держится он с подчеркнутой скромностью, но, я думаю, сосредоточен на себе: художник. Фильм не сходит с экрана, и люди узнают его на улице. По просьбе Анны Андреевны он рассказал мне, как на-днях был опознан одной девушкой, служащей при бензоколонке. То есть, вернее, узнан, но не опознан. Заправляя машину, она сказала:

— Ты, парень, такое кино видал: про следователя-чурбана? Ты на Румянцева там похож — вылитый! Румянцев и Румянцев... Тебе, верно, уже говорили?

— Случалось.

— Копия!

Но не признался, что это он самый и есть.

Анна Андреевна тут же, за столом, спросила, понравился ли мне фильм? Я сказала, что, несмотря на замечательную игру актеров, картина произвела на меня впечатление двойственное: она неправдиво отвечает на тот вопрос, который сейчас у всех на устах. В сущности это ложь, хотя и под соусом правды: правда в деталях, ложь в основе. Великолепно сыграны и неповинный Румянцев, и кретин следователь. Отечественные Холмсы и впрямь не блистают умом, но не тут ведь причина перенесенного нами бедствия. Фильм «Дело Румянцева» — это лишь заменитель истины, суррогат, эрзац: все преподнесено как единичный случайный факт. Ведь в действительности таких «дел» были миллионы, и следователи не потому становились орудиями гибели неповинных, что по тупости своей принимали их за виноватых. Уж кому-кому, а им неповинность их жертв была известна досконально: ведь они сами заранее сочиняли «протоколы допросов».

После чая Анна Андреевна увела меня к себе. По-видимому, она была рада услышать, что мне очень понравились ее румынские переводы. (152)

— Заметили? Они, кажется, в самом деле удались. Их из

---

(152) В журнале «Иностранная Литература» (1956, № 3) напечатаны, в переводе Ахматовой, несколько стихотворений румынского поэта Александру Тома. В оглавлении имении Ахматовой нет: оно упомянуто только в предисловии Долматовского.

меня Шервинский выбил. Удивительно: сам он переводчик не очень хороший, а редактор — отличнейший.

Вышла, оказывается, книжка одной норвежской поэтессы, где несколько стихотворений переведены Анной Андреевной. Я и не знала. И потешное происшествие: один ахматовский перевод приписан Железнову. (153) Это прелестно. Редакция извинилась перед Анной Андреевной и хотела уволить сотрудника, повинного в путанице, но Анна Андреевна за него вступилась.

— Я не позволила из-за себя никого выгонять. Этот крест мне не по плечам. Обещали.

Однако о переводах мы говорили недолго. Сталин, пережитая нами эпоха — вот о чем опять и опять. Я передала Анне Андреевне слухи о недавнем собрании в «Правде». Туда были приглашены писатели, в том числе и Всеволод Иванов. Все ожидали, что разговор пойдет о разоблачении Сталина. Ничуть не бывало: Сатюков произнес казенную, канцелярски-хозяйственную, пустую речь. (154) Писатели в ответ тоже заговорили всего лишь о хозяйстве, хотя и резко: вымирает рыба, гибнут леса. Тогда встал Всеволод Вячеславович и сказал, что есть и пострашнее, чем рыба и лес, что в нашей стране погибли миллионы людей, об этом говорилось на съезде, но по секрету, и доклад Хрущева не дошел не только до народа, но и до него, писателя Иванова. Сатюков в бешенстве его оборвал. Всеволод Вячеславович вышел из кабинета, по некоторым версиям — громко хлопнув дверью. [78])

Анна Андреевна сказала:

— По-видимому, граница дозволенного очерчена на новой идеологической карте с большой точностью. Охраняется зорко. Но мы ее еще не изучили. Всеволод Вячеславович вольно или невольно ее преступил. А на карте, возле черной черты, крупным шрифтом напечатано: «что можно Хрущеву, того нельзя Иванову». Если каждый начнет делать выводы

---

(153) Ингер Хагеруп. Стихотворения. М., Гослитиздат, 1956, П. Железнову приписан перевод стихотворения, которое начинается строкой: «Мы женщинами родились».

(154) Павел Алексеевич Сатюков (р. 1911) — главный редактор газеты «Правда», назначенный на этот пост в 1956 г.

из хрущевского доклада и, главное, пополнять его собственными соображениями и опытом, — беда.

Домой меня доставил Баталов на своей «бибишке».

7 апреля 56

Гололедица. На днях со мной случилась дурацкая история. По дороге к Анне Андреевне (это было, кажется, 4-го вечером) я купила торт. Под аркой у двери вместо Вечной Лужи — теперь Вечная Мерзлота, я поскользнулась; мне бы бросить торт и освободить руки, а я, как великую драгоценность, прижимала к груди коробку и потому грохнулась во весь рост со всего размаху на лед. Коробка осталась цела, я же ушибла голову и правую руку в локте.

Я полежала немного на льду, ожидая, не поможет ли кто. Но никого. Встала сама. Кружится голова, мутит. Лучше бы домой, из дому позвонить Анне Андреевне. Но одна пуститься в дальний обратный путь я не рискнула. Вскарабкалась, держась за перила, на второй этаж и дернула звонок. К счастью, мне открыла домашняя работница, а звонка моего кроме нее никто не слыхал: все смотрят в столовой телевизор. Работница помогла мне стянуть с себя пальто, ботики, я юркнула в комнату Анны Андреевны и там легла. Меня никто не видал. Минут через 10, вызванная потихоньку из столовой, вошла ко мне Нина Антоновна, дала каких-то капель и чашку кофе. «Вы сине-белая», — сказала она. Когда я сделалась больше похожа на человека, Нина Антоновна позвала Анну Андреевну. В сущности, у меня уже все прошло, только сильно болела рука, но Анна Андреевна настаивала, чтобы я непременно перешла в столовую на диван, потому что там больше воздуха. А там по телевизору гремел «Отелло», которого слушали другие; для меня же громкий звук гораздо труднее, чем духота. Я умоляла Анну Андреевну не беспокоиться и посидеть со мной. Она села, но была очень тревожна. Не верила, что у меня уже все прошло. Чувствуя ее волнение, Нина Антоновна каждую минуту являлась из столовой с докладом:

— Скоро конец. Уже платок. Дело идет быстро.

— Ура, он уже ревнует. Скоро задушит ее.

Нина Антоновна наповал бранила Юткевича, актеров и весь спектакль. [79])

Анна Андреевна сказала:

— Шекспир требует рамы — и только. Его нельзя ставить на фоне пейзажа. От неба, моря, деревьев сразу гибнет всё. Пейзаж ему противопоказан. В действительности ведь он пишет о Лондоне, его настоящий пейзаж — Лондон, о Венеции ли идет речь или о Вероне. И слуги у него — это лондонский сброд, а не венецианский. Шекспира надо ставить так, как ставят англичане: сцена, две ступеньки, принц в плаще, на него направлен свет, и он произносит гениальные слова.

«Отелло» окончился; для спокойствия Анны Андреевны я немного полежала в столовой (пили чай со злосчастным тортом), потом Боря привел такси, натянул на меня пальто и боты и отвез домой.

11 апреля 56

Сегодня была у Наташи Ильиной, в ее новом жилье (на Арбате), и там встретилась с Анной Андреевной. Дурно выглядит, желтая, и почему-то собирается в Ленинград. А почему — не объяснила.

Разговоры все те же. На днях статья в «Правде» о каких-то новоявленных клеветниках, которые — процитировала нам на память Анна Андреевна — «под видом осуждения культа личности пытаются поставить под сомнение правильность политики партии». [80])

— И китайцы, к сожалению, пишут не только стихи, — добавила Анна Андреевна. — Вы читали? — У нее дрогнули ноздри и дрогнул голос. — Палачества Сталина, длившиеся 30 лет, они посмели назвать «ошибками». Всего лишь! Если это ошибки, то что же такое массовые убийства! [81])

— А счастье было так возможно,
Так близко... — сказала я.

— Вы заблуждаетесь, — ответила Анна Андреевна. — Ничто коренное вовсе не было возможно.

Да, конечно, она права. Мне бы следовало помнить: 1857, 1861, 1862...

Разоблачение злодеев и сопротивление злодеев.

И праздник злодеев: 1863.

14 апреля 56

Анна Андреевна уехала в Ленинград. Мы проводили ее: Нина Антоновна, Наталия Иосифовна, Миша, я.

Она подарила мне корейцев. (155)

По перрону шла с мученическим выражением лица, хотя и пыталась шутить.

18 апреля 56 (156)

Сейчас мне позвонила Наташа Ильина. Она разговаривала с Анной Андреевной по телефону.

Умер Владимир Георгиевич.

Итак, и его она пережила. [82])

15 мая 56

Строчу статью для «Нового мира», [83]) и потому на долю дневника остается всего лишь конспект.

Вернулся Лёва.

Застрелился Фадеев.

Это «концы и начала», это — завершение эпохи: один начинает новую жизнь, другой оканчивает свою, во искупление старой.

Мне хочется написать большими буквами:

ВЕРНУЛСЯ ЛЕВА

Анна Андреевна приехала 14-го. А 15-го, ничего не зная о ней, зашел к Ардовым, по дороге в Ленинград, освобожденный Лёва.

Любо видеть ее помолодевшее, расправившееся лицо, слышать ее новый голос.

---

(155) «Корейская классическая поэзия». Перевод Анны Ахматовой. М., Гослитиздат, 1956.

Надпись: «Милой Лидии Корнеевне Чуковской от ее друга Ахматовой 13 апреля 1956 Москва».

(156) Дата несомненно ошибочная. В. Г. Гаршин скончался 20 апреля 56 года; стало быть, моя запись в действительности сделана позднее.

Мы вошли в маленькую комнату. Там — клубы папиросного дыма.

— Накурил Лёвка! — сказала Анна Андреевна, рукой разгоняя дым, — сказала таким домашним, мило-ворчливым материнским голосом, что я почувствовала себя счастливой.

У Лёвы в лагере был приступ гнойного аппендицита. После операции он пять дней лежал без сознания.

Только бы не Катина судьба. (157)

(Впрочем, Нина Антоновна уверяет, что выглядит Лёва не худо. Сама я его еще не видела).

Собирается куда-то в Великие Луки, к товарищу.

— В Комарово не хочет, — сказала Анна Андреевна. (Я не поняла, грустно это ей?)

...У меня там уже никого не осталось. Кроме мертвых.

1 июня 56

Писала изо всех сил статью и потому забросила Дневник чуть не на две недели. В Переделкине была всего раз. Теперь статья окончена — пересаживаюсь бегом за Дневник.

Итак, жила я с выключенным телефоном. Писала. Лил дождь. Внезапный стук в дверь. Это Наталья Ильина, командированная за мною Анной Андреевной. Я отправилась. На столике и на постели разбросаны тетради, блокноты, листки. Чемоданчик открыт. К празднику сорокалетия советской власти Слуцкий и Винокуров берут у Ахматовой стихи для какой-то антологии: 400 строк. Чемоданчик в действии — Анна Андреевна перебирает, обдумывает, выбирает, возбужденная и веселая. Когда я вошла, она бросила тетради и листки обратно в чемодан, хлопнула крышкой и, усадив меня за столик, начала диктовать.

— С вами удобно, — пояснила она. — Можно по первым строчкам. Или по последним.

---

(157) Екатерина Алексеевна Боронина (1908-1955) — ленинградская писательница, скончавшаяся в Ленинграде от инфаркта через несколько месяцев после возвращения из лагеря. Проездом в Ленинград она некоторое время жила в Москве у меня. Рассказывала: в лагере (в Потьме) ее, больную базедовой болезнью, заставляли набирать из колодца и таскать воду ведрами. По-видимому, последний инфаркт был не первым.

— Можете даже по седьмым, — сказала я, возгордившись.

Мы составили список приблизительно из сорока стихотворений. Не спорили или, если спорили, то только о «проходимости». Впрочем, вообразить невообразимое все равно нельзя, оно «непостижно уму» — даже уму и воображению Анны Ахматовой. Отбор совершался под лозунгом: граница охраняема, но неизвестна.

Анне Андреевне очень хотелось дать «Стансы». Мне, разумеется, тоже... Сначала все спокойно, элегично, задумчиво, а потом вдруг, при переходе во второе четверостишие, удар неистовой силы. Вру; не «при переходе», а безо всякого перехода, как удар хлыстом: «В Кремле не надо жить»...

А в последних двух строках — полный и точный портрет Сталина:

Бориса дикий страх и всех Иванов злобы
И Самозванца спесь взамен народных прав. (158)

— Как вы думаете, все догадаются, что это портрет, или вы одна догадались? — спросила Анна Андреевна.

— Думаю, все.

— Тогда не дадим, — решила Анна Андреевна. — Охаивать Сталина позволительно только Хрущеву.

Работу мы кончили. Я переписала список набело. И тут наступила минута, когда я рассказала Анне Андреевне о преступлении Ольги. Я бы и раньше — да это впервые после моего печального открытия мы виделись с ней наедине и толком. [84])

Анна Андреевна слушала меня молча, не перебивая, не переспрашивая. Опустив веки. Ее лицо с опущенными веками — камень. Перед этим каменным, немым лицом я как-то заново поняла, что рассказываю о настоящем злодействе.

Заговорила она не сразу и поначалу голосом спокойным и медленным. Словно занялась какой-то методической классификацией людей и поступков.

---

(158) Эти стихи я привожу не в том варианте, в котором они напечатаны в сб. «Памяти А. А.» (стр. 19), а в том, который Ахматова намеревалась включить в «Бег времени»; № 61.

— «Такие»... — сказала она. — «Такие»... они всегда прирабатывали воровством — во все времена — профессия обязывает. Но обворовывать человека в лагере! — она подняла глаза. Камень ожил. — Самой находясь при этом на воле!.. И на щедром содержании у Бориса Леонидовича... и не у него одного, надо думать... Обворовывать подругу, заключенную, которая умирает с голоду... Подобного я в жизни не слыхивала. Подобное даже у блатных не в обычае — между своими. Я надеюсь, вы уже объяснили Борису Леонидовичу, кого это он поет, о ком бряцает на своей звучной лире? Образ «женщины в шлеме!» — закончила она с отвращением.

Я ответила: нет, и не стану... И тут вся ярость Анны Андреевны, уже несдерживаемая, громкая, обрушилась с Ольги на меня. Она не давала объяснить, п о ч е м у я не желаю рассказывать Борису Леонидовичу об Ольгиной низости, она кричала, что с моей стороны это ханжество, прекраснодушие — Бог знает что. Она схватила со стола карандаш, оторвала краешек листка от только что составленного нами списка и с помощью таблицы умножения вычислила, на сколько сот рублей обворовала меня Ольга. Когда мне удалось вставить: «Не в этом же дело!» она закричала: «И в этом! и в этом! Работа профессиональной бандитки».

Она умолкла, и я решилась заговорить. Я объяснила, что не скажу Борису Леонидовичу ни слова в разоблачение Ольги по двум причинам.

Первая: мне его жаль. Не ее, а его. Если бы не моя любовь к Борису Леонидовичу, я не постеснялась бы вывести Ольгу на чистую воду перед большим кругом людей. Но я слишком люблю его, чтобы причинять ему боль.

Вторая: он мне все равно не поверит. Ведь Ольгу он обожает, а о Надежде Августиновне имеет представление смутное. Ведь это мне известно, что человек она благородный и чистый и лгать не станет, а он? а он свято поверит тому, что наврет ему Ольга. Расписок и квитанций никаких у меня нет, свидетелей я не назову. Для него мое сообщение было бы просто еще одним горем — нет, еще одним комом грязи. Так и никак иначе воспримет он мои слова. Что же касается до утраченных мною денег, то это мне наказание, штраф, за собственную мою вину. Ведь я-то Ольгу знаю не первый день. Неряшливая, патологически лживая, невежественная...

Мне еще в редакции так надоели ее вечное вранье, мелкие интриги, хвастливые россказни о своих любовных победах, что я, уже задолго до ее ареста, перестала общаться с ней, хотя она, по неведомым мне причинам, окружала меня заботами и бесстыдной лестью... Какое же я имела право, зная ее издавна, доверить ей посылки — то есть, в сущности, Надино спасенье, здоровье, судьбу?

— Вздор! — с раздражением перебила меня Анна Андреевна. — Ханжество. Вас обворовали, и вы, в ответ, чувствуете себя виноватой. Я вижу, вы настоящий клад для бандитов.

Вчера Анна Андреевна была у меня. Об Ольге мы не продолжали. Речь шла о самоубийстве Фадеева. О нарочитости официального сообщения. О том, узнаем ли мы когда-нибудь, какова была истинная причина самоубийства? Об оставленном им письме. Получим ли его когда-нибудь мы — современники, адресаты? (159)

— Фадеевская легенда растет, — сказала Анна Андреевна. — А тут нужна не легенда. Срочный опрос свидетелей. Подлинные документы. Протоколы. Настоящее следствие по свежим следам. Знаем мы, как потом наврут в мемуарах.

Я доложила ей переделкинские слухи. (Большинство оказались известными ей). Секретарша, Валерия Осиповна, говорит, что это был приступ тоски перед запоем. (Реплика Анны Андреевны: «Это не она говорит, это ей сказали.)[85]) Одни думают: убил он себя в порыве отчаяния, внезапно — иначе зачем бы в этот день он взял с собой на дачу сына? Другие, что он давно решил и подготовил самоубийство. Шофер рассказывает: садясь в машину после визита к Маршаку, Александр Александрович сказал: «Вот и в этом доме я был в последний раз». (Шофер понял так: поссорились). Говорят, будто предсмертное письмо, адресованное Фадеевым в ЦК, страшное; в нем будто бы написано: «Я убиваю себя потому, что оказался невольным участником преступлений, сломавших хребет русской литературе». Другие, со слов Книпович, которая жила на фадеевской даче и была там в мо-

(159) Письмо не опубликовано до сих пор; в официальном же сообщении, сделанном от имени ЦК КПСС («Правда», 15 мая 1956 г.), причиной самоубийства предлагалось считать болезнь: «...в последние годы А. А. Фадеев страдал тяжелым прогрессирующим недугом — алкоголизмом...»

мент катастрофы, утверждают, что он вообще никакого письма не оставил. (160) (Анна Андреевна: «Если письма нет, значит, она сама и сожгла его. Это настоящая леди Макбет. Способна своими руками не только уничтожить предсмертное письмо, но и отравить и зарезать человека»). [86]) Рассказывают еще, будто Софронов и прочие собирались свалить на Фадеева весь позор космополитской — то есть антисемитской — кампании; найдена будто бы его резолюция: «пора разъевреить Союз».

— Я Фадеева не имею права судить, — сказала Анна Андреевна. — Он пытался помочь мне освободить Лёву.

Я сказала, что лет через 50 будет, наверное, написана трагедия «Александр Фадеев». В пяти актах. На моих глазах вступался он не за одного только Лёву: за Оксмана, за Заболоцкого, а во время войны его усилиями, по просьбе Маршака, были вывезены из Ленинграда погибавшие там мои друзья: Пантелеев, Тамара Григорьевна, Шура. (161) В отличие от Софронова, Бубеннова, Суркова, которые всегда были — нелюдь, Фадеев был — когда-то — человек и даже писатель. Выстрелом своим искупил ли он свои преступления? Смывается ли кровью пролитая кровь? Надо быть Господом Богом, чтобы ответить на этот вопрос.

— Наше время даст изобилие заголовков для будущих трагедий, — сказала Анна Андреевна. — Я так и вижу одно женское имя аршинными буквами на афише.

И она пальцем крупно вывела в воздухе:

Т И М О Ш А (162)

---

(160) В действительности, предсмертное письмо Фадеева, конечно, было; его видели своими глазами Вс. Вяч. Иванов и К. А. Федин, одними из первых вошедшие в кабинет после выстрела.

(161) Л. Пантелеев (р. 1908) — писатель; о нем см. «Записки», т. 3; о Тамаре Григорьевне Габбе и об Александре Иосифовне Любарской («Шуре») см. «Записки», т. 1, стр. 93 и стр. 24.

(162) «Тимоша» — домашнее прозвище невестки Горького, жены его сына, Надежды Алексеевны Пешковой (1901-1970). Роль и судьба этой женщины — как и всех людей, близко связанных с Горьким, с его домом, с его жизнью и смертью, — строго засекречена — и требует особого изучения.

А. А. и Надежда Алексеевна встречались в эвакуации, в Ташкенте.

Разговор переменился.

— Затея с четырехстами моими строчками оказалась блефом, — сказала Анна Андреевна. — Напрасно я теребила вас в дождь!.. По-видимому, все это лишь предлог, чтобы заполучить мои стихи в личное пользование. Скверные мальчишки. (163)

Теперь у нее берут стихи в «Октябрь». Не 400 строк, скромнее. Она дала «Последние слезы», «Черную и прочную разлуку», «И время прочь, и пространство прочь» и еще что-то. (164)

На прощание я подарила ей маленькую фотографию Бориса Леонидовича, — ту, Вовину.[87]) Она была очень довольна. Надела очки, долго держала карточку у себя на ладони и вглядывалась в нее.

— Что-то рембрандтовское, — сказала она напоследок. — Какая тьма склубилась. И какой силы и света лицо — из тьмы.

5 июня 56

В субботу, в 8 часов, я должна была читать «Рабочий разговор» у К.; среди приглашенных — Наталия Иосифовна, за которой я должна была заехать в 7. Заехала. У нее в комнате в белом, пышном, шуршащем платье царствовала Анна Андреевна. Она попросила нас завезти ее к Игнатовым, с тем, чтобы часа через три Наташа снова заехала за ней. Одна она боится не только ходить по улицам, но даже в машине ездить... Сердце.

По дороге Анна Андреевна объявила мне, что тоже хотела бы послушать мою статью.

Мы условились на завтрашний вечер у Наталии Иосифовны.

---

(163) А. А. ошиблась: стихи, взятые у нее Е. Винокуровым и Б. Слуцким, были напечатаны — 20 стихотворений и отрывок из «Поэмы без героя». См. «Антология русской советской поэзии 1917-1957», т. I, М., Гослитиздат, 1957.

(164) В «Октябре» стихи были приняты, набраны, но не напечатаны. «Последние слезы» — это «Вторая годовщина» — БВ, Седьмая книга; другие два — тоже БВ, Седьмая книга, из цикла «Шиповник цветет».

7 июня 56

Вчера читала у Наташи. Кроме Анны Андреевны были друзья, Наташины и мои. Анна Андреевна надела очки, положила перед собою карандаш и бумагу и превратилась в воплощение деловитой учености; может быть, в статую Минервы. Страшновато было; в особенности, когда она бралась за карандаш.

Я кончила.

— Если будет напечатано — станет событием, — сказала Анна Андреевна.

Замечания у нее такие:

1) Слишком много Горького.

2) Не надо имени Пришвина среди писателей первого ряда.

3) Стасов — фигура вредная.

4) Пушкин черпал не только из русского народного языка, но и из иностранных.

Насчет Стасова я совершенно не согласна. Он стал вреден — когда не понял Врубеля. Никто не властен перешагнуть через себя и через свое время. Но искусство с в о е г о времени он понимал и миссию свою выполнил блистательно.

14 июня 56

Вчера у Анны Андреевны.

Ардов в отъезде, и она живет теперь у него в комнате, более просторной и менее жаркой.

Она позвонила и потребовала, чтобы я пришла немедля.

Несет сейчас при ней бессменную вахту Наталия Иосифовна. Дом видимо пуст.

Когда я пришла, Анна Андреевна вручила мне подстрочники семи стихотворений Квитко: из них она перевела только три, а остальные переводить не хочет, ссылаясь на усталость и головные боли. Просила меня все отнести Берте Самойловне и перед ней извиниться. Я огорчилась, зная, как будет огорчена Берта Самойловна. Кроме того, к моей большой до-

саде, из семи стихотворений Льва Моисеевича Анна Андреевна перевела не самые сильные. (165)

Однако, вызвала она меня столь поспешно не из-за этих стихов. Вручив мне подстрочники и переводы, она начала рыться в сумочке, которая всегда, наравне с чемоданом, служит ей службу несуществующего ящика несуществующего письменного стола. В чемодане собственные рукописи, в сумочке все на свете. Оттуда полетели письма, газетные вырезки, деньги, очки, карандаши, анализы, квитанции, нитроглицерин, пудра. Анна Андреевна хотела показать мне письмо от Суркова, но оно не попадалось.

— Пора произвести чистку, — сказала она утомленным голосом. — В суме Плюшкина... Вот оно!

Письмо нашлось.

Это было довольно длинное, хотя и беглое послание, написанное карандашом, поспешным почерком, на закрытии армянской декады, где побывала Анна Андреевна; там совершался обряд «подведения итогов». Письмо возвещает, что назрело время (эти два слова подчеркнуты жирной чертой) переиздать стихотворения Ахматовой.

(«Какой прогресс и агрикультура!» — как писал когда-то Зощенко. Снова переиздадут сероглазого короля.)

Но это я зря. По словам Анны Андреевны, Сурков произнес очень смелую речь. Он заявил, что в докладе Жданова были, оказывается, ошибки: напрасно, например, охаяны Серапионы, Лунц; литература тридцатых годов не отразила, к сожалению, ежовщину; (почему бы это, интересно?); Институт Мировой Литературы не создал историю литературы; Советская Энциклопедия никуда не годится — и т. д.

— А теперь я покажу вам фокус, — сказала Анна Андреевна, окончив излагать речь Суркова. Из той же сумки

---

(165) Берта Самойловна — вдова расстрелянного еврейского поэта Льва Моисеевича Квитко (1890-1952); Корней Иванович и я — мы издавна дружили с этой семьей. (См. Корней Чуковский. Квитко. — Собрание сочинений в шести томах. Том 2. М., изд-во «Художественная литература», 1965.)

Три перевода Ахматовой см. в сб.: Л. Квитко. Песнь моей души. М., «Советский писатель», 1956 (отдел «В грозные годы»).

С Л. М. Квитко А. А. познакомилась в эшелоне «Казань-Ташкент», осенью 1941 г. См. мои «Записки», т. 1, стр. 204 и 206.

она достала газету и протянула мне. — Раз, два, три! Читайте — вот тут, на сгибе.

Я прочла:

«С большой речью выступил тов. А. А. Сурков».[88])

— Совершенная правда, — сказала Анна Андреевна. — Пресса не лжет. Я свидетель. В самом деле выступил, в самом деле Сурков и в самом деле с большой. Точка. Всё.

8 июля 56

Анна Андреевна в Ленинграде, но скоро приедет для свидания с Сурковым.

Вчера, после большого перерыва, я виделась с Натальей Иосифовной. Она была в Ленинграде, навестила Анну Андреевну и на даче и в городе. Очень бранит Иру: Анна Андреевна одинока, заброшена, неустроена.

18 июля 56

Приехала Ахматова. Звонила. Вечером я буду у нее.

Вернулась от Анны Андреевны. Она посвежела, похудела — Комарово служит свою службу. Новое серое платье очень идет к седине. За чаем шуточки Ардова: «madame Ципельперчик». Затем мы у нее в комнате, одни; она сидит в углу постели, сложив руки на коленях, скорбно подняв брови — печальная, доверчивая, торжественная — говорит:

— Жизнь ко мне очень жестока, и вот сейчас одна из наибольших жестокостей: эта книга, составленная Сурковым. Я его не виню, иначе, наверное, нельзя. Перед моим отъездом он просил, чтобы я в Ленинграде посмотрела выбранные им стихи, подумала над отбором. Я даже в руки их не взяла. Меня эта книга не выражает совсем, нисколько.

Она вынула из чемоданчика и положила передо мной папку. Я открыла. Но не успела я перевернуть две страницы — Анна Андреевна захлопнула ее и с искаженным лицом снова засунула в чемодан.

23 июля 56

Вчера у Анны Андреевны.

Ардовых старших нет; в столовой мальчики и девочки пьют и танцуют на просторе.

Анна Андреевна вялая, грустная. Ждет звонка Суркова, а Сурков не звонит.

Сказала мне:

— Вот если бы вы составили мою книгу!

Она ошибается. Ничего хорошего из этого не вышло бы. Я составила бы, издательство зачеркнуло бы. Никакого толку.

25 июля 56

Вечером меня позвала Анна Андреевна. У нее Юлиан Григорьевич. Я застала препирательство об одной записи в дневнике Пушкина. Впрочем, довольно вялое. Юлиан Григорьевич отяжелевший, померкший. Видно, неприкаянная жизнь «под Москвой» ему уже не по силам. 89) Оживился он ненадолго, рассказывая про новую книгу Шкловского о Достоевском. 90) Рукопись была у него с собою, и он прочел нам вслух начало статьи. Я слушала, недоумевая. Картонное, из папье-маше, красивенькое, совершенно антидостоевское описание Петербурга.

Анне Андреевне не понравилось тоже. Она это высказала.

Юлиан Григорьевич смутился. «Что же, значит, я неверно вижу, я пристрастен?»

— Голос друга! — глубоким и тоже дружески-участливым голосом произнесла Анна Андреевна.

Я попросила ее прочитать «Ленинградскую элегию». (166) Она прочла сначала «трещотку прокаженного», (167) потом «Кто чего боится». (168) Читая «трещотку», очень искусно взяла в кавычки слово «смелых»: «я научу шарахаться ва-ас, «сме-елых» от меня». Только в заключение и после долгой паузы прочитала элегию.

Я думала, слушая: если память умерла, то отсюда уже недалеко до физической смерти.

---

(166) «Есть три эпохи у воспоминаний» — № 58.
(167) «Не лирою влюбленного» — «Памяти А. А.», стр. 24; № 62.
(168) БВ, Седьмая книга.

27 июля 56

Вчера вечером опять была у Анны Андреевны.

Тороплюсь записать ее дорогие слова.

Но сначала про другое.

Я прочитала ей «Балладу о рыбаке». Волновалась так, будто читала свое.

— Хорошие стихи, — сказала Анна Андреевна. — Настоящая большая лирика. Имеет шансы сделаться народной песней, как «Меж высоких хлебов затерялося»... [91])

Я сказала, что постепенно прихожу к такому убеждению: лирическая поэзия расположена где-то неподалеку от этики.

— Да, конечно, — медленно произнесла Анна Андреевна. — Во всяком случае в некоторые эпохи.

— И ведь стих здесь самый что ни на есть наивный, прямой, — сказала я о балладе. — А все равно — стих.

— Да, конечно, — опять согласилась Анна Андреевна. — Это тоже «Старик и море», только сильнее, важнее. Мальчик написал правду — и правда сию же минуту расплатилась с ним чистым золотом поэзии. — Анна Андреевна помолчала. Подумала. — Но не всегда так бывает. Те хорошие люди — ну, в девяностых годах — они ведь писали тоже от благородных чувств, но их чувства не слагались в поэзию, потому что стих тогда был совершенно уничтожен, убит. «Великие учителя» отучили создавать поэзию и воспринимать ее. А сейчас у этого мальчика за спиной — снова высокая культура стиха.

Я высказала Анне Андреевне одну свою любимую мысль. Поколения, идущие следом за моим, утратили русскую классику. Литературные мальчики и девочки моего возраста знали и любили смолоду Батюшкова, Пушкина, Баратынского, Лермонтова, Тютчева, Некрасова, Полонского, Фета. Это потому, что в юности или даже в детстве они пережили каждую строку Блока, Ахматовой, Мандельштама. Я помню, как, двенадцатилетними девочками, мы с Женей Лунц прятались в школьном шкафу (где стояли географические карты и другие пособия) и читали друг другу по очереди наизусть «Незнакомку», «Соловьиный сад» и «У самого моря». Современные стихи, пронзившие нас, словно личные письма, нам адресованные, оказались надежным путем к постижению Бара-

тынского и Тютчева. Теперешняя молодежь не может пробиться к классикам, потому что туда один путь — через современную поэзию — а ее нет. А та, что есть — запечатана.

Тут Анна Андреевна и пожаловала мне орден «Славы» первой степени.

— Так думали все умные люди нашего поколения, — со скромной гордостью сказала она.

Сурков не звонит. Это превращается в наваждение, в кошмар. Между тем известно, что в плане «Советского Писателя» книга Ахматовой держится прочно. Быть может, ее собираются выпустить без участия автора? И это возможно. Все возможно. Анна Андреевна думает, что надежда была ложная и снова всему конец. «И хорошо, и отлично», — говорит она.

Я спросила, не стоит ли позвонить Суркову самой? Ну, не ей самой, но, скажем, я могу позвонить от ее имени.

— За 68 лет своей жизни, — сказала Анна Андреевна, — я заметила, что самой звонить бесполезно. Пока у них не сварится, они все равно ничего не скажут.

1 августа 56

На днях вечером у меня была Анна Андреевна.

Сурков не звонил. Она подчеркивает, что ей это решительно все равно. Между тем, книга ее твердо стоит в плане, а имя, без эпитета блудница, упоминается чуть ли не в каждом номере «Литературной газеты».

За чем же дело стало?

3 августа 56

С утра звонок: Анна Андреевна просит отвезти ее в Переделкино.

Трудная это, признаться, была для меня поездка. Я не выспалась, и как со мною при малейшем недосыпе бывает всегда: болят ноги, звуков не выношу, людей — еще менее. Словно у меня где-то внутри содрана кожа, и каждый звук задевает рану.

Машины у Корнея Ивановича сегодня нет. Я заехала за Анной Андреевной в такси и предупредила ее: возвращаться

будем поездом, а до вокзала полтора километра, и часть пути в гору. По силам ли ей это?

Она сказала, что это ее ничуть не пугает. Цель поездки: добыть для Эммы Григорьевны рекомендацию в Литфонд. Сначала мы заехали к Корнею Ивановичу. Он удивился: «Как? всего только в Литфонд? А я думал — в Академию Наук». От него к Федину в сопровождении Веры Александровны, которую Анна Андреевна по старой дружбе именует Вивой. [92]) Калитка оказалась заперта: мы позвонили; нам довольно быстро открыла домработница или сторожиха, хмурая, без улыбки. Анна Андреевна отправилась одна, а мы с Верой Александровной обещали зайти за ней минут через 40. В условленное время мы снова подошли к той же калитке. Звоним — никого. Стучим — никакого толка. Кричим — нет ответа. Трясем калитку, колотимся в забор — не поддается. Осатанев от собственных криков и стуков, я начала бросать камешки через забор. Все напрасно, сторожиха, по-видимому, отлучилась, и в доме, за таким высоким забором ничего не слышно. Нас выручила Наталья Константиновна Тренева: она милосердно проводила нас через свой участок, смежный с Фединским, к какой-то тайной калитке. [93]) Мы вошли в сад. Двери дома отворены. По нарядной, уставленной цветами лестнице, я поднялась наверх, в кабинет Константина Александровича. Деловой разговор, по-видимому, был уже окончен; хозяин и гостья на прощанье обменивались любезностями.

— Как легко и приятно быть у вас просительницей, — говорила Ахматова.

— Помилуйте, Анна Андреевна, вы рождены повелевать, а не просить, — галантно отвечал Федин.

Это было немного смешно: будто они танцуют менуэт и делают друг другу реверансы.

Ужинать я повела Анну Андреевну к нам. Шла она веселая, довольная: Федин не только обещал все устроить для Эммы, но к тому же подтвердил, что вопрос о книге решен положительно. Пришли мы к Корнею Ивановичу — у него Бонди. Читает и комментирует письмо Осиповой к Александру Ивановичу Тургеневу. Все слушали, любезно и с интересом, а у меня от напряжения проступал на лбу пот.

Поужинали. Корней Иванович написал для Эммы Григорьевны то, что надо. Пошли на вокзал. Сергей Михайлович оживленно рассказывал Анне Андреевне что-то о «Золотом Петушке», но я не понимала ни слова и только мучалась: нервный, громкий голос. Мне даже идти было легче, чем слушать и понимать. Не успели мы сделать по шоссе и 20 шагов, как Анна Андреевна с упреком стала спрашивать у меня, скоро ли вокзал? В городе она храбрилась, а тут, видно, силы ее иссякли. Раздраженно, требовательно спрашивала: «скоро ли?» и «почему мы так долго не приходим?» и «где же вокзал?» Я ответила резко: «до вокзала еще километр и притом в гору»... Теперь мне стыдно вспомнить, как я огрызнулась: ей-то ведь идти наверное было труднее, чем мне.

Сергей Михайлович мягко и заботливо ее утешал. К счастью, повстречалось такси; Бонди усадил нас в машину, и мы доехали благополучно.

5 августа 56

Жизнь Анны Андреевны проникнута сейчас ожиданием. Сурков не звонит. Будет ли книга? Она уже не делает вида перед самой собой и другими, будто ей это всё равно. Сообщила мне с утра счастливым голосом: Сурков не звонил, но зато звонил Федин и сказал, что Сурков непременно позвонит в понедельник. По этому случаю она отложила свой отъезд к Шервинским в Старки и просит меня придти посоветоваться.

Вечером я пошла. Анна Андреевна напряженно ждет завтрашних вестей. Спросила, как я думаю, давать ли в книгу стихотворения «Борис Пастернак» (169) и «Клевета».

— Сталин, — объяснила она, — обиделся когда-то на «Клевету», не заметив дату: 1921. (170)

Я посоветовала включить и «Пастернаку» и «Клевету»: идей начальства все равно не угадаешь. То оно не замечает написанного (например, дату), то замечает нечто, чего и в помине нет (например, защиту сорняков в стихотворении «Ива»). (171)

---

(169) «Записки», т. 1, № 1.
(170) БВ, Anno Domini; № 63.
(171) «Записки», т. 1, № 10.

На днях Лёва звонил из Ленинграда Эмме Григорьевне с сообщением, что Анной Андреевной получены еще какие-то деньги за «Марьон Делорм». Она очень довольна.

Прочитала мне черновик своего перевода из Рабиндраната Тагора — «Счастье».

— Как вы думаете, продолжать или бросить? Очень скучные стихи.

— Бросить, — сказала я, памятуя о новых деньгах за Гюго.

...А вдруг бы — договор на книгу и большой тираж, большие деньги?! Большая книга с новыми и старыми стихами!

7 августа 56

Звонила Анна Андреевна: ее приглашают к Суркову завтра, к 6 часам, в Союз. А завтра в Союзе как раз закрытое партийное собрание. До или после? Интересно.

10 августа 56

Вчера звонила Анна Андреевна: состоялось, наконец, ее свидание с Сурковым. Он уходит в отпуск, просит ее составить маленькую книжку и прислать ему.

Маленькую? Глупо.

Но «не случайно», по любимому выражению наших критиков.

Третьего дня закрытое партсобрание в Союзе. Очередное письмо ЦК, а потом рассуждения о «критиканах». Кто же эти критиканы? Ну, например, Берггольц, которая выступила не так давно (172) на писательском собрании с критикой речи Жданова и постановления об Ахматовой и Зощенко. Зал бурно аплодировал, а затем Ольгу Федоровну стали прорабатывать всюду, на всех партийных собраниях в Ленинграде и в Москве. Постановление 46 года, оказывается, оставлено в силе.

---

(172) 15 июня 1956 г.

Но ведь Зощенко и Ахматову все же печатают. Вот и пойми!

Какое грязное пятно было бы смыто с наших душ, с нашей литературы, если бы ждановщина была отправлена туда, куда ей и дорога — туда же, куда ежовщина, бериевщина! [94])

16 августа 56

Приехала с дачи Шервинских Анна Андреевна. Она посвежела немного, помолодела, даже загорела. Дочь Шервинских пишет ее портрет. «Хорошо вам там было?» — спросила я.

— Разве мне может быть где-нибудь хорошо? — ответила Анна Андреевна с укором.

И я увидела, какие усталые у нее глаза.

Это было третьего дня. Разговор зашел о выступлении Ольги Берггольц.

— Относительно меня Оля всегда вела себя безупречно, — сказала Анна Андреевна. — И в 46, и вот теперь. (173) Но неизвестно, какую волну поднимет ее выступление.

(Я-то уже знаю, какую: здесь Ольгу Федоровну прорабатывал Сытин, а в Ленинграде, говорят, дело будет разбираться в Обкоме. Но я промолчала, видя, что Анна Андреевна и без того чем-то расстроена).

— Завтра, — сказала она, — десять лет. Следите за центральной прессой.

Но в газете вчера ничего не было — если не считать шпилек в подлейшем ответе Эренбургу, явно инспирированном редакцией. [95]) (А. М. А. называет эту статью так: «Кочетов вернулся из больницы».)

23 августа 56

Мрачный день с Анной Андреевной. Один из самых мрачных. Вчера.

---

(173) Об О. Ф. Берггольц см. примеч. к дате 9 января 1957 года.

С утра она вызвала меня к себе. Оказывается, она вернулась в город от Шервинских, потому что Сурков срочно требует книгу. Она ее составила и теперь просит меня «глянуть». Книжка маленькая. Оригинальных стихов немногим более, чем переводов. Конечно, книга Ахматовой — это книга Ахматовой, но в сущности путь поэта сведен к ранней любовной лирике и к стихам военной поры. Обокраден поэт и обокраден читатель. Новый читатель, такой жадный к поэзии... Но книгу я смотрела под конец, а сначала выслушала несколько горьких сообщений и гневных, язвительных монологов.

Самое горькое — о Лёве. Он в Ленинграде; вернувшись в Москву, Анна Андреевна говорила с ним по телефону. Его не взяли в Эрмитаж. Он, по его словам, оформился дворником в Этнографическом Музее. Может ли это быть? Ведь он кандидат наук, ученый... И после всего!

Анна Андреевна повторила четыре строки из стихотворения, которое я ей прочитала недавно. (174)

Затем я на секунду обрадовалась. У нее, оказывается, побывал на днях Борис Леонидович, который не был века. Но —

— Нет, нет, не радуйтесь, Лидия Корнеевна! Никакого продолжения дружбы! Его послал ко мне один человек по делу... Выглядит ослепительно: синий пиджак, белые брюки, густая седина, лицо тонкое, никаких отеков, и прекрасно сделанная челюсть... Написал 15 новых стихотворений. (175) Прочел ли? Конечно, нет. Прошло то время, когда он прибегал ко мне с каждым новым четверостишием... Он сообщил о своих новых стихотворениях так: «Я сказал в Гослите, что мне нужны параллельные деньги». Вы догадываетесь, конечно, в чем тут дело? Ольга требует столько же, сколько Зина. Ему предложили написать новые стихи, чтобы том не кончался стихами из «Живаго»... (176) Ну, он их и написал:

---

(174)

И снова вельможное барство
Его не пускает вперед.
И снова мое государство
Вины на себя не берет.

(175) По-видимому, А. А. имела в виду цикл «Когда разгуляется».

(176) Речь идет о сборнике Б. Пастернака «Стихотворения и поэмы», 1957, который в Гослите был доведен до сверки и затем рассыпан.

15 стихотворений. Я так разозлилась, что сказала стервозным бабским голосом, стервознейшим из стервозных: «Какое это счастье для русской культуры, Борис Леонидович, что вам понадобились параллельные деньги!»

Монолог великолепный, но я его слушала с болью. Я нуждаюсь в том, чтобы они друг друга любили: Ахматова и Пастернак. Мне без этого худо.

Анна Андреевна, между тем, обнаружила подкладку своей обиды.

— Я послала ему свою книжку с надписью: «Первому поэту России». Подарила экземпляр «Поэмы»... Он сказал мне: «У меня куда-то пропало... кто-то взял...» Вот и весь отзыв. Вы понимаете, конечно, к т о у него крадет?

Затем она попросила меня посмотреть рукопись. Крошечный отрывок из «Поэмы». «Cinque». Очень сомнительные: «Песня мира» и «Парк Победы». Да, да, великое событие: книга Ахматовой, первая, после 46 года. И «Предыстория» есть! Какое счастье. И какое горе, потому что книга эта — поклеп на поэта. Это Ахматова минус обе поэмы, минус «Данте», минус «Пастернак», минус... (177) Выросло целое поколение, которому Ахматова известна только в трактовке Жданова, теперь они узнают ее от нее самой. Догадаются ли о пропусках?

Я читала прилежно. Нашла много опечаток машинистки. Анна Андреевна, как всегда, дивилась этой моей способности. Меня огорчило новое начало стихотворения «Мой городок игрушечный сожгли, / И в прошлое мне больше нет лазейки»... (178) Оно звучало интимнее, чем теперешнее патетическое «О»! Но Анна Андреевна не согласилась со мной. Затем я сказала ей, что слово «отмечу» в смысле «отпраздную» приобрело для нашего уха вульгарно-газетный оттенок: «Завод имени Розы Люксембург о т м е т и л десятую годовщину своего»... и т. д., и потому мне неприятна строка: «Как

---

(177) «Реквием» и другие стихи тридцатых и иных годов.

(178) Это стихотворение, в том виде, в каком я его знала и помнила в то время, было опубликовано в 1946 году в № 1 журнала «Звезда». Окончательный вариант — БВ, Седьмая книга. Историю текста см. на стр. 226, 227, 345 и 371 этого тома; в томе 3 моих «Записок», а также в ББП на стр. 416.

мой лучший день я отмечу»... Она обещала подумать. (179) Потом я предложила убрать поставленное Сурковым название «Лирика»: имя Анна Ахматова есть уже само по себе одно из имен, один из ликов мировой лирики — собраны ли в книге поэмы ее, или стихи, или даже статьи... Зачеркнув название, она написала:

Стихи разных лет
1909 — 1956

Порадовалась, написав годы: трудовой стаж у нее, значит, 47 лет! («Может быть — пенсию увеличат?»).

Я сижу на стуле за маленьким столиком, сняв с него книги, она — на постели, позади меня. Увидев через плечо, что я читаю стихотворение «Годовщину веселую празднуй», говорит:

— «Последнюю» на самом деле. Последнюю, конечно, годовщину, а не веселую. Эти стихи совсем искалечены — целое четверостишие выброшено: «Меж гробницами внука и деда». (180)

Анне Андреевне быстро надоело, что я вожусь с рукописью, она все время со мной заговаривала — не о книге — и я читала на лету, на бегу. Успела подумать только, читая «Отрывок» из «Поэмы», что ни один отрывок из этой вещи, даже самый великолепный, не дает представления о ней: она ведь полифоническая, ничто о д н о ее не выражает.

Когда я кончила читать, Анна Андреевна поспешно убра-

---

(179) Впоследствии, в издании 61-го года, переменила: «Белым камнем тот день отмечу...» — БВ, Седьмая книга. Об этом стихотворении см. также стр. 278, 345 и 370.

(180) Из стихотворения «Годовщину последнюю празднуй» было изъято четверостишие:

Меж гробницами внука и деда
Заблудился взъерошенный сад.
Из тюремного вынырнув бреда,
Фонари погребально горят, —

а в первой строке оставлено «веселую» вместо «последнюю». Так оно было опубликовано в книге: Анна Ахматова. Стихотворения. М., Гослитиздат, 1958, стр. 43 (в дальнейшем мы будем кратко именовать ее — «Стихотворения», 1958). Правильный текст см. БВ, Тростник, и «Записки», т. 1, № 4.

ла рукопись со стола. Помолчала. Потом заговорила доверительно, чуть понизив голос.

— Один господин, — вы, конечно, догадываетесь, о ком речь, вы и двое-трое друзей знают, в чем дело — позвонил ко мне по телефону и был весьма удивлен, когда я отказалась с ним встретиться. Хотя, мне кажется, мог бы и сам догадаться, что после всего я не посмею снова рискнуть... Сообщил мне интересную новость: он женился только в прошлом году. Подумайте, какая учтивость относительно меня: только! Поздравление я нашла слишком пресной формулой для данного случая. Я сказала: «вот и хорошо!», на что он ответил ... ну, не стану вам пересказывать, что он ответил...

Она говорила, хотя и с насмешкой, но глубоким, медленным, исстрадавшимся голосом, и я поняла, что для этого рассказа о «небывшем свидании» она и вызвала меня сегодня, что снова ею совершен один из труднейших поступков. (181)

Мы заговорили о постановлении. Последовал новый гневный монолог: в одном доме Анна Андреевна познакомилась с молодым человеком, физиком, который сказал ей: «Когда вышло постановление, мы считали, что насчет Зощенко неверно, а насчет вас всё очень логично и убедительно».

---

(181) А. А. полагала, была убеждена: главная причина, вызвавшая катастрофу 1946 года, — это ее дружба с оксфордским профессором, историком литературы, специалистом по Толстому, Тургеневу, Герцену — сэром Исайей Берлиным (р. 1909), посетившим Советский Союз в 1945 г. Той же дружбе, которая, по ее мнению, разгневала Сталина, она приписывала и несчастье с Левой. Вот почему, когда ее друг осенью 1956 г. снова приехал в Россию, — она отказалась с ним встретиться:

Таинственной невстречи
Пустынны торжества...

Тому же лицу посвящены два ахматовские цикла: «Cinque», созданный Ахматовой в 40-х годах, и «Шиповник цветет» («Сожженная тетрадь»), написанный именно об этой «невстрече». Ему же адресованы и некоторые строфы «Поэмы» («Гость из будущего»); о нем же сказано в посвящении «Третьем и последнем»:

Он не станет мне милым мужем,
Но мы с ним такое заслужим,
Что смутится Двадцатый век...

и к нему обращены строки в «Эпилоге»:

За тебя я заплатила чистоганом...

Заслужила — Постановление, заплатила — Постановлением...

— Вы подумайте — о н и считали! И он говорит это м н е, старухе, через 10 лет! Зачем? Считали — так и молчи.

В самом деле, какая душевная грубость. И глупость к тому же. Лирика Ахматовой — любовная женская лирика, среди ее стихотворений нет ни одного эротического, ни одного! — а они, видите ли, вместе со Ждановым считали!

На прощание Анна Андреевна сказала мне:

— Я совсем не могу работать, не в силах. За лето перевела 30 строк, а должна была перевести 3 000. Зощенко уверен, что он накануне богатства, а я накануне самой черной нищеты.

26 августа 56

Сегодня вышел «Октябрь». Стихи Ахматовой — прошенные, взятые, принятые — там не появились. Зато в «Правде» появилась статья Рюрикова — «с одной стороны, с другой стороны» — и гнуснейший абзац о каких-то литераторах, критикующих партийные документы о литературе. [96])

Итак, решение 46 года, — этот памятник воинствующего невежества, — неприкасаем. Его, оказывается, будут отстаивать. Дети своими чистыми устами будут снова повторять эти грязные слова.

Разумные доводы Берггольц никого не вразумили.

Однако, однако, однако — книгу Ахматовой и однотомник Зощенко все же собираются издавать. Вот и пойми!

Приходил прощаться Эдик Бабаев. [97]) Читал свою прозу — мне кажется, она лучше стихов. Очень точно пересказывал некоторые слова Анны Андреевны. Маленький эпизод из Лёвиного детства.

«Пришли два эстета: Георгий Иванов и Георгий Адамович. Лёва слушал их, слушал и вдруг спросил: «Где вы живете, дураки?» — «Няня, возьмите ребенка на руки».

Потом о своей куцей сурковской книжке: «Выпускается только для того, чтобы все говорили: «Ахматова? Фи!»

Потом:

«Еголину мои стихи показались непристойными». [98])

3 сентября 56

Из сборника Ахматовой Сурков выкинул два стихотворения: «И упало каменное слово» (догадался?) и «Севморпуть». Нет, разумеется, о «Приговоре» не догадался, попросту — «мрачно». А почему «Севморпуть»? Надеюсь, потому, что стихотворение плохое. (182)

Я была у Анны Андреевны третьего дня. Она просила Суркова устроить так, чтобы книга издавалась не в «Советском Писателе», а в Гослите. Ему она сказала: «не могу спускаться с десятого этажа», а мне — «не хочу с Лесючевским». [99])

Последние известия: приходили к ней какие-то девицы из ВОКС'а, снимали ее и интервьюировали; к чему бы это?

На мой вопрос, что она сейчас читает, ответила:

— Второй том нового Блока, и сержусь.. [100]) В Блоке жили два человека; один — гениальный поэт, провидец, пророк Исайя; другой — сын и племянник Бекетовых и Любин муж. «Тете нравится»... «Маме не нравится»... «Люба сказала»... А Люба была круглая дура. Почему Пушкин никогда не сообщал никому, что с к а з а л а Наталия Николаевна? Блок был в Париже и смотрел на город и на искусство глазами Любы и тети... Какой позор! О Матиссе, гении, когда тот приезжал в Россию, записал у себя в дневнике: «французик из Бордо». [101])

Не понравилось ей стихотворение Пастернака в «Знамени».

---

(182) Стихотворение «Приговор» входит в «Реквием»: в нем запечатлен день приговора Лёве. («Записки», т. 1, № 3). Ни Сурков, ни другие читатели о существовании «Реквиема» тогда еще не подозревали; стихотворение печаталось без заглавия и воспринималось, как любовное: еще одна разлука, еще один разрыв... «Севморпуть» — стихотворение из цикла «Слава миру», восхваляющее Сталина. (Об этом вынужденном, вымученном цикле см. стр. 340-341). Сурков выкинул его, конечно, не за то, что оно плохое, а потому, что после XX Съезда восхвалять Сталина не полагалось.

— На июльском воздухе нынче далеко не уедешь, — сурово сказала она. (183)

Прочитала мне свои стихи, посвященные Цветаевой. Я уже слышала их.

— Это мой долг перед Марининой памятью: мне она посвятила несметное множество стихотворений. [102])

14 сентября 56

Была у меня Анна Андреевна, встревоженная вестями о Борисе Леонидовиче. Какая-то отрицательная — внутренняя — рецензия на его роман за подписью двадцати человек! Что же теперь будет? Роман собирались срочно печатать здесь, потому что он вот-вот должен выйти в Италии. Если он здесь будет осужден, а там выйдет — скандал вспыхнет грандиозный.

Потом она прочитала мне два новые свои стихотворения: «Ты выдумал меня. Такой на свете нет» и еще одно, со строкой о Марсе. (184) Дивные, особенно первое. Прочла и начала меня поддразнивать:

— Они уже были написаны, когда я вас видела, но я не решилась вам прочесть. И никто мне ничего про них не говорит. Сказали бы хоть вы два слова — ведь вы умеете говорить о стихах.

— Скажу ровно два: великие стихи.

— Не хуже моих молодых?

— Лучше.

По дороге домой я думала о том, о чём не решилась её спросить:

А мне в ту ночь приснился твой приезд...

---

(183) В журнале «Знамя» (№ 9, 1956) помещено стихотворение Бориса Пастернака «Лето», впоследствии переименованное в «Июль»:

Июль с грозой, июльский воздух
Снял комнаты у нас внаем.

(184) Оба из «Сожженной тетради» (БВ, Седьмая книга); второе:

Был вещим этот сон или невещим...
Марс воссиял среди небесных звезд.

— значит ли это, что заграничный господин снова приедет? и

> О август мой, как мог ты весть такую
> Мне в годовщину страшную отдать!

значит ли это, что стихи о приезде написаны в годовщину постановления? Ведь в августе не одна страшная годовщина. (185)

17 сентября 56

Вчера на часок забегала к Анне Андреевне. Она рассказала мне о ВОКС'е, о радио. Ее одолевают со всех сторон. С чего бы это? Начальство, видимо, желает продемонстрировать миру, что она жива, здорова и щебечет. Это беспокоит ее; но гораздо более — новомирская рецензия на роман Пастернака. Анна Андреевна, гений тревоги, мастер зловещих предчувствий, заразила своей тревогой и меня. Борис Леонидович на днях был у нее — она сама специально вызвала его к себе по телефону. Все дурные слухи полностью подтвердились. Рецензия действительно уничтожающая, под ней действительно стоят двадцать подписей и среди них Федина.

Так. [103])

Я спросила про Лёву.

— Да, он звонил, он уже не женится. Ах, я вам не говорила, что он должен был жениться?

— В первый раз слышу. А вы рады, что *не*?

— Мне все равно. Когда парню 44 года — можно уже его делами не заниматься. От Лёвы я хочу только одного: чтобы он не был на каторге. И более ничего.

Анна Андреевна ехала к Марии Сергеевне. По дороге завезла меня домой.

19 сентября 56

Сердце болит неистово. Вчера, когда мы сидели в ардов-

---

(185) Написано 14 августа, то есть именно в годовщину Постановления — см. ББП, стр. 240. Августовские страшные годовщины (из тех, что припоминаются мне): в 1921 году — арест Гумилева; смерть Блока; расстрел Гумилева.

ской столовой втроем: Анна Андреевна, Тышлер и я, мне пришлось потихоньку принять нитроглицерин.

Анна Андреевна рассказала, какая будет о ней передача. Потом из комнаты принесла свой портрет — тышлеровский, ташкентский, 43 года: хочет, чтобы этим портретом открывалась книга. Тышлер взглянул, припомнил, одобрил. (По-моему, тут Ахматова похожа на Анну Каренину: что-то роковое в лице, в спутанных волосах). Об обложке и заставках Анна Андреевна хочет просит Фаворского.

Сегодня, сейчас, я позвонила ей, чтобы спросить о радио-передаче. Еще не состоялась, но зато состоялся звонок Антокольского: мою любимую элегию, «Есть три эпохи у воспоминаний», редакция из альманаха хочет снять: по словам Антокольского, у них набралось «слишком много похоронного». «Дайте что-нибудь другое». «У меня ничего нет». «Тогда мы возьмем что-нибудь из напечатанного». «На это вы не имеете права». (186)

Много у них такого, как же! Не знаю, как у них, а в русской поэзии маловато. А они швыряются: в «Октябре» Храпченко снял: «Черную и прочную разлуку», «Вторую годовщину», «И время прочь, и пространство прочь», «Он прав — опять фонарь, аптека»... (187)

Какие богатые: могут и без этого обойтись. Впрочем, им что — таким, как Храпченко — они без всего могут (кроме большой зарплаты).

27 сентября 56

...Что еще? В воскресенье звонила мне Анна Андреевна, звала с собою в Переделкино, к Пастернаку. Но я не могла — времени нет, работы по горло — да и плохо я что-то стала переносить многолюдство. Потом, накануне отъезда Анны

---

(186) Ложная тревога: элегия Ахматовой в «Дне поэзии» 1956 г. все-таки была напечатана. № 58.

(187) БВ, Седьмая книга.

Андреевны в Ленинград, я встретилась с ней у Наташи Ильиной, и Анна Андреевна рассказала нам о блестящем светском собрании на даче: до обеда Рихтер, после обеда — Юдина, потом читал стихи хозяин.

— Не дурно, — сказала я.

— А я там очень устала, — ответила Анна Андреевна. — Мне там было неприятно, тяжко. Устала от непонятности его отношений с женою: «мамочка, мамочка». Если бы эти нежности с Зиной означали разрыв с той воровкой... так ведь нет же! и ничего не понять... Устала и от богатства. Устала от того, что никак было не догадаться: кто здесь сегодня стучит?

31 декабря 56

Вчера приехала внезапно Анна Андреевна. Позвонила мне. Вот и подарок нежданный к Новому Году. Звала куда-то вместе встречать, но я не пойду. Чувствует она себя хорошо, разговаривает бодрым голосом, но ведь Новый Год — день рубежа, день особенный, и, может быть, от того я с болью задумалась о будущем и о прошлом. Не всегда так будет: телефонный звонок, берешь трубку — и оттуда, из невидимого пространства, голос Ахматовой. Так обыденно: звонок, теплая трубка в руке, а возле уха — ее слова.

Голос, возвещающий нам, что мы еще не погибли.

От чего или от кого оторвет он меня в последний раз? И как я узнаю, что больше никогда?

Ни на чем последнем не бывает написано: внимание! слушай! помни! в последний раз!

1957

3 января 57

В комнате новые зеленые обои. Зато лестница совсем развалилась. Анна Андреевна дала ей прозванье: «Рим, 11 часов». (188) В самом деле, не знаешь, куда и ногу поставить.

Множество новелл. И стихов.

Она обедала в Переделкине у Бориса Леонидовича. Роман его все-таки будет печататься! Слава Богу. В Гослите. Подписан договор. Борис Леонидович объявил Анне Андреевне, что он счастлив, — да, да, вообще совершенно счастлив. Во всех отношениях. Опять было очень пышно, очень светски. И опять между ними черная кошка: Анна Андреевна обиделась на Бориса Леонидовича. Мельком, в придаточном предложении, он у нее осведомился: «У вас ведь есть, кажется, такая книга — «Вечер»?»

А если бы я у него спросила: у вас ведь есть, кажется, такая книга — «Поверх барьеров»? Он раззнакомился бы со мной, перестал кланяться на улице, уверяю вас... Пишет, что «Подорожник» лежал у него на столе накануне войны. А «Подорожник» вышел в 1921 ... Совсем провалился в себя. Не видит уже никого и ничего. [104])

Борис Леонидович просил ее принять Ольгу.

---

(188) Так назывался фильм, созданный знаменитым итальянским режиссером Джузеппе де-Сантисом; один из главных эпизодов — крушение лестницы под тяжестью женщин, стоявших на ступенях в очереди. Фильм вышел на экран в СССР в 1954 году.

— Научите, как быть? Это уже не впервые. Я молчу и притворяюсь оглохшей.

Долго и с отстоявшейся гневной горечью говорила про какую-то книгу, выпущенную Кембриджским Университетом — о ней, Мандельштаме и Гумилеве. Предполагает, что автор — Шацкий, а написано со слов женщины.

— Безумные похвалы моим стихам, и яд, яд обо мне. Придумано, будто я отсутствую в лирике Гумилева, будто он меня никогда не любил! Но вся его лирика до определенного года, до душевного разрыва, до «Пятистопных ямбов» («Ты, для кого искал я на Леванте») — вся полна мною. Дальше, правда, нету меня... Автор утверждает, что я была совершенно похожа на альтмановский портрет, но сама в этом никогда не признавалась. Такое может изобрести только баба. Альтмановский портрет на сходство и не претендует: явная стилизация, сравните с моими фотографиями того же времени... Я думаю, все это идет от Одоевцевой, которую Николай Степанович во что бы то ни стало хотел сделать поэтом, уговаривал не подражать мне, и она, бедняжка, писала про какое-то толченое стекло, не имея ни на грош поэтического дара.

А об Осипе! Шацкий его трактует как какого-то бульвардье, посетителя кафе — этого мученика! Пишет, что Мандельштам умер в 1945 году. Стыда нет у человека — перепутать такую дату! (189) И провирается: пишет, будто у Мандельштама были веки без ресниц... У Осипа были ресницы пушистые, в полщеки... [105])

(«И темные ресницы Антиноя», вспомнила я сразу. Все-таки — к кому же обращены эти строки? к Мандельштаму или к Князеву?..) [106])

Не успела я подумать о «Поэме», как Анна Андреевна подала мне лист бумаги и карандаш и продиктовала для моего экземпляра новую строфу — строфу о Шаляпине. И

(189) О. Мандельштам скончался в лагере 27 декабря 1938 г.

еще всякие мелкие замены. Кое-что объяснила. (190) А уж строка «И на гулких дугах мостов» — безусловно утрата. Я спросила: зачем это?

— «Мостов» рифмовалось с «крестов», — сказала Анна Андреевна, — «И на старом Волковом Поле / В чаще новых твоих крестов». Между тем на Волковом кладбище никаких крестов во время блокады не ставили. (191)

В Ленинграде у нее побывал Орлов и взял всю «Поэму». То есть что значит взял? Хочет взять для какого-то Ленинградского альманаха. [107])

И Алигер берет шесть стихотворений для № 3 «Литературной Москвы». Я спросила, какие?

— Лучше я вам седьмое прочитаю, — ответила Анна Андреевна и прочитала

---

(190) Шаляпинская строфа была продиктована так:

И опять тот голос знакомый,
Словно эхо горного грома, —
Ужас, смерть, прощенье, любовь...
Ни на что на земле непохожий
Он несется, как вестник Божий,
Настигая нас вновь и вновь.

Мелкие поправки, продиктованные 2 января 57 г., таковы: «Языком кривым и зеленым» — вместо «прямым» («Решка»); «Третий прожил лишь двадцать лет» — вместо «Третий умер в семнадцать лет» («Решка»); кроме того, к «Решке» поставлен эпиграф из Клюева: «...Жасминный куст, / Где Данте шел и воздух пуст».

(191)

Было:	**Стало:**
Разлучение наше мнимо:	Разлучение наше мнимо:
Я с тобою неразлучима,	Я с тобою неразлучима,
Тень моя на стенах твоих,	Тень моя на стенах твоих,
Отраженье мое в каналах,	Отраженье мое в каналах,
Звук шагов в Эрмитажных залах	Звук шагов в Эрмитажных залах
И на гулких сводах мостов	**Где со мною мой друг бродил,**
И на старом Волковом Поле,	И на старом Волковом Поле,
Где могу я плакать на воле	Где могу я рыдать на воле
В чаще новых твоих крестов.	**Над безмолвьем братских могил.**

(Подчеркнуто мною. Замена строк, хоть на мой взгляд и огорчительна, но мотивирована, а вот по какой причине, еще до замены целой строки, Ахматова «дуги мостов» заменила «сводами» /1943/ — я не понимаю).

Я стихам не матерью —
Мачехой была. (192)

Я спросила о стихах Заболоцкого в «Литературной Москве» и «Дне Поэзии». Анне Андреевне понравился «Чертополох» и очень не понравилось «Прощание с друзьями». [108])

— Оскорблено таинство смерти. Разве можно в такой тональности говорить о погибших. [109])

Потом:

— Я только теперь узнала, за что меня терпеть не может Заболоцкий. Ему, видите ли, не нравятся мои стихи! Ну и что же? Можно не любить стихи поэта и любить его самого. Вот Николай Иванович Харджиев, один из моих друзей ближайших, а он не любит моих стихов. Нет, это великая пошлость: не любить человека, если не нравятся его стихи. [110])

(Я утаила, что весьма часто бываю сама повинна в этой великой пошлости).

Когда я собралась уходить, Анна Андреевна просила посидеть еще и на прощание рассказала две ослепительные новеллы.

1) Ее навестила Вера, бывшая горничная Судейкиной. Старушка. Расспрашивала обо всех тогдашних гостях, кто уехал, кто где, кто жив — о мирискусстниках — и всех вспомнила, никого не забыла.

— Только меня почему-то приняла за жену Алексея Толстого: «Вы всегда с ним вместе приходили»... Я ее нарочно спросила о Князеве. Она гусара сразу вспомнила, говорит: «Я его по черному ходу впускала...» У меня теперь такое чувство, будто я сама с черного хода побывала в своей Поэме...

2) К ней пришел Кузьмин-Караваев, старик, сосед по Слепневу.

— Мы провели целый вечер втроем: он, я, Лёвушка, пили вино, перебирали с ним всех слепневских. Когда он

---

(192) Прочитала «Застольную» («Под узорной скатерью / Не видать стола...»), напечатанную посмертно — см. «Памяти А. А.», стр.21. № 64.

ушел, меня вдруг, часа через два, осенило: да ведь он из-за меня стрелялся!

Сидя на постели, большая, тучная, она закрыла лицо руками, и задорно, лукаво, сверкнули глаза между пальцев.

Опустила руки.

— Подумайте, целый вечер провели вместе, и я только через два часа вспомнила... Ему было тогда 17 лет, это был красивый молодой человек, студент, подававший надежды. [111])

Она вспоминала что-то далекое, свое, молодое — и хотя речь шла о попытке самоубийства — что-то счастливое... Вспоминала молодость. А я опять подумала о «Поэме»: вот и еще одно самоубийство, правда, окончившееся по-другому, чем то́.

Анна Андреевна показала мне целый ворох своих фотографий, переснимаемых кем-то для музея и среди них одну страшную, с вытаращенными глазами: это на пропуске в Фонтанный Дом, в квартиру.

Книжечка; внутри листок; написано:

Ахматова
Анна
Андреевна
жилец

— и тут же приклеена фотография. (193) Я вгляделась: не лицо Ахматовой, а скорее лицо ее страха. «Окаменелое страдание» — нет, тут окаменелый ужас. Ведь не только в том, Царскосельском доме, «было очень страшно жить», (194) но и в этом, Фонтанном, — я свидетель.

В передней, уже у самых дверей, Анна Андреевна, провожая меня, спросила:

— Что делать, если пишется свое, а приходится переводить чужое?

---

(193) Ныне эта фотография не раз опубликована — см. например: Анна Ахматова. Стихи. Переписка. Воспоминания. Иконография. Сост. Э. Проффер, Анн Арбор, Ардис, 1977.

(194) «В том доме было очень страшно жить» — первая строка одной из «Северных элегий», где речь идет о доме Гумилева и Ахматовой в Царском. (См. «Записки», т. 1, № 36).

Мне вспомнились слова Блока, цитируемые в чьих-то воспоминаниях (кажется, у Замятина):

«Отчего нам платят за то, чтобы мы не делали того, что должны делать?» [112])

9 января 57

На днях один вечер у Анны Андреевны. Я принесла ей прошлогодний августовский номер «Нового мира» со стихами Берггольц; [113]) некоторые мне понравились. Минуя дежурно-патриотические, я прочитала ей вслух три: «Взял неласковую, угрюмую», «Я тайно и горько ревную» и «Ответ».

Друзья твердят: — Все средства хороши,
Чтобы спасти от злобы и напасти
Хоть часть трагедии,
хоть часть души...
А кто сказал, что я делюсь на части?

(Иногда мне кажется, я это сама написала).

Во втором («Я тайно и горько ревную») для меня неотразима строка: «О, знал бы, откуда зовешь!»

Недаром во время беседы,
смолкая, глаза отвожу,
как будто по тайному следу
далеко одна ухожу.
Туда, где ни мрака, ни света —
сырая рассветная дрожь...
И ты окликаешь: — Ну, где ты? —
О, знал бы, откуда зовешь!

— Хорошие стихи, — сказала Анна Андреевна. — Особенно первое: «Взял неласковую, угрюмую». [114]). Оля — талантливая, умеет писать коротко. Умеет писать правду. Но увы! Великолепно умеет делиться на части и писать ложь. Я издавна ставила на двух лошадок: черненькая — в Москве,

беленькая — в Ленинграде. (195) Беленькая с юности разделена на части и потому сбивается, хотя талант большой ... [115]) А вот черненькая... Вы читали «Назначь мне свиданье на этом свете»? Один из шедевров русской любовной лирики XX века... [116])

Читала ли я? Читала и перечитывала. И сколько раз просила я Марию Сергеевну, встречая ее у Самуила Яковлевича, почитать мне стихи. (Самуил Яковлевич говорит о ней, как о замечательном поэте). Нет, она отказывается. [117])

А «Назначь мне свиданье» я не помню целиком наизусть, но у меня в памяти всегда живо, как оно, начиная с середины, движется вверх, всё вверх и вверх, измучивая читателя, и там, на самом верху, там, где в слезы обрывается стих — голос автора! — там и у читателя обрывается дыхание. Физически. Приходится делать физическое усилие, чтобы перевести дух и начать следующую строчку. Как будто после всхлипа. Во время работы Самуил Яковлевич часто показывал нам на разных классических образцах это единство ритма, дыхания и, как он утверждает, души. (Например, «Выхожу один я на дорогу»). [118])

Анна Андреевна попросила меня показать поточнее, что я в данном случае имею в виду. Достала «День поэзии» с подоконника.

Назначь мне свиданье у нас на земле,
В твоем потаенном сердечном тепле.
Друг другу навстречу по-прежнему выйдем,
Пока еще слышим,
Пока еще видим,

— тут бы могло дальше двигаться гладко, но нет, стих идет в высоту, дыхание изнемогает:

Пока еще дышим...

Голос исчерпан, но нет! На следующую строку нет духа, но поневоле берешь:

---

(195) А. А. имеет в виду двух поэтов: М. Петровых и О. Берггольц.

(Пока еще дышим,)
И я сквозь рыданья

Трудно дается это «И я»!..

Тебя заклинаю: назначь мне свиданье...

Секунду бы отдыха, но нет

(Тебя заклинаю: назначь мне свиданье!)
Назначь мне свиданье, хотя б на мгновенье...

После всего на этом втором «назначь» — просто давишься.

— Да, — сказала Анна Андреевна, — дыхание обрывается как раз после строки «пока еще дышим», то есть пока еще живем. Дыхание — жизнь. В этом месте голосу трудно не умереть. Человек задыхается, мечется голова, впору за кислородом посылать. Маруся не словами — дыханием написала о разлуке, жизни, смерти.

13 января 57

Сегодня утром, по настойчивому требованию Анны Андреевны, ездила к ней. Смотрела перед сдачей переводы из Змая. (196) Попридиравшись к некоторым строчкам, я ушла — когда на смену мне пришел придираться Николай Иванович.

18 января 57

На днях звонила Анна Андреевна.

— Я была в Гослитиздате и огорчена. Мне хамят в редакции. Я хочу, чтобы книга называлась «Стихотворения Анны Ахматовой», а они требуют «Анна Ахматова. Стихотворения». Мое заглавие, немного старинное, подходит к моим стихам, а это телеграф. Я сказала: пусть лучше тогда совсем не выпускают книгу... И портрет ужасный. Гравюра на дереве не удается, они дают какую-то фотографию немыслимую: чу-

---

(196) Для сборника «Стихотворений» сербского поэта Змая, выпущенного Гослитиздатом в 1958 г., Ахматова перевела 21 стихотворение.

жая старуха, совсем не я, ни одной черты. Тогда уж лучше выбрать что-нибудь из ташкентских. Или совсем без портрета. Ведь бывают же книги без портретов.

27 января 57

Бешеная речь Анны Андреевны против «Старой актрисы» Заболоцкого. [119]) Она вычитала в этом стихотворении нечто такое, чего, на мой взгляд, там и в помине нет.

— Над кем он смеется? Над старухой, у которой известь в мозгу? Над болезнью? Он убежден, что женщин нельзя подпускать к искусству — вот в чем идея! Да, да, там написано черным по белому, что женщин нельзя подпускать к искусству! Не спорьте! И какие натяжки: у девяностолетней старухи — десятилетняя племянница. Когда поэт высказывает ложную мысль — он неизбежно провирается в изображении быта.

Она не давала отвечать, она была в бешенстве. Другого слова я не подберу.

— Где там написано, что старухе 90 лет? А девочке 10? — успела я только спросить.

Ответом был гневный взгляд.

Придя домой, я перечитала «Старую актрису». Ни из чего не следует, что старухе 90. Очень может быть, ей 70, а девочке 13. И соль рассуждения заключена здесь вовсе не в женщинах, за которых так обиделась Анна Андреевна (женщин нельзя, мол, подпускать к искусству), а в том, что великий художник не всегда бывает образцом нравственности. Женщина ли, мужчина — а вопрос стоит старый, пушкинский: совместимы ли гений и злодейство, талант и скаредность?

Разве девочка может понять до конца,
Почему, поражая нам чувства,
Поднимает над миром такие сердца
Неразумная сила искусства! (197)

---

(197) А на поверку вышло, что «Старую актрису» А. А. поняла глубже, чем я, и что спорила я с ней напрасно. Летом 1969 г. Борис Абрамович Слуцкий, в Переделкине, за столом у Корнея Ивановича, коснувшись в разговоре мельком «Старой актрисы», произнес: «Николай Алексеевич полагал, что искусство — не бабье дело».

Меня, признаться, в стихах Заболоцкого беспокоит нечто другое. Он, конечно, поэт замечательный, настоящий. Самобытность его сказалась в «Столбцах» — правда, самобытность, не очень для меня привлекательная, но это не важно. [120]) Потом наступил другой период, и многие его стихи созданы в так называемой «классической традиции». И вот тут какой-то червячок меня гложет. «То флейта слышится, то будто фортепьяно». Поступь Державина, голос Баратынского, интонация Тютчева — и за всеми этими чужими голосами, где-то в самой глуби, нота Олейникова. Не самая ли родная ему? Читаю какое-нибудь великолепнейшее стихотворение и думаю: а может быть, это пародия? Настоящий ли это пафос или ложный? Вспоминаю, например, сразу мне запомнившиеся, его стихи Кирову, — «всерьез» они или «нарочно»?

Но видел я дальние дали,
И слышал с друзьями моими,
Как дети детей повторяли
Его незабвенное имя.
И мир исполински прекрасный
Сиял над могилой безгласной
. . . .
В холодных садах Ленинграда,
Забытая в траурном марше,
Огромных дубов колоннада
Стояла, как будто на страже. [121])

Эта важность огромных дубов, эта величавость стиха — она явилась откуда-то из не нашего века.

А такие, например, стихи?

Могучий день пришел... [122])

Или:

Суровой осени печален поздний вид...

или

Так вот она, гармония природы,
Так вот они, ночные голоса!
Так вот о чем шумят во мраке воды,
О чем, вздыхая, шепчутся леса! [123])

Кто это написал?

Ахматова тоже работает в классической традиции, но она видоизменяет, продолжает ее, а у Заболоцкого классический стих — это словно слепок с мертвой руки. А иногда, быть может, и пародия.

Когда я читаю подобные стихи Заболоцкого, мне порою вспоминается Олейников, в шутку и всерьез объясняющийся в любви. Идиоткой была бы та дама, которая приняла бы эти объяснения за настоящие, хотя и голос, и слова, и глаза оставались вполне серьезными. В самых своих великолепных стихах Заболоцкий умеет быть неискренним, а то и попросту лгать. Я вела трудную борьбу за напечатание поэмы «Творцы дорог», и выиграла ее, и горжусь этим, но ведь в поэме — ложь. [124])

Подлинная сила Заболоцкого, на мой взгляд, не в таких строках, важных и пышных, откуда-то из торжеств XVIII века, не в таких:

Угрюмый Север хмурился ревниво,
Но с каждым днем все жарче и быстрей
Навстречу льдам Берингова пролива
Неслась струя тропических морей.
Под непрерывный грохот аммонала,
Весенними лучами озарен,
Уже летел, раскинув опахала,
Огромный, как ракета, махаон. [125])

— не в таких, хотя я знаю им цену, и боролась за них... Подлинность Заболоцкого мне слышится как раз в «Старой актрисе», [126]) в «Некрасивой девочке», [127]) в маленьком «У моря», [128]) в любимейших моих «Журавлях» [129]) (подлинность, сердечность при той же классичности) и, конечно, в «Скворце», хотя тут захлебывающийся от счастья стих безусловно отдает Пастернаком.

И такой на полях кавардак,
И такая ручьев околёсица,
Что попробуй, покинув чердак,
Сломя голову в рощу не броситься!

Начинай серенаду, скворец!
Сквозь литавры и бубны истории
Ты — наш первый весенний певец
Из березовой консерватории.

Открывай представленье, свистун!
Запрокинься головкою розовой,
Разрывая сияние струн
В самом горле у рощи березовой. [130])

10 февраля 57

Век не писала.

Много было работы (35 листов корректуры Ивантер!), [131]) много суеты и бед (Женю исключили из ВГИК'а). И еще одно событие, вовремя не записанное: меня вызвали в ЗАГС и выдали справку о Митиной «смерти». [132]) Это, по-видимому, один из первых этапов реабилитации. И странное дело: хотя Митю убили 19 лет тому назад, эта жалкая, лживая, казенная бумажонка потрясла меня заново. Магия написанного слова, что ли? Поворачивающего пласты памяти? Видно и вправду:

Между помнить и вспомнить, други,
Расстояние, как от Луги
До страны атласных баут.

Помнила каждую секунду все девятнадцать лет. И вдруг: *вспомнила.* Стою во дворе ЗАГС'а, читаю бумажонку — и это уже не ЗАГС'овский двор, а очередь перед окошечком тюрьмы на Шпалерной. Не память, а явь. Не девятнадцать лет, а сейчас. Человек за окошечком, с одутловатым белым лицом ночного палача, отвечает мне «выслан!» (вместо «расстрелян», согласно инструкции, чтобы бабьего визга поменьше).

Раньше я «помнила», а ЗАГС заставил меня «вспомнить».

Была я у Анны Андреевны. Там нехорошо. Нина Антоновна в командировке, прежняя домработница ушла, целую неделю не было никого, теперь приходит какая-то, но еще не понять, годится ли. Анна Андреевна, к моей великой радости, продолжает записывать свои старые стихи. Прочитала одно,

недавно ею найденное, двадцатых годов: «Судьба российского поэта».

Мне не очень понравилось, а может быть, я не совсем поняла. (198)

Книжка ее выходит, портрет будет работы Фаворского.

Когда я помянула ЗАГС и полученную справку, Анна Андреевна попросила меня рассказать все во всех подробностях. Знакомая мне, сосредоточенная и пытливая скорбь легла на ее лицо. Скорбное выражение — это у нее вглядывание, вслушиванье, и — жалость. Слушает — скорбит — видит — жалеет. «Бровям печали не поднять». [133])

— Я помню, как вы тогда пришли, — сказала она. — А мы пили чай. Двадцать лет назад.

Я рассказала ей то, что даже в дневнике, самой себе, мне было сразу рассказать больно. (Теперь легче.)

... В почтовом ящике маленькая голубая повестка. Штамп — ЗАГС. «Просят явиться для получения документа». Меня это поразило. Какого документа? Я никогда и ни по какому поводу не была в ЗАГС'е. И тут я не сразу догадалась, что ЗАГС собирается выдать мне справку о Митином конце и что этот обряд входит в ритуал реабилитации. Ведь она посмертная; стало быть, сначала надо засвидетельствовать смерть. Все правильно.

Двор неподалеку от нашего. Первый этаж. Сразу, чуть переступаешь порог, охватывает тепло и «уют»: словно не в учреждение пришел, а к кому-то домой, на квартиру. Ну, скажем, к самому управдому. Круглый стол, покрытый бархатной скатертью с кисточками. Вокруг стола в изобилии новые и вполне благопристойные стулья. (Это, наверное, для родственников жениха и невесты). И чуть поодаль от стола, во весь рост, от пола до потолка, портрет Сталина. «Шаровары и кушак царя». Нет, тут по-другому, не из Пастернака, а

---

(198) Речь идет о стихотворении «Так просто можно жизнь покинуть эту», посвященном самоубийству Сергея Есенина. Впоследствии в 1968 году оно было напечатано в № 3 воронежского журнала «Подъем»; № 65. В тексте допущена опечатка, искажающая смысл второго четверостишия: следует «Всего верней свинец — душе крылатой», а не «души». Та же опечатка воспроизведена в томе 2 «Сочинений», на стр. 613.

из Мандельштама: «Тараканьи смеются усища / И сияют его голенища».

(Анна Андреевна чуть-чуть поежилась под шалью).

В другом конце комнаты, у окна, канцелярский письменный стол. Девушка в джемпере. У нее за спиной — картина с грубо-намалеванными цветами, а над картиной — черная радио-тарелка, которая, не умолкая, говорит.

— Механизированное приветствие новобрачным? — с любопытством спросила Анна Андреевна.

— Нет, просто радио в этой комнате не выключается никогда и произносит всё, что положено по общей программе. Его никто не слышит, как, вероятно, американцы, жующие резину, не чувствуют ее вкуса. Но мне-то в голову стучало каждое слово: это была беседа о производстве стекла. Дуют, продувают, прокаливают, опускают в воду, щипцами вынимают из воды.

Вот под это описание производственных процессов мне и выдали документ о Митиной гибели.

Я предъявила девушке свою повестку, но она сначала занялась военным, который вошел сразу следом за мной. Он в Москве проездом ... хотел бы расписаться со своей невестой... Запечатлеть, так сказать, этот момент в столице нашей Родины.... И зашел предварительно справиться, допустимо ли, согласно закону, расписываться не по основному своему месту жительства.

Радио ответило ему что-то насчет какой-то стеклянной изогнутой трубки, а девушка разъяснила, что в советской стране гражданам предоставлено право регистрировать свой брак в любом месте, по собственному усмотрению.

Потом она обернулась ко мне. Взяла у меня повестку и вынула из ящика толстую канцелярскую книгу и бланк с черной каймой: «Свидетельство о смерти».

Начала что-то выписывать из книги на бланк круглым крупным почерком.

Пока она писала, я слушала про стекло и одновременно ее разговор с татарином-дворником. По-видимому, он пришел заявить о скоропостижной смерти какой-то их общей знакомой, жилицы этого дома.

— Такие полненькие, такие из себя солидненькие, самостоятельные, — говорила девушка, выводя аккуратные буквы, — и вдруг... Я их днями на нашем дворе видела.

Потом мне, тыча пером в какую-то графу в раскрытой книге:

— Распишитесь в получении, гражданка.

Справку я решилась прочитать только во дворе, выйдя на мороз и оставшись одна.

Дата смерти: 18 февраля 38 г.

Причина: прочеркнуто

Место: прочеркнуто

(Следствие кончилось как раз в феврале, я это помню).

Помолчали.

— Портрет там очень у места, — сказала Анна Андреевна. — Где же и выдавать свидетельства об убиенных, как не перед лицом убийцы?.. Говорят, списки расстрелянных он держал у себя в кабинете, в каком-то особом сундучке... Но Боже мой! Как это можно! Рассказав народу то, что было рассказано, оставлять в официальных местах его портреты! Не постигаю.

13 февраля 57

Была на днях у Анны Андреевны. Недолго, в самом конце вечера. Она показала мне письмо Зильберштейна. Илья Самойлович обращается к ней с просьбой: написать для «Литературного Наследства» воспоминания о Маяковском. Она бы, думается мне, и не прочь, но увы! Ильей Самойловичем совершена грубая тактическая ошибка. Он приложил к своему письму отрывок из воспоминаний Л. Ю. Брик; та сообщает, что Маяковский всегда любил стихи Ахматовой и часто цитировал их. На этом бы и кончить, но, к сожалению, далее у Брик рассказывается, как он нарочно, для смеха, перевирал их. [134]) Вряд ли поэт способен безмятежно слышать свои стихи искалеченными. Мне кажется, у Анны Андреевны эти перевирания вызвали физическую боль.

Во всяком случае, писать она не станет.

Вчера ненадолго к Анне Андреевне. Она осунувшаяся, желтая, выглядит очень дурно. Жалуется на отеки и слабость: «уж и не надеялась, что приеду». Усадив меня, сразу начала рассказывать. «Мы так давно не видались».

Лёва получил комнату на Средней Рогатке, 6 этаж, без лифта. Она там еще не была. Скоро можно будет произвести обмен. (На мои расспросы о Лёве, о его житье-бытье, она отвечала как-то односложно и бегло — по-видимому, они не срастаются). Показала новый членский билет Союза Писателей — опять фотография с вытаращенными глазами. Год вступления: 1940...

— Воротилась я из Союза, села спокойно обедать. Телефонный звонок. Беру трубку. «Товарищ Ахматова? С вами говорит военный прокурор». Кончился мой обед! «Можете ли вы к нам придти?» — «А какой этаж?» — «Пятый без лифта». — «Это мне трудно». — «Идите потихоньку».

К назначенному часу я пошла. На каждой ступеньке думала: о чем будут спрашивать? Оказалось: дело Лившица. Я закрывала дело Лившица. Мне предъявили 79 фамилий. Из них я знала 35. Я сразу предупредила, что ни об одном из перечисленных ничего, кроме хорошего, сказать не могу. 135) О Федине и Тихонове говорить вообще отказалась: «это было бы бестактностью с моей стороны, они — избранники народа».

Затем Анна Андреевна обрушилась на статью Огнева в «Октябре». 136) И есть за что! Бедный глухой Огнев. Он умудрился в одном абзаце обругать Пастернака («Свеча горела на столе»), Ахматову («Есть три эпохи у воспоминаний») и М. Петровых («Назначь мне свиданье на этом свете»). Букет шедевров. С таким слухом, как у Огнева, только и заниматься литературной критикой!

Более всего оскорбило Анну Андреевну слово «слабодушие», сказанное о ней. Ахматова и слабодушие — в самом деле, как это метко! При таком уровне понимания только и рассуждать о поэтах и поэзии. (199)

---

(199) Об элегии Ахматовой Огнев, в частности, писал: «сколько здесь слабодушного, холодного, опустошительного неверия в жизнь». Силы, смелости, горечи и трагического величия Огнев не расслышал. Трагизм вообще ненавистен советской критике, в том случае, если трагическим сознанием наделен современный поэт.

Анна Андреевна порылась в сумочке и дала мне прочесть чьи-то безграмотные стихи, анонимные, полученные издательством и любезно пересланные ей: в этих самодельных стишках обругана ее элегия.

— Их, собственно, следовало бы послать не мне, а Огневу, с надписью: «Сейте разумное, доброе, вечное». Ведь это уже прямой результат его статьи, не правда ли? Но все это пустяки. Норма. Не думайте, пожалуйста, что я огорчена. Напротив, у меня большое торжество.

Она снова порылась в сумочке и горделивым движением протянула мне конверт. На конверте — штамп Союза Писателей. Внутри — выписка из протокола; Ахматова утверждена одним из членов Комиссии по литературному наследию О. Э. Мандельштама.

— Большая честь, — сказала она. — Большая честь для меня.

Помолчали. Заговорили о Пастернаке.

Анна Андреевна очень встревожена болезнью Бориса Леонидовича. Звонила на днях Зинаиде Николаевне и подробно ее расспрашивала.

— Лежит в Кремлевской больнице, в отдельной палате. Лежит на доске. Плачет от боли.

Я спросила, пишет ли она?

— Я переделала конец. Мне Маршак сказал, что последние строки не удались. Я и сама это знала и сделала теперь по-другому. Макбет — пресно.

И прочла — по-другому. (200)

Самым интересным для меня оказалось, пожалуй, вчера ее замечание о словах.

— Дело в том, — сказала она, возвращаясь к статье Огнева, — что наши читатели и критики сейчас по-особому относятся к словам. Из светского лексикона некоторые слова на наших глазах переходят в церковно-славянский и тогда уже становятся запретными для светского. Я убеждена, например, что мои стихи

И время прочь, и пространство прочь

---

(200) Не понимаю, о каком стихотворении, о каком конце идет речь.

никто не хочет печатать из-за слова «время». Оно воспринимается не как философская категория, а как наше советское время — и потому о нем нельзя сказать «прочь». То же и со словом «эпоха». Тот, кто прислал мне эти анонимные стишки, знает «эпоху» только в одном смысле и потому возмутился строкой «Есть т р и эпохи у воспоминаний». Какие же могут быть три, когда существует только одна и притом наша?

13 апреля 57

Вчера у Анны Андреевны. Она прочитала мне новые стихи, страшноватые. «А за нею темнеет дорога, / По которой ползла я в крови». И последние строки я запомнила:

Так спаси же меня от гордыни!
В остальном я сама разберусь. (201)

Рассказала с большим огорчением об Ольге Берггольц. Та, оказывается, погибает: пьет. К ней приставлена сиделка, чтобы она не могла убегать из дому и пить где-то с шоферами, шатаясь по кабакам, но все равно, она и дома с утра до вечера хлещет коньяк — голая, без рубахи, в халате, накинутом на голое тело.

— Бедная Оля, — сказала Анна Андреевна. — Еще одна гибель еще одного поэта.

Завтра Анна Андреевна собирается в больницу к Борису Леонидовичу.

11 июня 57

Конспект этих двух месяцев.

Вечная история со мной: как раз тогда, когда случается многое, достойное записи — тогда-то я и не пишу. Времени нет на дневник. А главное — слабенький мой приемник сразу портится: он не выносит никакой множественности, никакого

---

(201) «Ты напрасно мне под ноги мечешь» — стихотворение из цикла «Шиповник цветет», ни в одном советском издании в цикл не включенное и напечатанное лишь посмертно заграницей в сборнике «Памяти А. А.», стр. 27. № 66.

изобилия. Ему подавай что-нибудь одно. Иначе, при многообразии впечатлений, я слышу в пол-уха, вижу в пол-глаза, чувствую в одну десятую чувств. А ведь от качества приема и передача зависит.

Живу я в спешке, в галиматье, в зарабатывании, в многолюдстве, и, таким образом, в пересечении многих линий: рабочих, бытовых, человеческих. Вот что уничтожает во мне звук, слово. И это бы еще полбеды. Мне бы подождать, а я нагличаю: не дожидаясь покоя, пишу. И наказана: не пиши в суете! Не снимай пенку, пока молоко не отстоялось! Зря только взболтаешь глубину. Вот, накатала 5 листов, потом без конца их правила, а статья непоправима. Такая дорогая тема — мученики, убитые, затоптанные в ленинградской редакции и вокруг. Но я оказалась ниже ее. Дорасту ли когда-нибудь?

Статью хвалят, но я-то знаю! В ней нету ритма, потому что нету его в моих теперешних днях. А ритма нет — верный признак, что основная мысль еще не родилась. Одно мне оправдание: основную мысль все равно высказать мне не дали бы. Но оправдание ли это? (202)

Суечусь, много суечусь — и для заработка, и так «участвую в общественной жизни».

Разгром «Литературной Москвы»;[137]) занятия в «Литературном Институте» с людьми, заведомо и нарочито бездарными, «чтенье, чтенье, чтенье и без конца и пауз» их рукописей, находящихся по ту сторону литературы (по-видимому, все участники семинара, или большинство их, — это местные карьеристы, которых на государственный счет посылают с «мест» усовершенствовать свои карьеристские способности в столицу); (203) Митина реабилитация и подготовка к суду — какой уж тут ритм![138]) Всё наползает одно на другое и все остается за бортом дневника, вытесняемое одно другим и по-

---

(202) Статья называется «О книгах забытых и незамеченных» — и посвящена, главным образом, книгам, которые были созданы людьми, замученными и погибшими в застенке. О судьбе этой статьи см. стр. 208. В конце концов в отрывках она была напечатана в «Вопросах литературы», 1958, № 2.

(203) Некоторое время, вместе со Степаном Павловичем Злобиным, я вела семинар на Высших Курсах при Литературном Институте им. Горького, и мне приходилось прочитывать пуды бездарнейших рукописей.

тому не дорастающее до слова. Впрочем, надо признать, кое-что и само по себе, вне зависимости от суеты и спешки, «слово плохо берет», как сказано у Герцена. Не только до слова, но и до сознания моего по сей день не доходит, почему я расплакалась в Прокуратуре, прочитав в кабинете у майора справку о посмертной реабилитации? Стыд, срам, позор. Прочитала стандартную фразу: «за отсутствием состава преступления» и разревелась. Как все. В приемной, выходя от майора, плакали все поголовно, все женщины до единой, словно каждой он сообщил какую-то оглушительно печальную новость. Быть может, это потому, что они, как и я, 20 лет жаждали увидеть могилу и услышать слово правды, а эта справка — точно плита на могиле, где начертано имя убитого и признание убийцы? И можно, наконец, упасть на эту траву — на эту плиту — и плакать? В кабинете, когда настала моя очередь, еще колебалась в графине вода. Майор предложил мне сесть, вручил справку, я тут же прочитала ее и тут же заплакала. Майор, мужественно преодолевая собственую скорбь, выразил мне свое соболезнование, налил из графина воды и протянул мне стакан. Я пила, продолжая плакать. Приговор отменен «за отсутствием состава преступления». Разве я и раньше не знала, что Митя не совершал никаких преступлений, что, напротив, останься он жив, он сделался бы одной из слав нашего отечества, что они застрелили человека могучих духовных сил, замечательного ума и таланта? И зареветь перед этим учтивым майором, винтиком палаческого механизма («Жандармы — цвет учтивости», писал когда-то Герцен), выражающим свое соболезнование женам посмертно-реабилитированных еженедельно каждый вторник и каждый четверг, с 12 до 4-х! Позор. И я еще смела недавно осуждать женщин, которые плакали в Союзе Писателей, слушая письмо Хрущева! Все-таки хоть не перед прокурором.

Только встречи с Анной Андреевной у меня хватило ума и сил описывать сразу, но и эти записи сделаны мною не на достаточной высоте или, точнее, глубине. Я писала наспех в маленьком блокнотике, лежа в кровати перед сном или даже

сидя в коридоре Литературного Института, на подоконнике, в ожидании Злобина. А теперь переписываю сюда.

За все пропущенное, то есть недневниковое, время я видела Анну Андреевну дважды и потом провожала ее на вокзал.

11 мая она позвонила мне, что хочет придти, — иными словами, чтобы я ее к себе привезла. Я привезла. У меня для нее был приготовлен сюрприз: я положила на стол большую пачку листков из гумилевского архива. Эту пачку давным-давно, еще в Ленинграде, до войны, она дала мне на сохранение. Я не поглядела тогда, что это; она сказала: «кусок из «Трудов и Дней». У себя держать этот пакет я в те времена и думать не смела, это было как раз накануне моего второго бегства из Ленинграда. (204) Я передала пакет друзьям. И, о чудо! он пережил ежовщину, войну, голод, блокаду и недавно вернулся ко мне в полной сохранности. И вот он лежит перед Анной Андреевной на моем круглом столе, и она перелистывает страницы прямым маленьким мизинцем. За два десятилетия она ни разу у меня об этих листках не спрашивала (наверное, позабыла, кому отдала его в очередном приступе страха) и теперь, к моему удивлению, разглядывала бумаги безо всякого удивления, как будто они не на голову ей свалились.

Поведала мне дурную новость: слухи о том, что однотомник Цветаевой, намеченный к изданию, отменен.

— Вот и не надо было печатать Маринины стихи в неосторожном альманахе с неосторожным предисловием, — ворчливо сказала она. — Знаю, помню, вы защищали стихи и предисловие! Поступок доблестный и вполне бесполезный. Мнение ваше или мое или Эренбурга — кому оно интересно? А не выскочи «Литературная Москва» преждевременно с двумя-тремя стихотворениями Марины — читатель получил бы целый том. [139])

Я с упреком Анны Андреевны не согласилась. Нет сейчас ни у одного самого проницательного человека никакого спосо-

(204) 10 мая 1941 г.; см. примечание [167]).

ба понять — что́ преждевременно, а что́ в самый раз. Не выскочи «Литературная Москва» со стихами Цветаевой — где гарантия, что мы получили бы целый том? А благодаря «Литературной Москве» голос Марины Ивановны, столько десятилетий беззвучный в России, все-таки прозвучал.

Анна Андреевна долго рылась в сумке; наконец, нашла и протянула мне какие-то листки.

— Читайте!

Читаю. Определение сущности поэзии Ахматовой — новое, неожиданное, написанное точно — как-то восхитительно, благоуханно; так написано, что мне захотелось сразу запомнить его наизусть и никогда не расставаться с ним... да где мне! С моей бедной, засоренной головой! Я не запомнила ни слова — одно лишь благоухание.

— Угадали? — спросила Анна Андреевна.

— Проза поэта? — спросила я в ответ.

Да. Это Осип. Надя нашла, перебирая бумаги.

В прочитанном мною листке о поэзии Ахматовой говорится необычайно высоко. (205)

— В печати, в 1923 г., Осип дважды меня обругал, — сказала Анна Андреевна. — «Столпник паркета», и еще как-

---

(205) Куска этого я не в состоянии вспомнить, сколько ни напрягаю память. Не отрывок ли это из статьи Мандельштама «О современной поэзии», опубликованный Н. Харджиевым? (См. «Восстановленный Мандельштам», Russian Literature, (The Hague), 1974, 7/8, стр. 19-22.)

«Сочетание тончайшего психологизма (школа Анненского) с песенным ладом поражает в стихах Ахматовой наш слух, привыкший с понятием песни связывать некоторую душевную элементарность, если не бедность. Психологический узор в ахматовской песне так же естественен, как прожилки кленового листа:

А в Библии красный кленовый лист
Заложен на Песни Песней...

Однако стихи альманаха мало характерны для «новой» Ахматовой. В них еще много острот и эпиграмм, между тем для Ахматовой настала иная пора.

В последних стихах Ахматовой произошел перелом к гиератической важности, религиозной простоте и торжественности; я бы сказал: после женщины пришел черед ж е н ы. Помните: «смиренная, одетая убого, но видом величавая жена». Голос отречения крепнет все более и более в стихах Ахматовой, и в настоящее время ее поэзия близится к тому, чтобы стать одним из символов величия России».

то. (206) Подумайте: если бы эти листочки не нашлись, было бы известно об отношении Мандельштама к поэзии Ахматовой только то́, напечатанное. Оно и вошло бы в учебники, только оно. Этот случай навел меня на грустные размышления об истории литературы вообще: какова же степень нашей осведомленности об отношении друг к другу литераторов XIX века? Выходит, всё зависит от случая. Не найди Надя случайно эти листочки — и не только другие — я сама не узнала бы никогда, как относился к моей поэзии Осип.

У него четыре стихотворения, мне посвященные: «Федра», «Это ласточка и дочка» — непонятное, правда? а это мы просто топили печь... «Твое чудесное произношенье» и «Твоих, Кассандра, губ» (там еще четыре строфы, смотри газету «Воля народа»). И четыре эпиграммы:

Черты лица искажены
Какой-то старческой улыбкой,
Ужели и гитане гибкой
Все муки Данта суждены?

— это я на вокзале говорила по телефону, а он смотрел. Еще:

Привыкают к пчеловоду пчелы,
Такова пчелиная порода.
Только я Ахматовой уколы
Двадцать три уже считаю года.

И еще:

Вы хотите быть игрушечной,
Но испорчен ваш завод,
К вам никто на выстрел пушечный
Без стихов не подойдет.

Анна Андреевна прочла еще одну, четвертую эпиграмму, но я ее забыла. [140])

Затем я как-то — не помню даты — была у нее вечером;

---

(206) «Столпник паркета» см. «Записки», т. 1, стр. 91.

мы долго сидели, вместе с Эммой Григорьевной и хозяевами, поджидая Анну Андреевну, за круглым столом в столовой. Она была занята; потом вышла к нам и сказала, что навестила (в тот день? или в другой? не помню) Бориса Леонидовича в больнице, ему лучше, только сильно болит колено; он подарил ей 7 (или 8?) стихотворений.

— Четыре великолепные, а остальные — полный смрад.

Прочитала вслух два, потом дала читать мне. Четыре стихотворения, действительно, великолепны: «В больнице», «Ненастье», «Летчик», «Когда разгуляется».

Про «Летчика» Анна Андреевна сказала:

— Чуть-чуть растянуто.

Про «Больницу»:

— Это стихотворение мне особенно дорого потому, что, когда я навещала Бориса в первый раз, он мне все это рассказал прозой, а вот теперь стихи. [141])

Я ушла, потрясенная «Больницей». Это один из шедевров Пастернака — хотя «Летчик» тоже очень хорош. Но «Больница»! В первой половине всё движется, покоряясь магии первых строк каждого четверостишия:

Стояли, как перед витриной...
И скорая помощь, минуя...
Милиция, улица, лица...

а под конец — это рождение Бога из опросного листка, из анкеты, из больничного быта, из шума дождя — это чувство присутствия Бога и смерти... Нет, как ни велик Мандельштам, а такого чудотворства я у него не припомню (разве что

Как сутулого учит могила
И воздушная яма влечет). [142])

Мандельштам творил из благородного металла, из гранита, из мрамора; Пастернак, подобно Ахматовой, созидает чудеса из сора. (207) Это мне ближе.

---

(207) Теперь я понимаю, что приведенное здесь мое суждение о Мандельштаме неверно и может относиться не ко всем его стихам, а разве только к ранним — «Камню» и «Tristia». Примеч. 1970 г.

Покачивалась фельдшерица
Со склянкою нашатыря...
...Шел дождь, и в приемном покое
Уныло шумел водосток.

14 сентября 57

Приехала Анна Андреевна, позвонила, я у нее была. Целая россыпь стихов, прозы, критики. Даже одна эпиграмма.

Посвежевшая, загорелая — лето на воздухе пошло ей впрок.

Сначала Анна Андреевна прочитала мне несколько стихотворений, явно обращенных к тому, приезжавшему. (208)

Потом еще одно, которое я запомнила сразу, от первой строки до последней:

Забвение? Чем удивили!
Меня забывали сто раз.
Сто раз я лежала в могиле,
Где, может быть, я и сейчас.

А Муза и глохла и слепла,
В земле истлевала зерном,
Чтоб снова как Феникс из пепла
В эфире восстать голубом.

И, наконец, эпиграмму:

Могла ли Биче словно Дант творить,
Или Лаура жар любви восславить?
Я научила женщин говорить...
Но, Боже, как их замолчать заставить!

(В самом деле, как?) (209)

---

(208) «Из сожженной тетради» («Шиповник цветет»). Но какие именно стихи были прочитаны в этот день, не отмечено мной.

(209) Эпиграмма приведена мною верно — см. БВ, Седьмая книга. Что же касается стихотворения, то на основе автографа, хранящегося у М. С. Петровых, оно напечатано иначе (первая строка: «Забудут? — вот чем удивили!», а седьмая «Чтоб после, как Феникс из пепла» — см. ББП, стр. 298). Первая строка в автографе безусловно сильней, чем у меня в памяти. Не знаю: изменила ли мне при записи память или существовал промежуточный вариант.

Прочитала она мне и главу из воспоминаний о Мандельштаме. (210)

— Времени у меня осталось так мало, — сказала она, — что теперь мне следует писать только то, чего кроме меня никто не напишет.

Затем полились блистательные устные речи.

С возмущением и брезгливостью говорила Анна Андреевна о статьях Серебровской и Коваленкова.

— В этой симметрии что-то кроется. [143])

Потом она сказала:

— На днях вбегает ко мне Аничка. «Акума, мы проходим враждебные группировки, там ты и Гумилев!» — Помолчав, Анна Андреевна продолжала величественно. — Позорный столб, я нахожу, без меня как-то не имеет вида, — вы замечаете, Лидия Корнеевна?

Но, сказать по правде, я сразу представила себе позорный столб как нечто праздничное, прекрасное.

— Звонил мне один болгарин, хотели меня навестить чехи. Но у нас в коридоре отстали от стены и начали жить самостоятельной жизнью обои. Никого нельзя принять. Впрочем, я все равно никого не приняла бы...

— Передают два крылатые изречения Зинаиды Николаевны. Одно: «Брошенной женой Пастернака я не буду. Я буду только его вдовой». Другое: «Бориса Леонидовича больше нет. Существует одна только Ольга Всеволодовна». Боюсь, тут Зина права. Эта баба его слопала. Проглотила живьем.

Анна Андреевна произнесла последние слова не столько зло, сколь задумчиво. Как будто раздумывая — в самом ли деле утонул Борис Леонидович или еще есть надежда, что он когда-нибудь выплывет.

Воспользовавшись наступившей паузой, я рассказала ей (с таким большим опозданием!) о Митиной реабилитации и о своих непристойных слезах в Прокуратуре.

— Не мучайте себя, — сказала мне Анна Андреевна участливым голосом. — Я помню вас т о г д а. Т о г д а вы

---

(210) «Мандельштам. (Листки из дневника)» — «Сочинения», т. 2, стр. 166. О работе Ахматовой над воспоминаниями о Мандельштаме см. также «Записки», т. 3.

не плакали. Ни один человек не знает, в какую минуту его настигнут слезы.

Словно грех отпустила мне.

— И тогда я много плакала, — сказала я. — Но не перед ними.

Тут раздался стук в дверь. Ардов пришел звать нас чай пить.

В столовой я имела сомнительное удовольствие познакомиться со Львом Никулиным. Он рассказывал о Париже, о Юрии Анненкове, о Льве Любимове (который, по его словам, при немцах издавал гестаповскую газету). Анна Андреевна весьма светски поддерживала беседу, но вдруг, посреди неоконченной фразы, поднялась и, не дав мне даже допить чашку, повелительно увела обратно к себе: «Идемте договаривать!»

О чем бы это? Оказывается, о Заболоцком, о котором мы и не начинали. Обсудить его сборник.[144])

— Прочли? Ну, говорите, что вы думаете об этой книге.

Я перечислила стихи, которые мне полюбились: «Уступи мне, скворец, уголок», «Журавли», «Чертополох», «Некрасивая девочка», «Лебедь в Зоопарке», «Старая актриса», «В кино», «У моря», «На рейде», «Гроза», — в общем, многое.

— Ваш список, насколько я могу припомнить, верен, — сказала Анна Андреевна с некоторой небрежностью, — кроме «Старой актрисы» и «Некрасивой девочки». Но я спрашиваю вас не о стихах, а о книге.

О книге я сказала, что в ней слышится тó Ломоносов, тó Державин, тó Олейников, тó Пастернак, тó Некрасов... И коечто холодно.

— Да ведь это страшная книга! — бурно заговорила Анна Андреевна. — Просто страшная. В ней встречаются хорошие стихи, это правда, но нет лица поэта, нет лирического героя, нет эпохи, нет времени... Грузия вся насквозь переводная... Правильно говорит Маршак, что поэзия Заболоцкого выросла на обломках русской классики... И, как хотите, Лидия Корнеевна, а строка «Животное, полное грез» — это, в своем роде, «мое фамилие». (211)

---

(211) Строка из стихотворения «Лебедь в Зоопарке»

Покончив с Заболоцким, Анна Андреевна показала мне толстенную книгу какой-то болгарской поэтессы: Ахматовой предстоит очередная переводческая деятельность. (212).

— Багряна подражает Ахматовой, а теперь Ахматова будет переводить Багряну... — сказала она. — В этом есть нечто ужасное, противоестественное; туда и обратно, так и этак перекраивается живая ткань... «Остров доктора Моро», вы читали? 145)

Потом очень возмущалась каким-то очередным очерком Льва Успенского в «Звезде» о старом Петербурге. Вот уж я не ожидала услышать это имя из ее уст!

— Пишет, будто в старом Петербурге на лестницах пахло кофе. Что за вздор. На черных лестницах пахло кошками, а на парадных — духами дам и сигарами мужчин... Если бы там пахло кофе, хозяева уволили бы швейцара... Затем он сообщает, что по вечерам лица женщин, под черными или зелеными вуалями, казались исполненными тайны... По вечерам под вуалями выходили одни проститутки. 146)

Не вполне учтиво прервав ее речь, я рассказала ей, кто таков есть Лев Успенский. Рассказала о другом его произведедении, куда более интересном, чем мемуары. 147)

И опять, рассказывая, я почувствовала в горле неуместные слезы. «Что было, то прошло и быльем поросло». Нет, не поросло. Нет, кровавые слова, они хуже кровавых ран на живом теле: они не зарастают.

— Это Маршака, вас и Тамару Григорьевну он считал людьми невысокого культурного уровня? — перебила меня Анна Андреевна.

Я кивнула.

— А я вам о каких-то его мемуарах докладываю! — сказала Анна Андреевна, когда я окончила свой рассказ. — И кто-то, и он сам, воображает, что он писатель? Русский писатель... Мудрено. И мудренее всего для меня вы, Лидия Корнеевна: как это вы нашли в себе силы перечесть эту папку? Я бы замуровала ее от самой себя навеки... Помню, в Ленин-

---

(212) Повидимому, речь шла о книге Элисаветы Багряны. Ее стихи, переведенные Анной Ахматовой, появились в 1958 году в журнале «Славяне», № 4 и в 1959-м в журнале «Иностранная Литература», № 8, а также в сборнике: Элисавета Багряна. Сердце человеческое. М., Гослитиздат.

граде, когда мы только познакомились с вами, вы пытались мне что-то рассказывать о судьбе вашей редакции, но все было такое ужасное, что я не могла слушать...

Как это я нашла в себе силы перечесть?

Я ответила ей ее же стихами:

Нет, это не я, это кто-то другой страдает,
Я бы так не могла...

— Спасибо, что предупредили, — сказала Анна Андреевна. — А то мне хотели представить Успенского. Прекрасно! Вы мне его уже представили.

Затем она порывисто поднялась и снова повела меня в столовую — допивать чай. Там было уже пусто. Не помню, в какой связи вспомнила Анна Андреевна день взятия Зимнего:

— Впервые в жизни я видела тогда разведенный мост — днем. Грузовики, трамваи, люди — всё повисло над внезапно разверзшейся бездной. Я туда заглянула. Под мостом шли миноноски. В толпе говорили: «балтийцы идут на помощь большевикам». А потом снова мост сомкнулся. Валил первый мокрый снег. (213)

Провожая меня в переднюю, она опять заговорила об Успенском:

— Берегите эти статьи. Современники и потомки должны знать твердо who's who. В 37 году был людям великий экзамен. Помните, что писал ваш Герцен: не только не нашли сло́ва защиты, «но даже не нашли молчания» при кровавых расправах. Слово защиты было невозможно, а промолчать-то ведь можно было! [148])

22 сентября 57

Тревожные вести о Борисе Леонидовиче.

Я была третьего дня у Анны Андреевны. Она сказала мне, что те итальянские коммунисты, которым Пастернак передал свой роман, вышли из коммунистической партии. (Носят их черти!) И теперь наше начальство требует от него, чуть ли не

(213) См. примеч. на стр. 307.

под угрозой исключения из Союза, чтобы он взял свой роман обратно. Он испуган и растерян. В Италию написал.

Анна Андреевна прочитала мне свои переводы из Переца Маркиша. Два стихотворения истинно великолепны. И такого поэта убили! (214)

Потом она достала из сумочки письмо читателя. Страдальческое и понимающее. С уверенностью не скажешь, но, кажется, это письмо от ссыльного.

— Писем я писать не умею. Пошлю ему телеграмму: «отрадно слышать голос друга».

(Чудесное слово: отрада. И почему-то оно исчезает из языка. А в ее стихах и в ее устной речи оно живет полной и естественной жизнью:

Так отчего же такая отрада
Эти вишневые видеть уста? (215)

О, я знаю: его отрада —
Напряженно и страстно знать... (216)

Но не забуду я никогда
До часа смерти,
Как был отраден мне звук воды
В тени древесной. (217)

---

(214) Переводы Анны Ахматовой печатались в сборнике: Перец Маркиш. Избранное. Стихотворения и поэмы. (М., «Советский писатель», 1957); в томе I «Избранных произведений в двух томах» (М., Гослитиздат, 1960); а до этих двух изданий — в 1956 году в журналах и газетах: в «Дружбе народов», № 10; в «Новом мире», № 10; в «Огоньке», № 48 и в «Литературной газете» от 19 июля.

Перец Давидович Маркиш (1895-1952) — еврейский писатель; лирический поэт, драматург, романист, автор монографии о Михоэлсе. В 1952, в разгар очередной, организованной Сталиным антисемитской кампании, П. Маркиш был расстрелян — тогда же, когда И. Фефер, Лев Квитко и Д. Бергельсон, а после XX съезда реабилитирован.

(215) «Пленник чужой! Мне чужого не надо» — БВ, Подорожник.

(216) «Гость» — БВ, Четки.

(217) «Луна в зените» — БВ, Седьмая книга.

По дороге домой я размышляла о том, в самом ли деле она не умеет писать письма? (Я не получила ни одного, судить не берусь. У меня хранится только записочка из больницы и телеграмма).

Думаю, у нее просто и потребности нет писать письма. Свои мысли и чувства, обращенные к людям, она преображает в высшую форму общения: в искусство. Зачем, испытав радость или боль, писать письмо? (Как делаю обыкновенно я — и всегда раскаиваюсь). Если можешь превращать лично-пережитое в нечто обязательное для всех — в стихи? Да еще в точнейшие, лаконические? Кроме того, Анна Андреевна находит точные, равные по лаконизму стихам, словесные формулы и в устной речи:

Отрадно слышать голос друга.

Фраза, по краткости, вполне телеграфная, но не искалеченная сокращением, а полновесная, пушкински-лаконическая.

Два искусства: лаконической стихотворной речи и лаконической устной. В третьем — в создании эпистолярной прозы — она по-видимому просто не нуждается.

(Не уверена я, что эти мои рассуждения имеют резон).

30 сентября 57

За последние дни уже в третий раз мне советуют отдать мою статью «в другое место».

Из Ленинграда позвонила Шура: (218) сборник, составлявшийся некиим Варшавским, куда я послала свою статью, перешел в руки некоего Авраменко, там все вверх дном, и благожелательный Варшавский советует мне передать мой опус «в другое место».

Я позвонила Беку, попросила его прочесть мою статью, лежащую у них в «Литературной Москве» уже недельки две. Бек сказал, что еще не решено, будет ли у них на этот раз

---

(218) А. И. Любарская.

отдел критики. «Я прочту, но советую вам отдать вашу статью в другое место».

Для разведки я позвонила Алигер. Как там, мол, у них дела в общем? и каковы, по ее мнению, шансы моей статьи в частности? Она сказала, что к публицистическому отделу теперь отношения не имеет, что «выгораживает время для работы над собственной поэмой», что и свой отдел (то есть поэзии) налаживает заново и с трудом. «Пока меня не было (не знаю, она, кажется, уезжала куда-то), тут многое вынули». — «Что же именно?» — «Да вот стихи Ахматовой, хотя бы». — «А почему?» — «Видите ли, она ведь не москвичка»...

Весьма уместный довод в те дни, когда с такой помпой создается в Москве Союз Российской Федерации, специально для работы с «провинциалами», т. е. *не* с москвичами... Да и Ахматова — какой же она московской или ленинградский автор? Господи, как надоедает дребедень!

— «Вы посоветуйте Анне Андреевне отдать свои стихи в другое место», — сказала мне на прощание Алигер.

Закрывают их, что ли? (219)

И где же это таинственное «другое место»? Где оно, как называется?

Ах, где те острова,
Где растет трынь-трава,
Братцы!

Всюду одно и то же место: подонки пытаются взять реванш.

2 октября 57

Конец вечера я провела у Анны Андреевны. Она хворает и звала настойчиво. Сильные боли в правом плече. Доктор думает, отложение солей; она — сердце. Однако, она на ногах.

Сначала мы сидели в столовой — одни.

Растет, растет ее обида на Бориса Леонидовича. Зачем у

---

(219) Действительно, третий том «Литературной Москвы» в свет не вышел. См. примеч. 153).

нее не бывает? Зачем не зовет к себе? Зачем написал отвратительную, постыдную «Вакханалию»? Дала мне прочитать ее, и, пока я молча вчитывалась в стихи, не спускала возмущенных, требовательных глаз с моего лица... Ничего отвратительного, постыдного в этих стихах, разумеется, нет, — «все вздор один» — и куски великолепны, но и я, как она, не ощущаю сейчас поэзии ужина, бала, пышности, пьянства. Однако, было время, когда и она ощущала эту поэзию. («Новогодний праздник длится пышно»). Теперь же, по-видимому, она чувствует всякую пышность, сытость, воспетую в стихах, как звук фальшивый и оскорбительный. Быть может, она и права; жаль только, что осуждение стихов идет у нее рядом с личной обидой.

Опять «Подорожник» и «Вечер».

Показала мне отрывок из очерка или, точнее, предисловия Пастернака к сборнику стихов — предисловия, о котором я много слышала.[149]) (Говорят, оно написано им как бы взамен моей любимой, любимейшей «Охранной грамоты», которую сам он уже не одобряет). В том отрывке, который Анна Андреевна теперь сердито дала мне прочитать и уже не раз поминала, «Вечер», действительно, перепутан с «Подорожником». Но такое ли уж это преступление? Описка, обмолвка, неряшество — только и всего. А она — в гневе... Жаль, жаль, жаль. Ведь сама же она говорила мне когда-то — без гнева и с юмором — что Борис Леонидович не знает ее стихов. (220)

Потом она увела меня к себе в комнату и села на постель под рисунком Модильяни. Комната на этот раз приведена в более ахматовский вид: Модильяни, а в углу икона, а над тумбочкой — старинное круглое зеркало, а на книжной полке «надбитый флакон», не сам он, а его изображение.

Анна Андреевна вынула из чемоданчика и прочитала мне свои новые записки об Осипе Эмильевиче: не поймешь, прочно ли стоит на ногах ее проза? но иногда вдруг среди чего-то не вполне определенного — две-три сжатые, разящие строки, в которых передано движение мысли Мандельштама, а иногда ее, ахматовская, улыбка, ее обворожительно-едкий юмор. И тогда рыхлость перестает казаться рыхлостью.

---

(220) См. «Записки», т. 1, стр. 147.

— Я прочла это Николаю Ивановичу. Он назвал меня «m-me Хемингуэй». Неужели я могу писать прозу? Никогда не могла.

Потом она заговорила о Достоевском. Оказывается, у нее была специальная работа, посвященная Достоевскому. «Я ее сожгла, когда все жгла».

О «Преступлении и Наказании»:

— Это единственный его роман «как у людей». Все происходит по порядку на глазах у читателя. В остальных романах — в «Подростке», в «Бесах» — всё основное уже было где-то вдали и давно. Там где-то, у озера, в Швейцарии, в прошлом. А в «Преступлении и Наказании» все тут же, все у нас на глазах. Зато там есть одна лишняя линия — Мармеладовы. Автору для «Преступления и Наказания» одна только Соня нужна, а Екатерина Ивановна и отец — это из другой оперы, это из ненаписанных «пьяненьких».

15 октября 57

Третьего дня вечером была у Анны Андреевны. Неизвестно, тó ли микро, тó ли не микро, но во всяком случае велено лежать, и она лежит. Гости: Наталия Иосифовна Ильина и Татьяна Семеновна Айзенман. (221) В столовой Нина Антоновна и Пастухова пьют водку с «примкнувшей к ним» Ильиной, а возле Анны Андреевны по очереди — я и Татьяна Семеновна.

Анна Андреевна о стихах N.:

— Поэзия его лишена тайны. Она вся тут сверху, вся как на ладони. Если же заглянуть вглубь, то позади многих стихов чувствуется быт совершенно мещанский: вязаная скатерть, на стене картина — не то «Переезд на новую квартиру», не то «Опять двойка». В сущности это плоско. Полуправда, выдающая себя за правду.

Дала мне наконец с собою «Предисловие» Бориса Леонидовича. Мне больно, что он отрекается от «Охранной грамоты», от своей тогдашней манеры. Тем более, что самые сильные, самые поражающие места «Предисловия»: о Скрябине, о лесе, о Рильке, о Блоке, о музыке — как раз могли быть

---

(221) О Т. С. Айзенман см. примеч. [217]).

кусками из «Охранной грамоты»... Зато, прочитав всю статью целиком, я поняла, наконец, почему так обиделась Анна Андреевна. Дело вовсе не в путанице: «Подорожник» — «Вечер»! Это мелочь, хотя и характерная. Но все «Предисловие» в целом — воспринимается как история поэзии XX века, и в этой истории Ахматова для автора почти не существует, ей посвящен всего-навсего один сбивчивый абзац, в то время как, например, Марине Цветаевой целые страницы.

20 октября 57

Забегала я к Анне Андреевне. Лежит. Нина Антоновна при мне устроила ей бурную сцену: почему не разрешает вызвать хирурга, у нее не только сердце болит, но и фурункул на спине. Анна Андреевна молчала, опустив глаза, как девочка, которой читают нотацию, а я любовалась Нининым язвительным бушеванием... Каков будет результат этой энергии и этой покорности — не знаю.

Чуть только Нина Антоновна, разбившись о покорное молчание, ушла в аптеку за какими-то каплями — Анна Андреевна подняла ясные очи и безо всяких комментариев к только что разразившейся сцене прочитала мне стихотворение о Царском и о Лицее, написанное 5 октября. (222)

4 декабря 57

Я очень соскучилась по Анне Андреевне и вчера, чуть разобравшись, поехала к ней. (223)

Картина, увы! прежняя: лежит, был тяжелый сердечный приступ. К тому же, как шепнула мне в коридоре Нина Антоновна, она поссорилась с Эммой.

О ссоре ни слова, зато несколько литературных монологов:

— 50 лет не брала в руки Софокла. Теперь перечла. И не потеряла его. Оказывается, можно спокойно его перечитывать и не обеднеть.

---

(222) Второе стихотворение из цикла «Городу Пушкина» — БВ, Седьмая книга.

(223) С 1 ноября по 1 декабря 57 г. я жила в Доме Творчества под Ригой, в Дубултах.

— Получила два тома антологии — там и мои стихи. (224) Впервые читаю советскую поэзию подряд в таком количестве. Кажется, будто оба эти тома написал один человек. Интонация у всех одна. О средствах выражения, о сравнениях, например, все забыли. О жанрах тоже.

— Прочитала до конца роман Бориса Леонидовича. Встречаются страницы совершенно непрофессиональные. Полагаю, их писала Ольга. Не смейтесь. Я говорю серьезно. У меня, как вы знаете, Лидия Корнеевна, никогда не было никаких редакторских поползновений, но тут мне хотелось схватить карандаш и перечеркивать страницу за страницей крест на крест. И в этом же романе есть пейзажи... я ответственно утверждаю, равных им в русской литературе нет. Ни у Тургенева, ни у Толстого, ни у кого. Они гениальны, как «рос орешник». 150)

Я сказала ей, что роман весь целиком неизвестен мне, что в чтении Бориса Леонидовича я слышала, по-видимому, около трети, и там, на мой взгляд, кроме дивных пейзажей, замечателен 905 год, выстрелы мальчиков и «мнение Христово» и народная, рабочая речь — гениальная, как речь матросов в «Морском мятеже».

На мою реплику Анна Андреевна не отозвалась, а заговорила о Бабеле, который только что вышел. 151) Она перечла пьесы. Хвалит «Закат» и бранит «Марию». (С чем я вполне согласна. Я «Марию» даже дочитать не могла).

— Странно, что обе вещи написаны одною и той же рукой, — сказала Анна Андреевна.

Вошла Нина и, присев на минутку, рассказала о своих беседах с Сурковым. Она сообщила ему, что в Ленинграде у Ахматовой отнимают дачу (комиссия Союза Писателей во главе с очеркистом-романистом Петром Капицей) и что Ахматова сильно расстроена слухами, будто в издательстве собираются рассыпать ее книгу. (Анна Андреевна с постели: «Этого я Нине говорить не поручала, потому что исчезновением книги я ничуть не была бы расстроена»). Сурков обоими известиями был возмущен, в разговоре рявкал; (Нина Антоновна прекрасно воспроизвела это рявканье); затем усмирил Ле-

---

(224) Речь идет об антологии, упоминавшейся выше, на стр. 152 и 157.

нинград, а насчет книги сказал, что все чепуха и книга вот-вот выходит.

Если так — честь ему и слава; быть может, я перед ним виновата, и он в самом деле любит Ахматову.

Провожая меня, Нина Антоновна сказала в коридоре, что Борис Леонидович звонил, справлялся о здоровье, обещал придти и *не* пришел.

Ох, беда.

10 декабря 57

Была у Анны Андреевны. Она еще лежит, но ей гораздо лучше.

Кругом как папиросный дым разговоры о погромных статьях Софронова. Сегодня вышла вторая.[152]) Расправа с журналом «Театр», с Дудинцевым, с Огневым, с Алигер (нет, она явно не Данте, она «другой»: настоящий Алигьери не любил каяться! а она все кается и кается в своих мнимых грехах, хотя это ей не помогает).[153]) Сегодня Софронов уже кинулся и на Акима — как раз на то стихотворение, которое я защищала от Еремина на московском пленуме. Его возмутило стихотворение «Галич».

— Теперь он от вас на пистолетный выстрел, — сказала о сегодняшней статье Анна Андреевна.[154])

18 декабря 57

Была у Анны Андреевны. Она поправляется туго. Читала мне новый кусок из воспоминаний о Мандельштаме. Царское Село, двадцатые годы. («Всех коз почему-то звали Тамарами»).

Кажется, ссора ее с Эммой Григорьевной длится. Ни та, ни другая со мною про это не говорят. И я, естественно, не встреваю.

24 декабря 57

В воскресенье была у Анны Андреевны. Она не в очень хорошем духе. Ее нервирует и дергает Ленинград. Получила оттуда две бумаги. В первой ее извещают, что на дачу аренда

не продлевается. Во второй (это, наверное, результат заступничества Суркова), что аренда продлевается, но при условии: там будет жить Ахматова, а не Пунины.

Анна Андреевна прожила на даче целое лето, три месяца подряд, безвыездно. А все дело в том, что ее лачуга, наверное, понадобилась кому-нибудь из писательских чинуш.

Продолжает с ожесточением бранить роман Бориса Леонидовича.

— Люди неживые, выдуманные. Одна природа живая. Доктор Живаго незаслуженно носит эту фамилию. Он тоже безжизненный. И — вы заметили? — никакой он не доктор. Пресвятые русские врачи лечили всегда, всех, а этот никого, никогда... И почему-то у него всюду дети.

Зато о симфонии Шостаковича — «1905» — отозвалась с восторгом:

— Там песни пролетают по черному страшному небу как ангелы, как птицы, как белые облака!

1958

7 января 58

Была раз у Анны Андреевны. Ардовы ушли на именины, и я сидела у нее очень долго, до 2 часов ночи, пока не вернулись хозяева. Ей лучше. Она принимает какое-то лекарство, сосудорасширяющее, которое ей привез из Италии Слуцкий. Дай ему Бог здоровья.

Огласила новую страницу воспоминаний — на этот раз о судьбе каждой своей книги (ненапечатанной). Сказано кем-то: «каждая книга имеет свою судьбу». Но судьба (истории) ахматовских книг в высшей степени однообразна: по существу это все одна и та же постоянно повторяющаяся скверная история.

Читает Тютчева, сравнивает два издания: Большую Серию Библиотеки Поэта (там предисловие Бухштаба) и Гослит. [155])

Ее рассердила одна страница Бухштаба, посвященная смерти. Она прочитала мне эту страницу вслух — тихим, ровным голосом, а потом заговорила громко, бурно.

— Оскорбление памяти великого поэта. Вы подумайте только: у человека удар, два удара, он тяжело больной, умирающий. Идиотка-дочь пишет, что отец потерял голову от страсти к какой-то даме, — это между двумя-то ударами! — и Бухштаб цитирует ее письмо! Дочь позволяет себе писать гнусные слова об умирающем отце, а милый, тонкий, умный Борис Яковлевич, не сморгнув, повторяет на странице о смерти поэта эти кощунственные строки. [156])

По поводу того же письма тютчевской дочери Анна Андреевна пересказала мне свой разговор с Ардовым:

— Входит Виктор Ефимович и сообщает торжественно, что один москвич, какой-то смрадный эстрадник, в стары годы знавал сына Тютчева от этой вот его последней дамы... Я не растерялась. Ярость сделала меня вдохновенной. Я в ту же секунду ответила: через 50 лет кто-нибудь скажет, что лично знавал моих близнецов от Жоры (такой подросток сюда ходит). Один был миленький, миленький, а другой ужжасно, ужжасно неудачный...

Рассказывая, она не сердилась уже, а смеялась: громко, весело, как это не часто с ней бывает.

14 февраля 58

Забегалась — заработалась — сбилась с ног — со сна — с толку.

Давно не бывала у Анны Андреевны, и это меня грызет. После ее приезда я была у нее всего один раз, да и то минут 40, да и то неудачно.

Я привыкла видеть Анну Ахматову великодушной, всепонимающей, порою благостной, порою гневной, но всегда правой.

Нет, вру, не всегда. *Почти* всегда.

В последнее наше свидание она была *почти*. А может быть и *не*.

Встретила она меня настойчивыми расспросами о Борисе Леонидовиче. Он болен. Я доложила известия, вывезенные мною из Переделкина: опять, по-видимому, непорядок с почками, страшные боли, Зинаида Николаевна потеряла голову. Быть может, задет какой-то нерв позвонка. Ездят три профессора в день, а самые простые анализы не сделаны и диагноза собственно нет. Боль лютая, он кричит так, что слышно в саду. Сказал Корнею Ивановичу, который был у него 3 минуты: «Я думаю, как бы хорошо умереть... Ведь я уже сделал в жизни все, что хотел... Только бы избавиться от этой боли... Вот она опять...» Возле него две толковые женщины: Тамара Владимировна Иванова и Елена Ефимовна Тагер.[157]) Дед бился дней 5, писал и звонил в Союз, в Литфонд, пытаясь устроить Пастернака в хорошую больницу, в отдельную палату. Все было неудачно, пока он сам не поехал в город к некоему благодетельному Власову (секретарю Ми-

кояна). В конце концов удалось устроить Бориса Леонидовича в больницу ЦК Партии и, кажется, даже в отдельную палату. [158])

Вот каков был мой доклад Анне Андреевне. Она слушала напряженно-внимательно, переспрашивая фамилии профессоров, сопоставляя симптомы и диагнозы, слушала с выражением сочувственной думы и муки на своем неподвижном — а если вглядеться, таком неустанно подвижном лице. Не дослушав меня, она произнесла с нежданной суровостью:

— Когда пишешь то́, что написал Пастернак, не следует претендовать на отдельную палату в больнице ЦК партии.

Это замечание, логически и даже нравственно будто бы совершенно обоснованное, сильно задело меня. Своей недобротой. Я бы на ее месте обрадовалась. Я постаралась ответить без запальчивости, чтобы самой не взорваться и не вызвать взрыва в ответ.

— Он и не претендует, — сказала я тихим голосом. — Корней Иванович говорит, со слов Зинаиды Николаевны, что Пастернак даже в Союз не велит обращаться, не только выше... Ему больно, он кричит от боли, и всё. Но те люди кругом, которые любят его (тут я слегка запнулась), вот они, действительно, претендуют. Им хочется, чтобы Пастернак лежал в самой лучшей больнице, какая только есть в Москве.

Я ждала взрыва на словах: «люди, которые любят». Но Анна Андреевна промолчала.

О, она, конечно, вне всякого сомнения, среди любящих. Она любит Пастернака, гордится им. Но в ней сталкиваются сейчас две тревоги: за его здоровье, за грозную судьбу, собирающуюся над его головой — это первая, естественная человеческая тревога, и другая — о том, как он, великий поэт, перенесет грозу. С должным ли мужеством.

Не уронит ли высокого звания поэта?

Понимаю, все понимаю; но идя назад, к метро, я тем не менее продолжала терзаться ее словами. Холодными, рассудительными: «не должен рассчитывать на отдельную палату в больнице ЦК партии». Рассчитывать? Да, не должен. Но нам-то как выносить его заброшенность? Да, она, Анна Ахматова, к нашему стыду и угрызению, много раз вынуждена бывала лежать в самых плохих больницах, в общих палатах на 10-15 человек. Надо ли желать того же Пастернаку? И тут я

остановилась, испытав удар памяти. Как же я могла позабыть! В Ташкенте, заболев брюшным тифом, Анна Андреевна пришла в неистовую ярость — именно в ярость, другого слова не подберу — когда ей почудилось, привиделось, приснилось, будто один врач намерен отправить ее в обыкновенную больницу, и была очень довольна, когда, усилиями друзей, ее положили в тамошнюю «кремлевку», в отдельную палату, а потом, усилиями тех же друзей, в «кремлевский» санаторий для выздоравливающих.

Помнит ли она об этом? Забыла?

Нет, я радуюсь сейчас за него, как счастлива была тогда за нее, что она в человеческих — т е. привилегированных — условиях, а не в «демократических», которые у нас, увы! равны бесчеловечным.

8 марта 58

Сегодня, наконец, выбралась к Анне Андреевне в Болшево.

Ехала туда и назад на Шпайзмане. Очень удобно. (225)

Анна Андреевна во втором корпусе, в комнате крайней справа, возле балкона. Мне пришлось обождать в коридоре: у нее массажистка. 15 минут слушала я из-за двери махровые пошлости об ахматовских стихах. Наконец, та вышла, я вошла. Комнатенка маленькая, чуть побольше ардовской. Анна Андреевна сидела в постели, укрытая одеялом до пояса, в одной рубашке. Выглядит она хорошо, лицо без отеков, свежее, даже чуть загорелое, но впечатление это обманчиво, она грустна и жалуется на слабость. Пульс вчера был 56. Жалуется, что ей не под силу снимать и надевать шубу, вешать шубу на вешалку, стягивать с себя теплые башмаки, самой открывать форточку.

— Жить в санатории одна я больше не могу. Следующий раз непременно возьму с собой Иру. Одна я не в силах.

Я спросила, кто с ней за столом. Оказалось, родная сестра Никулина. Анна Андреевна никак не характеризовала эту даму, и я не стала спрашивать, в братца ли пошла сестрица.

---

(225) Шпайзман — владелец машины, инвалид, имевший какое-то отношение к Литфонду. Ему было разрешено возить писателей. Пассажирам это обходилось дешевле, чем такси, а ему давало заработок.

Зато она рассказала неприятную историю с какой-то другой дамой, с которой она подружилась и ходила гулять. Читала ей стихи. Однажды, как раз когда Анна Андреевна читала, в комнату вошла докторша. И на следующий день объявила той даме, что чтение стихов слишком возбуждает Анну Андреевну, ей это вредно. Дама была смущена, так и уехала в смущении. Анна же Андреевна полагает, что этот запрет неспроста, что дело тут совсем не в ее здоровье.

Быть может и так...

Вчера я окончила перечитывать первые части романа Пастернака.

— Ваш диагноз? — осведомилась Анна Андреевна.

— Кроме гениальных пейзажей, — сказала я, — которые детям в школах надо учить наизусть, наравне со стихами, многие страницы воистину ослепительны. Перечитывая, я соглашаюсь с собственным давним восхищением, сороковых годов, когда я слушала первоначальные главы из уст автора и читала их по его просьбе сама. Замечателен девятьсот пятый год — по-видимому, девятьсот пятый, совпавший с юностью, всегда вдохновителен для Пастернака. А просторечье! Оно — концентрат, как в «Морском мятеже»! А мальчики — в сущности, братья — мальчики с нацеленными друг на друга дулами, «белые» и «красные» — в лесу! А «выстрелы Христовы» на улицах Москвы! А царь — удивление перед средоточием могущества в такой малости... Но вы правы: главные действующие лица не живые, они из картона, особенно картонен сам Живаго. И язык автора иногда скороговорочностью доведен до безобразия. Не до своеобразия, а до безобразия. Трудно бывает поверить, что это написано рукой Пастернака. «При поднятии на крыльцо, изуродованный испустил дух». И это пишет автор «Августа»!

— В одной итальянской газете, — сказала Анна Андреевна, не слушая меня, — напечатана статья под заглавием: «Неудавшийся шедевр».

На столе у нее — французская монография о Модильяни. Книжка небольшая, но репродукций уместилось там множество. Анна Андреевна пишет о Модильяни воспоминания. Говорит:

— Мне повезло — я узнала его раньше, чем другие. Все, кто сейчас вспоминает о Модильяни, подружились с ним в

четырнадцатом, пятнадцатом году, а я в десятом, одиннадцатом.

Мы заговорили о здешней природе, о прогулках; я ведь жила здесь и знаю, что гулять тут, собственно, негде, что природа здесь дачная.

Анна Андреевна сказала:

— Сегодня в парке березы, как березы, а когда они освещены солнцем, то становятся такими бесстыдно-нестеровскими...

Затем она занялась просмотром привезенных мною писем. (Я по дороге нарочно заезжала к Ардовым, куда доставили ее ленинградскую почту. Теперь на подушке высилась целая горка).

Внимательно рассмотрев конверт, прочитав письмо, Анна Андреевна каждое передавала мне.

Открытки, поздравляющие с 8 марта. (Самый для меня непонятный праздник).

Три письма из Чехословакии от учительниц и еще от кого-то. Эти поздравляют не с 8 марта, а с 40-летием Октябрьской революции, которая освободила чехов и словаков от ярма капитализма; они пишут, что Ахматова для них образец советской женщины, просят прислать стихи, пишут, что все они учатся у советской литературы и, в особенности, у Анны Ахматовой.

— Вот поворот, какого ни в каком романе не придумаешь, — сказала Анна Андреевна. — Я — образец советской женщины!.. Товарищ Жданов, где ты! Такое не приснится, не выдумается.

Из привезенной мною пачки она извлекла также письмо от Конрада по поводу каких-то ее хлопот о какой-то Лёвиной книге. [159]) Хотя известия, насколько я могла понять, были благоприятные — письмо взволновало ее.

— Мне не под силу больше хлопотать, — сказала она с раздражением. — Я ходила к Виноградову, и после этого у меня был сердечный приступ. Я сказала Виноградовым, будто это случилось со мной из-за блинов, но на самом деле блины тут неповинны.

Рассказывая, она нервными пальцами перебирала письма на подушке.

Раз пять за недолгое наше свидание произнесла она слова: «мне больше не под силу». С горечью слушала я ее. Не под силу самой снимать шубу, не под силу стягивать башмаки, не под силу хлопотать...

Будто и не худо сейчас складывается у нее жизнь: и Лёва дома, и книжка ее выходит, и деньги кое-какие есть, и дача, и лечится она в санатории... Но истрачены силы.

Перед моим отъездом ей подали телеграмму, кажется, из Москвы. «Мы помним ваше Мужество 42 года» — почему-то без подписи.

Ну, а мне довелось помнить ее мужество не одного какого-нибудь года — десятилетий.

И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.

Слово — не музейная реликвия, и хранить его значит творить его. Творить в нем, творить им, сотворять его заново. Ахматова — из тех, кто хранит — сотворяет — русское слово. Какое мужество, какой подвиг выше этого?

И внукам дадим, и из плена спасем
Навеки!

В 1942 году русское слово спасать приходилось от немецкого плена. Но разве и сейчас оно не в плену? И не требует спасения — ежедневного?

Но Анна Андреевна телеграмму как-то пропустила мимо ушей. Ее занимало чехословацкое письмо.

Перед моим отъездом она снова взяла его в руки и повторила:

— Такой сюжетный поворот и во сне не приснится. Моя оплеванная персона — образец советской женщины для братской социалистической страны! Прекрасно! «Всё смешалось в доме Облонских»...

26 марта 58

Очень давно не писала. Теперь уже трудно восстановить даты. Один раз за это время снова была у Анны Андреевны в Болшеве. На этот раз с Оксманами. Ничего примечательного. Юлиан Григорьевич сразу ушел в другой корпус навещать тяжело больного Козьмина.[160]) Анна Андреевна, одетая, лежала под одеялом, жалуясь, что дует от окон. Мы с Антониной Петровной кормили ее апельсинами, которым она очень обрадовалась: у нее почему-то пересыхает во рту.

Да, вот разве что было интересное. В машине — по дороге туда — Юлиан Григорьевич сказал: «Самое главное: кончится ли процесс десталинизации д р у г и м процессом». Я его слегка толкнула — не при шофере же разговаривать! Потом, в Болшеве, он слишком долго не возвращался от Козьмина, а нам пора была ехать. Я отправилась ему навстречу, зная, что и он способен «заблудиться в двух шагах от дома». И действительно встретила его на дорожке парка, недоумевающего, куда свернуть. Пока мы шли к флигелю Анны Андреевны, я спросила: «Вы Нюрнбергский процесс имели в виду?» — «Конечно!» Я сказала, что уже думала об этом, но меня смущает к о л и ч е с т в о палачей и соучастников палачества; если начать их судить — чего требует самая элементарная человеческая справедливость — то края не будет крови и слезам. У всех жены, дети... Опять очереди, окошечки, свидания, передачи, этапы, тюрьмы. Пусть на этот раз справедливые... Но все равно — немыслимо.

Оксман сказал, что Нюрнбергский процесс необходим во имя очищения нации, иначе мы вперед не двинемся и останется то же беззаконие, тот же произвол, — ну, может быть, в меньших масштабах. Но наказывать смертью или тюрьмой следует лишь немногих, а всех остальных, причастных к злодействам, следует громко назвать по именам и отстранить от какой бы то ни было, малейшей, власти. Пусть стреляются сами, пусть дети отшатнутся от них с ужасом, пусть более никогда и ни в чем никто от них не будет зависеть: пусть они смиренно трудятся на заводах, в учреждениях, в колхозах —

гардеробщиками, уборщиками мусора, курьерами — не более того.

А в последние дни мне довелось работать с Анной Андреевной как бывало в Ленинграде, в Ташкенте — да и здесь уже случалось. «Щепкой валяюсь у ног ваших» — такова была форма телефонного приказа, во исполнение которого я два утра подряд ездила к Анне Андреевне читать корректуру.

Верстка ее книги!

Первая книга Ахматовой после постановления 46 года!

Половина, разумеется, занята переводами. Но все-таки сама Ахматова тоже присутствует. Есть такой поэт.

На обороте титульного листа обозначено: «Под общей редакцией А. А. Суркова».

Набиралась книга в Венгрии. Поэтому, когда я указываю Анне Андреевне какую-нибудь особенно смешную опечатку, она говорит с напускным возмущением: «Злосчастный мадьяр!»

Она возбуждена и тревожна. Я вижу. Но и радостна.

Главное, чтó ее сейчас занимает: она хочет просить у Суркова разрешения заменить стихи об Азии — «Таинственной невстречей» и «Пусть кто-то еще отдыхает на юге». (225а)

(225а) А. А. не любила свое стихотворение об Азии, помещенное в «Литературной Москве»: «Разве я стала совсем не та, / Что там, у моря...», потому что дальнейшие четверостишия были хотя и искусно, однако искусственно приписаны к первому. Начало тоже в действительности читалось иначе, чем было опубликовано:

Разве не я тогда у креста,
Разве не я утонула в море,
Разве забыли мои уста
Вкус твой, горе!

Второе стихотворение из «Литературной Москвы» («Ты, Азия, — родина родин»), о котором здесь идет речь, А. А. не любила вообще и очень прочно; она не только своею волей изъяла его из сборника 1958 года, но и не ввела ни в один из последующих.

Стихотворения «Таинственной невстречи / Пустынны торжества» и «Пусть кто-то еще отдыхает на юге» обращены к И. Берлину; оба они входят в цикл «Из сожженной тетради» («Шиповник цветет») — БВ, Седьмая книга.

Мне кажется, я догадываюсь, почему она не хочет первых и так торопится с напечатанием вторых. Эти новые стихи, это опять «цветы небывшего свиданья».

Читать корректуры мне было трудно: шрифт мелкий и разговоры в комнате. В первый день вместе с нами работал Николай Иванович, во второй Эмма Григорьевна. К стыду моему, уже после моего чтения они выловили несколько опечаток, и довольно серьезных, но я взяла реванш, обнаружив и после них еще немало. Одна только Анна Андреевна читала верстку, можно сказать, с полной безмятежностью; набрано: «обещай опять прийти ко мне» — вместо «во сне»; говоришь ей: «Глядите, что тут!» Она глядит и не видит. Потом: «Боже, какая чушь! Злосчастный мадьяр!»

Но самое интересное в этой работе были, конечно, не опечатки, а споры, возникавшие вокруг отдельных строк. И наши предложения, которые тó отвергала, тó принимала Анна Андреевна.

Мне иногда удавалось умолить ее восстанавливать строки, искалеченные ею в угоду цензуре. Например, в верстке «Надпись на книге» оказалась набранной с середины:

...Пускай над временами года
Несокрушима и верна

и т. д.

Я настояла, умолила дать и первые четыре строки:

Почти что от летейской тени
В тот час, как рушатся миры

и т. д. (226)

Затем строка:

Хранилища молитвы и труда

---

(226) Впоследствии А. А. первую строку переделала так: «Почти от залетейской», — БВ, Тростник.

во спасение от молитвы была изменена Анной Андреевной так:

Хранилища надежды и труда,

но она была сама этой заменой недовольна — говорит: «какая уж там надежда!» (227)

Я предложила «бессмертного труда», и она ухватилась за эту замену, хотя мне самой мое предложение не очень-то нравится: исчезли звуки *ли* — *ил* (хран*или*ща мо*ли*твы), придававшие стиху такую прелесть, плавность; да и то, что вся строка состояла раньше из одних существительных, делало ее особо прочной, значимой; а теперь прилагательное разжижает строчку. К тому же, следующая, как на зло, начинается с двух прилагательных:

Спокойной и уверенной любови...

Таким образом ущерб все равно нанесен, но Анна Андреевна приняла его, — по-видимому, как наименьший. (228).

Совершенно искаженным оказалось стихотворение:

Мой городок игрушечный сожгли,
И в прошлое мне больше нет лазейки...

Можно ли точнее определить Царское Село — этот мнимый город? Он, действительно, город по всем правилам: мощеные улицы, каменные дома, чугунные решетки, и в то же время он игрушечный, невсамделишный: домики и деревья расставлены на полу или на столе прилежной детской рукой; расставлены правильно, ровно, аккуратно, — только всё маленькое, ненастоящее, хотя и железная дорога — как настоящая, и будка на путях совсем настоящая, и даже сторож из будки выскакивает с настоящим флажком...

---

(227) Из стихотворения «Приду туда, и отлетит томленье», — Белая стая. № 67.

(228) Подлинный авторский текст не восстановлен до сих пор ни в одном из советских изданий Ахматовой, — и в БВ и в ББП оставлено «бессмертного». В ББП строка «Хранилища м о л и т в ы и труда» вместо основного текста, где ей быть надлежит, приводится среди вариантов (на стр. 393) в качестве какого-то разночтения.

Мой городок игрушечный сожгли,
И в прошлое мне больше нет лазейки...

Ахматова говорит о городе своей юности, который сожгли немцы. Но начальство приревновало ее к слову «прошлое»; (ведь прошлое — это всегда «проклятое царское прошлое»); ах, ты ищешь туда лазейку?

Анна Андреевна, пробуя всякие замены, по-моему, совершенно испортила это стихотворение. Было оно интимное, горькое, заветное, стало какое-то крикливо-патетическое:

О, злодеи!..

От обиды я не запомнила.

Исчезло «лазейки» (на рифме), а с нею и все последующее зашаталось. После моих укоризн, Анна Андреевна, к моему великому счастию, сделала так:

Мой городок игрушечный сожгли,
И в юность мне обратно нет лазейки.

Не в проклятое прошлое, а в юность — так, может быть, пройдет?

Затем, я предложила в стихах:

И время прочь и пространство прочь

заменить последнюю строчку.

Было:

Только ты мне не можешь помочь...

Тут не годится «только». Героиня ведь не то хочет сказать, что один только он не может ей помочь. Я предложила:

Но и ты мне не можешь помочь.

Она согласилась.

Николай Иванович настойчиво предлагал прежний, запомнившийся ему вариант стихов Маяковскому; не знаю, как

потом, а при мне замена не состоялась. Не запомнила я и о чем шел спор. Но одно его предложение, принятое Анной Андреевной, сильно огорчило меня. Стихотворение:

«Черную и прочную разлуку» — которое я люблю так (не то, что люблю, это не точное слово, а чувствую так, будто его родила я) кончалось строками:

Но весенней лунною порою
Через звезды мне пришли привет.

Николай Иванович нашел, что весна, луна, звезды — все вместе слишком сладко; Анна Андреевна с ним вполне согласилась и переделала так:

Только б ты весеннею порою
Через звезды мне прислал привет.

Мне жалко. Эти повторяющиеся длинные *н*: «лу*нн*ою, весе*нн*ею», кажется мне, придавали стиху какую-то таинственность. А быть может, он прав, а я просто привыкла? Так ведь тоже бывает.

Затем Николай Иванович ополчился против строки

Взволнованные кедры

в «Разлуке». Анна Андреевна переменила:

Да великаны кедры (229)

Кажется, это лучше. Впрочем, я и тут не уверена.

Стихотворение: «А вы, мои друзья последнего призыва!» совсем переделано из-за святцев и Бога. На самом деле второе четверостишие читается так:

---

(229) «Великаны кедры» держались недолго. «Великаны» в сб. «Стихотворения», 1958; но в сб. «Стихотворения» 1961 и в БВ (Седьмая книга) — снова «взволнованные».

Да что там имена!
Захлопываю святцы.
И на колени все. Багряный хлынул свет...
Рядами стройными проходят ленинградцы.
Живые с мертвыми. Для Бога мертвых нет. (230)

Сделано же так:

Да что там имена!
Ведь все равно вы с нами...
Все на колени, все!
Багровый хлынул свет!..
И ленинградцы вновь идут сквозь дым рядами,
Живые с мертвыми: для славы мертвых нет!

На второй день, когда мы были с Анной Андреевной одни, вдруг отворилась дверь и вошел человек с резкими морщинами у глаз и на лбу, с очень определенно-очерченным и в тоже время дряблым лицом.

— Вы незнакомы? — спросила меня Анна Андреевна.

— Нет.

— Это мой сын.

Лёва!

Я не узнала его от неожиданности, хотя мне и говорили, что он в Москве.

Ощущение огромности и малости вместе. Так бывает в любви. Гадания по стихам; странные совпадения в датах; сердце, обрывающееся в колени от каждого телефонного звонка и почтальонного стука; дрожащие листки письма; а потом окажется, — это всего лишь ч е л о в е к: не больше и не меньше; человек — голова, руки, ноги. Такая огромная и такая обычнейшая из обычных малость: человек. Вот он передо мною; слово из четырех букв: Лёва. Не мои — все е е бессонницы, сны, невстречи и встречи, окошечки над заплеванным полом, красное сукно на столах, заявления, повестки, посылки, волосок, вложенный в тетрадку стихов, и

(230) В таком виде это четверостишие не напечатано нигде; в переделанном же (по-разному) трижды — см. «Знамя», 1945, № 4; «Стихотворения», 1958 и «Стихотворения», 1961.

стихи в огне... Два десятилетия ее жизни. Материализованное время: десятилетия, и материализованное пространство: тысячи километров. И это, оказывается, просто человек — и он здесь, в этой комнате. Его можно тронуть рукой или назвать по имени.

«Мама». «Сынуля. Детонька».

Стены этой комнаты пропитаны мыслями о нем, стихами — ему. И снег, и деревья, и заря за окошком. И рубцы от инфарктов на мышце ее сердца.

В последний раз я видела Лёву, если не ошибаюсь, в 32 году, когда Люша была совсем маленькая и у нас на Кирочной гостил Николай Иванович, друживший с Цезарем. Жил он у нас, а целые дни пропадал у неведомой мне тогда Анны Андреевны. Однажды он пришел к нам оттуда вместе с Лёвой. Это был юноша лет 17-19, некрасивый, неловкий, застенчивый, взглядом сильно напоминавший отца, одетый, кажется — в ватник, что даже и по тем временам казалось уже странным. А раньше — это был Лёвушка-Гумилевушка, давным-давно, еще в моем детстве, мальчик с золотыми волосами, кудрявый, его приводил к нам отец, и он у нас в столовой сам с собой играл в индейцев, прыгая с подоконника на диван.

Сейчас сходство с отцом совсем потерялось, а чем-то — не знаю, чем — верхней частью головы, лбом, висками похож он на Анну Андреевну. Говорит картаво, грассируя. Одет как все, но чем-то резко отличается от всех. Чем — не знаю. Впрочем, был он в комнате у Анны Андреевны при мне не более минуты. Взял какие-то книги и понес их в библиотеку, сказав, что вернется к обеду.

...Анна Андреевна хоть и рада своему сборнику, но и огорчена им: она уверяет, что книжка эта — ерунда, мусор, что она только введет в заблуждение читателей («так это-то и есть хваленая Ахматова? стоило огород городить!»), а все-таки, думаю я, честь и слава Суркову. Да, конечно, в сборнике отсутствует главное: трагический путь великого поэта. Нет и самых значительных, необходимейших стихов. И все-таки это она, это Анна Ахматова: «Предыстория», «Хорошо здесь: и шелест и хруст», «Черную и прочную разлуку»... Путь и трагедия остались за бортом книги, но голос, которому дано исцелять души, звучит.

Я, с разрешения Анны Андреевны, переписала для себя:

«Мой городок игрушечный сожгли»

и

«Этой ивы листы в девятнадцатом веке увяли»

и

«Таинственной невстречи
Пустынны торжества...»

и

«Пусть кто-то еще отдыхает на юге...»

Когда я кончила, она взяла мой листочек и над последним стихотворением надписала «Эпилог», объяснив при этом, что между первой и второй строфами тут имеются еще восемь строк (231) и что «Два стихотворения» («Таинственной невстречи» и «Пусть кто-то еще отдыхает на юге») на самом деле называются «Из сожженной тетради» и их не два, а гораздо больше... На обороте моего листка она перечислила столбиком:

---

(231) Это восьмистишие, не появившееся в сборнике 58 г., появилось с некоторыми искажениями в сборнике 61 г. и с теми же искажениями в БВ (цензура не разрешила бы упомянуть о финском ноже и о Суоми). Вот эти стихи без сделанных автором для цензуры замен — и без пропусков:

Ты опять со мной, подруга осень!
Ин. Анненский

Пусть кто-то еще отдыхает на юге
И нежится в райском саду.
Здесь северно очень — и осень в подруги
Я выбрала в этом году.

Живу, как в чужом, мне приснившемся доме,
Где, может быть, я умерла,
И, кажется, тайно глядится Суоми
В пустые свои зеркала.

Иду между черных приземистых елок,
Там вереск на ветер похож,
И светится месяца тусклый осколок,
Как финский зазубренный нож.

Сюда принесла я блаженную память
Последней невстречи с тобой —
Холодное, чистое, легкое пламя
Победы моей над судьбой.

На яву
Во сне
Без названия
Сон
Ответ
Эпилог (232)

К сожалению, она не пожелала объяснить мне «что́-что́», и я по названиям не могу различить, об известных мне стихах идет речь, нет ли...

Потом, когда я перечитывала стихотворение, не очень любимое мною:

Бывало я с утра молчу

Анна Андреевна, наклонившись над страницей, сказала:

— Пятьдесят лет никто не замечает, что это акростих!

Я поглядела:

Б
О
Р
И
С

А
Н
Р
Е
П

---

(232) Названия стихотворений в цикле «Из сожженной тетради» переходили с места на место, а иногда исчезали совсем, заменяясь номерами. Название «Эпилог» было дано одно время Сонету («Сонет-Эпилог»), но оказалось, что до настоящего эпилога в действительности было еще далеко, и сонет утратил это заглавие. Ср. сб. «Стихотворения», 1961 с «Бегом времени».

Не замечают — для акростиха комплимент. Значит, нет искусственности. (233)

Но более всего поразил меня «Воронеж». Я знала, что это посвящено — О. М[андельштаму], которого она навещала в ссылке. Так; но оказалось, существуют еще четыре строки. Анна Андреевна прочитала их мне шопотом.

А в комнате опального поэта,
Дежурят страх и Муза в свой черед.
И ночь идет,
Которая не ведает рассвета. (234)

Страх и Муза! В этих двух словах ключ к жизни наших поэтов. Чаще всего, впрочем, они дежурят у каждого не по очереди, а оба вместе. Муза и страх. Муза, побеждающая страх.

Я, между прочим, рассказала Анне Андреевне о своем болшевском разговоре с Оксманом. Она ответила:

— Да, мы с ним говорили об этом. Я с ним согласна.

5 апреля 58

Вчера провела вечер у Анны Андреевны. Вначале у нее Мария Сергеевна Петровых и Юлия Моисеевна Нейман,[161]) потом приехала еще и Эмма Григорьевна.

Когда я пришла, Анна Андреевна вместе с Марией Сергеевной дозванивались Галкину, чтобы поздравить его с еврейской Пасхой.

— Галкин — единственный человек, который в прошлом году догадался поздравить меня с Пасхой, — сказала она.

Потом потребовала, чтобы ей добыли телефон Слуцкого, который снова обруган в «Литературной газете».[162])

---

(233) «Песенка» — БВ, Anno Domini.

(234) В «Записках» (т. 1, стр. 132; № 42) это стихотворение дано целиком, с четырьмя последними строчками, хотя в 1936 году, когда «Воронеж» был написан, и в июне 40 года, когда стихотворение было прочтено мне, этих строк еще не было. Впервые они напечатаны заграницей в воспоминаниях Анны Ахматовой «Осип Мандельштам» в альманахе «Воздушные пути» (№ 4, Нью-Йорк, 1965); в Советском Союзе — БВ, Тростник.

— Я хочу знать, как он поживает. Он был так добр ко мне, привез из Италии лекарство, подарил свою книгу. Внимательный, заботливый человек.

Позвонила Слуцкому. Вернулась довольная: «Он сказал, — у меня все в порядке».

Протянула мне его книгу. [163]) Надпись: «От ученика».

Я осведомилась о Суркове. Положение традиционное: обещал позвонить, но еще не звонил. Таким образом, верстка лежит недвижимо, и вопрос о замене двух азиатских стихотворений двумя «Из сожженной тетради» еще не решен.

Я принесла с собой второй номер журнала «Москва». Мне не терпелось показать Анне Андреевне «Последнюю любовь» Заболоцкого и, главное, отрывок из поэмы Самойлова — единственные до сих пор стихи о войне, кроме, быть может, «Дома у дороги», которые взяли меня за сердце. Стихи большого поэта.

Мария Сергеевна и Юлия Моисеевна ушли не то к Нине, не то говорить по телефону, а я прочла Анне Андреевне вслух «Последнюю любовь». Ей не понравилось. Она прочитала сама, глазами — не понравилось опять. Нападки ее оказались, как всегда, совершенно неожиданными и на этот раз, к тому же, непостижимыми для меня.

— При чем тут шофер? — говорила она сердито. — Почему я должна смотреть на влюбленных глазами шофера? Ведь не смотрел же Блок на две тени, слитых в поцелуе, глазами лихача!.. Второе стихотворение гораздо лучше: чистое, поэтическое, прекрасное. А третье — тоже хорошее, но уже было. Это уже было. [164])

Я прочитала еще раз строки из «Последней любви»:

И они, наклоняясь друг к другу,
Бесприютные дети ночей,
Молча шли по цветущему лугу
В электрическом блеске лучей.

Бесприютные дети ночей! Такие найти слова для влюбленных.

Нет. Ничто не помогло.

Вернулись в комнату Мария Сергеевна и Юлия Моисеевна, приехала Эмма. Не знаю, как мы все уместились. Анна Андреевна каждой гостье давала прочесть «Последнюю любовь» и каждой толковала про шофера. Я изо всех сил пыталась понять ее мысль, но так и не поняла, почему поэт не имеет права взглянуть на своих героев со стороны, чужими глазами? Здесь это даже необходимо — взглянуть со стороны! — потому что в самый замысел стихотворения входит неведение героев об их будущем. Но гибельность будущего ясно начертана на их лицах, на цветах уходящего лета, и усталый старый человек, посторонний, читает эти письмена. Здесь все дело именно в неведении и ведении, а кто ведает — шофер ли, прохожий? не все ль равно? Сравнение с Блоком неправомерно: потому что все блоковские стихи о мчащемся лихаче — есть сами по себе стихи о гибели. Герой и сам знает, что рысак мчит его в гибель.

Над бездонным провалом в вечность,
Задыхаясь, летит рысак.
. . . .

Вот она, гибель:

И стало все равно, какие
Лобзать уста, ласкать плеча,
В какие улицы глухие
Гнать удалого лихача...

Или:

Болотистым, пустынным лугом
    Летим. Одни.
Вон, точно карты, полукругом
    Расходятся огни.

Гадай, дитя, по картам ночи,
    Где твой маяк...
Еще смелей нам хлынет в очи
    Неотвратимый мрак.

Ночной мрак — гибель, и герой сам это знает, а герои Заболоцкого — нет. За них знает шофер.

А машина во мраке стояла
И мотор трепетал тяжело,
И шофер улыбался устало,
Опуская в кабине стекло.
Он-то знал, что кончается лето,
Что подходят ненастные дни,
Что давно уж их песенка спета, —
То, что к счастью не знали они.

Никакие мои доводы и цитаты не помогали. Анна Андреевна с раздражением твердила одно: ну при чем тут шофер?

— Да ведь этот шофер — отчасти сам автор, — сказала я наконец. — Автор, который раздвоился и глядит на себя со стороны.

Ладно, отложили Заболоцкого. Я прочла вслух кусок поэмы Самойлова. Что там поет внутри — такое родное, знакомое, и такое новое, еще не бывшее ни у кого? Он лиричен насквозь — как-то, хочется сказать, виолончелен — всюду, не только в лирических строках, но и в повествовательных, рассказывающих, к которым я обыкновенно более глуха.

Рассказал эпизод о капитане Богомолове. Потом:

Мимо сел, деревенек, костелов
Мчится поезд дорогой прямой.
Мчится поезд дорогою дальней
Словно память летит сквозь года.
Рядом струйкою горизонтальной
Вдоль дороги текут провода.
Мимо клочьев осеннего дыма,
Мимо давних скорбей и тревог,
И того, что мной было любимо,
И того, что забыть я не мог.
Все хорошее или дурное,
Все добытое тяжкой ценой
Навсегда остается со мною,
Постепенно становится мной:
Все вобрал я — и пулю, и поле,
Песню, брань, воркованье ручья.
Человек — это память и воля.
Дальше двинемся, память моя.

Наверно, читала я очень плохо, заранее мучаясь от того огорчения, какое испытаю, если и эти стихи не понравятся Анне Андреевне.

Но ей они понравились, слава Богу, и даже очень. Она взяла у меня из рук «Москву» и перечла всего Самойлова: отрывок из поэмы и стихи — все насквозь, глазами.

— Хорошо, — сказала она еще раз. — Слышен поэт. «Постепенно становится мной» это уж и совсем хорошо. [165])

Я, ни к селу ни к городу, повторила свою любимую мысль, что вот в Мартынове я поэта не слышу ни на грош. Мария Сергеевна полу-согласилась, но сказала, что любит раннего Мартынова — «Реку Тишину». Юлия Моисеевна и Эмма возражали мне, говоря, что он «интересен» (термин, недоступный моему пониманию), «виртуозен», «блестящ».

— Я не согласна с Лидией Корнеевной. У Мартынова встречаются большие удачи. «Будьте полезны, будьте железны» это великолепно. А вот «богатый нищий жрет мороженое» мне ни к чему.

Сидели, болтали. Оказывается, вернувшись из Болшева, Анна Андреевна уже успела прихворнуть: искупалась и несколько дней провела полулежа. Но сейчас она снова выходит. Было уже поздно, мы все торопились по домам, но Анна Андреевна нас удерживала. Мы, плечом к плечу, сгрудились у нее на постели, вытеснив ее с привычного места на стул.

Я рассказала о том, что 1 апреля, в Переделкине, на дне рождения у Корнея Ивановича был Зощенко и произвел на меня и на Деда тяжелое, больное впечатление. Уходя, он явно не понимал, в какую дверь выйти, и все пытался проститься с Тамарой Владимировной, которая уезжала вместе с ним, путая ее с какой-то другой дамой, ему незнакомой.

— Бедный Мишенька, — сказала Анна Андреевна. — Я никогда в прежнее время не была с ним дружна, а теперь мне за него тревожно, как за близкого.

Помолчали.

Разговор перешел на всякие казенные оценки литературы, принятые в справочниках и в ВУЗ'ах. Анна Андреевна рассказала:

— В столице, в университете имени Ломоносова, профессор, доктор наук, читает студентам лекцию об акмеизме. При

этом о Николае Степановиче и об Осипе не упоминается; оставлены почему-то только Сергей Городецкий, я и Мишенька Зенкевич, который к тому же именуется Сенкевичем.

Наконец, все поднялись, и я вместе со всеми, но меня Анна Андреевна удержала:

— Останьтесь, у меня к вам дело.

Она проводила гостей и воротилась в комнату. Внезапным быстрым движением нагнулась и вытащила откуда-то длинный узкий прямоугольник картона. Движение было такое быстрое, что я не успела понять, откуда.

— Узнаете?

— Нет.

— Корешок вашей папки. Разве ваша папка была с рваным корешком?

— Нет, она была новая! Зачем же я вам дам рваную папку!

— Унесите! Лучше я сама к вам приду. (235)

Ох, до чего надоело! Опять Двор Чудес! Какая скука!

Шла я назад, повторяя слова пастернаковской молитвы:

И тебе ж невыносимы смеси
Откровений и земных неволь.

Либо откровений не надо, либо в придачу к ним нужна воля, хотя бы на 4 ½ метрах жилплощади.

Смесям не откажешь в остроте, но в них, окромя остроты, есть и нечто опостылевшее, скучное, нудное.

Значит, опять —

---

(235) В 1957 г., на основе дневников 1948-51 г., я окончила новую повесть: «Спуск под воду». Мне хотелось, чтобы А. А. прочла эту вещь. Я принесла ей на Ордынку экземпляр в аккуратной коричневой папке. А. А. уже несколько раз показывала мне корешки книг, взрезанные бритвой. Она усматривала в этих вспоротых переплетах деятельность Двора Чудес и, вероятно, не ошибалась. Была ли она права, найдя подтверждение своей мысли и в оторванном корешке моей папки, не знаю. Ведь, чтобы прочитать мою рукопись, не оставляя следов, достаточно было развязать тесемки. Быть может, проверяли, не вклеено ли что-нибудь в корешок?.. Разумеется, и Анну Андреевну и меня более всего интересовало — к т о занимается этой хирургией со столь маниакальным упорством.

Дежурят страх и Муза в свой черед.

16 апреля 58

В очередном разговоре о «Докторе Живаго» (о котором Анна Андреевна опять отзывалась весьма насмешливо), я сказала мельком, что Пастернак сильно подчеркивает всякие случайные совпадения: то время совпадет, то место, придавая видимо этим совпадениям особый смысл.

— Да, — ответила Анна Андреевна, — ими богата жизнь, но из этого ровно ничего не следует... В 41-ом, во время бомбежек, у меня в Фонтанном Доме уже невозможно было жить. Я решила переехать к Томашевским. За мной пришел Борис Викторович, взял мой чемоданчик (вот этот самый), и мы отправились. У цирка сели в трамвай. Но скоро началась тревога. Мы вышли. Нас загнали во двор, потом в какой-то подвал. Не глядя, мы на что-то сели; потом, в промежутке между разрывами, я подняла глаза... Белые стены! Это была «Бродячая собака». [166])

Встреча с Сурковым наконец состоялась. «Он был кроток как агнец», — сказала Анна Андреевна. Замену азиатских стихов — «сожженными» разрешил. Однако начало «Надписи на книге» («Почти что от летейской тени») восстановить не позволил, и «Мой городок игрушечный сожгли» дает, насколько я поняла, в искаженном виде.

Теперь книга снова отправляется в Венгрию — на сверку.

21 апреля 58

В городе флаги — день рождения Владимира Ильича.

И у меня флаги в душе. Сегодня я много часов провела с Анной Андреевной.

Сбылась моя мечта: она прочитала. И ей не не понравилось. (236)

---

(236) А. А. приехала ко мне и прочитала «Спуск под воду». Повесть эта, написанная в 1949-57 гг., долгие годы существовала лишь в единственном экземпляре и хранилась вне дома. После XX съезда я переписала ее на машинке в четырех экземплярах и осмелилась показать друзьям. В 1972 году она вышла в свет в Нью-Йорке в изд-ве им. Чехова, что послужило одной из причин полного запрещения не только печатать мои вещи на родине, но даже упоминать мое имя. Запрет продолжается по сей день; повесть же переведена на многие языки мира. О моей литературной судьбе см. примеч. [45]).

Я поехала на Ордынку часа в 2, привезла ее к себе и только вечером отвезла домой. Чуть ли не целый день мы провели одни. Она прочитала — потом говорила со мной — обо мне и не обо мне... Как это у нее в стихах точно названо, хоть и по другому поводу, а точно — «... дружбы светлые беседы»...

Что осталось бы от нашей жизни — от жизни всех нас — без этих бесед? Особенно от моей жизни: оледенелой. Постылый быт, постылая работа — для денег и без отклика, постылый Двор Чудес — и вечный страх за тех, кого любишь, маленьких и больших. «Поминальные дни» и безвестные могилы.

Но существует и в моей жизни — и в каком изобилии!

... несокрушима и верна
Души высокая свобода,
Что дружбою наречена

и потому я не вправе жаловаться.

Я приехала на Ордынку в такси. Анна Андреевна была не готова, машина строго тикала внизу, но она не торопилась. В халате спокойно пила кофе в столовой и ела свой творог. Спешить — это ей вообще не свойственно. Выпила две чашки, потом ушла переодеваться к себе.

— Шток говорит: ваши солдатские 8 минут.

Солдатские 8 минут длились, разумеется, все штатские 20.

И вот она у меня. Сидит в моем кресле, за моим столом, под моей зеленой лампой — ее седина, статность, спокойствие, плечи, движения рук, повороты головы — здесь, в мирном кругу настольного света. Она зоркая, читает, не наклоняясь над страницами и не поднимая их к глазам. Переворачивает прямым мизинцем листы. Умные зеленые глаза легко бегают по строчкам. Лицо неподвижно: ничего не угадать.

Я — в своем углу — пытаюсь готовиться к «семинару молодых». (237) Одна рукопись бездарней другой; словно на-

---

(237) «Семинаром молодых» (детских писателей) руководил в том году Лев Кассиль; я же, как член Бюро Детской Секции, должна была тоже читать рукописи и высказываться.

рочно произведен невидимой рукою «отбор наоборот»; послать бы Тусю или Шуру по городам и селам — каких чудес они оттуда навезли бы!

Впрочем, мне было не до чтения чужих рукописей: я все пробовала прочесть на лице у Анны Андреевны, что думает она о моей.

Не находя себе места, я тащусь на кухню и там что-то преждевременно грею и приготовляю.

Посередине чтения Анна Андреевна вдруг просит меня найти «Иностранную литературу» № 3 с какой-то статьей о Фолкнере. Зачем бы это? Надоела моя повесть? Я нахожу номер, но тревога бьет и колотит меня, и я не в состоянии разобраться в оглавлении.

Сижу в своем углу, смотрю на нее и думаю о том, как постыдно мало сделано мною, хотя Бог позаботился спасти меня и смолоду послал мне учителей небывалых: Тусю и Самуила Яковлевича, Корнея Ивановича и Анну Андреевну. Были, были на то извинительные причины, но у кого их нет? Талант и воля преодолели бы всё.

И вот — конец. Перевернута последняя страница. Она прочитала. Я сажусь напротив. Она говорит немногословно и точно; говорит и о мелочах и об общем, не отделяя одно от другого, подряд; не дает при этом вещи никакой общей оценки. Я не спрашиваю. («И «Софье» ведь она не давала, а любит ее», — утешаю я себя).

Нравится все фонарное. (238)

То, что после фонарного, лучше, чем то, что дó. (И я это чувствую, но в чем причина — не понимаю.)

Нельзя сказать — «поднялась уходить», «прилегла полежать».

---

(238) То есть все, относящееся к вставной новелле «фонари на мосту» (в книгу она вошла без названия; см.: Лидия Чуковская. Спуск под воду. Нью-Йорк, Издательство им. Чехова, 1972, стр. 92-102).

Новелла изображает случай, которому я сама была свидетельницей: в 37-38 году, в зале Большого Дома, проявляя «заботу о матери и ребенке», женщинам с детьми было дано право стоять после каждой четвертой, и таким образом они попадали в заветный кабинет быстрее, чем остальные. Позади меня стояла молодая финка с трехмесячной девочкой на руках: девочка умерла тут же в зале — но мать из очереди не вышла, не желая терять свою привилегию.

(Верю ей — но — не слышу. Вот беда.)

Всё, что о стихах — хорошо. И о процессе творчества.

Хорошо об огне. (239)

Хорошо: «роща была полна его ожиданием». (240)

Хорошо: «других понимальщиков, кроме нее, у меня не осталось». (241)

Хорошо: «тот режиссер, который поставил мой сегодняшний день». (242)

Хорошо: «для будущих братьев». (243)

Потом она взяла в руки «Иностранную литературу»,

---

(239) А. А. имела в виду строки, следующие в моей повести за размышлениями о том, как рождается книга.

«Книга была мною, замиранием моего сердца, моей памятью, которая никому не видна, как не видна, например, мигрень, болевая точка у меня в глазу, а станет бумагой, переплетом, книжной новинкой — и, если я бесстрашно буду совершать погружение, — чьей-то новой душой... «Это то же самое, — подумалось мне сегодня, — что роща. Да, да, березовая роща, которая сейчас шумит вершинами в небе, а потом сделается дровами, потом сгорит в печи — а потом — потом согреет кого-то, кто станет глядеть в жаркий огонь». — «Спуск под воду», стр. 36.

(240) «Его ожиданием была до краев полна роща, и бережно ступая по тропинке, я слышала течение минут, которые он отсчитывает у себя в комнате». — «Спуск под воду», стр. 63.

(241) Для времени, которое я пыталась изобразить, характерны были такие, порождаемые страхом, черты: разобщенность людей, непонимание происходящего и совершенная путаница в умах. Открыто, по душам, каждый разговаривал с одним или двумя друзьями, не более. В моей повести героиня сообщает об одной своей приятельнице: «...с ней я могу говорить обо всем. Других «понимальщиков», кроме нее, у меня не осталось». — «Спуск под воду», стр. 82.

(242) В повести описывался день, когда на прогулке случайно встреченные люди рассказывали героине один ужас за другим. А. А. имела в виду такой отрывок:

«Домой мне было рано. Я пошла по дороге к шоссе. Я полагала, что на сегодня с меня хватит, но тот режиссер, который поставил мой сегодняшний день, решил иначе». — И далее рассказывается еще об одном, только что сообщенном, ужасе. — «Спуск под воду», стр. 76-77.

(243) «Нет, моей памяти никто не позволит превратиться в книгу...

Зачем же я совершаю свой спуск?

Я хочу найти братьев — не теперь, так в будущем. Все живое ищет братства, и я ищу его. Пишу книгу, чтобы найти братьев — хотя бы там, в неизвестной дали». — «Спуск под воду», стр. 37.

мгновенно нашла нужную статью и прочитала мне оттуда строки о процессе творчества. (244)

— Вот и у вас об этом же идет речь, — сказала она. — И у меня в «Решке». Творчество, как предмет изображения. Но что за странная статья! Я долго трудилась, прежде чем из нее извлекла нечто. Читатель обязан быть прилежен и трудолюбив. Я читала, читала, читала — меня очень интересует Фолкнер — и все какие-то обиняки. Но в конце концов статью есть из-за чего читать. Она питательная. Хотя построена она по принципу еврейского анекдота: «Вы знаете, как делают творог? Берут вареники и ви-ко-ви-ривают!»

...Когда разговор о «Спуске под воду» был окончен и мы пообедали, Анна Андреевна вдруг сказала:

— Дайте, пожалуйста, ту пачку.

«Та пачка» — это кусок из «Трудов и дней» Гумилева — пачка, которую когда-то еще до войны, в Ленинграде, Анна Андреевна дала мне на хранение. В прошлый раз она лишь мельком взглянула на эти листки и не взяла их с собой. (Я знаю, она составляет «Труды и дни» Гумилева вместе с одним из своих друзей, учеником Николая Степановича). Теперь, сидя у меня, она внимательно разглядывала каждый листок.

Я опять уселась в дальнем углу читать своих графоманов, но она каждую минуту отрывала меня.

— Да тут сокровища! Вот, читайте!

Оказывается, О. напечатала где-то в Париже, будто Николай Степанович относился к стихам Анны Андреевны, как к рукоделию жены поэта.[167]) А тут, в пачке, содержится

---

(244) А. А. прочитала мне следующие строки:

«Он (Фолкнер, Л. Ч.) дает читателю не только зрелые плоды своего творчества, но словно раскрывает перед ним самый процесс творения, «процесс производства»: склады беспорядочно нагроможденного сырья и весь ход черновой обработки, показывает и собственно «технологические процессы», весь путь превращения заготовки и возникающие при этом отходы и мусор». Р. Орлова и Л. Копелев «Мифы и правда современного юга» (Заметки о творчестве Фолкнера) — «Иностранная литература», 1958, № 3, стр. 218.

Статья, цитируемая Анной Андреевной, была первой доброжелательной и добросовестной попыткой познакомить советского читателя с Фолкнером. До тех пор советская печать либо замалчивала его, либо осуждала.

опровержение... Анна Андреевна произнесла об этих заграничных мемуарах гневный монолог:

— Так он думал вначале. А потом, когда он уехал в Африку, вернулся, и я ему прочла стихи из будущей книги «Вечер» — он переменил свое мнение... У него роман с О. был в начале двадцатых, он тогда был сильно уязвлен нашим разводом. Кроме того, она из него кое-что по-женски выдразнила. Но вот посмотрите, письмо ко мне: уже 2 года в разрыве, никаких между нами зефиров и амуров. И вот, читайте, что́ он пишет.

Показала отрывки: хвалит приморскую девчонку («она пьянит меня»), утверждает: «ты не лучшая русская поэтесса, а крупный русский поэт».

Она попросила листочек бумаги и выписала библиографическую ссылку на какую-то статью, где Гумилев пишет: «Ахматова захватила всю сферу женских чувств, и все поэтессы должны пройти ею». [168])

— Да тут сокровища! — повторила Анна Андреевна. — — Семь писем Иннокентия Анненского к Маковскому. А я думала — все погибло.

(Что ж, она позабыла, что дала эту пачку мне на хранение в 41 году? Ни разу не осведомилась за все 18 лет!)

— Нет. Не забыла, — ответила Анна Андреевна на мой прямой вопрос. — Но я думала, раз вы молчите, — значит, погибло. Обыски, война, блокада, эвакуация... Я не знаю, г д е вы ее хранили, но вы — или не вы! — имели полное право сжечь ее.

Я была очень тронута такой деликатностью. [169])

В этот день удалось мне угодить Анне Андреевне и ее фотографиями. Я посылала одному вятскому кудеснику на воскрешение ее маленькие ташкентские снимки, подаренные ею мне когда-то. На одном надпись карандашом. «Моему капитану Л.К.Ч.» — капитаном она меня прозвала в дороге из Чистополя в Ташкент... Волшебник совершил свое чудо: карточки прояснились, и теперь Анна Андреевна с большим удовольствием их рассматривала: на одной — чудесно вылепленная голова, профиль с челкой, глаза опущены; а другая — en face: глаза поднятые, сияющие, кажущиеся огромными (такие редко у неё бывают; на самом деле глаза у нее пронзительные, но небольшие).

— Подумайте: даме 53 года, а еще видно, чем она была, — сказала Анна Андреевна. — Видно, в чем собственно было дело. Я их возьму? — и спрятала карточки в сумку. (245)

Она спросила у меня: читала ли я статью Виктора Ефимовича о стихах. Я сказала — нет, но Сергей Львович Львов говорил мне о ней с возмущением и собирается выступать в печати.

— Разделяю его неудовольствие. Поэт, видите ли, не имеет права сказать: «зеленый переполох травы». Да ведь это и есть поэзия!.. И зачем Ардов вмешивается? Все знают, что я живу у Нины, и теперь будут думать, что это я его подучила.

Я ответила, что вряд ли найдутся такие дураки. Но почему она хоть не отговорила его?

— Он не сказал ни слова ни мне, ни Нине Антоновне. [170])

Заговорили о Зощенко. Михаил Михайлович был у нее. Он оставляет впечатление психически-больного.

— Бедный Мишенька. Он не выдержал второго тура, повредился. Мания преследования и мания величия. Разговаривать с ним нельзя, потому что собеседника он не слышит. Отвечает невпопад. Сейчас я вам расскажу, по какой схеме происходит каждый разговор. Я буду Зощенко, а вы — вы. Спросите у меня что-нибудь. Я — Михаил Михайлович.

— Вы собираетесь летом куда-нибудь за город? — спросила я.

— Горький говорил, — медленно, торжественно, по складам, отвечала Анна Андреевна, — что я — великий писатель.

22 апреля 58 ◆*)

Поднимаясь по лестнице к Деду, я на мгновение остановилась, чтобы перевести дух. И сразу наверху голос: горя-

---

(245) Теперь обе фотографии разлетелись по разным изданиям мира. Вторая (глаза подняты) опубликована в ББП, между страницами 272 и 273; дата же указана неверно: «конец 1930-х» вместо 1942.

*) С этого места я начинаю вводить в свои «Записки об Анне Ахматовой» все упоминания о Пастернаке, в изобилии встречающиеся в моем «общем» Дневнике. Это необходимо, чтобы избежать пересказа наших тогдашних разговоров: в том роковом для Пастернака году мы говорили о нем постоянно.

Вставки, заимствованные мною из моего общего Дневника, я помечаю особым значком: ◆.

чий, глуховатый, страстный голос Бориса Леонидовича.

К сожалению, у Деда были: Ираклий (которого не терпит Пастернак), Оля Наппельбаум и Наталья Константиновна Тренева. Так что мое свидание ни с Дедом, ни с Борисом Леонидовичем в сущности не состоялось. [171]) Но с Дедом я рассчитывала вечером увидеться наедине, а сейчас во все глаза смотрела на Бориса Леонидовича. И слушала во все уши.

Я зашла в комнату на середине монолога. Как всегда, запомнить бурный водопад его речи не оказалось по силам мне; словесные шедевры, рождаемые в кипении и грохоте, шли вереницей, один за другим, один уничтожая другой; зрительное сравнение здесь, пожалуй, более уместно: они шли, подобные облакам, которые только что напоминали глазу гряду скал, а через секунду превращались в слона или в змею.

Он говорил об искусстве (я застала конец); о Рабиндранате Тагоре (по-видимому, бранил); о письме, полученном им на днях из Вильно, от какого-то литовца, который его, Пастернака, призывает срочно устыдиться романа, по причине успеха на Западе.

Мое первое впечатление было, что выглядит он отлично: загорелый, глазастый, моложавый, седой, красивый. И, наверное, от того, что он красив и молод, печать трагедии, лежащая в последние годы у него на лице, проступила сейчас еще явственнее. Не утомленность, не постарелость, а Трагедия, Судьба, Рок.

И еще новизна: его отдельность. От всех. Он уже один — он ото всех отделен. Чем? Сиянием своей гениальности?

Но это мощное и щедрое свечение исходило от него всегда. Чем же? Судьбой, Роком? Обреченностью?

По-своему, на свой манер, лицо у него, вопреки загару и здоровью, не менее страшное теперь, чем у Зощенко. Но,

глядя на того, сразу замечаешь болезнь. Михаил Михайлович худ, неуверен в движениях, у него впалые виски и жалкая улыбка. Он — «полуразрушенный, полужилец могилы». А Борис Леонидович красив, моложав, возбужден, голосист — и — гибель на лице.

Впрочем, подсев ко мне поближе и понизив голос, он пожаловался не на что иное, а именно на болезнь. Болит нога.

— Сильно болит? — спросила я.

— Да.

— Зачем же вы выходите в такую мокрую погоду?

— Эта боль больше погоды, больше всего, погода перед нею мелочь...

Он взял у Деда « Light in August » Faulkner'а, шумно и весело простился с хозяином и гостями и вышел. Я проводила его до ворот. Он спешил.

24 октября 58 ◆

Из «Советского Писателя» — отказ выпустить сборник моих статей.

Сборник дошел до Карповой, миновал благополучно эту грязную отмель и разбился о железобетонную плотину, чье имя — Лесючевский.

Предлоги самые дурацкие и легко опровержимые. Буду бороться. [172])

25 октября 58 ◆

Нет, не стану. Всё это неинтересно, ничтожно.

Ах, как и тебе, прель, мне смерть
Как приелось жить...

Опять эта старая скука. Опять они, всё те же пустые слова, хуже чем пустые — удушливые.

И Федин — туда же, и Твардовский — туда же. (246)

Чем они лучше Льва Успенского? Как можно *сейчас* выступать с порицанием романа — хорош ли он или дурен — на тех же страницах, где «Провокационная вылазка»?

Утром страшно мне раскрыть
Лист газетный...

26 октября 58 ◆

Длится пастернаковская страстная неделя.

Сегодня «Правда» спустила на Пастернака Заславского. [173])

Этот «публичный мужчина», если воспользоваться терминологией Герцена, из тех, кто торгует красой своего слога, призван, видите ли, напомнить Пастернаку (он — Пастернаку!) о совести, о долге перед народом.

Всё тонет в фарисействе...

Всё это уже давно нашло свое изображение в 66 сонете Шекспира и в «Гамлете» Бориса Леонидовича.

Где-то он сейчас? Что с ним? Каково ему?

Глядят на меня с газетных страниц кавычки — излюбленный знак того жаргона, на котором изъяснялись у нас журналисты палачествующего направления; так и вижу

---

(246) Травля Пастернака из-за Нобелевской премии началась 25 октября 58 года с появления в «Литературной газете» статьи под угрожающим заглавием: «Провокационная вылазка международной реакции». В том же номере газеты было помещено «Письмо», адресованное Пастернаку редакцией журнала «Новый мир» еще два года назад, в 56 году, когда журнал редактировал К. Симонов. У Пастернака с симоновским «Новым миром» был договор — и письмо служило обоснованием отказа напечатать представленную рукопись. Новая редколлегия, руководимая уже не Симоновым, а Твардовским, в небольшой статье, сопровождавшей прежнее письмо, характеризовала отказ как правильный, но излишне мягкий, «не выражающий той меры негодования и презрения», какую вызывает в них, членах новой редколлегии, «нынешняя постыдная, антипатриотическая позиция Пастернака».

К. Федин был членом обеих редколлегий: и при Симонове и при Твардовском.

сквозь десятилетия: «деятельность» — в кавычках, «группка» — в кавычках, «школка» в кавычках; теперь: «награда» — в кавычках, «мученик» — в кавычках.

Только два слова — враг народа — всегда употребляли без кавычек. И еще два: внутренний эмигрант.

Звонила в Переделкино. Дед заболел. Спазм сосудов мозга. Давление сильно повышено. Его уложили в постель, запретили ему работать — самое для него трудное.

27 октября 58 ◆

Может ли Борис Леонидович чувствовать себя оскорбленным статьей Заславского?

В 1938 году был у меня один спор с Г.: ощущает ли человек, когда его бьют в кабинете следователя, оскорбленность? или одну только боль? Я говорила — да, ощущает оскорбление, Г. говорил — нет. «Представь себе, объяснял он, что ты идешь по улице и тебя за ногу кусает собака. Рана глубокая, укус гноится, у тебя гангрена, ты страдаешь, ногу отнимают, ты остаешься калекой. Естественно, ты чувствуешь себя несчастной, но — оскорбленной ли? Оскорбить человека может, говорил он, только человек; кирпич, упавший на голову, наносит рану или смерть, но не наносит оскорбление».

Заславский, рядом с Борисом Леонидовичем, да и просто с любым порядочным человеком, всего лишь собака, науськиваемая на. Может ли Борис Леонидович чувствовать себя оскорбленным?

Да, я думаю, может. Потому что Заславский, какой бы он там ни был, все-таки человек. И потому, что побои эти наносятся словом и сло́ва читают не собаки, не кирпичи, а люди.

Звонила в Переделкино. Деду хуже. Давление не снижается. Сна нет. Не потому ли, что там побывал Коля и заразил его общим страхом, царящим в Союзе Писателей? И

своим собственым в придачу — за то неловкое положение, в которое попал Дед?

Я-то считаю, что Дедовым поступком, совершившимся вполне естественно, следует гордиться, а как думает Коля — Бог весть. (247)

К вечеру в городе распространился слух: Пастернак исключен из Союза Писателей. Какой-то Президиум собрался и исключил. Или Правление. Черт его знает. У нас сейчас много Правлений, я не в состоянии запомнить, что — чтó и кто где.

Но как бы там ни было, я — член Союза, стало быть и я исключила его.

Когда исключали Ахматову, мне было легче. Не потому, упаси Боже, что мы тогда, после ссоры, еще не начали снова встречаться, и не потому, что я любила ее поэзию меньше, чем стихи Пастернака. Нет, речь Жданова меня оскорбила, унизила, — за нее, за нас всех, за Россию.

Но тогда мне было все-таки легче: я не была еще членом Союза.

А теперь — теперь — я тоже в ответе.

---

(247) После большого успеха романа «Балтийское небо» (1954) Н. К. был избран не то в Правление, не то в Президиум Союза Писателей (точно не помню). С тех пор все мои выступления в печати или с трибуны постоянно представлялись моему брату чрезмерно резкими, необдуманными и даже опасными. Опасными для изданий и переизданий книг — его и Корнея Ивановича. Не раз он учинял мне выговоры по телефону. В городе мы почти не встречались и сосуществовали мирно, с полным взаимным доброжелательством, только под переделкинской крышей: нас по-прежнему связывала память об общем детстве и любовь к Деду.

В тот день, когда сделалось известно, что Пастернак получил Нобелевскую премию по литературе, К. И., взяв с собой Люшу, отправился поздравить нового лауреата. Во дворе стояли машины иностранных корреспондентов. Когда К. И. целовал руку Зинаиде Николаевне, а Борис Леонидович обнимал Люшу, когда потом все четверо подняли бокалы в честь премии — корреспонденты защелкали аппаратами. В ближайшие дни фотографии оказались напечатанными во многих иностранных журналах. К. И. в любую минуту мог ожидать, что Союз потребует его к ответу. Это сильно тревожило моего брата, и я опасалась, что своей тревогой он заразит Корнея Ивановича. Боялась я, разумеется, не какого-либо отступничества, а новых мозговых спазм, которым стал подвержен К. И. в последние годы.

Об Н. Чуковском см. примеч. 216).

Пастернак называл меня своим другом. У меня есть его фотография с надписью: «Большому другу моему»...

Он возил меня на чтения своего романа. Он доверял мне.

Да если бы и не друг! Какая огромная часть созданного им мира стала моим!

Постепенно становится мной...

Не становится — стала... И «Отплытие», и «Приедается все», «Не как люди, не еженедельно», и речь Шмидта, и «Я тоже любил, и она жива еще», и вся «Сестра моя жизнь», и «Рослый стрелок, осторожный охотник», и «В больнице». Всего не перечесть. И «Август», и «Гамлет», и стихи из романа...

28 октября 58 ◆

С утра, встревоженная состоянием Деда, я поехала в Переделкино.

Он лежал у себя на диване, укутанный одеялом по самое горло: балконная дверь полуоткрыта.

Глаза несчастные, потому что работать нельзя, и три ночи не спал и, конечно, Пастернак, Пастернак.

Думает он, разумеется, только о том, что случилось. Эти мысли подняли давление, лишили его сна, уложили в постель. Не знаю, известно ли ему уже, что Пастернак вчера исключен из Союза?.. Спросить, узнать, посоветоваться, утешить нельзя. Для меня, когда приходит несчастье, одно спасение — погрузиться в него, тогда я скорее вынырну. Для него наоборот: делать вид, перед собой и другими, будто ничего не случилось, и, главное, чтобы его «отвлекали». Для меня в такие часы всякое отвлечение — оскорбительно, для него — единственный способ излечиться. Помню, как жестоко он страдал, когда исключили Ахматову и Зощенко; но г о в о р и т ь об этом несчастье при себе запретил, хотя и приглашал потом к себе погостить и Михаила Михайловича и Анну Андреевну, а Михаилу Михайловичу я сама передавала от него деньги. Но когда случилось — требовал, чтобы ни слова при нем... Сев возле, я начала болтать нечто невразумительное о Люшиных успехах в Институте. Он слушал,

задавал вопросы. «Не почитать ли тебе?» — спросила я. Обыкновенно он, в последние годы, отказывался от моего чтения (из-за моих проклятых больных глаз), но тут согласился. Верно, очень уж устал. Я читала ему вслух какой-то роман Томаса Гарди, из середины, с того места, где кончила Клара, (248) не понимая ни единого слова, но с толком, с чувством, с расстановкой. Он сначала будто вслушивался, потом опустил веки. Я отмахала еще страницы три и вгляделась в него, как столько раз вглядывалась в это засыпающее лицо в детстве. Спит? Притворяется? Хочет, чтобы я ушла? «Иди, иди, Лидочек, я сплю», — пробормотал он, и я вышла.

Спустилась, побродила по мокрому саду, и вдруг поняла, что́ я сейчас сделаю: пойду к Пастернаку.

Я ухватилась за эту мысль с такой жадностью, с какой кидается, наверное, больная собака на целебную траву.

По ту сторону нашей улицы, между нами и воротами Сельвинских, у обочины стояла машина. «Победа», что ли? Она и утром, когда я пришла со станции, была тут же; я еще подумала тогда: вот кто-то приехал мешать Деду, надо не пустить, а может быть это к Сельвинским? И сразу же забыла про нее. Сейчас я рассмотрела четырех одинаково одетых мужчин, погруженных в чтение одинаково раскрытых газет. На меня они даже и не взглянули, но идя своей дорогой к шоссе, я все время чувствовала затылком провожающие меня восемь глаз.

Я свернула на шоссе, потом на улицу Пастернака, имеющую наглость именоваться улицей Павленко. Тут, за поворотом, я им уже не могла быть видна. Зачем они там торчат? Объект наблюдения — Дедова дача? Вряд ли. На пастернаковской дороге пусто, никого. Заборы слева, канава и поле справа. Бесконечно тянется фединский забор. Я никогда не думала, что он такой длинный. Что я скажу Борису Леонидовичу? Как перенесу сегодня обычную грубость Зинаиды Николаевны?

Сегодня этот короткий путь казался мне удивительно длинным. Я шла мимо глухих заборов, по пустой дороге, мимо канавы и поля. Кругом — никого. Но, к стыду моему, страх уже тронул меня своей лапой. Я чувствовала, что не они, а

---

(248) О Кларе Израилевне Лозовской — см. примеч. 239).

я сама уже подозрительно кошусь на кусты, на канаву, на знакомую тропу, пересекающую поле... Так, наверное, ходят люди по дорогам оккупированной местности: все свое, родное, знакомое и в сущности ничем не измененное, оно вдруг становится источником страха.

Подойдя к воротам, я каждую секунду ожидала окрика: «стой!» (249).

Толкнула калитку. Вошла. Во дворе пусто; я подалась к боковому, правому, кухонному крыльцу. «Дома Борис Леонидович?» — «Дома». Работница побежала сказать ему и, вернувшись, объявила: «идите через двор, он вышел вам навстречу». Он в самом деле шел по двору, вглядываясь в меня и не узнавая. Серая куртка, серые брюки, заправленные в сапоги. Узнав, убыстрил шаг и обнял меня.

— Исключили? — спросил он.

Я кивнула.

— В газетах уже речи... и всё? У нас еще не было почты.

— Нет, только самое постановление. Я поглядела мельком. (250)

---

(249) Как я узнала впоследствии от одного из соседей Бориса Леонидовича, прямо напротив дачи Пастернака в этот день и еще 2-3 дня спустя дежурил «Виллис», оснащенный подслушивающими приборами. Стоял он по другую сторону поля, мимо которого я шла (то есть довольно далеко), потому я его и не видела.

Через несколько дней я написала стихотворение «28 октября 1958 года», напечатанное ныне в сборнике моих стихов «По эту сторону смерти» (Paris, YMCA-Press, 1978, стр. 85). Привожу его:

Я шла по воздуху мимо злых заборов.
Под свинцовыми взглядами — нет, не дул, а глаз.
Не оборачиваясь на шаги, на шорох.
Пусть не спасет меня Бог, если его не спас.
Войти — и жадно дышать высоким его недугом.
(Десять шагов до калитки и нет еще окрика «стой!»)
С лесом вместе дышать, с оцепенелым лугом,
Как у него сказано — «первенством и правотой».

(250) 28 октября в «Литературной газете» было сообщено, что 27-го состоялось заседание Президиума Правления СП СССР, Бюро Оргкомитета СП РСФСР и Президиума правления Московского Отделения СП СССР. На этом заседании Пастернак и был исключен из Союза.

Он повел меня в дом. Помог снять пальто. Мы вошли в комнатку налево, маленькую, где только рояль, а на стенах — рисунки отца.

Усадил меня, принес другой стул и сел прямо напротив. В ясном дневном свете я увидела желтоватое лицо, блестящие глаза и старческую шею.

Он заговорил, перескакивая с предмета на предмет и перебивая себя неожиданными вопросами.

— Как вы думаете, и Лёне они сделают худо?

— Как вы думаете, у меня отнимут дачу?

Рассказал, что вчера поехал в город с намерением явиться на собрание, но в городе ему сказал кто-то, будто состоится общее собрание, и он решил не идти. («На это сил нет»). Наспех написал записку, что не может придти, потому что почувствовал себя дурно. Что отказывается от премии в пользу Комитета Мира. Что просит дать ему время — недели две — чтобы обдумать свое положение. Но что он решительно не согласен считать честь, ему оказанную, позором... Едва он успел вернуться в Переделкино, приехала на машине литфондовская докторша.

— Как вы думаете, почему они ее послали? Потому, что я написал о своем нездоровии? Послали врача — лечить?

— Да, по-видимому, — сказала я без уверенности. — Это называется «беспощадность к врагу» в сочетании с «заботой о живом человеке».

— А мои близкие говорят, это была проверка: в самом ли деле я болен.

— И что же оказалось?

— Давление повышено... А знаете, — сказал он с раздумьем, взяв меня за руку и близко заглянув мне в глаза, — мои друзья, Ивановы, говорят, что мне следует уехать отсюда в город, потому что здесь, на улице, может кто-нибудь запустить в меня камнем.

Он вскочил и остановился передо мной.

— Ведь это вздор, неправда ли? У них воображение расстроено.

— Вздор! — сказала я решительно. — Совершеннейший вздор! Как это может быть!

(В ту секунду я была искренняя: чья рука поднимется на Пастернака!? Но сегодня вечером, перед сном, вспомнила, как

Дед в самом начале войны уверял нас, что Ленинград может не бояться бомбежек, потому что у кого же поднимется рука бросить бомбу в Адмиралтейство или на улицу Росси?..)

— Вздор! — повторила я опять. И потом, когда мне на секунду представилось, будто мерзкая тема покинула нас, сказала, что из его последних стихов знаю «птичку» и «грозу» — от Деда. [174])

Он отмахнулся раздраженно.

— Стихи — чепуха, — сказал он с сердцем. — Зачем люди возятся с моими стихами, не понимаю. Мне всегда неловко, когда этакой ерунде оказывает внимание ваш отец. Единственное стоящее, что я сделал в жизни — это роман. И это неправда, будто роман люди ценят только из-за политики. Ложь. Книгу читают и любят.

Сегодня он говорил отчетливо и легко-записываемо. Но в этой отчетливости была какая-то сухость и какое-то смятение — нечто более беспокойное, чем в обычных его бурных речах.

Я поднялась. Ничего путного я все равно не умела сказать ему. Он меня не удерживал. Надел пальто и вышел вместе со мною — он собирался дозваниваться из Конторы Городка в Москву. Я его уговорила идти лучше к нам: подумала, закрою поплотнее двери из столовой в переднюю, и Дед наверху не услышит гóлоса. Зачем Борису Леонидовичу идти сейчас в Контору на всеобщее обозрение? Он согласился. Мы шли быстро. А машина у наших ворот? мельком подумала я, но ему не сказала. Впрочем, теперь не всё ли равно?

Безлюдье, пустота, безмолвье дороги и пóля охватило нас и заставило умолкнуть. Я заметила, что Борис Леонидович одним глазом покосился на кусты и канаву.

— Как странно, — сказал он, с совершенною точностью выговаривая мою собственную мысль, — никого нет, а кажется, что кто-то смотрит.

— Упырь? — сказала я. — Тот, блоковский, или недавний, наш, все равно.

Он пробормотал что-то, кивнул, но, кажется, не понял. А я про себя молча прочитала этот блоковский отрывок, ко-

торый воспринимаю и помню наизусть, как стихотворения из любимого третьего тома. (251)

Мы подходили к нашей даче. Четверо сидели в машине вразвалку, уже не прикрываясь газетами, и во все глаза глядели на нас. Один даже высунулся. Они-то и есть — о к о? Нет, Блок прав, если бы это были только они, не было бы так странно и страшно. Око старого упыря... Борис Леонидович не обратил на них никакого внимания, не раздеваясь сел сразу в столовой звонить. Я плотно прикрыла дверь в переднюю, чтобы гóлоса не услыхал наверху Дед, и вышла на крыльцо, чтобы самой не слышать разговора. Борис Леонидович переговорил очень быстро. Я проводила его до ворот, а потом — так не

---

(251) То есть из «Книги третьей» стихов Александра Блока, вышедшей в 1921 г. в издательстве «Алконост».

Прозаический же отрывок, припомнившийся мне, написан Блоком в 1908 г. по поводу восьмидесятилетия Льва Толстого. («Старым упырем» Блок называл Победоносцева). Вот этот отрывок:

«Старый упырь теперь в могиле. Но мы знаем одно: в великую годовщину 28 августа, в сиянии тихого осеннего солнца, среди спящей, усталой, «горестной», но в с е т о й ж е великой России, под знакомый аккомпанемент административных распоряжений и губернаторско-урядницких запрещений шевелиться, говорить и радоваться по поводу юбилея Льва Толстого, — прошла все т а ж е чудовищная тень.

. . . .

Все привычно, знакомо, как в о в с е в е л и к и е д н и, п е р е ж и в а е м ы е в Р о с с и и. Вспоминается все мрачное прошлое родины, все, как подобает в великие дни. Чья мертвая рука управляла пистолетами Дантеса и Мартынова? Кто пришел сосать кровь умирающего Гоголя? В каком тайном и быстро сжигающем огне сгорели Белинский и Добролюбов? Кто увел Достоевского на Семеновский плац и в мертвый дом?

. . . .

Величайший и единственный гений современной Европы, высочайшая гордость России, человек, одно имя которого — благоухание, писатель великой чистоты и святости — ж и в е т с р е д и н а с. И неусыпно с л е д и т з а н и м чье-то зоркое око. Кто же это: министр ли, который ведает русскую словесность, простой сыщик или урядник? Да неужели нам всем, любящим Толстого как часть своей души и своей земли, было бы так с т р а н н о и так с т р а ш н о, если бы за душой и землей нашей следили т о л ь к о они? И разве видно им сокровенное земли и души нашей, благословенные дали Ясной Поляны? Нет, не они смотрят за Толстым, их глазами глядит мертвое и зоркое о к о, подземный, могильный глаз упыря». (Александр Блок. Солнце над Россией. — Сочинения в двух томах. Т. II. М., Гослитиздат, 1955, стр. 71-72).

хотелось расставаться с ним! — до перекрестка. Парни, развалясь, тосковали в машине.

— А вы видели, — сказал мне вдруг Борис Леонидович своим обычным бодрым и громким голосом, — как ваша Люша прекрасно вышла на фотографиях? Решительно на всех. И ямочка на щеке! Я был очень рад.

Его трогательное желание порадовать меня этим сообщением меня рассмешило. Хорошо, если этих отличных фотографий, где воспроизведена даже ямочка, не пожелают заметить в Люшином Институте.

Мы простились. Он пошел было прочь (странно — мне впервые бросилось в глаза, как он хромает), но вернулся, обнял меня и поцеловал.

Только что я пришла домой и хотела было подняться к Деду, меня остановил телефонный звонок. Из Союза Писателей. Просят Корнея Ивановича. Я сказала, что Корней Иванович очень болен, лежит, и быстро повесила трубку. Снова звонок: Анна Андреевна приехала и требует, чтобы я как можно скорее предстала пред ее ясные очи. Она сейчас где-то на Тульской, вместе с Ардовыми, потому что на Ордынке капитальный ремонт. Я отказалась ехать сегодня и обещала явиться завтра утром, когда меня сменят; боюсь оставить Деда.

И поднялась к нему.

Хорошо, что он не выходит на балкон и не видит машины.

29 октября 58, днем

Вспоминаю Герцена: «Какие вы все злодеи народа».

Сегодня я с утра вызывала такси и — к Анне Андреевне, в ее новую резиденцию на Малой Тульской.

Еду. Мальчишка шофер внезапно обернулся ко мне:

— Читали, гражданочка? Один писатель, Пáстер, кажется, фамилие, продался зарубежным врагам и написал такую книгу, что ненавидит советский народ. Миллион долларов получил. Ест наш хлеб, а нам же гадит. Вот, в газете пишут.

И протянул мне «Правду».

Ах, какие мы все злодеи народа! Мы не прочитали тебе, мальчик, Пастернака, не дали вовремя его стихов, его Шопе-

на, его статей, — чтобы ты оказался в силах встретить этот номер газеты так, как он того заслуживает.

Идет настоящая охота на душу «простого человека», этого ни в чем неповинного, нами обокраденного мальчика. И он — по нашей вине — беззащитен.

Хуже того: его можно научить бросить камнем. Если это случится, это тоже будет наша вина.

... На Тульской большая, пустая комната. Тут сейчас живут вместе Нина Антоновна и Анна Андреевна.

— Я — как Наполеон, — сказала она мне. — Остановилась не в Москве, а на подступах.

Выглядит она не худо. И опять, как всегда, когда отвыкнешь от нее, поражают заново ее лицо и движения. Она в своем лиловом халате с широкими рукавами; поднимет руки, ну, просто, чтобы прическу поправить, а впечатление такое, будто она воздела их к небу: то ли тебя благословляет, то ли молится.

Она расспросила меня о здоровье Корнея Ивановича, но то была лишь вежливость, а главный теперешний ее интерес, страстный интерес — Пастернак.

К моему удивлению, она была потрясена — да, именно потрясена! другого слова не подберу, — тем, что я вчера видела его собственными глазами. Вчера вечером она столь настойчиво вызывала меня из Переделкина, в надежде, что я привезу оттуда какие-нибудь слухи о нем, еще не дошедшие до Москвы, но что я попросту видела его и говорила с ним — это ей на ум не приходило. Так что, по ее внушению, я сама впервые удивилась, что это было.

Я перенесла получасовой допрос. Каждое слово, его и свое, и как он сидел, и когда он вскочил, и когда схватил меня за руку, и каждую свою вчерашнюю мысль я передала ей со всею возможною точностью, но я не уверена, удалось ли мне передать то чувство, которое я испытала, когда шла одна, а потом вместе с ним по знакомой, родной и почему-то уже чужой и опасной дороге.

Она спросила меня, могу ли я обещать, что достану машину и поеду с ней к нему, когда она решит ехать? Ей очень хочется.

Конечно, достану.

Затем она опять затеяла разговор о романе: опять объяснила, почему роман — неудача.

— Борис провалился в себя. От того и роман плох, кроме пейзажей. По совести говоря, ведь это гоголевская неудача — второй том «Мертвых душ»! ... от того же в такое жестокотрудное положение он поставил своих близких и своих товарищей.

Быть может, она права. Но сегодня я не расположена была слышать эту объективную истину, мне больно было ощущать холод этой правоты... Я молчала. И каких близких и каких товарищей поставил он в трудное положение? Лагерь сыновьям не грозит. Зинаида Николаевна давно уже далекая. Ольга? Ольгу мне не жаль. Собратья по перу? Достаточно я на них нагляделась в Малеевке, и они мною точно описаны. (252) Половина членов Союза искренне ненавидит Пастернака за его независимость, треть равнодушна и совершенно не догадывается, ктó он — а остальные, постигающие, те не ему должны предъявлять свой счет.

Ардов позвал нас чай пить. За чаем Анна Андреевна была почти веселая. Потом я собралась было уходить, но она настойчиво увела меня к себе. Прочитала мне четыре новые стихотворения — прошло тó времечко, когда я запоминала ее стихи с одного чтения... Быть может, сегодня я была отвлечена, угнетена или устала, но на этот раз я запомнила всего одну строчку:

И голосом тринадцатого года (253)

Затем она прочитала мне новые строфы в «Поэме» и новую главу из своей пушкинской работы о Геккерне. [175])

Ахматова, в своих пушкинистских работах, постепенно отходит от общепринятого стиля литературоведческих статей и приходит к созданию новой, ахматовской, прозы. Слушая чтение, я думала: работу о «Золотом петушке» могла бы написать не одна лишь Ахматова — это замечательное открытие мог бы совершить любой начитанный и талантливый пушкинист. А вот, например, догадаться, что означает отрывок «Когда по-

---

(252) В повести «Спуск под воду».

(253) Запомнила неверно. На самом деле: «И голос из тринадцатого года» — строка из стихотворения «Опять проходит полонез Шопена» — ББП, стр. 299.

рой воспоминанье» — этого уже никто кроме нее сделать не мог. Тут не только знание, не только сведения, факты, выводы, но и понимание — поэзии, например. «Дьявольская разница» — сказал бы Пушкин. Без знания — понимание невозможно, однако сколько встречаешь знатоков, знающих предмет, но не понимающих в нем ровно ничего! Ахматовой же разгадывать пушкинскую поэзию и пушкинскую судьбу приходит на помощь еще и то (скрываемое ею) обстоятельство, что она, вольно или невольно, примеряет судьбу поэтов, родных и не родных, Данта и Пушкина, на свою собственную.

Пушкин ждал гибели и разыскивал могилы казненных друзей. И ей случалось совершать подобные поиски. Ожидая гибели.

В отрывке о Геккерне пленили меня ненависть и презрение. С какою открытою ненавистью пишет Ахматова о недругах Пушкина: «шипенье Полетики», «маразматический бред Трубецкого», «сюсюканье Араповой»; с каким презрением — о придворной челяди, смакующей любую сплетню и верящей любой лжи, лишь бы выходило поскладнее и поинтересней... И стилистически, формально, это уже не «литературоведение» (форма, принципиально отвергающая темпераментность) — тут уже открыто звенит грозная прокурорская речь, сродни лермонтовской:

И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь.

Страстность страстностью, а с каким истинно научным мастерством собраны и сопоставлены факты! (254)

Вот сколько наработано ею «за истекший период». Вот почему она веселая.

Новинки в «Поэму» я по дороге домой вспомнила:

Там, где было:

Становилось темно в гостиной,
Жар не шел из пасти каминной
и т. д.

---

(254) См. ОП, «Гибель Пушкина».

теперь:

Ветер рвал со стены афиши,
Дым плясал вприсядку на крыше
И кладбищем пахла сирень.

— В «Поэме» не должно быть гостиной, — пояснила Анна Андреевна.

Мне тоже новый вариант больше нравится: пляска дыма на крыше — страшнее.

И совсем новая строфа родилась, в которой появился Достоевский, да как еще! не сам по себе, а неслыханно, небывало: в качестве имени прилагательного:

Достоевский и бесноватый —

Достоевский город, Достоевский Петербург — можно ли найти эпитет точнее? Что это за Петербург без Достоевского и без казней?! И где между ними граница?

Достоевский и бесноватый,
Город в свой уходил туман.
. . . .
Как пред казнью бил барабан. (255)

— По гроб жизни буду вам благодарна за ваш сегодняшний приход, — сказала Анна Андреевна. — Теперь я все знаю о Борисе, как будто побывала там сама. Не оставляйте меня без известий.

29 октября 58, вечер ◆

Свидание с Анной Андреевной чем-то — сама не знаю, чем — утихомирило меня. Но ненадолго. В городе новые слухи: какая-то речь Семичастного на сорокалетии Комсомола, где он будто бы обозвал Пастернака свиньей...

Цицероны! И ведь говорят на века.

---

(255) Ахматова вписала эти новые строки в мой экземпляр «Поэмы» позднее, 25 ноября 58 г. См. примеч. на стр. 273.

Но не это меня взбудоражило заново. Это как-то уже «по ту сторону». Поставила вверх дном душу другая весть: 31-го в 12 часов дня общемосковское собрание писателей.

Не чиновников — писателей!

Мне позвонили из Союза.

Повестка не объявлена, но догадаться легко: будут утверждать исключение Пастернака.

У, как заколотилось сердце, как сразу потянуло в эту прорубь, на эту вершину, на эту погибель, на трибуну: сказать. Все высказать им в лицо.

Сказать. Чтобы были произнесены и услышаны не только слова Семичастного. Но и мои.

А — Дед? Ведь меня исключат непременно. У него будет новый спазм.

На трибуну меня, конечно, не пустят. Там небось все распределено и прорепетировано заранее. Но я могу крикнуть с места, громко, на весь зал. Какую-нибудь одну фразу. Пусть потом меня выведут. Ну, например, такую:

— Пушкин говорил: надо быть заодно с гением!

Пусть зашикают, засвистят. Я сама уйду.

А Деду я нанесу рану. Ему 76 лет. Каждая рана сейчас может для него оказаться смертельною.

Наверное, те, кто любит Пастернака, просто на это собрание не пойдут. Заболеют. Уедут из города. (Как делали когда-то в тридцатые годы мы, когда узнавали наперед, что собрание будет принимать резолюцию о необходимости расстрела).

Но в те времена «против» — значило обречь себя на смерть. И семью на истребление.

А теперь?

А вдруг послезавтра придут хорошие люди и станут его защищать, а меня не будет, и моих друзей не будет, чтобы в поддержку вырос лес рук?

30 октября 58, день ◆

Нет. Никто из друзей, обожателей, поклонников идти не намерен.

Я встретила одного знакомого, он сказал мне: «Сяду в машину и уеду в неизвестном направлении. Куда глаза глядят».

Врешь, от себя не уедешь.

Пятым действием драмы
Веет воздух осенний...

И «Августом», и «Гефсиманским садом». А ощутимее всего — национальным позором.

Но, с другой стороны, я не в силах сообразить: справедливо ли счесть национальным позором то, чего не ощущает нация? Вообще не ощущает? Ведь для народа такого явления — Пастернак — просто нет.

Прочитала речь Семичастного в «Комсомольской правде».[176]) Переписываю сюда, чтобы перечитывать и никогда не забывать.

Сначала сравнение с овцой. Паршивая овца в стаде. Ну, это обыкновенно. Потом — образ не выдержан! — овца превращается в свинью:

«Иногда мы <...> совершенно незаслуженно говорим о свинье, что она такая-сякая и прочее. Я должен вам сказать, что это наветы на свинью. Свинья, — все люди, имеющие дело с этим животным, знают особенности свиньи, — она никогда не гадит там, где кушает <...>. Поэтому, если сравнить Пастернака со свиньей, то свинья никогда не сделает того, что он сделал. (Аплодисменты)».

Самое примечательное тут слово — кушает. «Свинья кушает». Вот он кто такой, Товарищ Семичастный. Он полагает, что слово «ест» — грубое слово, а сказать о свинье «кушает» — это представляется ему более интеллигентным.

Завтра собрание.

О Борисе Леонидовиче слухи разные. Будто он написал какое-то заявление. Будто он у Ольги.

О Президиуме рассказывают, что там выступали не

сквозь зубы, не нынужденно, а с аппетитом, со смаком — в особенности Михалков... Выступил с какими-то порицаниями и наш Коля. Коля, который любит его и был любим им, который знает наизусть его стихи, который получал от него такие добрые письма. Какой стыд.

Впрочем, я не вправе осуждать его. Он произнес те слова, от которых следовало воздержаться, а я не произнесу тех, которые должно произнести. Большая ли разница между нами?

30-31 октября 58, ночь

Я только что от Анны Андреевны.

Она опять читала мне «Черепки». (256)

Потом, раздражаясь, долго искала в папках, в чемоданчике какой-то свой набросок из книги о Пушкине — новый, не геккерновский, — и так и не нашла.

Очень интересно говорила о романе, о пути Пастернака, но я была тупа и невосприимчива.

Завтра собрание. Завтра я его предам. Эта мысль заслоняет от меня все.

— Поэту нельзя жить без аудитории, — говорила Анна Андреевна. (Живет же она!) — И без профессиональной критики. Пастернака лишили и той, и другой. (А у нас критики вообще нет, да и не может быть. Мы давно уже говорили об этом с Тусей. Хвалить то́, что усиленно рекламирует начальство — противно и незачем. Ругать — не дадут. Разбирать, анализировать? Всего бы лучше; но когда человек поставлен вне закона, как Ахматова или теперь Пастернак, то если в их поэзии и не любишь чего-то вполне искренне — как, например, мы обе, и я и Туся, не очень-то любим Спекторского, или я у Ахматовой не люблю кое-что из ранних — то не выступать же рядом с Семичастным! «И вообще как у нас можно кого-нибудь, даже заслужившего брань, бранить, если

(256) Из этого «опять» я заключаю, что в предыдущую нашу встречу Ахматова, среди других стихотворений, прочла мне и «Черепки». Как будет видно впоследствии (см. «Записки», т. 3), 1 апреля 64 г. А. А. своею рукой переписала эти стихи для меня. Опубликованы «Черепки» посмертно в сб. «Памяти А. А.», стр. 15.

после вашей напечатанной статьи его больной теще не дадут путевку в Малеевку?» — сердилась Туся). — Профессиональная критика о многом предупреждает, — продолжала Анна Андреевна, — ее бессознательно учитываешь идя дальше. У Пастернака не было ни слушателей, ни критики. Были какие-то полугрузинские банкеты, где только благоговели и восхищались.

Видя, что я какая-то смутная и грустная. Анна Андреевна, пытаясь развлечь меня, стала показывать мне альбом со своими молодыми фотографиями и фотографиями с портретов. Снова повторила, что портрет Альтмана она не любит, «как всякую стилизацию в искусстве».

Я прочитала ей отрывок (он ходит по рукам в машинописи) из цветаевской прозы «Нездешний вечер». На ту страницу, где рассказывается, как Ахматова носила в сумочке цветаевские стихи, ей посвященные, и всем их без конца читала, измяв их чуть не до дыр, Анна Андреевна отозвалась восклицанием, отчетливым и гневным:

— Этого никогда не было. Ни ее стихов у меня в сумочке, ни трещин и складок. (257)

Прочитала я ей наизусть и Пастернаковскую «Грозу», добытую мною у Деда.

Читала я с наслаждением, с такою гордостью, как будто сочинила их сама.

Пронесшейся грозою полон воздух.
Все ожило, все дышит, как в раю.
Всем роспуском кистей лиловогроздых
Сирень вбирает свежести струю.

Все дышит переменою погоды.
Дождь заливает кровель желоба.
Но все светлее неба переходы
И высь за черной тучей голуба.

---

(257) М. Цветаева писала:

«...соревнование в каком-то смысле у меня с Ахматовой — было, но не «сделать лучше нее», а — лучше нельзя, и это лучше нельзя — положить к ногам. Соревнование? Рвение. Знаю, что Ахматова потом, в 1916-17 году с моими рукописными стихами к ней не расставалась и до того доносила их в сумочке, что одни складки и трещины остались. Этот рассказ Осипа Мандельштама — одна из самых моих больших радостей за жизнь». (Марина Цветаева. «Нездешний вечер» — см. «Литературную Грузию», 1971, № 7).

Рука художника еще всесильней
Со всех вещей смывает грязь и пыль.
Преображенной из его красильни
Выходят жизнь, действительность и быль.

Воспоминание о полувеке
Пронесшейся грозой уходит вспять.
Столетье вышло из его опеки.
Пора дорогу будущему дать.

Не потрясенья и перевороты
Для новой жизни очищают путь,
А откровенья, бури и щедроты
Души воспламененной чьей-нибудь.

Анне Андреевне понравилось — очень. Попросила прочесть еще раз. Впрочем, говорила она об этих стихах, хотя и с одобрением, но суховато и вне эмоций.

— Да, это из хорошего Пастернака. Даже из отличного. Это вам не «Июльский воздух»... Не только о природе. Меня пастернаковские стихи о природе с некоторого времени перестали удовлетворять. Современное стихотворение должно строиться сложно: от мира природы к миру человека или, во всяком случае, к нераздельности этих миров... И мысль тут глубокая, верная.

«Завтра собрание», — тупо думала я.

С большой горечью заговорила Анна Андреевна о собственной книге. Оказывается, только что подписан сигнал.

— Я уже годы готовлюсь к этой неприятности, — сказала она, скорбно подняв брови. — Читатель получит обо мне самое искаженное представление. Одни сады и парки.

Я ответила, что давно уже пора издать полное собрание ее сочинений.

— Нет. Просто книжка: «Requiem», «Поэма» и стихотворений 25.

Только что я открыла рот, чтобы спросить, каких именно 25? как постучался и вошел К. (258) Мы ждали от него новостей о Борисе Леонидовиче. Но он, против ожидания, оказался неосведомленным.

---

(258) ?

Я уехала вместе с ним.

Дозвонилась в Переделкино. Деду чуть лучше. Ложусь спать.

Завтра собрание.

1 ноября 58 ◆

И в Москве, и в Переделкино (только не возле Деда) бесконечные разговоры о том, кто же, в конце концов, вел себя вчера на собрании гнуснее: Смирнов или Зелинский, Перцов, Безыменский, Трифонова или Ошанин? (259)

Не все ли равно? Мы. Я.

А в газетах, газетах, бедный мальчишка-таксист и его обокраденные братья выражают «гнев и возмущение». Председатель колхоза, учитель, инженер, рабочий, машинист экскаватора... Я так и вижу девку из редакции, — так и слышу, как она диктовала им текст.

Это те самые сейчас выражают свой очередной гнев, о которых у него сказано:

Превозмогая обожанье
Я наблюдал, боготворя.
Здесь были бабы, слобожане,
Учащиеся, слесаря.

Он боготворил без взаимности.

Слесаря пишут: «Правильно поступили советские литераторы, изгнав предателя из своих рядов». Он и лягушка в болоте, он и свинья, и овца, и предатель.

---

(259) 31 октября 1958 года на общем собрании московских писателей было не только утверждено решение Президиума — исключить Пастернака из Союза, но и вынесено новое: просить Советское Правительство лишить его гражданства и выслать за границу. (Стенографический отчет об этом собрании опубликован в 1966 г. в Нью-Йорке: см. «Новый Журнал», 83). По причинам чисто техническим из текста стенограммы выпало оглашенное на собрании письмо группы советских писателей, взявших на себя инициативу обращения к правительству, а также письмо Пастернака — к писателям.

Председательствовал С. С. Смирнов; подготовил резолюцию Н. В. Лесючевский; с особо лютыми речами выступили: Зелинский, Перцов, Софронов, Солоухин, Безыменский, Антонов. Злобные реплики с места подавали дамы: В. Инбер, Т. Трифонова, Р. Азарх.

А предатели-то на самом деле — мы. Он остался верен литературе, мы ее предали.

8 ноября 58

Праздники. Шум и мигающие огни за окнами. Люшенька в Переделкине, а я туда не хочу. Деду лучше. Он еще не совсем встал, но уже, слава Богу, работает. Не еду я, разумеется, не из боязни машины, которая до сих пор стоит у наших ворот (какое постоянство! парни, я надеюсь, сменяются!), а потому, что боюсь встретить Колю, Наталью Константиновну, Алигер. Они, как всегда, считают, что «всё правильно». Коля, оказывается, выступал на заседании Президиума — хоть и не с таким усердием, как Михалков, но и не без... На своей, или на их, или на любой нейтральной территории, я бы высказала им свое мнение прямо, но под Дедовой крышей покой и тишина обязательны. Я же боюсь сорваться. Потому и не еду. [177])

Второе из напечатанных писем Бориса Леонидовича, к сожалению, хуже первого. Как-то нарочито повторяется, что он действует не по чужой, а по своей, по своей, по своей собственной воле, что его никто не принуждает. И странный конец: он надеется восстановить «подорванное доверие товарищей». (260)

Чье же это? Зелинского или Перцова?

Письмо это продиктовано страхом... На Западе его ждут две младшие сестры, миллион золотых рублей, всемирная слава, но он не в силах «превозмочь обожанье» и расстаться с Россией, где его оплевывают и топчут... Страх благородный — не за себя, за судьбы близких — страх высокий, но все-таки с т р а х, и потому читать это письмо тяжело. (261)

---

(260) «В редакцию газеты «Правда». 6 ноября 1958 г.

(261) Я еще не знала тогда, что Пастернак не был автором этих писем. По требованию Поликарпова (который воздействовал на Бориса Леонидовича через Ивинскую) первое письмо было составлено ею, с помощью Вяч. Вс. Иванова и А. С. Эфрон. В этом первом письме принадлежит Пастернаку единственная фраза: «Я связан с Россией рождением, жизнью и работой, и не мыслю своей судьбы отдельно и вне ее». Это письмо было опубликовано (см. «Правда», 2 ноября 1958 г.), но не удовлетворило начальство. Составлено было второе, уже без участия Вяч. Вс. Иванова и А. С. Эфрон; его составила Ивинская вместе с кем-то из начальствующих лиц, а Пастернак, шантажируемый Ивинской, подписал. Примеч. 1976 г.

Гонимая тоской я вышла на улицу — в огни, от которых болят глаза, в толпу, от которой болит душа. Я подумала, а вдруг встречу такси — в «порядке чуда», как говорит Анна Андреевна — тогда махну к ней на Малую Тульскую. Неловко врываться без звонка, но рискну. И в ту же секунду увидела зеленый огонек.

Но не благодатью обернулось это везение, а великим ревом. Я как начала плакать, так плачу и до сих пор: буквы расплываются по бумаге от слез.

Встретила меня у Анны Андреевны радость: ее книга. Сообщив мне об этом, Анна Андреевна не хотела было ее показывать, но потом из-под груды платья на стуле извлекла чемоданчик, а из чемоданчика — новорожденную. Опрятный, тоненький томик в красном переплете с золотом. Есть «Невстреча», есть «Предыстория», кусок из «Поэмы» и несколько прекрасных старых. Ради этого стоило Суркову хлопотать и добиваться. Но, конечно, представления об истинном пути и о величине поэта книга не дает.

— Шесть лет не могла выйти и вышла-то в какой день? Пятого, — сказала Анна Андреевна.

— Что ж, счастливое число, — сказала я. (262)

Потом, разумеется, мы заговорили о Борисе Леонидовиче, о первом письме, о втором письме, о собрании, о Зелинском. (263) Вот тут и произошло.

Я сказала, что, уклонившись от собрания и от слова, чувствую себя предательницей и до смерти буду чувствовать себя так. Хотя поклясться могу и себе и ей, что не пошла я туда не из страха за неприятности, которые мое выступление могло бы навлечь на меня, Колю и Деда, а только из страха за Дедово здоровье. Что мне легче было пойти, чем не пойти. Что если бы я успела там выкрикнуть хоть единое слово, я теперь чувствовала бы себя счастливой.

---

(262) Мы обе имели в виду 5 марта — день смерти Сталина, не предчувствуя, что этот же день станет днем смерти Анны Ахматовой. Впрочем, когда именно в действительности умер Сталин (на сколько дней ранее объявленного числа?) — неизвестно.

(263) О К. Л. Зелинском см. стр. 267, 268, 392 и 393, а также примеч. 180).

— Но ведь Корней Иванович был болен, — настойчиво произнесла Анна Андреевна. — Такой болезнью, которую ваш счастливый выкрик усилил бы. Ведь если у человека повышено давление, ему грозит инсульт. Знаете, Лидия Корнеевна, я не ожидала от вас подобного рассуждения. Выкрикивать бывает очень приятно, не спорю, но если мы способны шагать ради этого собственного удовольствия через горе и даже болезнь другого человека, то чем же, спрашивается, мы лучше т е х?

Она указала глазами на потолок — движение глаз, которое спокон веку означало у нее Большой Дом или Лубянку.

Этот ее упрек не ранил меня. Напротив, немного облегчил мою боль.

Но дальнейших ее слов я выдержать не могла.

— Вы и так совершили подвиг, — сказала она. — Да, я не шучу. Вы пришли к Борису Леонидовичу и были с ним в тот день, когда, я уверена, ни один человек не пришел к нему. Когда все шарахались от него, как от чумного.

И тут я заплакала. Подвиг! Тут, при ее похвале, чувство стыда за себя и за нас всех дошло до необоримой грани. Я плакала, всхлипывала, тряслась. От стыда. От горя... Подвиг!

Анна Андреевна дала мне стакан воды с какими-то каплями. Я выпила, извинилась и ушла.

19 ноября 58

На Тульской Эмма Григорьевна и я.

Я вошла во время оживленного разговора.

— Та́к быть в зависимости от Пушкина, — продолжала, усадив меня, Анна Андреевна, — в полной, совершенной, рабской, и освободиться от нее совсем — вот в чем сказался лермонтовский гений.

Потом объявила:

— Знаете, Лидия Корнеевна, я сделала открытие. Оказывается, Маруся замечательный пушкинист. Эта «мастерица виноватых взоров» — мастерица скрывать таланты. Ну, со стихами понятно: надо было кормить мать и дочку, собственные стихи полузадушены переводами. Но и свой пушкинизм она мастерски скрыла. Знаток, исследователь, первоклассная

голова. Она прочитала мою статью о «Каменном госте» и говорила со мной как ни один человек. Я была потрясена.

Сегодня Анна Андреевна розовая, быстрая, возбужденная. Я спросила, отчего это.

— Принимаю бром, мне велели. А бром для меня веселящий газ.

Так и есть — веселящий. Рассказав радостно, с удовольствием, что у Бориса Леонидовича, по-видимому, не отнимут переводов Словацкого и что «Мария Стюарт» будет идти в его переводе, она стала импровизировать пародию на нелюбимые ею, как она их называет, «конспективные» главы «Живаго».

— Это похоже на ремарки в плохой пьесе. Знаете, ремарка, потом скобка открыта: (говорит он, уехав в Ташкент и женившись два раза, после чего, похоронив тещу и пристроив старшего мальчика от первого брака в гимназию, возвращается в Москву)... Скобки закрыты.

Анна Андреевна рассмеялась весело, от души, даже звонко. И мы вместе с нею. 178)

Потом начался неприятный мне разговор, возникающий сейчас, по случаю недавнего возвышения Яковлевой, 179) куда ни приди, чуть ли не в каждом доме: разговор о Лиле Брик, Яковлевой, Полонской. Кого из них по-настоящему и единственную любил Маяковский? (Полонская — с давних лет подруга Нины Антоновны; Анна Андреевна прочитала ее воспоминания и сильно сочувствует ей). Которая из них была его настоящей любовью? Я думаю, Маяковский любил всех трех — и еще тридцать трех в придачу, и мне непонятно это стремление исследователей и не исследователей во что бы то ни стало установить какую-то единственную любовь их героя — будь то́ Тургенев, любивший вовсе не одну лишь Виардо, или Байрон и Пушкин, знаменитые длиной своих дон-жуанских списков. К чему это? Проблема нерешаемая, да и бесплодная.

Сергей Александрович Макашин говорил мне, что письма Маяковского к Яковлевой — в точности письма к Лиле; только вместо «Твой Щен» подпись «Твой Вол[одя]».

Быть может, сказала я, это вполне естественно? Письма одного и того же лица, находящегося в одной и той же си-

туации, и должны быть похожими одно на другое, вне зависимости от адресата?

— Нет, — ответила Анна Андреевна. — Вспомните, какие разные письма у Пушкина. Впрочем, я полагаю, до нас дошло всего одно любовное письмо Пушкина, остальные не в счет.

— К Собаньской? — спросила я.

— Да, к Собаньской. Сравните с письмами того же времени к невесте.

— А к Керн? — спросила Эмма.

— Ах, к Керн никакой любви не было. Он был затронут, кокетничал, не более. Ничего возвышенного в письмах Пушкина к Керн я не нахожу. Никакого уважения.

23 ноября 58 ◆

Была в Переделкине. Заходила к Борису Леонидовичу. Домработница: «Ушел гулять. Нескоро вернется» (с усмешкой).

Я поняла, что он, видно, ушел к Ольге. (264)

Оставила ему записочку с просьбой зайти, откликнуться.

Но не последовало ничего.

Думаю: что это значит — жить для будущего? По-видимому, жить в настоящем не мнимостями настоящего, а подлинностями.

Дед, незадолго до болезни бродя со мной по Переделкину, сказал: «Хорошо бы написать роман о судьбах здешних писателей под названием: «Разложение». Одних расстреливали или загоняли в гроб, других разлагали. Никто из нас не уцелел».

Для этого романа, который непременно догадается же кто-нибудь написать, необходимо помнить историю Зелинского с Комой и Тамарой Владимировной. [180])

---

(264) Борис Леонидович снимал для Ивинской дачу в Измалкове, в одном километре от Переделкина.

26 ноября 58

Вчера, по Люшенькиной просьбе, привезла Анну Андреевну к нам. У Люши новая страсть: магнитофон, и ей хотелось записать голос Ахматовой.

Анна Андреевна прочитала шесть стихотворений и третью главку «Поэмы», исправив предварительно мой давно устаревший экземпляр (вставила своею рукой о городе — Достоевский и бесноватый — и заменила строку «И в кувшинах вяла сирень»). (265) Предупредила нас, что голос ее при записи всегда звучит ниже, чем настоящий, и, действительно, при проверке, первые два стихотворения прозвучали с неуместной басовитостью, а дальше запись оказалась почти точная в смысле тембра и совсем точная в смысле интонации. Читала стихи она по своей новой красненькой сурковской книжечке, куда вклеены страницы со многими невошедшими стихами. Читая стихотворение «Этой ивы листы в девятнадцатом веке увяли», она обнаружила чудовищную опечатку: вместо «щедро взысканы дивной судьбою» напечатано щедрой судьбою. Щедро — щедрой! Стыд какой: ведь корректуру-то читали мы трое — я, Эмма Григорьевна, Николай Иванович — и все трое пропустили. Анна Андреевна предполагает, что это поправка Суркова. Не думаю.

---

(265) Как видно из моего экземпляра, именно в этот вечер А. А. внесла в него поправки, которые прочла мне еще 29 октября 58 г.

Строки:

Становилось темно в гостиной,
Жар не шел из пасти каминной
И в кувшинах вяла сирень

она заменила новыми, прочитанными тогда:

Ветер рвал со стены афиши,
Дым плясал вприсядку на крыше
И кладбищем пахла сирень.

В тот же вечер она вписала и ту строфу, которую прочла мне 29 октября:

И царицей Авдотьей заклятый
Достоевский и бесноватый
Город в свой уходил туман
И выглядывал вновь из мрака
Старый питерщик и гуляка,
Как пред казнью бил барабан.

За чаем она с горечью поведала мне, что ей позвонил Борис Леонидович. Она обрадовалась было, но потом, когда он произнес: «В Ленинград летом ездила близкая мне женщина с дочерью, но без моего письма не решилась зайти к вам», — рассердилась:

— Речь, конечно, об Ольге. По ее наущению он и позвонил мне. Но я держу границу на замке. Не желаю встречаться с этой бандиткой.

Сказала, однако, что собирается съездить с Ниной Антоновной к Борису Леонидовичу на дачу.

— Это будет визит соболезнования, но без выражения соболезнования. Оставлю такси ждать и просижу полчаса. Не более. О его делах ни слова — о погоде, о природе, о чем хочет. Если же его не будет дома, оставлю ему записку, как вы, и дело с концом.

Гневается она на него. Жаль. Не ко времени гнев.

В двенадцатом часу я отвезла ее домой.

7 декабря 58

Сегодня ездила к Анне Андреевне. Она просила меня добыть книжку сказок Корнея Ивановича для внучки Нины Антоновны. Я привезла. Она обрадовалась.

У нее какой-то ленинградец, приятель мужа Иры Пуниной, Николай Всеволодович.

Скоро приехала Эмма. Анна Андреевна сидела посреди своей пустоватой, большой, необжитой комнаты. Сегодня она подобранная, причесанная — и очень веселая — не знаю, от брома ли. Весь вечер смешила нас рассказами.

(А под конец огорчила меня).

— У Ардовых гостит Наталья Ивановна, их родственница из Свердловска. Она больна: депрессивное состояние. Грустит, плачет. Что тут делать? Я «порылась в кадрах» — пересмотрела письма поклонников. Нашла письмо одного профессора, психиатра. Давнее. Позвонила ему. Важный профессорский голос. Я назвала себя. Голос сразу другой. «Анна Андреевна, неужели это вы? Где вы?» Через 20 минут он явился вместе с терапевтом. Нам были предложены неслыханные блага: любое, даже буйное, отделение лучшей психиатрической лечебницы города.

Я сообщила, что сегодня утром, в парикмахерской, видела молоденькую девушку с ахматовскими «Четками» в руках. Мать сердилась: «Зачем взяла с собой? Еще потеряешь! Ведь это уникальная книга».

Анна Андреевна припомнила:

— Когда уникальная книга вышла — я была удручена — мне она представлялась очень плохой. И все надоедала мужу (sic!) жалобами. Один раз, рассердившись на мое нытье, он сказал: «Ну, если ты хочешь, чтобы книжка была хорошая — включи «Анчар» Пушкина».

Заговорили о Борисе Леонидовиче.

— Добрая старушка Москва изобрела, будто шведский король прислал нашему правительству телеграмму с просьбой не отнимать у Пастернака «поместье Переделкино». Вздор, конечно. Но если это правда, то он не король, а хам: где он был, когда меня выселяли из Шереметьевского дома? — Она даже порозовела от негодования. — Не сказал ни словечка! А ведь по сравнению с тем, что делали со мною и с Зощенко, история Бориса — бой бабочек!

«А по сравнению с тем, что сделали с Мандельштамом или с Митей, история Ахматовой и Зощенко — бой бабочек», — подумала я.

Конечно, ее мука с пастернаковской несравнима, потому что Лёва был на каторге, а сыновья Бориса Леонидовича, слава Богу, дома. И она была нищей, а он богат. Но зачем, зачем ее тянет сравнивать — и гордиться?

«Сочтемся мукою, ведь мы свои же люди»...

19 декабря 58

Она позвонила мне, что экземпляры получены и я могу приехать за книгой.

Опрятная тоненькая красная книжка.

В гостях у Анны Андреевны — Наташа Ильина.

Ох, милая Наташа, как горестно она отстает! По поводу Пастернака, например, с апломбом произносит убогую казенную чушь. Приходится ей объяснять, кто он такой. Странное дело: она судит о нем как человек, не любящий, не знающий стихов.

Анна Андреевна уже несколько раз просила меня не задираться с Наташей. Пропускать мимо ушей. Я и не задиралась. Но сегодня не выдержала. Начался крик.

Анна Андреевна молча и очень прямо сидела на стуле, не вступая в наш спор.

Только один раз, когда речь зашла о праве писателя печататься за границей, если его не печатают на родине, сказала в поддержку мне:

— А «Воскресенье» Толстого?

Я напомнила Наташе герценовское:

«Мы не рабы любви нашей к родине, как не рабы ни в чем». [181])

Вряд ли я убедила ее, но спор иссяк.

Анна Андреевна вынула из пачки книжек экземпляр и, разговаривая, исправила даты. Потом сделала надпись, налагающую на меня большую ответственность. (266) Потом вписала в книжку, на одном из шмутц-титулов «Последний сонет». (267)

Вот какие подарки!

За работой она сказала:

— Я многим на этой книжке пишу: «Остались от козлика рожки да ножки».

Потом:

— Это моя единственная книжка, вышедшая в Москве.

Собирается в Ленинград. Там заболела Ирина Николаевна. Едет вместе с Надеждой Яковлевной и с нею же обещает скоро вернуться.

Замучена переводами. Жалуется, что от них голова болит и ничего своего писать не может.

— Я себя чувствую каторжницей. Минут на 20 взяла сегодня своего Пушкина — Дуэль — и сразу отложила: нельзя. Прогул совершаю.

(Ненависть моя к переводам окрепла. Вот это, действительно, прогул, преступная растрата национального достоя-

---

(266) «Лидии Корнеевне Чуковской, чтобы она вспомнила все, чего нет в этой книге. Ахматова. 19 декабря 1958, Москва».

(267) Этот сонет А. А. скоро переименовала в «Летний», а окончательно в «Приморский» — см. БВ, Седьмая книга.

ния — ахматовское, пастернаковское время, расходуемое не на собственное творчество, а на переводы).

Когда Наташа на минуту вышла, я попросила Анну Андреевну простить мне мою несдержанность. Я ведь обещала молчать, а ввязалась в спор!

— Я сама такая! — ответила она со своей внезапной улыбкой.

Отпустила мне грех.

(Я только теперь как следует рассмотрела ее улыбку: чувство такое, будто на одну секунду выглядывает из ее глаз другая, настоящая Ахматова: выглянула и снова скрылась).

28 декабря 58

У Анны Андреевны.

Подробно и с ненавистью рассказала она мне о Шацком (Страховском), о его книге (Гумилев, Мандельштам, Ахматова), о статье в «Энциклопедии русской поэзии», вышедшей за рубежом, — статье, где ее трактуют дурно и лживо.[182]) Уверена, что источники всех заграничных лжей — Одоевцева («хочет быть вдовствующей императрицей»), Оцуп, Георгий Иванов. Затем последовал такой монолог:

— Была я в гостях у Елены Сергеевны.[183]) Там был дипломат — молодой, красивый, учтивый. Повествовал о Париже. Ну, что всегда о Париже рассказывают, то и он рассказал. Вез меня назад на своей машине. И вдруг все соскочило — дипломатия, Париж. Оказалось, он пишет стихи и всю жизнь мечтал показать их мне. «Одно стихотворение!» Здесь нельзя, говорю я, мы разобьемся. Вижу, он опечален. Когда мы подъехали к моим дверям, я сказала: «Все в руках наших. Я взгляну, что́ дома, и если будет можно, позову вас». Вхожу. Всегда пустота и порядок. А на этот раз у меня в комнате сидит Нина в одних трусиках: купалась, сушит волосы. Никогда она так не сидела. Кругом повсюду разбросано мое белье. Нина ушла, белье я сложила в кучу, прикрыла его чем-то и послала мальчика за дипломатом. Он прочел мне стихи, я подарила ему книжку.

— Хорошие стихи?

— Одно очень, а три совсем плохие.

Она спросила, как мне понравилась книжка.

— В а ш а книжка, — сказала я. — Встречаешься со старыми, давно полюбленными стихами и присоединяешь к своей любви новые — «Предысторию», например. (268)

Потом я повторила, что в стихотворении «Как мой лучший день» мне не нравится казенное «отмечу»:

Как мой лучший день я отмечу,
День, когда о победе пела...

Сейчас это слово ассоциируется с казенными речами или с выпивкой. «Отметить 25-летие со дня»; «отметить юбилейную дату»... Выпить и закусить.

— Исправлю, — согласилась Анна Андреевна всемилостивейше, а затем открыла мне секрет, которого я никак не ожидала.

Оказывается, на самом деле тут совсем не «отмечу» и совсем не о победе.

Я бы лучше по самые плечи
Вбила в землю проклятое тело,
Если б знала, чему навстречу,
Обгоняя солнце летела.

Значит, никакого отношения к победе эти стихи, при своем зарождении, не имели! По-видимому, они относятся к разрыву с Гаршиным, к известию о его женитьбе — вот чему навстречу, обгоняя солнце, летела она из Ташкента. Когда она перелицевала их, переадресовала победе — слог сразу отозвался на ложь — этим инородным, бюрократическим «отмечу».

30 декабря 58

Сейчас проводила Анну Андреевну в Ленинград. Явилась

---

(268) «Предыстория» — БВ, Седьмая книга; № 69. Книжка, о которой спрашивает А. А. — «Стихотворения», 1958; «Предыстория» впервые была напечатана в «Ленинградском альманахе», в 1945 г., и в книжке 58-го.

я на вокзал, не зная ни номера вагона, ни даже номера поезда, но, к счастью, мы встретились. Анна Андреевна схватила меня под руку, и мы пошли вперед по оснеженной платформе. За нами — друзья, которые ее привезли: Надежда Яковлевна, Нина Антоновна и Миша с чемоданами. На лице у Анны Андреевны вечная ее дорожная тревога, растерянность, такая неожиданная в ней. «Где билеты? Где сумка? Где палка?» В купе Нина дала ей валидол, сняла с нее платок и шубу, вложила в руки сумку. И сразу она выпрямилась и закоролевилась.

Так будет до Ленинграда, я знаю. А там, на платформе, снова дорожный ужас и сердечный спазм.

31 декабря 58 ◆

Последние часы уходящего года.

Пишу письмо Борису Леонидовичу.

1959

4 апреля 59

Утром голос Анны Андреевны по телефону. Вернулась!

Вечером я была у нее. Уже в Москве, не «на подступах».

Ордынскую лестницу больше не назовешь «Рим в 11 часов». Она хоть и грязная, но не в развалинах.

А комната и совсем хороша: чистые новенькие зеленые обои, белый потолок, белые свежие рамы окна.

Анна Андреевна сидела в своей обычной позе: на постели, слегка опираясь об одеяло ладонями.

Я вгляделась: она усталая, полубольная.

Протянула мне книжку, изданную в Италии. На вид приятно: стихи по-русски и по-итальянски, портрет работы Анненкова... Предисловие. Но оказалось — радоваться нечему.

— Переводы чудовищные, — сказала Анна Андреевна. — В стихотворении «Не бывать тебе в живых» строка «Двадцать восемь штыковых» переведена так: «Двадцать восемь человек, вооруженных штыками».

Я ахнула. Это вместо двадцати восьми штыковых ран! (269)

— Со мною на Западе случилось нечто непоправимое. Все берут сведения из какого-то одного источника, причем враждебного. Конечно, вся я из Кузмина. Появление мое было на грани скандала. (Неправда, скандал был в манере Маяковского, Есенина, а не в моей). И самое лживое: будто 20 лет я ничего не писала, а потом, в 40 году, «Ива» — и конец... Да

(269) «Не бывать тебе в живых» — БВ, Anno Domini; № 70.

ведь «Ива» вошла в сборник «Из шести книг» — как же ничего не писала, откуда же шесть книг? И почем им знать, конец или не конец в 40-м, если меня не печатали? (270)

Она дала мне маленький блокнот, в котором ее рукой, столбиком, записаны все конфискованные или рассыпанные книги Ахматовой.

— А вы заметили, что читатели стихов у нас исчезли начисто? Остались переписчики. Все бегают друг к другу, переписывают, берегут, но если те же стихи напечатать — никто не станет читать их. Видели ли вы кого-нибудь, кто искал бы по книжным магазинам тот номер «Знамени», где напечатаны стихи Бориса Леонидовича? А ведь там есть прекрасные. [184])

Я припомнила:

---

(270) Не имея возможности прочитать все статьи и воспоминания об Анне Ахматовой, напечатанные за рубежом, приведу лишь один пример «главной лжи», которая ее возмущала. В томе первом «Сочинений», опубликованном в 1965 году (то есть через 8 лет после гневного монолога Анны Андреевны, приводимого мною) в предисловии Г. П. Струве на стр. 7 читаем: «the period between 1925 and 1940 was indeed a period of almost complete poetic silence...» («период между 1925 и 1940 был периодом почти полного молчания»). Далее Г. П. Струве производит подсчет: около полдюжины стихотворений Ахматова написала с 1925 по 1931; немногие в 1936 и одно в 1939... Как видит читатель, ознакомившийся хотя бы с первым томом моих «Записок», со сборником «Памяти Анны Ахматовой», а также с ББП — подсчет, произведенный Г. П. Струве, неверен. Подобный подсчет и не мог быть верным. Находясь за тысячи километров от поэта, о котором пишешь, да к тому же еще по ту сторону железного занавеса — подсчитать, сколько стихотворений и когда этим поэтом создано — затея неисполнимая, в особенности если сознавать, что речь идет о периоде, когда А. А. не только не имела возможности печатать свои стихи, но даже записывать их. Откуда же Г. П. Струве почерпнул приведенные цифры?

Однако, автор предисловия столь уверен в своих подсчетах, что с небольшой оговоркой повторяет их в 1967 г. в новом издании I тома «Сочинений». (Подсчет см. на стр. 7, оговорку на стр. 17).

Целые десятилетия стихотворения Анны Ахматовой, созданные в 20-ые, 30-ые, 40-ые, 50-ые, а отчасти и 60-ые годы, хранились лишь в памяти Анны Андреевны и ее друзей. И достоянием печати со временем оказались они только благодаря тому, что в это хранилище доступа не имел никто.

Как будто бы железом,
Обмокнутым в сурьму,
Тебя вели нарезом
По сердцу моему. (271)

— Да, гениальные строки... И вот с моей книжкой... Мне Г. Д. говорит: «Сознайтесь, ведь книжка плохая». Позвольте! Там более ста моих стихотворений! Быть может, я плохой поэт — дело другое. Но если вы любите мою поэзию, то почему мои стихи стали вдруг плохие? Только потому, что напечатаны?

К ней приходили из «Литературы и жизни», просили стихи. Она дала «Последний сонет», «Музыку», «Август», «Лирическое отступление». (272)

Вошла Аничка. Анна Андреевна приласкала ее, поцеловала в голову. Она постоянно говорит об Аничкиной красоте. Я вгляделась. Профиль точеный, нежная кожа, большие серые глаза. Но глаза пустые. И рот сухой, неприятный, недобрый — пунинский, Ирин.

Я ушла рано, потому что Анна Андреевна, по всей видимости, была сильно утомлена.

---

(271) Строки из стихотворения Б. Пастернака «Свидание».

(272) В газете были опубликованы только два из перечисленных стихотворений: «Последний сонет» под названием «Летний сонет» («Здесь все меня переживет») и «Музыка». Но «Музыка» не в подлинном (БВ, Седьмая книга; № 73), а в специально испорченном для цензуры варианте. Испорченный читался так:

В ней что-то чудотворное горит,
И вся она немыслимо лучится,
Она сама со мною говорит
И утешать мне душу не боится.

Открыты широко ее глаза,
И грозен за плечами блеск воскрылий.
И это все — как первая гроза.
Иль будто все цветы заговорили.

Два других стихотворения — «Август» (переменованный в «Сон» — БВ, Седьмая книга) и «Лирическое отступление» (отрывок из «Поэмы без героя»: «Мне бы только домой скорее») были опубликованы в том же году в журнале «Москва», № 7, стр. 144.

Анна Андреевна позвонила мне с утра: едет к Эмме Григорьевне, предлагает мне под вечер заехать к Эмме за ней и привезти к себе.

Что я и исполнила.

Выглядит она чуть-чуть лучше. Похвасталась, что может теперь ходить, не могла с лета 57 года.

Сначала разговор о прозе Цветаевой, которую она сейчас читает. Выше всего она ставит «Мать и музыка»: «Это гениальная вещь». «Мой Пушкин» не нравится — «Марину на 3 версты нельзя подпускать к Пушкину, она в нем не смыслит ни звука».

Я сказала, что мне очень понравились две статьи: о Белом и Брюсове. [185])

— Нет, я не согласна. Белый весь выдуман. Брюсова она ругает недостаточно: он ей представляется ученым, а он был невеждой. Она бунтует против его власти, а власти уже никакой не было. Почитали Блока, Сологуба, лучшие читатели уже догадывались о Мандельштаме, был молодой Маяковский, — а два смешных человека, Брюсов и Бальмонт, кидались друг на друга, как вепри, и спорили, кто из них первый поэт. Про Волошина я читать не стала. Я знаю, что Марина на него молится, а я его не выношу: из Коктебеля всегда исходили сплетни. [186])

О Борисе Леонидовиче сегодня такая резолюция:

— Я подумала о нем по самому большому счету. Прекрасный человек и поэт божественный. Но с ним случилось то же, что с Гоголем, Толстым, Достоевским: к концу жизни он поставил себя н а д искусством.

— Читаю IV том писем Достоевского.

(В прошлый раз она мне их бранила: «Скучно, не составляется из них Федор Михайлович»). Сегодня по-другому:

— Там есть замечательное письмо о речи на пушкинских торжествах. [187]) Сколько о ней наговорено, написано, а тут он сам о ней рассказывает. Кроме того, из этих писем ясно, что Анна Григорьевна была страшна. Я всегда ненави-

дела жен великих людей и думала: она лучше. Нет, даже Софья Андреевна лучше. Анна Григорьевна жадна и скупа. Больного человека, с астмой, с падучей, заставляла работать дни и ночи, чтобы «оставить что-нибудь детям». Такая подлость! Он пишет ей: «Пообедал за рубль». Зарабатывал десятки тысяч и не мог пообедать за два рубля!

Разговор зашел о буре, разразившейся над «Литературным Наследством» из-за опубликования писем Маяковского к Лиле Брик. Чуть ли не закрывать «Наследство» собирались... Этого Анна Андреевна, разумеется, не одобряет, — однако о Бриках отозвалась без большого восторга.

— Они пытались создать литературный салон. Быт Маяковского, то есть Бриков, противопоставлялся в те времена искусству. Искусство отменено — оставлен салон Бриков. Карты, бильярд, чекисты: Агранов и многие другие...

За чаем Анна Андреевна прочитала 4 строки, написанные в тридцатых годах. Я их никогда не слыхивала:

За такую скоморошину,
Откровенно говоря,
Мне б свинцовую горошину
От того секретаря. (273)

После чая мы пошли в Люшину комнату — послушать записанный на магнитофон Фридочкин рассказ о Голышкине. Я беспокоилась, понравится ли Анне Андреевне этот излюбленный мною жанр. [188])

---

(273) Составляя впоследствии «Бег времени», А. А. дала другой вариант:

Мне свинцовую горошину
Ждать бы от секретаря.

Но в «Беге» четверостишие напечатано не было. Опубликовано посмертно в сб. «Памяти А. А.», стр. 24.

— Это грандиозно, — сказала Анна Андреевна. — Я подобного не ожидала. Ни одного пустого слова.

5 мая 59

Сегодня утром меня срочно востребовала к себе Анна Андреевна: в 3 часа должны прислать за стихами из «Москвы». А у нее не перепечатано, не вычитано.

(В «Москве» спешка: мне рассказывали, что стихами Ахматовой они хотят поправить упавший тираж... А может быть — звонок «сверху»? Не угадаешь).

Она дает им кусок из «Поэмы» («Были святки кострами согреты» с некоторыми переменами, без «Достоевский и бесноватый») и три стихотворения, которые завершаются «Сном». (Так теперь назван «Август»; названия они испугались, потому что постановление 46 года было в августе).

Я долго сидела над запятыми и многоточиями, которые у нее сложны; потом сбегала к машинистке; потом, вернувшись на Ордынку, вычитала перепечатанную рукопись — и вот всё, чистое, ясное, победительное легло к ней на стол. Она была довольна.

9 мая 59

Вечером меня позвала к себе Анна Андреевна. («Никаких дел, просто так»). Прочитала мне кусок из «Гибели Пушкина». (Раньше я слышала лишь небольшие отрывки).

Поражает в этой работе следовательский (не только исследовательский) склад ее ума. Ведь и в жизни она искусный следователь: постоянно анализирует и сопоставляет факты в быту и делает из них смелые выводы. Например: в поисках источника западных неправд о ней, сопоставляет слова, характеры, время отъезда Оцупа, Одоевцевой и пр. А в работе о Пушкине те же операции проделывает над людьми 30-х годов прошлого века, которых она знает не хуже, чем своих современников.

Мне и эта ее пушкинская работа представляется неотразимо верной, хотя, конечно, я не вооружена для полноценного суждения.

Затем опять о Пастернаке.

На днях она послала Борису Леонидовичу свою книжку с надписью: «Борису Пастернаку — Анна Ахматова». (Попутное восклицание: «Книга, конечно, уже у Ольги»). Он звонил с благодарностью, особо восхищаясь стихами «Сухо пахнут иммортели».

Она, негодующе:

— Он читает их впервые, я уверена. Это стихи десятого года. (274)

Затем, по какой-то неупомненной мною ассоциации, разговор наш пошел вглубь времен и судеб: 37, 41, 53, 56 — и длился часа два.

— Вот как мы с вами хорошо поговорили сегодня, — сказала Анна Андреевна, когда я одевалась в передней. — Помянули своих.

8 июня 59

Я у Анны Андреевны. На столе толстый том.

— Это не Библия, как вы подумали, а итальянский словарь. Читаю дальше итальянскую ложь о себе.

— Густо?

— Густо.

Я осмелилась напомнить, что мне пора бы уж получить от нее в подарок новый экземпляр «Поэмы»: мой уж очень устарел.

Она обещала.

Прочла новые строфы.

Одна в «Эпилоге» (после строк «И кукушка не закукует / в опаленных наших лесах») — «Мой двойник на до-

---

(274) «Сухо пахнут иммортели» — строка из стихотворения «Жарко веет ветер душный» — БВ, Вечер.

прос идет» и в «Решке» перед строфой «И была для меня та тема». (275)

Итак, «Поэма без героя» углубилась еще на один подземный слой. (276)

Все мы всю жизнь простояли на краю. Ахматова волею случая не погибла, но всегда, сквозь свою «непогибель», различала звуки и очертания той, второй, неизбежной и чудом избегнутой судьбы. Звуки оттуда, из таежного зазеркалья, были необходимы в «Поэме», и вот они родились. В «Поэме» «1913-1941», вместе с призраком Мазурских и Карпатских гибелей, необходим был призрак и лагерного ада. Вот он и явился, слава ей!

Иначе «Поэма» погрешила бы перед временем.

Анна Андреевна, кажется, была довольна моими рассуждениями.

Сказала:

— Я нашла, наконец, человека, который «Поэмы» не читал. Умный. Не литератор. Дала ему. Вот ответ.

И протянула письмо.

---

(275) Строфа в «Решке»:

И со мною моя «Седьмая»,
Полумертвая и немая,
Рот ее сведен и открыт,
Словно рот трагической маски,
Но он черной замазан краской
И сухою землей набит.

Строфа в «Эпилоге»:

А за проволокой колючей,
В самом сердце тайги дремучей —
Я не знаю, который год —
Ставший горстью «лагерной пыли»,
Ставший сказкой из страшной были,
Мой двойник на допрос идет.

(Подряд и целиком «лагерные строфы» в «Эпилоге» см. № 71)

(276) О новом, «подземном слое», возникшем в «Поэме» см. запись под датой 19 ноября 1960 г. А также «Дом поэта» — мое опровержение «Второй книги» Н. Я. Мандельштам.

В самом деле, письмо умное; глупость вкраплена только одна: не одобряет автор письма поэму Некрасова «Мороз, Красный нос». Впрочем, мое снисходительное «только» в данном случае не годится: речь ведь идет о «Морозе», а в этом случае всякая, даже мелкая, глупость становится капитальной.

Анна Андреевна махнула рукой:

— Да, да, кощунственные слова. «Мороз, Красный нос» — одно из величайших явлений русской поэзии. Всё — музыка. И всё — открытие.

Потом протянула мне письмо Али Цветаевой: благодарность за книгу. Анна Андреевна находит, что письмо похоже на материнское. А по-моему — нет. Оно гораздо сдержаннее. Но по глубине и уму в самом деле цветаевское. [189]) Ариадна Сергеевна пишет, что книжка Ахматовой — это, конечно, всего лишь обломки, «но ведь и Венеру Милосскую мы знаем без рук».

Что ж, так оно и есть.

Я прочитала Анне Андреевне пародию на Панферова. Она очень смеялась. [190])

Нас позвали чай пить. За столом какой-то родственник Ардова сообщил, что в «Известиях» грубо обруганы стихи Липкина. Анна Андреевна встревожилась: она высоко ставит поэзию Липкина и очень дружна с ним. [191])

15 июня 59

Вчера в Переделкине проводила время с одним великим русским поэтом, двумя талантливыми поэтессами и одной блистательной пародисткой.

При таком изобилии и разнообразии блеска, мне почему-то было скучно. Сама не знаю, почему.

Ох, мудреное это дело — сочетание и общение людей.

Равно в 6 часов вечера в наш Переделкинский двор въехала Наташина «Волга». На заднем сиденье, рядом с собакой Ладой, сидела Анна Андреевна.

Ахматова попросила меня приютить на часок у нас ее чемоданчик (вот как! с рукописями не расстается) и всей компанией навестить Алигер.

Я отнесла чемоданчик в зеркальный шкап, заперла его там, взяла ключ с собой — и мы отправились.

По дороге — горестная новость о туберкулезе глаз у Алеши Баталова. Нина Антоновна вылетела к нему.

Из журнала «Москва» ни известий, ни корректур. Анна Андреевна уверена, что стихи ее напечатаны не будут. (277)

— А вы туда звонили? — спросила я.

— Я никогда не интересуюсь, — отвечала Анна Андреевна.

«Мичуринец». (277а)

Возле дачи Маргариты Иосифовны бунт цепных собак, почуявших Ладу.

На стеклянной террасе уселись чай пить. Странное было чаепитие: разговор не вязался вопреки свободной светскости Анны Андреевны, острословию Наташи и радушию хозяйки. Анна Андреевна из окна разглядывала сад и хвалила его — в самом деле, какой-то он по-деревенски уютный. Терраса же убрана по-городски, современно, модно, заграничнo. Разноцветный сервиз, низкий диван и пр. За столом помалкивает узкоглазая стройная Маша. Была бы красива, но очертания рта грубы, а длинные волосы до плеч претенциозны. На подоконнике посматривает Машиными зелеными глазами и поеживается кот: боится Лады.

Когда дамы ушли на кухню разливать чай, Анна Андреевна рассказала мне, что один человек так объяснял ей, почему Всеволода Вячеславовича Иванова не выбрали куда-то там в Союзе.

— Сын его, Кома, отчаянный пьяница. Пьет непробудно. Полное моральное разложение.

Уу, бандюги проклятые. Вот и месть за дружбу с Пастернаком. Это Кома-то — разложенец! Светлое сердце, светлая голова, жадность к труду, большой ученый. И какое у них отсутствие фантазии! Хоть бы что-нибудь поинтересней при-

---

(277) В № 7 журнала «Москва» за 1959 год были опубликованы три отрывка из «Поэмы без героя» под общим заглавием «Из поэмы «Триптих» («Посвящение», «Петербург в 1913 году» и «Лирическое отступление»), а также стихи из цикла «Шиповник цветет»: «По той дороге, где Донской» и «Сон» (БВ, Седьмая книга).

(277а) Название поселка садоводов, рядом с которым, неподалеку от Переделкина, расположены писательские дачи.

думали. По-видимому, когда Кома следующий раз не подаст руки негодяю — окажется, что он взяточник. Уж разложение так разложение. [192])

Грянула гроза. Мы молча сидели за столом, любуясь молниями сквозь сплошную стену ливня.

Не для этого ли и приезжали? Больше, кажется, и незачем было.

Когда гроза миновала, тронулись в обратный путь. Снова — бунт собак, увидевших Ладу. С нами села Маша. Анна Андреевна попросила заехать в Дом Творчества и вызвать на минуту Ольгу Федоровну. («Она там и, говорят, не пьяная»). Машенька побежала. Скоро явилась к воротам Ольга, чуть растерянная. Анна Андреевна вышла из машины ей навстречу. Они обнялись, поцеловались и назначили день встречи в городе.

Потом мы заехали к нам на дачу за Мариной (278) и чемоданчиком. Я тоже в город. Анна Андреевна смотрела на дорогу и почти не принимала участие в разговоре. Мне казалось, она не только вглядывается в дорогу, но и вслушивается во что-то свое — не в нашу болтовню, а, может быть в тот самый

...один, всё победивший звук,

который звенит сейчас где-то у нее внутри.

16 июня 59 (279)

Анна Андреевна вынула из тумбочки письмо.

— Еще одно?

— Да. Их гораздо больше, чем требуется.

И протянула мне.

Некто сообщает, что никогда не забудет двух своих встреч с нею («помню каждое ваше слово») и надеется непременно снова увидеть ее этим летом.

---

(278) Марина Николаевна Чуковская — жена моего старшего брата, Николая Корнеевича.

(279) Возле — пометка, сделанная повидимому при перечитывании в 60-х годах: «дата неверна». Примеч. 1970 г.

— Я хотела проверить, какое впечатление производит на вас это письмо.

— То есть нравится ли мне? Сильное оно или слабое?

— Нет. Не оценка. Не качество. Разряд. Я хотела бы знать, к какому разряду писем, по-вашему оно относится.

— К любовному, — сказала я. — Типичное любовное письмо.

— Ах так? Даже типичное? Значит, мне не показалось? А я уж, признаться, вообразила, что у меня начинается сексуальный психоз. Как у Любови Дмитриевны. Этого бы еще нехватало! В 70 лет даме мерещатся любовные послания! У меня седые волосы дыбом встали. Вот так.

Она с двух сторон обеими руками подняла над головой две длинные седые пряди и движением плеч, рук, головы с такою безупречною точностью изобразила мраморную гордыню сквозь возмущение и ужас, что я не удивилась чьей-то влюбленности. Живая арка из рук — это был подлинный архитектурный шедевр.

— Клиническое любовное письмо, — с удовлетворением подтвердила Анна Андреевна, опустила руки и спрятала письмо в сумочку. — Мне не показалось. Так и есть.

12 сентября 59

Анна Андреевна приехала уже давно, но я выбралась к ней только теперь. И вот, наконец, она снова сидит против меня в ардовской комнате, на постели-тахте, и снова одаривает меня сотворенными ею чудесами. Прочитала: «Летний сад», «Подумаешь, тоже работа», «Имя» и одно прошлогоднее, на смерть Зощенко. (280)

---

(280) «Летний сад»; «Подумаешь, тоже работа»; «Имя»; «Словно дальнему голосу внемлю» — БВ, Седьмая книга.

Михаил Михайлович Зощенко скончался 22 июля 1958 года в Сестрорецке и был похоронен на сестрорецком кладбище. Ахматова написала об этом событии такие стихи:

Словно дальнему голосу внемлю,
А вокруг ничего, никого.
В эту черную добрую землю
Вы положите тело его.
Ни гранит, ни плакучая ива
Прах легчайший не осенят,
Только ветры морские с залива,
Чтоб оплакать его, прилетят...

— Молчаливый он был человек, — сказала Анна Андреевна и сама помолчала.

Опять, опять недовольна она Борисом Леонидовичем.

— Он вовсе разучился вести себя. Я была на 30-летии Комы Иванова. Там и Борис с женой. На бумажке указано, что место его за столом рядом со мною. Нет. Сел на другое место. Полное неприличие! Это Комин праздник, а Борис говорил все время только о себе, о письмах, которые он получает. Ну можно ли так?.. Потом долго и скучно кокетничал, когда его просили читать. После того, как я читала, спросил меня во весь голос через весь стол: «Что вы делаете со своими стихами? Раздаете друзьям?»

В Комарове у меня побывал Шостакович. Я смотрела на него и думала: он несет свою славу как горб, привычный от рождения. А Борис — как корону, которую только что нахлобучили на него. Она сползает ему на глаза, он подпихивает ее снизу локтем.

Потом вынула из своего вечного и всеобъемлющего чемоданчика пачку юбилейных телеграмм. Ленинградский Союз ее не поздравил. Москва поздравила: Правление, Президиум. Длинные, восторженные телеграммы от Федина и от Суркова. Странно-безвкусная от Пастернака: «Родной волшебнице». Своеобразное поздравление от «Правды»: телеграмма на официальном бланке, ни единого юбилейного слова, но очень просят прислать стихи, и дата проставлена юбилейная.

Хвалила Дедову книгу «От Чехова до наших дней», которую сейчас перечла. Это было для меня большою радостью: я очень люблю Дедовы молодые книги.

— Ведь он первый заявил, что в поэзию вошел город,[193]) — сказала Анна Андреевна.

Я расспрашивала ее о лете, о Комарове, о здоровье. Она отвечала, что лето у нее было хорошее, и всё-таки о своей жизни говорила с горечью.

Легко устает. Вот сегодня, например, диктовала (sic!) воспоминания о Мандельштаме и утомилась.

Тихим, но яростным голосом пожаловалась, что ее папки явно подвергаются просмотру: кто-то бритвой взрезает корешки.

А самое горестное сказано было в конце:

— Знаете, Лидия Корнеевна, я потеряла оседлость. Лет 8 уже. Я в Питере не дома и здесь не дома.

— С тех пор, как уехали с Фонтанки? — спросила я.

— Не знаю. Я не заметила, когда это случилось. Но случилось.

21 сентября 59

Сегодня Анна Андреевна прочитала мне набросок из своей книги о Пушкине. Она утверждает, что прозаические отрывки последних лет в действительности не отрывки, а цикл законченных произведений. (281)

Против обыкновения, концепция ее не показалась мне на этот раз убедительной. Но, Боже мой! Тут я не судья.

Я принесла ей Цветаеву: «Эпос и лирика современной России».[194]) Она при мне перелистала статью как-то холодно и скептически.

А я от пастернаковской части в восторге. Цветаева удивительно чувствует Пастернака. Наверное, потому, что при всех различиях, они в поэзии родственники. Ветви одного куста.

Перелистывая статью — главку о Маяковском — Анна Андреевна сказала:

— Он писал хорошо до революции и плохо — после. От Демьяна не отличишь.

Я не согласна. А как же «Во весь голос», «Есенину», куски «Про это», «Разговор с фининспектором»?

— «Во весь голос», конечно, великая вещь, — сказала Анна Андреевна. — Но это уже предсмертное. А вообще Маяковский силен и велик только до революции. Божественный юноша, явившийся неизвестно откуда. С Хлебниковым же как раз наоборот: он писал плохо д о и прекрасно — п о с л е.

31 октября 59

Записываю по памяти дней через десять. Бумажку, на

---

(281) «Две новые повести Пушкина» — ОП, стр. 192.

которой я сразу сделала конспект, я потеряла. Поэтому речения Анны Андреевны я пересказываю, а воспроизвожу их только в тех случаях, когда помню их дословно.

Пришла она ко мне сердитая, усталая, раздраженная. Провожал ее Оксман, и оба великие путешественники заблудились: позабыли номер дома, позабыли номер квартиры, а когда, наконец, нашли нашу парадную, никак не могли управиться с лифтом и долго ездили вниз-наверх. Я пыталась выяснить, почему же, где же это они заплутались, но Анна Андреевна на меня только рукой махала. А тут еще Люшенька позвала к чаю приятеля своего Сашу, незнакомого Анне Андреевне, и я боялась, что это даст повод для нового неудовольствия. На деле же случилось наоборот: при чужом человеке она разыгралась, развеселилась, разговорилась. Говорила все время почти одна. Пересказала нам весь роман Кафки «Процесс» от начала до конца.

Отозвалась же о романе так:

— Когда читаешь, кажется, словно вас кто-то берет за руку и ведет обратно в ваши дурные сны.

Рассказала тут же и биографию Кафки. На Западе он гремит, а у нас не издается.

Рассказала биографию Модильяни и свое с ним знакомство.

Прочитала нам «Летний Сад».

Потом, когда мы остались с ней вдвоем, призналась, что в стихотворении «Подумаешь, тоже работа» недовольна строкой

Так стонет средь блещущих нив. (282)

Я же призналась, что в ее дивной «Музыке» меня беспокоит «Последний друг» и «первая гроза».

Она ответила:

— Вы правы. Но это трудно переменить. (283)

Я у нее спросила: как же понравилась ей Цветаева о Пастернаке и Маяковском?

---

(282) БВ, Седьмая книга; № 72.

(283) Этого она и не переменила — БВ, Седьмая книга; № 73.

— Как всё у Марины. Есть прозрения и много чепухи. В Маяковском она не поняла ничегошеньки. Бориса она любит и понимает. Некоторые вещи возмутительны: ну как, например, можно писать: «Есенински-блоковская линия»? Блок — величайший поэт XX века, пророк Исайя — и Есенин! Рядом! Есенин совсем маленький поэтик и ужасен тем, что подражал Блоку. Помните, вы мне как-то в Ленинграде говорили, что Есенин — блоковский симфонический оркестр, переигранный на одной струне? Так оно и есть.

Отвез ее домой в своей машине Саша.

23 декабря 59

19-го я приехала в Ленинград, чтобы отдохнуть и устроить себе праздник: побыть, наконец, с ленинградскими друзьями, особенно с Шурой, вглубь и не торопясь. К Анне же Андреевне я не собиралась — хотела только справиться по телефону о здоровье: ведь с ней мы виделись в Москве недавно, а ленинградцев своих я не видела века. Однако, когда я позвонила ей — «Ура!» — вскрикнула она в телефон с такой искренней непосредственной радостью, что не пойти стало невозможно. Я и пошла, но лишь в последний вечер, когда времени уже оставалось в обрез, да и сил в обрез — пошла невыспавшаяся, то есть больная: на отекших ногах, с сердцебиением и одышкой. До поезда еще необходимо было к Геше. В таком ли виде, с таким ли притупленным слухом идти к Анне Андреевне! Она же, по-видимому, в этот вечер как раз была расположена к продолжительной и сердечной беседе.

Досадно.

Это я у нее в Ленинграде впервые после войны. Впервые на улице Красной Конницы. Впервые после Фонтанного Дома, Чистополя, Ташкента, нашей старой ташкентской ссоры, новой московской дружбы.

На лестнице тьма и грязь. Ахматовская лестница! Ахматовская до слез! И у меня в самом деле чуть не брызнули слезы из глаз, от того, к а к она открыла мне дверь. Я еще не успела ни позвонить, ни постучать, я еще только остановилась у двери. Где тут звонок? А она, ожидая меня, уже стояла — давно ли? — в передней, прижимаясь к дверям

и прислушиваясь — да, несомненно так, потому что дверь она распахнула в ту самую секунду, когда я остановилась.

Первые слова ее, вместо «здравствуйте», были:

— Я так вам рада. Я всегда вам рада, но сегодня в особенности. По тому, как сильно я вам обрадовалась, я поняла, как я здесь одичала.

Из передней налево столовая. Там две двери: направо и налево. Левая к Анне Андреевне.

Я вдруг оказалась среди давным-давно забытых мною вещей и в другом времени: та же забытая мною гладкая рама туманного зеркала, то же кресло со сломанной ножкой. И тот же маленький столик красного дерева, что стоял двадцать лет назад в комнате Фонтанного Дома, куда я так любила приходить. Тогда, до войны; в том, еще моем, Ленинграде.

Вещи, они ведь как губки, впитывают в себя время и вдруг окатывают им человека с головы до ног, если он внезапно встречается с ними после долгой разлуки.

Для Анны Андреевны вещи ее комнаты полны, наверное, 13-м годом; а для меня 37-м... Увидела я их только в 38, но они, как и я, свидетели создания «Реквиема», величайшего памятника той эпохи, эпохи 30-х годов, которая вся вместе именуется «37-м»...

Лёва еще в пересыльной, Митя уже убит, а я еще не знаю о его гибели и «хлопочу». Вот что увидела я в прежнем зеркале Анны Андреевны.

Перед этим горем гнутся горы...

На стене — портрет Судейкиной. Почему-то в той, Фонтанной, комнате, я его не помню.

Анна Андреевна выглядит дурно: грузная, отечная. 1-го декабря был сердечный приступ, вызывали неотложную. После укола камфары сердцу стало лучше, но распухла рука. «Кардиограмму сделать не удалось — здесь слишком много помех».

Прочитала мне три стихотворения: одно мудрейшее: о том, что наследницей оказалась она. Наследницей величия и муки. (284) Другое о Ташкенте и обращено к тому высокому

(284) «Наследница» — ББП, стр. 302; № 74.

поляку, которого я несколько раз встречала у нее. [195]) Стихотворение прекрасное, таинственное, восточное, алмазное, но ко мне Ташкент всегда поворачивался помойной ямой, и я его красоты не почувствовала. (285) Анна же Андреевна как всегда сумела над помойной ямой возвыситься и сотворить из сора высокий миф:

Шехерезада
Идет из сада
и т. д. (286)

Это прекрасно, но в Ташкентском случае ее мифотворчество мне почему-то не по душе. (Видно, скудная у меня душа). Так и «месяц алмазной фелукой» мне чем-то неприятен, и «созвездие Змея». Чем? Наверное, своим великолепием... (287) И третье прочла отличное об ускользании.

Я была на краю чего-то,
Чему верного нет названья...
Зазывающая дремота,
От себя самой ускользанье... (288)

Но «Наследница» превыше всего. Тут не только благоуханная красота, но и полная осознанность своего места в истории.

Показала мне составленный ею новый сборник: «Седьмая книга».

— Требуют автобиографии. Чтобы я написала, что раньше я была плохая, а теперь стану хорошая. Пусть пишет кто-нибудь другой. Я не хочу. Я откажусь.

Опять ввела в «Поэму» новые строфы. Да, опять новые.

— Я заметила, — сказала она, — что трое у м н ы х читателей полагали, будто портрет в комнате героини — «на стене его твердый профиль» — это портрет корнета, который стреляется. А не Блока.

---

(285) Стихотворение «Из цикла 'Ташкентские страницы'» — БВ, Седьмая книга; № 75.

(286) «Луна в зените» — БВ, Седьмая книга.

(287) № 75.

(288) «Смерть» — БВ, Седьмая книга.

— Ну и пусть себе, — сказала я необдуманно. — На всякое чихание не наздравствуешься.

Анне Андреевне не понравился мой ответ. Она произнесла поучительным голосом:

— Я пишу для людей. Для людей, Лидия Корнеевна, а не для себя.

Строфы о Блоке оказались ослепительными. (289) И главное чудо: не верится, что они введены сюда с нарочитой целью — для пояснения. В них ничего нет рационалистического, «служебного», как любит говорить Самуил Яковлевич. Кажется, будто они всегда тут и были, так и родились вместе с остальными строфами. Теперь уже «Поэму» и представить себе без них невозможно.

---

(289) «Новые строфы о Блоке» в действительности — о д н а новая строфа («Это он в переполненном зале» и ниже, вместо «чьим-то словом» — «его словом»). Но одна единственная новая строфа переосмыслила и преобразила весь отрывок, посвященный портрету в спальне героини. Привожу все строфы о портрете — новую и старые — подряд:

Как парадно звенят полозья,
И волочится полость козья...
Мимо, тени! — Он там один.
На стене его твердый профиль.
Гавриил или Мефистофель
Твой, красавица, паладин?
Демон сам с улыбкой Тамары,
Но такие таятся чары
В этом страшном дымном лице —
Плоть, почти что ставшая духом, —
И античный локон над ухом —
Все таинственно в пришлеце.
Это он в переполненном зале
Слал ту черную розу в бокале
Или все это было сном?
С мертвым сердцем и мертвым взором
Он ли встретился с Командором,
В тот пробравшись проклятый дом?
И его поведано словом,
Как вы были в пространстве новом,
Как вне времени были вы, —
И в каких хрусталях полярных,
И в каких сияньях янтарных
Там, у устья Леты — Невы.

Анна Андреевна в разговоре несколько раз возвращалась с возмущением к какой-то глупой французской рецензии. Там написано:

«Ахматова — поэт одной темы. Какой? Не любви ли?»

— Я так и вижу, — гневно воскликнула Анна Андреевна, — газета валяется на мраморном столике, залитом утренним кофе... «Не любви ли?»

Мудрено устроено гениальное сердце! Казалось бы, изо дня в день творя чудеса и сознавая это («иду я, чудеса творя!») и осознав себя наследницей великой русской культуры, можно и не оскорбляться какими-то дурацкими рецензиями.

«Да видно нельзя никак». Глупость все равно ранит.

Я ей рассказала, что, судя по моему последнему разговору с Мазо, (290) «Новый мир» не станет печатать «Читателя».

— Мне это все равно, — сердито ответила Анна Андреевна.

Я забыла в свое время пометить в Дневнике: Анна Андреевна потребовала от редакции «Нового мира», чтобы корректура ее стихов была непременно показана мне (она по-прежнему свято верует, будто корректурными знаками на этой планете владею я одна); я прочитала стихи для надежности вместе с Корнеем Ивановичем, потом позвонила Анне Андреевне в Ленинград и доложила; Анна Андреевна продиктовала мне новое четверостишие: «Там всё, что природа запрячет» — и, когда я передавала его по телефону Мазо, оная дама поставила меня в известность, что стихотворение это вряд ли будет напечатано, так как Дементьев (зам. Твардовского) смущен четверостишием, где порицаются подмостки, рампа. («Наши советские поэты любят лично встречаться с нашими советскими читателями»)... Твардовскому же не нравится в этих же строках иностранное слово « lime-light » :

И рампа торчит под ногами,
Всё мертвенно, пусто, светло.

---

(290) Софья Григорьевна Мазо-Караганова (р. 1919) — зав. отделом поэзии в журнале «Новый мир».

Лайм-лайта холодное пламя
Его заклеймило чело. (291)

— Я ничего менять не стану, — сказала Анна Андреевна.

Потом она вышла на минуту и вернулась огорченная:

— Я хотела напоить вас чаем, но никого нет и ничего нет.

Я ее уверила, что есть не хочу. Но дело-то ведь не во мне! Вот какой у нее дом: никого и ничего. Известная поговорка: «В гостях хорошо, а дома лучше» — это не о ней.

«Нет, не лучше. Хуже».

Она надавала мне множество поручений в Москву, и я ушла.

---

(291) А. Г. Дементьев проявил большую проницательность: у Ахматовой в подлиннике «п о з о р н о е пламя». «Читатель» в «Новом мире» так и не появился и был напечатан в № 3 альманаха «Наш современник» в 1960 г. (БВ, Седьмая книга. № 76); в «Новом же мире», в № 1 за 1960 г., прошли все, предложенные Ахматовой стихи, кроме «Читателя»: «Подумаешь, тоже работа» № 72, «Не стращай меня грозной судьбой», «Летний сад», «Отрывок» («И мне показалось, что это огни»), «Воспоминание» («Ты выдумал меня. Такой на свете нет») — БВ, Седьмая книга.

1960

20 февраля 60, Москва

Утром Анна Андреевна мне позвонила. Вечером я у нее. За общим столом Нина Антоновна, Эмма Григорьевна и маленькая Баталова.

Анна Андреевна улыбается лукаво:

— Вы ничего про меня не слыхали?

— Нет, а что?

Оказалось: в сборнике, выпущенном в Нью-Йорке по случаю семидесятилетия Бориса Леонидовича, напечатана «Поэма без героя». (292) От испуга я едва понимала смысл произносимых Анной Андреевной слов. За гра-ни-цей на-пе-ча-та-на «Поэма без героя»! Значит, опять все как с «Живаго»: газеты, собрания, лужи, моря́, океаны клеветы, а мы? мы молчим, то есть предательствуем. Правда, там, оказывается, сверху поставлено:

«Публикуется без ведома и разрешения автора»,

это, быть может, и спасет. И тогда, кто знает, не пугаться надо, а радоваться?

А теперь бы домой скорее
Камероновой галереей —

это я увижу напечатанным не на машинке, а типографским шрифтом!

---

(292) «Воздушные пути», альманах первый. Редактор-издатель Р. Н. Гринберг, Нью-Йорк, 1960.

Анна Андреевна встревожена, но как-то не слишком. По-видимому, надеется, что повторения истории с «Живаго» не будет. Время сейчас особенное, вперед не угадаешь. Хоть на ромашке гадай, хоть на кофейной гуще.

Анна Андреевна продолжала насмешничать.

— Вот вам и капитализм и уважение к частной собственности! Кража самая настоящая! Я подам на них в суд или обращусь в Охрану авторских прав. Или напишу оскорбительное письмо Эйзенхауэру.

Она увела меня к себе и показала стихи, приготовленные для Сидоренко, то есть для альманаха «Наш современник»: «Читатель»; (293) стихотворения, обращенные к трем поэтам: Нарбуту, Мандельштаму, Пастернаку (разумеется, без обозначения имен); (294) «Все это разгадаешь ты один» (Пильняку) (295) — и еще много старых. (296)

Прочла наизусть телеграмму, которую послала Борису Леонидовичу по случаю его семидесятилетия. «В этот день примите уверения», — как-то так.

— Очень уж официально, — сказала я.

— Лучше пусть официально, чем тот бред, который он прислал мне. «Родной волшебнице».

Сердится на Владимира Николаевича Орлова, редактора ее «Седьмой книги»:

— Хоть бы она не выходила совсем. Книга мне опостылела. Орлов требует, например, чтобы в стихотворении:

Я научилась просто, мудро жить,
Смотреть на небо и молиться Богу —

я заменила чем-нибудь Бога. Чем же прикажете? «Служить единорогу»?

---

(293) № 76.

(294) «Записки», т. 1, № 26, № 42, №1.

(295) «Записки, т. 1, № 18.

(296) В «Нашем современнике» за 1960 год, в № 3 были напечатаны следующие стихотворения Ахматовой: «Все это разгадаешь ты один», № 18; «Портрет автора в молодости» («он не траурный, он не мрачный» — БВ, Седьмая книга); «Где на четырех высоких лапах» — БВ, Седьмая книга; «Про стихи» — № 26; «Читатель» — № 76; «Первое возвращение» — БВ, Вечер.

Я у Анны Андреевны впервые после Тусиной смерти. [196]) Да, Туси нет, а я еще длюсь. Тщусь.

Разговор был какой-то сбивчивый, беглый. Впрочем, разговор как разговор. Но я-то сейчас поверхностно воспринимаю; неугадчиво; несосредоточенно; не вглубь. Плохо слушаю. Много говорю.

Я попробовала рассказать Анне Андреевне о Тусе. О том, чем я жила последние месяцы. О Тусином умирании.

Когда сделалось известно — месяцев восемь назад — что у Туси метастаз в печень, я каждый раз, подходя к ее парадной, видела неизбежный день похорон: ясно видела похоронный автобус у подъезда 7. А Тусенька была еще живая и часто веселая; на звонок сама отворяла мне дверь в своем милом халатике и терпеливо дожидалась в передней, пока я сниму боты, шубу, платок; а потом, поудобнее устроившись под одеялом в постели, со смехом — и меня заставляя смеяться — пересказывала в лицах очередную галиматью Панферова или Кожевникова, вычитанную в очередном номере журнала. Особенно удавался ей секретарь обкома, Морев — тот самый! — она показывала, как он с трясущимися поджилками принимает по телефону руководящие указания из Москвы. «Панферов, — говорила она, — явно и сам трясся, когда писал эту сцену». Я слушала ее, не в силах верить, что автобус настанет. Но он прибыл в срок: свежевыкрашенный, синий, нарядный; возник во дворе у подъезда 7, после многих недель ее судорог, болей, тошнот, метанья, беспамятства, бреда.

— Тамара Григорьевна узнавала вас? — спросила Анна Андреевна.

В последний раз она узнала меня за трое суток до смерти, когда уже не могла говорить. Утром, в 6 часов. Был приступ уремии. Я растирала ей дергающееся лицо, дергающиеся руки. В зрачках, вернувшихся к сознанию от боли, был ужас перед новой болью. Судороги уходили. И вдруг глаза обрадовались: это она узнала меня. Успокоившейся рукой взяла мою руку и положила себе под щеку.

— Вот и хорошо, что вы были возле, — сказала Анна Андреевна.

Один раз, еще задолго до этого, еще когда она отвечала на вопросы и даже сама иногда разговаривала — я поила ее чаем, она вдруг махнула рукой:

— Вот так, Лидочка, и бывает, так и бывает! — и озабоченно легла на бок, чтобы снова вернуться к прерванному занятию: умирать; а потом, на минуту очнувшись, когда я неловко вытянула градусник у нее из-под мышки, вдруг сказала:

— Лидочка, я всё думаю, откуда берется столько происшествий, лиц, интересных картинок? Где они производятся, кто их показывает мне?

— Когда вы спите?

— Нет, наяву, всё время.

Анна Андреевна слушала меня с участием и со вниманием. Я же плохо слушала сегодня Анну Андреевну.

В воскресенье она собирается к Бонди: читать свою работу о Пушкине. (297)

Редактором «Невы» назначен Петр Капица — тот самый, что пытался отнять у нее в Комарове дачу и наверное теперь выкинет из журнала ее стихи.

Она ездила в гости к Эренбургу.

Ардовы завели новую таксу.

Я слушала и думала: почему это у Туси, когда она лежала в гробу, появилось в волосах, чуть повыше виска, круглое белое пятнышко седины? Раньше я его никогда не видела. И почему — круглое?

Думала я и о том, каким она была удивительно самобытным человеком. К каждой из своих основных мыслей — а их было много у нее: о смерти, о любви, об искусстве, о старости, о религии, о воспитании — она пришла сама. И к стихам. Меня с детства учил понимать стихи Корней Иванович. Потом Самуил Яковлевич. А ее — никто. Она сама одаривала меня Тютчевым, Баратынским, Фетом; одно принимала, другое — нет, и каждое свое приятие и неприятие умела

---

(297) По-видимому, неоконченную «Гибель Пушкина» — см. ОП, стр. 110.

объяснить с таким богатством ассоциаций, с такой силой, с такой красотой и образностью, с такой находчивостью речи.

Анна Андреевна, почувствовав, о чем я думаю, сказала:

— А я помню ее молодой, нарядной, блестящей. Я читала у вас «Поэму» — помните? — и она так тонко и умно говорила о двух главных героях «Поэмы без героя»: времени и памяти. Жалею, что не записала тогда ее слов. Мы все тогда ничего не записывали.

(Разве?)

Потом — о Лёве.

— Сегодня у меня самая страшная годовщина. В 1938 году в этот день я узнала, что Лёва арестован. В этот день и начались мои хождения. Эти лица, эти, как у вас написано, голубые губы, эти ответы из-за окошек. (298)

Я спросила, как Лёвино здоровье, как его книга?

Она впервые заговорила со мною о нем с горестной откровенностью.

— Книга идет, но денег не платят. Он убежден, что в этом виновата я. Ведь я во всем виновата, ну и в этом тоже. Как его здоровье — тут ничего нельзя понять. Он к врачам не ходит и сам ставит себе диагнозы. Теперь он уверен, что у него язва.

Слово «язва» вернуло меня к Тусе.

Мы лгали ей, до удаления опухоли и после, будто у нее язва желудка, кровоточащая, требующая удаления. Верила ли она или нет? Передо мной притворялась, будто верит. А потом, когда открылся метастаз в печень, ей сказали, будто у нее инфекционная желтуха.

Неделю назад открытый гроб на руках вынесли из квартиры. Я шла рядом по лестнице ступенька за ступенькой.

---

(298) «Губы у нее были голубые» — написано в моей повести «Софья Петровна» о секретарше директора: в кабинете ее начальника происходит обыск. (Лидия Чуковская. «Софья Петровна» — см. «Новый журнал», Нью-Йорк, 1966, № 83, стр. 34). Я прочитала эту повесть Анне Андреевне 4 февраля 1940 года (см. «Записки», т. 1). Позднее, вольно или невольно, А. А. переселила мою «женщину с голубыми губами» в свой текст — см. «Вместо предисловия» к «Реквиему» — прозаический отрывок, помеченный 1 апреля 1957 г.

Тусю навсегда уносят из дому.

— Ккаа-кая желтая! — крикнула девочка, увидев Тусино лицо, когда гроб осторожно поворачивали перед автобусом.

27 марта 60

Сильно болели зубы. Но Анна Андреевна вытребовала меня к себе. Я пошла, досадуя, однако, увидев ее, устыдилась Лицо отечное, серое, перебои сердца — она совсем больна.

Позвала меня потому, что хотела показать свою автобиографию, без которой не может выйти книжка. Она пробовала уклониться — откладывала, отговаривалась, и вот, наконец, написала.

Странное произведение. Смесь обрывочных сведений из биографического словаря с истинной «прозой поэта». Выбор сообщений о себе совершенно произвольный, никакой главной мысли ни о творческом, ни о жизненном пути. А, быть может, из-за зубной боли я чего-то не поняла. Да и какая же мысль о судьбе Ахматовой была бы допущена в нашей печати? Не эта ли?

А я иду — за мной беда,
Не прямо и не косо,
И в никуда и в никогда,
Как поезда с откоса. (299)

Прелестно у нее в предисловии сказано о том, как впервые она увидела море, как научилась плавать. Октябрьская революция — пропасть под ногами, увиденная с обрыва разведенного ночного моста. Гумилев упомянут в придаточном предложении по поводу летних поездок в имение свекрови. Несколько нарочитых надменностей: «первое стихотворение

(299) «Один идет прямым путем» — БВ, Седьмая книга.

к счастью потеряно». Или: «Вышла книжка стихов. Кажется, в прессе хвалили». (300)

Чувства мои были неопределенны, поэтому от суждения я воздержалась. Сделала несколько крошечных замечаний, которые она приняла.

Но должностным лицам, я боюсь, предисловие совсем не понравится. Впрочем, посмотрим.

Анна Андреевна хвалила мне «Шинель», поставленную в кино Алешей Баталовым.

— Великолепные находки. Например: не снято ни одно историческое здание. И это правильно, потому что исторические здания стоят и сейчас: продемонстрируй их — и сразу утратится та эпоха. Пустая Нева, над Невой пустое небо (тут некоторая неточность: на Неве мелкие суда всегда были) — и — никаких знаменитых зданий, одни задворки. Прекрасно. И дом, где Раскольников убил старуху.

Потом показала мне переписанную из какого-то заграничного русского журнала рецензию Адамовича. (301) Не то, чтобы крылато — но толково... Вот как! Значит, «потусторонний мир» — «заграница» — существует в действительности, и там обсуждаются русские стихи? Я помню Адамовича здесь в нашем мире, в Доме Литераторов на Бассейной. Его и Георгия Иванова, которого я терпеть не могла и боялась из-за красных губ и пробора. (Противность Иванова велико-

---

(300) Не могу установить, какой именно из вариантов своего автобиографического предисловия прочла мне А. А. в тот день. В советской печати с разнообразными пропусками это автобиографическое предисловие напечатано несколько раз. Наибольшим опустошениям оно подверглось именно в сборнике 61 года. Но ни в одном из вариантов, ни в сб. 61 г., ни в сб. 74 (Анна Ахматова. Избранное. М. «Художественная литература»), ни в ББП, ни в наиболее полном варианте (сб. «Советские писатели. Автобиографии», т. III, М., ГИХЛ, 1966) нет упоминания об Октябрьской революции и разведенном мосте. Впрочем, о том, как Ахматова училась плавать, тоже отсутствует. И надменных замечаний о первом стихотворении и о похвалах в прессе тоже нет. На каком этапе работы и кем внесены перемены — я не знаю.

Слова об Октябрьской революции, изъятые из автобиографического предисловия, однако напечатаны: «Я на Литейном мосту 25 окт. 1917 г.» (см. сб. «Книги. Архивы. Автографы...», стр. 67).

(301) Из какого журнала и на какие произведения Ахматовой — не помню. Может быть, речь идет о статье Адамовича «Наши поэты» (см. «Новый журнал», 1960, № 61).

лепно изображена Анненковым на известном портрете). Помню какие-то строки из стихов Адамовича о гибели Пушкина. Они меня трогали. Будто бы кто-то — быть может, и сама Гончарова знает о предстоящей дуэли и пытается ее предотвратить.

По широким мостам... Но ведь мы все равно не успеем...

И конец:

И под черным вуалем у гроба стоит Гончарова,
Улыбается жалко и вдаль равнодушно глядит.[197])

— Вряд ли она улыбалась, — сказала Анна Андреевна, когда я прочитала ей эти строки. — Своей чудовищной вины она не понимала, но, как-никак, ей было не до улыбок.

20 апреля 60

Вчера вечером я наудачу позвонила Ардовым: не приехала ли Анна Андреевна? Оказалось, приезжает сегодня. С утра мне позвонил Миша, и вечером я отправилась к ней, захватив с собою «Поэму». Я давно мечтала внести в свой экземпляр накопившиеся с 55 года исправления.

Анна Андреевна была ко мне внимательна и добра и на прощанье сказала:

— Очень мне было с вами отрадно.

А мне как!

Мы сидели рядышком часа два, и она, то своею рукою, то диктуя, добавила новые строки и строфы в мой экземпляр. (302)

---

(302) Придя домой, я пометила карандашом дату против каждой вставленной тогда строки и строфы. Вот главное из того, что «накопилось» и было продиктовано или вписано Анной Андреевной в мой экземпляр «Поэмы» 24 апреля 1960 г.:

Строфа: «Маска это, череп, лицо ли...»
Строфа: «Это он в переполненном зале...»
Строфа: «Чтоб сюда из чужого века...»
Строфа: «Все, что сказано в первой части...»
Почти заново написана строфа о Шаляпине:

[Окончание сноски на стр. 309.]

Анна Андреевна объяснила мне, почему удалена «Вспышка газа»: читатели думают, будто речь идет о газовой плите.

Огорчила меня только шаляпинская строфа. Она утратила свою таинственность. Но зато в ней появилась Россия.

В «Письмо к NN» Анна Андреевна продиктовала мне множество мелких поправок.

Потом прочла интереснейшие свои записи о «Поэме» (сделанные зимою прошлого года). Пишет, чувствовала, что в это время с «Поэмой» что-то *происходило*. В этих записях есть, между прочим, такой эпизод: после похорон Блока Анна Андреевна и Ольга Афанасьевна бродили по Смоленскому кладбищу, разыскивая могилу Всеволода Князева, но не

И опять тот голос знакомый,
Словно эхо горного грома, —
    Наша слава и торжество!
Он сердца наполняет дрожью
И несется по бездорожью
    Над страной, родившей его.

(Впоследствии — «вскормившей»; а вместо «Наша слава и торжество!» — «Не последнее ль торжество!»)

К прозаическому отрывку «Вместо предисловия» сделан эпиграф: «Иных уж нет, а те далече».

Под «Первым посвящением» вместо 26 декабря 40 года поставлено 27-е.

В строфе «Это все наплывает не сразу...» вместо «Вспышка газа...» сделано «Запах розы».

В строфе «Но летит, улыбаясь мнимо...» появилась новая строка: «Ты, наш лебедь непостижимый».

К III главке I части, вместо эпиграфа из Вс. Князева («Любовь прошла и стали ясны») поставлен эпиграф из Мандельштама: «В Петербурге мы сойдемся снова, / Словно солнце мы похоронили в нем».

В строфу «Ветер, полный Балтийской соли» продиктована строка: «Кто лишь смерти просит у Бога...»

В строфе: «Так и знай: обвинят в плагиате...», в строке «У шкатулки ж двойное дно» — двойное дно заменено тройным. Такая замена, по моему убеждению, связана с новыми строфами, возникшими в «Решке» в 1959-1960 годах. Об этих новых строфах см. запись под датой 19 ноября 1960 г.

нашли ее. (303) Упоминает она в своих записях и о том, что сказала мне однажды в Ташкенте и повторила в Москве: «Все свои стихи я всегда писала сама, а «Поэму» пишу словно вместе с читателями».

С книгой заминка. «Предчувствие не обмануло меня»: начальству автобиография не понравилась.

— Оставили только обрывки анкеты, всё живое выкинули, — сказала Анна Андреевна.

3 мая 60

Анна Андреевна выглядит дурно и жалуется на слабость. (За стеной — вечеринка у Ардовых. Она разговоров не слышит, а я слышу, с особенной ясностью — телефонные: телефон из столовой вынесен в коридор на холодильник. Один гость, уже вдребезги пьяный, час целый мягким, назидательным голосом увещевал какую-то Катю: «Ну как тебе, Катюша, не стыдно? Я в поездке, а ты любовника принимаешь... Нехорошо. Сама подумай. Я в поездке... а ты...»)

Книгу Ахматовой почему-то отняли у Орлова и передали из Ленинграда в Москву. Анна Андреевна об этой перемене узнала случайно, ее известить не сочли нужным.

— Книги наверное не будет, — сказала Анна Андреевна. — Я согласилась переводить Лопе де Вега. Надо на что-нибудь жить. (304)

Гадали: если книгу в самом деле зарежут, то по какой причине. Почему? Не потому ли, что «Поэма» напечатана в Америке?

---

(303) Теперь я получила возможность процитировать точно строки из тех отрывков «Прозы о Поэме», которые А. А. прочитала мне в Москве 24 апреля 60 г.:

«Последние дни я все время дополнительно чувствую, что где-то что-то со мной случается. По какой линии, это еще не ясно. То ли в Москве, то ли еще где-нибудь. Что-то втягивает меня, как горячий воздух огромной печи или винт парохода».

(Это в записи от 24 декабря 59 г.). А в записи от 17 декабря: «...картина, выхваченная прожектором памяти из мрака прошлого, это мы с Ольгой после похорон Блока, ищущие на Смоленском кладбище могилу Всеволода († 1913): «Это где-то у стены», — сказала Ольга, но найти не могли. Я почему-то запомнила эту минуту **навсегда**».

Примеч. 1977 г.

(304) Никакие переводы Ахматовой из Лопе де Вега мне неизвестны.

Надоело мне все... и зарезанные книги, и эти вечные наши попытки: догадаться, понять, сообразить, предвидеть.

Заговорили о Твардовском.

— Прекрасный подарок трудящимся к 1 мая, — говорит Анна Андреевна. И уверяет, что для Твардовского это прогресс. Все-таки упоминается сталинская неправота. Не одна лишь правота.

(Своей крутой, своей жестокой,
Неправоты.
И правоты). (305)

А я в бешенстве. Какая же правота у профессионального палача? У напарника Гитлера?

Конечно, Анна Андреевна понимает все это не хуже меня, но она к Твардовскому равнодушна, а я люблю «Дом у дороги» и многое, многое еще, и мне жаль, что большой поэт оказывается сейчас среди отстающих. Среди утешающих себя.

Та́к это было на земле...

Неправда. Не так это было.

— Прогресс, Лидия Корнеевна, явный прогресс, — повторяла Анна Андреевна. — Товарищ растет.

Меня возмущает в применении к Сталину — пакостнику, интригану, провокатору — слова́ «суровый», «грозный», «вел нас в бой» — слова́, облагораживающие своей высотою его подлое ремесло. А «тризна», «бразды», «ведал»! Не о Владимире ли Красное Солнышко речь? Церковно-славянским штилем говорить о пошляке, невежественном, грязном, наглом, трусливом, хитром? Лжет высокий штиль! Я понимаю, что ругательства тут тоже неуместны, мелки (он-то — всего лишь палач, да горе человеческое огромно и свято), но уж высокий слог во всяком случае неприличен! «Ведал»! И как это повернулось перо у Твардовского назвать смерть Сталина утратой?

---

(305) Речь идет о главе из поэмы Твардовского «За далью — даль», появившейся в «Правде» 29 апреля 1960 года. Глава называлась «Так это было».

Немыслимое, необъятное, нежданное счастье, спасшее от гибели миллионы недозамученных в лагерях и целые поколения — на воле.

Пусть матери выше поднимут детей,
Спасенных от тысячи тысяч смертей...

вот как надо было встретить смерть Сталина.

Почему же, по Твардовскому, эта спасительная смерть есть утрата?

Но Анна Андревна радуется возможности говорить вслух, в печати о сталинской жестокости. У Твардовского в поэме несколько раз: крутой, жестокий. И то — хлеб. [198])

— Теперь и мои многие стихи раскрепостятся — как вы думаете? — спросила Анна Андреевна. И прочитала мне два, оба о Сталине; одно «Стансы», (306) а другое никогда мною не слышанное. («Знаете, бывает, что закатится куда-то в щелочку, а потом вдруг найдется»). О черной овце: сына ее падишах съел на ужин.

Сладко ль ужинал, падишах?

— Ох, страшные, — сказала я.

— Время было страшное, потому и стихи страшные, — сказала Анна Андреевна. (307)

Да, вот будет проверка новому — нестрашному! — времени: напечатают эти стихи или нет? (308)

Затем Анна Андреевна обратилась ко мне с очень лестной просьбой: записать для нее те мои мысли о «Поэме», которые я излагала ей в прошлый раз.

Попробую.

---

(306) № 61.

(307) «Подражание армянскому» — «Памяти А. А.», стр. 17; № 77.

(308) При жизни Ахматовой их не напечатали. Только после смерти, в 1966 году, в № 13 журнала «Радио и Телевидение» было напечатано «Подражание армянскому»; «Стансы» же в Советском Союзе не напечатаны до сих пор. Примеч. 1977 г.

По дороге домой я припомнила и повторила всю «Стрелецкую луну».

Бориса дикий страх, и всех Иванов злобы,
И Самозванца спесь — взамен народных прав.

Вот это — подходящий словарь: «страх», «злобы», «спесь» — да еще в предыдущей строке: зверство. Это вам не «бразды» или «тризна»!

7 мая 60

С утра голос Анны Андреевны в телефон:

— Сегодня я узнала, что книги моей не будет. Приходите.

Сегодня: верстка, поликлиника, Переделкино, тысяча дел. [199]) Из поликлиники, днем, я заехала к ней ненадолго. У нее Женя Берковская. [200]) В комнате пахнет валидолом. Анна Андреевна сидит на тахте тяжелая, чуть задыхающаяся, но с блестящими глазами. Официально ей не сообщили ничего, но какая-то молодая редакторша прибегала сказать: директор Гослита, Владыкин, объявил на летучке, что «состав книги Ахматовой нас не удовлетворяет».

Какие, однако, эстеты. Прямо-таки гурманы: Ахматова их не удовлетворяет! Зато Доризо — вполне.

Анна Андреевна возбуждена и грустна.

Бранит отрывок из романа Хемингуэя, напечатанный в «Литературной газете».

— Отчаянная гадость! Девица жует бифштекс с кровью и осведомляется у любовника, скольких человек он убил! Злейшая пародия на «Прощай, оружие!» [201])

Женя Берковская ушла. Я сказала Анне Андреевне, что принесла ей просимое. Она прочитала мои два листка о «Поэме».

— Великолепно! Я непременно включу этот текст в примечания — в ответ на мое письмо вам. Я сама чувствовала что-то такое — конкретность и отвлеченность — то, о чем у

вас говорится — и даже написала статью о лунатизме — а вы все назвали своими именами.(309)

Она положила мои листки к себе в сумку. И в обмен протянула мне пачку итальянских газет: страшные фотографии каких-то преступников, убийств и казни.

— Из-за этого мне сегодня плохо — из-за этой казни и из-за кровавых бифштексов Хемингуэя. А книга моя — пусть. Я даже рада, что ее не будет.

11 мая 60. Переделкино.

Трудный день.

В 6 часов вечера внезапно приехала Анна Андреевна: ее привезла в своей машине Наташа Ильина.

В доме у нас тревожно. Корнею Ивановичу не лучше,

---

(309) По-видимому в данном случае А. А. похвалила мою заметку из вежливости, по доброте душевной. Она никому ее не показала, обычно же те статьи и письма, которые представлялись ей интересными, показывала друзьям.

Привожу копию, обнаруженную мною недавно в архиве моего отца. В настоящее время (1977) эти старые листки, конечно, не удовлетворяют меня: сейчас я пишу о «Поэме без героя» особую работу. Однако, считаю необходимым привести здесь то, что я вручила тогда Анне Андреевне.

«Впервые Анна Андреевна прочитала мне кусок поэмы в Ленинграде, в 1940 году.

Я была в такой степени ошеломлена новизной, что спросила у автора:

— Это чье?

В следующую секунду я поняла все неприличие своего вопроса. Конечно, это — Ахматова, но какая-то новая, другая Ахматова.

В чем же новизна — не темы, не содержания — а самого стиха? Не только в мощном, открытом напоре ритмической волны, сменившем дробность и сдержанность ритма. Но и в сочетании необыкновенной конкретности приемов изображения — с отвлеченностью изображаемого. Желтой люстры безжизненный зной, перо, задевшее о верх экипажа, муравьиное шоссе — все эти, по определению Пастернака, «прозы пристальной крупицы», которые в стихотворениях Ахматовой служили созданию реальности — в «Поэме», оставшись столь же конкретными, одевают плотью, овеществляют невещественное, отвлеченное. Материализован не только хоровод призраков; на наших глазах материализуются и понятия.

И была для меня та тема,
Как раздавленная хризантема
На полу, когда гроб несут...

[Окончание сноски на стр. 315.]

гости к нему не поднялись. (310) Анна Андреевна грузная, с одышкой, в лес не пошла, а села на скамью возле дома, радуясь воздуху и зелени.

Привезла показать мне новую строфу в «Поэму» — мгновение накануне самоубийства.

Вкруг него дорогие тени.
Но напрасны слова молений,
Милых губ напрасен привет.
И сияет в ночи алмазной,
Как одно виденье соблазна,
Тот загадочный силуэт.

Она спрашивает: вставлять ли? Мысль тут глубокая —

Ахматова сама, как и ее героиня, смотрит «смутно и зорко»; это тот же пристальный взгляд, какой был у нее прежде, но устремлен он на нечто «смутное», зоркостью своей он фиксирует не черты природы и человека, не облака, вылепленные грубо, не айсберги мороза, не голос или глаза; нет, он овеществляет отвлеченности: век, время, романтизм, процесс памяти. Ахматова как бы трогает рукой звук, цвет, мысль, чувство, самую память. От этого резкого столкновения конкретного с отвлеченным, понятия с раздавленным цветком — и рождается то зеленое бесовское пламя, которое там и здесь вспыхивает в поэме; та новая гармония, которая ранит и пленяет слух.

Л. Ч. апрель, 60 г.».

Прочитав мои листки, А. А. упомянула свою «статью о лунатизме». Эта рукопись неизвестна мне. Думаю, это нечто автобиографическое: однажды в разговоре А. А. призналась, что в отрочестве страдала лунатизмом; о том же, в своих ненапечатанных воспоминаниях свидетельствует В. Срезневская... В черновых набросках к «Решке» читаем:

Видят все, по какому краю
Лунатически я ступаю,
Как по солнечному ковру.

В пьесе "«Пролог» или «Сон во сне»", над которой Ахматова работала в первой половине 60-х годов, героиня — X — лунатик («Пролог» — второе действие драмы «Энума Элиш»; об этой драме см. примеч. на стр. 34. О «Прологе» сохранилась такая авторская запись: «В этой пьесе роль сомнамбулы исполняла сама X. Она спускалась по освещенной луной, почти отвесной стене своей пещеры — после каких-то темных блужданий, не просыпаясь, молилась Богу и ложилась на козьи шкуры, служившие ей ложем». ББП, стр. 509).

(310) К. И. долго и тяжело болел. Сохранилась его запись от 10 апреля 60 г.: «Вот уже почти месяц я в постели».

«Что было любимо, всё мимо, мимо», — в роковые минуты тщетно всё, полюбленное в жизни, и потому беззащитна душа. Но я не посоветовала ей тормозить действие этой строфой. К тому же, иностранное слово «силуэт» холодно для смертного часа; «алмазная ночь» и «соблазн» — в этом какая-то пышность, красивость, вместо наготы отчаяния.

Однако главные разговоры были о Борисе Леонидовиче. (311)

Как раз накануне приезда Анны Андреевны я бегала в Дом Творчества, к Ване, (312) чтобы разузнать что-нибудь о Пастернаке: в Доме Творчества всегда знают всё раньше всех. И в самом деле: только что мы вышли с Ваней на балкон, к нам подсел Асмус, который ходит к Пастернакам по три раза в день. 202) Валентин Фердинандович сказал, что больного он не видел со дня болезни, но сегодня слышал из-за двери его голос — изменившийся, слабый; лечит Пастернака Фогельсон, а дежурят возле него литфондовские врачи и сестры; инфаркт тяжелейший. «Фогельсон говорит — тяжелее, чем у Олеши».

Зачем же он это говорит! Олеша вчера умер.

Еще рассказал Асмус, что Зинаида Николаевна не отходит от Бориса Леонидовича, очень умело за ним ухаживает, но, воспользовавшись тем, что он лежит внизу, а верх свободен — затеяла там давно мечтаемый ею ремонт. Борис Леонидович, страдая от жары, просил не топить в доме; когда рабочие наверху случайно задели трубу, он подумал, что затопили — и очень разволновался.

Казалось бы ясно: инфаркт и ремонт две вещи несовместные. Но нет. Хозяйственность прежде всего.

После ужина Анна Андреевна пожелала съездить к Пастернаку, справиться о здоровье. Поехали. Наташа осталась за рулем. И вот я опять веду Анну Андреевну по тому же двору. Пусто. Мрачно. Анна Андреевна ступает с трудом, задыхаясь. Взошли на крыльцо — правое, кухонное.

Нам навстречу — Леня и Нина Александровна Табидзе. Встретили сначала неприветливо: не узнали Ахматову. Потом

---

(311) В начале мая Борис Леонидович слег; врачи полагали, что у него инфаркт миокарда.

(312) Ваня — Иван Игнатьевич Халтурин; о нем см. примеч. 87).

подобрели. Нина Александровна, рассказывая, пошла нас проводить до ворот. Говорит, что сегодня Борису Леонидовичу лучше.

Анна Андреевна с измученными глазами еле сделала шаг вверх: в машину, внутрь. Все труднее и труднее с каждым месяцем дается ей этот единственный шаг.

В машине она сказала:

— Я так рада, что побывала здесь. Надеюсь, ему передадут.

(В последнее время она была недовольна Борисом Леонидовичем и, я думаю, сейчас это ее точит).

14 мая 60

Анна Андреевна отяжелевшая, слабая, полубольная.

Я была у нее недолго.

Рукопись зарезанной книги передана Суркову.

Показывала Николаю Ивановичу строфу — ту, что привозила ко мне на дачу. Он тоже против. Предложил одну замену: вместо

— Помогите, еще не поздно! —

— Помоги мне, еще не поздно!

Я не уверена. Анна Андреевна, кажется, приняла. (313)

К Анне Андреевне приходила какая-то сотрудница Литературного музея расспрашивать о художниках, ее рисовавших и писавших.

— Она не знает ровно ничего. Все имена были ей в новинку. Я ей аккуратно назвала всех, в том числе и Зельманову-Чудновскую, которая писала меня во весь рост. [203]) (Зельманова была красавица, подруга Саломеи Андрониковой. В нее был безумно влюблен Мандельштам. Она и его писала). Девушка бормочет что-то о какой-то экспозиции, которую они развернут. Конечно, ничего этого не будет. Если

(313) Нет, оставила «помогите».

меня развернуть в экспозицию — я пропала. Вы подумайте только: Николай Степанович, Лёва, Николай Николаевич, два постановления ЦК! Это не то, что какая-нибудь там буржуазная слава: ландо или автомобиль, старая дама, брильянты в ушах. Это — читайте товарища Жданова. Это — я! Какая тут может быть экспозиция, Господи! Девчонки, по невежеству, погубят себя и меня.

Заговорили о Борисе Леонидовиче — о его болезни.

(Фогельсон полагает — мне передавал Асмус: инфаркт еще страшнее, чем у Олеши, но организм гораздо могущественнее; состояние хотя и тяжелое, но далеко не безнадежное. Началась кровавая рвота. Собирают консилиум...)

Трудно мне было все это произносить.

Я думаю о том: неужели я видела его в последний раз — вот тогда, в самом начале месяца, когда он пришел возвратить Деду деньги и книги? Дед лежал больной, после спазма, и к нему никого не пускали. Борис Леонидович очень торопился; он уже снял было калоши и пальто, но услыхав, что Дед болен, стал сразу опять одеваться, хотя я и сказала, что поднимусь наверх, взгляну, что ему-то Корней Иванович будет и рад и пр. Но он в передней совал мне в руки книги и какой-то конверт.

— Вот, передайте папе. Тут — я у него брал книги и деньги. Ваш отец удивительно благородный человек. Он наверное даже вам не сказал, что я давно уже должен ему 5 тысяч.

И, оставив меня с книгами и тысячами в руках, побежал чуть не бегом, сильно хромая.

Нет, это был не последний — я его еще раз видела — но уже не вблизи, а издали. Я шла по дороге вдоль поля. Меня обогнало такси. У ворот Бориса Леонидовича машина остановилась и оттуда вышла дама. Ей навстречу поспешил Борис Леонидович, взял под руку и повел к себе.

В последний? И его — в последний раз?

Анна Андреевна сказала:

— Безобразие, что к нему сейчас не пускают Ольгу, какая она ни была. (314)

16 мая 60

Говорят, был консилиум у Бориса Леонидовича. Подозревали инфаркт в легкое, инфаркт в желудок. Но подозрения о желудке, кажется, отпали, а в легком что-то есть.

Какая-то страшная полоса. Корней Иванович все не может оправиться. Самуила Яковлевича кладут в больницу на исследование, у него подозревают рак. Завтра непременно поеду к нему.

Сегодня была у Анны Андреевны с этими смутными и дурными вестями.

Она и сама совсем больна, давление повышено, слабость, она полулежит. Я бы не пугала ее сообщениями о болезнях, но слухи до нее все равно доползают — так уж лучше сообщать точно.

Маршаку она, оказывается, уже звонила сама.

Кругом разговоры о войне и выступлении Хрущева в Париже. [204])

Анна Андреевна сказала:

— Прибежал сосед — «война»! Челюсть отвисла. Я уверена, у него ванна уже полна керосином, а сверху плавает соль: запасы.

Она накинула халат и повела меня в столовую. Там мальчики. Миша слышал английское радио и уверил нас, что Эйзенхауэр ответил Хрущеву чем-то примирительным. Мы повеселели. Выпили чай с Ардовыми и снова вернулись к ней. Она снова легла.

Бранит Федина; прочла в «Правде» отрывок:

— Кроме всего прочего, он позабыл, что такое диалог. Сколько пластов в диалогах у Пушкина! Хотя бы в «Пиковой даме». Можно снимать слой за слоем. Старуха — прошлого века; оттого по-французски она говорит, как парижан-

---

(314) А. А. заблуждалась. См. стр. 348, а также примечание на стр. 327.

ка, а по-русски — как собственная прачка. Вся она выражена диалогом. А тут? (315)

22 мая 60

Утром вчера я позвонила узнать: можно ли придти к Анне Андреевне вечером? Сама она трубки не взяла — лежит, ей нездоровится — но Виктор Ефимович передал: вечером просит придти непременно.

Вечером я и отправилась на Ордынку, ничего не ожидая худого, с нарядной книгой сказок Чуковского подмышкой: по просьбе Анны Андреевны Корней Иванович послал книгу в подарок Nининой внучке.

Дверь открыл Ардов.

— Анна Андреевна в больнице. Скорая помощь. Боткинская. Днем были сильные боли — по-видимому, инфаркт.

Я и книгу отдать позабыла.

В воскресенье поехала в Боткинскую. Корпус 1, палата 7. (Она сюда и хотела, потому что здесь Вотчал). [205]) Человек шесть кроме нее в палате. Она лежит на спине. Возле: Нина Антоновна и Мария Сергеевна. Болей уже нет, но глаза блестят — жар.

Когда ее привезли на скорой, она часа два пролежала в коридоре, пока освободилось место в палате.

---

(315) 15 мая 1960 года в «Правде» были опубликованы «Эпизоды из романа «Костер». Час первый».

Слова Анны Андреевны о диалоге в «Пиковой даме» интересно сопоставить с ее записью, сделанной в Комарове 22 августа 1961 года под заглавием «Второе письмо». Запись преподнесена автором как продолжение письма 1955 года, т. е. «Письма к NN».

«Конечно, каждое сколько-нибудь значительное произведение искусства можно (и должно) толковать по-разному (тем более [это?] относится к шедеврам). Например, «Пиковая Дама» — и просто светская повесть 30-тых годов 19 века, и некий мост между 18 и 19 веками (вплоть до обстановки комнаты графини), и библейское «Не убий» (отсюда все «Преступление и наказание»), и трагедия старости, и новый герой-разночинец, и психология игрока (очевидно, беспощадное самонаблюдение), и проблема языка (каждый говорит по-своему, особенно интересен **русский язык** старухи — до карамзинский; по-французски, надо думать, она говорит не так), но... я, простите, забалтываюсь — меня нельзя подпускать к Пушкину...»

Лежит, молчит, старается не шевелиться.

Ниночка и Маруся ушли, я пересела поближе и передала Анне Андреевне добрую весть о книге — о своем разговоре с Оксманом. Я Юлиану Григорьевичу в телефонном разговоре плакалась в жилетку, жалуясь на историю с книгой. Через три часа Юлиан Григорьевич позвонил мне: у него по какому-то делу был редактор Гослита, Мстислав Борисович Козьмин, сын его друга, историка Козьмина; Юлиан Григорьевич просил разузнать о книге изнутри — но оказалось, что разузнавать ничего не надо: слушайте! слушайте! рукопись находится у этого самого молодого Козьмина! мы попали в самую точку! а он клянется, что тревога ложная, что книга — выйдет, что весь сыр-бор загорелся из-за двух стихотворений, вставленных Орловым, как раз тех, о которых упоминал в своем докладе Жданов; что он, Козьмин, снимет эти два стихотворения и все будет в порядке.

— Итак, доклад Жданова в силе, — сказала Анна Андреевна. — Вот вам и новая эпоха. (316)

Да, я тоже все время думаю: ждановщина в литературе — это тó же, что ежовщина и бериевщина в правосудии: почему бы не отказаться и от этого позора? От с т а л и н щ и н ы во всех видах?

Мы заговорили о наших больных. Я ей передала привет Корнея Ивановича (ему-то я о ее болезни, о больнице не сказала: его сейчас тревожить нельзя); передала привет от Самуила Яковлевича, которого на днях навещала в больнице. (Диагноза еще нет; сам он пока молодцом: не говорит жалких слов и работает).

Подняв брови, она ждала. Ждала вестей о Борисе Леонидовиче. А я всё тянула, тянула, потому что вести нехороши. Я сказала: ничего нового. Организм борется. А что инфарктные изъязвления желудка, инфарктная пневмония — про это я умолчала.

---

(316) Жданов издевался над всеми стихами Ахматовой; но делал попытки пересказать и процитировать три: «А, ты думал, я тоже такая» (ББП, Anno Domini. № 78), «Все расхищено, предано, продано», («Записки», т. 1, № 40), «Когда лежит луна ломтем чарджуйской дыни» (БВ, Седьмая книга. № 79). Какие именно д в а из этих трех неосторожно вставил Орлов, мне неизвестно.

(Я заметила: пока чему-нибудь нет названия, — легче. А дадут боли имя — страшней. Асмус, произнося эти имена болей, плакал).

26 мая 60, Переделкино ◆

У Бориса Леонидовича — рак.

(Псевдоним смерти. У Бориса Леонидовича — смерть).

29 мая 60, Москва

Была в Боткинской у Анны Андреевны. В палате ее не оказалось. Больные объяснили: она на балконе. Значит — не лежит, ходит! Значит — не инфаркт! А я, измученная переделкинской вестью, и здесь не ждала доброго.

Анна Андреевна в кресле, под сводами столетних лип. Знойно. На разбитых плитах — пятна солнца и сыпучие холмики прошлогодней листвы. Анна Андреевна в тени. Возле нее Наташа Ильина. Не только не инфаркт, а даже и не сердечный приступ: межреберная невралгия. Хоть и больно, да зато безопасно.

«Так, Лидочка, и бывает...» Но и т а к тоже бывает.

Она спокойная, ровная, почти веселая. Инфаркта нет, и книга движется. Твардовский и Сурков написали одобрительные рецензии. Книготорг просит 300 тысяч, а Гослит дает всего 25.

Анна Андреевна читает сейчас «Королей и капусту» О. Генри и однотомник Саши Черного. [206]) Говорит:

— Очень интересно впервые читать Черного подряд. Вы заметили, что́ с ними со всеми происходит в эмиграции? Пока Саша Черный жил в Петербурге, хуже города и на свете не было. Пошлость, мещанство, смрад. Он уехал. И оказалось, что Петербург — это рай. Нету ни Парижа, ни Средиземного моря — один Петербург прекрасен.

Вдруг она перебила себя:

— Что скажете о Борисе Леонидовиче?

Я сказала правду. Я решила: раз у нее не инфаркт, можно сказать. И должно.

В эту минуту явились новые посетители: Эдик Бабаев и молодая быстроглазая дама, дочь Шкловского.

Я ушла.

31 мая 60, Переделкино ◆

Борис Леонидович скончался вчера вечером.

Мне сказала об этом наша Марина: позвонила утром с дачи в город.

Деду они не говорят, ждут меня.

Я поехала. В Переделкино, где уже нет Пастернака. В Переделкино, которое будет носить его имя.

Дед впервые решился встать с постели и переселиться работать на балкон.

Сидит в кресле, укутанный по пояс пледом, и пишет на дощечке.

Когда я вошла, он не сразу услышал — сидел, опустив бумагу на колено и вглядываясь в любимую березу со скворечником.

Он всегда выискивает на ее стволе следующую свою строку.

Поморщился с досадой: я прервала строку.

— Ну, что ты?

Я взяла стул, села напротив.

— Несчастье, Дед.

И выговорила.

Совершая эту жестокую операцию, я видела ясно, при ярком свете солнца, какой он старый, как отекло лицо, какие синие губы, как он горбится в кресле. Маленький старичок. Только руки прежние, молодые, куоккальские. Но руки дрожат.

Он всхлипнул — без слёз — и попросил принести из кабинета бумагу и конверт: письмо Зинаиде Николаевне.

Я принесла. Хотела остаться возле, но он не позволил.

— Иди, иди, я сам.

Я спустилась в сад, нарезала вишневых веток — целую охапку — и снова поднялась к Деду: за письмом.

Он уже был выпрямившийся. Расспросил меня о болезни, о последних днях Бориса Леонидовича. Я рассказала то немногое, что знала от Асмуса.

Взяла письмо, цветущую охапку — и туда.

На пастернаковской дороге (которая, смеху ради, называ-

ется «улицей Павленко») я встретила Веру Васильевну. (317) Пошли вместе.

Пустая дорога. Яркое солнце. Жара.

Ворота распахнуты настежь. Бездомье, ничейность, брошенность, осиротелость.

Пустыня двора залита солнцем.

Нас облаяли две собаки: одна маленькая, другая большая.

Мы вошли в дом через левое крыльцо, никого не встретив. Постояли в прихожей. Ни звука, ни голоса.

На полу ведро с водой, и в нем гладиолусы. Направо, в спокойной столовой, на столе, большая ваза с цветами.

Я толкнула дверь в комнату налево — в ту самую, где я говорила с ним в день исключения из Союза.

Оглядевшись, не сразу поняла: это он лежит на узкой раскладушке, слева у стены, укрытый простыней.

Вера Васильевна откинула простыню.

Лицо искажено. Уста запали. И глаза. Глубоко подо лбом темные, черные, округлые веки.

Я начала укладывать вдоль тела ветви. Но тут вошла Берта Яковлевна Сельвинская и очень громко сказала нам, что класть цветы сейчас нельзя и открывать лицо нельзя. Засунула мои веточки в ведро у двери.

Я передала ей письмо для Зинаиды Николаевны, и мы ушли.

Двор был по-прежнему пуст, но на дороге уже началось шевеление. Кто-то топтался у ворот, кто-то что-то фотографировал. Видела я только двоих, но спиною чувствовала — как тогда! — что и поле, и дорога простреливаются незримыми взглядами.

Вера Васильевна пересказала мне слух, которым мне противно марать свою тетрадку: будто из Союза к Зинаиде Николаевне приезжал Воронков, предлагал ей, что Союз возьмет похороны на себя, если она разрешит поставить гроб в ЦДЛ. (318)

(«Союз Профессиональных Убийц» — так называл Союз Писателей Булгаков).

---

(317) Смирнову.

(318) О Воронкове — см. примеч. [214]).

Зинаида Николаевна, к чести ее, отказалась. (319)

Дед снова слег.

Опять вызывали врачей, терзаясь телефоном.

Я думаю, новый спазм, потому что головокружение и тошнота.

Кляну себя.

Вечером я пошла к Ване в Дом Творчества. У ворот мне встретился заплаканный Асмус. Минутку мы посидели рядом на скамье.

Видел он Пастернака в последний раз 6 мая, накануне инфаркта. Борис Леонидович жаловался на боль в левой лопатке. «Но это не сердце, — говорил он. — Скорее — легкое. Рак легкого».

Асмус думает, это была саркома. Очень быстро она развилась: легкие, печень, желудок.

Умирал Борис Леонидович в сознании. Прощался с домашними — с Женей, Стасиком, Леней. За несколько часов до смерти сказал Зинаиде Николаевне:

— Что же, конец, и нам пора проститься.

Асмус ушел от них в 11 часов вечера и еще слышал из-за двери его голос.

1 июня 60, Переделкино, утро ◆

Как бы узнать их имена и выгравировать — в назиданье потомству — на особой доске позора!

«В Литературе и жизни» объявление: Литфонд с глубоким прискорбием сообщает о смерти «члена Литфонда, Бориса Леонидовича Пастернака».

Не великая честь принадлежать к ихнему — и моему — Союзу. И сейчас, когда Пастернака уже нет, не все ли равно: член ли он Союза или всего лишь Литфонда?

---

(319) На следующий день, 1 июня, на даче Пастернака по православному обряду было совершено отпевание. Служил священник местной церкви. (Переделкинское кладбище расположено близ церкви св. Преображения).

Но ведь это нарочно придумано в оскорбление почившему! в уничижение славы России! Могли же они просто написать: извещаем о смерти Бориса Пастернака.

1 июня 60, Переделкино, вечер ◆

Часов в 9 я снова к нему, с цветами из садоводства. Пышные их красные и желтые головки я все-таки окружила белыми веточками вишен — они ему ближе, родней. Никогда еще так рано не расцветали вишневые деревья на нашем участке, как в этом году.

Он в той же комнате, где вчера, но уже не на раскладушке, а выше, на столе, в гробу, весь в цветах. Кто-то рослый (я не разглядела, кто) вошел вместе со мною, зажег свет и оставил меня одну.

Лицо другое. Словно он за ночь отдохнул немного от мучений и попривык быть мертвым. Спокойное лицо.

На простыне в ногах — красная роза. И я свои цветы положила к ногам.

Вошли и стали у гроба двое. Я узнала их: рабочие городка. Один монтер, один водопроводчик. Хмурые, робкие лица, озирающиеся, вглядывающиеся, пытающиеся понять.

И я вглядываюсь и пытаюсь понять. На похоронах будет толпа, вряд ли я его увижу еще раз.

Прощай, размах крыла расправленный,
Полета вольное упорство,
И образ мира, в слове явленный,
И творчество, и чудотворство.

Написав эти строки, разве можно было дальше жить?

Через двор меня проводила и за ворота вышла вместе со мною Нина Александровна Табидзе.

Я осведомилась, как Зинаида Николаевна.

— Да ведь она сдержанная, молодец, все сама, все на ногах. Он и сыновьям сказал: берегите мать. Перед смертью ее за все благодарил. Он всегда уважал ее. И никого, кроме своих, не пожелал увидеть. Его спрашивали: скажи, может быть, хочешь кого-нибудь позвать? Нет, никого не надо.

Мы вышли за ворота. К нам присоединилась Зинаида Владимировна, сестра Тамары Владимировны Ивановой. Они обе проводили меня до шоссе.

— Он Ольгу, говорят, ни за что не хотел видеть, (320) — сказала Зинаида Владимировна. — Очень ждал из Лондона сестру. Но ей не дали визы. П о к а не дали: завтра, может быть, она прилетит. [207])

От Зинаиды Владимировны я снова услышала то, что уже слышала ранее от Веры Васильевны: насчет Воронкова и предложения поставить гроб в ЦДЛ.

Если он всего лишь «член Литфонда», то за что же ему такая честь? Но пути начальства неисповедимы.

2 июня 60, Переделкино ◆

Горе, усталость, жара; изобилие шпиков; милиционер-регулировщик, заставляющий всех выходить из машин на шоссе и загоняющий машины на нашу улицу; Воронков, с утра лично обозревающий вверенный его попечениям поселок; иностранцы, лопающиеся от любопытства, карабкающиеся со своими аппаратами на заборы и деревья — и сквозь все это какое-то странное чувство торжества, победы.

Чьей-то победы. Не знаю, чьей. Быть может, его стихов? Русской поэзии?

Нашей с ним неразрывной связанности?

Никто над его могилой не произнес сло́ва, которое жаж-

---

(320) Ивинская усиленно распространяла слухи, будто родные Пастернака не пускают ее к нему.

Асмус говорил мне, что Борис Леонидович вообще никого, кроме родных, видеть не хотел.

Врач Литфонда, — женщина, дежурившая возле Пастернака, — рассказала мне через полгода после его кончины, что родные при ней не раз настойчиво спрашивали у Бориса Леонидовича, не хочет ли он кого-нибудь видеть, не надо ли кого-нибудь позвать? И он неизменно отказывался... С другой стороны, одна из медицинских сестер, тоже при нем дежурившая, говорила моей приятельнице, что Борис Леонидович несколько раз через нее посылал Ивинской записки.

Евгений Борисович Пастернак объяснил мне: Борис Леонидович в самом деле отказывался видеть Ольгу и в самом деле писал ей письма, — стараясь удерживать ее на расстоянии: «Не пытайся меня увидеть...»

Примеч. 1972 г.

дали услышать сосны, люди, поля. Но студенты до темного вечера читали его стихи. Наверное — это и было самое лучшее слово.

Толпа была пронизана гавриками.

Но гроб от стола до ямы пронесли на руках — по шоссе и на гору, к трем соснам. Вдоль заборов во весь путь молча, мужчины без шапок, женщины в платках, стояли люди. Встреченные машины вынуждены были пятиться, отступать перед гробом, утыкаться в кюветы, и не смели торопить нас гудками.

Толпа двигалась молча, торжественно, сознавая свою правоту.

Одни от пастернаковских ворот пошли через поле прямо на кладбище, другие — кругом, по шоссе, вслед за гробом.

Я пошла за гробом, хотя идти сегодня мне было совсем не по силам. Мучительнее всего, впрочем, было даже не идти, а перед этим стоять — час или более стоять накануне выноса на солнцепеке, уже простившись, но еще ожидая, когда вынесут гроб.

Я уже прошла через столовую, где он лежал сегодня высоко, пышно, среди лент, венков, цветов, уже откровенно торжествующий и победительный. В честь его торжества тихо и непрестанно играла музыка: сменялись Юдина и Рихтер. (321) На стуле в столовой плакала Нина Табидзе. Сто-

---

(321) Цитирую письмо ко мне Ирины Николаевны Медведевой-Томашевской. (В 1972 г. я ознакомила ее с моими «Записками»).

«...сменялись Юдина и Рихтер» — так нельзя. Юдина непрерывно играла с утра, а Рихтер приехал незадолго до выноса и сыграл, если не ошибаюсь, две вещи Баха. Он заранее выбрал, задумал, **что** будет играть. Рихтер очень любил Пастернака, и скажу мимоходом, что факт его участия в похоронах был очень замечен и неодобрен властями, и даже пытались на него воздействовать. (О том, что Рихтер только единожды сменил Юдину, а затем смешался с толпой и долго оставался на могиле — я знаю точно, так как приехала вместе с ним, на его машине). Думаю, что и о Марии Вениаминовне Юдиной надо как-то сказать иначе. А то получается: два знаменитых тапера играли (как может подумать читатель) — по приглашению. Это ведь был живой акт любви, восхищения поэзией и в то же время — акт общественный, очень серьезный, значительный. Даже власти об этом догадывались».

М. В. Юдина исполнила вместе с друзьями трио Чайковского «Памяти великого артиста», а по преимуществу исполняла произведения Шуберта.

яли: Леня и Стасик. Стояла у гроба Зинаида Николаевна — я поклонилась ей, но она отвела глаза. Зато с Ольгой мы встретились глазами еще во дворе: она была неминуема у левого крыльца, через которое все входили в дом. Я не поняла, стояла она там у двери или на чем-то сидела.

А я, пройдя через столовую, оперлась на какие-то бревна, сваленные у правого крыльца, стояла и думала только об одном: как бы не упасть. Устоять.

Каверин. Паустовский. Рита Райт. Мария Сергеевна. Володя Глоцер. Володя Корнилов. Фридочка. Хавкин. Харджиев. Копелев. Смирнова. Ливанов. Коля и Марина. Калашникова. Волжина. Наташа Павленко. Ивич. Яшин. Казаков. Рысс. Рахтанов. Любимов. Вильмонт. Старший Богатырев. Нейгауз.

Старые дамы, неизвестные мне, откровенно или прикровенно седые, в перчатках и без.

Деревенские старухи с детьми.

Студенты.

Опираясь на бревна, я вглядывалась в лица. Болтовни было мало, толпа сосредоточена. Фридочка мне рассказала шопотом, что сразу после кончины Бориса Леонидовича, утром следующего дня, на Киевском вокзале появилось рукописное объявление:

«Граждане! Вчера скончался великий русский поэт Борис Пастернак. Похороны в Переделкине, 2 июня, в 2 часа дня».

Вот вам и «член Литфонда»!

Объявление сорвали. Но оно появилось вновь. Опять сорвали. Опять появилось.

Фридочка от меня отошла, утешив меня этим объявлением, а сзади незнакомый голос негромко сказал:

— Вот и умер последний великий русский поэт.

— Нет, еще один остался.

Я ждала, холодея, не оборачиваясь.

— Анна Ахматова.

(И этот день придется пережить?)

...Какие-то двое молодых людей вынесли крышку гроба. (322)

Музыка.

Несут гроб. Несут венки.

На одной ленте я прочитала: «от Всеволода Иванова». На другой: «от Литфонда».

Пронесли и наши два: «Корней Чуковский», «Лидия Чуковская».

Щелканье аппаратов. Нагло щелкают прямо в лица. Снимают не покойного, а нас, толпу.

И вот я иду вместе со всеми, в толпе, глотая пыль. Гроб от меня не очень далеко. Его несут Женя Пастернак, Кома Иванов, Копелев, Володя Корнилов.

Стоят, стоят люди вдоль заборов.

Когда, после мостика через Сетунь, толпа свернула и начала подниматься в гору — я задохнулась и отстала. Гроб уплыл далеко вперед — туда, наверх, к соснам.

— «И к лику сосен причтены». Помните? — спросил Харджиев.

Гроб плыл на вершину, к соснам. Люди, поспевая за ним, шли все быстрее, а я все медленнее. Здороваться и говорить я уже не могла, только головою мотала.

Раневская. Ваничка Халтурин.

Когда я втащилась наверх, подойти к могиле уже было нельзя. Волна толпы прибила меня к сосне. Там я и осталась, из-за спин ничего не видя, но в тишине отчетливо слыша все.

Был когда-то немой кинематограф: лица, плечи, руки, движения, без голосов. Тут наоборот: голоса, движения, без лиц.

Я; толпа; корявый ствол — и впереди голоса.

Открыл митинг и произнес речь Асмус. Слова были какие-то никакие, несущественные, но они и не оскорбляли пустотою, потому что Валентин Фердинандович говорил горестно. Я слышала голос, горе, а не фразы.

(Паустовский нашел бы слово, но, как мне объяснили потом, он, из-за больной гортани, в этот день мог только шептать).

---

(322) Как я узнала через несколько лет, это были Даниэль и Синявский.

Примеч. 1972 г.

Артист Николай Голубенцев прочел: «О знал бы я, что так бывает».

Асмус закрыл митинг, сказав, что Борис Леонидович не любил длинных речей об искусстве.

И вдруг кто-то — я не видела, кто, но голос неинтеллигентный, неприятный и фальшивый — заявил, что будет говорить «от имени рабочих».

— Ты написал книгу, но ее задержали. А ты был за правду...

Обрыв. Кто-то что-то прошипел. И в ответ на шип — девичий голос:

— Не затыкайте ртов!

Молчание. Жду нового голоса. Тот же? Другой?

Нет. Слава Богу: юноша читает «Гамлета»:

— И неотвратим конец пути...

Потом другой юноша-невидимка говорит от имени богословов: Пастернак был христианин.

Начинают опускать гроб. Слышу по окрикам, стукам, топотам: гроб в яму не лезет. Зычная команда:

— Раз! Два! Три!

(Каково-то сейчас Жене?)

Мягко-жесткий, глухой, страшный звук комьев земли.

Опустили.

Мне сделалось темно. Если бы не сосна и не чужие тела, я упала бы. Но тьма была одну секунду. Когда она рассеялась, я сквозь толпу пошла вниз.

Одно у меня было желание: лечь. Дойти до дому и лечь. Не на дороге, не в поле, а дома.

Трудно идти, когда нету ног. В жару я их часто лишаюсь. Ни колен, ни ступней; только боль, тугими кольцами сжимающая щиколотки.

Я даже не вошла в дом спросить о Деде. Доковыляла до своего домика, сняла туфли, чулки и легла.

Минут через 40 — Фридочка. Принесла мне вести о Деде, накапала капли и посидела возле.

Девушка, которая крикнула «не затыкайте рта!» — это, оказывается, дочка Ивинской, Ирина.

Молодежь до сих пор читает на могиле стихи. Наизусть — напечатанное и ненапечатанное. «Гамлет», «Август», «Другу». Толпа разошлась. Гаврики стали заметней. Фридочка, уходя, слышала разговор двоих, скучавших чуть пониже свежей могилы, у чьей-то ограды:

— А не разогнать ли нам это нарушение?

— Пусть понарушают, никуда не денутся.

Победа — оцепленная опер-работниками.

6 июня 60

У входа в больницу я встретилась с Марией Сергеевной. Она рассказала мне подробно, как движется ахматовская книга в Гослите — что вынимают, что вставляют, собираются заменять — и пр., и т. п. Боже, какое счастье, что это не я, что не мне поручила Анна Андреевна донянчивать книгу! Я бы все загубила. У меня нету ни такта, ни терпения. Мария же Сергеевна обладает всеми качествами, необходимыми представителю Великой Державы: любовью к поэзии вообще, к ахматовской в частности; тактом; не говоря уже о том, что сама она — поэт замечательный.

Анна Андреевна выглядит, по-моему, дурно — однако никаких болей уже нет, и ее скоро выпишут. Пришла Таня Айзенман. (До нас были: Роскина, Большинцова и Тагер.)[208])

Анна Андреевна принимала гостей, сидя в кресле «в собственной гостиной», как называет она небольшую, довольно обшарпанную комнату, между коридором и балконом. Она с некоторой торжественностью поблагодарила меня за то, что в прошлый свой приход я не утаила от нее предсмертных вестей о Пастернаке.

— Единственное, чем можно облегчить удар — это подготовить к нему. Вы это сделали. Когда мне сообщили о смерти Бориса, я не была не готова. (Подумайте, какие слова мы выговариваем спокойно: умер Борис Пастернак).

Мария Сергеевна и Таня (злосчастные рабыни курения!) ускользнули из комнаты, чтобы предаться своей пагубной страсти. Анна Андреевна сразу вынула из сумки какую-то книжечку и, предупредив меня: «вторая строка еще в работе», прочитала:

Умолк вчера неповторимый голос
И нас покинул   вождь
Он превратился в жизнь несущий колос
Или в тончайший, им воспетый, дождь.

Дальше не помню. Дальше про цветы.

— Не говорите мне, пожалуйста, — с раздражением сказала Анна Андреевна, хотя я еще и рта не открыла, — что слово «вождь» истаскано и неуместно. Знаю сама. Спасу эпитетом.

Помолчали.

— Ему очень много будет написано стихов. Ему — и о его похоронах. А памятник, я думаю, следует поставить либо на Волхонке («с бульвара за угол есть дом»), либо против почтамта. Там, кажется, сейчас стоит Грибоедов. Но Грибоедова можно переставить; ему ведь все равно где, лишь бы в Москве. [209])

19 или 20 июня 60

Мне много раз случалось высказывать Деду, что Пастернак — единственный не трагический русский поэт. Да, да, «Посвящается Лермонтову», любил и хотел бы повторить Блока, но голос звучал всегда в мажоре.

Поэзии Пастернака присуща буйная радость по какому-либо поводу или даже без всякого повода. Даже «Разрыв» звучит у него не трагически, хотя и бурно. Не плакать хочется, а восхищаться: «какое буйство молодое». Изобилие, избыточность, не оскудение, не омертвение. «Уже написан Вертер», но сам он, Пастернак, Вертером стать решительно неспособен. Никакой смерти, даже в словах о смерти, а «всюду жизнь».

Порядок творенья обманчив,
Как сказка с хорошим концом.

Жизнь ему сестра. Каждый год он умудрялся заново удивляться четырем временам года. Четыре времени года — четыре образа счастья: весна, лето, осень, зима.

Но сестра его жизнь оказалась сказочкою с дурным кон-

цом, и его, могучего, полного счастья, под конец пересилила. «Август», «Гамлет», «Я кончился, а ты жива», «Душа моя, печальница», весь евангельский цикл — тут уже вполне трагический звук.

Ну вот, а сегодня я выслушала монолог Анны Андреевны на ту же тему, но, кажется мне, несправедливый.

Когда я побывала у нее впервые после похорон, она еще была полна скорбью. Для других чувств не было места. Теперь первое потрясение прошло, и она опять говорит о Борисе Леонидовиче хоть и с любовью, но и с раздражением, как все последние годы. Снова — не только соболезнует, но идет наперекор общему мнению, оспаривает, гневается.

— На днях я из-за Пастернака поссорилась с одним своим другом. Вообразите, он вздумал утверждать, будто Борис Леонидович был мученик, преследуемый, гонимый и прочее. Какой вздор! Борис Леонидович был человек необыкновенно счастливый. Во-первых, по натуре, от рождения счастливый: он так страстно любил природу, столько счастья в ней находил! Во-вторых, как же это его преследовали? Когда? Какие гонения? Всё и всегда печатали, а если не здесь — то заграницей. Если же что-нибудь не печаталось ни там, ни тут — он давал стихи двум-трем поклонникам и всё мгновенно расходилось по рукам. Где же гонения? Деньги были всегда. Сыновья, слава Богу, благополучны. (Она перекрестилась). Если сравнить с другими судьбами: Мандельштам, Квитко, Перец Маркиш, Цветаева — да кого ни возьми, судьба у Пастернака счастливейшая.

Да, если сравнивать с другими судьбами — счастливейшая. Но следует ли сравнивать? И чья страшнее: у Мандельштама или у Цветаевой? У Мити или у Квитко? Что мы знаем об их последних днях? А, может, у Александра Блока, хотя он и умер в своей постели — страшнейшая. Родившийся в рубашке, счастливый от природы, Пастернак с годами научился чувствовать чужую боль, уже неизлечимую веснами. Вот уж кто действительно был создан для счастья, как птица для полета. А написал под конец:

Душа моя, печальница
О всех в кругу моем,
Ты стала усыпальницей
Замученных живьем.

Сыновья его выросли, не отведав каторги, это правда, а чужие сыновья? Деньги у него были благодаря необычайному переводческому трудолюбию, съедавшему собственные стихи и прозу; и деньгами своими он щедро делился со ссыльными и с тою же Анной Андреевной...

К чему затевать матч на первенство в горе? Материнские страдания Ахматовой ужасны, неоспоримы. И ждановщина. И нищета. И все-таки она, Анна Ахматова, счастливее тех матерей, к которым сыновья не вернулись. Пастернаку страданий оказалось достаточно, чтобы умереть. Выносливость у каждого разная. Пастернак был задуман на 100 лет, а умер в 70. И не умер, а загнан в гроб. В 60 лет он был подвижен, влюбчив и способен к труду, как юноша, а через 10 лет умер от рака, имя которому — Семичастный и К°. Думаю, смерть его — еще одно подтверждение той теории, которая связывает рак с потрясениями нервной системы.

Рожденному в рубашке Пастернаку было больнее, чем другим гражданам, когда ее сдирали вместе с кожей.

Все это я произнесла осторожно, а потому и неубедительно. Анна Андреевна слушала, не удостаивая меня возражениями. Только ноздри вздрагивали (как у графинь в плохих романах).

Жаль, что она не была на похоронах, подумала я. Дело не только в том, что собралось около полутора тысяч человек. Там сознание, что хоронят поэта, избравшего мученический венец, было явственным, громким, слышным. Слово не прозвучало, а звук мученичества и преклонения перед мученической судьбою был и в безмолвии слышен. Безмолвие там гремело не менее внятно, чем молчание толпы 9 января. Выстрелов не последовало, зато было слышно, что

...рвутся суставы
Династии данных присяг.

Внезапно Анна Андреевна оглушила меня.

— Пришел друг и принес мне вот это. — И протянула мне листок. — Видите? Все целиком.

Стихотворение Ахматовой Пастернаку: «И снова осень валит Тамерланом», — то, из которого я когда-то вспомнила всего лишь строку! — а теперь оно вернулось к ней всё до последней строчки!

И снова осень валит Тамерланом,
В арбатских переулках тишина.
За полустанком или за туманом
Дорога непроезжая черна.

и т. д. до конца, до строки́:

И тот горчайший гефсиманский вздох.

Как могла я это забыть? Да будет благословенна неведомая мне дружба, сохранившая, запомнившая. (323)

«Но, — подумала я, — гефсиманский вздох — это вздох перед Голгофой. С чем же она сейчас спорит? Значит, она понимала его мученичество, и более чем понимала — предчувствовала».

И я рассказала Анне Андреевне о том, как Кривицкий при мне расправлялся со стихами Пастернака. Шел 47 год. Конечно, Фадеев не Жданов, и выступления Фадеева против Пастернака (которые я слышала своими ушами) были не в пример легче ждановских против Ахматовой. Но вылазка Фадеева против Пастернака была следствием того же постановления 46 года. Фадеев с трибуны объяснял: «Пастернак идейно чужд», он «не наш», Пастернака недаром ценят за границей — он недаром по душе нашим врагам; он не только в собственные стихи, а и в переводы вносит вредный идейный сумбур. Фадеев, конечно, был исполнителем высшей воли, а приказ был ясен — расправиться. И расправа со стихами Пастернака шла полным ходом. Я наблюдала ее вблизи. В 1947 году я работала в «Новом мире», в отделе поэзии. Главным редактором журнала считался Симонов, но фактическим всевластным хозяином был его заместитель, Кривицкий — персонаж, вполне соответствующий нашему ленинградскому Мишкевичу. [210]) Ну вот. Однажды, в январе 47 года, Симонов поручил мне просить у Бориса Леонидовича стихи для журнала. Пастернак дал несколько стихотворений, в том числе «Март» и «Бабье лето».

— Возмутительно! — закричал Кривицкий, едва пробежав глазами «Март».

---

(323) ББП, стр. 261. № 80.

Признаюсь, я опешила. Я была совершенно уверена в полной политической безвинности весенних стихов.

— Нет, это невозможно! — надрывался Кривицкий. — Это издевательство! Это прямой вызов!

— Да в чем дело-то, где?

— Вы что же, читать не умеете?

И Кривицкий огласил крамольные строки:

Настежь все — конюшня и коровник.
Голуби в снегу клюют овес,
И всего живитель и виновник, —
Пахнет свежим воздухом навоз.

— Всего живитель и виновник — навоз! Тут целая антисоветская философия. Это значит, что всё в нашей стране, в том числе и советская власть стоит на навозе.

Я продолжала пребывать в столбняке. Расправившись с «Мартом», Кривицкий накинулся на «Бабье лето». Быстрой, победоносной скороговоркой он прочитал:

Здесь дорога спускается в балку,
Здесь и высохших старых коряг,
И лоскутницы осени жалко,
Всё сметающей в этот овраг.

И того, что вселенная проще,
Чем иной полагает хитрец,
Что как в воду опущена роща,
Что приходит всему свой конец.

Он грозно поглядел на меня.

Что глазами бессмысленно хлопать,
Когда всё пред тобой сожжено
И осенняя белая копоть
Паутиною тянет в окно.

— Приходит всему свой конец! — кричал Кривицкий. — Чему всему? Советской власти? «Лоскутница осень»! Это зна-

чит наши люди ходят в лохмотьях... «Как в воду опущена роща»! Ходят понурые, как в воду опущенные! А «всё пред тобой сожжено»? Как вам это понравится? Опять — «всё»! Строй! Власть!

— Да ведь не о Красной же площади или Кремле идет речь! — ответила я, выйдя наконец из состояния столбняка и впадая в противоположное: в бешенство. Я чувствовала, что совершаю кощунство, но остановиться не могла. — Не Дворцовую площадь, не кремлевские башни предлагает поджечь Пастернак, как вы нарочно вчитываете в его стихи! Он говорит об осени! О красных осенних листьях! Осень сжигает лес! Это — лирическое стихотворение, а не призыв к бунту, который вам хочется во что бы то ни стало у Пастернака найти!

...Нашпигованный Кривицким, Симонов некоторое время колебался — между мною и им, а через несколько дней вдруг, в присутствии Кривицкого, вскользь объявил мне, что Пастернака мы печатать не будем. [211]) И попросил передать это Борису Леонидовичу. Передавать отказ я отказалась: так или иначе, а придется ведь мотивировать — не могла же я передавать Пастернаку кривицкие мотивировки! Я настаивала, чтобы Симонов сам позвонил Пастернаку. Симонов понял меня и согласился. Но Кривицкий — снова в крик:

— Незачем тебе ему звонить! Я не ожидал от него! Крупный поэт! Что за стихи он подсунул нам! Если это всего лишь о временах года, как в своей политической слепоте полагает Лидия Корнеевна, то это тоже безобразно! Ни слова о войне, о всенародных победах! И это в его-то положении, когда мы, желая его выручить, предоставили ему трибуну для покаяния!

— Мне жаль, — сказала я, — что мы вообще просили у Пастернака стихи.

— Нисколько не жаль! Просили, он дал, а мы прочли и печатать не станем. Так ему и надо. Нечего стоять перед ним на задних лапках!

— Разве не обращаться к Пастернаку — значит стоять перед ним на задних лапках? — спросила я.

Я замолчала. Анна Андреевна ждала. Я видела и слышала весь тогдашний разговор с совершенной ясностью, как будто это было не 13 лет назад, не вчера, а сегодня утром.

Зимний свет от больших окон в большом кабинете. Квадратные кресла, франтовский галстук Кривицкого, заграничный портфель Симонова. (Симонов тогда был первый человек из мне знакомых, который, что ни год, ездил заграницу).

— И долго еще вы после этих плодотворных бесед работали в «Новом мире»? — спросила Анна Андреевна.

— Нет, очень недолго. Я быстро ушла оттуда не только из чувства брезгливости, но и из чувства самосохранения.

— А что же Симонов — позвонил Борису?

Я рассказала. Разговор между Симоновым и Пастернаком был не без юмора. Утром, часов в 9, меня поднял с постели телефонный звонок. Симонов. Обиженным голосом он сообщил мне, что накануне, не глядя на поздний час и большую усталость, позвонил Борису Леонидовичу сам, объяснил ему ситуацию «сердечно, мягко». Пастернак же, как обнаружил Симонов, человек неблагодарный: забыв все попытки Константина Михайловича облегчить его участь, устроить его денежные дела и даже напечатать стихи — Борис Леонидович ему, ни в чем неповинному, наговорил грубостей... Не успел Симонов повесить трубку, а я — снова кинуться в постель, как позвонил Пастернак. Он торопился сообщить, что ночью ему звонил Симонов. «Говорит, мне ваши стихи нравятся, но ситуация сейчас сложная, не удается мне сделать то, что мне хотелось бы. Он, видите ли, и рад был бы напечатать мои стихи, да, видите ли, не может. А я ему: «Кто же это вам мешает работать, Константин Михайлович? Назовите этих людей, изобличите публично! Ведь *вы* — не какой-нибудь *я*, ведь вы — Симонов, один из виднейших, влиятельнейших общественных деятелей нашей страны! И вдруг — в а м , публицисту первого ранга — мешают! Вы обязаны немедленно выступить в печати и изобличить отдельных вредителей или те вредительские организации, которые вам, Симонову, смеют чинить препятствия в издании журнала».

Я умолкла. Анна Андреевна смеялась.

— Борисик, — вдруг с нежностью сказала Анна Андреевна. (Я впервые услышала из ее уст такое прозвание). Эта очередная схватка Пастернака с фарисейством — его правота, его сила — и его беспомощность! «Борисик»...

— А к Зинаиде Николаевне с визитом я решила не ехать, — помолчав, уже ворчливо сказала Анна Андреевна. — Послала телеграмму и хватит с нее. Она всегда меня терпеть не могла. Мне рассказывал один приятель со слов докторши, что, когда мы с вами тогда шли по двору, — помните? — Зинаида Николаевна увидела нас из окна и ей предложила: «Хотите взглянуть? Вот Ахматова». Но навстречу к нам не вышла и в дом не пустила. (324)

Я спросила у нее, как поживает книга.

— Марусенька звонила, визит Козьмина, наконец, состоялся и все будто бы в порядке. Сейчас она приедет сюда. А пока что — вот...

Анна Андреевна открыла чемоданчик и протянула мне подарок. «Поэма»! Новый, окончательный экземпляр! И даже с надписью. Обычно она ставит только дату, а тут и дата и надпись. На первой странице: «Л.К.Ч. дружески Ахм.», на последней: «18 июня 1960. Москва. Ахм.»

Скоро приехала Мария Сергеевна со списком стихов, отобранных для книги Козьминым. Анна Андреевна глянула мельком, одним глазом, и вдруг аккуратно согнула листок, провела ногтем по сгибу, оторвала конец и с каким-то спокойным бешенством принялась рвать бумагу в клочки.

— Нет, этого не будет. Этих стихов я вставлять не дам.

И рвала и рвала оторванную бумагу в мелкие клочья.

---

(324) Однажды летом — не помню, которого года — Корней Иванович послал меня к Борису Леонидовичу за срочно понадобившейся книгой. Увидя меня сверху, Пастернак шумно со мной поздоровался и попросил обождать на веранде внизу, пока он книгу найдет. Ко мне вышла Зинаида Николаевна. Пастернак задержался, и мы пробыли минут 10 с глазу на глаз. Она завела речь о какой-то очередной газетной пакости против Бориса Леонидовича. «Как вы думаете, — спросила меня вдруг Зинаида Николаевна весьма доверительно, хотя мы были едва знакомы, — не следует ли Боре написать письмо «наверх», кому именно и какое?» «Не знаю, — сказала я. — Письма писать «наверх», я думаю, и неприятно и бесполезно. Ведь все, что совершается «внизу» — все идет «сверху»...В таких случаях, я думаю, достойнее всего молчать. Ведь вот поливают же Ахматову грязью, а она писем «наверх» не пишет». «Нашли с кем сравнивать, — с раздражением ответила Зинаида Николаевна. — Боря человек современный, насквозь советский, а она нафталином пропахла».

(Этого разговора я Анне Андреевне, разумеется, не пересказывала).

— Анна Андреевна, не надо... Анна Андреевна, вам достаточно зачеркнуть... Ведь это только предлагают... Вам достаточно им сказать

Но Анна Андреевна не успокоилась, пока не кончила расправу.

— Я всё время боялась, что мне это вставят, — сказала она. Потом собрала клочья комом, сжала их в кулаке, вышла на кухню и бросила в помойное ведро.

Это были стихи «Слава миру», которые она ненавидит. (325)

После этой операции она повела нас в столовую чай пить, веселая и благостная.

25 июня 1960

Утром я встретила на Ленинградском вокзале Шуру (326) и, взяв такси, доставила ее прямиком в Переделкино. И только там вспомнила; да ведь вчера — или третьего дня, всегда я путаю! — день рождения Анны Андреевны. Дед срочно написал письмо, я нарезала букет жасмина и отправилась обратно в город.

Поездом на Киевский, оттуда прямо к ней.

Анна Андреевна, видимо, только что поднявшаяся, самостоятельно пила кофе в столовой. (Нина Антоновна в командировке, Виктор Ефимович в Голицыне). Столовая вся уставлена цветами. (Не все такие раззявы, как я). Огромная корзина гортензий на полу, а на столе розы.

---

(325) См. «Огонек», 1950, №№ 14, 36, 42.

Впоследствии, в 1965 г., когда Г. П. Струве подготовлял к печати первый том «Сочинений» Анны Ахматовой — А. А., встретившись с ним в Лондоне, лично заявила ему, что цикл этот она публиковать запрещает. При жизни Ахматовой (в томе первом) Г. П. Струве «Славу миру» не напечатал, а в томе втором, когда Анны Андреевны уже не было в живых, опубликовал, да еще в основном тексте, наравне с другими стихами.

На мой взгляд, это то же самое, что на суде использовать наравне с достоверными свидетельствами — показания, данные под пыткой. Цикл «Слава миру» (фактически — «Слава Сталину») был написан Ахматовой как «прошение на высочайшее имя», то есть как последняя попытка спасти Льва Николаевича, вновь арестованного в 1949 году. Подробнее см. RLT, стр. 645.

(326) Александру Иосифовну Любарскую.

Пришла Надежда Яковлевна. Тихим и многозначительным голосом она внушала мне, что я очень помолодела.

— Вам, наверное, это часто говорят теперь, — сказала Анна Андреевна.

— Случается, — ответила я, — да зеркала выводят всех на чистую воду.

Анна Андреевна спросила, помню ли я стихи Цветаевой Маяковскому. Там, где загробный диалог между Маяковским и Есениным. Я вообще Цветаеву знаю плохо (и люблю, хоть и сильно люблю, лишь немногое), а из стихов Маяковскому помню всего четыре строки:

Чтобы род людской не вымер
Без отчаянных дядéй,
Будь, младенец, Володимир,
Целым миром володей!

Они — сильные. А дальше я не помню.

Анна Андреевна протянула мне стихотворение на машинке и потребовала, чтобы я прочла вслух. (327)

Я прочитала. Диалог неприятный, слишком какой-то бравый и лихой для залетейского.

— Здорово, Сережа!
— Здорово, Володя!

И дальше: «опухшая роза»... Нет, Марина Ивановна, негоже.

— Каркает над кровью, как ворона, — жестоко сказала Анна Андреевна.

Жестоко? Да. Но не везет мне с Мариной Ивановной. Чуть только успею я что-нибудь у нее полюбить, как непременно она же меня каким-нибудь стихом и оттолкнет. Стихотворение нарочито неблагозвучное, нарочито спотыкающееся —

---

(327) Это было шестое стихотворение из цикла «Маяковскому». (См. журнал «Воля России», Прага, №№ 11-12). Я же припомнила строки из первого стихотворения.

каркающее! — а ведь когда человек видит окровавленную подводу:

В кровавой рогоже,
На полной подводе!..
— Все то же, Сережа!
— Все то же, Володя.

когда обречен видеть эту подводу поэт, да и просто обыкновенный человек, — не карканье у него из груди вырывается, а какой-то иной звук. Это антимузыкальное стихотворение не во внешнем своем выражении, а изначально, изнутри.

Встретили ли они ее словами:

— Здорово, Марина!

Я ушла, обещав позднее придти надолго.

Анна Андреевна нарядная, вся в белом, что ей необычайно идет.

Взрослых никого, но в комнате мальчиков бурлят гости: сегодня Миша окончил университет. Сбегав по просьбе Анны Андреевны за сыром, он принес нам в столовую бутерброды и чай.

Анна Андреевна сказала мне, что бросила принимать какое-то лекарство, которое принимала по поводу недостаточности щитовидной железы, — и теперь чувствует себя гораздо лучше.

Вернулись к разговору о Пастернаке, о мученичестве. Сегодня она была кротче. Я сказала ей, между прочим, насчет ее же строки:

И тот горчайший гефсиманский вздох...

и попыталась передать общее чувство на похоронах: безмолвное сознание, что хоронят мученика, хоронят без труб и слов, но победно; и что на похоронах Пастернака русское об-

щество воздавало почесть не ему одному, а и другим замученным. Над головами во гробе Пастернака плыла вся замученная русская литература, он стал воплощением многих судеб.

Она не спорила.

— Это я с Тарковским поссорилась давеча, — призналась она. — Вот он теперь прислал мне корзину цветов такую пышную, будто я — не я, а Русланова.

Я спросила, кончила ли она то́ стихотворение Пастернаку, посмертное.

— Не совсем, — ответила она.

— Вождь все же мешает?

— Ничего. Я его уберу или спасу каким-нибудь прилагательным. (328)

Мы перешли из столовой в ее комнату. Я спросила, как подвигается в издательстве книга.

— Был у меня Козьмин, зав. А через день Замотин, еще завее. (329) Представьте, ручку мне поцеловал, я от Замотина совсем не ожидала... Сообщил мне: мы обратились в типографию с письмом (подумайте, какая высокая инстанция: сама типография!), обратились в типографию, поддерживая просьбу старейшей писательницы выпустить книгу без макета и с корректурами. Ну, думаю, новые времена настали: ручку целуют, заботятся... А он, чуть дело коснулось стихов, ка-ак па-ашел хамить, — того нельзя, этого нельзя, одни обрывочки остались. Им самим для чего-то надо выпустить мою книгу как можно скорее. И при этом: не позволяют включить в сборник ничего, прежде не напечатанного. Почему? И требуют, чтобы под каждым стихотворением стояла дата.

— Ну, это не портит стихов, — сказала я, не подумав.

— А по-моему, это безобразное насилие над волей поэта. Поэт имеет право не сообщать современникам, когда и по какому поводу написаны те или другие стихи.

Она протянула мне «Содержание», переписанное на ма-

---

(328) Не спасла. Убрала. Сделала так: «И нас покинул собеседник рощ», см. ББП, стр. 261; № 81.

(329) Михаил Борисович Козьмин (р. 1920) — тогда заведующий редакцией русской советской литературы в Гослитиздате; Николай Александрович Замотин (1910-ок. 1960) — заместитель главного редактора всего Гослита.

шинке. Я, шевеля губами, начала вникать в состав.

— Вот, вы первая читаете книгу... Вы ведь за каждым названием видите стихотворение.

Я натолкнулась на:

Как мой лучший день я о т м е ч у

— Переменю в корректуре, — утешила меня Анна Андреевна. — «Белым камнем тот день отмечу». Это ведь уже другое, не правда ли? Вы довольны?

— Ну, конечно. (330)

Затем я дошла до стихотворения, на мой взгляд жестоко испорченного ею в предыдущем издании. Вместо любимого мною:

Мой городок игрушечный сожгли,
И в прошлое мне больше нет лазейки...

— игрушечный город для Царского Села это так точно! — у нее стало:

Что делать мне? Они тебя сожгли...
О встреча, что разлуки тяжелее!..

Пышное восклицание: *О!* мешает, мне кажется, интимности тона. Я спросила, восстановит ли она прежнее?

— Нет, Лидия Корнеевна, тут вы не правы. Вам напрасно не нравится строчка: «О встреча, что разлуки тяжелее». Звук этой строки — главная тема эпохи. Это очень точно. Встречи в наше время тяжелее разлук.

Знаю. Прочла ей Самойлова:

Возвращенья трудней, чем разлуки,
В них мучительней привкус потерь. [212])

— Да, — сказала Анна Андреевна. — Но надо еще жестче, еще страшней.

---

(330) И переменила — см. «Стихотворения», 1961, стр. 227 (а также БВ, Седьмая книга).

Помолчали. Потом она вдруг заговорила о К. О тамошней семейной ситуации.

— Знаете, Лидия Корнеевна, я пришла к убеждению, что разводиться с семидесятилетней женой — в этом есть что-то неприятно-комическое.

Я сказала, что женщин, которые не дают своим мужьям развода и держат их при себе насильно, я уважать неспособна.

— Пожалуйста, не объясняйте мне. Я сама всегда за развод. Хотя бы потому, что если нет развода, люди прибегают к другому способу: мелко-мелко шинкуют нелюбимого супруга и сдают его изрубленное тело в корзине в камеру хранения на вокзал... И все-таки я нахожу, что с семидесятилетней женой можно и не разводиться. Это смешно.

Заговорили о здоровье Маршака. Анна Андреевна сказала, что собирается навестить его во вторник, но если будет усталая после дневного визита к Виноградовым в Узкое — не поедет. Я удивилась: ведь Самуил Яковлевич всегда посылает за ней машину.

— На его машине я не поеду: у него грубый шофер. В прошлый раз он спросил у меня, не купила ли я уже собственную машину. Я ответила: «я живу в Ленинграде, и когда куплю себе свою — вам от этого все равно легче не станет».

Затем вернулась к Маяковскому.

— Академик Виноградов рассказывал, что он лично, своей рукой, запретил воспоминания Лили Брик о Маяковском. Он Маяковского — в отличие от меня — не любит, но все же считает ее воспоминания полным безобразием и бесстыдством. Она там рассказывает, например, как Маяковского послали в Берлин написать какие-то очерки, а он неделю просидел в биллиардной, носу на улицу не высунул, а потом написал очерк, ни на что не поглядев... Что он был чудовищно необразован: ни одной книги, кроме «Преступления и наказания», в жизни не прочитал... Неизвестно, отсебятина это, вранье или правда. А вот опубликованию его писем к ней я рада: многие ведь воображают, будто у Бриков был «литературный салон», а из его писем к ней видно, чтó это было в действительности...

Не знаю, по какой ассоциации, я рассказала ей о руко-

писи Е., которую недавно прочла. Называется «Человек совести» — воспоминания о Сейфуллиной. «И почему этого негодяя, лишенного совести, тянет рассуждать именно о совести?» — спросила я.

— А почему Раскольникова тянуло на место убийства? Все потому же... Но вот Сейфуллина была, действительно, прекрасный человек. Добрая, умная и показала себя как отличный товарищ. Когда в 1935 году арестовали Лёву и Николая Николаевича, я поехала к Сейфуллиной. Она позвонила в ЦК, в НКВД, и там ей сказали, чтобы я принесла письмо к Сталину, в башню Кутафью, и Поскребышев передаст. Я принесла — Лёва и Николай Николаевич вернулись домой в тот же день... Кажется, это был единственный хороший поступок Иосифа Виссарионовича за всю его жизнь... В 1938 году, когда арестовали Лёву, все уже было тщетно... Но о Сейфуллиной у меня сохранилось самое лучшее воспоминание. [213])

Анна Андреевна спросила, известно ли мне, что в Риме по Борису Леонидовичу отслужил мессу Римский папа? Я этого не знала, но в ответ спросила: слышала ли она, что по случаю кончины Пастернака выразила свое соболезнование семье бельгийская королева? Все это лестно, да ведь поэзия Пастернака недоступна им, иностранцам, даже проза — вряд ли... Так что и лестно и грустно... Занимают меня не иностранцы, с которых спроса нет, а наши. Позора не оберешься. Наталия Иосифовна спросила у драматурга Штейна: был ли он на похоронах? «Нет, — ответил он, — я ни в коем случае не стал бы принимать участие в этом антисоветском мероприятии». Тут, конечно, поразительнее всего словцо «мероприятие»: для той категории лиц, к которой принадлежит Штейн, похороны — мероприятие. Сразу выдает принадлежность к чиновничеству. Я никогда не читала и не видала ни единой пьесы Штейна, но смело утверждаю — отвратны. Вот каждая его пьеса — она-то, наверное, и есть «мероприятие». Чиновники, кстати, на похоронах не дремали; присутствовали при мероприятии, Воронков составил, говорят, списки членов Союза, побывавших у гроба. Он разделил их на две группы: 1) писатели беспартийные 2) писатели — члены партии... [214]) Интересно, станут ли взыскивать с партийных? «Общественная наша жизнь печальна», написал когда-то Пушкин Чаадаеву, но «печальна» — не то слово.

(Впрочем, письмо по-французски). Что делается у нас с людьми! Приезжал — «в индивидуальном порядке», часа за 2 до похорон, проститься с Пастернаком Шкловский... А ему следовало дома сидеть. Ведь это он, вместе с Сельвинским, случайно оказавшись в день исключения Пастернака из Союза Писателей за тысячи верст, где-то на юге, не то в Ялте, не то в Коктебеле — то есть имея счастливую возможность не участвовать в позорище, с а м и пошли на телеграф и послали в Союз телеграмму, что присоединяют свое возмущение — к общему!..[215]) Да, все мы убийцы: и те, кто были на собрании, и те, кто, подобно мне, уклонился, не пошел (а надо было пойти и кричать)... Нашего Колю Борис Леонидович любил, а Коля выступил против него на заседании Президиума...[216]) И он-то ведь любил Пастернака и, в отличие от какого-нибудь Сергея Сергеевича Смирнова и других деятелей, з н а л, кто такой Пастернак. И Шкловский знает. И Сельвинский — наверное, тоже. Я Колю не оправдываю, но он действовал по д о л ж н о с т и, а эти двое — «по велению сердца». Никто ничего с них не требовал... Да, «наша общественная жизнь печальна» — это сказано слишком мягко, во всяком случае, если иметь в виду теперешнюю нашу жизнь.

Анна Андреевна слушала мой монолог молча и сочувственно, потом заговорила об Ольге, что неправда, будто ее не пускали проститься. Умирающий сам не хотел ее видеть: а после смерти я-то застала ее только у двери (в день похорон), а Мария Сергеевна и у гроба: Ольга вошла, положила букет роз и долго стояла. Ей, по слухам, за день до похорон дали возможность в одиночестве проститься с покойным.

Слухи, слухи... Я слышала, будто Асмуса уже тягали в какой-то ученый синклит и там допрашивали: правда ли, что он, в речи на могиле, назвал Пастернака «великим поэтом»? Речь Асмуса была скромнейшая, я ее помню, но, кажется, действительно назвал... Поразил меня, между прочим, Самуил Яковлевич. Он понимал Пастернака, ставил высоко, но совершенно чуждался его поэзии — очень уж другие, не «твардовские» стихи, не Бернс, не Блэйк, не Пушкин, не фольклор... На днях я навещала Маршака в больнице. Он меня укорил — зачем не сказала ему во время его тяжелой болезни о смерти Бориса Леонидовича? «Я взял газету, в которой

что-то было завернуто, и вдруг читаю: «член Литфонда — Пастернак». Мерзавцы! Мстительные мерзавцы! Меня как кнутом по лицу».

Было уже поздно. Я несколько раз прощалась, но Анна Андреевна меня удерживала. «Я люблю бывать с вами один на один, а то мы всё видимся только на людях».

Наверное, чтобы я не уходила подольше, она прочла мне новые стихи, еще неоконченные. «Из книги царств». (331) Я не ухватила, какие они.

Я спросила, собраны ли у нее уже, наконец, дома все ее стихи. Все ли записаны?

Тут воспоследовал не монолог — взрыв.

— Записываю ли я свои стихи? И это спрашиваете вы — вы!

Она подошла к табуретке, на которой стоял чемоданчик, и с яростью принялась выкидывать оттуда на тахту рукописи, книги, тетради, папки, блокноты.

— Как я могу записывать? Как я могу хранить свои стихи? Бритвой взрезают переплеты тетрадей, книг! Вот, вот, поглядите! У папок обрывают тесемки! Я уже в состоянии представить коллекцию оборванных тесемок и выкорчеванных корешков! И здесь *так*, и в Ленинграде — *так*! Вот, вот!

(Она швыряла на стол тесемки и картонки. Господи, думалось мне, ну зачем выдергивать тесемки? Ведь их развязать можно.)

— Я попросила у Тани Айзенман французскую Библию — Эмме понадобилась для Лермонтова — это вообще редкость, да к тому же семейная реликвия! и не успела передать ее Эмме, как сейчас же был взрезан переплет. Не знаю теперь, как Тане буду и в глаза глядеть. [217]) У меня был экземпляр «Романтических цветов» Николая Степановича, лично для меня отпечатанный и с его надписью — и тот взрезан и вспорот!

Она уже не раз говорила мне об этих операциях, но никогда еще с такой страстностью и негодованием.

Что я могла ей ответить? По-видимому, хранение стихов

---

(331) «Мелхола», см. стр. 385.

и в наше новое время возможно только одним единственным, давно испытанным способом...

«Общественная наша жизнь печальна».

Я решительно собралась уходить. Взяла свой новый зонтик, попробовала просунуть руку в шнурок-петлю, но не удалось. Анна Андреевна попыталась помочь мне.

— У меня слишком большая рука, — сказала я.

— Не у вас большая... Зонтик китайский, у китаянок маленькие руки, — утешила меня Анна Андреевна.

— Нет, попробуйте вы, ваша-то, наверное, пройдет.

— Теперь и у меня большая. Когда-то и в самом деле была маленькая. Срезневский говорил: такие маленькие ручки, что на них нельзя надеть наручники.

Она проводила меня до дверей.

— А вот и надели, и не на руки только, а на всю мою жизнь.

2 июля 1960

Вызвала меня по телефону, попросила придти. Голос звонкий, встревоженный и счастливый. Услыхав мой ответ, она воскликнула:

— И как можно скорее!

Сегодня у нее, видимо, встреча с молодостью — и притом не горькая, а радостная — с Мандельштамом, с Цветаевой и с самой собой. Она возбуждена, говорлива, никакой одышки, надменности, никакого величия. Движется легко, быстро, порывисто и говорит, говорит, без умолку.

— Вот, смотрите. Это я достала. Мне принесли из Литературного Музея. Они ходят ко мне, выпрашивают, вот и я у них выпросила.

Фотография Мандельштама. Отличная. (Я его видела в жизни раз десять, из них более или менее вплотную раза четыре. Трижды слушала стихи. Всегда он казался мне старым — наверное, потому, что сама я тогда была в том возрасте, когда все люди послетридцатилетние представляются старыми).

— Не правда ли, тут он поэт, романтик, этакий Байрон-

Шелли? Я отвезу Орлову. Я ведь член Комиссии по литературному наследию Осипа... Вот как я работаю... Чтó им достала!.. [218])

Кроме Мандельштама, на столе передо мною были выложены две фотографии Марины Цветаевой (одна с дочкой на руках) и фотография Ахматовой, которую я уже знала, но теперь в увеличенном виде. Фотографии Марины Ивановны привезли Сосинские. [219]) Анна Андреевна положила передо мною рядом одну фотографию Марины Ивановны и другую — свою и спросила:

— Узнаете?

Я не поняла.

— Брошку узнаете? Та же самая. Мне ее Марина подарила.

Я вгляделась: безусловно так. Одна и та же брошка на платье у Цветаевой и Ахматовой.

Затем рассказала мне, что в « Les Lettres Françaises » (эту весть Сосинские привезли) напечатано — со слов Триоле — будто Мандельштама погубил Пастернак. Своим знаменитым разговором со Сталиным — когда Сталин позвонил Пастернаку по телефону после первого ареста Мандельштама.

— Это совершенная ложь, — сказала Анна Андреевна. — И я и Надя решили, что Борис отвечал на крепкую четверку. Борис сказал, что надлежало, и с достаточным мужеством. (Он мне тогда же пересказал от слова до слова). Не на 5, а на 4 только потому, что был связан: он ведь знал т е стихи, но не знал, известны ли они Сталину? Не хочет ли Сталин его самого проверить: знает ли он? [220])

Пришел Эдик Бабаев. Анна Андреевна и ему радостно и поспешно продемонстрировала фотографии, напомнила о разговоре Сталина с Пастернаком и продолжала рассказывать:

— Мы тогда вместе с Борисом подняли в Москве страшный шум. Времена были еще вегетарианские — до Кирова — и еще можно было шуметь. Мне Русланов покойный помог тогда пройти в Кремль к Енукидзе. [221]) Тот выслушал мое заступничество и потом: «А может быть... какие-нибудь стихи?...» (Она произнесла эту фразу с ярким грузинским акцентом и рассмеялась, прикрыв руками лицо). Господи, ну, конечно, стихи! Что же другое — у поэта? Я знала, какие... Могла бы прочесть наизусть.

Затем, со слов тех же Сосинских, рассказала, что сейчас на Западе из русских поэтов более всех переводят Мандельштама.

— А я не иду, — добавила она. — Я не нравлюсь.

И, снова рассмеявшись, пояснила:

— Как Пушкин; прошу меня извинить.

(Я подумала, что Мандельштам переводим, а Пушкин или Ахматова — нет. Вообще — нет. Ведь бросающихся в глаза резких «особенностей стиля» у Мандельштама, у Маяковского, у Цветаевой гораздо больше, чем у Ахматовой или у Пушкина. Поди переведи сладостную и многозначную упоительность пушкинской строчки:

В край родной на север с юга...

Не верю я, конечно, и в западные переводы Мандельштама, но в мандельштамовской поэзии переводчику, по крайней мере, есть за что уцепиться, и в случае неудачи переводчик может все свалить на подлинник: такие, мол, у самого автора причуды. Пушкин же, при феноменальной сложности, смелости, многослойности и глубине, в переводе должен звучать банальным простачком. Воображают же у нас обыватели, будто Пушкин писал «просто» и они его с детских лет поняли. «Я тишайшая, я простая» издевательски написала — издеваясь над тупостью читателя — яростная, а не тишайшая, и сложная, а не простая, Анна Ахматова. Сложность, своеобразие Мандельштама бросаются в глаза — и это, как ни странно, облегчает задачу переводчика.

Я только запомнил каштановых прядей осечки,
Придымленных горечью, нет — с муравьиной кислинкой,
От них на губах остается янтарная сухость.

Или:

Кому — жестоких звезд соленые приказы..

Или:

Никак не уляжется крови сухая возня...

Мандельштам на родном языке поражает — поражает, наверное, и на других языках. «Поражающее» и у Пушкина поддается переводу.

В «Онегине», о Наполеоне:

Сей муж судьбы, сей странник бранный,
Пред кем унизились цари,
Сей всадник, папою венчанный,
Исчезнувший, как т е н ь з а р и...

Или:

Измучен к а з н и ю п о к о я...

Тень зари, покой, который есть казнь, всадник, венчанный папою — все это поражающе, а потому, быть может, и переводимо. Но о колокольчике:

Колокольчик однозвучный
Утомительно гремит.

Или о луне:

На печальные поляны
Льет печально свет она,

что из этого, в переводе, может выйти, кроме банальности? Подумаешь, находка: на печальные поляны печально льет свет луна... Банальщина!

Поразительные находки у Ахматовой поставлены так, что совсем неприметны:

Во дворце горят окошки,
Тишиной удалены,
Ни тропинки, ни дорожки,
Только проруби темны. (332)

Приметит ли переводчик среди этих тривиальнейших тропинок и дорожек, и темных прорубей (ведь проруби всегда темней, чем снег), что сказать о светящихся окнах:

Т и ш и н о й удалены

значит исподтишка совершить чудо?)

---

(332) «Знаю, знаю — снова лыжи» — БВ, Четки.

Я спешила — увы! Она уезжает в Ленинград, в Будку, месяца на три — надолго. Долго мы не увидимся, а провожать ее сегодня вечером я не могу. Да, на прощанье она рассказала смешную историю. У нее побывала Маро Маркарян, чьи стихи она переводит. (Не Маркарян — стихи Ахматовой, но Ахматова — стихи Маркарян).

— Маро славная женщина, но плохо говорит по-русски. И как-то монотонно. А я плохо слышу. Маро сидит у меня, что-то говорит, говорит, говорит, а я думаю свое, даже стихи сочиняются. Вдруг я расслышала:

— Она относится к вам молитвенно.

Спрашиваю:

— Кто это — она?

— Са-фа-ронов.

7 июля 1960

У Анны Андреевны был, оказывается, приступ аппендицита; ее оперировали в больнице в Гавани.

23 сентября 1960

Свою гослитовскую книжку Анна Андреевна поручила Марии Сергеевне Петровых. Мария Сергеевна уже несколько раз звонила мне в большой тревоге: редакция безобразничает, хочет целиком выкинуть весь цикл «Из сожженной тетради», вставляет те стихи, которых Анна Андреевна вставлять не желала и пр. и т. п. Не завидую я Марии Сергеевне: как с этой шайкой управляться, особенно когда бой идет не за свои вещи, а чужие. Я настаиваю, чтобы Мария Сергеевна срочно дала знать обо всем Ахматовой, пусть Анна Андреевна решает сама. Мария Сергеевна колеблется: по-видимому, бережет ахматовское сердце. Но сегодня сказала мне, что пошлет письмо с отъезжающим нынче в Ленинград Володей Адмони. [222])

30 сентября 1960

Сегодня мне позвонила вернувшаяся из Ленинграда Ника Глен [223]) (я с ней незнакома, впервые слышу имя) и точно, четко и кратко передала мне высочайшие распоряжения:

повидаться, не откладывая, с Оксманом, который хорош с Козьминым, и передать ему следующее:

Ахматова не согласна на уничтожение цикла «Из сожженной тетради». Все стихи этого цикла уже печатались в наших журналах (я записала под диктовку Глен что́ — где). Редакцию, по-видимому, смущает название — выходит, будто Ахматова жгла какие-то свои стихи! — так вот, пусть назовут весь цикл «Шиповник цветет» и снабдят эпиграфом:

Неска́занные речи
Я больше не твержу,
Но в память той невстречи
Шиповник посажу.

На добавление некоторых стихотворений Анна Андреевна, скрепя сердце, согласилась. (333)

Мне повезло: Юлиан Григорьевич как раз сегодня вернулся из Подрезкова. Я передала ему, для воздействия на Козьмина, ахматовский ультиматум.

Итак, мы с Марией Сергеевной были правы, что послали Анне Андреевне срочную эстафету. А то редакция, под шумок, с благословения В. Перцова и Веры Инбер (члены редколлегии! ревнители русской поэзии!) сдала бы в типографию изуродованную книгу.

Книга и без того изуродована. Но хоть шиповник расцвел и благоухает.

8 октября 1960

Вчера Анна Андреевна позвонила мне, и сегодня я была у нее весь вечер.

Она отяжелела, постарела и очень раздражена. Быть может, это просто усталость — сегодня «ахматовка», как называл такие дни, переполненные людьми, Пастернак. Нынешняя «ахматовка» длилась с утра до вечера.

Анна Андреевна прочитала мне новые стихи: «Муза»; «Что там? — окровавленные плиты / Или замурованная дверь»;

---

(333) Например, на «Песню мира» — см. «Стихотворения», 1961, стр. 254. Напоминаю читателю примеч. на стр. 341.

«Трагический тенор эпохи» (о Блоке), затем стихи Борису Леонидовичу (как, лежа в больнице, он прозой рассказал ей свое будущее стихотворение); (334) затем новинки в «Поэму»: да еще какие! расширенный кусок в «Решке» и посвящение — «Третье и последнее»... (335) Настоящая болдинская осень... В стихотворении «Муза» она очень отчетливо произносит «оттрепит», рифмуя с «лепет». (336) И притом, главная точка раздражения — это приближающийся выход в свет ее новой книги. О книге этой она поминает не иначе, как с бешенством, хотя издательство, уяснив себе, что все стихи из «Сожженной тетради» уже печатались — согласилось бесстрашно напечатать их под заглавием «Шиповник цветет». Но теперь новое требование: не только автобиография в начале, но и непременно чье-нибудь спасительное послесловие в конце.

— Мне говорят — Сурков. Да, конечно, Сурков — наименьшее зло. Сурков мои стихи любит. Но он не согласится, он международник, зачем ему писать послесловие, а потом отвечать на вопросы каждого корреспондента на каждой пресс-конференции? Если же Сурков откажется, они мне предложат Веру Инбер или Грибачева. Покорно благодарю. Спросили бы у меня: мне вообще эта книжка не нужна, с Сурковым и без Суркова. Третья книжка, дающая ложное представление об авторе; третья моя плохая книжка. Ташкентская — плохая, «красненькая» — плохая, и вот теперь надвигается третья плохая. (337) Это у Пушкина, что́ ни

---

(334) Прочитала новые стихи:

«Как и жить мне с этой обузой» («Муза») — БВ, Седьмая книга; «Что там? — окровавленные плиты» — это строка из стихотворения «Эхо» (БВ, Седьмая книга); о Блоке — «И в памяти черной пошарив, найдешь» (БВ, Седьмая книга); Борису Леонидовичу — это «Словно дочка слепого Эдипа» (ББП, стр. 262. № 82). О последнем стихотворении см. также стр. 377.

(335) О новых строфах в «Решке» см. запись под датой 19 ноября 1960 г.; посвящение «Третье и последнее» — ББП, стр. 354. (Ссылаюсь не на БВ /стр. 311/, т. к. в БВ из этих стихов цензура удалила три строки: «Он не станет мне милым мужем, /Но мы с ним такое заслужим,/ Что смутится Двадцатый Век»).

(336) Впоследствии, когда «Муза» печаталась, Ахматова очень была огорчена, что корректоры настаивали — и настояли! — на неточной (литературной) форме «оттреплет» вместо точной (народной) «оттрепит» — БВ, Седьмая книга; № 83.

(337) «Красненькая» — «Стихотворения», 1958.

выбери — всё хорошо, а у Тютчева или у Лермонтова уже вполне можно отобрать плохие стихи и составить из них сборник. Нет, лучше никакой книги, чем этот очередной поклеп.

Я так понимаю ее огорчение. И в то же время не могу сообразить, что лучше: Ахматова без «Реквиема» и «Поэмы», без двадцати, тридцати, сорока стихотворений, или чтоб росли дети совсем без Ахматовой, не зная ни: «Смуглый отрок бродил по аллеям», ни «В последний раз мы встретились тогда», ни «Звенела музыка в саду», не зная всего, что учило и держало меня, когда я росла. (338) Я понимаю жажду Ахматовой заговорить, наконец, во весь голос, братский миллионам людей и пережитому ими горю, но понимаю и жажду читателя получить хоть глоток поэзии для пересохшего рта. И, заблудившись в своих мыслях, я спросила у Анны Андреевны, как перенесла она операцию аппендицита.

Тут она сразу успокоилась.

— Когда меня внесли в операционную, был необыкновенный рассвет, розовый и голубой. Я старалась думать, что я уже там. Наркоз местный. Удалили попутно какую-то фиброму... На столе я как-то заново и свежо подумала о войне: идет человек молодой, сильный, здоровый и в любую секунду может стать, вот как я сейчас, окровавленным, беспомощным. На другой день хирург сказал мне: вы прекрасно умеете держать в руках свою нервную систему. Я ему ответила: 40 лет я только и делаю, что держу в руках свою нервную систему. Научилась.

Помолчали. Она вынула из сумочки и протянула мне конверт:

— Прочитайте. Это самое лучшее письмо, какое я получила за все 48 лет своей литературной работы.

Я прочла. От заключенного. Наивно; малограмотно; сильно. Он впервые открыл для себя Ахматову, прочитав «Мартовскую элегию» в «Москве». (339)

«Меня поразила раненая простота», — пишет он.

---

(338) «Смуглый отрок бродил по аллеям» — БВ, Вечер; «В последний раз мы встретились тогда» и «Звенела музыка в саду» — БВ, Четки.

(339) 1960, № 7; БВ, Седьмая книга. № 84.

— Я немедленно послала ему телеграмму и «красненькую» книгу, — сказала Анна Андреевна.

(А если бы этой ненавидимой тобою «красненькой» книги не было — тогда что ты послала бы? — подумала я).

Дальше разговор пошел о Пастернаке. Или, точнее, о Борисе Леонидовиче.

— Борис никогда в женщинах ничего не понимал. Быть может, ему не везло на них. Первая, Евгения Владимировна, мила и интеллигентна, но, но, но... она воображала себя великой художницей, и на этом основании варить суп для всей семьи должен был Борис; Зина — Зина дракон на восьми лапах, грубая, плоская, воплощенное анти-искусство; сойдясь с ней, Борис перестал писать стихи, но она, по крайней мере, сыновей вырастила и вообще женщина порядочная, не воровка, как Ольга...

— Мне он делал предложение трижды, — спокойно и нежданно продолжала Анна Андреевна. — Но мне-то он нисколько не был нужен. Нет, не здесь, а в Ленинграде; с особой настойчивостью, когда вернулся из-за границы после антифашистского съезда. Я тогда была замужем за Пуниным, но это Бориса ничуть не смущало. А с Мариной у него был роман заграницей...

Разговор перешел на воспоминания Эренбурга.[224]) Я сказала: «интересно».

— Ничуть, — с раздражением отозвалась Анна Андреевна. — Ни слова правды — ценное качество для мемуариста. О Толстом все наврано: Алексей Николаевич был лютый антисемит и Эренбурга терпеть не мог. Обо мне: у меня стены не пустые и я отлично знала, кто такой Модильяни. Обо всех вранье. (340)

---

(340) Эренбург описывает свою длительную дружбу с А. Н. Толстым, упоминая мельком о ссоре, которая разъединила их на несколько лет, не помешав однако восстановить прежние отношения в 1940 г. Об Ахматовой Эренбург пишет («Новый мир», 1960, № 9, стр. 134):

«Комната, где живет Анна Андреевна Ахматова, в старом доме Ленинграда, маленькая, строгая, голая; только на одной стене висит портрет молодой Ахматовой — рисунок Модильяни. Анна Андреевна рассказывала мне, как она в Париже познакомилась с молодым, чрезвычайно скромным итальянским юношей, который попросил разрешения ее нарисовать. Это было в 1911 году. Ахматова еще не была Ахматовой, да и Модильяни еще не был Модильяни».

Мы условились за два дня, но сегодня утром она опять позвонила: «Вы не забыли, что вечером мы видимся?»

Вечером я пошла. У нее — Наталья Иосифовна, а за стенкою послеюбилейный ардовский тарарам.

Она продолжает терзаться книгой. Был Замотин: «человек из вытрезвителя... руки дрожат». Настаивают на послесловии, а из непечатавшегося, нового, ни строчки. Она просит, чтобы ей разрешили новые стихи: о Софокле — ни в коем случае. (341) В послесловии собираются объявить, будто Ахматова — звено между поэзией дореволюционной и советской. «Вы понимаете, какой будет скандал? Одно из двух: либо я звено, либо — на вторую букву алфавита, как утверждалось в 46 году». Хочет попытаться опубликовать в «Литературной газете» Софокла и еще кое-какие стихи, чтобы опубликованием проложить им путь в сборник.

(Лень им проводить новое через цензуру, что ли? А мы-то дураки, в нашей редакции, так, бывало, гордились, когда печатали свои находки, чьи-нибудь рукописи впервые, новое имя впервые).

В этот вечер Анна Андреевна произнесла прокурорскую речь против читателей, которые, когда вышла «красненькая» книжка, судачили, главным образом, о переплете и общей редакции Суркова. «Разве это важно? Там 90 стихотворений, из которых 85 я признаю... А они о переплете. Как будто в переплете дело... То же случится и теперь: все станут говорить не о стихах, а о послесловии». [225])

Договор с издательством она подписала. Это сулит ей 39 тысяч. Хорошо. Много.

Затем она прочла мне вслух «дивные», по ее словам «божественные» стихи Тарковского.

— Я всегда думала, — сказала Анна Андреевна, — что советская поэзия — великое чудо... Тарковский прочел мне свои стихи впервые лет 15 назад. Он был придавлен Мандельштамом, все интонации мандельштамовские. Я, конечно, с такой грубостью ему этого не высказала, но дала понять. И

(341) «Смерть Софокла» — БВ, Седьмая книга.

потом видела, как он постепенно выползал из-под Мандельштама. Теперь он самостоятельный дивный поэт. Поражает в его стихах полное отсутствие суетности. Я много об этом думаю. Может быть и хорошо, что его не печатают. Он прочно отделен от читателя, и читатель ничего из него не выдразнивает — как выдразнивал, например, из Пастернака в последние годы. Таким образом и непечатание идет поэту на пользу. [226])

Потом Анна Андреевна заговорила о заметке «Анна Ахматова» в новой Литературной Энциклопедии. Ей показал Оксман. (342)

— Филигранная работа. Все как будто точно: и годы, и названия, и даже без брани, — и все сплошное уничтожение и уничижение. «Вас здесь не стояло». Не было у меня славы, не переводились мои стихи на все языки мира, ничего. В 40-х годах, во время второй мировой войны наметился какой-то перелом: я, видите ли, полюбила родину... Да прочитали бы мои стихи о первой мировой:

Отыми и ребенка, и друга — (343)

стихи 1915 года — какой же перелом в 1940?.. Оксман собирается требовать, чтобы добавили в энциклопедию подробные сообщения о моем пушкинизме и о моих переводах. Тогда от меня уже начисто ничего не останется, я утону...

Помолчав, вернулась к Мандельштаму:

— Очень интересно следить за эпитетом у Мандельштама. Сначала эпитет особенный: «простоволосая трава»; а в последнем стихотворении: «и на щеки ее восковые» уже совсем просто. Понял, что и простыми средствами можно добиваться того же. Вот и у Тарковского — «белые руки», как сильно. [227])

Я ушла, потому что Анне Андреевне и Наташе было пора к гостям.

---

(342) Повидимому статью об Ахматовой, готовящуюся для Краткой Литературной Энциклопедии, Ю. Г. Оксман принес Анне Андреевне еще в рукописи. Об Оксмане см. примеч. [89]).

(343) «Отыми и ребенка и друга» — «Молитва». См. БВ, Белая стая; № 85.

29 октября 60

Была у Анны Андреевны — у нее Крон, которого я вижу впервые. Умный, артистичный, острый: вполне на высоте своей статьи.[228]) Под прикрытием дотов и дзотов, ему удалось произнести вслух, что театр у нас не «театр актера» и не «театр режиссера», а театр директора; драматург по сравнению с директором несуществующая величина, нуль; оно и естественно — ведь драматург пишет свои пьесы на обыкновенной бумаге, а директор свои требования на гербовой.

Крон оказал еще одну услугу лично мне. (Он и не подозревает об этом). Обе наши статьи напечатаны рядом. В сущности, моя на ту же тему. Но статья Крона, гораздо острее и сильнее моей, для меня оказалась громоотводом. Ярость начальства пала на его голову. На мою только ярость Детгиза, но это уж вражда традиционная, старинная, еще с маршаковских времен; да и вся моя статья написана на материале *их*, детгизовской глупости.[229])

Мы выпили по бокалу шампанского в честь «Литературной газеты». Да, «Литературной газеты»! Гослит не осмеливается печатать ненапечатанные стихотворения Ахматовой — ну так вот, накося выкуси, они теперь напечатаны. (344) (Господи, когда же я научусь понимать эту издательскую психологию навыворот: наша-то, «ленинградская», тридцатых годов, да по-моему и каждая нормальная редакция — всегда! — рада одарить читателя н о в о й вещью или представить ему н о в о е имя... А эти! Гослит поджидает, чтобы напечатал кто-то другой, а потом, если начальство не цыкнуло, печатают повторно... Храбрецы! Ревнители литературы!).

Выглядит Анна Андреевна дурно, движется неловко: тучна. Пока сидит — плечи, профиль, серебро волос и рука у щеки — она прекрасна и никакой ей младости не надо, но встает из-за стола по-стариковски, с трудом пробираясь между столом и диваном, большая, широкая.

---

(344) 29 октября 60 г. «Литературная газета» опубликовала четыре стихотворения Ахматовой: «Музу», «И в памяти черной пошарив, найдешь», «Эпиграмму» и «Тень».

Стихи имеют успех. Звонил с восторгами Евтушенко и еще кто-то.

Не помню, по какому поводу, речь зашла об исламе.

— Я никогда не любила ислам, — сказала Анна Андреевна, — и к Корану равнодушна. Смесь иудаизма с христианством, приспособленная для пустыни. Унижение женщины. (Потому никогда и не любила! — подумала я). Говорят, монгольские царевны, до того, как приняли ислам, были дамы очень самостоятельные, даже на пирах дрались, а потом чадра, паранджа... все кончилось. Брачные нравы такие: если мужчина ищет близости не только со своими женами и рабынями жен, но и с другими женщинами, — он распутник.

Вопреки ее опасениям, Сурков согласился писать послесловие. Она довольна.

19 ноября 60

Новое время, до которого мы дожили, дожили, дожили, рождает в безднах «Поэмы» новые бездны. Уж, казалось бы, эта, нынешняя новизна — она для других новая, не для Ахматовой. Застенок — «массовые нарушения социалистической законности в результате последствий культа личности Сталина», — он всегда был возле. И зачем так длинно, и так многословно, и такая тьма тьмущая родительных падежей, когда существует короткое, ясное, русское древнее слово: застенок? Да, всегда был возле, но именно в последние годы накаляется застеночья тема в «Поэме». Не в стихах — в «Поэме».

Анну Андреевну я застала лежащей: сердце. Она попросила подать ей со стола папку: ленинградская почта. Порылась и протянула мне письмо от одного лагерника. Поразительное. Человек никогда в руках не держал ни единого сборника ахматовского — обокраден-таки наш народ до ниточки! Он видел только некоторые стихотворения Аматовой в газетах, в журналах, а чаще всего — переписанными от руки по памяти. (Ведь стихам Ахматовой присуще особенное свойство: запоминаемость. Может

быть, как раз это свойство, в сочетании с глубиной, и означает «народность»?). Читатель пишет, что многим и многим помогли стихотворения Ахматовой сохранить жизнь и душу, поднять голову... (А ведь ни «Реквием» не дошел до них, ни «Немного географии»...). Читатель пишет: по строкам восстанавливали люди любимые стихи — запоминая и, когда удавалось, записывая. И приводит свои любимые строчки, слегка перевранные.

— Вот ваш орден, — сказала я, вкладывая письмо в конверт.

Анна Андреевна присела на тахте.

— Новая строфа в «Поэме», — объяснила она; и в ответ на мое восклицание: «Вы же уверяли, «Поэма» окончена». — Да, да, а теперь я продлила себе срок до 1 января... Надо исправить еще кое-что... А пока слушайте новую строфу. Она настигла меня еще в Комарове. Все, кому я ее читаю, говорят: включать. А вы что скажете? Ведь «все»-то не знают промежуточных, а вам они известны.

Анна Андреевна прочитала:

Я ль растаю в казенном гимне?
Не дари, не дари, не дари мне
Диадему с мертвого лба.
Скоро мне нужна будет лира,
Но Софокла уже, не Шекспира...
На пороге стоит — Судьба.

И я, как все: конечно, включайте!

Анна Андреевна расщедрилась и перечла мне подряд «промежуточные» строфы — те, которые в обычных машинописных экземплярах «Поэмы», в «Решке», она заменяет точками. Что значит новая эра! Не только прочитала заветные строфы, но даже продиктовала мне их. Сама предложила — не запомнить, как бывало, а з а п и с а т ь, унести... И даже строфу «Враг пытал...», с настоящим, подлин-

ным, а не подменным концом. (345)

Окончив записывать и дав ей прочитать, я спросила у нее, какие же она собирается до Нового года делать поправки. «Подсвечники золотые» оказались расположены слишком близко от серебра:

И серебряный месяц ярко
Над серебряным веком стыл,

это раз; затем в «Эпилоге» дважды «прах»: «Обратилось сегодня в прах» и «От того, что сделалось прахом» — это совпадение ей тоже не нравится, и еще что-то и где-то совпадает, но я не запомнила, что и где. Жалко мне «подсвечников золотых»! не из-за золота! Анна Андреевна так прекрасно выго-

---

(345) Некоторые строфы в «Решке» Ахматова целые годы зашифровывала точками (с прихотливой, меняющейся нумерацией) — и снабжала под строкой благонамеренно-литературоведческим примечанием: «Пропущенные строфы — подражание Пушкину. См. «Об Евгении Онегине»: «Смиренно сознаюсь также, что в Дон Жуане есть две выпущенные строфы», — писал Пушкин». Пушкин признавался в наличии двух выпущенных строф; у Ахматовой их было несколько; в этот день она прочитала мне новую и продиктовала все. Строфу «Враг пытал: а ну, расскажи-ка!» прочла с такими заключительными строками:

...И проходят десятилетья,
Пытки, ссылки и смерти... Петь я
В этом **ужасе** не могу.

В машинописных экземплярах, да и в том экземпляре, который Ахматова готовила для «Бега времени», надеясь, что удастся напечатать не одну лишь первую часть, но и все три части «Поэмы» — она эти строфы заменяла точками, а конец строфы «Враг пытал...» писала для цензуры так:

И проходят десятилетья,
Войны, смерти, рожденья... Петь я,
Сами знаете, не могу.

(Существует и другой вариант подделки: «Сами видите»).

Впоследствии А. А. не только продиктовала мне эти строфы, но и подарила автограф. История этих строф и автографа изложена мною в журнале «Континент» (1976, № 7).

В № 86 даю зашифрованные строфы вместе со строфой предыдущей и последующей.

Примеч. 1977 г.

варивает «подсве*шники*». Я люблю это старинное русское *ш*, не сменившееся в ее устах нынешним *ч*. (346).

В столовой у Ардовых шум, говор, и, по-видимому, пьянство. Вошел к нам на минуту Виктор Ефимович, показал рисунки из «Ардóколы» — смешные (в частности: Алигер, сражающаяся на рапирах с римским папой). Потом Миша принес в комнату Анны Андреевны чай с бутербродами и сластями.

Я рассказала о своей поездке в Ленинград. О том, что впервые побывала у Пяти Углов и даже в парадную свою вошла без слез и судорог. (347) «Самое страшное тó, — сказала я, — что там ничего не переменилось. Все по-прежнему. Точь-в-точь».

— Когда, напротив, все меняется в любимых местах, — — ответила Анна Андреевна, — тоже страшно. Может быть, еще страшнее. Я из Ташкента вернулась, в конце концов, в свою комнату, которую так ясно видела издали сквозь тысячи верст. И оказалось все другое: столы и шкаф сожжены. Комната голая, пустая. Уверяю вас, еще страшнее. Любимые места обязаны оставаться точно в таком виде, в каком мы помним их.

— Но они эту обязанность исполняют крайне редко, — сказала я. — Люди тоже. Только «мертвые остаются молодыми».

Помолчали.

Анна Андреевна показала мне свой экземпляр «красненькой книжечки», где, после стихов «Из дружеского послания» (ну, тó, что было посвящено Игнатовой и кончается строками «И помнит Рогачевское шоссе» / Разбойный посвист молодого Блока») поставлена теперь цифра «2» и вписано ее рукой новое стихотворение: «И, в памяти черной пошарив, най-

---

(346) В «Эпилоге А. А. оставила «прах» только в конце: «От того, что сделалось прахом, / Обуянная смертным страхом / И отмщения зная срок, / Опустивши глаза сухие / И ломая руки, Россия / Предо мною шла на восток»; в строфе же, расположенной ближе к началу «Эпилога», изменила рифмовку: убрала слово «прах» и срифмовала строки «Сбросил с крыльев свободный стих» и «На бессонных очах твоих». Таким образом, слово «прах» употреблено в окончательном тексте «Эпилога» лишь единожды.

(347) Моя последняя квартира в Ленинграде была у Пяти Углов: Загородный проспект, 11, кв. 4.

дешь». А потом цифра «3» и стихотворение «Он прав — опять фонарь, аптека». Теперь образовался маленький цикл о Блоке, внеличный, исторический. (348) Знаменательны строчки: «Как памятник начала века / Там этот человек стоит», и то, что перед смертью Блок прощается с Пушкиным...

Когда он Пушкинскому Дому,
Прощаясь, помахал рукой...

(Да ведь и в своей речи «О назначении поэта» Блок тоже прощается с Пушкиным...)

— Вот вы сказали: орден, — заговорила Анна Андреевна, вынув у меня из рук книжку. — Но и выговоры я получаю от читателей. Не одни ордена. Полюбуйтесь, какое письмо получено от Леонида Борисова.

Она снова подала мне конверт из ленинградской почты.

Я прочитала письмо — очень злое, даже грубое, без обращения. Борисов возмущен строкой: «Трагический тенор эпохи»: следовало, видите ли, написать: «г о л о с эпохи»...

Анна Андреевна:

— Какое благородное негодование! Когда каждого пятого в его родном городе убивали — он молчал. А сейчас взыграло ретивóе, возмутился. Написал мне письмо со всей прямотой: этакое «не могу молчать». [230])

28 ноября 60

Анна Андреевна позвонила мне с утра: ждет корректуру, не приду ли? Управившись, я вечером пошла. Она усталая, раздраженная. Рассказала мне о новых подвигах Двора Чудес. У нее пропали: заметки о Пушкине, воспоминания о Мандельштаме, выписки из дневника Якова Захаровича.

— Ну, может быть, еще найдутся, — сказала я. — Может быть, в Ленинграде. А, кроме того, не купить ли вам для рукописей чемоданчик с ключом?

---

(348) «Три стихотворения» — БВ, Седьмая книга. № 87.

— Ах, оставьте, пожалуйста, — оборвала меня Анна Андреевна, — какие ключи? Просто хочется все сжечь! (349)

Анна Андреевнна продиктовала мне стихотворение на смерть Пастернака. «Вождя» нет; рифма «дождь — рощ». Но зато другое огорчение: «Он превратился в жизнь н е с у щ и й колос», а заключительные строки: «Но сразу стало тихо на планете / Н о с я щ е й имя скромное... Земли». Я ей это сказала. Она вскинулась: «Неправда! Там не так!» Я протянула ей бумагу. Она посмотрела и мгновенно: «...превратился в жизнь д а ю щ и й колос».

Прочитала мне еще одну строфу в «Поэме», которую вставила ненадолго и выбросила. (Я ее никогда не слыхала и не видала. Это, конечно, о Пунине. Припоминаю уже дома — верно ли?)

А за тонкой стенкой, откуда
Я ушла, не дождавшись чуда
В сентябре, в ненастную ночь,
Старый друг не спит и бормочет,
Что он больше, чем счастья, хочет
Позабыть про царскую дочь. (350)

Прочла и новую строку: вместо «и подсвечники золотые» «В стенках лесенки скрыты витые». Я промолчала, а она, радуясь своей находке: «Как у Пушкина в «Пиковой даме»... Германн и Лиза... Помните?»

Потом мы пили чай вместе со всеми в столовой, но пили как-то наспех и быстро вернулись к ней. Говорили о людях и временах. Анна Андреевна сказала:

— Толстой и Достоевский верили, что мир можно исправить, что можно исправить людей. А мы уже не в силах верить. Достоевский знал, что убийца теряет способность жить.

---

(349) Я не знаю, вернулись ли к ней заметки о Пушкине и воспоминания о Мандельштаме, или она впоследствии написала их заново — во всяком случае, они существуют и опубликованы. Воспоминания о Мандельштаме — см. Сочинения, т. 2; заметки о Пушкине — которая-нибудь из неоконченных работ, впоследствии вошедших в ОП.

(350) Ныне эта строфа с небольшими разночтениями опубликована в ББП, в отделе «Дополнения» на стр. 379.

Раскольников, отняв жизнь у старухи и Лизаветы, сам лишился способности жить. Он не живет, он даже не ест, он только иногда бросается на кровать и спит одетый. А наши современники? Убивали — и жили всласть. Им это было нипочем. Вернутся домой утром — служба-то ночная, утомительная, — вот и хочется, чтобы жена в новом халате, дочка с бантами в волосах... Они могут жить.

3 декабря 60

Три дня держала я корректуру верстки, а вчера весь вечер провела у Анны Андреевны, задавая ей роковые вопросы.

Измучилась я очень. Шрифт мелкий, мельче мелкого, я читаю его только сквозь лупу. И это еще не самое трудное: читать мелкий шрифт подряд. Для глаз гораздо труднее отрываться, сверяя текст с другими сборниками, где шрифт другой, хотя бы и более крупный. Искать, вглядываться, переписывать — сразу темень и боль. Я — калека. Надо иметь мужество признаться в этом хотя бы себе самой.

Пришла я на Ордынку невыспавшаяся, на отечных ногах, и сразу ощутила спертую духоту маленькой комнаты! Входишь, словно в шкаф. Как же она-то это выносит круглосуточно! — она, после двух инфарктов!

Она была утомленная: только что принимала итальянца Лёгато. [231])

— Он глух, и я рада, — сказала Анна Андреевна. — Я ведь тоже глуха. Так мы и кричали друг другу каждый свое, и мне не было стыдно.

Мы сели работать: она на коечку-тахту, я — за столик, положив перед собою список своих вопросов. Но прежде чем я начала задавать свои мелочные вопросы по списку, Анна Андреевна потребовала от меня общего суждения о книге. Я сказала, что книга очень выиграла благодаря новым стихам, прежде разбросанным по журналам и теперь впервые «воссоединившимся». Собранные, присоединенные к прежним, они звучат очень сильно. «Cinque», «Тайны ремесла», «Северные элегии» (351) вместе со страшнейшей: «Есть три эпохи

---

(351) «Стихотворения», 1961; БВ, Седьмая книга.

у воспоминаний»... (Великая элегия и, быть может, ключ ко всей поэзии Анны Ахматовой). (352)

Вчера кто-то принес на минуту Анне Андреевне представленное в редакцию послесловие Суркова. Анна Андреевна была уверена, что Сурков напишет нечто «вяло-благостное», и очень на этом стояла. Он же, как она уверяет теперь, «просто пересказал приснопамятного Андрея Александровича». (353) «Вы не должны огорчаться, — сказала я, — перед лицом ваших стихов это только срам для постановления 46 года и для Суркова. Ничего более».

— Мне это совершенно все равно, — ответила Анна Андреевна, но я видела, что она угнетена.

Мы приступили. Я показала ей наиболее выдающиеся и смешные опечатки. «И только красный тюльпан, тюльпан у тебя в петлице» — опечатка: «в теплице». (Оно, конечно, так было бы понятнее читателю. Где место тюльпану? В теплице); «фрагманты» вместо «фрагменты» — тоже как-то красивее; «любви» вместо «любови» и прочий сор.

Что прояснилось для меня во время работы? Что она, как и прежде, не любит пробелов между четверостишиями («Пушкин под конец их совсем не признавал»); затем, что здешний вариант «Музыки» вовсе не окончательный, не беловой — как я опасалась, любя предыдущий, а сделан исключительно для цензуры (редакции неугодны «могила», «страх», а оттого возникла рифма «воскрылий», исчез «последний друг», который со страху «отвел глаза», и прочее). (354). Порадовала она меня тем, что непременно желает включить нового Блока — «трагический тенор эпохи» — и я, своею рукою, вписала эти стихи под ее диктовку в корректурный текст... Интересно мне было подтверждение одной моей догадки; я давно подозревала, что стихотворение «В ту ночь мы сошли друг от друга с ума» обращено к тому высокому поляку, военному, который в Ташкенте бывал у нее и, помнится, провожал ее откуда-то из гостей домой — не от Толстых ли?.. И вдруг

---

(352) № 58.

(353) Жданова.

(354) Впоследствии, когда явилась возможность, А. А., составляя «Бег времени», уничтожила громоздкие «воскрылия» и восстановила все стихотворение в его подлинном виде. См. № 73.

она сегодня сказала, взглянув на меня плутовски: «Давайте-ка, сделаем вместо «Но только не призрачный мой Ленинград» — «но не Варшава, не Ленинград»... Догадка моя верна — тому поляку: в Ташкенте... Чапскому. (355)

Некоторые строки мне удалось спасти, и я очень этим горжусь. Анна Андреевна давно уже согласилась заменить «Как мой лучший день я отмечу» — другой строкой. Вписала даже в «красненькую» книжечку, в мой экземпляр: «Белым камнем тот день отмечу». Но тут в корректуре почему-то снова оказалось «Как мой лучший день я отмечу...» Мы внесли «белым камнем» в корректуру.

Затем я сказала Анне Андреевне, что стихотворение: «Птицы смерти в зените стоят. / Кто идет выручать Ленинград?» немыслимо без последнего заключающего двустишия («Отворите райскую дверь, / Помогите ему теперь»). Она с раздражением ответила:

— У меня давно готова замена, — и продиктовала мне:

Но безжалостна эта твердь.
И глядит из всех окон — смерть. (356)

(А я с такою ясностью помню день — ташкентский — когда я жила еще на улице Гоголя; она зашла ко мне; мы сидели на лавочке во дворе, и она прочла мне эти стихи, сказав, что писать их начала в самолете.

Тогда поразили меня строки:

Не шумите вокруг — он дышит,
Он живой еще, он всё слышит...

---

(355) В книжке 1961 года (стр. 280) однако осталось: «Но только не призрачный мой Ленинград»; и лишь в «Беге времени» (стр. 420) возникла Варшава с добавлением в строке двух слогов: «То мог быть Стамбул или даже Багдад, / Но, у в ы ! не Варшава, не Ленинград». № 75.

(356) С этой цензурной заменой стихотворение печаталось и в сборнике 1961 года, и в БВ (Седьмая книга), и в ББП на стр. 211. В ББП приведены также черновики, но подлинное окончание («Отворите райскую дверь, / Помогите ему теперь») отсутствует. № 88.

С такою нежностью произнесено это «не шумите», как о любимом человеке, не о городе. «Не шумите вокруг — он дышит»).

Мы продолжали работать дальше по моему списку. Я посоветовала ей в давнем стихотворении (из «Белой Стаи») «Нам свежесть слов и чувства простоту» заменить в последней строке «безразличие» — «равнодушием». «И равнодушие толпы». Очень уж «безразличие» не пушкинского времени слово, а ведь звук, интонация — да и самая «толпа» — здесь всё пушкинское. Она согласилась. (357)

Зато «Мой городок игрушечный сожгли» она решительно, к моей печали, оставляет не в этом, а в испорченном, на мой взгляд, варианте: «Что делать мне? Они тебя сожгли... / О встреча, что разлуки тяжелее!»

После меня верстку будет читать Мария Сергеевна. Это отлично во всех отношениях; я уже и как корректор никуда не гожусь.

6 декабря 60

Я застала Анну Андреевну лежащей. Лежит — белая, грузная, отечная — на своей плоской тахте.

Едва поздоровались, едва я успела сесть у нее в ногах — она неожиданным движением достала со стола большой издательский конверт и протянула мне.

— Прочтите.

Я вынула. Послесловие Суркова.

Читая, я чувствовала, как колотится сердце в ушах и в горле. Мое старое базедовическое сердце.

Сначала аккуратно изъять из произведений поэта всё, что показывает его любовь к России (например, «Молитву» 1915 года: «Отыми и ребенка, и друга»... «Чтобы туча над темной Россией / Стала облаком в славе лучей»); изъять и представить Ахматову дамочкой, воспевавшей адюльтер (и

---

(357) С тех пор так и печатается: «равнодушие толпы». См. «Стихотворения», 1961; БВ, Белая стая; ББП, стр. 92; № 89.

ведь все равно не изымешь! не исключишь из ахматовской поэзии — Россию! если бы даже не было этих и множества других, любующихся родиной стихов, таких, как «Журавль у ветхого колодца» или «Приду туда, и отлетит томленье» — всё равно не изымешь — оттого, что любовь Ахматовой к России, неотрываемость, неразлучаемость, запрятана в языке: (358) о чем бы она ни писала, она никогда не изменяла тому, «что всякой косности косней» — русскому языку), так вот: придумать дамочку, антинародно воспевающую адюльтеры (почему у них у всех, между прочим, такое неуважение к любви?), и потом одарить ее скоропостижным патриотизмом 1941 года... Да еще и 46 год ей напомнить. Низость!

Стук в ушах и в горле у меня поднялся такой, что себя и своих слов я не слышала и не помню.

— Довольно, Лидия Корнеевна, — прервала меня Анна Андреевна, — сегодня ко мне один раз уже вызывали неотложную, и больше я не хочу. Спрячьте это. Нет, нет, подальше. Мне позвонил Козьмин и спросил, что́ я думаю о послесловии. Я ответила: «не будем говорить об этом документе». С Козьминым я вообще никогда больше ни о чем не стану говорить. Он лгун. Ведь он уверил меня: в послесловии будет написано, что вы звено между чем-то и чем-то... И вместо обещанного преподнес пересказ Постановления 1946 года! (359)

Я умолкла. Надо было искать какую-нибудь другую тему, а мне было не до разговоров, так стучало сердце в ушах. Анна Андреевна встала, ушла, воротилась и пригласила меня в столовую чай пить. На столе лежал нью-йоркский Мандельштам. Я его перелистывала. Но решительно никакие слова не навертывались мне на язык. Анне Андреевне сделалось жалко меня, и она принялась рассказывать нечто от-

---

(358) «Журавль у ветхого колодца» — строка из стихотворения «Ты знаешь, я томлюсь в неволе» — БВ, Четки; № 90. «Приду туда, и отлетит томленье» — БВ, Белая стая; № 67.

(359) Через 15 лет после предисловия к сборнику стихотворений Ахматовой 1961 года Сурков повторил почти то же самое в своем предисловии к ББП (1976). Первоначально сборнику ББП предшествовало предисловие В. М. Жирмунского, но после смерти Виктора Максимовича оно было изъято и заменено сурковским.

влекательное и увлекательное: о двух своих встречах с Цветаевой.

— Впервые я увидела ее в 1941 году. До тех пор мы с ней никогда не видались, она посылала мне стихи и подарки. В 41 году я приехала сюда по Лёвиным делам. А Борис Леонидович навестил Марину после ее беды и спросил у нее, чего бы ей хотелось. Она ответила: увидеть Ахматову. Борис Леонидович оставил здесь у Нины телефон и просил, чтобы я непременно позвонила. Я позвонила. Она подошла.

— Говорит Ахматова.

— Я вас слушаю.

(Да, да, вот так: о н а меня слушает).

— Мне передал Борис Леонидович, что вы желаете меня видеть. Где же нам лучше увидеться: у вас или у меня?

— Думаю, у вас.

— Тогда я сейчас позову кого-нибудь нормального, кто бы объяснил вам, как ко мне ехать.

— Пожалуйста. Только нужен такой нормальный, который умел бы объяснять ненормальным.

Тут я подумала: один поэт — хорошо, два — плохо.

Она приехала и сидела 7 часов. Ардовы тогда были богатые и прислали ко мне в комнату целую телячью ногу.

На следующий день звонок: опять хочу вас видеть. А я собиралась к Николаю Ивановичу, в Марьину рощу. Я дала ей тот телефон. Вечером она позвонила; говорит: не могу ехать на такси, на метро, на троллейбусе, на автобусе — только на трамвае. Тэдди Гриц ей все подробно объяснил и вышел ее встретить. [232]) Мы пили вино вчетвером. Тэдди сказал, что у дома торчит человек. Я подумала: какая же у нее счастливая

жизнь! А может быть, это у меня? А может быть, у нас обеих? (360)

11 декабря 60

Я ненадолго заходила к Анне Андреевне. Застала ее лежащей. Сердце? Боли есть, но, она надеется, это не сердце, а спондилит. Рассказала мне, что накануне с помощью Эммы Григорьевны исправляла свое вступление к книге.

Показала мне томик стихов Георгия Иванова с предисловием Гуля. Утверждается, будто Георгий Иванов — князь во поэтах, из него выработался великий поэт и пр.

Анна Андреевна испытующе на меня взглянула, взяла с тумбочки какую-то книжку, важно надела очки — а мне велела читать про себя Иванова и потом высказаться.

Я принялась со страхом. Когда-то в Ленинграде, в «Доме Литераторов», я слушала стихи Иванова и Адамовича. Они там читали. Георгий Иванов — и сам он, и стихи его — мне ужасно не нравился. Из стихов же Адамовича — кое-что. Кто-то мне недавно сказал, что Адамович — там, в запредельном мире, сделался хорошим критиком. Дай-то Бог. Они у меня в памяти как-то смешались: Иванов и Адамович, хотя совсем не были похожи друг на друга.

---

(360) С этим рассказом о встречах с Цветаевой интересно сопоставить запись, сделанную Анной Андреевной в 1962 г.: «Наша первая и последняя двухдневная встреча произошла в июне 1941 г. на Большой Ордынке 17, в квартире Ардовых (день первый) и в Марьиной роще у Н. И. Харджиева (день второй и последн[ий]). Страшно подумать, как бы описала эти встречи сама Марина, если бы она осталась жива, а я бы умерла 31 августа 41 г. Это была бы «благоуханная легенда», как говорили наши деды. Может быть, это было бы причитание по 25-лет[ней] любви, кот[орая] оказалась напрасной, но во всяком случае это было бы великолепно. Сейчас, когда она вернулась в свою Москву такой королевой и уже навсегда (не так, как та, с кот[орой] она любила себя сравнивать, т. е. с арапчонком и обезьянкой в французском платье, т. е. décolletée grande gorge), мне хочется просто «без легенды» вспомнить эти Два дня». (См. сб. «Встречи с прошлым», ЦГАЛИ, вып. 3, 1978, стр. 415).

Стала ли для Цветаевой ее встреча с Анной Андреевной разочарованием «в 25-летней любви» — мне неизвестно. Известно лишь, что, прочитав осенью 1940 г. сб. «Из шести книг», — в поэзии Ахматовой Цветаева разочаровалась. См. примеч. 18).

Да, так вот, Иванов. Минуя Гуля, я принялась читать стихи Иванова.

Нет, не выработался. Нет, бледно. Нет, ритмы, интонации — чужие. Нет.

Я доложила Анне Андреевне свое впечатление. Она нашла меня слишком снисходительной.

— Не бледные и чужие, а пренеприятные и ничтожные, — сказала она. — Очень неприятные. Вот, например, это.

Она прочитала с издевкой одно любовное стихотворение.

— Это — обращено к Z. Еще «пупочкой» ее назвал бы... Не только никакого величия — никакого вкуса. Гуль выводит Иванова из Анненского.

Я удивилась: Анненского и ноты нет.

— Да, да, не больше и не меньше, из Анненского. Это наспех сколоченная родословная, знаете, как раньше покупали на Апраксином рынке.

1961

3 января 61

За это время я видела Анну Андреевну дважды: один раз еще в старом году, а потом встречала у нее, с ней — Новый. (Вопреки своему обычаю: вообще не встречать).

Анна Андреевна плохо себя чувствует и почти всё время лежит. Повидимому, пока не выпустят книгу — ей не поправиться.

Новый год, в отсутствие хозяев, встречали мы в таком составе: Анна Андреевна, Ника, Наталья Иосифовна, я. Анна Андреевна накинула на халат шаль и вышла к столу: она была рассеянна, грустна, но при этом любезна и остроумна; я просто грустная, я не умею; Ника, со свойственной ей серьезностью, неторопливостью, деликатностью и умом — хозяйничала; Наталья Иосифовна много курила и много рассказывала смешного.

Между прочим моя грустность дала повод для одного признания Анны Андреевны. Это было не на встрече Нового Года, а в прошлый раз. Я сказала, не пускаясь в подробности, что самое для меня мучительное не боль, испытываемая мною, но непонятность совершившегося.

Анна Андреевна, мгновенно поняв, о чем речь, ответила:

— Да, у меня тоже так было в 44 году. — («Значит, Гаршин», подумала я). — Мне тоже сделалось трудно жить, потому что я дни и ночи напролет старалась догадаться, что же произошло. Могу вам сказать, как это окончилось. Однажды я проснулась утром и вдруг почувствовала, что мне это больше

неинтересно. Нет, я не проснулась веселой или счастливой. Но — освобожденной.

7 января 61

Я напустила Оксмана на Козьмина. Юлиан Григорьевич звонил мне, что Сурков переделывает послесловие. Анне Андреевне я не говорю ничего. Поглядим. А сверки всё нет.

Она лежит. Один вечер я посидела возле. Она прочитала мне три свои стихотворения, посвященные Пастернаку: «И снова осень валит Тамерланом» (1947), (361) «Умолк вчера неповторимый голос» (362) и «Словно дочка слепого Эдипа» (1960) (363). Очень сконфузила меня торжественной благодарностью: «я обязана вам устранением «несущий» и «носящий». Но это ведь каждый заметил бы, сказала я; и сама она непременно тоже.

— Я заметила бы, но позднее, — ответила она. — Сначала, когда слышишь все только изнутри, — не слышишь снаружи.

Потом заговорила о «пути» в «дочке слепого Эдипа».

— Дорога, — это на одной его фотографии, которую он мне подарил. Там за окном видна дорога. Он написал по-французски: «Все дело в том, чтобы идти по ней выше и выше». Я поставила фотографию вот здесь, на тумбочке, у зеркала, и ее украли.

— Какие же к вам, однако, гости ходят!

— Точно такие же, как к вам! Ну можно ли держать открытой, неокантованной, неостекленной, не на стенке фотографию великого поэта!? Ясно — украдут.

Почему-то мы заговорили о конце Гумилева.

— Его ведь тогда в Петербурге мало знали, то есть знали очень хорошо, но только в самом узком кругу. Вожди, конечно, и имени его не слыхивали, об этом нечего и говорить. А читатели — только интелигенция, узкий петербургский круг. Не спорьте, я вооружена: ни одна книга его не была

---

(361) № 80.
(362) № 81.
(363) ББП, стр. 262; № 82.

переиздана. Николай Степанович был человек очень деловитый; если бы он мог — он добился бы переиздания. Но не мог. О нем не появилось ни одной статьи. Правда, на юге существовала его школа, но до Петербурга еще не дошла. Слава ждала его через несколько дней.

Помолчали. Анна Андреевна заговорила о «поклонниках таланта» и об одном из тех, который недавно посетил ее.

— Какой-то театральный служащий, который всю жизнь мне поклонялся. Вот, видите, это всё — стихи мне. (На столе лежит толстая красная тяжелая тетрадь — роскошная, нечто вроде альбома). Ниночкин знакомый. Наконец пришел. Я промучилась два часа. Он так робел, что разговорить его было невозможно. Я никогда ничего похожего не видывала, хотя у меня пятидесятилетний опыт.

13 января 61

С дачи, 11-го, я позвонила Анне Андреевне — узнать о здоровье. Она сказала: «Больна, но еду в Ленинград, заболел Лёва». Оказывается, ей позвонила Ира Пунина с дурным известием: Лёву отправили в больницу.

— А что с ним?

— Ирочка не знает.

Как это можно сообщать Анне Андреевне страшные и притом неопределенные известия! «Волнуйтесь, подробности письмом». Сегодня вернувшись в город, я сразу поехала на Ордынку. Билет уже взят, но Анна Андреевна колеблется, ехать ли, потому что ее смотрел Вотчал, остался очень недоволен сердцем и приказал лежать. Я ее уговорила расстаться с билетом и обещала, что позвоню в Ленинград Геше и попрошу его навести справки в больнице.

Анна Андреевна протянула мне увесистую, роскошную итальянскую хрестоматию, ту самую, где напечатаны ее стихи по итальянски и по-русски. Предисловие Рипеллино снова и снова приводит ее в бешенство. Там говорится, между прочим, будто к тридцати двум годам она разочаровалась в своей интимной лирике и перестала писать.

— Я не писать перестала, а в 24 или 25 году было постановление ЦК: не арестовывать, но и не печатать. Я этого не заметила, я тогда не знала даже, что такое ЦК. Разочаро-

ваться же мне не в чем было, потому что именно в этом году я с «Русским Современником» ездила в Москву, читала в Политехническом с огромным успехом: конная милиция и всё прочее. Да и кто же разочаровывается в своей поэзии в 32 года! Годы цветения! Укажите мне такого поэта! Выдумал Рипеллино, и теперь все на Западе повторяют. [233])

Затем, немного остыв, прочла новое: скорбящей — щемящий, гудок паровоза, шарманка. «Это я просто так, никчемно, вы не беспокойтесь» лукаво и кокетливо повторяла она, а потом — ну как же не беспокоиться! — схватила «Поэму» и указала мне, куда эту строфу собирается вставить. (364)

— Ко мне приходили три художника, молодые, левые, просили принять их товарища, поэта. Меня тронуло, что они так любят его... Пришел. Лет тридцати. Где-то в деревне учит детей немецкому. Пишет стихи. Кудрявый. Похож на молодого Мандельштама. От смущения закрыл руками лицо. Руки — белые лилии. Читал стихи. У всех у них сейчас хорошие стихи. Я спросила о «Поэме». Он ответил: «Для меня ваша «Поэма» где-то возле «Двенадцати» Блока». Я всегда так и сама думала, но боялась сказать... Потом о драгуне: «Он был лучше их, потому они его убили».

Показала пышную новогоднюю открытку от Суркова. Довольна. А не в этой ли комнате кричала она мне, что из-за его послесловия к ней вызывали неотложку!

Вернувшись домой, я позвонила в Ленинград Геше и дала ему поручение насчет Лёвы.

15 января 61

Звонил из Ленинграда Геша: он все исполнил. У Лёвы функциональный гемипорез; на днях его переводят к Бехте-

---

(364) Строфа эта в «Поэму» впоследствии не вошла. Опубликована Ахматовой как самостоятельное стихотворение: «Петербург в 13 году» БВ, Седьмая книга. № 91. Предполагала же А. А. вставить новорожденную строфу в первую часть «Поэмы» либо в главу третью после строфы «И всегда в духоте морозной», либо в главу вторую после строфы: «Сучья в иссиня-белом снеге...» Но в конце концов категорически решила: никуда не вставлять.

реву. (Докторша спросила: «это сын того Гумилева, который написал «Луну справа»? ») (365).

Я позвонила Анне Андреевне сообщить ей диагноз; она выслушала меня вяло, потому что получила уже подробное письмо от Лёвы.

Вопрос докторши напомнил мне еще два происшествия в том же роде. Одна студентка, услыхав фамилию «Ахматова» спросила: «ах, это та Ахматова, из-за которой застрелился Блок?» А потом рассказ Сергея Александровича Бондарина, как начальник лагеря, принимая новоприбывших, увидел в анкете Дмитрия Стонова: «писатель» и поднял неистовый крик. «Ах ты, мерзавец! — кричал он. — Что́ это ты такое аховое написал? Зощенку и Ахматкину — и тех к нам не прислали, а тебя... Хорош!» 234)

21 января 61

Вечером была у Анны Андреевны. Она немного живее. О Лёве молчит. Снова показала дивное, хоть и малограмотное письмо, на этот раз из Днепропетровска: «Уважаемая Анна Ахматова». Человек прочитал ее стихи в газете и «откликнулся». А до сих пор знал о ней только то́, что преподнесли ему в 9 классе, то есть постановление 46 года, которое он вежливо называет «обзор» и три строчки стихов — из того же обзора. Перевирая, он их цитирует так:

Но клянусь тебе ангельским садом,
Чудотворной иконой клянусь
И о ч е й наших пламенным чадом...

«Очей» вместо «ночей»... Теперь он радуется, что снова встретил стихи полюбившегося ему поэта.

Так, даже сквозь «обзор», даже сквозь искалеченные, скудные строчки — Ахматова победила: и «несет по цветущему вереску, / По пустыням свое торжество». 235)

---

(365) Докторша перепутала все: во-первых — имя поэта Н. Гумилева (и его сына Льва) с именем Льва Гумилевского, автора бульварной повести «Собачий переулок»; и, во-вторых, — название повести С. Малашкина «Луна с правой стороны» — с пародией на эту повесть — «Луна слева», написанной В. Билль-Белоцерковским.

Затем Анна Андреевна сказала мне, что не станет писать книгу о гибели Пушкина, потому что из опубликованных ныне писем Карамзиных все уже ясно и так.

Пошли в столовую чай пить. Ардов вспомнил и рассказал, как, много лет назад, к Анне Андреевне пришел однажды Пастернак, и они часа два беседовали между собой о чем-то непонятном. Нина послушала, послушала и говорит Ардову: «Борис Леонидович будто на каком-то чужом языке изъясняется». — Но Анна Андреевна понимает? — «Да, во всяком случае свободно отвечает ему». Когда Борис Леонидович ушел, Нина спросила у Анны Андреевны: «О чем вы толковали с Пастернаком?» — Да он просил меня заменить слово «лягушка» в моем стихотворении.

— Чтоб не спугнуть лягушки чуткий сон? — вспомнила я.

— Да.

— И вы сделали «пространства»?.. Далековато!

— Это совершенно все равно, — ответила Анна Андреевна. (366)

Скоро пришла Эмма, а мне было пора.

28 января 61

Целый вечер у нее. Она на ногах, разговорчива, но какая-то мрачная, темная. Повидимому, ее гложет книга (сверки до сих пор нет), отношения с Лёвой (о нем она молчит, а на вопросы отвечает односложно), терзают мысли о ее биографии, искажаемой на Западе. Снова — гнев по поводу предисловия к стихам в итальянской антологии.

Показала мне свою особую запись об источниках всех кривд. Примерно так: «Каждый, уезжая из России, увозил с собою свой последний день. Вячеслав Иванов уехал из Петербурга в 1912 году, когда кое-кто считал меня ученицей Кузмина, а через несколько лет за границу. Он привез эту мысль на Запад, она и распространилась на Западе». (367)

---

(366) Речь идет о стихотворении «Поэт» — БВ, Тростник. (Настоящее заглавие «Борис Пастернак», см. «Из шести книг», стр. 36, а также «Записки», т. 1, № 1.)

(367) Прочитанная мне тогда запись совпадает по своему содержанию с отрывком, опубликованным в статье Льва Озерова «Тайны ремесла» — см. сб. «Работа поэта», М., «Советский писатель», 1963, стр. 193-194.

Я посоветовала ей, назло Рипеллино и другим, утверждающим, будто она долго молчала, упомянуть в своем предисловии, что в 30-ые годы она писала особенно много. Ведь включить успеется, сверка еще предстоит.

Разговор о Твардовском (в связи со статьей, которую пишет о нем Маршак). [236]) Анна Андреевна, по своему обыкновению, отзывается о Твардовском с неприятной мне презрительностью.

— Теркин? Ну да, во время войны всегда нужны легкие солдатские стишки.

Я сказала, что твердо люблю отрывки из «Страны Муравии» — например, свадьбу, пляску на свадьбе — люблю «Теркина» и «Дом у дороги». Мне кажется, Анна Андреевна «Дом» просто не прочла.

Когда я уже уходила, Анна Андреевна просила меня раздобыть для нее у Корнея Ивановича роман Набокова «Пнин»: она хочет взглянуть, что́ там написано про нее.

4 февраля 61

Случилось, как бывало уже десятки раз: только что я набрала номер ее телефона — занято; кладу трубку — звонит она сама.

Не телефон, а телепатия.

Вечером я пошла.

Она уезжает 6-го, хотя Лёве лучше, а сверки всё еще нет. Приехала Ира Пунина и везет ее в Ленинград.

Гневная тема нынешнего вечера — «Пнин» (я забросила ей книгу в промежутке). Книга ей вообще не понравилась, а по отношению к себе она нашла ее пасквилянтской. Книга мне тоже не нравится, или точнее, не по душе мне та душа, которая создает набоковские книги, но пасквиль ли на Ахматову? или пародия на ее подражательниц? сказать трудно.

Анна Андреевна усматривает безусловный пасквиль. (368)

Я принесла ей номер «Юманите» со статьей о деле Ивинской. Анна Андреевна от слова до слова перевела мне статью с французского. Приятно, конечно, что Сурков, один из ярых гонителей Пастернака, в разговоре с западным корреспондентом вынужден был назвать его великим поэтом, но жаль, что соседствуют имена: воровки Ивинской и великого поэта Пастернака. Впрочем, в этом уж неповинен никто, кроме самого Бориса Леонидовича.

— Завтра ко мне придет Надя, — сказала Анна Андреевна, — и я с ней буду ссориться. Вообразите: она защищает Ольгу!

Интересно, каким же это образом? Тут ведь возможны только два варианта защиты: первый — я оболгала Ольгу, на самом деле она никаких денег не присваивала и добросовестно посылала в лагерь посылки. Второй: я опять же оболгала Ольгу, никаких денег я ей вообще не давала, ни денег,

---

(368) Одна из героинь романа Владимира Набокова «Пнин» (по специальности врач-психиатр, по присхождению русская) пишет стихи. В эмиграции, в Париже, она выпускает сборник под названием «Сухие губы». Набоков приводит два стихотворения из этого мнимого сборника. Приведу их; пусть читатель судит сам, права или неправа Ахматова в своей оценке.

Я надела темное платье,
И монашенки я скромней;
Из слоновой кости распятье
Над холодной постелью моей.

Но огни небывалых оргий
Прожигают мое забытье
И шепчу я имя Георгий —
Золотое имя твое!

И второе:

Самоцветов кроме очей
Нет у меня никаких,
Но есть роза еще нежней
Розовых губ моих.
И юноша тихий сказал:
«Ваше сердце всего нежней...»
И я опустила глаза...

ни вещей, ни лекарств, ни сгущеного молока, ни топленого масла, ни книг, так что ей, бедняге, нечего и присваивать было. Третьего нет. Однако, ведь я жива, и потерпевшая — тоже, она жива и на свободе, и свидетели — например, Фрида, живы тоже. Свидетели подтвердят, что деньги я давала, сами они давали частенько продукты и книги, а потерпевшая скажет, что за два с половиной года она не получила *ни одной посылки*. Какая же возможна защита? Какие же доводы приведет Надежда Яковлевна? Любопытно. (369)

В это время у Ардовых в гостях пребывал Никулин. Анна Андреевна вышла в столовую показать французскую газету. Потом вернулась и с возмущением сказала:

— Подумайте, Виктор Ефимович *при Никулине* спросил: «Это Лида принесла?»

21 июня 61

Вчера вернулась из Ленинграда Анна Андреевна. Она позвонила мне и попросила придти, а я не могла: мое дежурство на даче, возле Деда.

— Значит, сегодня мы не увидимся? — грустно сказала Анна Андреевна. — Ну, ничего, я привыкла довольствоваться малым. Хорошо, что хоть голос ваш услыхала.

(В последние годы она со мною как-то необыкновенно ласкова. Пойму ли я когда-нибудь, что случилось в Ташкен-

---

(369) «Шум вокруг дела Ивинской, обвиненной в валютных операциях, оскорбляет память Пастернака — говорит советский поэт Сурков» — см. «Юманите», 24 января 1961 г. (Повидимому, «шум вокруг дела Пастернака» в советской прессе и в Союзе советских писателей, когда Бориса Леонидовича в 1958 году публично, в прессе и с трибуны, именовали свиньей, собакой, врагом народа и предателем — не представлялся Суркову оскорблением великого поэта. Оскорбление — это только «шум на Западе».)

Что же касается того, действительно ли Ольга Ивинская участвовала в спекуляциях валютой или это было измышление «органов», которые по мере надобности могут обвинить кого угодно в чем угодно — я достоверных сведений не имею. Да и не нуждаюсь в них: личность Ивинской ясна мне из ее операций, если не с иностранной валютой, то с моими собственными деньгами (см. примеч. [84]), и из той роли, какую она сыграла в вымогательстве у Бориса Леонидовича покаянных писем во время Нобелевской трагедии 1958 года. Примеч. 1978 г.

те? И — забуду ли? И что я собственно помню? Нет, зла я не помню, то есть зла к ней не питаю, напротив. Но испытанную боль, сознательно причиненную мне ни с того ни с сего — помню, и это мне мешает радоваться ее доброте.)

Да, а сегодня Анна Андреевна приехала на машине Наталии Иосифовны к нам в Переделкино. Сначала мы сидели на лавочке у дедовой березы, где скворечник. Она подарила Корнею Ивановичу белый экземпляр книжки. Наташе — черный, а мне пока никакого. Зато когда мы все вместе по тропочке пришли в мои «Пиво-Воды», она вынула из сумки, прочитала и подарила мне «Мелхолу». «Распространяйте»... Корней Иванович сказал: «Первая половина могла быть и у Алексея Толстого: там элемент оперы, но вторая по смелости, подлинности и силе — только Ахматова». (370)

Анна Андреевна сидела у меня в моей сараюшке долго, потому что от перехода по тропке устала — для нее это уже большое расстояние! — хотя шла она сюда, опираясь на мою руку и на руку Деда, а ее ветхий, перевязанный веревкой, чемоданчик несла Наташа. (Видимо, Анна Андреевна с чемоданчиком не расстается: там рукописи). Сидя у меня под лампой в соломенном кресле, она, кроме «Мелхолы», прочла нам одно стихотворение Пастернаку, другое — Цветаевой и новые: четверостишие, которое я не поняла, и одно чудесное о войне, про которое Анна Андреевна сказала: «его уже не напечатали, наверное, за грубость». (371)

Назад, ужинать, мы шли тем же порядком: Анна Андреевна опиралась на меня и Деда, а сзади Наташа с чемоданчиком. Анна Андреевна шла трудно, одышливо, и мне каза-

---

(370) «Мелхола» — БВ, Anno Domini; № 92.

«Пиво-Воды» — шутливое прозвище маленького домика, выстроенного Корнеем Ивановичем мне в подарок в самой глубине лесного участка. Размером он чуть больше вагонного купе: там помещается только столик, кресло и койка. Прозвище свое этот ярко зеленый дощатый домик получил за сходство с пивными ларьками. Это скорее беседка, чем дом, у него нету фундамента и жить в нем можно только в жару летом.

(371) Стихотворение Пастернаку — «Словно дочка слепого Эдипа». № 82.

Стихотворение, обращенное к Цветаевой — «Невидимка, двойник, пересмешник». № 60.

О двух других — разъяснений дать не могу.

лось, что ее ничто не радует вокруг: ни деревья, ни цветы, ни птицы, а мы — мы только мешаем... Да, в «Пиво-Водах» она показала нам свой новый портреет, сделанный за границей по памяти Анненковым; ей он не нравится, мне тоже. Я люблю тот, 1921 года. [237])

После ужина Дед показывал Анне Андреевне новообретенные им фотографии Бориса Леонидовича; затем «Чукоккалу»: портрет Глебовой-Судейкиной и записи Блока. [238]) Анна Андреевна смотрела и слушала с видимым интересом, задавала вопросы, но когда Дед и Наташа ушли ненадолго пройтись, сказала мне:

— Я так рада побыть с вами наедине.

Я спросила, чем она угнетена.

Оказалось: по случаю ремонта до́ма на ул. Красной Конницы, — ее, вместе с Пуниными, после долгих хамств, временно перевели в писательский дом. Но эту временную квартиру из-за какой-то неисправности залило водой.

— Все мои книги, вещи, платья, — все утоплено, — сказала Анна Андреевна. — У меня теперь ничего нет. Мне это все равно, это очень идет моей судьбе. Я не огорчаюсь. (372)

Жила она с Аней в Комарове, но в городе заболела Ира, и Аня уехала к ней. Жить одна в Комарове Анна Андреевна не в силах, и Лёва привез ее в Москву к Ардовым. У Ардовых же сейчас жить нельзя, ибо домашняя работница в отпуске и хаос полный. Завтра Анна Андреевна переезжает к Шенгели.

Она больна и измучена. Бездомная старость. А ведь ничего так не нужно в старости, как дом.

Но я предупреждаю вас,
Что я живу в последний раз, —

нет, нет, никакие предупреждения не помогут. Бездомность еще один способ судьбы сживать ее со свету.

— Лёва не понимает, как я больна, — говорит Анна Андреевна.

---

(372) Впоследствии выяснилось, что размер бедствия, причиненного лопнувшей трубой, оказался не так уж велик. Кроме того, в писательском доме в Ленинграде — ул. Ленина д. № 34, кв. 23 — Анне Андреевне предоставили квартиру не временно, а навсегда.

В Ленинграде одно время она жила у Адмони. (373)

И Дед, и я стали просить ее пожить у нас на даче. Ведь своей зимней комнатой на даче я летом все равно не пользуюсь. До холодов живу у себя в Пиво-Водах. Комната в доме пустует. Отличная комната: два окна в сад, нижний этаж. Домашняя работница, сторожиха, шофер. (Не говорю уж о Кларе Израилевне).[239]) Дом вполне благоустроен. Анна Андреевна сердечно поблагодарила и отказалась, сославшись на какие-то неотступные дела в Москве. Я не могу угадать, что кроется за ее упорными отказами от Дедова гостеприимства. Думаю: то, что я на даче не всегда, часто уезжаю в город, а чужих шоферов и домработниц она боится. Затем очень уж разный образ жизни у Деда и у нее: Дед человек ранний, она поздний. И гости у нее поздние. Быть может, я и ошибаюсь, но не могу ничего придумать. С Дедом у нее отношения не то чтобы задушевно-дружеские, но во всяком случае приятельские и стародавние. И она знает, как он любит ее стихи.

Да, когда мы с ней еще сидели одни, она прочитала мне новую строфу в «Поэме» и новое страшное — о кровавой кукле палача. (374) Она показала мне записочку, полученную ею из Парижа — от «Современницы», от «Тени»: от Саломеи Андрониковой.

При всех мы заговорили о Самойлове. Я спросила у нее, читала ли она чудесные его стихи в «Новом мире».[240])

— Самойлов вчера был у меня, возил в своей машине в

---

(373) А. А. поселилась у нас, — пишет мне Владимир Григорьевич, — когда получила квартиру на улице Ленина. Мы с Тамарой Исааковной были у нее в Будке и помогали ей подготовиться к переезду в Ленинград, в новое жилье. А. А. ждала машину. И машина приехала, но из нее вышел незнакомый человек и передал от Ирины Николаевны, что комнату Анны Андреевны затопило и ей некуда ехать. Тогда мы взяли Анну Андреевну к себе, на улицу Плеханова 8/10, кв. 49. (В этой квартире прежде жил Тынянов, а когда-то это была половина квартиры Глазунова). Здесь А. А. прожила у нас недели две». Из письма ко мне от 1 октября 1977 г.

(373) «А. А. поселилась у нас, — пишет мне Владимир Григорьевич, — не помню и с полной точностью установить пока не могу. Полагаю, что это строфа из IV главы 1 части, начинающаяся строкой: «Кто-то с ней без лица и названья». Место ее между строфами «Он за полночь под окнами бродит» и «На площадке пахнет духами».

«Новое страшное» — это стихотворение «Так не зря мы вместе бедовали», № 93; см. также «Памяти А. А.», стр. 28.

сберкассу. И стихи у него хороши, и сам он хорош. Сказал, что в своей машине готов возить меня в двух направлениях: «куда глаза глядят» и «на край света».

Часов в 9 наши гости уехали. Я нарезала им жасмин. Анна Андреевна просила меня, когда я вернусь в город, позвонить ей к Шенгели.

23 июня 61

Нет, она не у Шенгели, — у Ардовых. Была у нее вчера вечером. В столовой молодежь и Нина Антоновна играет в карты. Анна Андреевна у себя с Эммой. Подарила мне свою книжку — тоже белую, а не зеленую (зеленую прозвала «лягушкой»). Надпись сделала небрежно и каким-то будто не своим почерком. (375) Сначала была тяжелая, раздражительная, недобрая, потом лучше, живее. В Ленинграде она много болела и много писала. Наконец-то не переводила, а писала, хотя денег не ахти. Новая глава в книгу о Пушкине: «Александрина». (376) Прочитала мне стихи, прежние и новые. Вот они: «Мелхола», «Софокл», строфа в «Поэму», страшное о войне. (377) Я спросила: а как поживают воспоминания? В ответ она вынула из чемоданчика и прочла кусок о Слепневе — восхитительный. Затем запись о «Поэме». (378)

Эммочка ушла. Анна Андреевна показала мне два шарфа, подарок от Саломеи Андрониковой, оба — ослепительной красы. Даже и представить себе невозможно, что где-то про-

---

(375) «Милой Лидии Корнеевне Чуковской за ее необычное и глубокое отношение к этим стихам. Дружески — Анна Ахматова. 22 июня 1961».

(376) См. ОП, стр. 134 и 172.

(377) «Мелхола» — № 92. «Софокл» — «Смерть Софокла» — БВ, Седьмая книга; № 94. Строфа в «Поэму» и страшное о войне — ?

(378) Думаю, что «кусок о Слепневе» — это тот отрывок из автобиографической прозы Ахматовой, который опубликован в сб. «Книги. Архивы. Автографы...», на стр. 70; «Один раз я была в Слепневе зимой. Это было великолепно. Всё как-то сдвинулось в XIX век, чуть не в Пушкинское время. Сани, валенки, медвежьи полости, огромные полушубки, звенящая тишина, сугробы, алмазные снега... А в Петербурге был уже убитый Распутин и ждали Революцию...»

«Запись о "Поэме"» — это отрывок из неопубликованной «Прозы о поэме». Какой именно — не помню. Примеч. 1977 г.

стые смертные носят такие вещи. Один пестроватый, другой лиловый.

— Я уже подарила оба, — сказала Анна Андреевна. — Мне не надо.

— Ну почему же, Анна Андреевна! Вам лиловое особенно к лицу.

— Нет. Не надо. Вы помните? Испанской королеве прислали однажды из Голландии в подарок сундук с дивными чулками. Ее министр не принял их: «У королевы испанской нет ног».

26 июня 61

Вчера она звонила и с большой настойчивостью просила благодарить Корнея Ивановича (на дачу не дозвонилась) за поздравительную телеграмму. «Я буду ее показывать всем молодым людям — да, да, так и передайте! пусть учатся, как надлежит поздравлять дам! покажу всем по очереди: Мише, Боре, Алеше». (379)

Я спросила, как подвигается работа над «Александриной». Она произнесла эпиграф. Что-то вроде:

«Клевета очень похожа на правду. Не похожа на правду одна лишь правда». (380)

Затем Анна Андреевна прочла мне новое стихотворение, предупредив, что оконченными полагает две первые и две последние строчки. «Остальное — сумбур».

Начинается:

Из-под каких развалин говорю!
Из-под какого я кричу обвала!

---

(379) Ни текст этой телеграммы, ни ее судьба мне неизвестны. Одну поздравительную телеграмму Корнея Ивановича Анне Андреевне помню — это строки из стихотворения Ахматовой: «В ней что-то чудотворное горит / И вся она немыслимо лучится». Быть может, этой телеграммой и была так довольна А. А.?

(380) «Александрина» впервые была опубликована Э. Г. Герштейн в 1973 году («Звезда», № 2). Черновые варианты статьи показывают, что А. А. намеревалась предпослать ей эпиграф:

«*Из подслушанных разговоров. Первый.* — Как клевета похожа на правду. — *Второй.* — Да, на правду не похожа только сама правда. — Подслушала Ахматова».

Затем, в «сумбуре», нечто волшебное о зиме, потом заключение:

И все-таки узнают голос мой.
И все-таки ему опять поверят.

Я запомнила еще одну строчку.

Как в негашеной извести горю...

Запомнила бы и всё, но Анна Андреевна, читая, мешала мне комментариями: «нельзя же рифмовать "обвала — подвала"!» и не уверена в зиме, и не уверена: «узнают голос мой» или «услышат». (381)

О Господи! Если услышат, то узнают, а если узнают, то поверят. Один единственный голос в мире способен жаловаться, даже молить о пощаде — властно.

Мы заговорили о Гроссмане. Слухи ходят об изъятии его романа. Не знаем, правда ли, правда ли, или вранье? Если правда, то ведь настоящее злодеяние, книго-человеко-убийство. [241])

1 июля 61

Кажется, Анне Андреевне чуть получше. Провела с ней вечер. Сидит, опираясь на руки, у себя на постели, в своем уютном, но душном шкафу. Беседовала она со мной спокойно и благостно. И — внезапный — взрыв.

Она спросила у меня, читала ли я ее стихи в «Звезде», и думаю ли, как, например, Вильмонт, что печатать их вообще не стоило. (382) Я с удивлением ответила: «Почему же не

---

(381) К сожалению. А. А. так и не окончила работы над этим стихотворением. Во всяком случае мне окончательный текст неизвестен. Впоследствии черновой набросок оказался напечатанным в трех разных видах; см. «Юность», 1968, № 3; «Подъем», Воронеж, 1968, № 3; ББП, стр. 300. Ни один из этих вариантов я не считаю окончательным. Примеч. 1977 г.

(382) В 1961 году, в № 5 журнала «Звезда» были опубликованы такие стихотворения: «Молюсь оконному лучу» (БВ, Вечер); «И когда друг друга проклинали» (БВ, Вечер); «Смерть Софокла» (БВ, Седьмая книга; № 94).

стоило? «Молюсь оконному лучу» — прекрасное стихотворение; «И когда друг друга проклинали» — тоже, хотя мне и не по душе строчка: «В страсти, раскаленной до бела»... «Софокл», ну, «Софокл» холодноватые стихи, сказала я, но это не резон, чтобы их не печатать».

— Холодноватые?! — с яростью произнесла Анна Андреевна. — Рас-ка-лен-ные! — произнесла она по складам, — и каждый слог был раскален добела́.

— Просто у вас нет уха к античности. Для вас это пустое место. И Дионисово действо и легенда о смерти Софокла — звук пустой. А это должно быть внутри, вот здесь, — она показала на грудь, — этим надо жить... И стихи мои о смерти Софокла так существенны для понимания отношений между искусством и властью. Д о л ж н ы х отношений. Это урок.

Я промолчала. Не упомянула уж о неудачной строке: «Сам Дионис ему снять повелел осаду», где слова слипаются, — «снять повелел», — чего вообще у Ахматовой не бывает. (Ведь ударение логическое на «снять», а ритмическое на «повелел»...) Насчет темы — поэт и власть, и преподанного здесь власти урока — это я, конечно, уловила. Что же касается античности — похвастаться нечем: и в самом деле — я ею не живу и не живу, я ведь человек «грязно необразованный», как говорит о себе кто-то из героев Достоевского, но ведь вот и Библию я знаю худо, и более чем худо знаю — она для меня мертва — а вот «Библейские стихи» Анны Ахматовой: «Лотова жена», «И встретил Иаков в долине Рахиль» — они для меня Библию воскрешают. (383) А «Смерть Софокла» не воскрешает для меня античность... Одна ли я в этом повинна? А быть может, немного и Ахматова? Чудотворства какого-то тут не свершилось, аллегория осталась аллегорией.

Далее разговор пошел мирно. (После вспышки гнева — внезапной ! — Анна Андреевна умеет столь же внезапно переводить себя на спокойный тон. Точно выключатель какой-то в себе повертывает.) О Надежде Яковлевне она заговорила вполне спокойно, хотя и осудительно.

— Надя ни за что не желает признать Ольгу хищницей.

(383) Библейские стихи — Б.В, Anno Domini.

Не пойму, что это с нею случилось? Влияние Т.? Иначе ничем я не могу объяснить. Они нашли какой-то способ проникнуть ей в душу. Обывательскую постройку я понимаю отлично: «Поэт! Муза Поэта! Она невинно заточена в тюрьму, она принимает гоненья за свою любовь». Очень складно выходит. А что всё это вздор, всё ложь, что она хищница — до этого никому дела нет.

Я спросила, читала ли она в «Литературной газете» статью Сарнова о Евтушенко и Вознесенском. [242]) Она статьи не читала, а о Евтушенко и Вознесенском отозвалась неблагосклонно и как о личностях и как о поэтах.

Я спорить не собиралась: ни Вознесенского, ни Евтушенко вообще никогда и в глаза не видывала. Стихи Вознесенского не воспринимаю, а в Евтушенко будто «теплится что-то». Писать стихи он не умеет, но что-то живое есть... Впрочем, я не вчитывалась.

— Начальство их недолюбливает, — сказала я.

— Вздор! Их посылают на Кубу! И каждый день делают им рекламу в газетах. Так ли у нас поступают с поэтами, когда начальство не жалует их в самом деле!

Кажется 14 июля 61 г. Не уверена.

Была у Анны Андреевны. Ее комнатушка средоточие жары. У Мандельштама сказано: «Чудесного холода полный сундук» — а это полный сундук духоты.

Анна Андреевна сразу вынула из сумочки и протянула мне письмо.

— Играют так, — объяснила она. — Сначала прочитывают текст, не глядя на подпись. Потом я называю имя и гляжу на выражение лица читающего... Начнем!

Две страницы исписаны восторгами. «Вы — сама Поэзия... Вы — скрипка Страдивариуса... Вы — звонница...» — и подобные пошлости на протяжении двух страниц. На третьей странице выясняется, что поэзия Анны Ахматовой воспитывает молодежь в истинно коммунистическом духе.

Кто же автор? Не могу догадаться.

— Зелинский, — провозгласила Анна Андреевна.

Смешно и мерзко. В свое время травивший Ахматову, в свое время Пастернака... Зелинский, который писал доносы

на Кому Иванова. Я видела его вблизи только в Ташкенте, в комнате у Анны Андреевны, когда он приходил туда составителем ее книги, редактором — а говоря точнее, цензором — выкидывал стихи и приносил ей свою галиматью (предисловие). И тогда заметила, что у него грязные глаза — глаза грязного человека.

Я стала расспрашивать Анну Андреевну о ее ленинградском житье-бытье. Она сразу помрачнела.

— Аничка выходит замуж... Свадьба 18-го, в Будке, в Комарове. Родители очень вникают, а я не вникаю совсем... Через два года он ее, разумеется, бросит с двойней на руках... Конечно... Или она его. Иначе и не бывает...

18 июля 61

Больна, больна Анна Андреевна, плохо у нее с сердцем. А мы как-то забываем про это.

Сегодня, с трудом вырвав время (у меня корректура), я провожала ее к Маршаку, на Чкаловскую. Самуил Яковлевич послал за ней машину. Одна — то есть с шофером — ехать она боится. Боится сердечного приступа, боится улицы, боится шофера. (Назад будет сопровождать ее Розалия Ивановна).[243]) Встретила меня Анна Андреевна нарядно причесанная, в белом костюме, прижимая к груди черную книжку. Едет дарить.

С лестницы она спустилась трудно, ставя на каждую ступеньку по очереди обе ноги, как ребенок. Во дворе у Ардовых, пока мы шли до машины, и во дворе у Самуила Яковлевича, шагов 10 до крыльца, — тяжело опиралась на меня.

— Главное — не торопиться... Вы и лифт умеете?

Мы поднялись на лифте и вышли у дверей квартиры 113, такой знакомой мне. Я позвонила и сразу убежала вниз: корректура.

24 июля 61

Анна Андреевна мне звонила — за два дня позвонила заранее — чтобы я пришла к ней сегодня в 12 часов. Вечером она уезжает в Ленинград в сопровождении Жени Берковской (Женя отвезет ее в Комарово и будет там жить с нею вместе

и за ней ухаживать). Так называемая «семья» отбывает в Ярославль.

Протянула мне номер журнала «Америка». Весь глянцевитый, брюки отутюжены, сверкают зубы и декольте. А тут еще на развороте какое-то бракосочетание: цветы, фата, бокалы, улыбки. Из подписи явствует, что сочетаются браком два американские гида — гид и гидесса — познакомившиеся на американской выставке в Москве. Один из них — тот, который жених — пишет диссертацию об Анне Ахматовой.

Ее имя среди всего этого сверканья и глянца совсем неуместно.[244])

Анна Андреевна прочла мне прозаический отрывок о «Поэме» (Однажды она мне уже читала его: заземление, бумеранг и пр.) (384)

Сделала надпись на книжке и поручила мне передать книжку Юлиану Григорьевичу.

На прощанье сказала:

— Может быть, я уже никогда не приеду в Москву. Здесь больше жить нельзя: Боря женится, комната нужна. Меня зовут Виленкины — но — но — не знаю.

---

(384) Теперь узнаю этот отрывок в печати: это отрывок из «Прозы о "Поэме"». «Провал попытки заземления. <...> Ее уходы в балет. Бумеранг». Слово «бумеранг» Ахматова объясняет далее, в записи 17 мая 1961 г.: «... когда я читаю ее кому-нибудь, до кого она не доходит <...> она, как бумеранг (прошу извинить избитое сравнение), возвращается ко мне, но в каком виде (!?), и ранит меня самое». — См. сб. «Встречи с прошлым», ЦГАЛИ, вып. 3, 1978, стр. 394 и 396.

1962

1 января 62, Ленинград

Блуждая по пустырю, среди больничных корпусов, или, точнее, флигелей, я, на морозном ветру, бесконечно и безуспешно ищу «4-ую терапию». Это — больница в Гавани, здесь, после нового инфаркта, лежит Анна Андреевна. Я двигаюсь как-то боком, защищая от вьюги лицо, отворачиваясь и сбиваясь с пути. Да и пути-то нет, даже тропки нет в снегу. Пустырь, корпуса́, вьюга. Никого-никогошеньки: все отсыпаются, наверное, после «встречи». Я тыкаюсь в дощечки с названиями — всё не то: «Хирургия», «Урология», а на пустыре — пусто. Зашла было в «Хирургию», спросила у вешальщицы, где 4-ая терапия? и была облаяна: «Слепая ты, что ли? Иль неграмотная? Не видишь: хи-рур-гия». В «Урологию» спрашивать я и не сунулась. Метет, снежная пустыня. Несколько раз я подхожу к дверям какого-то строения, на котором ничего не написано; за облупленными двустворчатыми дверьми чудится склад: груда гнилой капусты или железного лома. Медицина за такими дверьми явно обитать не может. Я отхожу: снова вьюга, мороз, пустырь, снова дощечки «Хирургия» и «Урология» — и, наконец, в отчаяньи, я толкаю облупленную немую дверь. Там сырая тьма; но в темноте снизу светлая полоска; иду вперед — другие двери, а за ними — свет и тепло, и можно размотать мокрый платок, стряхнуть шапку, пальто, боты — даже веник наготове. Приветливый инвалид взял у меня вещи, не ворча на их мокрость, выдал мне застиранный, но чистый халат, и объяснил, куда идти.

Лестница трудная, но чистая.

Второй этаж. Вот тут и надпись: «Терапевтическое отделение». И неожиданно счастливый запах: Рождество, елка. Старинный большой зал, по стенам стулья, а в углу и в самом деле елка — широколапая, высокая, до потолка.

Коридор. Первая палата по коридору направо. Тут, в коридоре, уже только запах старого белья и лекарств. Запах больницы.

Я на пороге палаты. Сердце сжимается духотою. Одно окно, четыре кровати, тесно, тихо и духота, духота. Узенький проход между кроватями. Анна Андреевна лежит на первой койке справа от двери. Когда я глянула с порога — у нее лицо на подушке было горькое, словно бы от чего-то отвернувшееся, обиженное. Я помедлила: спит? Идти или ждать? Но она сама сразу открыла глаза, увидела меня, обрадовалась и проворно села на постели. Очень обрадовалась, сказала любезно:

— Ну, раз вы пришли, теперь я верю, что и в самом деле наступил Новый Год.

И начался ее монолог. Меня она не расспрашивала, а сама говорила без умолку. Соскучилась по слушателю. У нее третий инфаркт. Сейчас ей лучше, и ее скоро выпишут. С 11 января путевка в Комарово, но она не уверена, окажется ли в силах поехать. Дома ей, слава Богу, поставили телефон, потому что врач заявил, что такую больную в квартиру без телефона выписать он не рискует. Она показалась мне оживленной, временами даже веселой. Еще бы! С тех пор, как мы не видались, сколько событий и все счастливые: XXII съезд, Сталина убрали из Мавзолея. И сколько наработано ею! Она прочитала мне новые строфы в «Поэму», почему-то называя их примечаниями:

...Окаянной пляской пьяна, —
Словно с вазы чернофигурной
Прибежала к волне лазурной
Так парадно обнажена.

В этих строках о волнах — само движение волнообразно, пляска — волнообразна, и среди окаянного волнообразия — предчувствие смерти:

И зачем эта струйка крови
Бередит лепесток ланит? (385)

Потом она прочитала четыре строки о беге времени: «Но кто нас защитит от ужаса, который»; (386) потом стихотворение «Я без него могла» (объяснила: «увидено во сне в Комарове 13 августа»); (387) потом — вынула из сумочки — запись о «Поэме»: будто постепенно раскрываются лепестки цветка. (388) Затем прочитала письма: одно из Италии, другое из Лондона. И третье — поздравительное — от Суркова.

— Накануне болезни я получила письмо от профессора-шведа, который пишет обо мне книгу. В маленьком шведском университетском городке. Сообщал, что приедет поговорить со мной. Приехал, а я в больнице. Пришел сюда. Славный человек и много знает, но самое поражающее — ослепительная белизна рубашки. Белая, как ангельское крыло. Пока у нас здесь были две кровавые войны и еще много крови, шведы только и делали, что сти-ра-ли и гла-ди-ли эту рубашку.

— Я послала отрывок из «Поэмы» и одно стихотворение («Александр у Фив») в Москву, в «Наш современник». Получила ответ от Сидоренко: «Вы сами понимаете, что странно было бы видеть эти стихи на страницах советского журнала». И далее поздравление с Новым Годом и пожелание творческих успехов...

— Сохраните, Бога ради, сохраните это письмо! — взмолилась я.

— «Поэма» вышла вторым изданием в Нью-Йорке. С длинной статьей Филиппова. Там все бы ничего, да конец меня огорчил: пишет, что я русская Жорж Занд... Она была толстая, маленькая, ходила в штанах и один любовник знамени-

---

(385) Строфы, начинающиеся: одна — строкою «Как копытца топочут сапожки» и вторая — строкою «А за ней в шинели и в каске», некоторое время существовали в «Поэме» в виде «Примечаний». Позднее они были перенесены в часть первую, в Интермедию «Через площадку» — БВ, стр. 321.

(386) «Чтó войны, чтó чума?» — см. стр. 401.

(387) «Всем обещаньям вопреки» — БВ, Седьмая книга.

(388) Среди материала, опубликованного доныне, я подобной записи не встречаю. Примеч. 1977 г.

тее другого... Прежде меня называли русской Сафо, это мне больше нравится... (389) Кое-что Филиппов, конечно, переврал. Предполагает, например, что поэт, застрелившийся в «Поэме», граф Василий Комаровский. (Он повесился в Царском). Ну, я теперь в эпиграфе из Князева поставлю «Вс.» и эта одна буква всё разъяснит.

— Скажите Корнею Ивановичу, пусть напишет о «Поэме». Он один помнит то время. Пусть присобачит к чему угодно, хоть к какой-нибудь из своих статей.

Я ответила: «Поэма»-то ведь напечатана пока всего лишь в отрывках. Как же о ней писать?

— Все равно. Пусть напишет об отрывках. (390)

(Про себя я подумала, что о «Поэме», пока она печатается в отрывках, никто и представления себе составить не может. Хуже: составляет себе ложное представление. Всё будто бы сводится к маскараду и гофманиане. Я не знаю другой вещи, которая в отрывках в такой степени не соответствовала бы самой себе. Вся ее прелесть — соотношения между слоями памяти, между тем, что «истлело в глубине зеркал», и современной трезвой реальнейшей реальностью. Отрывки губят целое, то есть соотношение между).

---

(389) Речь идет о вторичной публикации «Поэмы без героя» в альманахе «Воздушные пути» со статьей Б. Филиппова «Заметки о "Поэме"» (Редактор-издатель Р. Н. Гринберг, Нью-Йорк, 1961. В 1960 г. в первых «Воздушных путях» «Поэма» один раз уже была напечатана, но в ином варианте).

Проверить, сравнивает ли в своей статье Б. Филиппов Анну Ахматову с Жорж Занд — я, к сожалению, не имела возможности. Что касается Сафо, то с нею сравнивали Ахматову не раз: например, Леонид Гроссман в книге «Борьба за стиль» (М., 1927, стр. 238) или Л. Страховский в статье, которая так и называется « Anna Akhmatova — the Sappho of Russia » (см. « The Russian Student», VI, 1929, № 3, p. 8).

(390) К этому времени в Советском Союзе были напечатаны всего лишь отрывки из «Поэмы» (иногда даже и без указания, откуда они): в журнале «Ленинград» (1944, № 10-11); в «Ленинградском альманахе» (Лениздат, 1945); в «Литературной Москве» (альманах первый, 1956); в «Антологии русской советской поэзии», т. 1 (М., Гослитиздат, 1957); в журнале «Москва» (1959, № 7) и в двух сборниках: «Стихотворения», 1958 и «Стихотворения», 1961. Высказываться же в нашей печати о вещи, напечатанной лишь за границей, — было нельзя. Да и напечатана она была за границей в искаженном виде.

— В «Поэме» будут два типа примечаний, — сказала Анна Андреевна. — «От редактора» — всё правда, а «От автора» — всё враньё.

Вручила мне приготовленные для меня листки с новыми примечаниями и поправками для моего экземпляра «Поэмы». Она уже послала мне их с Комой Ивановым, но мы разминулись. Я глянула: вместо «вспышка газа» теперь стало «Вопль: не надо!».

— Я переменила потому, что обнаружила: нынешние читатели воображают не газовое освещение, а газовую плиту. Кухню. Сначала я сделала было «запах розы», но тогда слишком близко оказалось: «на площадке пахнет духами». А «Вопль: не надо!» — это она увидела — он вынул пистолет.

— Вы согласитесь, не правда ли, что сейчас в России необыкновенный подъем интереса к поэзии. Доскакала наша четверка: Пастернак, я, Цветаева, Мандельштам.(391) Сюда ко мне прорвался семнадцатилетний мальчик, чтоб спросить, кто из четырех — лучший. Я ему ответила: «Все трое действительно первоклассные поэты. Радуйтесь такому богатству, а не бейте друг друга поэтами по голове». Скоро у них появятся новые боги и богини: и в Ленинграде, и в Москве. В Ленинграде все хвалят рыжего Бродского.

Я спросила, читала ли она Самойлова в «Тарусских страницах».[245])

— Да... Чайная... У меня тоже есть своя чайная.

И прочла:

Тут еще до чугунки
Был знатнейший кабак.

О переулке в Царском. Кончается так:

А на розвальнях правил
Великан-кирасир.

Анна Андреевна объяснила мне: великан-кирасир — царь Александр III.

---

(391) Этим сознанием, очевидно, и было рождено стихотворение «Нас четверо», см. стр. 406.

В интонации и словаре этого стихотворения опять какая-то новая Ахматова и опять какое-то новое Царское: не пушкинское, не анненское и не гумилевское.

Я попросила прочесть еще раз.

Пили допоздна водку,
Заедали кутьей.

Да, совсем новое. (392)

Помолчали. Затем Анна Андреевна сказала:

— Я получила письмо от Юрочки Анненкова. Он просит разрешения иллюстрировать «Поэму».

— А разве он для этого годится?

— Он думает, что годится.

(У меня промелькнуло: а может быть и впрямь? Ведь иллюстрировал же Анненков «Двенадцать»? Но тогда он был здешний, тутошний, а теперь... как он взойдет вместе с нами «на башню сорокового»? или на башню шестидесятого?)

— А у Рива — неприятность, — сказала Анна Андреевна, будто угадав мои мысли о Блоке. — Он не понял: у нас нельзя писать, что «Двенадцать» — это неудача. Он написал. Все рассердились и обиделись. 246)

— Но, Анна Андреевна, ведь дело не только в официальной точке зрения, — сказала я. — Дело в том, что «Двенадцать» совсем не неудача.

— Конечно! «Возмездие» — вот это неудача. Великолепная, огромная! (393)

Она попросила подать ей со стула халат, долго нашаривала отекшими ногами туфли, выпрямилась и тяжело оперлась на мою руку. Мы пошли в зал. Снова дивный запах елки. Елка уже зажжена — горят красные и зеленые лампочки — электричество вместо любимых мною свечей моего

---

(392) «Царскосельская ода» — БВ, Седьмая книга; № 95.

(393) Об отношении Анны Андреевны к этим двум поэмам Александра Блока подробно см.: Д. Максимов. «Ахматова о Блоке» — «Звезда», 1967, № 12; В. М. Жирмунский. «Анна Ахматова и Александр Блок» — журнал «Русская Литература», 1970, № 3; Т. В. Цивьян. «Заметки к дешифровке "Поэмы без героя"» — Тартуский Государственный Университет. Труды по знаковым системам, V. 1971, вып. 284; В. М. Жирмунский. «Творчество Анны Ахматовой». Л., «Наука», 1973.

и Люшиного детства. Но всё равно, пахнет детством, потому что пахнет елкой. У стен кое-где сидят и тихо переговариваются сестры, кое-где в серых халатах больные.

Мы сели на отдельный диванчик, и я вынула из сумки пастилу, мандарины и заранее наколотые орехи. Анна Андреевна рассказала, что, кроме Адмони и Сильман, ее выхаживала тут одна замечательная женщина:

— Она математик; Софья Ковалевская перед ней нуль — Ладыженская. Она мне приносила еду, кормила меня с ложечки, даже сама мыла посуду. Она здесь близко живет. [247])

Я поздравила Анну Андреевну с Лёвиной диссертацией, передала ей — со слов Оксмана, — что Конрад считает его великим ученым.

— Этот великий ученый не был у меня в больнице за три месяца ни разу, — сказала Анна Андреевна, потемнев. — Бог с ним, с Лёвой. Он больной человек. Ему там повредили душу. Ему там внушали; твоя мать такая знаменитая, ей стоит слово сказать, и ты будешь дома.

Я онемела.

— А мою болезнь он не признает. «Ты всегда была больна, и в молодости. Всё одна симуляция».

Чуть успокоившись, она сообщила:

— В честь Нового Года я начала в уме составлять новую книжку. Она будет называться: «Цветы последние». Два отдела. К первому будет эпиграфом «Бег времени»:

Чтó войны, чтó чума? — конец им виден скорый.
Им приговор почти произнесен.
Но кто нас защитит от ужаса, который
Был бегом времени когда-то наречен. (394)

Она устала говорить. Я собрала кулечек со сластями, проводила ее в палату и помогла снять халат. Она скинула туфли и легла. Я прибрала в тумбочке и простилась. Спускаясь по лестнице, привычно подумала: «как же это я ее оставляю?»

---

(394) См. сб. «Памяти А. А.», стр. 18, а также ББП, стр. 225. (В одной части тиража ББП это стихотворение напечатано с ошибкой: «их» вместо «им».)

Метель утихла. Тихая полутемнота вокруг тихих корпусов. И всюду тропки сквозь светящиеся розовым сугробы. Идя к трамваю, я вспомнила: о «Софье!»-то я Анне Андреевне и не рассказала! (395)

4 января 62, Москва

Вернувшись, я отправилась с докладом к Нине Антоновне, и она рассказала мне горькие вещи. Я, конечно, давно уже чувствовала, что между Лёвой и Анной Андреевной неладно — однако чувствовать или услыхать, — большая разница... Лёва и в самом деле верит, будто он пробыл в лагере так долго из-за равнодушия и бездействия Анны Андреевны.

Я — многолетняя свидетельница ее упорных, неотступных хлопот, ее борьбы за него. Больше, чем хлопот, то есть писем, заявлений, ходатайств через посредство влиятельных лиц. Всю свою жизнь она подчинила Лёвиной каторге; всё; даже на такое унижение пошла, как стихи в честь Сталина, как ответ английским студентам. И от драгоценнейшей для себя встречи отказалась, боясь повредить ему. И сотни строк перевела, чтобы заработать на посылки ему, сотни строк переводов, истребляющих собственные стихи.

А Лёва, воротившись, ее же и винит!.. Но, подумала я, искалечен он не только лагерем: и юностью, и детством. Между родителями — разлад. Отец расстрелян. Нищета. Отчим. Он — обожаемый внук, единственный и любимый сын, но оба родителя вечно были заняты более своею междуусобицей, чем им; мать — «...измученная славой, / Любовью, жизнью, клеветой», — не это ли давнее, болезненное детское чувство своей непервостепенности он теперь вымещает на ней?

Анна Андреевна сама сказала в своих давних стихах: (396)

Знаю, милый, можешь мало
Обо мне припоминать:
Не бранила, не ласкала,
Не водила причащать.

Вот теперь эти н е . . .

---

(395) 6 ноября 61 года, обнадеженная XXII Съездом, я отдала «Софью Петровну» (повесть о тридцать седьмом, написанную зимою 39-40) в редакцию журнала «Новый мир».

(396) «Буду тихо на погосте» — БВ, Белая стая.

1 марта 62

Только сейчас прочитала в «Звезде», № 2, ахматовское «Слово о Пушкине».

Новорожденная проза Ахматовой. Начинается как статья, благонравно-литературоведчески, но это уже не литературоведение, это проза. Тут уже властвует хозяин всякой прозы (как и хозяин стиха) — ритм. И, как в поэзии Анны Ахматовой, царствует величественный лаконизм. И, как во многих стихотворениях, как и в первой части «Поэмы», главная мысль: неизбежность победы искусства над его гонителями. И, как во многих ее пушкиноведческих работах, своя судьба подспудно примеряется к судьбам поэтов — отверженцев общества.

Разве это — не пророчество о своем, ахматовском, будущем:

За меня не будете в ответе,
Можете пока спокойно спать.
Сила — право. Только ваши дети
За меня вас будут проклинать.

Будут, будут наши дети и внуки за нее проклинать Жданова и ждановских придворных — непременно проклянут гонителей Ахматовой с такой же силой, с какой она в своем «Слове о Пушкине» прокляла врагов первого поэта России, а заодно и друзей его, провалившихся на экзаменах дружбы и более сочувствовавших Дантесу, чем Пушкину... Будут.

Начало: банальная, литературоведческая фраза о Щеголеве, объяснившем в своем труде, «почему высший свет, его п р е д с т а в и т е л и, ненавидели поэта и извергли его, как инородное тело, из своей среды». И вдруг: «Теперь настало время вывернуть эту проблему наизнанку и громко сказать не о том, что о н и сделали с ним, а о том, что о н сделал с ними». (397)

---

(397) «Слово о Пушкине», см. ОП, стр. 5.

«...банальная литературоведческая фраза» — ссылка Ахматовой на книгу П. Е. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина» (М.-Л., ГИЗ, 3-е изд., 1928).

И после этого — стремительный, неудержимый бурный поток — натиск — периодов, речь «негодующей Федры», перемежающаяся краткими сжатыми формулами:

«Он победил и время и пространство».

На взлете самого мощного периода прозы — проза перебивается четырьмя строками стихов:

За меня не будете в ответе...

Близится развязка — концовка. Снова величавая проза:

«И напрасно люди думают, что десятки рукотворных памятников могут заменить тот один нерукотворный aere perennius».

Эта проза уже запоминается наизусть как стихи.

13 мая 62

Люшенька в Ялту писала мне, что Анна Андреевна приехала в Москву, позвонила и огорчилась: она не любит, когда я не на месте. Вернувшись из Крыма, я, конечно, мечтала повидаться с ней, но прежде всего кинулась в Переделкино, побыть с Дедом. 12-го приехала в город и только-только успела разгрести накопившиеся дела, всё время держа в уме: «сейчас позвоню ей», как она позвонила первая. «Вы, оказывается, не на даче?» Вышло неловко.

В Москве Анна Андреевна жила сначала у Марии Сергеевны, потом у вдовы Шенгели и только потом, когда освободилось место у Ардовых, перебралась туда. Очередное кочевье после очередного инфаркта.

Я пошла к Ардовым. Анна Андреевна, Виктор Ефимович и Ника Глен сидели в столовой. Между Анной Андреевной и Никой заканчивался разговор о каких-то материалах для Пушкинской книги. Ника скоро ушла. Потом пришла Любочка Стенич, сооружающая новое платье, — Анна Андреевна совершенно раздета. Она была ровна и приветлива, но я-то ее знаю, и я всё время чувствовала, что в ней живет раздражение. Когда Любовь Давыдовна ушла, она увела меня к себе. Выглядит она плохо, погрузневшая, белая. Раздражена про-

тив Виктора Ефимовича: он, без ее ведома, дал переписать новый вариант «Поэмы» какой-то незнакомой машинистке... Я не успела попросить, она сама сразу начала читать стихи. Как она сотворяет эти чудеса сквозь болезни и неустройства, непостижимо. Впрочем, памятно мне, с к в о з ь ч т о она сотворяла «Реквием». Точнее (хоть и кощунственнее) будет сказать, б л а г о д а р я чему она его сотворяла... Прочла «Царскосельскую оду» (так теперь называется «А тому переулку / Наступает конец» — стихи, читанные мне еще в больнице), (398) «Песенки» (они меня почему-то не тронули, кроме двух строчек:

Отняты мы друг у друга...
Разве можно так?) (399)

и невероятную, немыслимую, сверхгениальную «Родную землю».

И мы мелем, и месим, и крошим
Тот ни в чем не замешанный прах...

Какая смелость, какая настойчивость — мелем, месим — какая сила!

Да, для нас это грязь на калошах,
Да, для нас это хруст на зубах.

Такой силищей не обладала и молодая Ахматова. (400) Я люблю ее молодые стихи, они всегда со мною и при мне — вернее: во мне, они стали мною («постепенно становится мной», Самойлов), но ни «Поэмы», ни «Северных элегий», ни «Родной земли» молодой Ахматовой не написать бы. Хвори, бедствия и даже немота пошли ее Музе на пользу.

И как затянулся ее диалог с эмигрантами!

Не затянулся, а вспыхнул снова, потому, вероятно, что до нас стали с недавнего времени долетать голоса западных людей — среди них эмигрантские.

---

(398) «Царскосельская ода» — № 95.

(399) «Песенки» — БВ, Седьмая книга; «Отняты мы друг у друга» — строка из песенки «Лишняя».

(400) «Родная земля» — БВ, Седьмая книга; № 96.

Еще прочитала мне «Комаровские кроки» с четверостишием, которое в газету она не давала из-за слов «воздушные пути». (401)

---

(401) В окончательной редакции это стихотворение называется «Нас четверо», и к нему существуют три эпиграфа: из Мандельштама, из Пастернака, из Цветаевой. (См., например, автограф, опубликованный в сб.: «Ахматова. Ардис», стр. 72).

Вот оно целиком:

Нас четверо

Ужели и гитане гибкой
Все муки Данта суждены?
О. М.

Таким я вижу облик Ваш и взгляд.
Б. П.

О, Муза Плача...
М. Ц.

...И отступилась я здесь от всего,
От земного всякого блага.
Духом, хранителем «места сего»
Стала лесная коряга.

Все мы немного у жизни в гостях,
Жить — это только привычка.
Чудится мне на воздушных путях
Двух голосов перекличка.

Двух? А еще у восточной стены,
В зарослях крепкой малины,
Темная, свежая ветвь бузины...
Это — письмо от Марины.

Интересна история публикации приведенного стихотворения. Второе четверостишие в «Литературную газету» А. А. дать не решилась, потому что в стихах поминаются воздушные пути — словосочетание, избранное Пастернаком для заглавия одного из его рассказов. А так как заглавие «Воздушные пути» сделалось заглавием русского альманаха, издающегося в Америке, — это сочетание слов в советской прессе представлялось рискованным.

Стихотворение Ахматовой было напечатано в «Литературной газете» 16 января 1962 года как «Комаровские кроки» и при этом без второго четверостишия и без единого эпиграфа.

В БВ оно напечатано всего с одним эпиграфом под названием «Комаровские наброски», но зато полностью (Седьмая книга). В ББП, в основном тексте оно опубликовано тоже без двух эпиграфов и под ложным названием (см. стр. 264): правильное же заглавие и все эпиграфы помещены там в отделе «Примечания» на стр. 493.

Предполагаю: «ветвь бузины» в качестве «письма от Марины» у Ахматовой недаром — см. «Бузина» в сб.: М. Цветаева. Избранные произведения. Библиотека поэта. Большая Серия. М.-Л., «Советский писатель», 1965, стр. 313.

Показала мне второй том этих самых «Воздушных путей», где напечатан один из вариантов «Поэмы» с предисловием Филиппова. «Он копает глубоко, — сказала Анна Андреевна, — но не там, где зарыто».

Прочитала мне вслух два письма от одного профессора-американца, который работает над книгой о ней. Задает 16 вопросов и жаждет получить автограф: пусть она своею рукой напишет: «Настоящую нежность не спутаешь». (402) Письма на дурном русском языке. Отвечать на вопросы она не станет; автограф же пошлет. Письма восторженные: после Блока она — величайший русский поэт и пр. [248])

Быт ее беспросветен. Ира все время болеет и вообще в нетях. Анна Андреевна возлагает надежды на Сильву Гитович, жену поэта, свою соседку по Комарову: дача Гитовича рядом, на том же участке. [249])

— Что-то со мною произошло, но не знаю, чтó и где. Все журналы, сколько их существует в Москве и в Ленинграде, просят стихи. Все до единого. И «День Поэзии». А мне давать нечего. Звонил Прокофьев, предлагал птичье молоко; я, конечно, отвергла. А потом явился от его же имени некто в сером и предупредил, что меня будут искать какие-то американцы, так вот, чтобы я отказалась с ними встретиться, сославшись на болезнь... Я — между двумя буферами...

Она сблизила два кулака и потерла один о другой. (403)

Провожая меня, уже в коридоре, сказала:

— Из окончательного варианта «Поэмы» исчезло «Письмо к NN». С тех пор, как появились прозаические ремарки, оно перестало быть нужным... Вы не огорчены?

Я напомнила ей, что с самого начала была против «Письма к NN».

— Попросите Корнея Ивановича написать предисловие к первой части «Поэмы». Я ее попробую напечатать в журнале.

Я сказала, что сейчас Корней Иванович, накануне поездки в Англию, готовится к тамошним своим выступлениям и

---

(402) БВ, Четки.

(403) Александр Андреевич Прокофьев (1900-1971), поэт; в годы 1945-48, а также в 1955-65 Прокофьев был властью: ответственным секретарем Ленинградского отделения Союза Писателей.

ни о чем другом думать не в силах. Когда же вернется — наверное будет счастлив писать об Ахматовой. [250])

20 мая 62

Анна Андреевна вся с головой в деле Герштейн. Надо как-то (но как?) унять хулиганов в квартире и хулиганов в «Октябре». (404)

Анна Андреевна уже вчера требовала, чтобы я срочно явилась, но вчера вечером я не могла, а пришла сегодня утром, пригласив с собою Раису Давыдовну. Она не только хорошая женщина, но, в отличие от меня, толковая и может дать дельный совет. К тому же, она нынче — ответственный секретарь Бюро секции критиков. [251])

Анна Андреевна не спала ночь напролет и поднялась сегодня в 7 часов утра, хотя обычно встает в 12. Когда мы пришли, — вялая, белая пила кофе в столовой. Для нее защита статьи Герштейн — это защита собственной заветной работы о гибели Пушкина.

Решили мы так: Анна Андреевна составит текст протеста против фельетона в «Октябре», а Раиса Давыдовна подготовит текст, который на ближайшем заседании (оно скоро) могло бы принять Бюро секции критиков. Ахматовой выступить необходимо, как пушкинистке; а Бюро будет возражать против неприличного «октябрьского» хамского тона и напомнит об историко-литературных трудах Герштейн.

Анна Андреевна была усталая. Мы скоро ушли. По дороге Раиса Давыдовна говорила мне, что надеется на помощь Бюро в «октябрьском» деле, а насчет квартирного не уверена.

Когда же у Эммы будет, наконец, свой угол, защищенный если не от Назаренко (от него никто не защищен), то хотя бы от радио-телевидения и жидоморства? В общем-то они родные братья — журнал «Октябрь» и ее соседи.

---

(404) Э. Г. Герштейн жила тогда в коммунальной квартире, где попахивало антисемитизмом и с утра до вечера орало радио.

В № 5 журнала «Октябрь» за 1962 г., в отделе «С улыбкой», был помещен фельетон В. Назаренко под названием «В покоях императрицы». Фельетонист высмеивал работу Герштейн «Вокруг гибели Пушкина», напечатанную в «Новом мире» (1962, № 2).

22 мая 62

Вчера Анне Андреевне позвонили из редакции «Нового мира» с просьбой ответить «Октябрю». Ура, ура, ура! Конечно, ей теперь будет уже гораздо легче писать это письмо, раз за спиной у нее — редакция журнала. Сразу после звонка из «Нового мира» Анна Андреевна позвонила мне, и вечером я к ней отправилась. (Хотя от меня в этом случае, кроме сочувствия, толку никакого). Когда я пришла, у нее Ника. Ответ уже готов и даже перепечатан на машинке. Я посмотрела: написано слабовато, нет ахматовской силы. Я начала предлагать некоторые поправки, но Анна Андреевна не стала меня слушать, потому что вообще раздумала писать от своего имени. Почему? Виктор Ефимович и Ника опасаются, что сочетание имен: Анна Ахматова — императрица Александра Федоровна даст шавкам новый повод лаять: ведь в представлении склочников из коммунальной квартиры (они же — читатели журнала «Октябрь») имя Ахматовой как-то связано с царским режимом (см. тов. Жданов и мн. др.). Необходимо, чтобы письмо в возражение «Октябрю» было написано и подписано не только Ахматовой и не только пушкинистами, но и «влиятельными лицами». Быть может — и даже наверное! — советчики правы, но в этом случае я как-то ждала от Анны Андреевны большей безоглядности.

Письмо, конечно, слабоватое, но можно ведь его и посильнее написать.

Я сказала, что, по моему мнению, и одной ахматовской подписи было бы достаточно. «Время сейчас уже другое», — сказала я.

— Не такое уж другое, — ворчливо ответила Анна Андреевна. — Не воображайте, пожалуйста. Ника Николаевна и Виктор Ефимович совершенно правы. В сознании Назаренко я тоже произрастаю в покоях императрицы. Самарин заявлял уже, что я жила с Николаем II. Да, да, правда. И даже, что он располагает документальными доказательствами! [252]) Хотела бы я взглянуть на эти доказательства. Впрочем, я их знаю: «Мне бы только домой скорее / Камероновой галереей»...

Потом Анна Андреевна рассказала, что проделала над «Поэмой» очередной эксперимент, окончившийся очередной неудачей. Давно уже она намеревалась показать «Поэму» ко-

му-нибудь, кто ее не читал никогда. Ей приискали астрофизика: «все говорят — образованный, литературный, умный, и так оно и есть».

Дала ему экземпляр.

— Пришел, принес. Понравилось. Читал четыре раза. Я задала два простые вопроса — не ответил. А я-то надеялась, что сюжетная конструкция у этой вещи стальная.

Да, я тоже не могу догадаться, чего именно в фабуле «Поэмы» не понимает читатель. Только фабульно она в сущности и проста. Сложно в ней остальное: то, что кроме фабулы.

Анна Андреевна отослала меня в пустую столовую, вручив мне статью Мочульского: сравнительный анализ поэзии Ахматовой и Цветаевой. (А какая в сущности между ними связь? Какие основания у критика для сравнивания? Что обе они — женщины? Маловато. Сходства ведь никакого). [253])

— Да, нехорошо, — сказала Анна Андреевна. — Такие сравнения ни у кого не выходят, даже у Марины не вышло: Пастернак и Маяковский. Один в таких случаях получается обычно настоящий, а другой — набивная кукла. (У Цветаевой кукла — Маяковский)... Сам же Константин Васильевич (405) был человек умный и светлый. Он часто бывал у нас в доме — учил Колю латыни.

Еще сказала о Марине Ивановне:

— Марина родилась негативисткой, ей было плохо там и было бы плохо здесь. Плохо там, где она.

Вернувшись домой, я перечитала Цветаеву о Маяковском и Пастернаке (Фридочка для меня переписала и мне подарила эту статью года три назад). Я тогда потряслась — именно изображением Пастернака, не Маяковского — но как-то быстро забыла. А вот сейчас перечла и потряслась наново. Да, права Анна Андреевна: Маяковский не удался, зато Пастернак! Лучше еще никто не написал о нем, разве что та же Марина Ивановна в «Световом ливне». (406) Маяковский не удался, та́к, но вот что хотелось бы мне сказать Анне Андреевне: она наверное и сама не заметила, какие у нее в стихах со-

---

(405) Мочульский.

(406) «Световой ливень» — первая статья М. Цветаевой о Пастернаке — см. альманах «Эпопея», Москва-Берлин, 1922, № 3.

впадения с цветаевскими мыслями из этой статьи! Цветаева говорит о поэзии, о поэте, как о реке, и у Ахматовой то же и почти теми же словами сказано в одной из «Элегий»:

Меня, как реку,
Суровая эпоха повернула.
Мне подменили жизнь. В другое русло,
Мимо другого потекла она,
И я своих не знаю берегов.

И еще — сущая мелочь, конечно. Цветаева, говоря о Маяковском, употребляет выражение «тычет верстовым столбом перста в вещь». Не отсюда ли в «Поэме»:

Полосатой наряжен верстой? (407)

(Ахматова часто берет у других, что́ хочет, иногда сознательно, иногда позабыв откуда. Так и Пушкин, и Блок, и все поэты впрочем).

При следующей встрече спрошу у нее непременно.

27 мая 62

На днях Анна Андреевна учинила ревизию: проверила наличность в кассе.

Она давно уже собиралась уйти со мною куда-нибудь из-под потолка и проверить, все ли я помню. По ее внезапному вызову я к ней явилась, и мы отправились в ближайший сквер. Почти все скамейки в этот час рабочего дня пусты, мы сели подальше от двух теток, пасущих детей, от пенсионера,

---

(407) Цветаева говорит о поэте, как о реке: «У поэта — свои события, свое самобытие поэта. Оно в Пастернаке если не нарушено, то отклонено, заслонено, отведено. Тот же отвод рек. Видоизменение русл» («Литературная Грузия», 1967, № 9, стр. 67); и выше на стр. 59: «...нет поэтов, а есть поэт, один и тот же с начала и до конца мира, сила, окрашивающая в цвета данных времен, племен, стран, наречий, лиц — проходящая через ее, силу, несущих, как река, теми или иными берегами, теми или иными небесами...»

«Меня, как реку, / Суровая эпоха повернула» — БВ, Седьмая книга; «Полосатой наряжен верстой» — БВ, стр. 317.

читающего газету, подальше от улицы. Тепло, солнечно, сыро. Воздух еще весенний, свежий, еще не испачканный запахом пыли, жары, бензина, асфальта.

Думая об экзамене, я всегда боялась пропустить какую-нибудь строку, забыть слово. Но страшноватым — и смешноватым! — оказалось другое: читать Анне Ахматовой вслух стихотворения Анны Ахматовой. Уверена, что слушать собственные стихи в чужом чтении — противно. Я изо всех сил старалась читать н и к а к, просто перечислять слова, строчки, но, боюсь, привносила невольно что-то свое.

Анна Андреевна сидела рядом в зимнем, уже не по погоде, шерстяном грубом платке, в тяжелом пальто. Солнце сгущало темноту под запавшими глазами, подчеркивало морщины на лбу, углубляло их вокруг рта.

Она слушала, а я читала вслух стихи, которые столько раз твердила про себя. Она развязала узел платка, распахнула пальто. Вслушивалась в мой голос, всматриваясь в деревья и машины. Молчала.

Я прочла все до единого. (408) Я спросила, собирается ли она теперь записать их. «Не знаю», — ответила она, из чего я поняла, что и я пока еще не вправе записывать. «Кроме вас, их должны помнить еще семеро».

Имен она, конечно, не назвала. А я, конечно, не спросила. Насчет имен я еще в Ленинграде получала от нее ценные уроки. В первых же наших разговорах я заметила особенность ее речи: «один человек говорил мне»; «одна дама мне рассказывала» — «один», «одна» — без имени, — о чем бы мы ни говорили. Хотя бы о чем-нибудь совершенно нейтральном. Помню взрыв ее гнева: «Люди совсем не понимают, где живут! Был у меня недавно один молодой человек — не такой уж и молодой, не дитя! — рассказал анекдот: «Анна Андреевна, мне Петр Николаевич смешной анекдот рассказал». И дальше — текст. За такой текст без всякого смеха давали минимум восемь. Зачем же ты поминаешь Петра Николаича? Сам свою восьмерку и получай».

(Урок этот был мне весьма полезен, потому что и я тогда была в разговорах неряхой... Правда, объяснялось это, думаю

---

(408) Все стихи, составляющие поэму «Реквием».

я теперь, не только глупостью, но и опытом 37 года, который учил нас, что обрушившееся на человека несчастье почти ни в какой степени не зависело от его слов, поступков или помыслов. В 37-38 г. г. при обысках, в большинстве случаев, не читали — и не уносили с собою для прочтения — ни писем, ни фотографий, ни других документов. Никакого интереса к реальным связям. Приговор вынесен еще до следствия, зачем же следователю утруждать себя чтением? Для каждого из «врагов народа» заранее была уготована рубрика, по которой он подлежал лагерю или расстрелу: диверсант, шпион, террорист, вредитель, — задача следователя была в том, чтобы в б и т ь арестованного в эту рубрику, а не в том, чтобы вчитаться в его бумаги. При Митином аресте в Киеве у него не взяли записную книжку со всеми телефонами и адресами ближайших друзей, — вот и интерес к именам! — а при обыске у нас на квартире пол был сплошь устлан клочьями разорванных писем и фотографий. Искали оружие и отравляющие вещества, которых у нас, разумеется, быть не могло. Вскрывали полы и сильно боялись пылесоса, не зная, что́ это: не адская ли машина? Один из бандитов стал, впрочем, разглядывать альбомы с репродукциями итальянских картин; заметив изобилие мадонн, он сказал: «а-а, я понимаю, ваш муж был мистик». Мите уготовили участь террориста — потому занимались поисками оружия, — но склонность к терроризму не исключала, видимо, преступного пристрастия к мистицизму. Помню, как ударило меня тогда слово б ы л — Митя, живой, отдыхал тогда у своих родителей в Киеве, не подозревая, что его уже нет, что он — уже б ы л, всего лишь... 37 и 38 годы воспитывали в людях пожизненный ужас и притом некое равнодушие к собственному поведению, потому что судьба человека не очень-то зависела от его слов, мыслей, поступков. Человек круглосуточно пребывал в ужасе перед судьбой и в то же время не боялся рассказывать анекдоты и в разговорах называть чужие имена: расскажешь — посадят и не расскажешь — посадят... Написал письмо Ежову в защиту друга — и ничего, тебя не тронули; написал множество доносов, посадил множество людей, а глядишь — и тебя самого загребли... Трудность постижения действительности, никогда до того не существовавшей в истории, сбивала с толку и не учила разумно вести себя: чувство причин и

следствий было утрачено начисто. В другие годы — и до, и после 37-38 — документы, слова и поступки играли бо́льшую роль: уже в 40-м — гораздо бо́льшую; равнодушие убийц к бумагам арестованных характерно лишь для 37-38 годов. Глядя назад, на пережитые мною конец двадцатых, тридцать пятый, тридцать седьмой и восьмой, послевоенные сороковые, пятидесятые — я, «с башни шестьдесят второго», вижу, что каждый год довоенного и послевоенного времени изобильно окрашен кровью, но кровопускание каждый год совершалось по-разному. Иногда независимо от поступков или слов человека, иногда и в полной зависимости от его поведения. Однако, Анна Андреевна была права, обучая окружающих не обманываться насчет сути происходящего и, логична ли действительность или нет, — никогда не распускать языки.)

Я перечисляла строчки, почти механически, а всё, что стояло за ними, оживало во мне.

Семнадцать месяцев кричу,
Зову тебя домой.

Экзамен на «Реквием» я, пожалуй, выдержала. Новые стихи, усваиваемые мною теперь, я запоминаю гораздо медленнее, труднее, чем раньше — чем в детстве, в юности, в 30 лет, — но то́, что запомнила тогда, до сих пор помню твердо.

Несколько раз, впрочем, Анна Андреевна меня поправляла. Но я не уверена: я ли забыла или она, а, может быть она волею или неволею за это время — за такое долгое время! — переменила где слово, а где и строку? Так, в единственном стихотворении, обращенном к Пунину, а не к Лёве — в стихотворении 1935 года «Уводили тебя на рассвете», я помню: «Шел от губ твоих холод иконки», а она переменила: «На губах твоих холод иконки» (это, конечно, лучше, потому что в предыдущей строке: «За тобой как на выносе шла»); в стихотворении «Семнадцать месяцев кричу» вместо «Сестра я или мать» сделалось: «И долго ль казни ждать» (это, мне кажется, хуже); ну, в «Приговоре» уже с 40 года вместо первоначального:

Я давно предчувствовала это:
День последний и последний дом,

стало:

...этот
Светлый день и опустелый дом;

в стихотворении «К смерти» вторую строку: «Приди теперь. Мне очень трудно» — она изменила так: «Я жду тебя — мне очень трудно».

— Сколько людей были бы счастливы, — сказала я, — если бы знали, что вами это написано. Помните, как счастлива была Тамара Григорьевна?

Она опять ничего не ответила, кивнула неопределенно и поднялась. Мы пошли по Ордынке к дому. Я, как заведено издавна, проводила ее не до ворот, а и по лестнице до самых дверей. Внизу она сняла пальто, и я понесла его. Но она все равно поднималась с превеликим трудом, молча. Перед тем как позвонить, она, чуть отдышавшись, сказала:

— А помните, как вы, Лидия Корнеевна, спрашивали у меня: печатать следует каждое на отдельной странице или все по номерам подряд? Как отдельные стихи или как поэму?

Впервые за нашу встречу она улыбнулась. Я не помнила. Нам открыли. Я повесила ее пальто на вешалку и ушла.

Думает, думает она о печатании. Но — доживем ли?

29 мая 62

Анна Андреевна звонила мне, но я не могла явиться на ее зов сразу, потому что готовилась к своему выступлению в Союзе. (409) Сегодня чуть-чуть вошла в ум и вечером явилась. Она в столовой. Перед нею молодой человек; молча сидит и глядит на нее влюбленными глазами. Когда я вошла, он сразу распрощался.

---

(409) В двух номерах «Литературной газеты» (13 и 15 марта 1962 г.) была напечатана моя статья «Станет ли рукопись книгой?» о работе отдела прозы в издательстве «Советский писатель». (Ее настоящее заглавие: «Процесс прохождения»). 28 мая на заседании секции прозы Союза Писателей состоялось обсуждение этой скандальной статьи.

— У меня уже как на приеме у зубного врача, — сказала Анна Андреевна. — Кресло не пустует ни минуты. Один встал, другой сел. Садитесь.

То был поэт, страстный поклонник Мандельштама. А вчера была Наташа Горбаневская. Ее стихи очень понравились Анне Андреевне. А сейчас придут Корниловы, которых Анна Андреевна любит. (Я Галю не знаю, Володю люблю: чист, горяч, талантлив; тащит «низменную прозу» в стихи и создает «новую гармонию» из анти-гармонического материала). [254]) При мне пришла Ника, взяла «Поэму» с последними поправками и унесла перепечатывать. Я хотела было расспросить Анну Андреевну об этих поправках, а ей не терпелось выговориться о книжке Ахмадулиной. (410)

— Читали?

— Да.

— Что думаете?

Я ответила: Ахмадулина для меня началась с переводов. Когда я прочла впервые в журнале какие-то стихи, ею переведенные, я подумала: так переводить может только поэт. А сейчас, прочитав книжку, подумала: поэт, пожалуй, не состоялся. Впрочем, одно стихотворение мне понравилось.

Анна Андреевна произнесла целую прокурорскую речь:

— Полное разочарование. Полный провал. Стихи пахнут хорошим кафе — было бы гораздо лучше, если бы они пахли пивнухой. Стихи плоские, нигде ни единого взлета, ни во что не веришь, все выдумки. И мало того: стихи противные. Вот, прочитайте-ка.

Она протянула мне раскрытую книжку: стихотворение про молоко. Не то доярка, не то кормящая мать, я не разобрала. В самом деле, противновато. (411) Потом Анна Андреевна потребовала, чтобы я прочитала ей вслух то единственное стихотворение, которое мне понравилось. Я прочитала «Мазурку Шопена» и, читая под строгим взглядом моей слушательницы, чувствовала все-таки, что какой-то шарм этим сти-

---

(410) Белла Ахмадулина. Струна. М., «Советский писатель», 1962.
(411) «Вот течет молоко. Вы питаетесь им». («Молоко»).

хам присущ. Только «мензурка», конечно, не при чем, притянута за волосы для рифмы. (412)

— Ну, Лидия Корнеевна, ну что это с вами? Не узнаю вас. Мазурка порыв, буря — она либо плавно скользит, либо несется с грохотом — как же это мазурка — стоит? «С т о я л а девочка-мазурка, покачивая головой»? И вы — верите? Вздор.

Она отвернулась.

Я спросила о поправках к «Поэме». Оказывается, Анна Андреевна дала ее прочесть шести разным людям и убедилась: не понимают! Сюжета не понимают или, точнее, фабулы.

— А я акмеистка, не символистка. Я за ясность. Тайна поэзии в окрыленности и глубине, а не в том, чтобы читатель не понимал действия. Я снова переделала. Вот Ника перепечатает, вы увидите!

Мы обе в один голос стали хвалить Нику: какая она надежная, строгая, тихая, твердая. Интеллигентная. Понимает стихи.

— Прекрасная девушка, — закончила свои похвалы Анна Андреевна. — Всегда слышит себя, слышит, что́ она говорит. Вы заметили? Это немногие умеют.

Я спросила, как обстоят дела с письмом для «Нового мира». Оказалось, отлично: письмо в защиту статьи Эммы Григорьевны подписали, кроме Ахматовой, Вс. Иванов, Бонди и Маршак. Анна Андреевна предложила подписаться и мне.

---

(412)

И тоненькая, как мензурка
Внутри с водицей голубой,
Стояла девочка-мазурка,
Покачивая головой.
Ка́к эта, с бедными плечами,
По-польски личиком бела,
Разведала мои печали
И на себя их приняла?

(Сейчас — в 1976-м — я заметила, что мысль последних строчек — ахматовская. См. стихотворение: «Потускнел на небе синий лак» — БВ, Белая стая. Говоря о песенке окарины, Ахматова спрашивает:

Кто ей рассказал мои грехи,
И зачем она меня прощает?..)

Я ответила: готова и благодарю за честь, но: 1) имя мое в такой блестящей компании «не звучит»; 2) Вс. Иванов хоть и не пушкинист, не Бонди, но зато он Всеволод Иванов, а я? 3) Твардовский издавна меня терпеть не может (я-то его люблю, но это любовь без взаимности). Так что имя мое делу не на пользу.

Пришли Корниловы. Анна Андреевна опять заговорила об Ахмадулиной: ей не терпелось проверить свое впечатление на других. Володя еще не читал. Галя Корнилова рассказала, что ей звонил Межиров и тоже бранил книжку. [255]) Анна Андреевна оживилась и заинтересовалась. «А я-то думала, не нравится только мне и нашему Бореньке». (413) Потом:

— Ариша, дочка Марии Сергеевны, четыре раза ходила слушать Ахмадулину. И все четыре раза возвращалась с заплаканными глазами. Мой друг Тарковский заявил публично, что подобных стихов никогда не существовало на русском языке. Ариша с детства окружена дивными стихами матери, Тарковский прекрасный поэт. Даже таким читателям стихи Ахмадулиной по душе. Дело в том, что Ахмадулина эстрадница; все они «умеют выступать». Это не стихи, а эстрадные номера. Помните, Лидия Корнеевна, люстры падали от грохота аплодисментов в огромном зале, в Ташкенте, когда выступал Гусев? А потом возьмешь в руки — ничтожно. Бывают такие случаи: выступит человек один раз со своими стихами на эстраде, вызовет аплодисменты, и далее всю свою жизнь подбирает слова применительно к собственному голосу. Незавидная участь.

(Я помню этот вечер в Ташкенте. Ахматова читала не то «Сказку о черном кольце», не то «Я на солнечном восходе / Лебеду полю». Совершенное недоумение зала. А когда читал Гусев — грохот восторга. Кажется, это было в Консерватории). [256])

Мне захотелось, чтобы Корниловы услышали «Родную землю». Я попросила Анну Андреевну прочесть. Она прочла. Все умолкли. Это чудо силы. Это ни в чем не нуждается, как сама земля. Не нуждается в таком или другом чтении, не нуждается в читателях и слушателях, и потому читатели будут всегда. Оно сплавляет читателей и родную

---

(413) Ардову.

землю во что-то нерасторжимо единое еще до того, как они лягут в землю и станут землей. Читатели, за минуту до этого не сознававшие, кто они, — силою стихов обретают родину.

Мы еще не опомнились — Анна Андреевна заговорила первая. И очень деловито: что мы думаем о возможности напечатания?

Я опасаюсь глагола «немотствовать». «Хворáя, бедствуя, немотствуя на ней». Почему же немотствуя? — спросит редактор. Хворáя — ну, люди всюду и всегда хворают. Бедствуя — ну, это война, немцы виноваты. А немотствуя? Наш строй, как известно, обеспечивает гражданам свободу слова. Впрочем, редактор и цензор могут, на счастье, и не догадаться, что означает «немотствовать» Русского языка они ведать не ведают, им знакомы триста газетных слов, остальное в тумане.

Галя Корнилова полагает, что «Родная земля» может и проскочить. Ссылается на забавный эпизод. Когда в «Литературке» шли «Комаровские кроки», один редактор изрек:

— Ничего нельзя понять, но зато ведь это Ахматова.

Каким-то странным чутьем даже самые мертворожденные чиновники чуют, что подлинная ценность — Ахматова, а не Гусев. Помню рассказы — или росказни? — тридцатых-сороковых годов: конфискуя сотни и тысячи книг в интеллигентных квартирах у интеллигентных — расстрелянных — врагов народа, энкаведэшники Ахматову и Гумилева обыкновенно присваивали. Из любви или из корысти — дочкам и сынкам преподнести? или на черном рынке спекульнуть? но Гусева они честно сдавали государству, а Гумилева и Ахматову оставляли себе.

Мне захотелось уйти — «Родная земля» слишком ударила по нервам — или, точнее, напомнила заново, что я нахожусь не возле знакомой и привычной дамы — Анны Андреевны, а рядом с величием, непостижимым, как всякое величие.

Да, еще когда Корниловы не пришли (то есть еще до землетрясения, именуемого «Родная земля»), я рассказала Анне Андреевне, как Самойлов в клубе пылко объяснялся мне в любви к ней — стародавней и несокрушимой.

Она смеялась.

— Вот, пока женщина молода и в цвету, Эней оставляет ее, а потом вдруг оказывается, что все сплошь были Ромео. Нет уж:

Ромео не было, Эней, конечно, был...

И она подробно и снисходительно рассказала мне историю Энея.

5 июня 62

Я только что от нее.

За это время мы виделись дважды. Первая из этих встреч была плачевна. О, величье! О, «Родная земля»! Где вы? Не великодушно вело себя величье. Анна Андреевна целый день была со мною несправедлива и даже груба. Но, честное слово, жаль мне было не себя, а ее. (Быть может, и себя немножко, но лишь потому, что я подрядилась писать о ней правду, и вот теперь вынуждена это писать). Если уж ты Ахматова, то будь великой каждую минуту, во всем, везде. Детское требование, сама понимаю, но с собою уж ничего не поделаешь.

Мандельштам написал об Ахматовой:

Так — негодующая Федра —
Стояла некогда Рашель...

Мандельштам увидел ее негодующей, когда она читала стихи и «вполоборота, о печаль, на равнодушных поглядела»; мне же выпало на долю уже второй или даже третий раз в жизни видеть ее ослепительно-красиво-негодующей — без причины и, главное, без жалости. Я всегда готова состоять при ней кем угодно, хоть курьером, исполнять любые — не только секретарские обязанности, претензий не имею, но несправедливость переношу трудно.

Впервые, помнится мне, я увидела Анну Андреевну попусту капризничающей еще в ленинградский период нашего знакомства. Она — у меня, на Загородном; она уходит; я собираюсь ее провожать; я помогаю ей одеться (на ней чужая шуба — кажется, шуба ее приятельницы, Валентины Щеголевой — да, той самой, блоковской, той, которая

Валентина, звезда, мечтанье!
Как поют твои соловьи...) —

Анна Андреевна, уже в платке и в шубе, стоит в передней, а я, тоже одетая, мечусь по комнате; пропал ключ. Дверь заперта изнутри, а ключа нет. Я в десятый раз обшариваю карманы пальто, сумку, муфту, портфель, ищу на столах, на стульях, задыхаясь от спешки. Бессмысленно тычусь в ванную и на кухню. А для спешки-то моей собственно нет никакой причины; Анна Андреевна ранним вечером собралась домой — всего лишь; причина одна: Ахматова негодующей Федрой стоит в передней, почти уткнувшись в двери лбом: вся — гнев, вся — нетерпение. Спадая с плеч, окаменела чужая шуба; голова закинута; гневно дрожат вырезные ноздри. Ключа нет. Я приношу из комнаты в переднюю стул, прошу Анну Андреевну сесть, чтобы я могла сосредоточиться, вспомнить. Анна Андреевна стоит у двери, поднимая голову всё выше, презирая стул и меня. Как это я осмеливаюсь, со стулом или без стула, заставлять ее, Анну Ахматову, ждать! вот что выражает в эту секунду статуя негодующей Федры. От сознания собственной преступности я теряю соображение и память. (А ключ-то, оказалось, мирно покоился в кармане халата: утром я без пальто бегала к соседям через площадку за солью).

Второй раз я помню ее такой же статуей возмущения, когда мы вместе шли под вечер к Пешковым в Ташкенте. Тьма наступила, как всегда там, мгновенно, без промежуточных сумерек, и, разумеется, никаких фонарей. Анна Андреевна уже бывала у Пешковых, я — никогда. Но она стоит неподвижно, а я бегаю в разные стороны, тычусь в чужие ворота, из одного переулка в другой, тщетно пытаясь найти табличку. Анна Андреевна не только не помогает мне, но гневным молчанием всячески подчеркивает мою виноватость: я неквалифицированно сопровождаю Анну Ахматову в гости.

Сознание, что и в нищете, и в бедствиях, и в горе, она — поэзия, она — величие, *она*, а не власть, унижающая ее, это сознание давало ей силы переносить нищету, унижение, горе. Хамству и власти она противопоставляла гордыню и молчаливую неукротимость. Но сила гордыни оборачивалась пустым капризом, чуть только Анна Андреевна теряла

свое виртуозное умение вести себя среди друзей как «первая среди равных». Это случалось с ней редко, но увы! Случалось.

На днях Анна Андреевна позвонила мне и, узнав, что в субботу я собираюсь вечером к Маршаку, попросила заехать за ней к 7 часам, захватить ее к Самуилу Яковлевичу, а потом, в 9, доставить в гости — к Вил.? Вит.? — я не разобрала фамилию. Сама по себе уже эта просьба была с ее стороны жестоковатой, потому что ехала я к Маршаку помогать ему с очередной корректурой (он слепее меня), а в присутствии гостьи мы работать не стали бы. Однако я, по своей стародавней привычке всегда и во всем ее слушаться, не поперечила, а согласилась. Днем, в 3 часа, заказала машину на 18.30. Хлынул бурный дождь. Я испугалась: пришлют ли? но в 18.30 мне аккуратно позвонили, что машина вышла, и назвали номер. Спускаюсь. Жду в подъезде. Льет как из ведра — носу не высунешь. Жду, жду, жду — нет машины. Возвращаюсь в квартиру звонить диспетчеру (а этаж-то ведь шестой, а лифт не работает). Занято, занято, занято. Наконец, дозвонилась. «По случаю дождя машины отменены». — Но меня известили, что ко мне выехала! «Мало ли о чем вас известили!» — Примите, пожалуйста, новый заказ! мне очень, очень нужно! — «Всем нужно, заказов не принимаем». Я еле-еле выкричала, вымолила машину к девяти. В начале десятого я приехала на Ордынку и застала Анну Андреевну молчаливо негодующей. Я была виновата в ливне, в опаздывании, она встретила меня как провинившуюся школьницу. О ее визите к Маршаку уже и речи не могло быть. Я хотела позвонить Самуилу Яковлевичу от Ардовых, предупредить его, — какое! «Из-за вас (!) я и так опоздала».

Села она в машину сердитая, сказала шоферу адрес и отвернулась к окну.

Со мной ни слова.

Льет дождь, подрагивают щетки на стекле перед шофером, он медленно ведет машину сквозь завесу ливня, еле-еле разбирая тусклые номера домов. Я никогда не была здесь (это переулочек на Кропоткинской), Анна Андреевна бывала, но молчит, отвернувшись.

Наконец, шофер, несколько раз выбегая под дождь, нашел номер и въехал во двор: во дворе — разливанное море, машина хлюпает пó морю.

Теперь надо найти подъезд и квартиру. Анна Андреевна молчит (хотя, быть может, и знает); мы с шофером бегаем по колено в воде, ищем подъезд.

Я сразу промокла до нитки: ни боты, ни плащ не спасли. Наконец, и подъезд найден.

Всё вместе со стороны Анны Андреевны, сказать по правде, было так неприятно, безжалостно, что я, против обыкновения, не проводила ее до квартирных дверей, а только ввела в подъезд... Я не спросила, как она доберется обратно домой, села в машину и уехала к Маршаку. Там я пошла на кухню, срочно налила себе горячего чаю, потом сняла чулки, выстирала их, повесила на батарею и, сунув ноги в носки и в ночные туфли Самуила Яковлевича, села с ним рядом за стол.

После этого вечера она меня без конца вызванивала и заставила придти в очень для меня неудобное время. Зачем? Я догадалась не сразу. О нашей неудачной поездке в дождь — ни звука. Ну и отлично. Я на нее сердиться не умею, да и пустяки это всё. Да и не знаю, что́ бушевало, каменело, созидалось, изнемогало в великой душе Анны Ахматовой, когда Анна Андреевна была со мною так несправедлива, так недружественна.

Разговор начался с вопроса о Malia. Анна Андреевна виделась с ним накануне.

— Как вы думаете, он совсем умный? — спросила она. — Понимает здешнюю жизнь? [257])

Гм. Судить об иностранцах, о степени их ума и интеллигентности мне вообще трудно. Слишком разный у нас с ними жизненный опыт, да и все разное. Да и скольких видела я на своем веку? одного-двух и обчелся. Malia умен, тонок, русский XIX век знает отлично — Герцена, например, живее, полнее, чем средний русский современный интеллигент, который в лучшем случае читал «Былое и Думы», а все остальные 25 томов — ни в какую. Наш интеллигент имеет представление о Герцене только по неудачной мелодраме «Сорока-воровка», заурядному роману «Кто виноват?» да по статье Ленина. Политические мысли Герцена в ней искажены, путь Герцена от проповеди революции к отказу от «насильственных переворотов» утаен, о том же, что Герцен — художник, гений русской прозы, Ленин вообще не догадывается. И наша интеллигенция

тоже... Так вот, в литературном хозяйстве русского XIX века Malia по-видимому разбирается, тут он «совсем умный», а понимает ли нашу жизнь? Не знаю. Я разговариваю с ним не скрываясь и не осторожничая, но я сама — понимаю ли? По возрасту моему, по опыту, уж давненько пора бы понимать, но ведь наша жизнь, при отсутствии честной прессы, так разъединена, что каждый из нас близорук: различает ясно только тех, кто рядом, и только то, что рядом. В стране, лишенной общей памяти, объединяющей людей, — в стране, у которой украдены литература и история, опыт у каждого человека, у каждого круга, у каждого слоя — свой, ограниченный, отдельный. А страна огромна и опыт всей страны не подытожен, не соединен, не собран; хуже — оболган... Чего же требовать от Malia? Наших газет он не читает, да и я их в руки не беру — разве что если кто-нибудь из друзей сообщит, что на кого-нибудь из близких совершено очередное газетное покушение. Тогда хватаю и читаю, с чуством гадливости к автору и презрения к себе. К своей беспомощности.

— Подытожить наш опыт! Опыт страны! — сказала Анна Андреевна. — Да на это потребуется еще столетие, не менее. Мертвые молчат, а живые молчат, как мертвые: иначе рискуют тоже превратиться в мертвых.

Вдруг она перебила себя и сказала совсем другим голосом — веселым, шутливым:

— Да, Лидия Корнеевна, а газеты читать следует регулярно. Вот мы с вами не читаем и проглядели сенсацию, я только сегодня узнала... Представьте себе, Ираклий — сам Ираклий! — выступил в защиту Эммы. Сейчас покажу.

Она ушла в столовую за «Литературной газетой», но вернулась с пустыми руками: не нашла. Я обрадовалась: Ираклий — persona grata, личность влиятельная, и его выступление Эмме Григорьевне на пользу. [258])

Я спросила, когда же появится письмо в «Новом мире»? Обещано в июльском номере, да «Новый мир» опаздывает на месяц постоянно, хорошо если и не на два (бои с цензурой). [259])

Анна Андреевна послезавтра едет в Ленинград. Опять мы расстаемся, и опять надолго. Не люблю я разлук. Вопреки рассудку, мне всё представляется, что пока люди вместе, — беда далеко. (Наверное, это из-за Мити: беда грянула, едва мы разлучились). И на расстоянии, конечно, можно жить, не

разнимая рук и даже сближаясь — письмами. (Но Анна Андреевна писем не пишет, во всяком случае мне). Иногда, хотя я и не верю ни во что сверхъестественное, мне кажется, что неустанное сосредоточенное внимание — мое на ком-то, чье-то на мне, — может упасти от беды. (Только если оно в самом деле сосредоточенное, деятельное). Но как бы там ни было, мне хотелось бы, чтобы все, кого люблю, жили в одном городе; разделение «Москва-Ленинград» это какая-то дурацкая насмешка судьбы. «Нас» (кого это «нас»?) немного и «нам» следует быть вместе. Если же выбирать, в каком городе, то уж, конечно, в Ленинграде. Ленинград — город, а Москва — «крупный населенный пункт».

Анна Андреевна протянула мне итальянский словарь и заговорила о продолжающейся маньяческой деятельности Двора Чудес. У словаря взрезан корешок.

— Все чужие книги, которые мне дали читать, я срочно вернула хозяевам, — сказала она. — А не то — вот так. Видите? Бритвой.

— В Ленинграде — так же? — спросила я.

— В Ленинграде иначе.

Мы помолчали. Она не объяснила, как.

— Елка погасла! — произнесла Анна Андреевна с такою внезапной и горестной торжественностью, что я, от удивления, огляделась вокруг (ища глазами елку). — Да, погасла, погасла. Знаете, как это бывает? Скажет человек одно слово и праздник окончен.

Оказывается, у нее был Белинков, который собирается писать о ней книгу, и изрек что-то не то́ о «Поэме».

(Белинков — человек умный, талантливый, книга о Тынянове — блестящая книга, но в стихах не понимает ничего, дя меня это не новость. Да и в прозе не очень. Он ведь вообще публицист, не литературный критик. И Тынянов послужил ему лишь трамплином для публицистических взлетов. Поэзию же Анны Ахматовой делать трамплином для чего бы то ни было — грех; она сама себе довлеет; извлекая политический корень, неизбежно исказишь и обузишь ее. Художнического чутья у Белинкова не хватило не только на Ахматову — на Олешу. У него не те инструменты в руках. Он читал мне свои наброски к статье об Ахматовой: никудышние. Смесь

шкловитянства со схематичным социологизмом наоборот. Я об этом Анне Андреевне не докладывала, и она очень его ждала. Ей так хочется, чтобы кто-нибудь, наконец, толково написал о ее поэзии и главное о «Поэме»! О поэзии писали уже, но ведь только о ранней).

— Знаете, что Белинков сказал о «Поэме»?

— Нет. Откуда мне знать?

— Догадайтесь!

— Ну, Анна Андреевна, ну как же я могу догадаться?

— Он сказал, что «Поэма» прямо обязана своим возникновением поэзии Игоря Северянина.

— Северянина?!?

Где уж тут догадаться? Игорь Северянин и Анна Ахматова! Две родственные лиры.

— Да, так, — сказала Анна Андреевна со вздохом. — А мне твердили о Белинкове, как о восходящей звезде.

И тут я догадалась, почему она столь настойчиво меня вызывала. Ей хотелось поделиться со мною очередной надеждой, которая рухнула. Она, видимо, сильно рассчитывала на Белинкова.

Но: Ахматова и Северянин! Таков слух у этого литературоведа. [260])

Анна Андреевна поручила мне просить Корнея Ивановича не отказываться, если редакция «Нового мира» предложит ему написать предисловие к «Поэме». (Она дает — или уже дала туда? отрывок). Еще два отрывка выйдут в Ленинградском и в Московском «Дне поэзии». (414)

За нею приехала Наталия Иосифовна, чтобы везти ее к себе. Анна Андреевна ушла переодеваться и вернулась пышная, шуршащая, лиловая, — на плечах белая шаль. Внизу в машине нас ждала Татьяна Семеновна Айзенман и собака Лада. Наташа завезла меня на Спиридоновку, к друзьям. Анна Андреевна простилась со мною довольно рассеянно, думая о чем-то своем. Она сидела впереди, рядом с Наташей, без шляпы: серебро волос, ахматовский профиль и поворот головы. Я глянула, отходя: «Прозрачный профиль твой за

---

(414) «День поэзии», Л.-М., «Советский писатель», 1962, стр. 26; «День поэзии», М., «Советский писатель», 1962, стр. 43.

стаклами карет». И, как всегда при ее отъездах, сжалось сердце: не в последний ли раз вижу ее?

Да, еще не записала о разговоре: она хвалила Манделя. Прочла мне вслух его стихи о Рижском кладбище — рукопись, им забытую у нее.

— Раньше он писал какие-то мутные поэмы, — сказала она, — а теперь становится настоящим поэтом.[261])

19 сентября 62

«Не в последний ли раз видимся?» — спрашивала я на предыдущей странице. Нет, не в последний, не в последний. Она снова здесь, и я только что от нее.

В промежутке многое, связанное с «Поэмой». «Новый мир» от имени Твардовского обратился к Деду с просьбой написать предисловие. Я, от имени Анны Андреевны, тоже «обратилась». Редакции Дед ответил: «Да, да, конечно, для меня это большая честь»; мне же стал жаловаться на бессонницу, склероз: «я и так увяз в статьях о языке». «Я превратился в полную бездарность». Затем уехал в Барвиху, сказав мне на прощанье: «вот кончу о языке и возьмусь за Ахматову».[262])

Зная, как тревожит Анну Андреевну всё, касающееся «Поэмы», я воспользовалась поездкой в Ленинград Гали Корниловой и с нею послала Анне Андреевне большое письмо.

Дня через три мне позвонил Володя: Анна Андреевна расширила «Поэму», что-то переменила, что-то перерешила, и сама едет в Москву. Сопровождает ее Галя. Остановится она сначала у Ардовых, а потом, кажется, у Ники.

Утром — часов в 9 — Анна Андреевна сама позвонила мне, а в 12 я уже была на Ордынке.

— Имейте в виду — сегодня она очень худо слышит, — предупредила меня Нина Антоновна.

Я постучала. Никакого ответа. Я вошла. Думала, застану ее нездоровой. Ничуть. Лето в Комарове явно пошло ей на пользу. Она загорелая, свежая, похудевшая, и на загорелом лице еще ярче видны пронзительно-умные глаза.

Более всего ей хотелось говорить о выдвижении на Нобелевскую премию и о «Поэме». Но об этом она заговорила не сразу.

Сначала прочла новые стихи: «Последняя роза». Их я запомнила:

Господи! Ты видишь, я устала
Воскресать, и умирать, и жить.

Разве такие слова можно не запомнить? (415) Мне опять показалось, я сама написала их. Но всё-таки память у меня уже совсем не прежняя, никудышняя. Анна Андреевна прочла мне еще одно стихотворение, о котором предупредила: «еще не родившееся». Оно уже вполне родилось, но я-то его мгновенно забыла. Наверное это потому, что два подряд я уже не ухватываю.

Анна Андреевна рассказала мне о Фросте. Он, якобы, ни о ней, ни о ее стихах никогда и не слыхивал, но на встрече настоял Франклин Рив... Будку, разумеется показать иностранцам нельзя было; устроили банкет у Алексеева. 263) Фрост подарил ей свою книгу с надписью. О книге она отозвалась довольно-таки небрежно: «Видно, знает природу». О встрече же рассказала так:

— Сидели мы в уютных креслах друг против друга, два старика. Я думала: когда его принимали куда-нибудь — меня откуда-нибудь исключали; когда его награждали — меня шельмовали, а результат один: оба мы кандидаты на Нобелевскую премию. Вот материал для философических размышлений.

В ответ я рассказала ей смешную историю о своей «невстрече» с Фростом. Я не сильна в английском, но мне его стихи нравятся — он не только знает природу, он и сам как бы часть ее. Фрост побывал в Переделкине у Корнея Ивановича. Приемом занималась Марина, я никаких обязанностей не несла, но увидеть Фроста мне хотелось. Однако, накануне его приезда наш лесной участок оккупировали, поближе к даче, шпики и репортеры, а когда Фрост, в сопровождении милого Рива, приехал, — дом оккупировали «переводчики» (в которых вообще не было нӯжды). Мне сделалось так противно,

---

(415) Строка из стихотворения «Последняя роза» — см. «Новый мир», 1963, № 1; № 97.

что я укрылась у себя в лесной норе, откуда были видны только зады машин возле гаража и зады шпиков между деревьями. Я села работать, радуясь, что могу не принимать участия в комедии. Но скоро я промерзла, продрогла; взяла термос и по узенькой своей тропиночке, раздвигая ветви, отправилась за кипятком в дом. Шпики были несколько огорошены: ничьего появления из чащи они не ждали. В доме, внизу, пусто: Корней Иванович и гости наверху. Я благополучно согрела чайник, наполнила термос и уже выходила на крыльцо — когда меня вдруг окликнула бурно сбежавшая вниз с Дедовой лестницы дама — лицо полузнакомое, по-видимому, переводчица из Союза. Она разлетелась ко мне весьма любезно:

— Ах, Лидия Корнеевна, здравствуйте! Вы уходите? Не уходи́те, я могу провести вас наверх.

— Благодарю вас, — ответила я. — Вы забываете, что я у себя дома и ни в чьем пропуске к отцу не нуждаюсь.

Повернулась спиною и ушла обратно в лес.

— Она наверное была очень удивлена, — сказала Анна Андреевна. — Она искренне желала угостить вас Фростом. А насчет того, будто вы у себя дома, вы заблуждаетесь. Когда в доме иностранцы, — хозяева уже не хозяева. (416)

Я спросила, как она думает, понимают ли иностранцы эту ситуацию.

— Иностранцы разные, — ответила она, — мы разные, да и времена разные. В последнее время удается иногда разго-

---

(416) Оба визита Роберта Фроста — в Переделкино и в Комарово — подробно описаны в книге: F. D. Reeve « Robert Frost in Russia » (Boston, Atlantic, Little-Brown, 1964). Из книги явствует, что в Переделкине Фрост побывал 31 августа, а в Комарове 4 сентября. На банкете у Алексеева Ахматова прочитала два стихотворения: «Последнюю розу», № 98, а также —

О своем я уже не заплачу,
Но не видеть бы мне на земле
Золотое клеймо неудачи
На еще безмятежном челе.
(БВ, Седьмая книга).

Полагаю, что четверостишие (как и «Последняя роза») посвящено Иосифу Бродскому.

Ахматовские строки были тут же переведены Фросту — Ривом.

варивать и без переводчиков. Правда, не без... — она подняла глаза к потолку.

Я ей призналась, что выдвижение на Нобелевскую премию меня и радует за нее и тревожит. Как бы не повторилась пастернаковская история.

— А я без внимания, — ответила Анна Андреевна. — Вот в этой самой комнате я объясняла Борису, что волноваться не стоит. Перечислила ему имена: у Толстого не было, у Блока не было, у Сельмы не было... Что ж? Не всё ли равно?

Но я не о том. Я спросила, как она думает, разразится ли скандал, если премию присудят ей?

— Здесь — нет. А там, конечно, хлынут волны грязи. Америка будет бороться за Фроста. [264]) Я уже получила интересные сведения — про меня в Париже пишет моя родственница, жена Мити Гумилева, совершенно меня не знающая, я же знаю о ней одно: большая дрянь. Когда Митя уходил на войну, она принудила его составить завещание в свою пользу. И вот теперь я у нее в руках. Очень приятно. [265])

Потом Анна Андреевна вынула из чемоданчика «Поэму» и разложила ее на стуле. По-видимому, это кусок, предназначающийся для «Нового мира». Она мне ничего не объяснила, но стала допрашивать: понятно ли? Я не умею быстро сосоображать, особенно не держа вещь в руках; не знаю ведь я всю «Поэму» наизусть, да еще варианты! Я отвечала со страхом, но, по-видимому, все же попадала в цель, потому что Анна Андреевна осталась довольна.

Потом она положила передо мной итальянскую книгу, где ее стихи по-русски и по-итальянски, много фотографий Ленинграда и ее фотографий, да еще впридачу пластинка. (417)

Я спросила, читала ли она «Один день з/к» и что о нем думает? (418)

---

(417) Не имею возможности проверить, но полагаю, что это было итальянское издание стихотворений, вышедшее в 1962 г.: A. Achmatova. Poesie. A cura di Naldi. Presentazione di Ettore Lo Gatto. Nuova Academia, Milano.

(418) Первая повесть А. Солженицына («Щ-854»), опубликованная впоследствии под названием «Один день Ивана Денисовича», до напечатания ходила по рукам под названием «Один день з/к».

— Думаю?.. Эту повесть о-бя-зан про-чи-тать и вы-учить наизусть к а ж д ы й г р а ж д а н и н изо всех двухсот миллионов граждан Советского Союза. [266])

Она выговорила свою резолюцию медленно, внятно, чуть ли не по складам, словно объявляла приговор.

Помолчав, она продолжала:

— В «Старике и море» Хемингуэя подробности меня раздражают. Нога затекла, одна акула сдохла, вдел крюк, не вдел крюк и т. д. И всё ни к чему. А тут каждая подробность нужна и дорога...

(Я подумала: нужна и дорога не только художественно, но еще и потому, что мы узнаём, к а к погибали наши близкие. Мы всегда знали: «лагерь — ад», но в нашем представлении лагерный ад был понятием отвлеченным, в посмертном аду — дело известное: черти, котлы, кипящая смола, а тут? Я, например, хотя всегда интересовалась лагерем, узнала некоторые конкретные подробности о лагерном аде только во второй половине сороковых; отчасти от Ю. Г. Оксмана, отчасти от Б. О пытках на следствии мы догадывались раньше (по изобилию непостижимых признаний на следствии и на показательных процессах); догадывались уже в середине тридцатых, а узнали доподлинно — в 1939, когда Берия, сменив Ежова, месяца два выпускал по несколько человек в каждом городе. Тогда от случайно выпущенных на нас хлынули долгожданные подробности... Детали следствия: выбитые зубы, сломанные ребра, пятисуточные стояния у стены, поврежденные кулаком почки, 50 человек в камере, предназначенной для восьми и т. д. Деталями этапа и лагеря пополнилось наше образование позднее, главным образом в 47-48, когда кое-кто ненадолго вернулся).

— Мне один человек в 38 сказал, — припомнила Анна Андреевна, — «Вы бесстрашная. Вы ничего не боитесь». Я ему: «Что вы! Я только и делаю, что боюсь». Правда, разве можно было не бояться? Тебя возьмут и, прежде чем убить, заставят предавать других.

Я сказала, что вот теперь мы уже, кажется, знаем всё: как арестовывали, как пытали, как морили в лагерях, а вот как и где расстреливали приговоренных — не знаем.

— Я про Колю знаю, — ответила Анна Андреевна. — Их расстреляли близ Бернгардовки, по Ирининской дороге. У одних знакомых была прачка, а у той дочь — следователь. Она, то есть прачка, им рассказала и даже место указала со слов дочери. Туда пошли сразу, и была видна земля, утоптанная сапогами. А я узнала через 9 лет и туда поехала. Поляна; кривая маленькая сосна; рядом другая, мощная, но с вывороченными корнями. Это и была стенка. Земля запала, понизилась, потому что там не насыпали могил. Ямы. Две братские ямы на 60 человек. Когда я туда приехала, всюду росли высокие белые цветы. Я рвала их и думала: «другие приносят на могилу цветы, а я их с могилы срываю»... Приговоренных везли на ветхом грузовике, везли долго, грузовик останавливался.

Потом мы стали припоминать очереди, «буквы», женщин, тюремные окошечки 37 года.

— О нем наверное много написано, — сказала Анна Андреевна. — Узнáется. — Потом лукаво глянула на потолок. — Может быть, они там хоть на минуту в уборную ушли?.. Скажу: для меня три вещи — мой «Реквием», ваша повесть и вот теперь этот «з/к»... [267])

Потом она заговорила о Malia, о Berlin'е, а в сущности — о России.

— Malia передал мне слова Берлина: «Ахматова и Пастернак вернули мне родину». Лестно, не правда ли? И я понимаю, что Malia всё время пытается от меня получить в подарок чувство России. Я ему однажды призналась, что и сама редко ее чувствую. А потом рассказала про графа Дмитриева-Мамонова. Биография вообще очень русская: богач, герой 12 года, а потом масон, связан с декабристами; потом отказался присягать Николаю I, и тот объявил его повредившимся в уме... Издевательским и жестоким лечением, длившимся три десятилетия, граф был и впрямь доведен до сумасшествия. Очень русская история — не так ли? Загублен выдающийся талантливый человек. Я пересказала Malia один весьма характерный эпизод. Для крестьян он был барин трудный. Его не очень-то любили. Но когда за ним приехали на тройках жандармы, он вышел на крыльцо к дворне: «Православные, выручайте!» — они стеною стали вокруг. Заступи-

лись. Вот это-по-русски... (419) Malia так и вскинулся.

По ассоциации с мнимым сумасшествием Чаадаева, я вспомнила одну недавнюю грустную реплику Маршака. Я ему рассказала, что Чаадаев, узнав о выходе за границей брошюры Герцена «Развитие революционных идей в России» и услыхав, будто и он там числится в революционерах (чего вовсе не было: Герцен писал там лишь о толчке мысли и об образце поведения, который дал русскому обществу этот человек, да еще издевался над Николаем, объявившим замечательного мыслителя слабоумным) — так вот, Чаадаев, не прочитав книгу, а только услыхав о ее существовании, срочно, спешно, не откладывая дела в долгий ящик, написал письмо — о, нет! совсем не философское! холопское! — письмо шефу жандармов, графу Орлову, в котором, благоговея перед Николаем, изливался в верноподданнических чувствах, а Герцена называл так: «наглый беглец, искажающий истину». Что-то вроде. Под конец Петр Яковлевич выражал надежду, что граф не поверит клевете изменника и беглеца и сохранит к нему, Чаадаеву, свое сиятельное расположение... Каково? Герцен же, не подозревая об этом письме, чтил Чаадаева до конца своей жизни (хотя и не соглашался с ним), да и Чаадаев, прочитав брошюру, написал и тайком переправил Герцену за границу благодарное, любящее, даже благословляющее письмо. [268]) «Горько мне было узнать об этом происшествии», — сказала я однажды Самуилу Яковлевичу. Он понурился и ответил: «Очень русская история».

— Нет, — сказала Анна Андреевна. — Тут не то. Это

---

(419) О графе Матвее Александровиче Дмитриеве-Мамонове (1790-1863) Ахматова подробно говорит в своих неоконченных набросках 1963 г. «Пушкин в 1828 году» (см. ОП, 218), ссылаясь при этом на специальную работу Ю. Лотмана («Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов — поэт, публицист и общественный деятель», см. «Ученые записки Тартуского Государственного Университета», 1959, вып. 78). Беседуя с Malia, А. А. пересказала один из эпизодов, приводимых Ю. Лотманом со слов очевидца: «Когда за ним [Дмитриевым-Мамоновым] приехали [жандармы], чтобы везти его в Москву, граф нисколько тому не противился, но вышедши уже на крыльцо и увидя тысячи своих крестьян, он обратился к ним со словами: «Неужели, православные, вы меня выдадите?» Крестьяне тотчас окружили графа и хотели остановить поезд».

история общечеловеческая. Тут тó, о чем мы с вами только что говорили.

— Нельзя перенести второй раз?

— Да. Страх. В крови остается страх. Чаадаев испугался повторения. Осип после первой ссылки воспел Сталина. Потом он сам говорил мне: «это была болезнь». Сохранились допросы Жанны д'Арк. На третьем ей показали в окно приготовленный заранее костер. И она отреклась. На четвертом снова стала утверждать свое. Ее спросили: почему же вы вчера были согласны? «Я испугалась огня».

Молчание. Мы обе поглядели в окно.

— «Я испугалась огня», — повторила Анна Андреевна нежным, берущим зá душу, жалобным голосом. И еще раз по-французски: «... J'ai peur de feu »...[269])

Разговор переменился. Анна Андреевна достала откуда-то целую папку своих фотографий — старых, новых... Из старых (то есть молодых) восхитительна одна: она в виде не то льва, не то сфинкса, лежит на каменном цоколе в Шереметевском саду; лежит на животе, опираясь на руки, развернув плечи и подняв голову: более тонкой и прекрасной линии от затылка до кончика ног я никогда не видала... Из поздних очень она хороша возле жасминного куста, в белой шали, с собакой Гитовича. А в итальянской книге опубликована ташкентская фотография (та самая, «Моему капитану»). Теперь она разошлась по всему свету. Я рада.

Анна Андреевна спросила о здоровье Корнея Ивановича, потом — работает ли он над предисловием к «Поэме»? Узнав, что Дед разыскивает портрет Судейкиной в костюме Псиши, встревожилась:

— Пусть Корней Иванович не слишком опирается на конкретную сторону биографии Ольги Афанасьевны. Это ведь не совсем она, только физический облик ее, это героиня времени, а не она. (420)

Потом спросила меня, что я теперь читаю. Я ответила: Цветаеву. Я люблю у нее очень немногое, но люблю сильно.

— Например?

— Сейчас, например, люблю «Куст».

---

(420) «Псиша» — название одной из пьес Юрия Беляева, в которой главную роль исполняла О. А. Глебова-Судейкина.

Я объяснила: трудно было запомнить эти стихи наизусть, но я читаю их каждому кусту, каждому дереву, а ведь живу я в лесу! и ветви врываются мне в окно, чуть только я распахиваю окошко настежь первым утренним движением; и дуб, и сосны, и ели, и кусты неразлучны со мною, когда я сажусь на крыльцо работать.

Я прочла:

Что нужно кусту от меня?
Не речи ж! Не доли собачьей
Моей человечьей, кляня
Которую — голову прячу
В него же (седей день от дня!)
Сей мощи, и плéщи, и гущи —
Что нужно кусту — от меня?
Имущему — от неимущей?

А нужно! Иначе б не шел
Мне в очи, и в мысли, и в уши.
Не нужно б — тогда бы не цвел
Мне прямо в разверстую душу,
Что только кустом не пуста:
Окном моих всех захолустий.
Чтó, полная чаша куста,
Находишь на сем — месте пусте?
Эолова арфа куста!

Чего не видал (на ветвях
Твоих — хоть бы лист одинаков!)
В моих преткновения пнях,
Сплошных препинания знаках?
Чего не слыхал (на ветвях
Молва не рождается в муках!)
В моих преткновения пнях,
Сплошных препинания звуках?

Да вот и сейчас, словарю
Придавши бессмертную силу,
Да разве я то говорю,
Что знала, пока не раскрыла
Рта, знала еще на черте
Губ, той — за которой осколки...
И снова во всей полноте
Знать буду, как только умолкну.

А мне от куста — не шуми
Минуточку, мир человечий!
А мне от куста — тишины:
Той, между молчаньем и речью.
Той, можешь — ничем, можешь — всем
Назвать: глубока, неизбывна.
Невнятности! Наших поэм
Посмертных — невнятицы дивной.

Невнятицы старых садов,
Невнятицы музыки новой,
Невнятицы первых слогов,
Невнятицы Фауста Второго.

Той — д о всего, п о с л е всего.
Гул множеств, идущих на форум.
Ну — шума ушного того,
В с е соединилось в котором.
Как будто бы все кувшины
Востока — на знойное всхолмье.
Такой от куста — тишины,
Полнее не выразишь: полной. [270])

— Великолепно, — сказала Анна Андреевна. — Богато, пышно, полновесная строка. Этому она у Рильке училась. Она и Пастернак.

И попросила прочитать еще раз.

И я, читая, снова почувствовала, какое счастье захлебываться этими стихами — свободно-вдохновенными, безмерными, свободно-льющимися и в то же время вырезанными с совершенною точностью, как вырезан, например, дубовый

лист. А вот стихи Цветаевой Пушкину, призналась я, я совсем не люблю. Они лишены вдохновения, претенциозны, искусственны (быть может, только «Нет, бил барабан» лучше других). А то какие-то словесные экзерсисы, ремесленнические ухищрения: звука нет, словно человек не на рояли играет, а на столе. И мысли в сущности небогатые: «Пушкин — не хрестоматия, Пушкин — буйство». Так ведь это еще до нее Маяковский провозгласил, а еще до него — Тютчев.

— Марине нельзя было писать о Пушкине, — сказала Анна Андреевна. — Она его не понимала и не знала. Стихи препротивные. Мы еще с Осипом говорили, что о Пушкине Марине писать нельзя...

Потом Анна Андреевна показала мне стихи Иосифа Бродского, поднесенные ей вместе с розами. Из этих стихов она и взяла к своей «Последней розе»: «Вы напишете о нас наискосок». (421)

23 сентября 62

Утром звонила Анна Андреевна и, как водится, требовала, чтобы я появилась немедля. Но я не могла и пришла только вечером.

Она — у Ники. Высоченный домище на Садово-Каретной. 8-й этаж, лифт. Большая коммунальная квартира. Некрасиво вытянутая в длину комната; ее некрасивость смягчена изобилием книжных полок и ламп. За стенкой ощущается мама и продолжение книжных полок. Анна Андреевна в платке, в

---

(421) «Последняя роза» с эпиграфом из стихотворения Бродского напечатана была в № 1 «Нового мира» за 1963 год; № 97. При подготовке к печати сборника «Бег времени» А. А. сохранила эпиграф, но его удалила редакция. Власть слишком виновата перед Бродским, чтобы разрешить упоминание в печати его имени: ни в одном советском издании стихотворения Ахматовой строка, выбранная ею в качестве эпиграфа, не появилась. (Эту строку она собственноручно вписала 7 октября 1965 г. в подаренный мне экземпляр «Бега времени»). Само же стихотворение, обращенное к Ахматовой, см. в сб. Иосиф Бродский. Остановка в пустыне. Нью-Йорк. Издательство имени Чехова, 1970, стр. 72.

Об Иосифе Бродском и о «деле Бродского» подробно рассказано в т. 3 «Записок».

кольцах, королевой сидит в кресле; перед ней маленький полированный столик. Ника молчаливо приветлива. Анна Андреевна рассказала, что сегодня ее постигла неудача. Она съездила к Эмме в Голицыно, не застала, очень утомилась в машине и отлеживалась потом у Наташи. Скоро пришел Самойлов. Ника очень изящно подала чай. Анна Андреевна рассказала, что Нина Берберова заграницей опубликовала всего Ходасевича. Тираж книги — 600 экземпляров. Анна Андреевна через кого-то просила передать ей, что у нас книга мгновенно разошлась бы десятимиллионным тиражом. (Я: «Но у нас бы ее вообще не напечатали. Никаким тиражом»). О Ходасевиче Анна Андреевна отозвалась с большою любовью... Рассказала, что «Новый мир» хочет взять у нее цикл стихотворений, но Караганова-Мазо (тамошняя редакторша) почему-то не желает сонет («Я тогда отделалась костром»)... (422) Иосиф Бродский, спасающийся от ленинградского КГБ, молодой поэт, которого преследуют невесть за что, под тем предлогом, будто он тунеядец, — живет сейчас в Москве у Корниловых; Галя пожаловалась Анне Андреевне, что спасу нет — Володя сегодня всю ночь бранился с Иосифом очень шумно. Речь зашла о стихах Корнилова, и мы наперебой хвалили их. Анна Андреевна сказала:

— Он берет всё в лоб, обычно это худо, а ему удается.

Сама она сейчас одержима заботами о прописке Надежды Яковлевны и, по-видимому, ради этих хлопот и приехала в Москву. «Укажите мне, в чьи ноги бросаться, и я брошусь». Предполагает посоветоваться с Фридой. [271])

— Ведь Надя не просто жена, она жена-декабристка, — сказала Анна Андреевна. — Никто ее не ссылал и вообще не преследовал, она сама поехала за мужем в ссылку.

(Эту формулу «Надежда Яковлевна — декабристка» я слышала из уст Анны Андреевны еще в Ташкенте).

Она попросила Самойлова читать стихи. Он прочел: Я рано встал, Наташу, Державина и Красные листья. [272]) Мне

---

(422) «Не пугайся, я еще похожей» — БВ, Седьмая книга, стихотворение из цикла «Шиповник цветет». Одно время оно носило название «Сонет-эпилог».

более всего понравились Державин, Наташа и какой-то кусок в середине стихотворения «Я рано встал». Вообще же, сама не пойму, отчего, при всей прелести, уме и совершенстве, — чуть холодновато.

Анна Андреевна сказала Самойлову:

— Правда, у Толстого Наташа написана так, что все ее любви совершенно естественны? Андрей, Анатоль, Пьер — это просто течение времени, и мы ею нисколько не возмущаемся. Правда? Вот это вам и удалось передать.

Когда Самойлов спросил, не поздно ли, не утомил ли он ее, она ответила:

— Что вы! Я не Фроста!

27 сентября 62

Была у Анны Андреевны со всякими Дедовыми вопросами о «Поэме». Получила в подарок пластинку из серии «Поэты читают свои стихи». В данном случае читает стихи Анна Ахматова: «Северные элегии», «Летний сад» и прочие чудеса. По моей усиленной просьбе Ника раздобыла где-то пластинку, Анна же Андреевна при мне всемилостивейше сделала надпись. Когда-нибудь я испугаюсь: не почерка, а голоса. Даже сейчас, сегодня, придя домой, я не уверена, поставлю ли пластинку на проигрыватель. Голос — присутствие человека, голос — это сам человек; и как же это понять? Ахматова здесь и нет Ахматовой здесь?.. Спасибо технике и будь проклята техника.

В гостях — Юля Живова, работающая в той же редакции, где и Ника, только занимается она не болгарами, а поляками. Разговор зашел о разоблачении Сталина. Юля сказала: «А ведь находятся люди, которые еще и сейчас защищают его. Говорят: «мы не знаем»... Говорят: «Откуда нам-то знать? Может, это сейчас всё врут на него... Мы-то ведь не знаем». Анна Андреевна страстно: «Зато я знаю... Таких надо убивать». Ника, со смехом: «Анна Андреевна, в Евангелии сказано: не убий!»

— Нет, убий, убий! — закричала Анна Андреевна, по-

краснев и стукнув ладонью по маленькому столику. — У-бий! (423)

... У нее побывала Скорино — редакторша из «Знамени» — расспрашивала о Нарбуте: она что-то пишет о нем, так я поняла. Просила у Анны Андреевны стихи. Сейчас трудно что-нибудь решить, нету ясности: как, что и когда будет печатать «Новый мир».

Надписывая мне пластинку, Анна Андреевна вынула из роскошной коробки какой-то золотой карандаш невообразимой красы.

— Мне подарил один инженер, — объяснила она. — Я ему говорю: не надо мне ничего дарить, я имею обыкновение подарки раздаривать. Он дрогнул, но не сказал ничего.

28 сентября 62

Вернувшись из Барвихи от Корнея Ивановича, я позвонила Анне Андреевне и сказала, что он начал статью словами:

«Анна Ахматова — мастер исторической живописи».

В ее голосе я услышала явное удовольствие. Она была заинтересована и безо всякого сомнения довольна. Я тоже. О присущем Ахматовой чувстве истории постоянно говорила мне Тамара Григорьевна. Но волею судьбы Туся ничего не записала из сделанных ею многочисленных открытий. Она раздавала их направо и налево другим в своих блистательных монологах. А я записывала за ней слишком редко.

---

(423) Надеюсь, читатель понимает, что А. А. была бы против кровавой расправы с палачами и с их пособниками: суд над ними нужен был, а не расправа с ними; если бы затеяли расправу, пришлось бы снова залить кровью всю страну. Ее ответ: «убий, убий!» выражал не жажду крови, а жажду слова и степень ее негодования против тех, кто по многодесятилетней привычке не желал взглянуть правде в глаза, осознать ужас содеянного. Возмущалась она в эту пору защитниками палачей. Сталина же палачом Ахматова в своих стихах называла постоянно: см. «Кидалась в ноги палачу» («Семнадцать месяцев кричу» — «Реквием»), «Вместе с вами я в ногах валялась / У кровавой куклы палача», — «Так не зря мы вместе бедовали», № 93. В стихотворениях «Подражание армянскому», № 77 и «Стансы», № 61 Сталин хотя и не назван палачом впрямую, но определена его деятельность как палаческая безусловно.

Узнав по телефону о таком начале Дедовой статьи, Анна Андреевна стала просить меня явиться поскорее. С тех пор, как Дед пишет эту статью, она меня всегда ждет. Мне бы вечером, — тем более, что ничего, кроме начала, я и не знаю, — но я пошла сразу: нервы мои плохо переносят чужое ожидание... Всё равно не могу работать, чувствуя, что кто-то ждет. Даже если это не Анна Ахматова.

Она была сегодня какая-то особенно тучная, большая, отекшая. Сидела в кресле, глубоко погрузившись в него. Окно открыто — высокое окно, увитое растениями. Паж — Ника.

Анна Андреевна показала мне стихи, отобранные ею для «Знамени» и «Литературы и жизни». Принцип отбора неясен, но Бог с ним, с принципом, были бы стихи. (424) Я удовольствовалась тем, что выловила одну опечатку в Никиной машинописи. Потом Анна Андреевна показала мне предисловие некоего Завалишина к книге воспоминаний Георгия Иванова. Завалишин объясняет, что Ахматова и Пастернак — внутренние эмигранты. Этакое бесстыдство, ведь могли убить обоих. [273]) Анна Андреевна очень возмущается, но я полагаю, у Завалишина всё это от полного незнания здешней жизни и от добрых чувств. Да и она, конечно, не подозревает автора предисловия в злоумышлении. Хотя:

— Права не имеют не знать, — говорит она.

Потом о стихах Тарковского, Корнилова, Самойлова, Липкина:

— Вот это и будет впоследствии именоваться «русская поэзия шестидесятых годов». И еще, пожалуй, Бродский. Вы его не знаете. [274])

Я сидела недолго. У меня болело сердце, а тут оно разболелось еще сильней. Оказывается, нынче — или завтра? — день рождения Льва Николаевича. Я только что открыла рот, чтобы поздравить Анну Андреевну, но вовремя закрыла его:

---

(424) 26 октября 1962 г. в газете «Литература и жизнь» появились такие стихотворения Ахматовой: два из цикла «Шиповник цветет» («В разбитом зеркале» и «Говорит Дидона»), а также «Вот она, плодоносная осень» (БВ, Седьмая книга). В «Знамени» (см. 1953, № 1) напечатаны были «Опять подошли "незабвенные даты"», «Эхо», «Сожженная тетрадь» (БВ, Седьмая книга) и отрывок из поэмы «Путем всея земли» под названием «Ночные видения». («Путем всея земли» см. «Записки», т. 1, № 20).

Анна Андреевна принялась обсуждать с Никой — рассердится Лёва или нет, если она рискнет послать ему поздравительную телеграмму? Решила, что, быть может, и не рассердится. Ника подала ей бумагу, она написала что-то, перечла, зачеркнула, написала снова. У нее дрожала рука.

Я ушла. Во мне тоже что-то дрожало. По дороге думала о термине «внутренние эмигранты». В применении к Ахматовой и Пастернаку — до чего ж это неверно! Ахматова, автор «Родной земли» и «Реквиема» — эмигрантка! Пастернак, назвавший свою душу «усыпальницей замученных живьём» — эмигрант! Эмигранты, внутренние или внешние, отторгают себя от страны и народа, а эти разделяют судьбу, выпавшую на долю страны и народа. По какому же признаку они эмигранты?

Мы ни единого удара
Не отклонили от себя, —

— сказала Ахматова. По какому же признаку она эмигрантка? [275])

5 октября 62

Утром мне позвонила Анна Андреевна:

— Я сегодня веселенькая, меня отставили от Стокгольма.

Наташа возила ее за город. «Осень красивая. Ослепительное Подмосковье».

7 октября 62

Я пришла к ней днем. Она сидит в том же глубоком кресле, перед тем же низеньким, удобным столиком.

Когда я сказала, что жалею о Стокгольме, она проговорила самым жалобным из своих голосов:

— Ну, Лидия Корнеевна, ну как вам не стыдно, и вы тоже... Ну, разве я могу пережить Стокгольм? Доехал бы труп. Те, кто знает, как тяжело даются мне поездки из Ленинграда в Москву или наоборот, должны понять. Да еще интервью... Ну, посмотрите на меня, ну разве я могу это перенести?

В самом деле, выглядит она дурно: и ведь перед поездом и вообще любым перемещением у нее какой-то особенный страх. На вокзале у нее каждый раз лицо «трагической маски». Автомобиль, впрочем, переносит хорошо. Но и тут на днях ее постигла неудача. Заехала за нею Белла Ахмадулина с благим намерением увезти ее из города куда-нибудь подышать. Ахмадулина села за руль, Анна Андреевна рядом, но через полкилометра машина намертво застряла. Белла под руку отвела Анну Андреевну домой.

— Бедняжка, она была в отчаянье, — говорит Анна Андреевна. — Пока вела меня домой, всю дорогу твердила: «Вы больше со мной никогда не поедете, никогда не поедете». И правда, пожалуй, не поеду.

Да, пожалуй, пусть лучше не едет. Оказывается, после этого неудачного путешествия Анна Андреевна не спала ночь, стараясь вообразить, как было бы ужасно, если бы машина испортилась не в Москве, не в десяти минутах от дома, а на шоссе, за городом.

— Ну, е с л и б ы, — сказала я. — Стоит ли и думать об этом.

Анна Андреевна взглянула меня с негодованием. Я сразу поняла свое бессердечие. Она и вправду, без всяких преувеличений и кокетств, непоправимо и страшно больна. Слишком больна, чтобы подвергаться случайностям: сначала испугаться толчка, потом сидеть на каком-нибудь пне в лесу, ожидая попутной машины.

Сегодня она раздраженная, сердитая — тоже не от большого здоровья. Главный предмет разговора — и гнева — биография Гумилева, написанная Струве.

— Я получила предложение умереть, да, да! не смейтесь. — И показала в книге строку: «Анна Андреевна Ахматова еще жива». — Очень вежливо, не правда ли? А главная задача биографа: вычеркнуть меня из Колиной жизни. Меня, видите ли, никогда не было. Его единственная любовь — Машенька Кузьмина-Караваева... На самом же деле он был так влюблен, что брал деньги у ростовщика под большие проценты и приезжал в Севастополь, чтобы 10 минут видеть мой надменный профиль... Этого Струве не знает, этого никогда не было... Зато, чуть запахло разводом, они тут как тут. (Она громко втянула

в себя воздух ноздрями, будто к чему-то принюхиваясь). Поглядите, — она указала мне на странице строки из «Пятистопных ямбов» Гумилева: «И ты ушла в простом и черном платье»... Биограф использует два непререкаемых источника: невестку Гумилева, круглейшую дуру, и Одоевцеву. — Анна Андреевна указала мне абзац, где Одоевцева рисует Гумилева весьма некрасивым. — По-видимому, Ирина Владимировна одного только Жоржика Иванова считала красавцем. [276])

Затем Анна Андреевна сказала, что все соображения биографа о поэзии Гумилева тоже неверны.

— А сами вы как полагаете: Николай Степанович легкий для понимания поэт или трудный? — спросила я.

— Во всяком случае, его еще никто не прочел. Помешались на детских «Капитанах» и дальше ни шагу. А он был провидец.

Анна Андреевна процитировала:

Горе, горе! Страх, петля и яма
Для того, кто на земле родился,
Потому что столькими очами
На него взирает с неба черный
И его высматривает тайны!
. . . .
Горе, горе! Страх, петля и яма...

— Всё это сбывается на наших глазах. А вот «Клоп» Маяковского не сбывается! нынче у нас 1962? и до сих пор не сбылось. [277])

Я спросила, как она думает, будет ли прок от той статьи, которую пишет сейчас о ее стихах Лев Озеров? (Он, я знаю, держит ее в курсе своей работы).

— Прок будет. Только слишком много Пушкина. Так нельзя. И незачем сопоставлять меня и Марину. Это неплодотворно. [278])

— Сегодня у меня торжественный день, — сказала, помолчав, Анна Андреевна. — Я кончила «Поэму». Взгляните — сделала строфу, не успев проснуться.

И она показала мне поправки в строфе: «Этот Фаустом, тот Дон Жуаном». Появилась новая строка: «Дапертутто, Иока-

нааном» и «Светланы» заменены «Дианами». (Чему я от души обрадовалась: как звучало это имя в десятые годы, я не знаю, быть может, тогда еще и по-жуко́вски, а в наше ассоциируется оно не с Жуковским и Пушкиным, а со Сталиным и Молотовым — у того и у другого дочки именуются Светланами. С их легкой (тяжелой!) руки Светлан нынче развелось превеликое множество; что ни девочка — то Светлана (в просторечии Светка). Только в строках Пастернака: «Две женщины, как отблеск ламп «Светлана», / Горят и светят средь его тягот» это прелестное имя вновь оживает и светит, сочетая старину с современностью). [279])

У Анны Андреевны в ходу сейчас новый термин — «партии Лапы» — которым она пользуется очень смешно. Нина Антоновна и старший Ардов решили было расстаться с Лапой; молодежь взбунтовалась; Анна Андреевна примкнула к мальчикам, заявив: «Я — партии Лапы». Теперь она называет Лапой себя, а о своих поклонниках и недругах говорит: «она — партии Лапы», или «он — не партии Лапы». Герцен некогда писал: «мои партизаны» в смысле: «мои сторонники». Но в начале XIX века подобное словоупотребление было общепринятым, а сейчас слово «партия» звучит высокоторжественно, официально (как и «партизаны»), и когда Анна Андреевна, подразумевая Озерова, говорит «Он — партии Лапы», выходит очень смешно. И еще смешнее и величественнее о ком-то: «он — не партии Лапы».

Я ушла, пообещав завтра позвонить, как только ворочусь из Барвихи.

8 октября 62

Я была в Барвихе и слушала дедову статью. Вернувшись, нашла записку: «тебе звонила Анна Андреевна». Я сразу позвонила ей. Она заставила меня пересказывать статью абзац за абзацем. Никогда я не думала, что она так интересуется мнениями Деда. Напротив, мне представлялось, она относится к нему сдержанно, а, быть может, и с иронией. Один раз не без язвительности произнесла (говоря о его статье: «Ахматова и Маяковский»): «Корней Иванович так хорошо им всё объяснил, что даже тупицы поняли всё» — имея в виду, что он своею статьей сделал и для начальства явной ее религиоз-

ность, ее приверженность к старой России и пр. и что это с его стороны было неосторожно.[280]) А сейчас она наверное изголодалась по квалифицированной прессе. И уж во всяком случае не сомневается, что Корней Иванович — «партии Лапы».

— Для меня это событие, — объявила она, дослушав мой пересказ.

10 октября 62

Утром звонила Анна Андреевна, спрашивала, не прислал мне Корней Иванович статью после машинки. Ух, как ей, однако, не терпится! Я имела неосторожность сказать ей, в последний раз, что Клара Израилевна в среду должна привезти в Барвиху перепечатанную на машинке статью; он исправит и пришлет мне. Так вот, Анна Андреевна уже беспокоится. Статью Кларочка действительно уже перепечатала и отвезла Деду, но когда он кончит исправлять? Неизвестно.

Завтра Анна Андреевна перебирается от Ники к Марии Сергеевне.

12 октября 62

Сегодня я отвезла статью Корнея Ивановича Анне Андреевне, на Беговую, к Петровых. Мы сидели с ней одни, в той комнате, что поменьше.

Анна Андреевна слушала с неподвижным лицом, но я чувствовала, что и она волнуется. Потом она очень хвалила: «первоклассно, по-европейски, точно; опровергает общераспространенное мнение о моих стихах без задора, но несокрушимо».

Одним она недовольна: слишком подробной конкретизацией жизни и быта Ольги Афанасьевны. «Скажут: Ахматова написала поэму о похождениях своей подруги, актрисы». Просит затушевать конкретности. Кроме того, просит упомянуть, что о 13 годе говорится сквозь гофманиану, а о 41-м — с полной реалистической ясностью.

Попросила исправить цитату из «Предыстории»: в Дедовой статье пропущена одна строка, как и в сборнике 61 года: «Под желтой керосиновою лампой».

Потом протянула мне письмо, полученное откуда-то из-за границы — через «Международную книгу». Просят прислать «последнее издание «Поэмы без героя», а также перечень критических отзывов о ”Поэме”».

И смешно, и грустно, и больно. Доживем ли мы до напечатания «Поэмы» вообще? И — еще — доживем ли до такого времени, когда на Западе будут иметь хоть малое, хоть приблизительное представление о нашей стране, о судьбе наших людей и нашей литературы? Быть может, и мы так же мало знаем о них, как они о нас? Быть может: но быть того не может, чтобы их судьбы оказались страшнее наших.

Я спросила у Анны Андреевны, даст ли она знать автору статьи о Гумилеве об ошибках в статье.

— Не знаю, — ответила Анна Андреевна. — Я не хочу оказаться в смешном положении Любови Дмитриевны Блок, которая настаивала, что стихотворение «Что же ты потупилась в смущеньи» посвящено ей. Как это глупо! Во-первых, я не знаю стихов, более оскорбительных для женщины; во-вторых, всем известно, что они посвящены Дельмас... Я с фактами в руках доказывала это Орлову, но он всё-таки напечатал, будто относятся они к Любови Дмитриевне...[281])

Ариша пригласила нас чай пить. Мы перешли в другую комнату побольше, — где, по-видимому, Мария Сергеевна и Ариша живут сейчас вместе. Черные сучья деревьев теснятся к окнам, и я вдруг вспомнила сучья деревьев во дворике Фонтанного Дома. Квартира очень просто обставлена, но чистота делает ее нарядной. Вместе с нами пил чай молодой человек — по-видимому, переводчик, ученик Марии Сергеевны и большой книжник: разговор за столом шел преимущественно букинистический. После чая я простилась.

Молодой человек проводил меня до бензоколонки, то есть до стоянки такси.

19 октября 62

Виделась с Анной Андреевной у Наташи Ильиной, куда Анна Андреевна приехала для встречи с иностранцами. (Привез их Зенкевич.) Мне всегда трудно даются поездки на новую Наташину квартиру: дверь в дверь с бывшей квартирой Тамары Григорьевны. Тот же подъезд, тот же лифт, даже лифтерша та же и двери обиты одинаково. Выйдя из лифта,

я на секунду прижалась щекой к Тусиной двери, а позвонила в соседнюю.

Я думаю, всякая религия возникает из уверенности, что мертвые нас не покинули. В Бога ли это вера? Нет, пожалуй, в чудесность человеческих встреч, слов, связанностей. А всякая история народа начинается с воскрешения образа мертвых.

Наташа отвела меня в кухню. Из комнаты доносился спокойный голос Анны Андреевны и возбужденные голоса гостей. Наконец, гости уехали, и Анна Андреевна пришла к нам. Разговор был пустоватый — если не считать одного замечания Анны Андреевны о донжуанстве. Наташа как-то помянула о донжуанстве Фадеева.

— Для мужчины быть Дон Жуаном никогда не считалось постыдным. Напротив, — сказала Анна Андреевна.

«А для женщины?» — подумала я. Но не спросила.

Наташа сделала Анне Андреевне белковый омлет, а мы с нею вдвоем дожевывали какие-то сласти.

Живет сейчас Анна Андреевна у Марии Сергеевны. Опять говорила о силе и прелести ее стихов и о том, как это дурно для поэта и для читателя, когда они насильственно разлучены. Читатель ограблен, поэт изломан.

— Беда, — сказала она. — Отношения между поэтом и читателем изначально сложны, но они должны б ы т ь. Иначе искажен путь и у того, и у другого.

Днем Анна Андреевна ездила с Наташей по магазинам, искала туфли. С ужасом и жалостью рассказала, что навестила по пути какого-то своего больного друга, профессора, который ютится в трущобе.

— Как и м не стыдно! — воскликнула она и даже руками всплеснула.

Наташа ушла заводить машину, а мы начали потихоньку собираться. Анна Андреевна накинула на голову черный платок, и сразу он из платка сделался платом, а она из Анны Ахматовой превратилась то ли в смиренную богомолку, то ли в боярыню Морозову. Расплывчатой грузности как не бывало, сразу проступила ф о р м а (то есть с у т ь): порода, русскость.

Мы спустились в Тусином лифте. Наташа повезла нас на Беговую. Там я проводила Анну Андреевну до дверей Марии Сергеевны. Вокруг дома черные ветви в снегу: люблю.

Ветви в снегу я люблю, пожалуй, сильнее, чем ветви в цвету. Наташа повезла меня на улицу Горького. Тикали щетки — мокрый снег залеплял стекло. Я чувствовала Наташино напряжение и потому с ней не заговаривала. А сама думала о Фадееве. Нет, не о донжуанстве... Как он мог так долго не понимать? Неужели был слеп до самого XX съезда? И что́ это в такой степени лишает людей зрения: причастность к власти? Я Фадеева никогда не любила (помню его вполне казенные речи в 1947 году против Пастернака). Но ведь был он, безусловно, и умен, и талантлив и литературу любил: помню, как он поддерживал, например, прекрасного поэта Семынина. Но ведь в то же время, говорят, он соучастник в преступлениях против литературы и более того: против человечности. Правда ли это? Как это все понять и, если правда, имеем ли мы право простить? Поставив «точку пули в своем конце», очистил ли он себя? Даже если бы нам были известны все факты, то и тогда трудно было бы вынести приговор, а фактов, фактических сведений мы лишены. Столько окровавленных теней! И сам он теперь окровавленная тень!

30 октября 62

Вчера целый вечер я провела у Анны Андреевны. Она возбужденная, в ударе. Вышла мне навстречу в переднюю и сразу увела в комнату Марии Сергеевны, где она теперь живет, и сразу заговорила о Солженицыне, с которым познакомилась накануне (через Л. З. Копелева).

— Све-то-но-сец! — сказала она торжественно и по складам. — Свежий, подтянутый, молодой, счастливый. Мы и забыли, что такие люди бывают. Глаза, как драгоценные каменья. Строгий, слышит, что́ говорит.

(«Слышит себя», «слышит, что́ говорит» — это высокая похвала в ее устах).

— Я почитала ему... Он сказал: «Я так и думал, что вы не молчите, а пишете что-то, чего нельзя печатать». «Поэму» знает наизусть. О ней говорит так: «Сначала всё непонятное-непонятное, а потом понятное-понятное». Обо мне сказал мне слова, которые я слышать не могу. Нет, не о Пушкине. Да, о России. И о н т о ж е!.. Вы понимаете, конечно, что́ это значит: услышать и х о т н е г о... Читал мне свои

стихи. Я еще не разобралась в них, он очень странно читает.

— Но всё-таки? — настаивала я.

— Уязвимые во многих отношениях, — уклонилась Анна Андреевна. Помолчав, продолжала:

— Он сказал, что пишет прозу, много прозы, всё время пишет прозу. На лбу у него шрам, Не знаю, в армии ли получен или в лагере. Я не спросила, хотя мы разговаривали так, мы так с ним разговаривали, что всё можно было спросить. Я ему сказала: «Знаете ли вы, что через месяц вы будете самым знаменитым человеком на земном шаре?» — «Знаю. Но это будет недолго». — «Выдержите ли вы славу?» — «У меня очень здоровые нервы. Я выдержал сталинские лагеря». — «Пастернак не выдержал славы. Выдержать славу очень трудно, в особенности позднюю»... О, Лидия Корнеевна, видели бы вы этого человека! Он непредставим. Его надо увидеть самого, в придачу к «Одному дню з/к».

Я сказала, что, надеюсь, это случится когда-нибудь, я о нем много наслышана и хотела бы его увидеть, но не стану натягивать знакомство. Вообще не люблю навязывать свою персону знаменитостям или глазеть на них. Хочу, чтобы случалось само. Сталкивает людей жизнь. Если увижу Солженицына — хорошо, а нет, так ведь я могу читать его и быть счастливой: дожили мы не только до смерти Сталина, но и до голоса з/к... Была же я счастлива Пастернаком гораздо раньше, чем его увидела. Мы жили в одном кругу — в разных городах — и не виделись. Но я читала его, я знала его наизусть, стихи и любимые страницы из «Охранной грамоты». Встретились мы случайно. Я ехала впервые в Переделкино к Корнею Ивановичу, но встретились мы случайно — и не у Корнея Ивановича, а раньше. По дороге туда.

(1938. Лето. Я приехала из Ленинграда в Москву хлопотать о Мите. Такси в Переделкино, где никогда не была. Адрес: «Городок писателей, дача Чуковского — сначала шоссе, потом что-то такое направо, налево». В Городке таксист свернул не туда, запутался, приметы не совпадали — непредуказанное поле — и ни одного пешехода. Первый человек, который попался мне на глаза, стоял на корточках за дачным забором: коричневый, голый до пояса, весь обожженный солнцем; он полол огородные гряды на пологом, пустом, выж-

женном солнцем участке. Шофер притормозил, и я через опущенное стекло спросила, где дача Чуковского. Он выпрямился, отряхивая землю с колен и ладоней, и, прежде, чем объяснить нам дорогу, с таким жадным любопытством оглядел машину, шофера и меня, будто впервые в жизни увидал автомобиль, таксиста и женщину. Гудя, объяснил. Потом бурно: — Вы, наверное, Лидия Корнеевна? — Да, — сказала я. Поблагодарив, я велела шоферу ехать, и только тогда, когда мы уже снова пересекли шоссе, догадалась: это был Пастернак! Явление природы, первобытность). [282])

— Что вы теперь читаете? — спросила Анна Андреевна.

Я рассказала ей о своих напрасных попытках одолеть стихи Вячеслава Иванова. (Корней Иванович получил том в подарок от профессора Bowra.) [283]) Помираю со скуки. Это не стихи, а какие-то стихотворные упражнения, безжизненные, пустые, мертвящие.

— Ну, не всегда, — сказала Анна Андреевна. Взяла со стола итальянскую антологию и серьезным, глубоким ахматовским голосом прочла вслух два сонета. Я осталась при своем: никакие это не стихи. Звука нет, сплошное беззвучие. И темперамента нет. Я не запомнила ни единого слова... Спросила у Анны Андреевны, какие собственные ее стихи вошли в антологию.

— Мне всегда кажется, что мои хуже всех, — сказала она, отложив книгу и не ответив. И заговорила о Вячеславе Иванове.

— Он был отчаянный рекламист. На этом пути преуспел. Заграницей о нем пишут, как о главе символизма, как о создателе новой религии, как о пророке, как не знаю еще о ком... Главой символизма он не был. Пишут, будто он ввел меня в литературу. Ложь: он меня терпеть не мог. И Гумилева, и Осипа. У него были свои дамы-мироносицы и свои любимые поэты: Скалдин, Верховский. Вообразите: он не любил Блока! Вот вам и глава... На его знаменитые среды я опоздала; после смерти Зиновьевой-Аннибал начались понедельники. [284]) Там я бывала. Опытнейший, виртуозный ловец человеков! Его, сорокачетырехлетнего мужчину, водили под руки седые дамы... Однажды мы вместе спускались в лифте — внизу ждала дама с пледом: окутать ему ноги, когда он

сядет на извозчика... Так он умел себя поставить везде: в Петербурге, в Баку, в Риме. Только в Москве не удалось почему-то. То ли Брюсов был близко, то ли голодно очень — но не удалось... Я непременно напишу воспоминания о Вячеславе Иванове и Башне. Вот перееду отсюда обратно к Нике и продиктую ей на машинку. (425)

Потом, приложив палец к губам и показав глазами на потолок и на стены, Анна Андреевна дала мне прочесть статью, весьма примечательную. (426)

Потом показала стихи одного молодого человека. Стихотворение провозглашает: Ахматова — душа России. Некоторые стихи очень сильны. Вообще слышна сила.

— Вы подумайте: в один день два человека сказали мне обо мне одно и то же — оба! Разве можно это перенести? Ведь и Солженицын в сущности сказал мне обо мне то же самое. [285])

«Нобелевская премия», — подумала я. «Нет, выше: не от имени Шведской Академии Наук, а от имени России. Родной земле виднее, who's who».

Анна Андреевна положила передо мной переписанную заново Никой «Поэму». Но не подарила экземпляр.

Мария Сергеевна позвала нас чай пить. Пили вчетвером: хозяйки, Анна Андреевна, я. За чаем Анна Андреевна вдруг сказала, что ею утрачена одна строка из «Посвящения» к «Реквиему». Она прочла первые строки и умолкла. Когда я продолжила: «Там встречались, мертвых бездыханней» она вся осветилась радостью: «Ну, конечно, конечно!» Потом, очень торжественно:

---

(425) Воспоминаний о Вяч. Иванове Ахматова не написала, но работать над ними начала. Так, в сб. «Встречи с прошлым» (ЦГАЛИ, вып. 3, 1978) опубликован один из черновых набросков Анны Андреевны к ее автобиографии. На стр. 417 читаем: «Ни прельстителем, ни соблазнителем Вяч. Ив[анов] для нас (тогдашней молодежи) не был...» «В эмиграции Вячеслав Иванов стал придумывать себя «башенного» — Вячеслава Великолепного... Никакого великолепия на Таврич[еской] не было. Но, очевидно, в эмиграции появилась та же психология, что во время войны в эвакуации, когда всем казалось, что они приехали из дворцов и особняков...» Существуют и другие суждения Ахматовой о Вяч. Иванове. Как о замечательном поэте и критике она говорила мне о нем, например, в августе 1940 года — См. «Записки», т. 1, стр. 156-157.

(426) Какую, чью, о чем — вспомнить не могу. Примеч. 1978 г.

— «Реквием» знали наизусть 11 человек, и никто меня не предал. (427)

Я пожаловалась, что, припоминая «Эпилог», всегда сбиваюсь где-то посередине. Милая, добрая Мария Сергеевна сейчас же встала и перепечатала его для меня на машинке. (Господи, до какого счастья мы дожили! «Реквием» — на машинке!) Анна Андреевна надела очки и подписалась. (428)

Что еще было? До чая, когда мы сидели с Анной Андреевной одни у нее в комнате, она, рассказывая мне о Солженицыне, упомянула: ему тоже встречаются люди, говорит он, многие и многие, которые защищают Сталина. «И мне такие встречаются, чуть только сделаю шаг в сторону из нашего узкого круга», — сказала я.

— А вы что? — закричала Анна Андреевна (на этом месте разговора она всегда кричит). — А вы спросили бы их, своих собеседников, что именно им так понравилось? Какая именно часть программы? Что людям разрывали рты до ушей?

...За чаем зашла речь о том же: находятся люди, желающие оправдать прошлое! и о благородной статье Паустовского в «Известиях». Анна Андреевна сильно хвалила ее, сказала, что эту статью надо вырезать и хранить в папке, и что она пошлет Паустовскому телеграмму: «Прочитала с волнением, радостью и благодарностью». [286])

Напоенная чаем, обласканная, одáренная, я ушла. В портфеле — «Эпилог» к «Реквиему» на машинке... Уже не только в памяти моей, а в портфеле.

Да, я совершила упущение по службе: один свой визит к Анне Андреевне (туда же, на Беговую) не записала вовремя. Записываю с опозданием. Это было несколько дней назад, я приехала к ней вместе с Юлианом Григорьевичем. Был Костя Богатырев. В разговоре ничего интересного; Анна Андреевна

(427) Раньше я от нее слышала: семеро.

(428) Листок сохранился. Подпись: Анна Ахматова и еще две собственноручные пометки:

Около 10 марта 1940 Фонтанный Дом	Записано 29 октября 1962 Москва

рассказывала Юлиану Григорьевичу и Косте то же, что накануне мне: биограф Гумилева вычеркивает ее из жизни Гумилева. Запомнилась мне одна фраза: «А мы были молодые, буйные».

4 ноября 62

Я привезла Анне Андреевне на Беговую 1-й том «Сочинений» Гумилева — тот самый, из которого недавно она с возмущением читала мне предисловие. (429)

Анна Андреевна сидела на диване, опираясь о большую подушку, подложенную под спину. Перелистывала книгу, вглядывалась, вчитывалась, открывала в разных местах.

— И портрет непохожий. Коля никогда не был таким.

Затем, вновь и вновь перелистывая книгу, проговорила задумчиво, медленно, угрожающе:

— Я сделаю... из них... свиное отбивное...

Потом захлопнула книгу и подняла ее над головой.

— Здесь все стихи мне. Почти все. (430)

Когда мы перешли в другую комнату чай пить:

— Я достаю свой сборник для Александра Исаевича.

(Так зовут Солженицына).

Потом:

— Вас перечитывать не могу. (431) Оттуда так и разит тем временем, вот и Марусенька сказала. Вы совершили подвиг. Да, да, не спорьте. Это подвиг, это легенда. Мы все думали то же, мы писали стихи, держали их в уме или на минуту записывали и сразу жгли, а вы это писали! Писали, зная, что́ могут сделать с вами и с дочкой! Писали под топором.

---

(429) По-видимому, когда А. А. говорила со мной об этом томе впервые, он кем-то был дан ей лишь ненадолго. Я же привезла ей Гумилева в подарок; от кого — не помню; быть может, от Корнея Ивановича.

(430) «Мне». Этим утверждением А. А. продолжала свой спор с автором предисловия, чья главная мысль, как она полагала, была вычеркнуть ее «из Колиной жизни». См. стр. 443.

(431) Несколько дней тому назад я по просьбе Анны Андреевны дала ей машинописный экземпляр «Софьи Петровны».

Я не отнекивалась, не спорила, я чувствовала себя сконфуженно и гордо, но попыталась объяснить, как я этот свой поступок помню. Совсем не как подвиг. Увидав, пережив и передумав то, что я тогда увидала, пережила и передумала, я не могла не написать того, что написала. Мне было бы труднее и страшнее н е писать, чем писать. Писать — облегчение. Мне небходимо было — для себя, ни для кого другого! — изложить всё на бумаге потому, что когда пишешь — лучше понимаешь описываемое. Может быть, это даже единственный способ понять. Не напишешь — не поймешь. Мне хотелось во что бы то ни стало осознать причину бессознания общества, слепоты общества; почему я вижу то, чего не видят другие? Имя этому всеобщему бессознанию я дала зауряднейшее: «Софья Петровна». Степень ее слепоты была степенью слепоты миллионов людей. Никакого подвига в том, что я пишу, я тогда не ощущала: это был такой же *не*подвиг, как дышать или умываться. Подвиг совершил Изя Гликин, Исидор Моисеевич Гликин, взявший у меня мою тетрадку на хранение, когда кое-кого стали таскать в Большой Дом в поисках «документа о 37», и я решила уехать с Люшей в Москву и лечь в больницу на операцию. Хранить — вот это был подвиг. И накануне смерти от голода, в предсмертном изнурении, п р о й т и с одного конца города на другой, чтобы отдать мою тетрадку сестре — вот это тоже был подвиг. Теперь повесть распространяется в машинописи, ее читают, над ней плачут (у меня писем десятки, я недавно унесла их из дому), но плачут не те, от кого зависит печатанье. Те читают, не плачут, а прикидывают и глядят «наверх», стараясь угадать волю начальства. Анна Андреевна расспрашивала меня подробно, как обстоит дело с печатанием, и я ей доложила. (432)

---

(432) После отказа из «Нового мира» (5 января 62 г.), я, 26 сентября, отнесла повесть в издательство «Советский писатель», где она в отделе прозы встречена была поначалу с полным доброжелательством; в сентябре или октябре я послала ее в журнал «Сибирские огни» и в октябре же передала в редакцию журнала «Москва». О судьбе «Софьи Петровны» в обоих журналах см. примеч. 295) и 296), об издательской судьбе — см. «Записки», т. 3, а также мою книгу «Процесс исключения».

Мы заговорили о том, может ли повториться 37-й?

— Не может, — сказала Анна Андреевна твердо, — и знаете почему? Нет фона, на котором Сталин весь этот ужас взбивал. Вот вам косвенный признак: теперешнее молодое поколение нас с вами понимает, не правда ли? они для нас ручные, свои, а тогда, в 29, в 30 году, было такое поколение, которое меня и знать не желало. «Как! Она тоже пишет какие-то стихи!» Было такое поколение, которое проходило сквозь меня, как сквозь тень. Какие-то там старые тетки любили когда-то какие-то ее стишки! — и все ждали, что вот-вот явится новый поэт, который скажет новое слово, и прочили в эти поэты Джека Алтаузена.[287])

Мы покатились со смеху — не только я, но и сдержаннейшая Мария Сергеевна.

Позднее речь зашла почему-то о Ю. Л. О. Анна Андреевна очень наставительно сказала:

— Жалко ее... Да, да, уверяю вас, у нее всякие беды. Ей худо. Если бы она хоть не была богата, тогда был бы какой-нибудь выход, какие-нибудь радости, ну, например, что осталось 25 копеек и есть на что прожить еще день, а то ведь она, бедняга, богата: роскошный драндулет с ливрейным шофером за рулем — тут уж деться некуда. Она сама понимает, что никому не нужна. А так как высшее благо жизни — это отношение к нам людей, и она лишена его, никто ею не интересуется, то ей очень худо.

(Неужели отношение к нам людей, хорошее, конечно, отношение, — это высшее благо? Я так не чувствую. Я не знаю, что такое вообще люди, и отношение ко мне этих «вообще людей» мне как-то безразлично. Чаще всего я как в тупик, как в стену, упираюсь в отношение ко мне двух, много трех, а самое страшное о д н о г о человека, и вот тут начинается... что? счастье? нет, горе, от которого я спасаюсь работой. Думаю, Анна Андреевна неточно выразила свою мысль. В «Музе» сказано ею гораздо точнее:

Что́ почести, что́ юность, что́ свобода
Пред милой гостьей с дудочкой в руке. (433)

---

(433) «Муза» («Когда я ночью жду ее прихода») — «Записки», т. 1, № 6.

Конечно, не всех посещает милая гостья, но разве, разве если человек — человек, только и свету ему и спасенья, что в людях?)

— Я уеду в Ленинград от двух дел, — сказала Анна Андреевна, — от «Нового мира» и от «Литературного Музея». Звонила Караганова — не понравилось что-то Твардовскому: не то «Поэма», не то предисловие Корнея Ивановича. Предисловие великолепно, я непременно напишу Чуковскому письмо и поблагодарю его. А Литмузей пусть делает, что хочет. Я выступать не буду, не могу, не в силах. И всё это уже суета сует и ничего не меняет. Уеду в Ленинград, а они пусть, как им хочется.

Анна Андреевна снова увела меня к себе. Ах, какой меня ожидал подарок! Она подарила мне новый, полный, заново переписанный экземпляр «Поэмы»! Окончательный! И с лагерными кусками! Только «Интермедию» еще не решила, куда вставит — кажется, перед 2 главкой. (434)

Показала мне ответную телеграмму от Паустовского, которой очень горда. Еще бы, еще бы, тут снова знак равенства между ней и Россией! «Ваша похвала равна для меня всенародному признанию». И собственно то же признание сделано в одной французской книге, которую привезли ей Андреевы. В предисловии к переводу «Поэмы» написано: «Когда же Советский Союз догадается, что ему следует гордиться Ахматовой не менее, чем Гагариным и Титовым?» (435)

---

(434) Текст этот — 62 года — в действительности еще не окончательный, хотя и близок к нему. Под «лагерными кусками» в данном случае подразумеваются вставки в «Эпилог», родившиеся значительно ранее: строфа «А за проволокой колючей»; строфа «А потом он идет с допроса» и песенка «За тебя я заплатила чистоганом». (Песенка эта одно время существовала отдельно, потом в цикле «Из сожженной тетради», а в конце пятидесятых годов переместилась в «Поэму»). «Лагерные куски» — № 71.

Интермедия «Через площадку» (впоследствии вошедшая в «Поэму» между второй и третьей главками первой части) в машинописном экземпляре 62 года была напечатана в конце: то есть после «Эпилога» и перед «Примечаниями редактора».

(435) В марте 1962 г., в журнале «Preuves» (№ 133) напечатана была «Поэма без героя» в переводе Жана и Надин Бло. «Поэма» помечена: «Ташкент, 1942», но в действительности текст ее представляет собою сокращенный вариант 42 г. с произвольными добавлениями из вариантов более поздних. [Окончание сноски на стр. 458.]

Не менее? А быть может — более?..

Люди догадались давно; а нелюдь не догадается ввек, потому что для нелюди нету поэзии вообще: не то, чтобы именно ахматовской, а вообще нет. Впрочем, если понадобится спекульнуть «великой русской поэтессой», то и спекульнут... Сделают из нее какое-нибудь набивное чучело.

Заговорили мы о слухах, доходящих «сверху» (вот тоже нерасшифрованное понятие: «верх»), будто Хрущев в каком-то из своих выступлений, настаивая на том, что следует и впредь разоблачать «культ», сказал: «Никто из вас меня не поддерживает, меня поддержала художественная интеллигенция».

— Это мы с вами, — сказала Анна Андреевна, махнув рукой в мою сторону. Ну, в таком контексте, я могу принять это «мы» без ложной скромности. Я, конечно, интеллигенция и я, конечно, только и жива надеждой на полное разоблачение сталинщины.

— Но как быть с Венгрией? — спросила я.

— Этой акции художественная интеллигенция не поддержала, — сказала Анна Андреевна.

Я ответила, что, конечно, не поддержала, но ведь и не воспрепятствовала. А как интересно — и страшно! — повторяется история! Александр II в 1861 году освободил крестьян, а в 63 задушил Польшу. Выступил в защиту Польши один Герцен, а московская «художественная интеллигенция», в особенности славянофилы, поддержали расправу с Польшей от всей души, не за страх (как «западники»), а за совесть.

В своем предисловии к «Поэме» Жан Бло, цитируя некоторые строки из «Решки», пишет: «Настанет день («час, как эта минет гроза») — когда Советский Союз поймет, что у него не менее причин гордиться Ахматовой, чем каким-нибудь Титовым или каким-нибудь Гагариным.

И тогда из грядущего века
Незнакомого человека
Пусть посмотрят дерзко глаза,
И он мне, отлетевшей тени,
Даст охапку мокрой сирени
В час, как эта минет гроза.

Будем надеяться, — пишет Жан Бло, — что время это близко, что настанет оно не в грядущем веке, а ранее — тогда, когда Ахматова будет еще среди нас».

Анна Андреевна только вздохнула. Я вспомнила герценовскую «Мазурку» и «1863», и «Письма к противнику», и «Mater Dolorosa», и «Поляки прощают нас», и «Ответ Аксакову», и несчастную некрасовскую оду Муравьеву-Вешателю... и всё, всё, что мы обязаны помнить. Но — помним ли? А если и да — то — чем помогли венграм? Так же ровно ничем, как и нашим заключенным, нашим расстрелянным... И как окончится «сражение в тишине» — там, «наверху», и что упадет «сверху» нам на голову? И у кого снова полетят головы?

— То верится, то не верится, — сказала Анна Андреевна и снова вздохнула.

Потом вдруг, одним движением руки, перенесла меня назад — в Фонтанный дом, в тридцатые. Из шестидесятых в тридцатые, с Беговой на Фонтанку. Она порывисто схватила клочок бумаги, придвинула к себе пепельницу со спичками (обе, Мария Сергеевна и Арина, курят) быстро вывела карандашом несколько слов и протянула клочок мне. Я обрадовалась: стихи. Но ведь новые стихи сейчас, в наше новое время, она уже читает вслух, под потолком, и не жжет. А эту бумажку приготовилась сжечь.

«Что вы слышали о Новочеркасске?» — написано округлым, забирающим вверх, почерком.

Я ответила на той же бумаге:

«Мало. Говорят, летом, когда повысили цены на мясо, там люди сожгли милицию, а потом были аресты».

Анна Андреевна зачеркнула слово «аресты» и написала: «трупы».

Потом поднесла к бумаге спичку и долго молча, медленно поворачивала ее в огне, стряхивая пепел в пепельницу.

Мало? А откуда мы вообще что-нибудь можем знать? О Венгрии знали из газет ложь и между строками газетной лжи прочли правду. О Новочеркасске, городе нашей «Родной земли», не знали равно ничего. [288]) Так, слухи. И мы еще корим иностранцев или эмигрантов, что они не понимают Россию!

11 ноября 62

Анна Андреевна снова у Ники. Когда я пришла, она лежала, укрытая пледом, но скоро поднялась и весь вечер

была веселая, деятельная, щедрая... Во-первых, она прочитала мне свои воспоминания о Мандельштаме. (Они, к сожалению, беднее, чем ее память о нем). Во-вторых, прочла мне набросок рецензии на книгу Тарковского. (436). В-третьих, попросила меня прочесть наизусть стихотворение «И вот, наперекор тому, / Что смерть глядит в глаза» и нашла, что запомненный мною вариант сильнее того, который запомнен ею. (437) В-четвертых, — и в главных! — показала мне те строфы, которые раньше заменялись в «Поэме» точками — показала их вписанными, наконец, ее рукой! Так как мой экземпляр был у меня с собою — я сию же минуту переписала их к себе: она позволила.

Да, мы растили детей для плахи, для застенка и для тюрьмы, а теперь новые дети растут, видно, не для плахи, если эти строки можно повторять и записывать... А — печатать? Пока не увижу эти строфы напечатанными, до тех пор и не узнаю, для чего растут нынешние дети... Анна Андреевна ведь и не предложила их пока в «Новый мир», а «Новый мир» и без них уже колеблется, печатать ли «Поэму» вообще?

Поглядим.

В соседней комнате Ника стучала на машинке. Анна Андреевна объяснила мне, что с помощью Ники она составляет новую книгу: туда войдут стихи тридцатых годов и отрывки из «Реквиема». Книга будет называться «Бег времени».

— Может быть, лучше — «Сожженная тетрадь»? — предложила я.

— Цензура не пропустит, — сказала Анна Андреевна.

12 ноября 62

Позвонила Ника, попросила меня заехать к ней за письмом Анны Андреевны к Корнею Ивановичу. Вчера я заехала

---

(436) Рецензия Анны Андреевны на книгу Арсения Тарковского «Перед снегом» (М., «Советский писатель», 1962) была принята и подготовлена к печати в журнале «Новые книги», но при жизни Ахматовой света не увидала. Она опубликована Никой Николаевной Глен лишь через много лет. См.: Анна Ахматова. Рецензия на сборник А. Тарковского. («День поэзии, 1976». М., «Советский писатель»).

(437) См. «Записки», т. 1, стр. 105.

по дороге на дачу. Это настоящий Высочайший Рескрипт. (438) По-видимому, ни «Поэма» Ахматовой, ни предисловие напечатаны в «Новом мире» не будут. Дед, бедняга, так спешил, так старался. И не печатать «Поэму» Ахматовой, с предисловием или без всякого предисловия, какой стыд!.. Мне звонила Караганова, просила быть посредницей между ними и Корнеем Ивановичем, «которого мы все так любим и уважаем». Я отказалась наотрез. Во-первых, «Новый мир», после издевательской рецензии Твардовского на «Софью», вообще не имеет права ко мне обращаться. Во-вторых, пусть сами преподносят свою ерунду. А я им не передатчик. Как это было бы ударно, выигрышно — «Поэма без героя» Ахматовой с предисловием Корнея Ивановича, которое ему очень удалось. И ведь нет же!

14 ноября 62

Сегодня Деду позвонила из «Нового мира» Озерова (Караганова в кустах) и пролепетала что-то насчет решения редколлегии не публиковать «Поэму», а, следовательно, и его предисловие. Я ждала взрыва, но Дед, с несвойственным ему спокойствием, сказал:

---

(438) К сожалению, в архиве Корнея Ивановича это письмо не сохранилось; я не теряю надежды найти его, а пока привожу лишь начало, сохранившееся в архиве Ники Николаевны Глен.

«Дорогой Корней Иванович!

С каждым днем у меня растет потребность написать Вам (писем я не писала уже лет тридцать), чтобы сказать, какое огромное и прекрасное дело Вы сделали, создав то, что Вам угодно было назвать «Читая Ахматову». Вы очень легкой рукой, изящно, просто и неопровержимо написали о моем творческом пути и о моем Триптихе, который Вы помните еще по Ташкенту.

Вашу работу читали самые разные люди, и я давно не видела, чтобы какая-нибудь статья так нравилась, чтобы вызывала такое волнение и сочувствие, а мне остается только удивляться тому, как много Вами безошибочно угадано. Вы сказали о поэме самое нужное, самое главное».

Сохранилась также запись Корнея Ивановича, сделанная им 14 ноября 62 г. «Вчера, во вторник, я с восторгом удрал <...> из беспощадной Барвихи, где меня простудили <...> Здесь ждала меня нечаянная радость: дружеское письмо от Ахматовой: очень задушевно, искренне благодарит меня за статейку "Читая Ахматову"».

— Какая у вас, однако, глупая редколлегия!

(Думаю, это спокойствие вызвано тем, что в кармане его рабочей зеленой куртки лежит письмо Ахматовой).

Мне жаль Калерию Николаевну. Она человек доброжелательный и литературу любит. И вот какие приятные поручения вынуждена исполнять. [289])

16 ноября 62

Ника позвонила, что Анна Андреевна просит придти, и я отправилась. Анна Андреевна лежала на кушетке, отозвалась слабым голосом, но через несколько минут спустила отечные ноги на пол, нащупала ногами туфли, подобрала и заколола распущенные волосы и бодро пересела в кресло.

— Докладываю, — начала она. — У меня был Сурков. Явился с букетом. Он сказал: «если бы я только мог предположить, что вы в Москве, я привез бы вам цветы из Рима».

— «Горы пармских фиалок в апреле», — процитировала я. — «И свиданье в Мальтийской капелле». Ну, а как прошло свидание?

— «Встреча прошла в теплой, дружественной обстановке». Я просила Суркова позаботиться о Наде: о ее жилье, прописке, пенсии, работе. Он не дал мне договорить. Всё выговорил сам. И то, что Надежда Яковлевна — вдова великого поэта. И то, сколько уж лет она терпит унижения и несправедливости. И что необходимо все эти безобразия прекратить.

Интересно, станет ли Сурков в действительности хлопотать за Надежду Яковлевну и прекратит ли безобразия? Я рассказала Анне Андреевне, как Корней Иванович ходил когда-то к Суркову просить, чтобы Союз предоставил квартиру Тамаре Григорьевне — она жила тогда со своими стариками на Сущевской, в двух крошечных и несмежных комнатушках большой коммунальной квартиры, с полуразрушенной лестницей. Теснота была в обеих комнатушках немыслимая: чтобы подойти к постели больной Евгении Самойловны, надо было отодвигать стол, а чтобы выпить чаю в комнате Тамары Григорьевны — снять все книги с бюро прямо на пол. Не только стряпали и стирали — мылись в общей коммунальной кухне, потому что ванной не было. И вот что примечательно:

не успел Корней Иванович рта открыть, чтоб перечислить Тусины статьи, пьесы и сказки, и изобразить трущобу, в которой она вынуждена жить, работать и заботиться о смертельно больной матери — как Сурков всё перечислил ему сам, и все Тусины заслуги и все Тусины беды с сочувствием и возмущением. А потом не сделал н и ч е г о, так что Соломон Маркович и Евгения Самойловна умерли в этой же трущобе... Тамаре Григорьевне Союз не только не предоставил квартиру, но почему-то в течение долгого времени не разрешал даже вступить в кооператив, то есть купить квартиру на собственные деньги. (Разрешили уже после смерти стариков). Это я к тому вспомнила и рассказала, что на сочувствие Суркова Надежде Яковлевне особенно полагаться нельзя. Поглядим. Времена другие и, может быть, все обернется иначе.

Сурков сказал Анне Андреевне, что т е п е р ь следует издать ее однотомник «большой, настоящий», а не «крошечный» (намекая на последний сборник 61 года).

— А ведь из «крошечного» он всё вычеркивал сам! — напомнила мне Анна Андреевна со смехом.

— Шут! — не выдержала я. И сейчас же раскаялась. Потому что Сурков несомненно Анну Андреевну любит и несомненно понимает цену ее поэзии. Но он чиновник — в первую очередь, а любитель поэзии — во вторую.

— Ну, что вы, Лидия Корнеевна, ну что вы так на него, Сурков как Сурков, — сказала Анна Андреевна. — Но я с ним тоже была хорошей ведьмой. Он начал мне выдавать какие-то комплименты: «Расцвет! У вас расцвет!» «Какой, говорю, расцвет, пора в могилу».

Потом она позвала Нику и попросила ее показать мне список стихотворений, отобранных для сборника, который она намеревается предложить издательству «Советский писатель». Всего 96 стихотворений. Я посоветовала включить «К смерти» из «Реквиема», так вот вместе со стихотворением «Ты всё равно придешь» и выходит 96. Перечитывая список и почти за каждой первой строкой сразу слыша всё стихотворение целиком, я сказала:

— По названиям я не всегда узнаю́. Мне трудно.

— Так ведь я здесь! Перед вами! Спрашивайте, когда не понимаете — я отвечу! «Тут тебе ширма, тут и Петрушка».

(Она в самом деле тут, в этой комнате; напротив меня: я на кушетке, она в кресле... «Е щ е тут», — подумала я).

Сегодня она веселая, шутливая. Когда читала мне одно четверостишие, которое я позабыла, я невольно нахмурилась от напряжения. Увидя мою нахмуренность, она, как на сцене, прикрыла рот ладонью и громким сценическим шопотом, «в сторону», с отчаянием прошептала Нике:

— Не понравилось!

Поручила мне спросить у Корнея Ивановича, согласен ли он отдать свое предисловие к «Поэме» — вместе с «Поэмой», конечно, — в «Знамя». Затем высказала по поводу предисловия еще три мелких пожелания.

Заговорили о Солженицыне.

— Я не уеду в Ленинград, — сказала она, — пока не подержу в руках № 11 «Нового мира». Хочу убедиться, что новая эпоха настала. А чуть прочту Солженицына в журнале, сразу уеду: мне пора пенсию получать, за дачу платить... Вернусь в январе. (439)

Снова повторипа о Солженицыне: «Это человек поразительный, не только писатель». И снова: «Он слышит, что́ говорит».

— А вот, например, И. А. — та не слышит. Сказала мне недавно: «Не люблю, когда бранят Наталию Николаевну Пушкину. Боюсь, когда скончается Лиля Юрьевна, ее тоже начнут бранить». А при чем тут вообще Лиля Юрьевна?

Начала расспрашивать меня о Malia. Я мельком пожаловалась, что он иногда слишком поздно засиживается и я от разговоров устаю, хотя мне и интересно разговаривать с ним. И тут она. в ответ на мои слова, вдруг такое произнесла, что сразу осветило мне некоторые строфы в «Поэме». Я, конечно, многое разгадала сама, но услышать подтверждение догадки из уст автора — дело иное.

— Ничего удивительного, что Malia засиживается, — сказала она, — Malia ведь приятель сэра Исайи, а тот просидел у меня однажды 12 часов подряд и заслужил Постановление...

(439) № 11 «Нового мира», подписанный к печати 3 ноября 1962 года, вышел в свет именно в день нашего разговора — 16 ноября. Но мы этого еще не знали.

(«Заслужил!» «...мы с ним такое заслужим, / Что смутится двадцатый век». И в «Посвящении»: «Он погибель мне принесет»... Итак, она полагает, что именно визит к ней сэра Исайи вызвал чудовищную меру 46 года...)

Тут я ей пересказала слышанное мною накануне от Жени Ласкиной — им на редколлегии доложил Аркадий Васильев: когда Твардовский ходил к Хрущеву с рукописью Солженицына, то спросил Никиту Сергеевича заодно и об Ахматовой и Зощенко, и Хрущев ему будто бы сказал: «Постановление 46 года можно игнорировать»... Вот почему, думаю я, все журналы кинулись к ней сейчас за стихами. И вот почему Сурков возмечтал о толстом, настоящем однотомнике. [290])

— Жаль, Мишенька не дожил! — вздохнула Анна Андреевна.

...А про Malia я рассказала ей один эпизод. По поводу иностранного — да и нашего собственного — непонимания нашей жизни и того, чего нам ждать от непонятного «верха». В давешнем октябре, в разгар кубинских событий — ну, когда Америка потребовала, чтобы мы убрали свои ракеты с Кубы, а мы заявили, будто никаких ракет там нету, а нам были предъявлены фотографии ракетных установок и ультиматум — и тогда ракеты нашлись и мы их убрали — вот в эти часы, когда на улицах происходило очередное запланированное «лордам в морду», ко мне внезапно, без обычного телефонного звонка, пришел Malia. Я по обыкновению работала. Вижу, он очень взбудоражен. Предлагаю ему снять пальто, присесть, спрашиваю, что случилось? Нет, не снимает и не садится. Изо всех карманов торчат, как огромные, хорошо выглаженные носовые платки, — газеты. Стоит прямо передо мной, молчит и в недоумении смотрит на мой пюпитр. Спрашивает:

— Что вы делаете?

— Я... Я ничего не делаю. Я пишу.

— Сегодня — пишете? Что-нибудь срочное?

— Нет, не особенно... То есть — да, конечно. Я к сроку готовлю второе издание своей книги. Об искусстве редактирования художественной прозы.

— Как вы сказали?

— Называется «В лаборатории редактора». В сущности это книга о русском языке.

— И вы сейчас это пишете? Сегодня?

— Да. А что?

— Сегодня решается, будет ли война. Если ваше правительство не уберет ракеты с Кубы, война начнется. Вы это понимаете?

— Понимаю.

— Что же вы делаете?

— Я? Ничего. Я пишу. Война либо будет, либо нет. Меня всё равно не спросят. Узна́ю, когда наш дом взлетит на воздух. А по́ка — пишу.

Malia — человек слишком хорошо воспитанный, чтобы явно пожать плечами. Но, ручаюсь — в душе пожал. «Стойкость» подумал он. Или так: «Восточный фатализм». Или так: «Русская национальная черта: равнодушие к общественной жизни». А что общественной жизни у нас просто нет, что существует только ее регламентированная фикция, что «демонстрации трудящихся» так же мало выражают волю и мысль общества, как, например, выборы — это ему на ум не приходит. Он взглянул на часы — вероятно, истекали часы ультиматума — и поспешил в посольство за новостями. Я же продолжала работать. Найдет начальство нужным — сообщит новости, не найдет нужным — не сообщит — куда же мне спешить? «Вот и попробуй, объясни ему нашу жизнь, — окончила я. — Нашу безжизненность».

— Да, — сказала Анна Андреевна. — Это ему не XIX век. Не Дмитриев-Мамонов. К такому омертвению люди приходят не сразу. Требуются десятилетия дрессировки в спокойствие. Не в спокойствие — в мертвость.

19 ноября 62

Монолог Анны Андревны по телефону:

— Нездоровится; нет, ничего особенного, гастрит; вот лежу и болтаю с друзьями. Я решила уехать в Ленинград от вечера Литмузея. Пусть делают без меня. Если я в Питере, то вот и естественно, что меня нет. Я их боюсь, они все путают. Маринин вечер устроили бездарно. Приехал Эренбург, привез Слуцкого и Тагера — Слуцкого еще слушали кое-как,

а Тагер тянул, тянул, тянул, тянул и зал постепенно начал жить собственной жизнью. Знаете, как это бывает? Каждый занимается собственным делом. Одни кашляют, другие играют в пинг-понг. (Я прыснула). И это — возвращение Марины в Москву, в е е Москву!.. Нет, благодарю покорно. [291])

Дальше она рассказала план, придуманный Ниной Антоновной:

Корней Иванович читает статью о «Поэме».

Нина — «Предысторию» и куски из «Поэмы».

Жирмунский — читает статью о лирике, а потом все слушают голос Ахматовой, записанный на магнитофоне: Ахматова читает стихи.

Да, еще Тарковский.

23 ноября 62

Днем я привезла Анне Андреевне из Переделкина от Корнея Ивановича новый, с учетом всех ее замечаний и просьб, вариант предисловия. Анна Андреевна на кушетке — растрепанная, неприбранная, без лифчика, тучная. Такой она часто бывает с утра. Папку с рукописью сунула себе под подушку. Она хочет вручить Дедову статью Скоринихе для «Знамени», а если «Поэма» не пойдет в «Знамени» — передать в «Москву».

— Это — шедевр Корнея Чуковского, — сказала она. — Вот увидите, как его работа будет оценена. Статья написана г р о м к о. У нас совсем утрачено это искусство.

За стенкой зазвонил телефон. На длинном шнуре Ника из другой комнаты принесла аппарат и поставила на низенький столик возле кушетки. Только что Анна Андреевна казалась мне некрасивой, старой, обрюзгшей, и вдруг на моих глазах совершилось «обыкновенное чудо», обычное, столько раз мною виденное, ахматовское преображение. Исчезла беззубость, исчез большой живот. Властно взяла она трубку. Царственным движением откинула шнур. Повелительно заговорила.

Недослушивая и не допуская возражений (в трубке копошился какой-то мужской голос), она произнесла, что раньше декабря-января ве́чера её устраивать не следует; что все участники сейчас отсутствуют (например, Жирмунский заграницей) или не могут (Тарковский), что за 50 лет литературной

работы она заслужила обдуманный, профессионально-исполненный вечер, а не самодеятельность. Не дослушав, она раздавила чьи-то возражения, попросту положив трубку на рычаг.

— Слава Богу, отменила. Он говорит: вечер намечен на 29-ое, потому что им надо к сроку выполнить план. Вы подумайте только: они выполняют план, а я из-за этого должна быть представлена Бог знает как... В январе я, быть может, сама приеду. А умру к тому времени — еще лучше: большой портрет на сцене и очень много цветов.

Заговорили о Солженицыне.

— Можете себе представить, что с ним сейчас делается? Мгновенная мировая слава. Он дает урок, подходит к доске, пишет мелом, а все ученики уже читали газеты, полные его именем... Трудно себе это вообразить. [292])

— Ну, вам не так уж трудно.

— Я тогда не стояла у доски.

Я торопилась домой, потому что в 3 часа мне назначено было звонить Кожевникову по поводу «Софьи». Анна же Андреевна ждала Наташу Рожанскую, потом болгар — мне не хотелось звонить при них. [293]) Я поднялась. Анна Андреевна вышла проводить меня в переднюю.

— Если даже не напечатают сейчас ни «Поэму», ни «Софью Петровну», — сказала она (я поперхнулась от такого сопоставления и до сих пор испытываю неловкость; Анна Андреевна желала мне сказать комплимент, не сознавая, что сопоставлением унижает меня: без сопоставления с Ахматовой, я — человек и литератор, при сопоставлении — ничтожество, ноль); — Если даже не напечатают сейчас ни «Поэму», ни «Софью Петровну», всё равно: теперь можно повторить сталинские слова: «жить стало лучше, жить стало веселей». И всё потому, что его нет. Не правда ли, Лидия Корнеевна?

Я пришла домой, позвонила в «Знамя», выслушала обдуманную злорадную грубость Кожевникова, прилегла на диван, чтобы унять сердцебиение и, когда оно чуть утихло, заснула. Разбудил меня телефонный звонок.

Звонила Анна Андреевна.

— Ну, что в «Знамени»?

— Кожевников сказал мне: у нас в редакции лежат две вещи на ту же тему, что и ваша. Но перед вашей они имеют большое преимущество в идейном и художественном отношении.

Анна Андреевна помолчала.

— Ну, а что у вас? — спросила я. — Были болгары?

— Были. Целых четверо. Фотографии, автографы, лесть, Бог знает что. Я приняла их верноподданнические чувства.

— А Скорино? — спросила я. — Еще не прочитала? Не звонила?

— Нет. Еще нет. Я думаю, она ответит мне, что у них в редакции лежат две поэмы на ту же тему, что и моя, имеющие перед моей большие преимущества в идейном и художественном отношении... Всего хорошего. Приходите скорей.

2 декабря 62

Анна Андреевна звонила с утра и звала к себе днем, но днем я ездила навещать тяжело хворающего Самуила Яковлевича, засиделась возле него и к ней поспела только вечером.

На кушетке раскрыта постель. Анна Андреевна в кресле.

— Всю жизнь пролежала, — пожав мне руку, сказала она с досадой. — А теперь устаю от лежания.

Почти весь вечер была она раздраженная, недобрая. Думаю, она и сидеть устает. Попросила Нику дать мне прочесть корректуру стихов в «Знамени». Но на каждое мое корректорское замечание сердилась. Например, очень рассердилась, когда я сказала ей, что слово «зюйд-вест» (в строке: «Чего же ты хочешь, товарищ зюйд-вест?») (440) пишется через *и краткое*. Она сердито настаивала: «зюд», а не «зюйд». В конце концов согласилась, но очень была недовольна. Потом я сказала ей, что вспомнила нынче еще четыре ее строки (правда, вторую с дырками), и спросила, записаны ли они у нее?

---

(440) Строка из стихотворения: «Опять подошли «незабвенные даты» — см. «Знамя», 1963, № 1 и БВ, Седьмая книга.

И вовсе я не пророчица
Жизнь — / — / как ручей.
А просто мне петь не хочется
Под звон тюремных ключей.

Она обрадовалась было, схватила маленький узкий блокнотик и начала записывать. Но тут же попрекнула меня, зачем это я не целиком вспомнила вторую строку?

— Но дальше, дальше? — спрашивала она, глядя на меня снизу сердито и не выпуская блокнот из рук. Я уверяла: дальше ничего не было, последние две строки заключительные.

— Нет, дальше, дальше! — требовала она. — Вы позабыли.

Ей, конечно, виднее. Но мне она прочла тогда только эти четыре! Конечно, я виновата: забыла вторую.

Весь вечер она не расставалась с блокнотиком, вглядывалась во вновь записанные строки, пытаясь и во время разговора восстановить утраченное. (441)

Разговор зашел о Солженицыне, и она оживилась. Он опять побывал. Она спросила его, не собирается ли он переезжать в Москву? Он ответил, что расстаться с Рязанью ему трудновато: «на моем попечении несколько старушек».

— Он как будто стал темнее, — сказала Анна Андреевна. — Какая-то тень на лице.

Подобрев, она начала утешать меня в моих неудачах с «Софьей», хотя я и не жаловалась. По ее словам, она дает всем читать мою рукопись и вокруг «восторг и слезы».

Я сказала ей, что самое время печатать «Реквием». И спросила, нет ли из «Знамени» ответа насчет «Поэмы»?

— Нет, — сказала Анна Андреевна. — Что́ бы это могло значить? Я думаю, инструкция об отмене ждановщины еще не дошла до них.

---

(441) Впоследствии, утраченное было Анной Андреевной восстановлено:

И вовсе я не пророчица,
Жизнь моя светла, как ручей.
А просто мне петь не хочется
Под звон тюремных ключей.

(«Памяти А. А.», стр. 22)

Следующее же четверостишие так и не обнаружено. Примеч. 1977 г.

До «Знамени» не дошла?! Я молча подивилась такой наивности в ее устах. Ведь человек она весьма не наивный. Как это не дошла? Васильев и Кожевников — одного поля ягода. Если Хрущев произнес, и если Васильев знает, то уж наверняка знает и его соратник, Кожевников, и вообще все, кому ведать надлежит.

Провожая меня в переднюю, Анна Андреевна сказала:

— Да, с «Поэмой» что-то неспроста.

В Никином восьмиэтажном доме я люблю спускаться по лестнице. Подниматься, когда лифт испорчен, — смерть, а вниз — люблю. Из каждого окошка далеко видно сплетение городских огней. Все дома ниже этого — и сколько огней и какие узоры огней под и над крышами! Глядя на эти узоры, я думала обо всем сразу: о болезни Анны Андреевны, о Солженицыне — какой он? увижу ли его когда-нибудь? о «Реквиеме», о «Поэме». О «Софье» не думала, и не от боли, а потому, что в моей жизни никогда и ни в чем не бывало удач, «я и без зайца знал, что будет плохо», как говорит один помещик у Чехова. Я привыкла, да и о чем же тут думать? Опять плохо, снова плохо; и неправда! не плохо вовсе, раз вырвался на волю «Один день Ивана Денисовича», и, дай Бог, «Реквием» вырвется скоро. Ведь это всё о Мите. И какими голосами! Хорошо, а не плохо... Вот с «Поэмой» хотелось бы разгадать, что творится. Я села на подоконник, и, глядя на огни, перечла первую часть и «Решку». Я думаю, что с ждановщиной в самом деле велено не считаться, то есть печатать Ахматову разрешено (вот и печатают стихи во многих местах), но «Поэма» сама по себе, безо всякого Жданова ставит их втупик. Ла́геря они там, к счастью, не чуют, но какую-то крамолу чувствуют. Может быть, опасаются, что там где-то упрятан Гумилев? Под чьею-то Маской?

«И к чему нам сегодня эти
Рассуждения о поэте
И каких-то п р и з р а к о в рой;»
. . . .
«Прочитав последнюю фразу,
Не поймешь, кто в кого влюблен»,

а они смерть не любят, когда им не понять. А, быть может, догадываются, что речь в «Поэме» идет о победе над ними? О победе поэта?

Существо это странного нрава.
Он не ждет, чтоб подагра и слава
Впопыхах усадили его
В юбилейные пышные кресла,
А несет по цветущему вереску,
По пустыням свое торжество.

Это им не 7 ноября и не 1 мая. Это какое-то другое торжество. Как же позволить ему восторжествовать?

5 декабря 62, Переделкино

Насчет того, будто ждановщина отменена — это еще бабушка надвое сказала. То есть не бабушка, а Хрущев. А может быть, он этого вовсе и не говорил, а Твардовский просто принял желаемое за действительность?

Сегодня я, по просьбе Лели Златовой, принесла ей Солж. 2, полученного мною от друзей, и она, среди целого вороха слухов: кто отвечал Хрущеву в Манеже, есть ли основания ожидать разгрома не только живописи, рисунка, скульптуры, но и литературы, сообщила:

— Из № 12 «Нового мира» вырезаны цензурой воспоминания Каверина о Зощенко, где Каверин весьма прозрачно осуждает ждановщину. [294])

Ах, вот как! Сталинщина отменена, а ждановщина в силе! Не успеешь обрадоваться светлому лучу в темном царстве, как снова погружаешься в привычный мрак.

...А вдруг и Солженицына вторую вещь не напечатают? Мне она полюбилась более первой. Та ошеломляет смелостью, потрясает материалом — ну, конечно, и литературным мастерством; а «Матрена»... тут уже виден великий художник, человечный, возвращающий нам родной язык, любящий Россию, как Блоком сказано, смертельно оскорбленной любовью.

Недаром славит каждый род
Смертельно оскорбленный гений.

Вот и сбывается пророческая клятва Ахматовой:

И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.

Сохранил — возродил — з/к, Солженицын.(442)

9 декабря 62

Анна Андреевна сказала по телефону, что в восемь к ней придет Оксман, а меня она просит придти в семь. Я пришла. Событие: целиком переписан «Реквием», переписан в нескольких экземплярах на машинке! Итак, чудо закреплено, «Реквием» не пропадет, даже если враз помрут те 7 или 11 человек, которые, как и я, обязаны знать его наизусть. Я с благоговением взяла в руки перепечатанные Никой страницы. Теперь уже не надо, не надо, не надо жечь эти слова над пепельницей, теперь, выпущенные на свободу, они сами будут «жечь сердца людей».

Новость для меня. Эпиграф:

Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл, —
Я была тогда с моим народом
Там, где мой народ, к несчастью, был. (443)

Анна Андреевна спросила меня, как по-моему, стоит ли включить в «Реквием» другие стихотворения тридцатых годов, например, «Немного географии», «И вот, наперекор тому». (444) Я твердо ответила нет, хотя и сама толком не могла

---

(442) Мои опасения по поводу рассказа «Не стоит село без праведника» оказались преждевременными. Получив новое заглавие — «Матренин двор», рассказ был опубликован в № 1 «Нового мира» за 1963 г. Преследования Солженицына начались позднее.

(443) Заключительные строки стихотворения «Так не зря мы вместе бедовали», № 93. Посоветовал Анне Андреевне предпослать эти строки (в качестве эпиграфа) «Реквиему» — Л. З. Копелев.

(444) Оба стихотворения см. «Записки», т. 1, стр. 65 и 105.

бы объяснить, почему. Нет, могла бы. Наверное потому, что эти, с такою силой обобщающие время и события стихи, имеют менее власти над сердцем, чем стихи «Реквиема», чисто лирические, как бы камерные, как бы личные; рыдание одной матери над единственным, отнятым у нее и распинаемым сыном. Голос единственный, мать одна и сын один и распятие одно, а мы слышим за этой единственностью «море горя», «горы горя»:

А если зажмут мой измученный рот,
Которым кричит стомильонный
народ.. —

тут единственное естественно превращается в стомиллионное, и более никаких дополнений не требуется. Я бы даже убрала не реквиемское стихотворение: «Это было, когда улыбался / Только мертвый, спокойствию рад», и напечатала бы его среди других изумительных, но не реквиемских стихотворений 30-40 годов о застенке: «С Новым Годом! С новым горем!», «Привольем пахнет дикий мед», «Стансы», «Я приснюсь тебе черной овцою», «И вот, наперекор тому» и т. д.

Но как бы там ни было, а «Реквием» перепечатан. (445)

---

(445) Перечисленные стихи см. «Записки», №№ 9, 25, 61, 77, а также стр. 105 (т. 1). Стихотворение «Это было, когда улыбался» (см. «Записки», т. 1, № 13) оказалось в «Реквиеме» не тогда, когда «Реквием» писался, а было вставлено автором при перепечатке, то есть в декабре 1962 года.

А. И. Солженицын, выслушав «Реквием», сказал Анне Андреевне: «Жаль, что в ваших стихах речь идет всего лишь об одной судьбе». А. А. сама рассказала мне об этих словах Александра Исаевича, дивясь им и не соглашаясь с ними. «Разве одною судьбой нельзя передать судьбу миллионов?» — говорила она. — «Разве «Эпилог» к «Реквиему» это уже не судьбы миллионов?» — говорила я. — «Да ведь и сам Солженицын «Одним днем з/к», одною судьбой изобразил многолетние судьбы миллионов». (Этот разговор очень памятный мне, не был, по каким-то случайным обстоятельствам, своевременно записан мною в тетрадь). Не согласившись сначала с Солженицыным, Ахматова впоследствии, по-видимому, все-таки приняла его слова во внимание: стихи, содержащие во втором четверостишии слова́:

И когда, обезумев от муки,
Шли уже осужденных полки —

включены были Анной Андреевной в «Реквием», я полагаю, как результат замечания, сделанного Солженицыным.

Однако, не успела я ему нарадоваться, как Анна Андреевна обрушила на меня дурное известие: Скорино объявила ей, что «Поэму без героя» и статью Корнея Ивановича Кожевников печатать не желает.

С какою быстротою, однако, они отмобилизовались — эти насильники над словом, эти ненавистники родной страны. Пари держу, что Кожевников скрыто ненавидит Солженицына. Недаром в споре между Паустовским и «Октябрем» Кожевников на стороне «Октября». Не печатать «Поэму без героя», поэму времени, поэму двух канунов, «Поэму» — трагедию XX века, «Поэму», где каждая строка — история России; скрывать от народа его историю и его поэзию — какая это подлость! А ведь, небось, литератором себя считает.

Посмотрим еще, что станется с «Реквиемом», если Анна Андреевна попробует его напечатать.

Скоро пришел Оксман. Он был утомлен, возбужден и совершал бестактность за бестактностью. Обыкновенно, при блеске его ума, ему это вовсе не свойственно. Усталость дурной советчик. Началось с меня и племянницы.

Он предупредил Анну Андреевну, что скоро придет его племянница, которая пишет стихи и мечтает увидеть Ахматову. Анна Андреевна изъявила благоволение. Вскоре пришла молодая девушка, очень молодая и очень застенчивая. Юлиан Григорьевич представил ее Анне Андреевне и потом мне. Назвал мое имя. Анна Андреевна приветливо улыбнулась и предложила гостье сесть. Тут бы и началась беседа девочки с Ахматовой, но Юлиан Григорьевич строго, как на экзамене, спросил племянницу, указывая на меня:

— А ты знаешь, кто это?

Девушка растерялась. Я тоже. Какого собственно он ожидал от нее ответа? Я на такой вопрос относительно себя тоже не могла бы ответить.

Но Юлиан Григорьевич настырничал.

— А ты знаешь, что́ написала Лидия Корнеевна?

Девочка, конечно, не знала, а я от конфуза нырнула за ширму. Вынырнула я оттуда только тогда, когда аудиенция уже шла к концу. Девица уже кончила читать стихи и выслу-

шала советы Анны Андреевны. Я из-за ширмы слышала два стихотворения, оба плохие, но одно из них всё же получше: «Золушка». В другом упоминаются герои Грина.

— Вы любите Грина? — спросила Анна Андреевна.

— Да.

— Ну, ничего, с годами это пройдет.

(Я возгордилась: с юности Грина терпеть не могу. Всё какие-то дешевые красоты дешевого романтизма, а язык не русский: то́ ли перевод, то́ ли эсперанто).

Девица, разумеется, мечтала, чтобы Анна Андреевна прочла ей что-нибудь своё. И тут меня снова удивил Юлиан Григорьевич. Анна Андреевна, согласившись читать, в шутку указала на магнитофон: «Этот ящик читает гораздо лучше меня». Юлиан Григорьевич весьма заинтересовался ящиком и требовал, чтобы магнитофон включили.

Но самая большая бестактность совершена им была с самого начала, еще до появления племянницы. Анна Андреевна, чуть только Оксман поздоровался с нами, протянула ему экземпляр «Реквиема» и сказала:

— Пойдите туда, к окну, сядьте за стол и прочтите. А мы тут с Лидией Корнеевной будем сидеть тихо, как мыши.

Мы не сидели тихо, как мыши, мы тихонько разговаривали, но Юлиан Григорьевич, к моему глубочайшему удивлению, ч и т а я с т и х и, впервые читая «Реквием»! — подавал от окна реплики и участвовал в нашей беседе...

Анна Андреевна относилась к этому кротко, то есть благовоспитанно, то есть делала вид, что никакого неприличия не происходит, я же дрожала от злости и, не удержавшись, крикнула один раз Юлиану Григорьевичу:

— Вам нельзя разговаривать! Вы читаете стихи!

Но вот что примечательно — Оксман сказал: «Ни в коем случае не следует «Реквием» отдавать ни в какую редакцию... Прочитав, обрадуются: «а-а-а! так значит постановление 46 года было справедливым».

В «Октябрь», конечно, нет. Но, может быть, в «Новый мир»?

Юлиану Григорьевичу Анна Андреевна тоже рассказала о предисловии Струве к первому тому Гумилева.

— Всё неверно... сведения от трех дементных старух... Полагается на Вячеслава Иванова, который Колю ненавидел, и на Брюсова, который его не знал.

Оксман ушел, пришла Эмма. Ника принесла чай с тортом. Анна Андреевна сказала, что слышала уже речи завистников, чернящих Солженицына. С яростью — иначе назвать не могу, именно с яростью — говорила об Ардове, который о Солженицыне отозвался презрительно. Далее он заявил, что ему, Ардову, как и Хрущеву, не нравятся наши абстракционисты.

— Нет, говорю, у наших «левых» встречается кое-что живое, а вот что́ действительно мертвечина — это американские абстракционисты. Ардов такого поворота не ожидал. «Откуда вы знаете?» — «Мне привез альбомы один влюбленный в меня американец и я насмотрелась. И так и этак стараются, все плоско, все убого».

Потом еще сказала:

— Вы заметили, сейчас многие москвичи без конца разговаривают о Софронове, Кочетове, Грибачеве — в общем, в ходу какие-то порицаемые пять имен; есть люди, которые могут говорить только о них, ни о чем больше думать и говорить не желают, воображая при этом, что, занимаясь ими, они заняты литературой.

— Вы заметили, что́ случилось со стихами У. о Сталине? Пока они ходили по рукам, казалось, что это стихи. Но вот они напечатаны, и все увидели, что это неумелые, беспомощные самоделки. Я боялась, с моим «Реквиемом» будет то же. Перепечатала и стала показывать. Показала Андреевым. Нет, плачут.

15 декабря 62

Анна Андреевна у Ардовых. Позвонила мне оттуда, и я пошла. Обе мы были вялые и не в духе. Я — от недосыпа и возни с «Софьей», которая меня утомила до беспамятства, до полного равнодушия к печатанию...[295]) Анна Андреевна сидит на своей койке с распущенными серебряными мокрыми волосами; сушит волосы после ванны. Говорит, что ванну, по-видимому, принимать ей не следовало: одышка усилилась. Разговор был вообще пустоватый, мы обе часто умолкали. Интересны две новости:

1) Скориниха попросила разрешения оставить в редакции «Знамени» «Поэму» и предисловие Корнея Ивановича еще на два дня. Значит, еще какому-нибудь знатоку — не поэзии, конечно, а ситуации — будут показывать.

2) Лев Адольфович Озеров утверждает, будто слухи об отмене постановления 46 г. — всего лишь слухи, Хрущев его вовсе не отменял... В самом деле, ведь все постановления ЦК для партии и правительства нечто вроде Священного Писания. Отмене они не подлежат. Но в запасе у руководителей существуют три удобных словца: «на данном этапе» и «на прежнем этапе». Таким образом партия всегда остается права. Кажется, это у них называется диалектикой. «На прежнем этапе» надо было так, а на новом — этак. Тогда было правильно одно, сегодня — противоположное, которое, хоть оно и противоположно, вовсе не зачеркивает предыдущее... А на самом деле как красиво было бы отменить постановления 46 г., спихнув этот плод маразма на тот же попираемый ныне «культ личности»!

Анна Андреевна уверяет, что ей всё едино, но я не верю.

Тот же Озеров советует никому не показывать «Реквием».

Но ведь XX и XXII съезды были! Не приснились же они нам! Ведь Солженицын напечатан!

А, может статься, этап разоблачений и покаяний уже окончился и «на данном этапе» оплакивать замученных и убиенных уже не следует? «На данном этапе» следует уже забывать, забывать, забывать?

Провожая меня в переднюю, Анна Андреевна сказала, что завтра вернется к Нике, хотя собиралась пожить здесь дольше. Она переехала сюда, надеясь побыть с Ниной Антоновной, пока Ардов в Голицыне. Ардов вернулся раньше, чем его ожидали, и Анна Андреевна не скрыла от меня свое неудовольствие. По-видимому ее с ним отношения, которые никогда не были глубоки, а всего лишь поверхностно-доброжелательны, теперь совершенно разладились.

У двери в кухню стояла молодая женщина — Борина жена — с малюткой на руках.

— Посмотрите, какая у нас новая Нина, — сказала Анна Андреевна.

Новая Нина, месяцев шести отроду, оказалась очень приветливой, смеялась и подпрыгивала у матери на руках, ухватив меня за палец.

21 декабря 62

Беда.

Среди дня голос Анны Андреевны по телефону: «неужели вы в городе! Как я рада, что вы в городе! Приходите сейчас, скорее, срочно!»

У меня еще со вчерашнего дня после разговора с Лаврентьевым не утихло сердцебиение, мне требовалось лечь, но я отправилась. Уж очень у Анны Андреевны был огорченный голос. [296]) Мороз. Троллейбусы ползут еле-еле, и сквозь стекла, обросшие льдом, ничего не видать. Я долго стояла на остановке, долго стояла в троллейбусе, потом долго поднималась, этаж за этажом, на Никин восьмой (лифт не работает) и всю дорогу раздумывала, что же такое стряслось? Вернули Анне Андреевне окончательно «Поэму»? Эка невидаль — вернули! К этому она привыкла. Какая-нибудь корректура? Тогда голос не звучал бы трагически. Что-нибудь с Лёвой? Нет, время не то. С «Реквиемом»? Во всяком случае, думала я, попахивает Большим Домом.

Я не ошиблась.

Анна Андреевна лежит на кушетке с грелкой в ногах.

Лицо искаженное.

Ника на работе. Возле постели хлопочет маленькая Никина мама.

В самом деле беда и в самом деле — тень Большого Дома. И царствованию его не будет конца, хоть издохни Сталин еще 3 раза, хоть еще трижды расстреляй Берию,

Анна Андреевна протянула мне письмо. Сначала я ничего не поняла. Пишет какая-то девушка, что какого-то Гену берут в армию и что Анна Андреевна должна написать ему письмо. Ничего странного и особенного, кроме некоторой настырности тона. Анна Андреевна протянула мне второе письмо. Вышеупомянутый Гена сообщает, что Анна Андреевна должна разрешить ему прислать ей «на просмотр» стихи... Тоже обычное дело. А дальше речь идет о каком-то письме,

будто бы написанном Ахматовой в «Литературную газету», письме, после которого его, Гену, выгнали из Института и вот теперь берут в армию...

Раздраженно, обрывисто, торопливо, каждую секунду сердитыми ладонями поднимая под голову подушку, Анна Андреевна рассказала мне следующее. Летом сотрудник «Литературной газеты» привез ей письмо от двух мальчиков, посланное, по незнанию ее адреса, в редакцию газеты, с просьбой доставить ей; в письме молодые люди объясняли, что за нее они готовы отдать жизнь, а всех остальных современных поэтов ненавидят. Письмо было вручено ей в уже распечатанном конверте. Она написала мальчикам, что они ошибаются, что нынче у нас много прекрасных поэтов и незачем всех ненавидеть, но от них ответа не получила. И вот сегодня известие: Гену выгнали из Института, Гену берут в армию.

Ночью у Анны Андреевны был приступ стенокардии...

И не зря. Письмо мальчиков к ней и ответ ее им, разумеется, перлюстрированы и в копиях лежат в Большом Доме. Да и без перлюстрации «Литературная газета» маху не дала и сама сообщила о студентах либо в Институт, либо прямо в КГБ. Ведь Ахматову у нас печатают напоказ, а на самом деле ее любить, да еще больше всех, не положено.

Гневный, жалобный монолог с подушки:

— Всё со мной было, а этого еще не было... Какое мое письмо в Литгазету? Кто им сказал, что я что-то писала в Литгазету?.. Я написала *и м*. По адресу, указанному на конверте... Из-за меня погибает молодежь... Разве я могу это выдержать? За что? Я ведь их только оглаживаю, объясняю, что теперь лучше стало. Я ведь хрущевка. Хрущев сделал для меня самое бо́льшее, что может сделать один человек для другого: вернул мне сына. Но из-за меня погибают чужие сыновья. Мои стихи губят людей. Мои письма губят. Я ни с кем не должна переписываться, никому отвечать. Я заметила: стоит мне ответить — корреспондент смолкает. Каждый раз. Теперь понятно, почему. Только за границу мне дозволено отвечать — чтобы там, упаси Бог, не подумали, будто мне чинят препятствия в переписке. А *в н у т р и* я не должна писать никому, никому! И что за судьба моя! Ни у кого такой нет.

Она еще долго жаловалась, подминала непокорную подушку и просила совета.

Я ей сказала, что напрасно она так мучается, что ведь мальчики пострадали не из-за ее письма и м, а из-за своего — ей...

— Но ведь они пишут о каком-то моем письме в Литгазету! — простонала она.

— Но ведь это провокация и ложь!

— Посоветуйте! — повторяла Анна Андреевна.

Что я могла посоветовать? Провокация тут явная, цель — выловить «сердитых молодых людей», да и Ахматовой чтоб напомнить о Жданове. Неясно только, как распределены роли, кто таков Гена... Я повторяла, что как бы там ни было, а ее вины тут нет. Мальчикам надо попытаться помочь; Фрида, конечно, не откажется снарядить экспедицию в Новосибирск — у нее много друзей среди порядочных и умных журналистов, связанных с юристами. Кто-нибудь съездит в Новосибирск — повидается с мальчиками и девочками, узнает толком, что́ там случилось, и, главное, объяснит малышам, что Анна Андреевна, разумеется, в Литгазету никакого письма не писала... (Стон с подушки: «Зачем это я стану донесения писать? Товарища Лесючевского из меня делают на старости лет»)... И пусть ребятишки выучат на зубок, по складам, слово пер-лю-стра-ция... Да и без перлюстрации, неужели они воображали, что в Литгазете так-таки и перешлют письмо Ахматовой, не полюбопытствовав его прочитать? Да ведь в каждом «отделе писем» каждой газеты существуют специальные товарищи со специальным заданием... Пора бы юношам понимать, где живут.

— Всё равно. Если не я виновата, то мои стихи, — ответила Анна Андреевна.

— Да ведь «Реквием» до них дойти еще не мог! А остальные стихи — напечатаны. И стихи ваши не губят, а спасают людей.

— Все равно, — повторила Анна Андреевна печальным голосом, но уже чуть спокойнее. — До сих пор мои стихи вредили мне одной, теперь вредят другим.

Я поклялась, что Фриде я позвоню сегодня же, и что она приедет к ней сразу, скоро, и что непременнно всё выяснит и

всё мальчикам объяснит. А может быть, окажется в силах, с помощью журналистов, выручить Гену.

Помолчали.

Потом, к моему облегчению, она заговорила о ленинградском «Дне Поэзии». Я рада была, что она отвлеклась. Она очень хвалила стихотворение Шефнера «Невосстановленный дом».

— И вообще Шефнер прелестный поэт, — сказала она. [297])

И вдруг спросила:

— А каковы новости с фронта «Софьи Петровны»?

Ах, мои новости. Какие у меня бывают новости, кроме плохих. Я никогда не рассказываю Анне Андреевне о «Софье», если она не спрашивает сама.

— «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера», — сказала я. — Или так: «Не пойму, от счастья или горя / Плачешь ты, к моим ногам припав». Или так: «Я старичок обоюднаай»... Помните? Толстой говорил о себе, не о Хрущеве.

— Беда с этими образованными женщинами, — сказала Анна Андреевна. — Перестаньте. Докладывайте.

Я доложила.

На днях по телефону полудетский голос Гали — редакторши из «Советского писателя». «Спасибо вам за вашу повесть. Я проплакала всю ночь... Я до сих пор не имела права звонить вам, потому что не было решения. Теперь решение есть. Приходите подписать договор».

— Ура! — тихо сказала Анна Андреевна.

Я попросила ее дослушать. Еще неизвестно, ура или увы. Галя добавила что-то о редсовете, на котором будет решаться, выпустят ли мою повесть в последнем квартале 63 года. «Только в последнем!» — не удержалась я. «Для вас это поздно?» — удивилась Галя. «Не для меня — для нее», — ответила я.

— Ведь щель вот-вот закроется, — сказала я Анне Андреевне. — Мощную солженицынскую пробоину начнут заклепывать. Вспомните Паустовского и «Тишину».

— Да и Манеж... — сказала Анна Андреевна. — Мой «Реквием» не успеет, если манежность перекинется в литературу.

Я сказала, что «Реквием» еще может успеть — в журнале. И, мне кажется, необходимо пытаться — скорее, скорее. А вот «Софья», если ее не напечатают «Сибирские огни», — она уже нигде не выйдет. Щель затягивается на глазах. Я рассказала Анне Андреевне о своем вчерашнем визите к Лаврентьеву, и мы заговорили о том, о чем весь город говорит, — о речи Ильичева на приеме («опасность очернительства») и о словах Хрущева, что у Сталина были заслуги. [298])

Жить при Сталине можно — ведь жили мы! — и слушать и читать славословия Сталину тоже можно было — ведь слушали мы и читали 30 лет! — а вот теперь *после всего* перенести малейшую хвалу ему — вот это немыслимо. Оскорбление миллионов сердец, живых и мертвых.

— Это как нельзя было перенести «повторничества», — сказала Анна Андре́вна. — Когда, помните, в 48-49 году начали вторично брать тех, кто вернулся после 37-го, — я знаю: среди ожидающих нового ареста было немало самоубийств. Ожидание вторичного ареста люди перенести не могли. А мы разве можем перенести хвалу Сталину — снова? после обнародования его пыточных резолюций!

Мне вспомнилось: «на новом этапе», «на данном этапе», «на прежнем этапе». И еще выражение: «партия *своевременно* разоблачила»...

— Но договор с «Советским писателем» все-таки подписан? — спросила Анна Андреевна.

— Да, — сказала я. — «На данном этапе».

29 декабря 62

Была у Анны Андреевны. Вечером у нее Тарковский, меня она просила придти днем. Я вела себя дурно, несдержанно, то есть небережно; хоть я и заметила сразу, что ей нездоровится («немогута», сказал бы Герцен), но я, наверное, по собственной усталости («у́стали», сказал бы Герцен), вела себя нервно, во вред ее больному сердцу. Стыд.

Она полеживает на кушетке, посиживает в кресле, ей и так и этак не по себе.

Я рассказала ей, что в Переделкине, в Доме Творчества, видела Ольгу Берггольц, совершенно пьяную. Ольга Федоровна за меня уцепилась, взяла под руку, была будто рада, приветлива, говорила что-то о «Новом мире», о Твардовском

и о ленинградской редакции Маршака; потом будто испугалась меня, усумнилась, со мной ли она говорит, выдернула руку из-под моей и ушла. Потом издали — с другого конца коридора — помахала мне и повернула обратно, но я уже сунулась в комнату к друзьям.

— Мания величия и мания преследования, — сказала Анна Андреевна. — А в общем, гибель поэта, — она ведь поэт несомненный. Но, наверное, уже не в состоянии писать. Видели ли вы ее последнюю книжку? Там опять «мама-Кама», «Кама-мама». Господи, сколько же можно? [299])

Я рассказала Анне Андреевне о выступлении Берггольц в Союзе, когда обсуждалась повесть Солженицына. Ольга Федоровна говорила в частности о статуе Сталина в Сталинграде, которую воздвиг Вучетич. Колоссальный, многопудовый идол. «Одну фуражечку на двух платформах везли». [300])

— Да, хорошо, что Ольга не всегда пьяная, — сказала Анна Андреевна. — Когда она в своем уме, она и умна, и талантлива.

И тут же Анна Андреевна с неодобрением отозвалась о выступлении Ахмадулиной на цветаевском вечере. [301])

Я спросила, как дела с «Поэмой» в «Знамени». Окончательного ответа все нет: по-видимому, Скоринихе все не удается повидать своего шефа... До чего же надоели мне эти проклятые дураки: это средостение между народом и его великим поэтом. Редактору дают в руки нового «Медного всадника», а он кобенится. И что в «Поэме без героя» может понять Кожевников, сколько бы раз он ее ни читал? Он будет читать ее слева направо, справа налево, производя единственную работу, на которую он способен: сыск. Он будет выяснять, не спрятан ли где-нибудь под новогоднею маскою Гумилев. Не найдет, но, на всякий случай, не напечатает.

Анна Андреевна потребовала у меня совета: что делать с «Реквиемом»? Давать или не давать в редакцию, а если давать, то в какую?

Я ответила: Твардовскому, в «Новый мир». «Ведь напечатали же они Солженицына», — сказала я.

— Ведь не напечатали же они «Софью Петровну», — ответила Анна Андреевна.

Терпеть не могу этого сопоставления (которое часто слы-

шу). Не говоря уж о том, что Солженицын великан, и не следует обыкновенного литератора, как я, сравнивать с великаном (это мне слишком невыгодно), между темами «Ивана Денисовича» и «Софьи Петровны» нет ровно ничего общего. «Один день Ивана Денисовича» — это один день в застенке, где гноят неповинных, а «Софья» — разве про то? Конечно, и в «Софье» застенок, но тема повести — ослепленное общество; несчастное глухо-слепо-немое общество, не ведающее, что творит. Общество-палач и общество-жертва. Оно же и палач, оно же и жертва.

— Твардовскому не понравилась «Софья» художественно, — сказала я, — и, может статься, он прав. Кроме того, Твардовскому мужика подавай, а «Софья Петровна» горожанка, полуинтеллигентка. Ему это неинтересно. Его интересует деревня.

— «Реквием» тоже не деревня, — сказала Анна Андреевна. И, с раздражением:

— Пожалуйста, без ханжества. Вы сами знаете цену «Софье Петровне». Отзывы о ней. (446)

Я сказала, что если Анна Андреевна просит моего совета о «Реквиеме», то, мне кажется, единственный шанс — это «Новый мир», самый смелый и самый интеллигентный из наших журналов. И что бороться за напечатание «Реквиема» необходимо, потому что формула «массовые нарушения социалистической законности в результате культа личности Сталина» никуда не годится; она пуста, безжизненна, как все канцелярские изобретения; канцелярщина для того и придумана, чтобы выхолащивать из слов живое содержание, чтобы скрыть преступление, а не раскрыть его. Когда хотят раскрыть, а не скрыть, тогда находят другие слова. «Пол в земской избе неделями не просыхал от крови» — так пишет Герцен. Разве слова «массовые нарушения» и «культ личности» выводят наружу судьбы миллионов личностей, заставляют нас услышать их вопли, увидеть сапоги палачей, понять материнское горе — всё, что выводит наружу «Реквием» Ахматовой или «Иван Денисович» Солже-

---

(446) Высоко отзывались о моей повести многие читатели, среди них — Ф. Вигдорова, К. Паустовский, Ст. Злобин, Э. Казакевич, Вадим Андреев, И. Эренбург.

ницына? Нет, канцелярская формула не дает пищи сердцу, воображению, раскаянию, гневу. Да и уму! Надо, чтоб «Реквием» прозвучал, надо дать людям выплакаться, омыть слезами невинную кровь, обернуться на самих себя. Осознать прошедшее.

Помолчали. Мне сделалось стыдно, что все это я говорю е й — будто она без меня не знает! Но я очень устала, всё во мне дрожит и торопится.

— «Последствия культа личности» в сущности такие же бессодержательные слова, как «враги народа». Вот:

Приговор... И сразу слезы хлынут,
Ото всех уже отделена,
Словно с болью жизнь из сердца вынут,
Словно грубо навзничь опрокинут,
Но идет... Шатается... Одна...

вот это содержательно. Читатель вспомнит с е б я, свои заблуждения, свое горе — и сразу слезы хлынут... Он оплачет этими слезами и себя, и погибших. (447)

Помолчали. Бросив взгляд на мой тугой, расстегнувшийся от тяжести портфель, Анна Андреевна спросила, что у меня там за книги, что я сейчас читаю? Я сказала: «не читаю, а перечитываю».

— Чехова? — насмешливо спросила она.

Насмешка была неуместна, но и мой взрыв тоже. Заговорив некстати о Чехове, Анна Андреевна наверное просто хотела дать себе отдых, повернув тему и тональность. Съязвила она без злости. Но я уже давно бранила себя, что ни разу не сказала ей о Чехове тó, что о нем думаю. И тут вдруг дала себе волю. Я сказала, что Чехова мне перечитывать незачем, потому что он и без того всегда со мною: «Помните? — спросила я, — вы однажды мне сказали, что не скучаете пó морю, потому что оно всегда при вас, возле вас, с вами? Ну вот, мне не требуется перечитывать Чехова, потому что он всегда со мною. Рассказ Чехова «Моя жизнь» памятен мне, пожалуй, яснее, чем моя собственная; «Скрипка Ротшильда»,

(447) Реквием, «Посвящение».

«Рассказ неизвестного человока», «Три года», «Архиерей», «Именины», «Скучная история», «Супруга», «Дама с собачкой», «О любви», «Дом с мезонином» — да разве можно без этого жить?» Я называла наобум, а у Чехова десятки шедевров. Ну, до сих пор мой монолог был в пределах приличия, но далее не совсем: я сказала, что нелюбовь Анны Андреевны к Чехову — это у нее не свое, личное, ахматовское, а, я подозреваю, «цеховое», акмеистическое, что-то от неведомого мне и уже непонятного знамени определенного поколения и круга людей искусства; акмеисты, сказала я, хотели сбросить Чехова с корабля современности, как, например, футуристы — Пушкина и Толстого. Маяковскому требовалось в борьбе каких-то там течений и школ кидаться на Толстого и Пушкина, в манифестах, статьях, стихах, ну и пусть бы, раз это в какую-то минуту было на потребу новизне и борьбе, но минута с ее потребой прошла и он мог спокойно расслышать и Толстого, и Пушкина... Гумилеву, Ахматовой и Мандельштаму, пока они были «новой школой» какого-то нового искусства, требовалось для чего-то отвергать Чехова, противопоставлять Толстого — Достоевскому и так далее. Теперь уже трудно понять, для чего. «Школы»-то проходят, а Чехов остается — как, впрочем, и Мандельштам, и Ахматова, и Гумилев, и Маяковский. «Вы сказали мне один раз, — продолжала я, — что герои Чехова лишены мужества, а вы не любите такого искусства: без мужества. Но у Чехова-то хватило мужества написать «Припадок», «В овраге», «Мужики» и хватило гениальности преобразить горе человеческое в гармонию. И, — заметила я нагло, — не мне, а в а м следует перечитывать Чехова».

— Вы сегодня очень красноречивы, — сказала Анна Андреевна с подчеркнутым высокомерием и равнодушием. — Жаль, что вашу лекцию слышала я одна: вам бы на кафедру перед студентами... Но все-таки: что у вас там за томы в портфеле?

Я вынула из портфеля два красных тома: Герцен, томы XVI и XVII нового, академического издания. Мне было уже за себя очень стыдно — за свой назидательный тон. Я тихонько сказала, что сейчас читаю Герцена, читаю каждую свободную минуту и таскаю с собой в трамваях и троллейбусах. Сказала, что он пленяет меня своей, никем еще не изу-

ченной поэтичностью; что он, конечно, мыслитель, политик, но «Колокол» — это сборник статей-поэм, статей-стихов, эпиграмм, плачей, надгробных речей, заупокойных молитв, пророческих песнопений, формул, звучащих, как поговорки, пословицы, так они емки и точны, и пора бы уже изучать слово Герцена, как изучают поэтическое слово... Но главное, конечно, то, что в наше время Герцен необыкновенно уместен; всеми средствами художнически работающей мысли он заставляет думать о нашем прошлом и нашем будущем. В 1962 году меня неотрывно тянет читать, что писал Герцен, о чем он вспоминал, о чем думал в 1862, в 1863. Ведь на нас сейчас идет 1963. Сто лет назад время в России было кое-чем похоже на наше, теперешнее — именно своею двойственностью. Трудно было угадать, что куда повернет. После великого освобождения крестьян в 61 году — злодейства в Польше, а эти провокационные пожары, ненужные ссылки, ненужные казни!.. У нас после великого освобождения заключенных — Венгрия, кровь, и опять будто мобилизуется сталинщина... Что дальше — не поймешь... Я читаю и перечитываю подряд и в разбивку, что им написано в 1862 и в 1863... Главный мотив, что Россия пробудилась и нельзя ей дать уснуть снова, нельзя позволить эпохе Александра Второго превращаться в эпоху Николая Первого. Герцен в 1862 году боится возврата к николаевщине и, говоря о тогдашнем усмирении Польши, поминает расправу с восстанием 1831 года. Он говорит, что в тридцатые годы русские были менее виновны, чем в шестидесятые, потому что тогда они были в забытьи, а со смертью Николая очнулись.

— Прочтите что-нибудь вслух, — сказала Анна Андреевна и с дивана пересела в кресло. — Я вижу, у вас там и закладки. Читайте так, без значения, я хочу вспомнить з в у к.

Я несколько струхнула, потому что закладки у меня случайные. Подобраны не по одам и плачам и вообще не по образцам. Но начала читать.

— Герцен говорит о зверствах русских над поляками после восстания 31 года, при Николае.

«... у России было меньше совести, т. е. сознания. За полусознанные злодейства, за преступления, сделанные в полусне, история не наказывает, а дает английский вердикт «tem-

porary insanity». (448) Вопрос весь в том, имеет ли Россия 1863 столько же права на этот вердикт, как Россия 1831?

Мы решительно отрицаем это». [302])

— Еще, — сказала Анна Андреевна.

«...Мы вовсе не врачи — мы боль; что выйдет из нашего кряхтения и стона, мы не знаем — но боль заявлена», — прочла я. [303])

— Еще, — сказала Анна Андреевна.

«Христианство, с своей необычайно глубокой психологией, связывало искупление с раскаянием и исповедью. Это равно относится к лицу и к целым народам. Надобно было совести русской не только раскаяться в любви к силе и забиячеству военной империи, в гордости штыками и суворовскими бойнями, но и привести это к слову, надобно было ей исповедаться.

И с исповеди начинается ее пробуждение». [304])

— Еще, — сказала Анна Андреевна.

«Почем знать, что какое-то слово не падет каплей дрожжей в эти сонные миллионы и не поднимет их к новой жизни?» [305])

— Дальше, — сказала Анна Андреевна.

Следующая закладка была у меня в статье «Руфин Пиотровский» — наказание шпицрутенами в Сибири, произведенное генералом Голофеевым над ссыльными поляками и русскими в 1837 году. 1837! Сначала — текст Пиотровского, описание казни, потом — Герцен. Мне не хотелось мучить Анну Андреевну кровавым зрелищем, и я сказала: «Ну, тут шпицрутены, я пропущу»...

— Не пропускайте! — закричала Анна Андреевна. — Читайте!

Я прочла.

«Пришел день казни. Дело было в 1837 в марте, в Омске. Генерал Голофеев, известный своею свирепостью и присланный вследствие этого из столицы, заведовал мрачной процессией. Утром два батальона стали на большой площади недалеко от города, один для шести главных виновников, другой для остальных, приговоренных на меньшее число ударов.

---

(448) « Temporary insanity » (англ.) — временное помрачение.

Сиероцинского и его пять товарищей привели на площадь, им прочли приговор, и началось страшное наказание. Ни один из них не выдержал назначенное количество ударов: их наказывали одного после другого, и они все падали, пройдя два или три раза сквозь строй, и умирали на снегу, обагренном их кровью. Сиероцинского нарочно казнили последнего, чтобы он видел до конца казнь своих друзей. Когда пришел его черед, когда ему раскрыли спину и привязали руки к штыку, батальонный доктор предложил ему, как и другим, склянку с укрепляющими каплями; но он отказался и сказал: «Пейте мою кровь, я не хочу ваших каплей!» Дали сигнал, бывший настоятель запел громким и ясным голосом: «Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam!», генерал Голофеев закричал солдатам: «П о к р е п ч е, п о к р е п ч е!»... И в продолжение нескольких минут слышался голос базильянца, перебиваемый свистом розог и криком генерала: «Покрепче!»... Сиероцинский только раз прошел сквозь строй, т. е. получил 1 000 ударов; он упал на снег без чувств и в крови. Напрасно старались поставить его на ноги; тогда его привязали к с а н я м, п р и г о т о в л е н н ы м з а р а н е е, т а к, ч т о б ы с п и н а п о д с т а в л я л а с ь п о д у д а р ы, и т а к и м о б р а з о м п о в е з л и с к в о з ь с т р о й. В начале второй тысячи еще слышнелись его стоны, они слабели, но он умер только после четвертой тысячи; остальные 3 000 пали на труп. Всех поляков и русских, умерших на месте и через несколько дней от последствий наказания, положили в общую яму. Родным и друзьям позволили поставить над этой страшной могилой крест, распростиравший руки свои над снежной поляной».

Нет, дальше на этот раз писать нельзя. Мы остановимся перед этим крестом на снегу, перед этим крестом на крови; мысль тускнеет, голова кружится и горит. Пусть поляки оценят не ту ненависть, которую в н и х возбуждает рассказ этих звериных ужасов, но ту, смешанную с позором, стыдом и чувством кровного родства, которую мы ощущаем. Пусть они поймут, что значит так же невольно и так же бессильно стоять не с святым базильянцем под ударами целого батальона палачей, а с той стороны, на которой гнусный Голофеев и его гнусный атаман... Пусть они поймут, что, как

ни страшно видеть родную мать, которую колотит ни за что ни про что пьяный вотчим, все же это легче, чем ее видеть в забытьи разврата, униженную до злодейства, до циничного бесстыдства, и чувствовать не только презрение, не только кровную связь, не только жалость, но и то, что она вовсе не такова, что она еще опомнится, — и не иметь права сказать слово перед вопиющим фактом». [306])

— Черный крест на белом снегу, — повторила Анна Андреевна. — Как у него? Раскинув руки?

В это время в передней раздались несколько звонков и кто-то пошел отворять. Я испугалась, что это уже Тарковский, то есть не Тарковского испугалась, конечно, а что я не дала Анне Андреевне отдохнуть до прихода нового гостя. Но квартира большая, коммунальная, звонки были не сюда.

Анна Андреевна просила меня читать еще, но я сказала, что закладки мои кончились и время тоже. Она легла на диванчик, я укрыла ее пледом и ушла в смуте, смятении и недовольстве собой.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Анны Ахматовой

(те, без которых понимание моих записей затруднено)

№ 1 — № 54 см. «Записки», т. 1.

№ 55

. . . .

Я знаю, с места не сдвинуться
Под тяжестью Виевых век.
О, если бы вдруг откинуться
В какой-то семнадцатый век.

С душистою веткой березовой
Под Троицу в церкви стоять,
С боярынею Морозовой
Сладимый медок попивать.

А после, на дровнях, в сумерки,
В навозном снегу тонуть.
Какой сумасшедший Суриков
Мой последний напишет путь?

№ 56

И никакого розового детства...
Веснушечек, и мишек, и кудряшек,
И добрых теть, и страшных дядь, и даже
Приятелей средь камешков речных.
Себе самой я с самого начала
То чьим-то сном казалась или бредом,
Иль отраженьем в зеркале чужом,
Без имени, без плоти, без причины.
Уже я знала список преступлений,
Которые должна я совершить.
И вот я, лунатически ступая,
Вступила в жизнь и испугала жизнь:
Она передо мною стлалась лугом,
Где некогда гуляла Прозерпина,
Передо мной, безродной, неумелой,
Открылись неожиданные двери,

И выходили люди, и кричали:
«Она пришла, она пришла сама!»
А я на них глядела с изумленьем
И думала: «Они с ума сошли!»
И чем сильней они меня хвалили,
Чем мной сильнее люди восхищались,
Тем мне страшнее было в мире жить
И тем сильней хотелось пробудиться,
И знала я, что заплачу сторицей
В тюрьме, в могиле, в сумасшедшем доме,
Везде, где просыпаться надлежит
Таким, как я, — но длилась пытка счастьем.

Москва
4 июля 1955

№ 57

Какая есть. Желаю вам другую, —
Получше. Счастьем больше не торгую,
Как шарлатаны и оптовики.
Пока вы мирно отдыхали в Сочи,
Ко мне уже ползли такие ночи,
И я такие слышала звонки!..

Над Азией — весенние туманы
И яркие до ужаса тюльпаны
Ковром заткали много сотен миль.
О, что мне делать с этой чистотою
Природы? С неповинностью святою?
О, что мне делать с этими людьми?

Мне зрительницей быть не удавалось,
И почему-то я всегда вклинялась
В запретнейшие зоны естества.
Целительница нежного недуга,
Чужих мужей вернейшая подруга
И многих неутешная вдова...

Седой венец достался мне недаром,
И щеки, опаленные загаром,
Уже людей пугают смуглотой...
Но близится конец моей гордыне,
Как той, другой — страдалице Марине, —
Придется мне напиться пустотой.

И ты придешь под черной епанчею
С зеленоватой страшною свечою
И не откроешь предо мной лица...
Но мне не долго мучиться загадкой, —
Чья там рука под белою перчаткой,
И кто прислал ночного пришлеца.

Ташкент
24 июня 1942

№ 58

Есть три эпохи у воспоминаний.
И первая — как бы вчерашний день.
Душа под сводом их благословенным,
И тело в их блаженствует тени.
Еще не замер смех, струятся слезы,
Пятно чернил не стерто со стола —
И как печать на сердце, поцелуй,
Единственный, прощальный, незабвенный...
Но это продолжается недолго...
Уже не свод над головой, а где-то
В глухом предместье дом уединенный,
Где холодно зимой, а летом жарко,
Где есть паук и пыль на всем лежит,
Где истлевают пламенные письма,
Исподтишка меняются портреты,
Куда как на могилу ходят люди,
А возвратившись, моют руки мылом,
И стряхивают беглую слезинку
С усталых век — и тяжело вздыхают...

Но тикают часы, весна сменяет
Одна другую, розовеет небо,
Меняются названья городов,
И нет уже свидетелей событий,
И не с кем плакать, не с кем вспоминать.
И медленно от нас уходят тени,
Которых мы уже не призываем,
Возврат которых был бы страшен нам.
И, раз проснувшись, видим, что забыли
Мы даже путь в тот дом уединенный,
И, задыхаясь от стыда и гнева,
Бежим туда, но (как во сне бывает)
Там все другое: люди, вещи, стены,
И нас никто не знает — мы чужие.
Мы не туда попали... Боже мой!
И вот когда горчайшее приходит:
Мы сознаем, что не могли б вместить
То прошлое в границы нашей жизни,
И нам оно почти что так же чуждо,
Как нашему соседу по квартире,
Что тех, кто умер, мы бы не узнали,
А те, с кем нам разлуку Бог послал,
Прекрасно обошлись без нас — и даже
Все к лучшему...

Ленинград
5 февраля 1945

№ 59

Кого когда-то называли люди
Царем в насмешку, Богом в самом деле,
Кто был убит... и чье орудье пытки
Согрето теплотой моей груди...

Вкусили смерть свидетели Христовы:
И сплетницы-старухи, и солдаты,
И прокуратор Рима — все прошли.

Там, где когда-то возвышалась арка,
Где море билось, где чернел утес,
Их выпили в вине, вдохнули с пылью жаркой
И с запахом блаженных роз.

Ржавеет золото, и истлевает сталь,
Крошится мрамор. К смерти всё готово.
Всего прочнее на земле — печаль
И долговечней — царственное слово.

№ 60

ПОЗДНИЙ ОТВЕТ

Невидимка, двойник, пересмешник,
Что ты прячешься в черных кустах,
То забьешься в дырявый скворешник,
То мелькнешь на погибших крестах.
То кричишь из Маринкиной башни:
«Я сегодня вернулась домой,
Полюбуйтесь, родимые пашни,
Что за это случилось со мной.
Поглотила любимых пучина,
И разграблен родительский дом».
Мы сегодня с тобою, Марина,
По столице полночной идем,
А за нами таких миллионы,
И безмолвнее шествия нет,
А вокруг погребальные звоны
Да московские дикие стоны
Вьюги, наш заметающей след.

1940, март

№ 6

СТАНСЫ

Стрелецкая луна. Замоскворечье. Ночь.
Как крестный ход идут часы Страстной недели.
Мне снится страшный сон. Неужто в самом деле
Никто, никто, никто не может мне помочь?

В Кремле не надо жить, Преображенец прав,
Здесь зверства древнего еще кишат микробы:
Бориса дикий страх, и всех Иванов злобы,
И Самозванца спесь — взамен народных прав.

1940

№ 62

ПРОЛОГ

Не лирою влюбленного
Иду пленять народ —
Трещетка прокаженного
В моей душе поет.
Успеете наахаться
И воя, и кляня.
Я научу шарахаться
Вас, «смелых», от меня.
Я не искала прибыли
И славы не ждала,
Я под крылом у гибели
Все тридцать лет жила.

№ 63

КЛЕВЕТА

И всюду клевета сопутствовала мне.
Ее ползучий шаг я слышала во сне
И в мертвом городе под беспощадным небом,
Скитаясь наугад за кровом и за хлебом.
И отблески ее горят во всех глазах,
То как предательство, то как невинный страх.
Я не боюсь ее. На каждый вызов новый
Есть у меня ответ достойный и суровый.
Но неизбежный день уже предвижу я, —
На утренней заре придут ко мне друзья,
И мой сладчайший сон рыданьем потревожат,
И образок на грудь остывшую положат.
Никем не знаема тогда она войдет,
В моей крови ее неутоленный рот
Считать не устает небывшие обиды,
Вплетая голос свой в моленья панихиды.
И станет внятен всем ее постыдный бред,
Чтоб на соседа глаз не мог поднять сосед,
Чтоб в страшной пустоте мое осталось тело,
Чтобы в последний раз душа моя горела
Земным бессилием, летя в рассветной мгле,
И дикой жалостью к оставленной земле.

1 января 1922

№ 64

ЗАСТОЛЬНАЯ

Под узорной скатерью
Не видать стола.
Я стихам не матерью —
Мачехой была.

Эх, бумага белая,
Строчек ровный ряд!
Сколько раз глядела я,
Как они горят.
Сплетней изувечены,
Биты кистенем,
Мечены, мечены
Каторжным клеймом.

№ 65

Так просто можно жизнь покинуть эту,
Бездумно и безбольно догореть,
Но не дано Российскому поэту
Такою светлой смертью умереть.

Всего верней свинец душе крылатой
Небесные откроет рубежи
Иль хриплый ужас лапою косматой
Из сердца, как из губки, выжмет жизнь.

1925

№ 66

... Вижу я,
Лебедь тешится моя.
Пушкин

Ты напрасно мне под ноги мечешь
И величье, и славу, и власть.
Знаешь сам, что не этим излечишь
Песнопения светлую страсть.
Разве этим развеешь обиду?
Или золотом лечат тоску?
Может быть, я и сдамся для виду.
Не притронусь я дулом к виску.

Смерть стоит все равно у порога,
Ты гони ее или зови,
А за нею темнеет дорога,
По которой ползла я в крови.
А за нею десятилетья
Скуки, страха и той пустоты,
О которой могла бы пропеть я,
Да боюсь, что расплачешься ты.
Что ж, прощай! Я живу не в пустыне,
Ночь со мной и всегдашняя Русь.
Так спаси же меня от гордыни!
В остальном я сама разберусь.

Москва

№ 67

Приду туда, и отлетит томленье.
Мне ранние приятны холода.
Таинственные темные селенья —
Хранилища молитвы и труда.

Спокойной и уверенной любови
Не превозмочь мне к этой стороне:
Ведь капелька новогородской крови
Во мне — как льдинка в пенистом вине.

И этого никак нельзя поправить,
Не растопил ее великий зной,
И что бы я ни начинала славить —
Ты, тихая, сияешь предо мной.

1916

№ 68

Вижу выцветший флаг над таможней
И над городом желтую муть.
Вот уж сердце мое осторожней
Замирает, и больно вздохнуть.

Стать бы снова приморской девчонкой,
Туфли на босу ногу надеть,
И закладывать косы коронкой,
И взволнованным голосом петь.

Все глядеть бы на смуглые главы
Херсонесского храма с крыльца
И не знать, что от счастья и славы
Безнадежно дряхлеют сердца.

1913

№ 69

ПРЕДЫСТОРИЯ

Я теперь живу не там...
Пушкин

Россия Достоевского. Луна
Почти на четверть скрыта колокольней.
Торгуют кабаки, летят пролетки,
Пятиэтажные растут громады
В Гороховой, у Знаменья, под Смольным.
Везде танцклассы, вывески менял,
А рядом: « Henriette », « Basile », « André »
И пышные гроба: «Шумилов-старший».
Но, впрочем, город мало изменился.
Не я одна, но и другие тоже
Заметили, что он подчас умеет
Казаться литографией старинной,

Не первоклассной, но вполне пристойной,
Семидесятых, кажется, годов.
    Особенно зимой, перед рассветом,
    Иль в сумерки — тогда за воротами
    Темнеет жесткий и прямой Литейный,
    Еще не опозоренный модерном,
    И визави меня живут — Некрасов
    И Салтыков... Обоим по доске
    Мемориальной. О, как было б страшно
    Им видеть эти доски! Прохожу.
А в Старой Руссе пышные канавы,
И в садике подгнившие беседки,
И стекла окон так черны, как прорубь,
И мнится, там такое приключилось,
Что лучше не заглядывать, уйдем.
Не с каждым местом сговориться можно,
Чтобы оно свою открыло тайну
(А в Оптиной мне больше не бывать...).

Шуршанье юбок, клетчатые пледы,
Ореховые рамы у зеркал,
Каренинской красою изумленных,
И в коридорах узких те обои,
Которыми мы любовались в детстве,
Под желтой керосиновою лампой,
И тот же плюш на креслах...
    Все разночинно, наспех, как-нибудь...
    Отцы и деды непонятны. Земли
    Заложены. И в Бадене — рулетка.

И женщина с прозрачными глазами
(Такой глубокой синевы, что море
Нельзя не вспомнить, поглядевши в них),
С редчайшим именем и белой ручкой,
И добротой, которую в наследство
Я от нее как будто получила, —
Ненужный дар моей жестокой жизни...

Страну знобит, а омский каторжанин
Все понял и на всем поставил крест.
Вот он сейчас перемешает все
И сам над первозданным беспорядком,
Как некий дух, взнесется. Полночь бьет.
Перо скрипит, и многие страницы
Семеновским припахивают плацем.

Так вот когда мы вздумали родиться
И, безошибочно отмерив время,
Чтоб ничего не пропустить из зрелищ
Невиданных, простились с небытьем.

1945

№ 70

Не бывать тебе в живых,
Со снегу не встать.
Двадцать восемь штыковых,
Огнестрельных пять.
Горькую обновушку
Другу шила я.
Любит, любит кровушку
Русская земля.

[16 августа] 1921

№ 71

. . . .

А за проволокой колючей,
В самом сердце тайги дремучей —
Я не знаю, который год —
Ставший горстью «лагерной пыли»,
Ставший сказкой из страшной были,
Мой двойник на допрос идет.
А потом он идет с допроса,
Двум посланцам Девки Безносой
Суждено охранять его.
И я слышу даже отсюда —
Неужели это не чудо! —
Звуки голоса своего:

За тебя я заплатила
Чистоганом,
Ровно десять лет ходила
Под наганом,
Ни налево, ни направо
Не глядела,
А за мной худая слава
Шелестела.

. . . .

№ 72

ПОЭТ

Подумаешь, тоже работа, —
Беспечное это житье:
Подслушать у музыки что-то
И выдать шутя за свое.

И чье-то веселое скерцо
В какие-то строки вложив,
Поклясться, что бедное сердце
Так стонет средь блещущих нив.

А после подслушать у леса,
У сосен, молчальниц на вид,
Пока дымовая завеса
Тумана повсюду стоит.

Налево беру и направо,
И даже, без чувства вины,
Немного у жизни лукавой,
И все — у ночной тишины.

Комарово
Лето 1959

№ 73

МУЗЫКА

Д. Д. Ш[остаковичу]

В ней что-то чудотворное горит,
И на глазах ее края гранятся.
Она одна со мною говорит,
Когда другие подойти боятся.
Когда последний друг отвел глаза,
Она была со мной в моей могиле
И пела словно первая гроза
Иль будто все цветы заговорили.

1958

НАСЛЕДНИЦА

От саркосельских лип...
Пушкин

Казалось мне, что песня спета
Средь этих опустелых зал.
О, кто бы мне тогда сказал,
Что я наследую всё это:
Фелицу, лебедя, мосты
И все китайские затеи,
Дворца сквозные галереи
И липы дивной красоты.
И даже собственную тень,
Всю искаженную от страха,
И покаянную рубаху,
И замогильную сирень.

Ленинград
20 ноября 1959

№ 75

ИЗ ЦИКЛА «ТАШКЕНТСКИЕ СТРАНИЦЫ»

В ту ночь мы сошли друг от друга с ума,
Светила нам только зловещая тьма,
Свое бормотали арыки,
И Азией пахли гвоздики.

И мы проходили сквозь город чужой,
Сквозь дымную песнь и полуночный зной, —
Одни под созвездием Змея,
Взглянуть друг на друга не смея.

То мог быть Стамбул или даже Багдад,
Но, увы! не Варшава, не Ленинград,
И горькое это несходство
Душило, как воздух сиротства.

И чудилось: рядом шагают века,
И в бубен незримая била рука,
И звуки, как тайные знаки,
Пред нами кружились во мраке.

Мы были с тобою в таинственной мгле,
Как будто бы шли по ничейной земле,
Но месяц алмазной фелукой
Вдруг выплыл над встречей-разлукой...

И если вернется та ночь и к тебе
В твоей для меня непонятной судьбе,
Ты знай, что приснилась кому-то
Священная эта минута.

[Май 1942]
1959

№ 76

ЧИТАТЕЛЬ

Не должен быть очень несчастным
И главное скрытным. О нет! —
Чтоб быть современнику ясным,
Весь настежь распахнут поэт.

И рампа торчит под ногами,
Все мертвенно, пусто, светло,
Лайм-лайта позорное пламя
Его заклеймило чело.

А каждый читатель как тайна,
Как в землю закопанный клад,
Пусть самый последний, случайный,
Всю жизнь промолчавший подряд.

Там все, что природа запрячет,
Когда ей угодно, от нас.
Там кто-то беспомощно плачет
В какой-то назначенный час.

И сколько там сумрака ночи,
И тени, и сколько прохлад,
Там те незнакомые очи
До света со мной говорят,

За что-то меня упрекают
И в чем-то согласны со мной...
Так исповедь льется немая,
Беседы блаженнейший зной.

Наш век на земле быстротечен
И тесен назначенный круг,
А он неизменен и вечен —
Поэта неведомый друг.

Комарово
Лето 1959

№ 77

ПОДРАЖАНИЕ АРМЯНСКОМУ

Я приснюсь тебе черной овцою
На нетвердых, сухих ногах,
Подойду, заблею, завою:
«Сладко ль ужинал, падишах?
Ты вселенную держишь, как бусу,
Светлой волей Аллаха храним...
И пришелся ль сынок мой по вкусу
И тебе, и деткам твоим?»

№ 78

А, ты думал — я тоже такая,
Что можно забыть меня
И что брошусь, моля и рыдая,
Под копыта гнедого коня.

Или стану просить у знахарок
В наговорной воде корешок
И пришлю тебе страшный подарок —
Мой заветный душистый платок.

Будь же проклят. Ни стоном, ни взглядом
Окаянной души не коснусь,
Но клянусь тебе ангельским садом,
Чудотворной иконой клянусь
И ночей наших пламенным чадом —
Я к тебе никогда не вернусь.

Петербург
Июль 1921

№ 79

Когда лежит луна ломтем чарджуйской дыни
На краешке окна, и духота кругом,
Когда закрыта дверь, и заколдован дом
Воздушной веткой голубых глициний,
И в чашке глиняной холодная вода,
И полотенца снег, и свечка восковая
Горит, как в детстве, мотыльков сзывая,
Грохочет тишина, моих не слыша слов, —
Тогда из черноты рембрандтовских углов
Склубится что-то вдруг и спрячется туда же,
Но я не встрепенусь, не испугаюсь даже...
Здесь одиночество меня поймало в сети.
Хозяйкин черный кот глядит, как глаз столетий,
И в зеркале двойник не хочет мне помочь.
Я буду сладко спать. Спокойной ночи, ночь.

Ташкент
28 марта 1944

№ 80

Б. П[астернаку]

И снова осень валит Тамерланом,
В арбатских переулках тишина.
За полустанком или за туманом
Дорога непроезжая черна.
Так вот она, последняя! И ярость
Стихает. Все равно что мир оглох...
Могучая евангельская старость
И тот горчайший гефсиманский вздох.

Фонтанный Дом
1947

№ 81

ПАМЯТИ ПОЭТА

Как птица мне ответит эхо.
Б. П.

1

Умолк вчера неповторимый голос,
И нас покинул собеседник рощ.
Он превратился в жизнь дающий колос
Или в тончайший, им воспетый дождь.
И все цветы, что только есть на свете,
Навстречу этой смерти расцвели.
Но сразу стало тихо на планете,
Носящей имя скромное... Земли.

Москва. Боткинская больница
Июнь 1960

№ 82

2

Словно дочка слепого Эдипа,
Муза к смерти провидца вела.
И одна сумасшедшая липа
В этом траурном мае цвела —
Прямо против окна, где когда-то
Он поведал мне, что перед ним
Вьется путь золотой и крылатый,
Где он вышнею волей храним.

Москва. Боткинская больница
1960

№ 83

МУЗА

Как и жить мне с этой обузой,
А еще называют Музой,
Говорят: «Ты с ней на лугу...»
Говорят: «Божественный лепет...»
Жестче, чем лихорадка, оттрепит,
И опять весь год ни гу-гу.

№ 84

МАРТОВСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Прошлогодних сокровищ моих
Мне надолго, к несчастию, хватит.
Знаешь сам, половины из них
Злая память никак не истратит:
Набок сбившийся куполок,
Грай вороний, и вопль паровоза,

И как будто отбывшая срок
Ковылявшая в поле береза,
И огромных библейских дубов
Полуночная тайная сходка,
И из чьих-то приплывшая снов
И почти затонувшая лодка...
Побелив эти пашни чуть-чуть,
Там предзимье уже побродило,
Дали все в непроглядную муть
Ненароком оно превратило.
И казалось, что после конца
Никогда ничего не бывает...
Кто же бродит опять у крыльца
И по имени нас окликает?
Кто приник к ледяному стеклу
И рукою, как веткою, машет?..
А в ответ в паутинном углу
Зайчик солнечный в зеркале пляшет.

1960

№ 85

МОЛИТВА

Дай мне горькие годы недуга,
Задыханья, бессонницу, жар,
Отыми и ребенка, и друга,
И таинственный песенный дар —
Так молюсь за твоей литургией
После стольких томительных дней,
Чтобы туча над темной Россией
Стала облаком в славе лучей.

1915

. . . .
Карнавальной полночью римской
И не пахнет. Напев Херувимской
У закрытых церквей дрожит.
В дверь мою никто не стучится,
Только зеркало зеркалу снится,
Тишина тишину сторожит.

И со мною моя «Седьмая»,
Полумертвая и немая,
Рот ее сведен и открыт,
Словно рот трагической маски,
Но он черной замазан краской
И сухою землей набит.

Враг пытал: «А ну, расскажи-ка!»
Но ни слова, ни стона, ни крика
Не услышать ее врагу.
И проходят десятилетья,
Пытки, ссылки и смерти... Петь я
В этом ужасе не могу.

Ты спроси у моих современниц —
Каторжанок, стопятниц, пленниц —
И тебе порасскажем мы,
Как в беспамятном жили страхе,
Как растили детей для плахи,
Для застенка и для тюрьмы.

Посинелые стиснув губы,
Обезумевшие Гекубы
И Кассандры из Чухломы,
Загремим мы безмолвным хором
(Мы, увенчанные позором):
«По ту сторону ада мы»...

Я ль растаю в казенном гимне?
Не дари, не дари, не дари мне
Диадему с мертвого лба.
Скоро мне нужна будет лира,
Но Софокла, уже, не Шекспира.
На пороге стоит — Судьба.

№ 87

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

1.

Пора забыть верблюжий этот гам
И белый дом на улице Жуковской.
Пора, пора к березам и грибам,
К широкой осени московской.
Там все теперь сияет, все в росе,
И небо забирается высоко,
И помнит Рогачевское шоссе
Разбойный посвист молодого Блока...

2.

И, в памяти черной пошарив, найдешь
До самого локтя перчатки,
И ночь в Петербурге. И в сумраке лож
Тот запах и душный, и сладкий.

И ветер с залива. А там, между строк,
Минуя и ахи и охи,
Тебе улыбнется презрительно Блок —
Трагический тенор эпохи.

3.

Он прав — опять фонарь, аптека,
Нева, безмолвие, гранит...
Как памятник началу века,
Там этот человек стоит —

Когда он Пушкинскому Дому,
Прощаясь, помахал рукой
И принял смертную истому
Как незаслуженный покой.

1944-1960

№ 88

Птицы смерти в зените стоят.
Кто идет выручать Ленинград?

Не шумите вокруг — он дышит,
Он живой еще, он все слышит:

Как на влажном балтийском дне
Сыновья его стонут во сне,

Как из недр его вопли: «Хлеба!» —
До седьмого доходят неба...

Отворите райскую дверь,
Помогите ему теперь.

Сентябрь 1941

№ 89

Нам свежесть слов и чувства простоту
Терять не то ль, что живописцу — зренье,
Или актеру — голос и движенье,
А женщине прекрасной — красоту?

Но не пытайся для себя хранить
Тебе дарованное небесами:
Осуждены — и это знаем сами —
Мы расточать, а не копить.

Иди один и исцеляй слепых,
Чтобы узнать в тяжелый час сомненья
Учеников злорадное глумленье
И равнодушие толпы.

1915

№ 90

Ты знаешь, я томлюсь в неволе,
О смерти Господа моля.
Но все мне памятна до боли
Тверская скудная земля.

Журавль у ветхого колодца,
Над ним, как кипень, облака,
В полях скрипучие воротца,
И запах хлеба, и тоска.

И те неяркие просторы,
Где даже голос ветра слаб,
И осуждающие взоры
Спокойных загорелых баб.

1913

№ 91

ПЕТЕРБУРГ В 1913 ГОДУ

За заставой воет шарманка,
Водят мишку, пляшет цыганка
На заплеванной мостовой.
Паровик идет до Скорбящей,
И гудочек его щемящий
Откликается над Невой.
В черном ветре злоба и воля.
Тут уже до Горячего Поля,
Вероятно, рукой подать.

Тут мой голос смолкает вещий,
Тут еще чудеса похлеще,
Но уйдем — мне некогда ждать.

1961

№ 92

МЕЛХОЛА

Но Давида полюбила... дочь Саула, Мелхола. Саул думал: отдам ее за него, и она будет ему сетью.

Первая книга Царств

И отрок играет безумцу царю,
И ночь беспощадную рушит,
И громко победную кличет зарю,
И призраки ужаса душит.
И царь благосклонно ему говорит:
«Огонь в тебе, юноша, дивный горит,
И я за такое лекарство
Отдам тебе дочку и царство».
А царская дочка глядит на певца,
Ей песен не нужно, не нужно венца,
В душе ее скорбь и обида,
Но хочет Мелхола — Давида.
Бледнее, чем мертвая; рот ее сжат;
В зеленых глазах исступленье;
Сияют одежды, и стройно звенят
Запястья при каждом движеньи.
Как тайна, как сон, как праматерь Лилит...
Не волей своею она говорит:
«Наверно, с отравой мне дали питье,
И мой помрачается дух.
Бесстыдство мое! Униженье мое!
Бродяга! Разбойник! Пастух!
Зачем же никто из придворных вельмож,
Увы, на него непохож?
А солнца лучи... а звезды в ночи...
А эта холодная дрожь...»

1959-1961

№ 93

Так не зря мы вместе бедовали,
Даже без надежды раз вздохнуть —
Присягнули — проголосовали
И спокойно продолжали путь.

Не за то, что чистой я осталась,
Словно перед Господом свеча,
Вместе с вами я в ногах валялась
У кровавой куклы палача.

Нет! и не под чуждым небосводом
И не под защитой чуждых крыл —
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.

1961

№ 94

СМЕРТЬ СОФОКЛА

Тогда царь понял, что умер Софокл.
Легенда

На дом Софокла в ночь слетел с небес орел,
И мрачно хор цикад вдруг зазвенел из сада.
А в этот час уже в бессмертье гений шел,
Минуя вражий стан у стен родного града.

Так вот когда царю приснился странный сон:
Сам Дионис ему снять повелел осаду,
Чтоб шумом не мешать обряду похорон
И дать афинянам почтить его отраду.

1961

№ 95

ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ ОДА

Девятисотые годы

А в переулке забор дощатый...

Н. Г.

Настоящую оду
Нашептало... Постой,
Царскосельскую одурь
Прячу в ящик пустой,
В роковую шкатулку,
В кипарисный ларец,
А тому переулку
Наступает конец.
Здесь не Темник, не Шуя —
Город парков и зал,
Но тебя опишу я,
Как свой Витебск — Шагал.
Тут ходили по струнке,
Мчался рыжий рысак,
Тут еще до чугунки
Был знатнейший кабак.
Фонари на предметы
Лили матовый свет,
И придворной кареты
Промелькнул силуэт.
Так мне хочется, чтобы
Появиться могли
Голубые сугробы
С Петербургом вдали.
Здесь не древние клады,
А дощатый забор,
Интендантские склады
И извозчичий двор.
Шепелявя неловко
И с грехом пополам,

Молодая чертовка
Там гадает гостям.
Там солдатская шутка
Льется, желчь не тая...
Полосатая будка
И махорки струя.
Драли песнями глотку
И клялись попадьей,
Пили допоздна водку,
Заедали кутьей.
Ворон с криком прославил
Этот призрачный мир...
А на розвальнях правил
Великан-кирасир.

Комарово
1961

№ 96

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

И в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.
1922

В заветных ладанках не носим на груди,
О ней стихи навзрыд не сочиняем,
Наш горький сон она не бередит,
Не кажется обетованным раем.
Не делаем ее в душе своей
Предметом купли и продажи,
Хворая, бедствуя, немотствуя на ней,
О ней не вспоминаем даже.
Да, для нас это грязь на калошах,
Да, для нас это хруст на зубах.
И мы мелем, и месим, и крошим
Тот ни в чем не замешанный прах.
Но ложимся в нее и становимся ею,
Оттого и зовем так свободно — своею.

Ленинград
1961

№ 97

ПОСЛЕДНЯЯ РОЗА

Вы напишете о нас наискосок.

И. Б.

Мне с Морозовою класть поклоны,
С падчерицей Ирода плясать,
С дымом улетать с костра Дидоны,
Чтобы с Жанной на костер опять.
Господи! Ты видишь, я устала
Воскресать, и умирать, и жить.
Все возьми, но этой розы алой
Дай мне свежесть снова ощутить.

Комарово
1962

З А С Ц Е Н О Й

(ФАКТЫ, ЛЮДИ, КНИГИ, ДОКУМЕНТЫ)

В конце книги собраны те стихотворения Анны Ахматовой, без которых наши разговоры непонятны.

Под строкой приводятся только самые необходимые сведения: либо кратчайшие справки о фактах и людях, либо библиографические ссылки на произведения Ахматовой и отрывки из ахматовских текстов, и в редких случаях — чужие или мои строки.

Весь дополнительный разъясняющий материал расположен мною в соответствии с датами и помещен в отделе «За сценой».

Приношу глубокую благодарность друзьям Анны Ахматовой, друзьям и родным Бориса Пастернака, безотказно помогавшим мне в моей работе: Л. Д. Большинцовой, Э. Г. Герштейн, Н. Н. Глен, В. М. Жирмунскому, В. В. Иванову, А. Г. Найману, Н. А. Ольшевской, М. С. Петровых, а также Евг. Б. и Е. В. Пастернакам.

Наиболее часто встречающиеся заглавия сокращены так:

БВ — Анна Ахматова. Бег времени. М.-Л., «Советский писатель», 1965

ББП — Анна Ахматова. Стихотворения и поэмы. Библиотека поэта. Большая серия. М.-Л., «Советский писатель», 1976

«Сочинения» — Анна Ахматова. Сочинения. Международное литературное содружество, т. 1, 1967 (2-е изд.), т. 2, 1968

«Памяти А. А.» — сб. «Памяти Анны Ахматовой», Paris, YMCA-Press, 1974

«Стихотворения», 1958 — Анна Ахматова. Стихотворения. М., Гослитиздат, 1958

«Стихотворения», 1961 — Анна Ахматова. Стихотворения. М., ГИХЛ, 1961

«Из шести книг» — Анна Ахматова. Из шести книг. Л., «Советский писатель», 1940

ОП — Анна Ахматова. О Пушкине. Статьи и заметки. Л., «Советский писатель», 1977

«Записки», т. 1 — Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Том 1. 1938-1941. Paris, YMCA-Press, 1976

«Книги. Архивы. Автографы...» — Л. А. Мандрыкина. «Ненаписанная книга», в сб. «Книги, Архивы, Автографы. Обзоры, сообщения, публикации». М., «Книга», 1973

«Встречи с прошлым», ЦГАЛИ, вып. 3 — Е. И. Лямкина. «Вдохновение, мастерство, труд», в сб. «Встречи с прошлым», ЦГАЛИ, вып. 3, М., «Советская Россия», 1978

«Ахматова. Ardis» — Анна Ахматова. Стихи. Переписка. Воспоминания. Иконография. Сост. Э. Проффер, Анн Арбор, Ардис, 1976

RLT — Э. Г. Герштейн. «Мемуары и факты», в ж-ле « Russian Literature Triquarterly », № 13, Ann Arbor, Michigan, Ardis, 1976

ББП-З — Н. А. Заболоцкий. Стихотворения и поэмы. Библиотека поэта. Большая серия. Л., «Советский писатель», 1973

ББП-П — Борис Пастернак. Стихотворения и поэмы. Библиотека поэта. Большая серия. М.-Л., «Советский писатель», 1965

ББП-М — О. Мандельштам. Стихотворения. Библиотека поэта. Большая серия. Л., «Советский писатель», 1973

ББП-Ц — Марина Цветаева. Избранные произведения. Библиотека поэта. Большая серия. М.-Л., «Советский писатель», 1965

Герцен. Собр. соч. — А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах. М., Издательство Академии Наук СССР.

1952

1 августа

[1]) Семья Шервинских не раз оказывала гостеприимство Анне Андреевне в Москве и у себя на даче в Старках. Многие стихотворения (и фотографии) Анны Андреевны помечены так: «Под Коломной» или «Старки». В частности, там, в пятидесятые годы, написаны стихи из цикла «Шиповник цветет». А стихотворение, озаглавленное «Под Коломной» (1943, Ташкент), прямо посвящено Шервинским.

Сергей Васильевич Шервинский (р. 1892) — поэт, стиховед, переводчик, теоретик перевода, преподаватель и теоретик «художественного чтения». Начинал он как поэт: в 1913 году в сборнике «Круговая чаша» напечатаны его первые стихи. В 1924-м опубликована его книга стихов об Италии («Лирика»). С 1924 года Сергей Васильевич начал заниматься переводами: переводил Софокла, Эврипида, Виргилия, Овидия, Катулла и написал о переводах несколько теоретических статей. А в 1935-м был издан учебник Шервинского (предназначенный для театральных ВУЗ'ов) «Художественное чтение». В 1961 году опубликована книга «Ритм и смысл. К изучению поэтики Пушкина».

Познакомились Сергей Васильевич и А. А. в 1927 г.

О Шервинском см. также стр. 96 и стр. 148.

[2]) А. А. цитирует не вполне точно. У Чехова сказано:

«Егорушка услышал тихое, очень ласковое журчанье и почувствовал, что к его лицу прохладным бархатом прикоснулся какой-то другой воздух».

[3]) БСЭ (третье издание): «Цимлянское водохранилище образовано плотиной Цимлянской ГЭС на реке Дон... Заполнение происходило в 1952-55».

31 августа

[4]) О Нине Антоновне Ольшевской, одном из преданнейших друзей Анны Андреевны, будет много говориться на дальнейших страницах этого тома, а также в третьем томе «Записок». Здесь напомню читателю только примеч. к стр. 89 первого тома. Добавлю также, что в 1946 году, узнав о постановлении ЦК, Нина Антоновна поспешила к Ахматовой в Ленинград, и эти первые труднейшие дни они пережили вместе. Дружба Нины Антоновны к Анне Андреевне была прочна, деятельна и неизменна. А. А. намеревалась посвятить Нине Ольшевской отдельную главу в своей автобиографии (см. статью Е. И. Лямкиной «Вдохновение, мастерство, труд» в 3-м выпуске сборника материалов ЦГАЛИ «Встречи с прошлым», М., 1978) и успела уделить ей несколько строк в своих воспоминаниях о Мандельштаме (см. «Сочинения», т. 2, стр. 183-184).

4 сентября

5) Речь идет о книге М. В. Нечкиной «А. С. Грибоедов и декабристы» (М., 1947).

Милица Васильевна Нечкина (р. 1901) — специалистка по истории русского революционного движения и общественной мысли XIX века. Основные труды посвящены декабристам и шестидесятникам. В 1948 г. Нечкина за книгу «А. С. Грибоедов и декабристы» получила сталинскую премию. С 1958 года М. В. Нечкина — действительный член Академии Наук СССР.

А. А. и Милица Васильевна были знакомы: они познакомились в эвакуации, в Ташкенте, в 1941 году.

1953

19 апреля

6) *...разговор зашел об освобождении врачей.* — В последний год своей жизни Сталин, для разжигания антисемитизма, изобрел «дело врачей». Известные в Москве заслуженные врачи-специалисты были арестованы; 13 января 1953 года «Правда» сообщила читателям, будто «раскрыта террористическая группа», «ставившая своей целью, путем вредительского лечения, сократить жизнь активным деятелям Советского Союза». Далее шел список злодеяний, в которых «признались преступники»: оказалось, что именно они убили Жданова и Щербакова и собирались «вывести из строя» маршала Василевского, маршала Говорова и мн. др. Следствие установило, что «врачи-убийцы» действовали по заданию «еврейской буржуазно-националистической организации «Джойнт», осуществлявшей в Советском Союзе «широкую шпионскую, террористическую и иную подрывную деятельность».

5 марта 1953 года было сообщено о смерти Сталина; а 4 апреля — об освобождении врачей: «Проверка показала, — писала «Правда», — что обвинения, выдвинутые против перечисленных лиц, являются ложными, а документальные данные, на которые опирались работники следствия — несостоятельными. Установлено, что показания арестованных, якобы подтверждающие выдвинутые против них обвинения, получены работниками следственной части бывшего Министерства Государственной Безопасности путем применения недопустимых и строжайше запрещенных советскими законами приемов следствия».

(То есть, — как и все «признания подсудимых», добытые следователями сталинской эпохи, — «признания» врачей даны были под пыткой).

Знаменитая резолюция Сталина: «бить, бить, бить», ставшая известной позднее, относилась именно к «следствию по делу врачей».

[7]) Исидор Владимирович Шток (р. 1908) — драматург. В Ташкенте, в эвакуации — сосед и постоянный посетитель Анны Андреевны. Вряд ли А. А. видела когда-либо на сцене хотя бы одну из его многочисленных пьес, но, когда Шток и Ахматова оказались соседями по общежитию писателей (на ул. Карла Маркса, 7), Шток был завсегдатаем ее чердачка, слушателем ее стихов и «Поэмы». Ахматова же слушала в чтении автора пьесу «Осада Лейдена» (1942) — аллегорическое изображение осады Ленинграда.

В ту пору Исидор Владимирович и жена его, Ольга Романовна, окружали Анну Андреевну добрососедской заботой, облегчая ей трудный эвакуационный быт. К тому же, Исидор Владимирович, весельчак и остроумец, развлекал Анну Андреевну своими каламбурами. Когда Штоки уезжали в Полярное, Ахматова сделала им драгоценный подарок: экземпляр «Поэмы без героя».

Драматургия Исидора Штока (за исключением, быть может, двух сказочно-сатирических пьес, поставленных Сергеем Образцовым в Центральном Театре Кукол) всегда отличалась посредственностью. Это ремесленные поделки «на современную тему».

Добросердечие и остроумие Исидора Владимировича не спасли его от падения. Друг и подручный Софронова, он в шестидесятые годы — в марте 63-го — приветствовал разгром литературы, учиненный Хрущевым на встречах с интеллигенцией (см. «Дни незабываемые» — «Вечерняя Москва», 12 марта); в семидесятые, в 1974-м, принял участие в травле Солженицына (см. «Пособник реакции» — «Советская культура», 22 января), а в 1977-м, после арестов Юрия Орлова, Александра Гинзбурга и Анатолия Щаранского и после появления на Западе обильных свидетельств, устных и письменных, о зверствах современного ГУЛаг'а — занялся травлей инакомыслящих (см. «Права человека?..» — «Советская культура», 20 мая).

Куда девалось его остроумие! Газетные статейки Штока ни юмором, ни находчивостью не блещут; это набор трафаретной брани против «кучки предателей» и их зарубежных хозяев. Кроме кавычек, в которые берутся слова «жертвы» или «борцы за права», кроме маленьких букв, с которых, для уничижения жертв и борцов, пишутся их фамилии, — публицистическая палитра Исидора Штока никакими красками не располагает. Примеч. 1979 г.

1 мая

[8]) Рижский вокзал (прежнее название — Виндавский) был построен архитектором Ю. Ф. Дитрихом в 1899 году. (Подробнее см. Е. И. Кириченко. Москва на рубеже столетий. М., 1977). Стиль — « style russe ».

14 мая

[9]) В то время — на договорных началах — я работала в редакции «Литературного Наследства», подготовлявшей к печати герцено-огаревские томы.

В 1945 году, после того, как советские войска освободили от немцев Чехословакию, чехословацкое правительство преподнесло Академии Наук СССР ценнейший дар: часть герцено-огаревского архива, «пражскую коллекцию». Тут были письма Герцена к Огареву, к детям и другим лицам; автобиографические наброски Герцена; стихи Огарева, его письма, автобиографические наброски и статьи; письма разных лиц в «Колокол» и т. д. С 1953 по 1956 год материалы «пражской коллекции» публиковались в томах 61, 62 и 63 «Литературного Наследства». Меня привлекли к редакторской работе основатели издания — И. С. Зильберштейн и С. А. Макашин. Моим непосредственным руководителем был Сергей Александрович Макашин — фактический редактор 61, 62 и 63 томов. Работа моя была трудоемкая, черная и безымянная: «стилистическая правка» вступительных статей и комментариев. Однако, при всей неказистости, она обогатила меня знаниями, и я благодарна ей. Герцен, один из сильнейших прозаиков русских, давно интересовал меня. Впоследствии я написала книжку о «Былом и Думах» (1966) и биографический очерк о юности Герцена («Начало» — см. альманах «Прометей», М., 1967). Работа в редакции «Литературного Наследства» сблизила меня с такими знатоками Герцена, Огарева и их современников, как Н. П. Анциферов, С. А. Макашин, Я. З. Черняк, Ю. Г. Оксман. Она расширила и углубила мои представления о Герцене-художнике, Герцене-мыслителе.

Мне было досадно, что А. А., постоянно изучавшая Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Толстого, — обходила вниманием Герцена.

10) *...она прилежно перелистывала Лемке* — то есть «Полное собрание сочинений и писем» Герцена под редакцией М. К. Лемке, выходившее с 1915 по 1925 г. Однако, для удобства читателя, перечисляя статьи, я даю библиографическую ссылку на более позднее (и при том более совершенное) издание: А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах. М., «Наука», 1954-1966. В дальнейшем это издание для краткости будем именовать: Герцен. Собр. соч.

Статьи «Плач», «Письма к противнику», «Поляки прощают нас» см. т. т. XVII, XVIII, XII.

11) Ошибка моей скорописи. «Показать дом Бориса Годунова» А. А. мне никак не могла, потому что дом этот не существует уже около двух столетий. Она лишь показала мне издали то место («Верхний набережный сад»), где в 1601-1603 годах был возведен Борисом Годуновым «Запасной дворец» — примечательный, кроме всего прочего, своим водопроводом. Одну часть «Запасного дворца» уничтожил в 1605 году Лжедмитрий; на этом месте он начал строить палаты для себя и палаты для Марины Мнишек. Окончательно же разобран «Запасной дворец» в 1770 году. (О «Доме Бориса Годунова» в его первоначальном виде дает представление гравюра Пикарта: см. Н. Я. Тихомиров и В. Н. Иванов. Московский Кремль. М., 1967, стр. 116).

5 июля

12) Зоя Александровна Никитина (1902-1973) — жена писателя Н. Н. Никитина, работавшая в то время в Литфонде. Сын ее, Владимир, в 1944 г. погиб на фронте. Незадолго до войны другой ее сын, Борис, пят-

надцатилетний подросток, был убит дома случайным выстрелом. Вот почему А. А., видя слезы Зои Александровны, подумала: «Опять у нее несчастье».

Зоя Александровна принимала участие во многих литературных работах. Так, например, в пятидесятые годы она — секретарь альманаха «Литературная Москва»; в 1966 году, совместно с Л. Рахмановым, составила сборник «Мы знали Евгения Шварца» (М.-Л.); в 1969, совместно с В. Кавериным, сборник «Ю. Тынянов. Пушкин и его современники» (М.); в шестидесятые и семидесятые годы в «Вопросах литературы» и в «Неделе» ею опубликованы также некоторые статьи Тынянова.

13) Анна Георгиевна Томан (ок. 1900) — служащая Литфонда.

14) В 1953 году в июньском номере «Нового мира» была напечатана статья Ф. Гладкова «О культуре речи»; до этого, в газете «Советское искусство» (17 мая 1952 г.), его же письмо в редакцию: «О языке на сцене и экране. О неправильном словоупотреблении».

15) Сестры Наталья и Татьяна Ильиничны, с которыми А. А. встретилась и подружилась в Болшеве в 1952 году, — интеллигентные, образованные женщины, происходившие из старомосковской дворянской семьи. Отец их, Илья Николаевич Игнатов (1858-1921) — долгие годы вел литературный и театральный критический отдел в газете «Московские Ведомости». Наталья Ильинична (1900-1957), в молодости ученица философа и лингвиста Г. Г. Шпета (1878-1940), в последние годы жизни работала редактором в издательстве АН СССР. Татьяна Ильинична (1898-1972) — провела несколько лет в лагере в Казахстане, как «член семьи врага народа»: она была женою инженера Сергея Николаевича Коншина, расстрелянного в 1937 г. В последние годы для Института Естествознания Татьяна Ильинична переводила со старонемецкого.

Обе сестры любили и хорошо знали Москву и Подмосковье. Взяв машину, они, вместе с Анной Андреевной, совершали дальние прогулки. Стихотворение Ахматовой, в котором поминается Рогачевское шоссе, первоначально (еще до того, как оно вошло в цикл стихотворений памяти Блока) было посвящено Н. И. Игнатовой. (См. сб.: Анна Ахматова. Стихотворения. М., Гослитиздат, 1958, стр. 59).

11 июля

16) Нина Константиновна Бруни (р. 1900) — жена художника Л. А. Бруни, дочь поэта Константина Бальмонта.

16 июля

17) *А вот Липскеров объявил... «для первого раза это ничего».* — К тому времени, как А. А. совершила первую попытку переводить китайских поэтов, — ее старинный знакомый, Константин Абрамович Липскеров (1889-1954) — в десятые годы поэт и живописец — был уже опытным переводчиком: он перевел поэмы Низами Гянджеви («Хосров и Ширин» и «Искандер-намэ»), армянский эпос — «Давид Сасунский» и мн. др.

Подробнее о К. А. Липскерове см. т. 3 моих «Записок».

4 ноября

18) Ахматова из года в год со все более глубокой горечью сетовала, что сборники ее стихов дают читателю ложное представление о ее поэзии, о ее пути. Сетовала она недаром. Как была бы она опечалена, если бы убедилась, что не только рядовые советские граждане, от которых власти целыми десятилетиями умышленно скрывали ее стихи, не только русские эмигранты, ведать не ведавшие о подвигах ее неукротимой музы, — но даже Марина Цветаева, вернувшись на родину и взяв в руки «Из шести книг», *не догадалась о вынужденных пропусках, о цензурных изъятиях!* Целые циклы стихов Анны Ахматовой, десятки и сотни созданных ею строк отсутствуют в этой книге да и в других ахматовских сборниках... 5 сентября 1940 года Марина Ивановна внесла в свою тетрадь такую запись: «да, вчера прочла, перечла — почти всю книгу Ахматовой, и — старо, слабо <...> А хорошие были строчки... Непоправимо-белая страница... (Строка из стихотворения «Вечерние часы перед столом» — Л. Ч.) Но что она делала с 1917 по 1940 г.? Внутри себя. Эта книга и есть непоправимо-белая страница... Жаль». (Марина Цветаева. Неизданные письма. Под общей редакцией проф. Г. Струве и Н. Струве. Paris, YMCA-Press, 1972).

В той же записи Цветаева высказывает неудовольствие по поводу стихотворения «Лотова жена». Это, разумеется, ее право. Но как же, спрашивая, что делала Ахматова «внутри себя» с 1917 по 1940 год, не спросить себя: да многое ли из сделанного Ахматовой (хотя бы в тридцатые годы) опубликовано? «Жаль». Примеч. 1979 г.

1954

18 января

19) 24 декабря 1953 года на первой странице «Литературной газеты» была помещена моя статья «О чувстве жизненной правды» (настоящее название, уничтоженное редакцией, «Гнилой зуб»). В статье говорилось о лживости советской литературы для детей. Примеры были взяты, главным образом, из удостоенной Сталинской премии повести В. Осеевой «Васек Трубачев», а также из рассказов начинающего тогда прозаика А. Алексина (ныне Алексин — секретарь Союза Писателей). На второй странице того же номера «Литературной газеты» было напечатано сообщение о расстреле Берия. Это дало повод одному литератору прислать мне в подарок такую эпиграмму:

Не день сегодня, а феерия!
Ликует публика московская.
Открылся ГУМ, закрылся Берия
И напечатана Чуковская.

20) Николай Николаевич Вильям-Вильмонт (р. 1901) — один из крупнейших советских германистов, знаток и переводчик Гете, Шиллера, Гердера, Бехера, Томаса Манна; редактор и составитель однотомников и собраний сочинений.

21) Вас. Ардаматский (р. 1911) — журналист; он приобрел особую известность своим антисемитским фельетоном «Пиня из Жмеринки», появившимся в журнале «Крокодил» 10 марта 1953 г. — то есть за две недели до освобождения и полной реабилитации врачей-евреев. Как сообщает КЛЭ, Ардаматский — «автор очерков, рассказов, повестей, часто на документальной основе, о работе чекистов в годы Великой Отечественной войны» (т. 9). Юмореска в «Крокодиле» — в данном случае тоже была, по-видимому, работой чекиста, только уже не во время Великой Отечественной войны, а после.

22) Ираклий Луарсабович Андроников (р. 1908) — литературовед и артист. «Основные литературоведческие работы и рассказы Андроникова, — пишет о нем КЛЭ, — посвящены изучению биографии и творчества М. Ю. Лермонтова, а также архивным и текстологическим разысканиям». К этому следует добавить, что в молодости И. Л. Андроников был учеником Б. М. Эйхенбаума и Ю. Н. Тынянова: вот почему В. Б. Шкловский с такою горячностью напал на него за его излишне осторожную, отступническую речь о Тынянове.

Оценить вклад И. Л. Андроникова в советское литературоведение я не берусь. Меня всегда пленял, главным образом, дар Андроникова-артиста. Талант его необычаен и являет себя с особенным блеском, когда выступает Андроников не в большом зале, перед сотнями, и не на экране телевиденья, перед миллионами, а в комнате, перед двумя-тремя — много десятью людьми. Я помню эти выступления с конца двадцатых и в тридцатые годы: Андроников, как и я, еще жил в ту пору в Ленинграде, сотрудничал в «ленинградской редакции» Детиздата, возглавляемой С. Я. Маршаком, и в журналах «Еж» и «Чиж», возглавляемых Н. М. Олейниковым. Когда в редакцию, бывало, являлся Андроников, нашей работе, даже самой срочной, наступал конец. Начинался спектакль в театре одного актера. Ираклий превращался на наших глазах то в армянскую старуху, то в Алексея Николаевича Толстого, принимающего у себя на даче Василия Ивановича Качалова, то в Маршака, рассуждающего о стихах, то в Чуковского, застрявшего в Детгизовском лифте. Это был настоящий праздник искусства. Искусства — чего? Перевоплощения? Да, но не только, потому что Ираклий Андроников не просто п о х о д и л в эти минуты на Жирмунского, Переселенкова, Н. Тихонова, Остужева или Штидри, но передавал и в слове, и в интонации, и в движениях — передавал не без издевки и шаржа — самую с у т ь, концентрат изображаемой личности; это надо было видеть и слышать. Впоследствии, в Москве, я тоже не раз слышала в исполнении Ираклия Луарсабовича речи Симонова, речи Суркова и телефонный монолог Пастернака. И, несмотря на то, что с конца сороковых годов наши пути разошлись (у многих своих прежних друзей, в том числе и у меня, И. Л. более не появлялся) — я, вопреки неодобрению Анны Андреевны, продолжала и про-

должаю с восхищением вспоминать законченные роли-новеллы, созданные Ираклием Андрониковым в театре одного актера.

Об И. Л. Андроникове см. также стр. 424.

5 февраля

23) Лев Владимирович Руднев (1885-1956) — архитектор, художник-акварелист; профессор Ленинградских и Московских архитектурных ВУЗ'ов; с 1939 года действительный член Академии Архитектуры СССР. Руднев соорудил в Ленинграде памятник Жертвам Революции на Марсовом поле (1917-1919); в Москве — Академию им. М. В. Фрунзе (1932-1937, совместно с В. О. Мунцем), а также новое здание Московского Университета на Ленинских горах (1949-1953).

Академия им. М. В. Фрунзе — военная; вот почему Л. В. Руднев был хорошо знаком с Ворошиловым.

8 мая

24) Владимир Германович Лидин (1894-1979) — писатель, начавший печататься еще до революции, в 1915 году. Лидин — автор многочисленных рассказов, очерков, повестей и романов. Чего именно не понял он в «Поэме без героя» или что из нее «вычитал» — не знаю; но знаю, что кривотолков «Поэма» возбуждала множество и они сильно тревожили Анну Андреевну, в особенности, когда превратные толкования «Поэмы» исходили от людей, помнивших, как и она, годы, предшествовавшие войне и революции. «Строже всего... ее судили мои современники», — сказано было Ахматовой в «Письме к NN», которое, собственно, и было этим осуждением вызвано. («Письмо к NN» см. на стр. 91-92).

15 мая

25) Мария Валентиновна Ватсон (1853-1932) — поэтесса, переводчица; Мария Валентиновна первая перевела «Дон Кихота» на русский язык не с других языков, а непосредственно с испанского, и притом полностью. Я помню ее уже глубокой старухой, с трясущейся головой; в молодости она была невестой Надсона; он умер у нее на руках.

17 мая

26) М. П. Султан-Шах. «М. Н. Волконская о Пушкине» — см. сб. «Пушкин. Исследования и материалы». Институт русской литературы (Пушкинский дом). Т. 1, М.-Л., изд. АН СССР, 1956.

27) Мария Федоровна Андреева (1868-1953) — артистка Художественного Общедоступного театра; одно десятилетие — гражданская жена Горького. После революции Мария Федоровна на сцену не вернулась, а так как еще в 1904 г. она вступила в партию, то с 1918 по 1921 стала Комиссаром театров и зрелищ в Петрограде, а с 1931 по 1948 заведовала Московским Домом Ученых.

Во II томе «Художественного Наследства» (Репин. Редакция И. Э. Грабаря и И. С. Зильберштейна. М.-Л., изд. АН СССР, 1949) на стр. 275 и 277 помещены две фотографии Марии Федоровны; обе в «Пенатах» у Репина и обе относятся к 1905 году; одна — это репродукция репинского портрета Андреевой, вторая представляет Марию Федоровну в мастерской художника: рядом с нею А. М. Горький, И. Е. Репин и жена Репина.

29 августа

28) Георгий Николаевич Оболдуев (1898-1954) — поэт. В печати стихотворения его почти не появлялись: при жизни — одно единственное в 1929 году в № 5 журнала «Новый мир»; после смерти — несколько вещей в альманахах «Песнь любви» (М., 1967), «День поэзии» (М., 1968) и «День поэзии» (М., 1978). Несмотря на содержательную заметку Л. Озерова, помещенную в «Дне поэзии» (1978, стр. 215), следует считать, что Георгий Оболдуев поэт еще не открытый. Будущее его впереди. Прижизненная судьба такова: в 1933 году он был арестован и отправлен в Карелию на Медвежью гору; в 1939-м освобожден с запрещением жить в больших городах — и уж, конечно, печататься; в 1943-м ушел на фронт, а вернувшись и получив, наконец, право жить в Москве — жил, по болезни, преимущественно под Москвой, в Голицыне (вместе со своей женой, поэтессой Еленой Благининой). Для заработка — переводил.

Некоторые стихи Оболдуева в сороковые и пятидесятые годы ходили, однако, по рукам. Быть может, этим объясняется интересный факт: почти полное совпадение одной ахматовской строчки со строкой Оболдуева. У него в стихотворении 1947 года («Осенний лес») читаем:

И воздух терпкий, как вино...

у Ахматовой в стихотворении 1964 («Земля, хотя и не родная»):

И воздух пьяный, как вино...

(БВ, Седьмая книга)

Объяснить такое совпадение можно двояко: совершенной случайностью или бессознательным заимствованием.

29) Ахматова цитирует слова Веры Фигнер из ее речи в первую годовщину смерти П. А. Кропоткина. См. «П. А. Кропоткин и В. Г. Короленко». — Вера Фигнер. «Полное собрание сочинений в 7 томах», 2-ое издание, т. 5, М., 1932, стр. 459.

1955

21 января

30) Георгий Аркадьевич Шенгели (1894-1956) — поэт, теоретик стихотворного языка, переводчик. Первая книга его стихов («Розы с клад-

бища») вышла в 1914 г.; первая стиховедческая работа («Два памятника») в 1918-м. Как о поэте наиболее полное о нем представление дает сборник «Избранные стихи» (М., 1939); как о стиховеде — книга «Техника стиха» (М., 1960). Переводил Шенгели преимущественно Байрона, но также и Гейне, и многих французских поэтов: Гюго, Эредиа, Бодлера, Верхарна. И на практике, и в теории перевода Шенгели был приверженцем буквализма, то есть точной передачи смысла каждой отдельной строчки, что мешало ему передавать иную точность: поэтическое очарование подлинника.

Георгий Аркадьевич впервые увидел Анну Андреевну в 1916 году, а познакомились они в 1924-м. Работая над изучением метрики и просодии русского стиха, Шенгели изучал и поэзию Ахматовой. В своих ответах Алексису Ранниту (см. примеч. [248])) А. А. между прочим писала: «...Георгий Аркадьевич Шенгели, с которым я часто встречалась и дружила, иногда, для своих изысканий, просил меня произнести какую-нибудь строку» («Сочинения», т. 2, стр. 305-306). А в одном из сохранившихся набросков плана автобиографии в главе «Современники», среди перечисленных лиц, о которых она намеревалась писать, А. А. упоминает Шенгели или, в продолжении того же плана, — «Неуслышанный голос» (См. сб. «Встречи с прошлым», ЦГАЛИ, вып. 3, стр. 408-409).

14 апреля

31) О. Берггольц. Верность. Трагедия. Л., 1954.

Об отношении Анны Андреевны к О. Ф. Берггольц, поэту и человеку, см. примеч. [115]).

32) О. Берггольц. Ленинградская поэма. Л., 1942.

33) Миша (р. 1937) и Боря (р. 1940) — сыновья Нины Антоновны и Виктора Ефимовича; Алеша (р. 1928) — пасынок Ардова, сын Нины Антоновны от ее первого брака с Владимиром Петровичем Баталовым, режиссером МХАТ'а.

22 апреля

34) Академик Василий Васильевич Струве (1889-1965) — востоковед.

35) «Японская поэзия». Сборник. Перевод с японского. М., Гослитиздат, 1954. Составители и переводчики А. Е. Глускина и В. Н. Маркова. Вступительная статья Н. И. Конрада.

6 мая

36) Борис Николаевич Ливанов (1904-1972) — знаменитый артист Московского Художественного Театра, исполнитель ролей Ноздрева в «Мертвых душах», Мити в «Братьях Карамазовых», Астрова и Соленого в «Дяде Ване» и «Трех сестрах».

Пастернак и Ливанов познакомились в 1938 году, когда МХАТ собирался ставить «Гамлета» в переводе Пастернака с Ливановым в заглавной роли. Спектакль не состоялся, но дружба между Пастерна-

ком и Ливановым сохранилась. Ливанов радовал Пастернака не только своим актерским мастерством, но и общим артистизмом, весельем духа, постоянной оживленностью, умением оживлять всех вокруг.

37) Галина Христофоровна Башинджагян (р. 1906) — преподавательница русского языка и литературы в школе. Одно время Галина Христофоровна, давний друг семьи Ардовых, жила у них на Ордынке и помогала мальчикам в их учебных занятиях.

38) Мария Павловна Кудашева (р. 1895) — жена Ромена Роллана. Она родилась в России; мать — француженка, отец — русский; Мария Павловна в молодости писала стихи по-французски и вращалась в литературном кругу: была знакома с Максимилианом Волошиным, Мариной Цветаевой, Осипом Мандельштамом, Андреем Белым. В двадцатые годы, еще находясь в России, она начала переписываться с Роменом Ролланом, затем уехала в Швейцарию и вышла за него замуж. Летом 1935 года Ромен Роллан побывал в России.

При каких обстоятельствах и когда происходили встречи Ахматовой с Кудашевой, мне неизвестно.

39) С С. Я. Маршаком (1887-1964) Ахматова была знакома издавна: познакомились они в 1927 г., в Кисловодске. Когда А. А. принялась самостоятельно изучать английский язык, С. Я. Маршак, большой знаток английского, помог ей, как она мне рассказывала, овладеть английским произношением. Осенью 1941 года, когда Анну Андреевну доставили на самолете из осажденного Ленинграда в Москву, она некоторое время жила в семье Маршака (на ул. Чкалова, 14/16, кв. 113). Об их совместном путешествии во время войны из Казани в Среднюю Азию см. «Записки», т. 1, стр. 204-208.

10 мая

40) Вокальный цикл Д. Шостаковича «Из еврейской народной поэзии» был создан им осенью 1948 г. Шостакович пользовался сборником: «Еврейские народные песни» (составленным И. М. Добрушиным и А. Д. Юдицким под редакцией академика Ю. М. Соколова, М., Гослитиздат, 1947). Возмущение Анны Андреевны качеством переводов вполне понятно. Перелистывая сборник, встречаешься, например, с такой колыбельной:

Бай, бай, бай!
В село, татуня, поезжай!
Привези нам гусочку, —
Чтоб не болеть пузочку!

(Стр. 46. Пер. А. Глобы)

или с такими наскоро сколоченными виршами, призванными изобразить восторг современных советских евреев:

Какими благами окружена
Еврейского сапожника жена!

(Стр. 234. Пер. А. Длигача)

Однако, несмотря на дурное качество переводов (а иногда и подлинников), еврейские песни Шостаковича — цикл, созданный им в пору лютого антисемитизма последних сталинских лет, — звучал и продолжает звучать не только как большое событие в музыке, но и как явление общественной жизни: отпор современному черносотенству.

21 мая

41) Татьяна Борисовна Казанская (р. 1916) — дочь литературоведа и лингвиста, специалиста по классической филологии, профессора Бориса Васильевича Казанского (1889-1962). Сама она — знаток французского языка и французской литературы, переводчица и преподавательница. С 1953 по 1966 год Татьяна Борисовна преподавала в Ленинградском Государственном Педагогическом Институте им. Герцена французский язык, латынь, романскую филологию и общее языкознание. В ее переводах в разное время выходили произведения Жорж Санд и Петрюса Бореля. Однако занималась Татьяна Борисовна не только преподаванием и переводами. Всю жизнь она писала стихи. Ее вопрос, обращенный к Анне Андреевне, *«значит, это и есть слава?»*, вызван был, по-видимому, тем, что собственные ее стихотворения оставались безвестными: опубликовано всего одно «Уж весенний заиграл рожок» (см. журнал «Простор», 1962, № 9).

Отец Татьяны Борисовны, специалист по классической филологии, был, кроме того, одним из видных пушкинистов — в частности, он первый, как сообщает КЛЭ, высказал «предположение о роли придворной интриги в судьбе Пушкина» (т. 9). В начале пятидесятых годов А. А., через Б. В. Томашевского, обратилась к Б. В. Казанскому за каким-то советом, связанным с ее «пушкинскими штудиями». Тут и познакомились А. А. и «Таня Казанская». Они начали встречаться и читать друг другу стихи. Примечательно, что две строчки, послужившие эпиграфом к «Седьмой книге» (БВ, стр. 291), Ахматова взяла из стихотворения Т. Казанской:

Пала седьмая завеса тумана, —
Та, за которой приходит весна.

Стихотворение Т. Казанской, нигде никогда не печатавшееся, я привожу здесь полностью.

Льдины трещали, звенели морозы,
С крыш ледяная текла бахрома.
Так опадают махровые розы:
Ризу за ризой роняет Зима.

Словно яранга под бубен шамана
Рвется на части узка и тесна,
Пала седьмая завеса тумана, —
Та, за которой приходит Весна.

Фатаморгана и метаморфоза:
Мрамор холодный очнулся, дыша.
Так расцветает махровая роза:
Смертию смерть попирает душа.

27 мая

[42]) Нина Иосифовна Коган (1889-1942) — художница; в каталогах выставок, осуществленных ленинградскими художниками между 1935 и 1941 годами, упоминаются ее рисунки, акварели и несколько пейзажей маслом. Когда и при каких обстоятельствах Нина Иосифовна познакомилась с Анной Ахматовой и создала ее портрет — мне неизвестно. Репродукция опубликована во втором томе «Сочинений» с подписью «Рисунок Нины Коган. (30-е годы)», а подлинник хранится в Ленинграде, в собрании О. И. Рыбаковой.

Встречала я Нину Иосифовну, когда *«она приходила в нашу редакцию к Лебедеву»*, потому, что Нина Коган была, в частности, иллюстратором книг для детей. О *«нашей редакции»* — т. е. о ленинградском отделении Детгиза, руководимом С. Я. Маршаком, см. седьмую главу моей книги «В лаборатории редактора» (изд. 2-е, М., 1963).

Владимир Васильевич Лебедев (1891-1967) — живописец и график, ведал художественным отделом; о Лебедеве, как о создателе детской книги, как об учителе молодых художников, которых он этой работой увлек, см. особую главу в монографии В. Петрова «Владимир Васильевич Лебедев» (Л., 1972). При Лебедеве иллюстрировали детские книги лучшие художники Ленинграда: Н. Тырса, Н. Лапшин, Ю. Васнецов, В. Курдов, Е. Чарушин, А. Пахомов, В. Ермолаева, В. Конашевич, П. Соколов, Э. Будогоский. Среди художников, приглашенных В. В. Лебедевым, была и Нина Коган. Для детей рисовала она, главным образом, зверей и птиц. Думаю, что курица, которую, по словам Анны Андреевны. Нина Иосифовна «укладывала спать», служила художнице живой моделью.

11 июня

[43]) Любовь Давыдовна Большинцова (р. 1908) — переводчица, в первом браке — жена Валентина Осиповича Стенича (1898-1939) — стиховеда и стихолюба. (О встрече со Стеничем подробно рассказал Александр Блок в статье «Русские денди»). Переводы Стенича в свое время явились событием: русский читатель в его переводах впервые прочел Джойса, Дос-Пассоса, Фолкнера, Шервуда Андерсона. С Ахматовой Стенич был знаком еще в двадцатые годы. Осенью 1937 года он был арестован и погиб в заключении.

Любовь Давыдовна познакомилась и подружилась с Анной Андреевной (через Нину Антоновну Ольшевскую) в Ленинграде, в 1934 году.

[44]) Давид Иосифович Заславский (1880-1965) — автор нескольких историко-литературных работ о Салтыкове-Щедрине и Достоевском. Но известность он приобрел не историко-литературными своими статьями (хотя и они в достаточной степени знаменательны: «Международная буржуазия в сатирах Щедрина» или «Щедрин в борьбе с контрреволюцией»), а ренегатством, во-первых, и угодничеством перед властью — во-вторых. До революции Заславский был одно время меньшевиком, потом перешел к бундовцам; после революции — некоторое время выступал против большевиков, вызывая неудовольствие Ленина, но уже в 1919 году «признал свои ошибки» и по официаль-

ным заданиям начал писать в газетах политические фельетоны на внутренние и, главным образом, международные темы. (См., напр., сборник «Пещерная Америка», М., 1951). С 1928 года Заславский — один из главных фельетонистов «Правды»... Беседуя о нем с Анной Андреевной в 55 г., мы еще не предвидели, что в 58, в период травли Пастернака, Заславский выступит в «Правде» со статьей «Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка».

45) *...дайте мне слово, что она никогда не прилипнет к «Поэме».* — От Анны Андреевны я не раз, начиная еще с ташкентских времен, слышала эту просьбу: «Приглядите... обещайте... дайте мне слово». Та же просьба, хоть и в иной форме, выражена ею в предсмертной тетради: несколько страниц, озаглавленных «Для Лиды».

Обращалась она с подобными просьбами в разное время к разным людям, не ко мне одной. Но моей будущей невозможности «приглядеть» она не предчувствовала.

9 января 1974 года меня исключили из Союза Писателей, а тем самым отняли право печататься. Ни мемуары, ни критические статьи, ни повести, ни историко-литературные работы — ни одна моя строка не может более прорваться в печать. Однако процесс моего исключения начался гораздо раньше 1974 года. Чем шире распространялись мои повести и «открытые письма» в вольном Самиздате, тем плотнее захлопывались передо мною двери государственных издательств. (Об этом подробно рассказано в автобиографической книге, которая так и называется «Процесс исключения» /Paris, YMCA-Press, 1979/).

В 1969 году «Лениздат», не объясняя причин, отказался печатать мою работу: стихотворения и поэмы Ахматовой, подготовленные и прокомментированные мною для сборника «Анна Ахматова. Стихотворения и проза». Работа была принята, оплачена и отвергнута.

В 1972 году Детгиз и журнал «Семья и школа», так же не утруждая себя объяснениями, возвратили мне принятые и одобренные к печати воспоминания о Корнее Чуковском.

Но в 1967 году «процесс исключения» еще не завершился. Меня кое-где (по недосмотру начальства) еще печатали. К тому же я еще была тогда членом Комиссии по литературному наследию Анны Ахматовой. В № 5 журнала «Литературная Грузия» мне удалось опубликовать ее «Стихи разных лет» и среди них то стихотворение, которое по ее требованию никогда не должно было «прилипнуть к «Поэме». Упомянув в предисловии, что обращается в нем автор к «Поэме», я опубликовала этот маленький шедевр безо всякого заглавия и уж, разумеется, не в качестве строфы, задуманной будто бы как строфа «Поэмы без героя». Просьба Ахматовой мною была исполнена в точности.

Но, к сожалению, только мною. В дальнейших изданиях произошло то, чего опасалась А. А.: стихотворение начало упорно к «Поэме» «прилипать».

1974 год, Гослитиздат, сб. «Избранное», стр. 465 — «Надпись на «Поэме без героя» (да еще с исковерканной пятой строкой); 1976, Лениздат, сб. «Стихи и проза», стр. 494 — «Надпись на поэме»; и даже в лучшем, точнейшем и полнейшем из советских изданий стихотворений Ахматовой — ББП, 1976 на стр. 294 оно напечатано как «Надпись

на поэме «Триптих»; в комментарии же на стр. 498 читаем абракадабру: «Посмертная публикация — «Литературная Грузия», 1967, № 5, стр. 64 под заглавием "Надпись на книге"». Между тем никакого заглавия этому стихотворению, памятуя просьбу Анны Андреевны, я в моей публикации не давала. (ББП — издание, на подготовку которого В. М. Жирмунский отдал последние 5 лет своей жизни, было после его смерти повреждено издательством и цензурой. Даже предисловие Жирмунского снято — не говоря уж об отрывках из моих «Записок», изобильно цитируемых Жирмунским в комментарии. Щепетильный ученый цитировал их со ссылками на мое имя; когда же имя мое было запрещено — слова Ахматовой, сохраненные моими записями, из комментария оказались изъяты).

«Приглядите... дайте мне слово... обещайте» говорила мне не раз А. А. Она не предвидела, «что случится с жизнью моей». Как могу я «приглядеть» за чем-нибудь ахматовским, если мне не только запрещено опубликовать воспоминания о родном отце, но и из чужих воспоминаний о Корнее Чуковском вычеркивается мое имя, а, принимая к печати фотографии Корнея Ивановича среди детей, цензоры и редакторы в лупы рассматривают детские лица, чтобы на снимке, не дай Бог, не появилось мое семилетнее лицо!

(Из моих «Записок об Анне Ахматовой» в настоящее время каждый желающий, беспрепятственно и не ссылаясь на источник, берет что ему угодно: он сознает полноту своей безнаказанности — мои протесты нигде не будут опубликованы). Примеч. 1980 г.

16 июня

46) *...ходила за своей версткой* — версткой статьи: Лидия Чуковская. Зеркало, которое не отражает. Заметки о языке критических статей. — См. «Новый мир», 1955, № 7.

11 июля

47) Фаина Георгиевна Раневская (р. 1896) — народная артистка СССР, прославившаяся комедийным, иногда и гротескным исполнением характерных ролей в русских классических пьесах и в инсценировках русской классики. Она сыграла Змеюкину, Мерчуткину, Наташу и Войницкую в пьесах Чехова; «бабуленьку» и Лаврецкую в инсценировках «Игрока» и «Дворянского гнезда». С огромным успехом снималась она и в кино.

Ф. Г. Раневская и А. А. познакомились и подружились в 1941 году в эвакуации, в Ташкенте.

48) Я пыталась бороться. «Внутренняя рецензия» Ложечко потому и попала мне в руки, что я в ту пору уже собирала материал для статьи «Рабочий разговор», т. е. для будущей книги «В лаборатории редактора». (См. примеч. 83)).

49) Ал. Блок. «Записные книжки». Редакция и примечания П. Н. Медведева. Л., «Прибой», 1930.

50) Читая «Записные книжки» и беседуя с Анной Андреевной, я позабыла, что наблюдение это было сделано не мною и притом зна-

чительно ранее. К. Чуковский в статье «Последние годы Блока» писал: «В сущности <...> не было отдельных стихотворений Блока, а было одно сплошное неделимое стихотворение всей его жизни <...> которое и лилось непрерывно с 1898 по 1918 год» (См. «Записки Мечтателей», 1921, № 6). Примеч. 1978 г.

2 октября

51) В БСЭ (второе издание, 1954, т. 30, стр. 265) была помещена статья "О журналах «Звезда» и «Ленинград»", то есть о знаменитом постановлении ЦК от 14 августа 1946 г. Привожу отрывок:

«Центральный комитет партии указал в этом постановлении на серьезные ошибки, допущенные редакциями журналов «Звезда» и «Ленинград», которые предоставляли свои страницы для чуждых в идейном отношении произведений. Грубой ошибкой явилось опубликование идеологически вредных рассказов М. Зощенко и стихов А. Ахматовой».

16 декабря

52) В то время большим успехом пользовались среди читателей две пародии Н. Ильиной, напечатанные в «Литературной газете»: одна (22 октября) о колхозных очерках — «Наставление для очеркиста» и вторая (3 декабря) — «Рецепт составления рассказов на воспитательную тему».

18 декабря

53) «Биографическое и литературное известие о Пушкине» — «Полное Собрание Сочинений кн. П. А. Вяземского», т. VII, СПб, 1882, стр. 310.

54) Профессор Михаил Илларионович Артамонов (р. 1898) — историк, археолог; занимался он этногенезом и ранней историей славян. В тридцатые годы проф. Артамонов был научным руководителем Л. Н. Гумилева; производя раскопки на Дону, он брал молодого ученого с собой.

Письмо в защиту Л. Н. Гумилева профессором Артамоновым действительно было дано. См. RLT, стр. 652-653.

30 декабря

55) Николай Иосифович Конрад (1891-1970) — филолог-востоковед, знаток Японии и Китая, в то время член-корреспондент Академии Наук. По словам Э. Г. Герштейн, в хлопотах за Л. Н. Гумилева Н. И. Конрад принимал большое участие. См. RLT, стр. 651.

56) Первое стихотворение — «На дереве свистит синица» — было, по-видимому, известно Ахматовой еще до напечатания; второе — «Хмель» — опубликовано журналом «Знамя» в 1954 г., в № 4. Первое, в переработанном виде и под названием «Осень», напечатано лишь после смерти Пастернака — см. Борис Пастернак. Стихотворения и поэмы. Библиотека Поэта. Большая серия. М.-Л., «Советский писатель», 1965,

стр. 435 и 609. В дальнейшем это издание мы будем кратко именовать ББП-П.

57) «Свидание» — см. ББП-П, стр. 442

58) ББП-П, стр. 261-262

59) ББП-П, стр. 357

1956

4 января

60) 14 июня 1942 года в Ташкенте Анну Андреевну навестил Яков Захарович Черняк и сделал об этом посещении интересную запись в своем дневнике. После смерти Якова Захаровича мне подарила эту запись вдова его, Елизавета Борисовна, а я подарила копию Анне Андреевне.

Яков Захарович Черняк (1898-1955) — историк литературы, знаток шестидесятых годов, специалист по Герцену и, в особенности, по Огареву. Я встретилась с Яковом Захаровичем в редакции «Литературного Наследства» в пору создания герценовско-огаревских томов (томы 61-64) и подружилась с ним, дивясь богатству, глубине и уникальности его познаний. Я. З. Черняк был на редкость чуток к стихам; знал русскую поэзию от Пушкина до наших дней. Одно время Яков Захарович был дружен с Борисом Леонидовичем, и Борис Леонидович в 1927 г. посвятил ему стихотворение «Приближение грозы» (ББП-П, стр. 213)

8 января

61) Ираклий Андроников. Тагильская находка. — Из писем Карамзиных. Публикация Н. Боташева. Пояснительный текст И. Андроникова. — «Новый мир», 1956, № 1. (После опубликования отрывков из писем в «Новом мире», знаменитая переписка в мае 1956 года поступила из Нижнетагильского краеведческого музея в Рукописный отдел Пушкинского дома, а еще через четыре года была опубликована почти полностью — см. «Пушкин в письмах Карамзиных 1836-1837 годов», М.-Л., Изд-во АН СССР, 1960).

16 января

62) Наблюдение Анны Андреевны, в общем вполне справедливое, нисколько не подтверждается однако теми тремя стихотворениями Н. Асеева, которые были опубликованы 15 января 1956 года: см. «Огонек», № 3 — «Солнцеворот», «Небо в сильный ветер» и «Зрелость».

28 января

63) После разгрома восстания Шмидт и повстанцы-матросы были

заключены в очаковской крепости. Для свидания со Шмидтом в Очаков приехала «его корреспондентка», Зинаида Ивановна Ризберг. «Однако как свежо Очаков дан у Данта» — это, в поэме Пастернака, первое впечатление Зинаиды Ивановны от очаковской крепости — первая строка четвертой главки третьей части (ББП-П, стр. 296). Я рассчитывала, что Борис Леонидович вспомнит, кто такая Зинаида Ивановна; работая над поэмой, он безусловно использовал книгу, которую использовала, работая над сценарием, я: сб. «Лейтенант Шмидт. Письма, воспоминания, документы». Под редакцией и с предисловием В. Л. Максакова, М., «Новая Москва», 1922. В книге опубликованы письма Шмидта к З. И. Р. и ее воспоминания о нем.

64) «Заметки к переводам шекспировских трагедий» появились, однако, в первом сборнике «Литературной Москвы» (М., Гослитиздат, 1956).

65) «Девятьсот пятый год» — книга Б. Пастернака, опубликованная ГИЗ'ом в 1927 году. В книгу, в качестве одной из ее частей, входила поэма «Лейтенант Шмидт». «Виктор Вавич» — роман Б. Житкова о девятьсот пятом годе, печатавшийся частями в начале тридцатых годов, а полностью не опубликованный до сих пор. В 1941 году, когда издательство «Советский писатель» напечатало роман целиком, все экземпляры десятитысячного тиража, по указанию свыше, пошли под нож. От уничтожения спаслись всего-навсего какие-нибудь 10-20 экземпляров: рабочие вынесли их из типографии тайком.

Долгие годы даже упоминать в печати о существовании романа было запрещено, хотя другие книги Бориса Житкова неоднократно переиздавались. Причиной запрета оказался отзыв А. Фадеева: он нашел изображение охранки, полицейщины и предательства «неполезным» для наших дней и, отдавая должное таланту автора, уличил его в большей симпатии к эсерам, чем к социал-демократам. (См. А. Фадеев. За тридцать лет. Избранные статьи, речи и письма о литературе и искусстве. М., «Советский писатель», 1957, стр. 811-812).

Борис Степанович Житков (1882-1938) — моряк, штурман дальнего плавания, инженер-кораблестроитель — один из крупнейших русских прозаиков советского времени. (См. сб.: Борис Житков. Морские истории. Л., Детиздат, 1937; сб.: Борис Житков. Избранное. М., Детгиз, 1957 с моим предисловием; рассказ «Слово» в № 5 журнала «Москва» за 1957 год; а о нем см.: «Жизнь и творчество Б. С. Житкова». М., Детгиз, 1955; книгу: Лидия Чуковская. Борис Житков. Издание второе. М., Детгиз, 1957 и статью Л. Пантелеева «Ни на один оборот...» в книге: Л. Пантелеев. Избранное. Л., «Детская литература», 1978).

Я читала (и слушала) роман Житкова главу за главой еще тогда, когда автор работал над ним, — в конце двадцатых годов. После смерти Бориса Степановича я не раз пыталась написать о «Викторе Вавиче» для печати, но натыкалась на категорический запрет. Ныне роман остается неопубликованным, но упоминать о нем уже дозволено.

Ту же фразу, что и Анне Андреевне: «я помню 905 год благодаря «Девятьсот пятому году» Пастернака и «Виктору Вавичу» Житкова», я сказала однажды Борису Леонидовичу — прослушав первые главы романа «Доктор Живаго», где изображен 905-й. Мои слова удивили Бориса Леонидовича. «Житков? Это что — детский писатель?», пере-

спросил он с неудовольствием. «Нет, это не детский и не не детский, а просто замечательный русский писатель», ответила я. Через несколько лет Борис Леонидович внезапно позвонил мне по телефону: он прочел «Вавича». «Это лучшее, что написано когда-либо о 905 годе, — сказал он. — Какой стыд, что никто не знает эту книгу. Я разыскал вдову Житкова и поцеловал ее руку».

29 февраля

66) Эм. Казакевич. Дом на площади. — «Литературная Москва», сборник первый, стр. 61-432.

67) Ник. Асеев. Памятник — там же, стр. 542.

68) Виктор Шкловский. Портрет — там же, стр. 598.

69) В сборнике первом «Литературной Москвы» напечатаны следующие стихи Леонида Мартынова: «Вот корабли прошли под парусами», «Заводы», «Я помню», «Богатый нищий», «Солнце и художник», «На ВСХВ».

70) Эта парадия называлась «Следы на насыпи». Обычный сюжет советских «приключенческих» повестей — разоблачение «шпиона». Пародия Н. Ильиной, высмеивая бездарных «приключенцев», высмеивала заодно и казенную шпиономанию. Вот почему напечатать «Следы» оказалось нелегко: в «Литературной газете» их отверг Кочетов, а в «Крокодиле» — Заславский. Спустя год опубликовал «Следы на насыпи» новый (и тогда еще задорный) журнал «Молодая Гвардия» (1957, № 1). Переиздана пародия в сборнике Н. Ильиной «Светящееся табло» (М., «Советский Писатель», 1974), — в книжке, где с наибольшей полнотой представлены ее фельетоны и пародии.

4 марта

71) Впоследствии это письмо Фадеева было опубликовано в № 12 «Нового мира» за 1961 г. О нем см. также RLT, стр. 655.

12 марта

72) Франсуа Мориак. Обезьянка. (Перевод Н. Жарковой и Н. Немчиновой) — «Иностранная литература», 1955, № 6.

73) Самуил Залманович Галкин (1897-1960) — еврейский поэт, драматург, а также переводчик на идиш Пушкина, Шекспира, Блока. В 1950 году, в разгар антисемитской кампании, Галкин, один из крупнейших еврейских поэтов, был арестован и пробыл в заключении до 1955 года. С Ахматовой, когда он вернулся, его познакомила М. С. Петровых. По свидетельству Марии Сергеевны, А. А. высоко ценила философскую лирику Галкина, в особенности позднюю, а также и его самого: «Галкин — один из тех редких людей, которые умеют говорить о стихах». Для обоих сборников, вышедших под редакцией М. С. Петровых (С. Галкин. Стихи. Баллады. Драмы. М., 1958 и С. Галкин. Стихи последних лет. М., 1962), Ахматова переводила стихи: в сборнике 58-го ею переведены четыре стихотворения (из разных циклов), а в посмертном — одно (из цикла «Книга любви»).

20 марта

74) Борис Исаакович Камир (р. 1908) — работник Детгиза; в то время — главный редактор или заместитель главного редактора и, кажется, секретарь партийной организации. Абзац о Сталине Камир потребовал убрать из «Повести о Зое и Шуре». Книга эта (Л. Т. Космодемьянская. Литературная запись Ф. Вигдоровой) впервые вышла в Детгизе в 1950 г. Тогда Камир сам вписал туда абзац, восхваляющий Сталина; с этим абзацем повесть неоднократно переиздавалась; изъять же Сталина потребовали в 1956-м.

75) «Моя Чалдонка» — повесть О. Хавкина, которую я редактировала по приглашению Детгиза.

76) Вот отрывок из доклада Хрущева, касающийся Эйхе:

«Примером злостной провокации, возмутительной фальсификации и преступного нарушения революционной законности является дело бывшего кандидата в члены Политбюро, одного из виднейших работников партии и советского правительства товарища Эйхе, члена партии с 1905 г. <...> Товарищ Эйхе был арестован 29 апреля 1938 года <...> Эйхе был вынужден под пыткой подписать заранее заготовленный следователями протокол его признания, в котором он и некоторые другие видные партийные работники обвинялись в антисоветской деятельности. 1 октября 1939 г. Эйхе послал заявление Сталину, в котором он категорически отрицал свою вину и просил расследования своего дела <...> Сохранилось и второе заявление Эйхе, которое он писал Сталину 27 октября 1939 года <...> Эйхе писал: «25 октября этого года мне сообщили, что следствие по моему делу закончено <...> Если бы я был виновен хотя бы в сотой доле тех преступлений, в которых меня обвиняли, я никогда не посмел бы посылать Вам это предсмертное заявление; но я не виновен ни в одном из этих преступлений <...> Я еще никогда не лгал Вам, и теперь, стоя одной ногой в могиле, я тоже не лгу. Все мое дело — это типичный пример провокации, клеветы <...> Моя вина — это мое признание в контрреволюционной деятельности <...> Но положение было таково: я не мог вынести тех пыток, которым подвергали меня Ушаков и Николаев, особенно первый из них — он знал о том, что мои поломанные ребра еще не зажили и, используя это знание, причинял при допросах страшную боль... Если в той легенде, которую сфабриковал Ушаков и которую я подписал, что-либо не совпадало, меня вынуждали подписывать новые варианты этой легенды. Так же поступили и с Рухимовичем <...> Так же поступили с руководителем запасной сети, будто бы созданной Бухариным в 1935 году».

Чем же кончилось это дело?..

«2 февраля 1940 года Эйхе судили <...> Он сказал следующее: «Во всех моих так называемых признаниях нет ни слова правды; подписи, которые я поставил под этими признаниями — вымучены <...> Я никогда не был виновен в каком-либо заговоре. Я умру, веря в правильность политики партии, как я верил в нее в течение всей моей жизни». 4 февраля Эйхе был расстрелян». (А. Авторханов. Технология власти. Frankfurt-am-Main, Посев, 1976, стр. 413-414).

77) Пользуюсь случаем исправить ошибку. Стихотворение это в

обоих изданиях первого тома «Сочинений» Ахматовой опубликовано с жестокой опечаткой: в пятой строке вместо «То кричишь из Маринкиной башни» значится «из Мариинской». Опечатка лишает строку всякого смысла. «Маринкиной» именуется одна из башен Коломенского Кремля; по преданию, там была заточена и скончалась Марина Мнишек. Образ Марины Мнишек — один из образов, нередко встречающихся в поэзии Цветаевой; а припомнить Коломенский Кремль, говоря о Цветаевой, тоже естественно: Марина Ивановна провела детство и юность в Тарусе (тогдашней Калужской губернии), неподалеку от Коломны. Для Ахматовой же «Маринкина башня» — совершенная реальность: в июле 1936 года она посетила Коломенский Кремль и повидала «Маринкину башню».

29 марта

78) «У этого эпизода был занятный эпилог, — сообщает сын писателя Всеволода Иванова, Вячеслав Всеволодович, — на следующий день отцу с курьером прислали из Союза Писателей напечатанный типографским способом доклад Хрущева. Текст был снабжен грифом: «Совершенно секретно. Не подлежит распространению». Вернуть просили через 2 или 3 часа; за это время отец и вся наша семья прочли текст».

Из письма ко мне от 24 апреля 69 г.

7 апреля

79) Сергей Иосифович Юткевич (р. 1904) — кинорежиссер, теоретик и историк киноискусства.

11 апреля

80) *...пытаются поставить под сомнение правильность политики партии.* — 5 апреля 56 г. в «Правде» была помещена статья «Коммунистическая партия побеждала и победит верностью ленинизму». В ней содержится цитируемая строка. Статья против тех, кто пытался сделать выводы из доклада Хрущева, наполнить фразу «последствия культа личности» конкретным содержанием. Партия, принимавшая самое деятельное участие во всех только что разоблаченных злодействах, несмотря на разоблачение оказывалась всегда и во всем права!

81) 7 апреля 56 г. в «Правде» была перепечатана статья из «Женьминьжибао», посвященная заслугам Сталина; говорилось также, что диктатура пролетариата обладает бесконечной способностью «исправления ошибок».

18 апреля

82) *Умер Владимир Георгиевич. Итак, и его она пережила.* — В 1940 году, хворая, А. А. думала, что переживет ее — он. В стихотворении «Соседка из жалости — два квартала» («Записки», т. 1., стр. 156) к В. Г. Гаршину обращены строки:

А тот, чью руку я держала,
До самой ямы со мной пойдет.

Том 1 содержит немало моих записей о В. Г. Гаршине; примеч. о нем см. на стр. 25.

В эвакуации, в Ташкенте, А. А. постоянно ждала писем из осажденного Ленинграда от Владимира Георгиевича и иногда получала их. Я тоже получала открытки от Гаршина с расспросами об Анне Андреевне. Ничто не предвещало разрыва. В 1942 г. Ахматова писала:

Между нами, друг мой, три фронта:
Наш и вражий и снова наш.

Стихотворение это — «Глаз не свожу с горизонта» (см. ББП, стр. 293), стихотворение, в котором осталась незавершена работа над второй строкой, — обращено к Гаршину, и кончается оно строчками: «Я молилась, чтоб смертной муки /Удостоились вместе мы». В эвакуации, в Ташкенте же, написаны еще два стихотворения, обращенные к Гаршину: «С грозных ли площадей Ленинграда» и «Справа раскинулись пустыри» (БВ, Седьмая книга). В черновике первого из них за шестистишием следовало: «Я твоей добротой несравненной...» В больнице, в тифу, А. А. поручила мне осторожно написать Владимиру Георгиевичу в Ленинград о ее болезни, «чтобы подготовить его».

В рукописном экземпляре «Поэмы без героя», подаренном мне Анной Андреевной в Ташкенте 15 октября 1942 года, над «Решкой» стояло посвящение «В. Г. Гаршину»; а «Эпилог» был посвящен «Городу и Другу». К Гаршину в «Поэме» обращены были такие строки:

Ты, мой грозный и мой последний
Светлый слушатель темных бредней,
Упованье, прощенье, честь!
Предо мной ты горишь, как пламя,
Надо мной ты стоишь, как знамя,
И целуешь меня, как лесть.
Положи мне руку на темя...

После разрыва с Гаршиным, совершившегося в июне 1944 года в Ленинграде, А. А. сняла с «Решки» посвящение, над «Эпилогом» поставила просто «Моему Городу», а приведенные выше строки переменила так:

Ты, не первый и не последний
Темный слушатель светлых бредней,
Мне какую готовишь месть?
Ты не выпьешь, только пригубишь
Эту горечь из самой глуби —
Этой нашей разлуки весть.
Не клади мне руку на темя...

В 1945 году, без указания адресата, Ахматова обратила к Гаршину стихи (БВ, Седьмая книга), начинающиеся такими строками:

...А человек, который для меня
Теперь никто, а был моей заботой
И утешеньем самых горьких лет...

Далее Ахматова говорит о Гаршине как о душевно-больном («...Тяжелый, одурманенный безумьем, / С оскалом волчьим...»). Психическая болезнь Гаршина представляется мне вполне вероятной: известно, что не только дядя его, писатель Всеволод Гаршин, в припадке безумия покончил с собой, но и отец, Егор Михайлович. На меня, при моих встречах с Владимиром Георгиевичем накануне войны, он производил впечатление человека с перенапряженными, слабыми, измученными нервами; и непосильной оказалась для его больных нервов блокада.

15 мая

83) «Рабочий разговор». Статья была принята в «Новом мире», но мало-помалу ее начали там «смягчать», и я ее оттуда взяла. В конце концов, после долгих мытарств в других журналах, она была напечатана Э. Казакевичем во втором сборнике «Литературной Москвы» (1956). Статья «Рабочий разговор», направленная против казенной литературы для юношества и, главным образом, против чиновничьих искажений русского языка, явилась зародышем моей книги «В лаборатории редактора».

1 июня

84) *...рассказала Анне Андреевне о преступлении Ольги.* — Я рассказала Анне Андреевне о том, как Ольга Всеволодовна Ивинская (р. 1912), вернувшись осенью 1953 года из лагеря — из Потьмы, — где она познакомилась с моим большим другом, писательницей Надеждой Августиновной Адольф-Надеждиной (р. 1905) — ежемесячно, в течение нескольких лет, брала у меня деньги на посылки Надежде Августиновне (а иногда и продукты, и белье, и книги, собираемые общими друзьями), и о том, как выяснилось, что Н. А. Надеждина не получила от нас ни единой посылки: деньги, вещи, продукты — все! — присваивала из месяца в месяц два с половиною года, с осени 53-го по весну 56-го, Ольга Ивинская.

В ответ на мои расспросы, она каждый раз подробно рассказывала, какой достала ящичек, какую купила колбасу, какие чулки; длинная ли была очередь в почтовом отделении и т. д.

Через некоторое время я заподозрила неладное: лагерникам переписка с родными тогда уже была дозволена, а в письмах к матери и тетушке Надежда Августиновна ни разу не упомянула ни о чулках, ни о колбасе, ни о книгах, хотя посылки отправлялись от имени тетушки.

Я предложила Ивинской, что буду отправлять посылки сама. Она это предложение великодушно отвергла, жалея мое больное сердце. Тогда я спросила, хранит ли она почтовые квитанции. «Конечно!» ответила она, но от того, чтобы, как я настойчиво ей предлагала, вместе со мною пойти на почту и предъявить их почтовому начальству, она со дня на день под разными предлогами уклонялась.

Н. А. Адольф-Надеждина вернулась в апреле 1956 года и, не имея жилья, лето провела у меня. Мои подозрения подтвердились: ни одной из наших посылок она не получила. Надежда Августиновна (как и другие женщины, вернувшиеся из Потьмы) сообщила мне: в лагере Ивинская снискала среди заключенных большие симпатии, показывая товаркам фотографии своих двоих детей (которые были уже довольно большими к началу знакомства между нею и Борисом Леонидовичем) и уверяя их, будто это «дети Пастернака». Самое пребывание свое в лагере Ивинская объясняла тем, что она — жена гонимого поэта. Это была новая версия: накануне своего ареста Ивинская рассказывала мне (а мы с нею познакомились в редакции «Нового мира», где в 1946-47 году обе работали в отделе поэзии), что ее чуть не ежедневно тягают на допросы в милицию из-за некоего Осипова, заместителя главного редактора в журнале «Огонек» — из-за человека, с которым она близка многие годы. Осипов, говорила мне тогда Ивинская, присвоил казенные деньги, попал под суд, и во время следствия выяснилось, что в махинациях с фальшивыми доверенностями принимала участие и она. Так объясняла мне свои злоключения Ольга Ивинская накануне первого ареста. После ареста она сочла более эффектным (и выгодным) объяснять причины своего несчастья иначе: близостью с великим поэтом. «Муза поэта в заточении».

Мало того, что, вернувшись в Москву, Ивинская регулярно присваивала все деньги, продукты и книги, предназначавшиеся друзьями для Н. А. Адольф-Надеждиной. Когда, осенью 1953 года, освобожденная, она уезжала в Москву, она взяла у Надежды Августиновны «на несколько дней» плащ и другие носильные вещи, обещая срочно выслать их обратно «чуть только доберется до дому» — но не вернула ни единой нитки. Плащ Надежды Августиновны, знакомый мне издавна, я видела своими глазами на гвозде в комнате Ивинской и через месяц, и через год после ее освобождения.

85) Валерия Осиповна Зарахани (р. 1908) — сестра жены Фадеева, артистки МХАТ'а, Ангелины Осиповны Степановой (р. 1905).

Валерия Осиповна долгие годы работала у Александра Александровича в качестве секретаря.

86) *...отравить и зарезать человека.* — О том, способна или нет Е. Ф. Книпович «отравить и зарезать человека», я судить не берусь. Но о том, как ей удалось зарезать очередной сборник стихотворений Анны Ахматовой — см. мои «Записки», т. 3.

Евгения Федоровна Книпович (р. 1898) — как сообщает КЛЭ, автор работ о Генрихе Гейне, Генрихе Манне, Томасе Манне, Л. Фейхтвангере, О. Форш, Н. Тихонове, А. Фадееве, Л. Леонове, В. Ермилове, В. Кожевникове. Охват огромен: от Генриха Гейне до Вадима Кожевникова. Однако воздействие Е. Ф. Книпович на развитие советской литературы определяется не этими ее статьями и книгами. Эти — на-

печатаны, эти — обозримы; сотни же работ Книпович остаются до сих пор скрытыми от глаз. Основная ее деятельность — повседневный труд рецензента-референта-невидимки. В разные годы Е. Ф. Книпович была 1) членом Комиссии по критике Союза Писателей; 2) референтом прозы в Комитете по Государственным и Ленинским премиям; 3) членом редсовета при издательстве «Советский писатель». На заказанные ей и поставляемые ею рефераты и рецензии опирались властьимущие: Генеральный секретарь Союза Советских Писателей А. Фадеев, председатель Комитета по выдаче Государственных и Ленинских премий Н. Тихонов и директор издательства «Советский писатель» — Н. Лесючевский.

87) Володя Смирнов — сын моего старого друга Ивана Игнатьевича Халтурина и жены его Веры Васильевны Смирновой. Они жили в Лаврушинском переулке, в писательском доме на одной лестнице с Борисом Леонидовичем.

Иван Халтурин (1902-1969) — книголюб и редактор, знаток дореволюционной литературы для детей и деятель послереволюционной; работник журналов «Дружные ребята», «Пионер», «Мурзилка»; Иван Халтурин, человек большого литературного вкуса, дал детям избранные сказки В. Даля, сборник баллад XIX века, книгу знаменитого русского путешественника В. Арсеньева «Дерсу Узала» и мн. др. Вера Смирнова (1898-1977) — известный критик. Отношения с Пастернаком у них были дружеские, добрососедские, — но более всех в этой семье Борис Леонидович любил Вову. Однажды, в разговоре со мной, Борис Леонидович сказал: «Это человеческий детеныш среди бегемотов, и потому за него всегда страшно». Володя Смирнов, девятнадцати лет от роду, погиб летом 1955 года: утонул в реке Лиелупе, в Дубултах.

5-го или 6-го июня 52 г., когда я была в гостях у Халтуриных, туда спустился Борис Леонидович; Вова сфотографировал втроем — Пастернака, меня и Н. А. Роскину, а потом Пастернака отдельно. Вторая фотография очень удалась; ее я и подарила Анне Андреевне 31 мая 56 г.

14 июня

88) «Литературная газета», 14 июня 1956. «Итоги декады армянского искусства и литературы».

25 июля

89) Ю. Г. Оксман долгие годы вел «неприкаянную жизнь» от того, что в 1937 г. был арестован, а в 1946-м, хоть и освобожден из заключения, но не реабилитирован. Добиться же в Москве прописки, жилья и постоянной работы человеку не реабилитированному было невозможно.

Усилиями друзей, Оксман получил профессорскую кафедру в Саратовском университете, где несколько лет преподавал, находясь под неусыпным надзором начальства.

Юлиан Григорьевич Оксман (1895-1970) — историк литературы и знаток истории русского революционного движения XIX века. Каж-

дый, кто изучает историю России, неизбежно обращается к тем или иным трудам Ю. Г. Оксмана. В 1925 году им были опубликованы архивные материалы по делу декабристов: «Декабристы. Неизданные материалы и статьи»; в 1958-м «Летопись жизни и творчества В. Г. Белинского» — обе книги, без которых изучение русской общественной мысли прошлого века невозможно. В качестве крупнейшего специалиста Оксман в разное время принимал участие в создании многих томов «Литературного Наследства», в редактировании «Краткой Литературной Энциклопедии»; кроме того, ему принадлежат комментарии к сочинениям Рылеева, Пушкина, Лермонтова, Герцена, Тургенева, Гаршина.

До своего ареста Ю. Г. Оксман был заместителем директора Пушкинского Дома в Ленинграде и членом Пушкинской Комиссии Академии Наук СССР. Так же как с другими видными пушкинистами (Б. В. Томашевским, Ю. Н. Тыняновым, С. М. Бонди, Б. В. Казанским, М. А. Цявловским, Т. Г. Цявловской) А. А. делилась с Оксманом своими мыслями о Пушкине.

Впоследствии Ю. Г. Оксман был исключен из Союза Писателей; начались новые обыски и допросы, которые загнали его в диабет, слепоту и в гроб. Об этом см. в томе 3 моих «Записок».

90) Статью "О «Бедных людях»" см. в книге: В. Шкловский. За и против. Заметки о Достоевском. М., 1957.

27 июля

91) «Баллада о рыбаке» ходила тогда по рукам безымянно. Принося извинения неизвестному автору за возможные ошибки, привожу ее по памяти.

В рыбачьем поселке у плеса,
Где чаек разносится крик,
С понятливым псом остроносым
Живет одинокий старик.

И трудно добытую прибыль —
Лещей, судаков и плотву —
Корзину с мороженой рыбой
Везет он на рынок в Москву.

И дамы с осанкой монаршей,
С печатью столичной красы
Его называют «папашей»,
Украдкой косясь на весы.

Откуда им знать, что когда-то
В порядке предписанных мер,
В глухом переулке Арбата
Был схвачен седой инженер,

Что был без суда замордован
В бессонном подземном плену,
Что к горьким соломенным вдовам
Еще приписали одну.

А трубы крикливо трубили
В столице великой земли,
А в дальние дали Сибири
Несчастных везли и везли.

В карьерах, в торфянике зыбком
Шел месяц за месяцем вслед...
И вот объявили «ошибкой»
Семнадцать украденных лет.

Он вышел, седой и безвестный,
Как в сказке проснувшись от сна.
Узнал он, что в царстве небесном
Свой срок отбывает жена,

Что в этом расчетливом мире
Железобетонных сердец
Он нужен, как в тесной квартире
Давно позабытый жилец.

И снова вельможное барство
Его не пускает вперед,
И снова мое государство
Вины на себя не берет.

Пусть угол рыбачьего сруба,
Пусть гордого кормит река!
Не плакать! Сжимаются зубы,
Как вспомню того старика

И всех, кого тайно и долго
Томили в цементных гробах...
Штормит, подымается Волга,
Под парусом вышел рыбак.

Он стар, но не может иначе,
Он сед, но просить не привык.
Улова тебе и удачи,
Попутного ветра, старик!

Примеч. 1977 г.

3 августа

92) Вера Александровна Сутугина-Кюнер (1892-1969), в начале двадцатых годов секретарь А. Н. Тихонова (Сереброва) в горьковской

«Всемирной литературе»; затем, после убийства Кирова, в качестве «социально чуждого элемента» (она — дворянка) выслана из Ленинграда и лет 20 провела в ссылке, в Сенгилее. Благодаря хлопотам К. И. Чуковского и К. А. Федина Вера Александровна в 1956 году получила возможность вернуться в Ленинград; летом же гостила у Корнея Ивановича в Переделкине.

93) Наталья Константиновна Тренева (1904-1980) — переводчица; дочь К. Тренева и жена П. Павленко. Дача Натальи Константиновны расположена на углу улицы Тренева и улицы Павленко, рядом с дачей Федина.

10 августа

94) *...туда же, куда ежовщина, бериевщина.* — Но этого не случилось до сих пор. От ждановщины мы не отмылись; предисловие А. А. Суркова в ББП (сменившее предисловие Жирмунского) — есть, в большой степени, повторение официальной концепции 1946 года, хотя А. А. Сурков, большой почитатель Ахматовой, вряд ли с этой концепцией согласен. Я не знаю, в каком именно году прекратили преподавать доклад Жданова в школах, — но во всяком случае еще в 59-м издевательство продолжалось. Ахматова имела полное право считать, что имя ее предано всенародной анафеме. Владимир Корнилов запомнил (к сожалению, не полностью) такие ее стихи 59 года:

Это и не старо, и не ново.
Ничего нет сказочного тут.
Как Отрепьева и Пугачева
Все тринадцать лет меня клянут.

. . . . и жестоко,
И неодолимо, как гранит.
От Либавы до Владивостока
Вечная анафема гремит.

В черновых набросках к «Решке», сделанных уже в шестидесятые годы, находим такую строфу:

Торжествами гражданской смерти
Я по горло сыта, поверьте,
Вижу их что ни ночь во сне.
Отлученною быть от ложа
И стола — пустяки! Но не гоже
Выносить, что досталось мне.

(Существует и иной вариант концовки той же строфы о той же «вечной анафеме».

Отлучить от стола и ложа
Это вздор еще — но не гоже
То терпеть, что досталось мне).

Люди, наивно воспринявшие XX Съезд, как начало новой, справедливой эпохи — а таких было множество! — не раз заявляли о необходимости отменить грубое, ни на чем не основанное постановление ЦК 1946 г.

Об одной из подобных попыток и идет разговор между мной и Анной Андреевной.

15 июня 1956 г. в Москве, в Доме Литераторов, состоялся семинар, посвященный литературной жизни «в странах народной демократии».

Воспользовавшись словом «ждановщина», которое употребил в своем докладе Назым Хикмет, Ольга Берггольц впрямую заговорила о постановлении ЦК 46 г.:

«Одна из тяжестей, давящей нас и мешающей нашему движению вперед, — сказала она, — это всем известное догматическое постановление 1946 года. Давайте, товарищи, говорить с полной откровенностью.

После XX съезда нам сделалось совершенно ясно, что постановление 46 года выражало вкусы Сталина, то есть было порождено культом личности.

В Ленинграде кое-кто пытается отстаивать это постановление. Будем надеяться, что это всего лишь кучка трусливых людей, не желающих помочь партии. Надо отнестись к своему прошлому по-хозяйски, сохранить то, что сохранить рационально, а с другой стороны открыто признать: были решения, которые неправильны, связаны с культом личности, и от них нам надо освободиться <...>

Я думаю, во всем этом мы разберемся, если перестанем гипнотизировать себя высоким именем того органа, который это решение принял. Гипноз опасен всегда, это показал нам наш горький исторический опыт, нужно больше верить и в самих себя и в свой народ. Он сумеет отличить дурное от хорошего и в жизни и в искусстве».

Постановление ЦК не отменено до сих пор, хотя книги Ахматовой печатаются многотысячными тиражами.

Примеч. 1978 г.

16 августа

95) 28 июля 1956 г. в «Литературной газете» была напечатана восторженная статья И. Эренбурга о Борисе Слуцком. 14 августа та же газета поместила ответ Эренбургу, явно состряпанный в редакции, хотя и подписанный некиим преподавателем физики Н. Вербицким; автор статьи указывал, что Эренбург напрасно считает поэзию Слуцкого «народной», а кроме того писал:

«Я отнюдь не собираюсь утверждать, что названные вами в статье Ахматова, Цветаева, Пастернак в какой-то степени не влияли на развитие советской поэзии в послереволюционные годы. Выяснить, было ли это влияние положительным или отрицательным — дело историков литературы. Но ведь из вашей статьи читатель вправе сделать вывод, что именно эти поэты **определяли** развитие советской поэзии. А разве это соответствует действительности?»

96) *...о каких-то литераторах, критикующих партийные документы о литературе.* — Я имею в виду статью Б. Рюрикова «Литература и жизнь народа». После длинного пустословия на тему о том, что с одной стороны необходима «широта взгляда» и «чуткость к мастерам слова», а с другой, что «широта не есть беспринципная и бесхребетная всеядность», следовал выпад против выступления О. Берггольц, чья фамилия была скрыта под удобным термином «отдельные литераторы».

«Нашлись о т д е л ь н ы е литераторы, — писал Рюриков, — которые пытались представить как утратившие силу известные решения ЦК партии по вопросам литературы и искусства. Решения партии направлены против отрыва от жизни народа, от политических задач современности, против забвения общественно-преобразующей роли искусства — и это принципиальное содержание партийных документов мы будем отстаивать в интересах развития литературы».

97) Эдуард Григорьевич Бабаев (р. 1927) — специалист по Толстому, прозаик, поэт; Анна Андреевна (как и я) познакомились с ним в Ташкенте, где он, еще подростком, приходил к ней читать свои стихи.

98) *...Еголину мои стихи показались непристойными.* — В 1955 году А. М. Еголин был уличен в постоянном посещении публичного дома, организованного философом, министром культуры, академиком Г. Ф. Александровым, на даче под Москвой. Стихи Ахматовой казались Еголину непристойностью, публичный дом — местом вполне респектабельным. Симптоматично также, что экземпляр книги Ахматовой, уничтоженной в 46 году, оказался в руках у Суркова, а затем и у Анны Андреевны именно благодаря Еголину: этот влиятельный деятель науки и литературы (возглавивший после постановления 1946 года журнал «Звезда») был прямым соучастником сначала травли поэта, а затем уничтожения всего тиража ахматовской книги и потому имел полную возможность присваивать себе экземпляры.

Путь А. М. Еголина по чиновной лестнице вверх характерен для многих должностных лиц, расправлявшихся с нашей литературой. Предоставляю слово Краткой Литературной Энциклопедии:

«Еголин Александр Михайлович (1896-1959) — русский советский литературовед. Член Коммунистической партии с 1925 г. Член-корреспондент АН СССР (с 1946), действительный член Академии педагогических наук РСФСР (с 1945). Родился в рабочей семье. В 1933 окончил Институт красной профессуры. В 1937-41 — профессор, заведующий кафедрой в МИФЛИ, в 1940-48 — на ответственной работе в ЦК КПСС...»

За сим в энциклопедии следует перечисление научных трудов этого члена двух Академий; перечень занимает всего 4 строки.

Таков путь Еголина к власти над наукой и литературой. О том, в чем в действительности состояла его работа и каков был его подлинный человеческий облик, дают некоторое представление записи К. Чуковского, сделанные в разные годы. Цитирую на выбор:

Запись 1946 года: «Твардовский <...> о Еголине: был у нас в университете профессором — посмешищем студентов. Задавали ему вопросы, а он **ничегошеньки не знал».**

«8 мая 1959 г. Умер Еголин <...> Находясь на руководящей работе в ЦК он, пользуясь своим служебным положением, пролез в редакторы Чехова, Ушинского, Некрасова — и эта синекура давала ему огромные деньги — редактируя (номинально!) Чехова, он заработал на его сочинениях больше, чем заработал на них Чехов <...> Он сопровождал Жданова во время его позорного похода против Ахматовой и Зощенко — и выступал в Питере в роли младшего палача — и все это я понял не сразу, мне даже мерещилось в нем что-то добродушное...»

11 марта 1955 г.: «Рассказывают сенсационную новость. Александрова, министра культуры, уличили в разврате, а вместе с ним и П., и К., и (будто бы) Еголина...»

20 апреля 1955 г.: «Вышли четыре тома Герцена. На первых трех начертаны смешные слова, будто заместителем главного редактора является <...> Еголин. <...> Но в четвертом томе его имени нет (главный редактор Козьмин). Уверен, что Еголина сняли не потому, что убедились в его круглом невежестве, а потому, что он изобличен в блудодействе».

И еще одна запись — того же — 1955 года: «<...> на закрытом партсобрании Союза писателей обсуждалось дело «Александрова-Еголина» <...> ЦК объявил этому «члену-корресподенту Академии Наук» строгий выговор с предупреждением. Многие выступавшие требовали для Еголина исключения из партии, но Д. А. Поликарпов (секретарь Союза Писателей СССР, секретарь Московского городского Комитета КПСС. — Л. Ч.) сказал: «не нам переделывать постановления правительства».

3 сентября

99) *...не хочу с Лесючевским.* — Причастность Н. В. Лесючевского к арестам Бориса Корнилова и Н. Заболоцкого была в то время уже широко известна; Борис Корнилов расстрелян, Заболоцкий вернулся и о роли Лесючевского в его «деле» рассказал мне сам. И не мне одной... Лесючевский не только не был судим, не был исключен из Союза Писателей и из партии, но остается директором издательства «Советский писатель», членом Союза и членом партии по сию пору.

Примеч. 1977 г.

100) А. Блок. Сочинения в двух томах. Составление, подготовка текста, вступительная статья и комментарии Вл. Орлова. М., 1955.

101) Строки из записи, сделанной Блоком 29 октября 1911 г.: «В Москве Матисс, «сопровождаемый символистами», самодовольно и развязно одобряет русскую иконопись — «Французик из Бордо».» Указ. соч., т. 2, стр. 422.

102) См. «Стихи к Ахматовой» в сб.: Марина Цветаева. Версты. Стихи. Выпуск 1, М., 1922.

17 сентября

103) «Внутренняя рецензия», о которой идет здесь речь, — это рецензия членов редколлегии симоновского «Нового мира» на роман «Доктор Живаго», представленный автором по договору осенью 1956 года. В рецензии был обоснован отказ. Опубликована она была только через 2 года, в самый разгар травли Пастернака после присуждения ему Нобелевской премии; то есть уже новой редколлегией, возглавляемой А. Т. Твардовским. Однако, основной упрек, послуживший к отклонению романа и, естественно, встревоживший Анну Андреевну, содержался уже во «внутренней рецензии» 1956 г.:

«Встающая со страниц романа система взглядов автора... сводится к тому, что Октябрьская революция была ошибкой, участие в ней, для той части интеллигенции, которая ее поддерживала, было непоправимой бедой, а все, происходящее после нее — злом...»

«Письмо» было опубликовано в «Литературной газете» в 1958 г. — см. примеч. на стр. 248.

1957

3 января

104) Автобиографический очерк, в котором Пастернак упоминает о «Подорожнике», писался им в 1956 и перерабатывался в 1957 году. Из текста очерка ясно, что Пастернак имел в виду именно книгу «Вечер», но по ошибке назвал ее «Подорожником»:

«Лучи садившегося осеннего солнца бороздили комнату и книгу, которую я перелистывал. Вечер в двух видах заключался в ней. Один легким порозовением лежал на ее страницах. Другой составлял содержание и душу стихов, напечатанных в ней. Я завидовал автору, сумевшему такими простыми средствами удержать частицы действительности, в нее занесенные. (Это была одна из первых книг Ахматовой, вероятно, «Подорожник»)». — «Новый мир», 1967, № 1. «Люди и положения», стр. 225.

105) Гнев Анны Андреевны обращен на книгу Л. И. Страховского: Leonid Strakhovsky. Craftsmen of the Word: three poets of modern Russia. Gumiljov, Akhmatova, Mandelstam. Cambridge, 1949. (Леонид Страховский выступал иногда под псевдонимом Чацкий, — но не Шацкий, как по ошибке назвала его А. А. Неодобрительный отзыв о книге Страховского см. также в примеч. 167).)

В «Пятистопных ямбах» (в которых, по словам Ахматовой, запечатлен «душевный разрыв» между нею и Гумилевым) читаем такие строфы:

Я молод был, был жаден и уверен,
Но дух земли молчал, высокомерен.
И умерли слепящие мечты,
Как умирают птицы и цветы.
Теперь мой голос медлен и размерен,
Я знаю, жизнь не удалась... и ты,

Ты, для кого искал я на Леванте
Нетленный пурпур королевский мантий,
Я проиграл тебя, как Дамаянти
Когда-то проиграл безумный Наль.
Взлетели кости звонкие, как сталь,
Упали кости — и была печаль.

Сказала ты, задумчивая, строго:
— «Я верила, любила слишком много,
А ухожу, не веря, не любя,
И пред лицом Всевидящего Бога,
Быть может, самое себя губя,
Навек я отрекаюсь от тебя». —

Твоих волос не смел поцеловать я,
Ни даже сжать холодных, тонких рук,
Я сам себе был гадок, как паук,
Меня пугал и мучил каждый звук,
И ты ушла, в простом и темном платье,
Похожая на древнее Распятье.

По мнению Анны Андреевны, многие страницы книги Страховского написаны были со слов поэтессы Ирины Одоевцевой. «Такое может изобрести только баба»... «Яд, яд обо мне!» восклицает Ахматова. Между тем, Одоевцева в своих воспоминаниях («На берегах Невы», Вашингтон, изд-во В. П. Камкина, 1967), опубликованных через год после кончины Ахматовой, говорит об Анне Андреевне весьма уважительно. (Книга Одоевцевой, несомненно, изобилует большими погрешностями — но неуважения к Ахматовой в ней нет. Беда там другая: недостоверность. Мыслимо ли, например, через десятилетия п о п а м я т и воспроизводить живые диалоги?)

Что касается «толченого стекла», то А. А. имеет здесь в виду балладу И. Одоевцевой «Толченое стекло» (см. «Двор чудес». Стихи. «Мысль», Пг., 1922).

О попытках вычеркнуть ее из биографии Гумилева А. А. говорила не раз. См., напр., стр. 443.

106) О том, к кому: к Князеву или к Мандельштаму — обращено «Посвящение», содержащее эти строки, — см. мою книгу «Дом Поэта», над которой я работаю в настоящее время. Это мой ответ на «Вторую книгу» вдовы О. Мандельштама, Надежды Яковлевны, и, в частности, на главу «Моя обида», в которой Надежда Яковлевна предъявляет Ахматовой свои претензии за перемену инициалов над «Посвящением». Примеч. 1977 г.

107) Владимир Николаевич Орлов (р. 1908) — литературовед, специалист по истории русской литературы конца XVIII и начала XIX века, а также поэзии начала XX. Под редакцией В. Н. Орлова выходили многие собрания сочинений Александра Блока; он — один из редакторов восьмитомника и двенадцатитомника.

С 1956 по 1971 г. Орлов был главным редактором «Библиотеки поэта».

В каком именно ленинградском альманахе намеревался он напечатать в с ю «Поэму», я не знаю. В Советском Союзе «Поэма без героя» ц е л и к о м не напечатана по сей день; за границей много раз, но с пропусками, перестановками и ошибками.

Примеч. 1978 г.

108) «Литературная Москва», сборник второй.

109) «День поэзии, 1956», М.

110) Стихотворение нежное, любящее, братское. Начинается так:

В широких шляпах, длинных пиджаках,
С тетрадями своих стихотворений,
Давным-давно рассыпались вы в прах,
Как ветки облетевшие сирени.

Но, быть может, Анне Андреевне оскорблением «таинства смерти» показались строки:

Там на ином, невнятном языке
Поет синклит беззвучных насекомых,
Там с маленьким фонариком в руке
Жук-человек приветствует знакомых.

Спокойно ль вам, товарищи мои?
Легко ли вам? И все ли вы забыли?
Теперь вам братья — корни, муравьи,
Травинки, вздохи, столбики из пыли.

111) О котором из братьев Кузьминых-Караваевых идет речь — точно и уверенно сказать не могу. С этой семьей Ахматова связана была двояко: соседством по Слепневу и общением в «Цехе Поэтов». Жена Дмитрия Владимировича, Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева (1891-1945) — поэтесса, автор стихотворных сборников «Скифские черепки» (1912) и «Руфь» (1916), была одно время, как и А. А., членом «Цеха»; а муж ее, Дмитрий Владимирович (тогда молодой юрист) исполнял в «Цехе» обязанности «стряпчего». (Елизавета Юрьевна известна как «мать Мария»; о стихах Ал. Блока, посвященных ей, о ее отъезде из России, постриге и подвижнической гибели см. статью Д. Максимова в выпуске 209 «Ученых Записок Тартуского Государственного Университета» за 1968 г.)

Которого из братьев Кузьминых-Караваевых имела в виду Ахматова, говоря о соседе по Слепневу, «красивом молодом человеке», некогда из-за нее стрелявшемся — я не знаю. Исследователь жизни и творчества Анны Ахматовой, Р. Д. Тименчик, в ответ на мой вопрос, высказал предположение, что это был брат Дмитрия Владимировича (р. 1886) — Михаил Владимирович Кузьмин-Караваев (р. 1894). Именно он в 1911-1912 г. был семнадцатилетним «студентом, подававшим надежды»: учился в Петербурге сначала на факультете восточных языков, потом на юридическом. (Ни его профессия, ни дальнейшая

судьба мне неизвестны. Предполагаю, что судьбой его был лагерь, потом ссылка, а в 54-56 г. — возвращение. Тут он и встретился снова с Анной Андреевной).

112) Евг. Замятин. «Воспоминания о Блоке» — «Русский современник», 1924, книга третья, стр. 188.

9 января

113) Ольга Берггольц. Стихи из дневников. (1938-1956).

114)

Взял неласковую, угрюмую,
с бредом каторжным,
с темной думою,
с незажившей тоскою вдовьей,
с непрошедшей старой любовью,
не на радость взял за себя,
не по воле взял, а любя.

115) Ольга Федоровна Берггольц (1910-1975) — писательница, автор журнальных и газетных статей, сценариев, пьес, лирической прозы — и многочисленных лирических стихотворений. (См.: Ольга Берггольц. Собрание сочинений в трех томах. Л., 1973). В памяти ленинградцев, переживших блокаду, имя Ольги Берггольц навсегда связано с военными годами. Во время блокады Берггольц работала в радиокомитете и ее голос чуть не ежедневно звучал в передачах «Говорит Ленинград!»

Жизненный и писательский путь Берггольц был труден, извилист, не прям. В юности она переболела воинствующим комсомольством, отдала дань РАППовской идеологии и, несмотря на то, что годы 1937-1939 провела в тюрьме, — в 1940 вступила в партию. Ей трудно было сочетать требования партийности с собственным жизненным опытом. Беды времени не миновали ее. Первый муж Ольги Федоровны, поэт Борис Корнилов, был расстрелян в 1937 году. Второй, Николай Молчанов, умер от голода в блокированном Ленинграде. Она потеряла двоих детей. Когда Берггольц отдавалась подлинности горя, пережитого страною и ею, — стихи утрачивали риторику и обретали глубину, силу и очарование.

Разным в разное время было отношение Ахматовой к Берггольц. О ее статьях РАППовского толка А. А. отзывалась негодующе. Поэтический дар ценила, но относилась к стихам придирчиво, принимала их с большим отбором — и, как видно из моих «Записок», иногда не без иронии. К самой же Ольге Федоровне была дружески расположена, памятуя о том, что в 1946 г. Берггольц оказалась среди тех немногих, кто от нее не отвернулся, кто продолжал посещать ее, слушать и хранить ее стихи. О. Ф. Берггольц вместе со своим мужем, литературоведом Г. П. Макогоненко, сохранила машинописный экземпляр книги Ахматовой «Нечет», — книги, уничтоженной по приказу цензуры. Берггольц понимала и любила Ахматову; в свои зрелые годы она возненавидела притеснения литературы и, как могла, противостояла им.

О стихах и выступлениях О. Берггольц см. стр. 63-64, 166, 172 и 484.

116) «День поэзии», М., 1956.

117) Мария Сергеевна Петровых (1908-1979) — поэт. Из ее оригинальных стихотворений опубликована лишь небольшая часть, да и то, по преимуществу, уже после смерти Анны Андреевны, да и то не отдельно, а лишь вместе с переводами, да и то не в Москве, а в Ереване — см. сборник «Дальнее дерево» (1968). Между тем, Ахматова, Мандельштам, Пастернак высоко ценили поэзию М. Петровых; высоко ценят ее многие современные поэты и рядовые читатели. Как о замечательном поэте впервые услышала я о М. Петровых от Анны Андреевны еще до войны, в Ленинграде. (От Ахматовой же я узнала, что знаменитое стихотворение О. Мандельштама «Мастерица виноватых взоров» обращено к Марии Сергеевне). Стихотворение М. Петровых «Назначь мне свиданье на этом свете» Ахматова считала одним из шедевров русской лирики XX века (мне же хочется напомнить читателям и другие стихи — уже из книги «Дальнее дерево» — например: «Черта горизонта», «Ты думаешь, правда проста», «От зноя воздух недвижим», «Судьба за мной присматривала в оба», «Пусть будет близким не в упрек»).

О поэзии М. Петровых высоко отозвалась А. А. и в беседе с Н. А. Струве за год до своей смерти, в июне 1965 года (см. «Сочинения», т. 2, стр. 344).

М. Петровых — мастер художественного перевода. Из крупных еврейских поэтов она переводила С. Галкина и П. Маркиша; переводила она и болгар, и югославов; но главным образом — армян и поляков. В ее переводах выходят стихи Ованеса Туманяна, Аветика Исаакяна, Атанаса Далчева, Болеслава Лесьмяна, Юлиана Тувима, Владислава Броневского, Ильдефонса Константы Галчинского и мн. др. Нередко работала она и как редактор чужих переводов. Так, под ее редакцией в Ереване в 1977 г. вышла «Армянская классическая лирика» и (при участии И. Карумян) «Книга скорби» поэта-монаха Григора Нарекаци.

С 1959 по 1964 год М. С. Петровых, вместе с Д. С. Самойловым, руководила семинаром молодых переводчиков.

Мария Сергеевна познакомилась с Анной Андреевной в Москве, осенью 1933 г. Позднее, в те годы, когда А. А. стала подолгу гостить в Москве, останавливалась она, если не «на Ордынке у Ардовых», то чаще всего — «на Беговой у Петровых». Это был ее второй московский дом. А. А. показывала Марии Сергеевне все свои стихи, переводы и пушкиноведческие статьи, прислушиваясь к ее суждениям — суждениям поэта, мастера, знатока. В 1960 году Ахматова попросила М. С. Петровых помочь ей составить сборник своих стихотворений, — этот сборник и появился в Гослите, в 1961 году.

О М. С. Петровых см. примеч. 274), а также т. 3 моих «Записок».

Примеч. 1979 г.

118) *...единство ритма, дыхания и ...души.* — Через несколько лет, в статье «Об одном стихотворении» С. Я. Маршак точно изложил эту свою мысль — см. С. Маршак. Сочинения в четырех томах. Т. 4. М., 1960.

119) «Литературная Москва», сборник второй.

120) Н. Заболоцкий. Столбцы. Л., 1929.

121) «Прощание» — см. сб.: Н. А. Заболоцкий. Стихотворения и поэмы. Библиотека поэта. Большая серия. М.-Л., «Советский писатель», 1965, стр. 71 (В дальнейшем это издание будем кратко именовать ББП-З).

122) «Утренняя песня» — ББП-З, стр. 65.

123) «Лодейников» — ББП-З, стр. 69 и 68.

124) Я работала в отделе поэзии журнала «Новый мир», когда Заболоцкий, недавно вернувшийся из лагеря, предложил редакции поэму «Творцы дорог». Благодаря поддержке К. Симонова (главный редактор) и вопреки противодействию Кривицкого (комиссар при Симонове) поэму удалось напечатать (см. «Новый мир», 1947, № 1). Это великолепные стихи о севере, о героях, прокладывающих дорогу в Арктике, все очень величественно — а о том, что герои — заключенные, что изображен рабский труд — ни слова... Замученным русским крестьянам, умирающим на севере лагерникам, «двум несчастным русским старикам» Заболоцкий посвятил другое стихотворение: «Где-то в поле возле Магадана», но уже значительно позднее. О нем см. примеч. 130).

125) «Творцы дорог» — ББП-З, стр. 107.

126) ББП-З, стр. 142.

127) ББП-З, стр. 140.

128) ББП-З, стр. 129.

129) ББП-З, стр. 111.

130) 27 января 57 г., когда я в своих записях перечисляла любимые стихи Заболоцкого, мне не был еще известен ни цикл «Последняя любовь», ни стихотворение «Где-то в поле возле Магадана», сразу сделавшееся для меня одним из любимейших. Привожу начало:

Где-то в поле возле Магадана,
Посреди опасностей и бед,
В испареньях мерзлого тумана
Шли они за розвальнями вслед.
От солдат, от их луженых глоток,
От бандитов шайки воровской
Здесь спасали только околодок
Да наряды в город за мукой.
Вот они и шли в своих бушлатах —
Два несчастных русских старика,
Вспоминая о родимых хатах
И томясь о них издалека...

Это стихотворение, написанное в 1956 году, опубликовано было только в 1962 («День Поэзии, 1962», М., стр. 298) и не целиком, а с исключением одного четверостишия. Полностью — см. ББП-З, стр. 144.

«Уступи мне, скворец, уголок» — ББП-З, стр. 90.

10 февраля

131) Я редактировала для издательства «Молодая Гвардия» повесть Н. Ивантер «Жил-был мальчик».

132) Вопреки своему первоначальному намерению, я решилась предпринять хлопоты о реабилитации М. П. Бронштейна, потому что до получения соответствующего документа нельзя было ни переиздать, ни выручить из спецфонда его книги, ни упоминать его имя и ссылаться на его работы в научных и литературных статьях.

133) Строка из поэмы «Отрывки» (Лидия Чуковская. По эту сторону смерти. Paris, YMCA-Press, 1978):

...В коричневой тьме инквизиций
Угрюмый покоится зал.
Мадонны одной бледнолицей
Меня удержали глаза.

Ей даже воздух тронуть больно.
Бровям печали не поднять...

13 февраля

134) По-видимому, речь идет о воспоминаниях Л. Ю. Брик «Маяковский и чужие стихи» — «Знамя», 1940, № 3.

6 апреля

135) *Я закрывала дело Лившица.* — То есть давала показания, которые должны были подтвердить общеизвестный факт, что ни Лившиц, ни люди, оговоренные им под пыткой, в действительности никаких преступлений не совершали. Это была формальность, считавшаяся почему-то необходимой. (О том же вызове в Прокуратуру по делу Лившица — см. Никита Струве. «Восемь часов с Анной Ахматовой» /«Сочинения», т. 2, стр. 331-332/).

Поэт Бенедикт Константинович Лившиц был расстрелян в 1938 г. Под следствием, в тюрьме, из-за побоев и нервного потрясения он лишился рассудка — и по требованию следователей оговорил десятки неповинных. Среди них была, например, писательница Елена Михайловна Тагер. Отбыв свой срок и вернувшись, она рассказала мне, что на очной ставке с Бенедиктом Константиновичем убедилась в его полной невменяемости. (Об Е. М. Тагер подробнее см. примеч. 298).)

Бенедикт Лившиц (р. 1886) начал печататься в 1910 году, одно время выступал как футурист, и Анна Андреевна знала его смолоду.

136) В. Огнев. «День нашей поэзии». — «Октябрь», 1957, № 2. Статья посвящена сборнику «День поэзии, 1956», М.

11 июня

137) В феврале 1957 г. в прессе началась систематическая травля альманаха «Литературная Москва». 5 марта в «Литературной газете»

появилась угрожающая статья В. Еремина. В тот же день открылся пленум правления Московского отделения писателей, длившийся несколько дней; на пленуме обсуждались оба тома альманаха. В защиту выступили Ф. Вигдорова, А. Турков, С. Кирсанов, Л. Кабо, Е. Евтушенко, Г. Фиш. Из членов редколлегии — М. Алигер и В. Каверин. Среди других выступила и я. Помню, говорила я тогда о стихах Акима, Заболоцкого, Юлии Нейман и Цветаевой.

138) Справка о реабилитации М. П. Бронштейна помечена 15 мая 1957 г. Из сопоставления ее со свидетельством о смерти явствовало, что расстрелян он был в самый день приговора: Военная Коллегия вынесла приговор 18 февраля 38 г. и «смерть» наступила тогда же.

139) *...Знаю, помню, вы защищали стихи и предисловие.* — В «Литературной Москве» № 2 были напечатаны стихи Марины Цветаевой с предисловием Ильи Эренбурга. Еремин в своей статье против «Литературной Москвы» трактовал Цветаеву хоть и отрицательно, однако не без уважения. Статья его, несправедливая и невежественная, была в то же время заурядной разгромной статьей. Выступление же Рябова, в смысле грубости и неприличия, выходило из ряда вон. («Крокодил», 1957, № 5, 20 февраля). Заметка его называлась «Про смертяшкиных». Он издевался над поэзией Цветаевой; издевался и над ее смертью и над Эренбургом, который говорил о поэзии, судьбе и гибели Марины Цветаевой, по мнению Рябова, излишне трагическим тоном.

На пленуме я отвечала обоим: и Еремину и Рябову.

Об издевательской заметке в «Крокодиле» я, помнится, сказала: «Поэзии Марины Цветаевой принадлежит будущее; что же касается Рябова, то если он и войдет в память потомков, то лишь как один из хулителей великого поэта: где-нибудь на задворках, мелким шрифтом, в примечаниях к Полному Собранию Сочинений Марины Цветаевой будет упомянута его нынешняя постыдная статья».

140) Первые три из прочтенных мне Анной Андреевной стихотворений см.: О. Мандельштам. Стихотворения. Библиотека Поэта. Большая серия. Л., «Советский писатель», 1973, стр. 84, 106, 107 (в дальнейшем это издание мы будем кратко именовать ББП-М); четвертое полностью опубликовано в России в газете «Воля народа», № 206, в 1917 г. и через 50 лет заграницей — см.: Осип Мандельштам. Собрание сочинений в трех томах. Под редакцией проф. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Том 1, Нью-Йорк, Международное Литературное Содружество, 1967, стр. 67 (в дальнейшем это издание мы будем кратко именовать: О. Мандельштам, Собр. соч.).

Первую строку забытой мною четвертой эпиграммы («Знакомства нашего на склоне») А. А. приводит в своих воспоминаниях о Мандельштаме, — там же, где рассказывает обо всех стихотворениях, посвященных ей Осипом Эмильевичем. См. «Сочинения», т. 2 («Мандельштам. /Листки из дневника/»), стр. 174.

141) Я не запомнила, какие из семи (или восьми?) стихотворений Пастернака, полученных Анной Андреевной в подарок, вызвали ее суровый отзыв. Но помню твердо: она всегда неистово бранила «Вакханалию», посмеивалась над «Евой» и с иронией отзывалась о стихах «Быть знаменитым некрасиво» — ББП-П, стр. 474, 448 и 447.

«В больнице» — там же, стр. 467; «Ненастье» — там же, стр. 460; «Ночь» (Летчик) — там же, стр. 462; «Когда разгуляется» — там же, стр. 455.

142) Строки из стихотворения «Этот воздух пусть будет свидетелем» — см. «Литературная Грузия», 1967, № 1, а также О. Мандельштам. Собр. соч., т. 1, стр. 244-245.

14 сентября

143) *...В этой симметрии что-то кроется.* — А. А. имела в виду две статьи, появившиеся почти одновременно: статью Е. Серебровской «Против нигилизма и всеядности», напечатанную в Ленинграде, в журнале «Звезда» (1957, № 6), и статью Коваленкова «Письмо старому другу», напечатанную в Москве, в журнале «Знамя» (1957, № 7). И в той и в другой оба критика великодушно прощали Ахматовой акмеистические грехи ее молодости за патриотизм, проявленный во время войны; и в той и в другой статье Ахматову противопоставляли значительнейшим из поэтов, ее современников: в одном случае Марине Цветаевой, в другом — Осипу Мандельштаму.

144) *Анна Андреевна ... вдруг, не дав мне даже допить мою чашку, повелительно увела обратно к себе.* — А дело было в том, что Анне Андреевне не хотелось продолжать разговор о Любимове. «Основная работа Любимова, — сообщает КЛЭ, — книга воспоминаний "На чужбине"». (Отдельное издание этой книги вышло в 1963 году, но в 1957, незадолго до нашего разговора, воспоминания появились в «Новом мире», 1957, № 2-4). КЛЭ находит, что Лев Дмитриевич Любимов (1902-1976), раскаявшийся эмигрант, покинувший Россию в 1919 году и возвратившийся в 1948, автор искусствоведческих работ об Эрмитаже, Русском Музее и русской иконописи, «ярко отразил — в своих воспоминаниях — судьбу русской эмиграции, ее расслоение и разложение». А. А., как и я, прочла в «Новом Мире» мемуары Любимова и ощутила в них нечто мутное, уклончивое, недостоверное. Доверять Льву Никулину тоже не приходилось. Впрочем, товарищи Любимова по эмиграции, вернувшиеся вместе с ним в Россию в 1948 году — люди, вполне достойные доверия, говорили нам, что сначала Любимов был сотрудником французских газет и русской эмигрантской газеты «Возрождение»; во время немецкой оккупации сотрудничал во французской прогитлеровской газете «Je suis partout», издававшейся немцами; а когда немцев из Франции выгнали, вступил в «Союз советских граждан» и сделался сотрудником газеты «Советский патриот». Обсуждать мемуары Любимова было неприятно, потому что, ярко изобразив, по словам советского литературного справочника, разложение русской эмиграции, о собственном разложении он умолчал. «Балансирует как на канате, — сказала А. А., когда мы вошли в ее комнату. — Что мы знаем об эмиграции? Не нашего ума это дело».

Сборник Заболоцкого, о котором мы якобы «ушли договаривать» — Н. Заболоцкий. Стихотворения. М., 1957.

145) «Остров доктора Моро» — фантастический роман Герберта Уэллса о враче-физиологе, который разными способами, не исключая и вивисекции, пытался перекраивать живых зверей.

146) Лев Васильевич Успенский (1900-1978) — романист, мемуарист, очеркист, лингвист. Автор нескольких книг для детей; наиболее известны «Двенадцать подвигов Геракла» (1938) и «Слово о словах» (1954). Говоря о воспоминаниях Льва Успенского, А. А. имеет в виду очерк «Из записок старого ленинградца», см. «Звезда», 1957, № 6.

147) *...кто таков есть Лев Успенский.* — Вот смысл моего повествования:

Осенью 1937 года редакция, вошедшая в историю литературы, как «ленинградская редакция, руководимая С. Маршаком», была ошельмована, обвинена во вредительстве, разогнана.

Писатели, вовлеченные в работу над книгами для детей «вредительской группой» Маршака, погибали и ранее 37 года и позднее: так, например, Раиса Родионовна Васильева была арестована сразу после убийства Кирова, в 35 году, и расстреляна в лагере — в 38, а Даниил Хармс арестован и погиб в заключении в 42, во время блокады; но основной погром производился осенью 37-го: аресты, следствия, казни. И публичное шельмование на собраниях и в прессе.

К октябрю 37 года были уже арестованы, убиты или ожидали гибели в тюрьмах и лагерях многие из окружавших редакцию литераторов: Н. Заболоцкий, Г. Белых, С. Безбородов, М. Бронштейн, Тэки Одулок (Спиридонов), Н. Константинов (Боголюбов), арестованы были и работники «книжной» редакции: А. Любарская, Т. Габбе, К. Шавров, М. Майслер и главный редактор журналов «Еж» и «Чиж» поэт Н. Олейников. Со дня на день ожидался арест главы «вредительской группы» С. Я. Маршака. О том, почему не арестованы, а всего лишь уволены двое из редакторов — З. Задунайская и Л. Чуковская — открыто спрашивали на писательских и внутрииздательских собраниях провокаторы и стукачи.

Именно этот момент избрал писатель Л. Успенский, дабы разъяснить окружающим, что «ныне разоблаченные враги народа» были в действительности не только врагами, но и бездарными невеждами, втиравшими очки наивным людям.

4 октября 1937 г. в Издательстве вышел специальный номер стенной газеты «За детскую книгу», весь посвященный многолетнему вредительству маршаковской группы. В этом номере, среди статей «Повысим революционную бдительность!», «Добить врага» и еще нескольких в том же роде, — среди статей, принадлежавших перьям тех, кто по распоряжению «сверху» организовал погром, была помещена статья человека, далекого от нашей редакции, — литератора, лишь изредка печатавшегося в журнале «Костер» — Льва Успенского, статья под более скромным заглавием «Нечто о «теории литературы».

Статьи «Добить врага» и им подобные изобиловали общепринятой в 37-38 г. г. терминологией: «В течение долгого периода в издательстве орудовала контрреволюционная вредительская шайка врагов народа — Габбе, Любарская, Шавров, Боголюбов, Олейников и др.»; «детская литература фактически была дана на откуп группе антисоветских, морально-разложившихся людей»; «диверсионная группа редакторов ленинградского отделения», «в течение многих лет в издательстве орудовала группа врагов, ныне разоблаченных органами НКВД»; «враг народа Олейников... открыто, на глазах у всех, разва-

ливал «Сверчок»... «Сигналы о вредительстве Олейникова были, но к ним никто не прислушивался. А разве мало сигналов было о деятельности Габбе, Любарской, Чуковской, Боголюбова. Сигналы были, когда стало известно о переписке редакторов с троцкисткой Васильевой»; «известно было о бытовом и моральном разложении Любарской, ее связи с проходимцем Безбородовым и особом покровительстве со стороны шпиона Файнберга»; «Чуковская протаскивала контрреволюционные высказывания в однотомнике Маяковского»; «писательские кадры были засорены врагами народа. Шпион Спиридонов, Потулов, Белых, Бронштейн, Безбородов, Колбасьев, Васильева — вот далеко неполный список врагов, которые объединялись вокруг Габбе, Любарской, Чуковской...» «Сейчас враги разоблачены... Надо со всей решительностью и беспощадностью добить врагов и до конца выкорчевать вражеские корешки из издательства...»

Свою статью «Нечто о «теории литературы» Лев Успенский только начал канонически, на манер соседних: «Много лет в Лендетиздате действовала группа вредителей. Из месяца в месяц, из года в год эти люди разваливали работу издательства».

Далее же он высказывал мысли более своеобразные и самостоятельные. Корешки он взялся выкорчевывать по-своему. Он разоблачал нас и наших товарищей не как шпионов — это сделали без него — а как невежд. Редакция Маршака славилась своей «литературностью». Этот миф и подрядился уничтожить Лев Успенский. Издевательски искажая и перевирая литературные суждения редакторов, Успенский доказывал, что редакторам Лендетиздата удавалось «протаскивать» книжки вредителей, творения шпионов потому, что руководители издательства верили в их высокую литературную квалификацию, считали их «талантливыми», «бесспорно образованными», «тонкими». Успенскому, который до тех пор скромно сотрудничал в журнале «Костер» (редакторскую работу вели там по преимуществу С. Маршак и Т. Габбе), именно в минуту погрома срочно захотелось заявить во всеуслышанье:

«Высокая квалификация упомянутой выше группы была чистым вымыслом, блефом и уткой...»

«Не стоит упоминать, что ее (редакцию — Л. Ч.), в огромном большинстве, составляли люди весьма невысокого культурного уровня».

Узнав, что в коридоре издательства висит особый номер газеты, посвященный нам, я пошла прочитать его. Лифтерша отказалась поднять меня в лифте. Ни один человек в издательстве, где я работала около одиннадцати лет, со мной не поздоровался. Не успела я прочитать газету до середины, как ко мне подошел пожарный и сказал: «Директор велел, чтобы вы немедленно покинули помещение».

Я покинула, не дочитав. Но одна машинистка, проработавшая с нами 11 лет и любившая нас, ночью, тайком, перепечатала эту стенную газету, всю, статью за статьей, и подарила мне текст. И как раз незадолго до нашего с Анной Андреевной разговора старая папка попалась мне на глаза, я рискнула перечитать статьи 37 г. и, когда А. А. в разговоре упомянула имя Льва Успенского, я оказалась в состоянии передать ей стиль и смысл тогдашних стенных шедевров с полною точностью.

148) *...но даже не нашли молчания...* — упрек Герцена славянофилам в статье «Ответ И. С. Аксакову» (Собр. соч., т. XIX, стр. 246).

2 октября

149) Будущее заглавие очерка — «Люди и положения» (см. «Новый мир», 1967, № 1). Первоначально же он ходил по рукам под заглавием «Вместо предисловия» (предисловия к сборнику, подготовленному к печати Гослитом в 1956-57 гг.). Другое заглавие очерка — «Опыт автобиографии» — то есть тот же опыт, который был предпринят Пастернаком в «Охранной грамоте».

4 декабря

150) «Вечерело. Повсюду ретиво / Рос орешник. Мы вышли на скат...» — ББП-П, стр. 368.

151) *...заговорила о Бабеле, который только что вышел.* — «Только что» — как результат посмертной реабилитации. См. И. Бабель. Избранное, М., Гослитиздат, 1957.

10 декабря

152) Всего статей Софронова — «Во сне и наяву» — было три: см. «Литературная газета», 7-ое, 10-ое и 14-ое декабря 1957 г.

153) Начала Алигер вовсе не с покаяния, а с попытки защитить альманах. В марте 57 года на пленуме Московского отделения Союза Писателей она объясняла, что критика демагогична, недобросовестна, что альманах направлен вовсе не против советского строя, как утверждает критика, а лишь против лакировки действительности, осужденной XX Съездом КПСС (см. «Московский литератор», 15 марта 1957 г.). Оборонялся поначалу и главный редактор «Литературной Москвы» Э. Казакевич, оборонялись и другие члены редколлегии. Однако нападки росли, и члены редколлегии вынуждены были умолкнуть. Ни оборона, ни молчание не были им прощены: секретарь парторганизации Союза Писателей В. Сытин назвал их позицию «ложной стойкостью». 19 мая 57 г., на встрече с интеллигенцией, за разоблачение альманаха взялся сам Н. С. Хрущев. Он заявил, что в «Литературной Москве» «протаскиваются чуждые нам идеи» и что члены редколлегии проявляют неуважение к товарищеской критике. При этом он грубо накричал на М. И. Алигер. В ответ она пыталась что-то объяснять — Хрущев заорал пуще. После встречи Хрущева с интеллигенцией М. Алигер, Э. Казакевич и другие члены партии (из партийных редакторов устояли только двое) поняли, что никакого выхода, кроме «покаяния», у них нет. Они покаялись, но Сытин был ненасытен: парторганизация признала их покаяние «неполным, непрямым, нечестным». Тогда-то М. Алигер и принялась каяться «прямо и честно». В начале октября 1957 года на одном из писательских собраний она заявила:

«Мне пришлось пережить несколько месяцев горьких раздумий, глубоких размышлений, прямых и беспощадных споров с самой собой. Мне уже давно стало ясно, что я допустила в своей общественной работе ряд прямых ошибок и, признав это в полной мере, я находилась

долгое время в состоянии душевной подавленности и пассивности. И в этом смысле очень недовольна собой.

Я, как коммунист, принимающий каждый партийный документ как нечто целиком и беспредельно мое личное и непреложное, могу сейчас без всяких обиняков и оговорок, без всякой ложной боязни уронить чувство собственного достоинства, прямо и твердо сказать товарищам, что все правильно, я действительно совершила те ошибки, о которых говорит тов. Хрущев. Я их совершила, я в них упорствовала, но я их поняла и признала продуманно и сознательно, и вы об этом знаете. Я сказала об этом на таком же собрании более трех месяцев назад. Однако за это время я не переставала находиться в кругу тех же размышлений, и, кажется, мне удалось глубже понять причины происхождения этих ошибок и даже то, что часть этих причин заложена просто в моем человеческом характере, который, может быть, мне чем-то и мешает в общественной работе.

Мне подчас свойственна подмена политических категорий категориями морально-этическими. Мне не хватало разностороннего политического чутья, умения охватить широкий круг явлений, имеющих непосредственное и прямое отношение к нашей работе.

Очевидно, мне следует быть сейчас гораздо требовательнее к себе, освободиться от некоторой умозрительности, строже проверять свои взгляды на явления жизни самой жизнью, прямо и непосредственно соприкасаясь с ней, ближе, чем мне это удавалось в последние два-три года, увидеть воочию те огромные перемены, которые совершились в жизни народа, особенно после XX съезда партии, короче говоря, следовать тому, чему учат, к чему призывают выступления тов. Хрущева. Думаю, что о тех глубоких выводах, которые я сделала для своей дальнейшей жизни, я в полной мере смогу рассказать, только полноценно работая, помня всегда, что любая работа советского писателя — это политическая работа, и выполнять ее с честью можно только незыблемо следуя партийной линии и партийной дисциплине». (См.: «Литературная газета», 8 октября 1957 г.).

Третий том «Литературной Москвы», подготовленный к печати, был остановлен, а главный редактор альманаха Э. Казакевич вскоре после разгрома заболел раком и в 1962 г. скончался.

154) Обороняя от нападок «Литературную Москву», я, в частности, сказала и несколько слов в защиту стихотворения Я. Акима «Галич» (сборник второй, стр. 523). Привожу его целиком, восстанавливая искаженную цензурой одну строчку:

Галич

Я вырос в городке заштатном
Среди упряжек и рогож.
И не был на район плакатный,
По счастью, город мой похож.

Над сонным озером вставал он,
Как терем сказочных времен,
Насыпанным издревле валом
От вражьих полчищ обнесен.

Там кузнецы у наковален
С утра томились от жары,
А на базаре куковали,
Стуча по кринкам, гончары.

Там были красные обозы
И в окнах пыльная герань,
Обманутых торговок слезы
И пьяных матерная брань.

И грохот ярмарочной меди,
И будничная тишина,
Тоскливой музыки волна,
Напуганный цыган с медведем...

Там возвеличивались, меркли
Районной важности царьки,
Там быстро разрушались церкви
И долго строились ларьки.

Там песен яростно-безбожных
Немало в детстве я пропел
И там же услыхал тревожный
Холодный шопоток: «Расстрел».

И был не смешанный с толпою
Там каждый встречный на виду,
И каждый уносил с собою
Чужую радость и беду.

...Он жив, доставшийся мне с детства
Упрямой правды капитал.
Я милой родины наследство
В пустых речах не промотал.

И беспокойными ночами,
Как у походного костра,
Со мною вместе галичане
Не спят в раздумьях до утра.

Софронов утверждал, будто это пошлейшие стихи, будто от них «шибает в нос гнильцой и пошлостью». Особенно его возмущали строки, где поминались районные царьки, ларьки и церкви.

1958

7 января

[155]) М., Гослитиздат, 1957 — Ф. И. Тютчев. Стихотворения. Письма. Вступительная статья, подготовка текста и примечания К. В. Пигарева.

156) *...эти кощунственные строки.* — «Новое увлечение уже старого и больного поэта причинило ему много душевной муки, но владело им до конца его жизни, — сообщает Бухштаб. — 1 января 1873 г. Тютчев был разбит ударом. Лежа с парализованной половиной тела, с плохо поддающейся усилиям речью, Тютчев требовал, чтобы к нему пускали знакомых, с которыми он мог бы говорить о политических, литературных и прочих интересных вопросах и новостях... К весне Тютчеву стало лучше; он начал выходить.

4 июня 1873 г. дочь Тютчева Дарья Федоровна пишет своей сестре Екатерине: «Бедный папа потерял голову. Страсть как будто бичует его. Эта особа пытает его медленным огнем. Это она виновница его положения, она возбуждает его, и без того больного, играя на его нервах, натянутых до последней степени».

11 июня последовал новый удар, через несколько дней — третий. Тютчев прожил еще месяц... 15 (27) июля 1873 г. Тютчева не стало» (Ф. И. Тютчев. Полное Собрание стихотворений. Библиотека Поэта. Большая серия. Л., «Советский писатель», 1957. Вступительная статья Б. Бухштаба, стр. 14).

14 февраля

157) Тамара Владимировна Иванова (р. 1905) — переводчица, жена писателя Всеволода Иванова. Семья Ивановых — не только соседи Пастернака (ближайшие — по писательскому поселку Переделкино, близкие — по писательскому дому в Лаврушинском переулке, в Москве), но и почитатели и друзья. Ивановы — постоянные (иногда первые) слушатели стихов и прозы Пастернака. Они принимали живое участие в литературных и житейских невзгодах соседа и друга. В особенности дружен был Борис Леонидович с сыном Ивановых, Вячеславом Всеволодовичем (по-домашнему — «Кома»). О Коме подробнее см. примеч. 192), а также 180).

Елена Ефимовна Тагер (ок. 1904) — искусствовед, автор статей о советской скульптуре и графике; она и ее муж (литературовед Е. Б. Тагер) — знакомые Пастернака и его семьи.

158) О том, какие предпринимались шаги, чтобы оказать медицинскую помощь Борису Пастернаку, привожу отрывок из записей моего отца:

«1-ое февр[аля]. Заболел Пастернак <...> Нужен катетр. Нет сегодня ни у кого шофера: ни у Каверина, ни у Вс. Иванова, ни у меня. Мне позвонила Тамара Влад[имировна Иванова], я позвонил в ВЦСПС, там по случаю субботы все разошлись. Одно спасение: Коля должен приехать — и я поеду на его машине в ВЦСПС — за врачами. Бедный Борис Леонидович — к нему вернулась прошлогодняя болезнь. Тамара Влад[имировна] позвонила в город Лидии Ник[олаевне] Кавериной: та купит катетр, но где достать врача. Поеду наобум в ВЦСПС.

Был у Пастернака. Ему вспрыснули пантопон. Он спит. Зин[аида] Ник[олаевна] обезумела. Ниоткуда никакой помощи. Просит сосредо-

точить все свои заботы на том, чтобы написать письмо Правительству о необходимости немедленно отвезти Б[ориса] Л[еонидови]ча в больницу. Лидия Ник[олаевна] привезла катетр. Сестра медицинская (Лидия Тимоф.) берется сделать соответствующую операцию. Я вспомнил, что у меня есть знакомый Мих[аил] Фед[орович] Власов (секретарь Микояна) и позвонил ему. Он взялся позвонить в Здравотдел и к Склифасовскому. В это время позвонила жена Казакевича — она советует просто вызвать скорую помощь <...> Но скорая помощь от Склифас[овского] за город не выезжает. И вот лежит знаменитый поэт — и никакой помощи ниоткуда.

В Союзе в прошлом году так и сказали: «П[астерна]к недостоин, чтобы его клали в Кремлевку». Зин[аида] Ник[олаевна] говорит «П[астерна]к требует, чтобы мы не обращались в Союз».

3 февр[аля]. Был у Пастернака. Он лежит изможденный — но бодрый. Перед ним том Henry James. Встретил меня радушно: «читал и слушал вас по радио — о Чехове, ах! — о Некрасове, и вы так много для меня... так много...» и вдруг схватил мою руку и поцеловал. А в глазах ужас... «Опять на меня надвигается боль — и я думаю, как бы хорошо [умереть]...» (Он не сказал этого слова). «Ведь я уже сделал [в жизни] все, что хотел. Так бы хорошо».

Все свидание длилось три минуты. Эпштейн сказал, что операция не нужна (по крайней мере сейчас). Главное: нерв позвонка. Завтра приедет невропатолог <...> Познакомился я у постели Бор[иса] Л[еонидови]ча с Еленой Ефимовной Тагер, очень озабоченной его судьбой. Мы сговорились быть с нею в контакте. О Кремлевке нечего и думать. Ему нужна отдельная палата, а где ее достать, если начальство продолжает гневаться на него.

Ужасно, что какой-нибудь Е., презренный холуй, может в любую минуту обеспечить себе высший комфорт, а П[астерна]к лежит — без самой элементарной помощи.

7 февраля. <...> в 12 — в город. Подыскивал больницу для Пастернака. В «7-м корпусе» Боткинской все забито, лежат даже в коридорах, в Кремлевке — нужно ждать очереди, я три раза ездил к Мих[аилу] Фед[оровичу] Власову (в Совет министров РСФСР, куда меня не пустили без пропуска; я говорил оттуда с М. Ф., воображая, что он там, а он — в другом месте; где — я так и не узнал); оказалось, с его слов, что надежды мало. Но, приехав домой, узнаю, что он мне звонил и, оказывается: он добыл ему путевку в клинику ЦК — самую лучшую, какая только есть в Москве — и завтра Женя везет Тамару Вл[адимировну] Иванову за получением этой путевки. Я обрадовался и с восторгом побежал к Пастернаку. При нем (наконец-то!) сестра; у него жар. Анализ крови очень плохой. Вчера была у него врачиха — помощница Вовси (Зинаида Николаевна); она (судя по анализу крови) боится, что рак. Вся моя радость схлынула. Он возбужден, у него жар. Расспрашивал меня о моей библиотеке для детей. Зинаида Николаевна (жена Бориса Леонидовича) все время говорит о расходах и встретила сестру неприязненно: опять расходы <...>

8 февраля. Вчера Тамара Владимировна Иванова ездила в моей

машине (шофер — Женя) за больничной путевкой в Министерство Здравоохранения РСФСР (Вадковский пер. 18/20, район Бутырок) к референтке министерства Надежде Вас[ильевне] Тихомировой. Получив путевку, она поехала в больницу ЦК — посмотреть, что это за больница и какова будет палата Бор[иса] Леон[идовича]. Там ей ничего не понравилось: директор — хам, отдельной палаты нет, положили его в урологическое отделение. Но мало-помалу все утрясется. Хорошо, что там проф. Вовси, Эпштейн и др. Пришлось доставать и «карету скорой помощи». В три часа Женя воротился и сообщил все это Б[ори]су Л[еонидови]чу. Он готов куда угодно — болезнь истомила его. Очень благодарит меня и Там[ару] Вл[адимировну]. По моему предложению подписал Власову своего «Фауста», поблагодарив за все хлопоты. З[инаида] Н[иколаевна] нахлобучила ему шапку, одела его в шубу; рабочие между тем разгребли снег возле парадного хода и пронесли его на носилках в машину. Он посылал нам воздушные поцелуи.

8 марта

159) Л. Н. Гумилев. «Хунну. Срединная Азия в древние времена». М., Изд-во «Восточной литературы», 1960. О том, как рукопись книги была доставлена Л. Н. Гумилевым из лагеря в октябре 55 г. профессору Конраду см. RLT, стр. 651.

Освобожденный в 1956 г., Л. Н. Гумилев рассчитывал на быстрое издание своего труда, но тут возникли разнообразные препоны и помехи. А. А. хлопотала перед академиками В. В. Виноградовым и Н. И. Конрадом; Л. Н. упрекал ее в недостаточной энергии; упреки эти обижали Анну Андреевну и были одной из причин постоянных недоразумений между сыном и матерью.

26 марта

160) Борис Павлович Козьмин (1883-1958) — историк русской общественной мысли и революционного движения 60-80 годов XIX века.

5 апреля

161) Юлия Моисеевна Нейман (р. 1907) — поэт и переводчик. Она познакомилась с Анной Андреевной при встрече Нового, 1955-го, года, в гостях у М. С. Петровых Наутро Нейман читала Ахматовой свои стихи. В ту пору, когда А. А. познакомилась с Нейман, Юлия Моисеевна занималась преимущественно переводами (из Галкина, из Кугультинова, из И. Борисова); А. А. не раз высказывала огорчение, что собственные стихи Нейман почти никогда не публикуются. После смерти Анны Андреевны в свет вышли два сборника стихов Ю. Нейман: «Костер на снегу» (М., «Советский писатель», 1974) и «Мысли в пути» (Элиста, Калмыцкое книжное издательство, 1976).

Несколько стихотворений Ю. Нейман были напечатаны в «Литературной Москве» (Сборник второй, стр. 296-297), и я в своем выступлении защищала их. (См. примеч. 137).)

[162]) Б. Слуцкого обругал А. Власенко в статье о «Дне поэзии, 1957»; см. «Жизненная правда и поэтическое мастерство» — «Литературная газета», 1958, 2 апреля.

[163]) По-видимому, это была первая книга Б. Слуцкого «Память» (М., «Советский писатель», 1957).

[164]) Второе стихотворение — то, которое А. А. нашла «прекрасным» — «Кто мне откликнулся в чаще лесной»; третье — «Сентябрь».

[165]) Давид Самойлович Самойлов (р. 1920) — поэт, исследователь русского стиха, переводчик. Первый сборник стихотворений Самойлова «Ближние станы» вышел в свет в 1958 году; с тех пор появились сборники «Второй перевал» (М., 1963); «Дни» (М., 1970); «Равноденствие» (М., 1972); «Волна и камень» (М., 1974); «Весть» (М., 1978).

Самойлову, кроме стихов, принадлежит «Книга о русской рифме»; первая часть этого исследования напечатана в 1973 г., вторая (о рифме XX века) — готовится к печати теперь.

Переводит Самойлов преимущественно поэтов восточной Европы: венгров, румынов, чехов, сербов и, главным образом, поляков: в его переводах появились многие произведения Кохановского, Мицкевича, Лесьмяна, Стаффа, Ивашкевича, Тувима, Броневского, Галчинского, Ружевича.

Давид Самойлович и А. А. познакомились в начале шестидесятых годов, в Москве. При жизни Ахматовой Самойлов посвятил ей стихотворение «Я вышел ночью на Ордынку» («Дни», стр. 79), а после ее кончины «Смерть поэта» («Дни», стр. 76) и «Стансы» («Литературная газета», 6 декабря 1978 г.).

Суждения Ахматовой о поэзии Самойлова см. также на стр. 388, 439 и 441. Примеч. 1978 г.

16 апреля

[166]) «Бродячая собака» — знаменитое артистическое кабаре десятых годов, помещавшееся на Михайловской площади, 5, — кабаре, которому посвящено множество стихов и воспоминаний. В частности, у Анны Ахматовой см.: «Да, я любила их, те сборища ночные» (БВ, Белая стая), «Все мы бражники здесь, блудницы» (БВ, Четки), «Подвал памяти» («Записки», т. 1, № 24). Упоминается «Бродячая собака» и в первой части «Поэмы без героя» («Через площадку») и в воспоминаниях Ахматовой о Мандельштаме.

А. А. была дружна со всей семьей Томашевских: пушкинистом, Борисом Викторовичем (1890-1957) и женой его, сотрудницей Пушкинского Дома, автором многочисленных работ о Пушкине, Баратынском, Грибоедове, Гоголе — Ириной Николаевной Медведевой (1903-1973). «...Борис Викторович Томашевский был моим учителем по линии пушкиноведения», — вспоминала Ахматова в 1962 г. («Сочинения», т. 2, стр. 305).

Жили Томашевские в писательском доме на канале Грибоедова, 9. 31 августа вся семья Пуниных перебралась из Фонтанного Дома в более безопасные полуподвальные помещения Эрмитажа, оставив Анну Андреевну в квартире одну. На следующий день А. А. позвонила Томашевским, и Борис Викторович зашел за ней. По дороге на ка-

нал Грибоедова они и оказались во время воздушной тревоги в подвале, который А. А. посещала когда-то в дни своей молодости.

«В промежутке между разрывами» — по-видимому ошибка моей записи: 1 сентября 1941 года в Ленинграде воздушные тревоги уже были, а бомбежки — нет.

21 апреля

167) О. — Ирина Одоевцева... Но у меня ошибка. Как я поняла теперь, говорила тогда А. А. не про мемуары самой Одоевцевой — «На берегах Невы» (которые начали появляться позднее), а про воспоминания Георгия Иванова «Петербургские зимы» (Париж, издательство «Родник», 1928, и Нью-Йорк, издательство имени Чехова, 1953) — воспоминания, написанные, как полагала А. А., со слов Одоевцевой. Впоследствии, в 1962 году, в письмах к Ранниту, А. А. отозвалась о воспоминаниях Георгия Иванова (а также о книге Леонида Страховского, о которой речь была выше) еще категоричнее и выразительнее: «...я предупреждаю Вас, что писаниями Георгия Иванова и Л. Страховского пользоваться нельзя. В них нет ни одного слова правды» и: «Мне было приятно узнать, что Вы держитесь того же мнения, что и я, относительно Георгия Иванова и Л. Страховского. И, следовательно, мне не придется, прочтя Вашу работу, еще раз испытать ощущение, описанное в последней главе «Процесса» Кафки, когда героя ведут по ярко освещенной и вполне благоустроенной Праге, чтобы зарезать в темном сарае» («Сочинения», т. 2, стр. 304 и 305).

168) С точностью строки из статьи Н. Гумилева («Орион») читаются так: «Ахматова захватила чуть ли не всю сферу женских переживаний, и каждой современной поэтессе, чтобы найти себя, надо пройти через ее творчество» (газета «Жизнь Искусства», 1918, № 4). Что касается других суждений Гумилева о поэзии Ахматовой, цитируемых здесь, то они содержатся в двух письмах Николая Степановича к Анне Андреевне; в одном (1913 года) о стихотворении «Вижу выцветший флаг над таможней» — БВ, Четки, № 68 ; во втором (1915) о стихотворении «Ведь где-то есть простая жизнь и свет» — БВ, Белая Стая». О первом Гумилев пишет: «Я весь день вспоминаю твои строки о «приморской девчонке», они мало того, что нравятся мне, они меня пьянят. Так просто сказано так много...». О втором: «...ты не только лучшая русская поэтесса, но и просто крупный поэт». (Amanda Haight. Letters from N. Gumilev to Anna Akhmatova 1912-1915. In: Slavonic and East European Review, v. 50, N° 118, London 1972, p. 100-106).

169) В своих предвоенных записках об Анне Андреевне я не решилась рассказать об одном происшествии, случившемся, если мне не изменяет память, весною 1941 года. Я знала, что за мной и за моей квартирой следят, ждала обыска — и ареста — со дня на день и старалась навещать Анну Андреевну пореже. (Об этой поре моей жизни см. главу «В промежутке» — «Записки», т. 1). Но иногда все-таки я навещала ее. Однажды, движением отчаяния, А. А. протянула мне какой-то пакет; затем написала на клочке несколько строк и, когда я прочитала их, сожгла в пепельнице. Точного текста не помню;

смысл же такой: если я не возьму пакет — она вынуждена будет бросить бумаги в Фонтанку, деть их ей некуда, а держать дома нельзя. Я кивнула, сунула в портфель завернутую в газету пачку квадратных, тетрадного размера, листов и простилась. Спускаясь по лестнице, подумала: что же это я делаю? У нее нельзя, да ведь и у меня нельзя. Я дошла до ворот и вернулась: рассказать Анне Андреевне все о новых своих злоключениях и отдать пакет ей. Она не упрекнет меня, думала я, убыстряя обратный шаг, но — и тут шаг мой замедлился — мало ли у нее тревог! теперь станет «одной тревогой боле». Уже дойдя почти что до порога лестницы, я снова вернулась к воротам и вышла на Фонтанку. Надо было решать. Домой — ни в коем случае, и, как на зло, ни одно надежное имя не приходило на ум. В эту минуту на набережной показалось такси — не очень частое явление в ту пору. Я порылась в сумочке и помахала рукой. Если за мной следят, машина даст мне возможность на некоторое время скрыться из глаз. А в машине обдумаю, как быть дальше. Я велела шоферу ехать на Петроградскую, объехав предварительно Марсово Поле. Пусть перевезет на ту сторону, там, невидимкой, пересяду в трамвай, а по дороге решу. В самом деле, думала я, ведь Ленинград — мой родной город, здесь столько моих сверстников, одноклассников, однокурсников, столько сотрудников редакции, где я работала 11 лет, столько друзей по тюремным очередям — неужели сейчас никого не найдется, кто снимет груз с моих плеч и примет на свои?

В машине меня осенило имя. Оно оказалось угаданным верно. Сквозь террор, войну, блокаду, сквозь новые и новые спазмы террора — пакет сохранился, был возвращен мне в 1958 году, а мною — Анне Андреевне.

У этой истории забавный конец.

— Представьте себя, — сказал мне один приятель весною 1958-го, — NN (он назвал имя литератора, составлявшего вместе с Анной Андреевной гумилевские «Труды и дни») счастлив: к нему внезапно вернулся кусок жизнеописания Николая Степановича, который в течение многих лет считался безнадежно утраченным.

— Да что вы! Вот чудеса! — ответила я, и мы вместе от души порадовались находке. Примеч. 1977 г.

170) *...«зеленый переполох травы» ... ведь это и есть поэзия.* — Ахматова имеет в виду строки из стихотворения Александра Коренева:

Верят птицы — в синь за деревьями
И в зеленый переполох...
Лес растет,
не заботясь о времени,
Отмеряемом тенью стволов.
(Сб. «Пречистый бор», М., 1957, стр. 32)

Весьма неодобрительно отозвался обо всем сборнике (и, в частности, об этих строках) В. Ардов в статье «Печальная эстафета» (см. «Литература и жизнь» 18 апреля 1959 г.).

Со статьей, опровергающей мнение Ардова, выступил критик Сергей Львов — см. «В защиту поэтов» (там же, 11 мая 1959 г.).

22 апреля

171) Об Н. К. Треневой, соседке Корнея Ивановича по Переделкину, подробнее см. примеч. 93). «Оля Наппельбаум» (О. Грудцова, р. 1904) — критик, автор рецензий, критических статей, мемуаров) в конце пятидесятых годов часто навещала Корнея Ивановича в Переделкине. К. И. был знаком со всей семьей Наппельбаумов еще по Петрограду — с отцом Ольги Моисеевны, Моисеем Соломоновичем, и с двумя ее старшими сестрами: Идой и Фредерикой (обе они писали стихи).

Моисей Соломонович Наппельбаум (1869-1958) знаменитый фотограф, прославившийся фотопортретами Анны Ахматовой, Александра Блока, Осипа Мандельштама, многих известных литераторов, художников, артистов. В начале двадцатых годов у Наппельбаумов, на углу Литейного и Невского, собирались по понедельникам члены кружка «Звучащая раковина» — молодые поэты, чьим учителем был Н. Гумилев. Там принято было сидеть на полу, на подушках и шкурах и по очереди читать свои стихи.

24 октября

172) Сборник моих критических статей так никогда и не вышел. Об Н. В. Лесючевском (р. 1908) — директоре издательства «Советский писатель», о В. М. Карповой (р. 1915) — главном редакторе и о других деятелях того же издательства подробнее см. примеч. 99) и мою книгу «Процесс исключения».

26 октября

173) Д. Заславский. «Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка». — «Правда», 26 октября 58 г.

28 октября

174) «Щебечет птичка на суку / Легко, маняще» — «За поворотом» (ББП-П, стр. 481); «После грозы» — см. стр. 265-266, а также сб.: Борис Пастернак. Стихи. Предисловие Корнея Чуковского. Библиотека советской поэзии. М., издательство «Художественная литература», 1966, стр. 324.

29 октября

175) К сказанному добавлю, что теперь, в 1977 г., когда книга Анны Ахматовой «О Пушкине» лежит у меня на столе, и я, читая и перечитывая, вдумываюсь в ахматовские статьи, я вижу, как с годами личность Ахматовой все откровеннее проглядывала в ее научных изысканиях. Та же безудержная отвага мысли, что и в ее стихах, и тот же юмор, что и в ее беседах. Вот она расправляется с ничтожной Араповой (дочерью Наталии Николаевны и Ланского), трактующей Пушкина весьма неуважительно (со слов мамаши и тетушки).

Ахматова пишет: «Дантес, напротив, сервирован роскошно» — и в этом «с е р в и р о в а н» так ясно слышен живой голос Анны Андреевны! На стр. 169, в предполагаемом заключении книги, Ахматова говорит о Пушкине — отце великой русской литературы, о Пушкине «моралисте» («пора уже — заявляет она — произнести это слово»), о Пушкине, проповедующем добро «средствами искусства». В работах, где разбирается «Каменный Гость» или восьмая глава «Онегина», в сопоставлении «Онегина» с «Каменным Гостем», «Онегина» и «Каменного Гостя» — с «Русалкой» она подводит нас к пониманию высокой пушкинской проповеди. И вдруг в одном из самых патетических мест читаем: «Он бросает Онегина к ногам Татьяны, как князя в «Русалке» к ногам, pardon, хвосту, дочери мельника» (стр. 190). Это « p a r d o n, хвосту » — опять живая беседа Ахматовой с кем-нибудь из друзей в Фонтанном Доме, на Беговой, на Ордынке или в Комарове. И уж чисто ахматовская свобода и отвага определений: расслышать по-новому меланхолическое пушкинское «Предчувствие» и сказать о нем — «Это н а с т о я щ е е S O S» (стр. 221); об отрывке «Мы проводили вечер на даче» — «г о л о в о к р у ж и т е л ь н ы й л а к о н и з м» (стр. 200) или об отношении Пушкина к читателю: «с о л н е ч н о е д о в е р и е к ч и т а т е л ю» (стр. 234) — эту силу и новизну определений могла себе позволить в ученом труде одна только Ахматова. Свободой и дерзостью надо обладать, чтобы, характеризуя барона Геккерна, воспользоваться строкой Мандельштама: «Проваренный в чистках, как соль» и дать барону такую характеристику: «п р о в а р е н н а я в и н т р и г а х старая дипломатическая лиса» (стр. 115) или, используя современный вульгаризм, объяснить, что Геккерн, не будучи ни Талейраном, ни Меттернихом, не справился бы со сложной дипломатической задачей, но вполне мог «образовать то, что мы теперь обозначаем изящным словом «склока» (стр. 110-111).

30 октября

176) «Комсомольская правда», 30 октября 1958 г. Доклад В. Е. Семичастного «40 лет Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому Союзу Молодежи» на торжественном пленуме ЦК ВЛКСМ 29 октября 58 г.

8 ноября

177) Н. Чуковский, Н. Тренева, М. Алигер (как и многие из литераторов, любивших и ценивших Пастернака) считали, что издавать свои книги на Западе — это для советского писателя поступок безусловно недопустимый. А раз так, стало быть, осужден Пастернак «в общем правильно». Брат мой в разговоре со мной высказал в эти дни еще и такую мысль: «Пастернак — гений, его поэзии суждено бессмертие, он это знает, а мы обыкновенные смертные люди, и не нам позволять себе вольничать. Мы должны вести себя так, как требует власть». Он понимал величие поэта, признавал наш долг перед властью, но не понимал нашего долга перед поэтом — это поразило меня.

19 ноября

178) *...у Бориса Леонидовича ... не отнимут переводов Словацкого и ... «Мария Стюарт» будет идти в его переводе.* — Пастернак начал переводить Юлиуша Словацкого еще в первой половине 40-х годов. В 1958 г., после скандала из-за Нобелевской премии, работа над переводом драмы Словацкого «Мария Стюарт» была единственной, которую оставили Борису Леонидовичу.

В это же время на сцене МХАТ шла в переводе Пастернака «Мария Стюарт» Шиллера. После скандала ее прекратили показывать, — однако вскоре начальство нашло выход: спектакль возобновился без имени переводчика на афишах. Написал — Шиллер. Кто перевел — пусть не знают.

179) *...по случаю недавнего возвышения Яковлевой.* — В 1956 г. в Нью-Йорке вышел том «Русского Литературного архива» под редакцией М. Карповича и Д. Чижевского. Там была помещена публикация Р. Якобсона «Новые строки Маяковского» и среди новых строк стихи, обращенные к Татьяне Яковлевой, до тех пор неизвестные; письма Маяковского к ней, надписи на книгах и т. д. В 1956 г. стихотворение Маяковского — Яковлевой, перепечатанное из «Русского Литературного архива», появилось в № 4 «Нового мира».

23 ноября

180) *Для этого романа... необходимо помнить историю Зелинского с Комой и Тамарой Владимировной.* — А для этого необходимо вспомнить некоторые особенности литературного пути Зелинского.

Корнелий Люцианович Зелинский (1896-1969) — критик, автор многочисленных работ о современной советской литературе: о Горьком, Фадееве, Шагинян, Инбер, Гулиа, Джамбуле и др. С 1924 по 1930 г. Зелинский был членом группы конструктивистов, главным ее идеологом. Когда же, в 1930 г., конструктивизм объявили «вредным заблуждением», Зелинский выступил с покаянной статьей «Конец конструктивизма» в журнале «На литературном посту» (№ 20). Примечательна терминология этой статьи, примечательно и то, что Зелинский, раскаиваясь в собственных прегрешениях, поспешил опорочить всех своих сотоварищей. Напирал он, как было положено, на «обострение классовой борьбы»: «конструктивизм в целом явился одним из наиболее ярких обнаружений в литературе классово-враждебных влияний»; «...лично для себя я считаю совершенно необходимым занять по отношению к конструктивизму наступательную позицию. Не только отказываться от своих старых ошибок, этого мало... надо вместе со всей пролетлитературой повести борьбу против конструктивизма» (разрядка автора статьи, Л. Ч.). И далее Зелинский разоблачает классово-враждебную суть поэзии своих товарищей: Луговского, Сельвинского, Багрицкого.

Редакция журнала осталась этой покаянной статьей весьма довольна. Автор осознал — указано в редакционном примечании, — что «объективно настроения аполитизма и пр., выражавшиеся кон-

структивизмом, в конечном счете ведут к идеологии вредительства, и нашел в себе мужество заявить об этом».

Так, разоблачителем идеологии вредительства в поэзии своих ближайших друзей, шагнул Зелинский в тридцатые годы.

Миновало четверть века. Вслед за конструктивизмом и налитпостовством — кто только за эти четверть века не был уличен и разоблачен во вредительстве, аполитичности или безыдейности! И Зелинский продолжал находить в себе мужество каяться, уличать и разоблачать.

1 января 1957 года Корнелий Люцианович зашел к Борису Леонидовичу с праздничным новогодним визитом, обнял его и поцеловал. Между тем, в редакцию «Литературной газеты» уже сдана была им накануне статья об очередном выпуске альманаха «День Поэзии» (М., 1956) — «Поэзия и чувство современности» — статья с издевательскими нападками на пастернаковское стихотворение «Рассвет». Здесь в иезуитстве и бесстыдстве Зелинский превзошел самого себя.

1956 год — год реабилитаций, преимущественно посмертных. Зелинский заподозрил Пастернака в симпатии к одному из реабилитированных. Конечно, Пастернак лагерникам симпатизировал всегда, но в стихотворении «Рассвет» писал не о них, а об Иисусе Христе.

Ты значил все в моей судьбе.
Потом пришла война, разруха,
И долго-долго о тебе
Ни слуху не было, ни духу.
. . . .
Всю ночь читал я твой завет
И как от обморока ожил.
. . . .
Мне к людям хочется, в толпу,
В их утреннее оживленье.
Я все готов разнесть в щепу
И всех поставить на колени.

(ББП-П, стр. 443)

На колени — перед Христом... Притворившись, будто не понимает (или в самом деле не понимая) смысла приведенных стихов, Зелинский в своей статье написал: «В иносказательных образах идет речь о ком-то, о ком «долго-долго... ни слуху не было, ни духу»; и вот теперь, через много лет, этот голос снова встревожил поэта. Какое же чувство вызвало у поэта возвращение его друга к жизни, пусть и посмертное?

Мне к людям хочется, в толпу,
В их утреннее оживленье.
Я все готов разнесть в щепу
И всех поставить на колени.

Как-то делается не по себе от такого странного жеста тонкого лирического поэта: все разнесть в щепу и всех поставить на колени.

А чем же все тут виноваты? И за что нас ставить на колени перед поэтом?» (Разрядка выше и здесь — моя. Л. Ч.).

Мало того, что Зелинский перетолковал стихи: Пастернак зовет пасть на колени перед Христом, Зелинский уверяет, будто он зовет упасть на колени перед самим собою, «перед поэтом». Мало ему было переврать стихотворение: он поспешил заявить, что в происшедшей трагедии никто не виноват. «А чем же все тут виноваты?»

Вскоре после опубликования этой статьи (она вышла в свет 5 января 1957 г.) Зелинский и Вяч. Вс. Иванов оказались среди приглашенных на заседание Президиума Академии Наук СССР: обсуждался отчетный доклад о состоянии советской филологии. (Приглашены были, кроме членов Академии, сотрудники журналов и гуманитарных Институтов).

Зелинский протянул Иванову руку. Вячеслав Всеволодович ему руки не подал, сказав: «я прочел вашу статью».

Об этом эпизоде Зелинский счел необходимым доложить в 1958 году на том собрании, где исключали Пастернака. Покаявшись (ему, как и некоторым другим, случалось, дескать, необдуманно восхищаться стихами ныне разоблаченного поэта) он продолжал: «Окружение Пастернака прибегало к такой мере, чтобы терроризировать всех тех, кто становился на путь критики Пастернака. Так, например, когда появилась моя статья «Поэзия и чувство современности», в Президиуме Академии Наук меня встретил заместитель редактора журнала «Вопросы языкознания» В. В. Иванов. Он демонстративно не подал мне руки за то, что я покритиковал стихотворение Пастернака. Это была политическая демонстрация с его стороны. И я хочу, чтобы эти слова достигли его ушей и чтобы он нашел в себе мужество выступить в печати и высказать свое отношение к Пастернаку.

Да, должна быть проведена очистительная работа (разрядка моя, Л. Ч.), и все мы должны понять, на какую грань нас может завести это сочувствие к эстетическим ценностям, если это сочувствие и поддержка идет за счет зачеркивания марксистского подхода». (См. «Новый Журнал», Нью-Йорк, 1966, № 83, стр. 203-204).

Вяч. Вс. Иванов с покаянием не выступил, и после сообщения Зелинского (сделанного вторично в Институте Мировой Литературы им. Горького при АН СССР /ИМЛИ/) «очистительная работа», к которой призывал Зелинский, была произведена: Иванов перестал быть заместителем редактора в журнале «Вопросы языкознания» и преподавателем Московского Университета.

...14 мая 1959 года состоялось торжественное открытие нового здания Центрального Дома Литераторов. Зал был переполнен. Увидев проходившую между стульями Тамару Владимировну Иванову, Зелинский ей поклонился. Она не ответила. Он потребовал от нее объяснений. Тамара Владимировна громко сказала:

— Вы негодяй и доносчик.

— Это неправда!

— Нет, это правда. Вы негодяй и доносчик.

И прошла к своему месту.
О Вяч. Вс. Иванове см. примеч. [192]).

19 декабря

[181]) См. «Письма к противнику». Письмо третье, — Герцен, Собр. соч., т. XVIII, стр. 295.

28 декабря

[182]) О книге Л. Страховского см. примеч. к стр. 156; что же касается «Энциклопедии русской поэзии», вышедшей за рубежом, то установить, о какой именно книге идет речь, мне не удалось. Примеч. 1978 г.

[183]) Елена Сергеевна Булгакова (1893-1970) — вдова Михаила Булгакова. А. А. многие годы была дружна и с Михаилом Афанасьевичем и с Еленой Сергеевной. Ему, после его смерти, она посвятила стихотворение «Вот это я тебе, взамен могильных роз» — ББП, 289; ей — стихи из цикла «Новоселье» (БВ, Седьмая книга). Во время войны Е. С. Булгакова была эвакуирована в Ташкент. Когда летом (в мае или в июне) 1943 года она возвратилась в Москву — А. А. переехала в ее бывшую комнату: ранее А. А. жила в одном писательском общежитии, на ул. Карла Маркса, 7, а после отъезда Булгаковой перебралась в другое — на ул. Жуковского, 54. «В этой комнате колдунья / До меня жила одна» — так пишет А. А. в цикле «Новоселье», в стихотворении «Хозяйка», посвященном Елене Сергеевне.

В «Листках из Дневника», рассказывая о ссылке Мандельштама, А. А. вспоминает: «Нина Ольшевская и я пошли собирать деньги на отъезд. Давали много. Елена Сергеевна заплакала и сунула мне в руку все содержимое своей сумочки». («Сочинения», т. 2, стр. 184).

С Михаилом Афанасьевичем и Еленой Сергеевной Булгаковыми А. А. познакомилась летом 1933 года.

1959

4 апреля

[184]) В № 4 журнала «Знамя» за 1954 год под общим заглавием «Стихи из романа в прозе "Доктор Живаго"» были напечатаны следующие стихотворения Бориса Пастернака: «Весенняя распутица», «Белая ночь», «Март», «Лето в городе», «Ветер», «Хмель», «Бабье лето», «Разлука», «Свидание», «Свадьба».

26 апреля

[185]) «Пленный дух» и «Герой труда» — см. Марина Цветаева. Проза. Изд-во имени Чехова. Нью-Йорк, 1953, стр. 203 и 286.

[186]) Воспоминания Цветаевой о Максимилиане Волошине — см. указ. сочинение, «Живое о Живом».

[187]) А. А. читала книгу: Ф. М. Достоевский. Письма в четырех томах, т. 4, М., Гослитиздат, 1959. Речь идет о письме к жене от 8 июня 1880 г.

[188]) *...этот излюбленный мною жанр.* — Фрида Абрамовна Вигдорова (о ней см. примеч. [271])) по поручению редакции «Комсомольской правды» съездила в село Ивановку, Тамбовской области, к старикам колхозникам Марфе Андреевне и Александру Васильевичу Голышкиным. Сын их, моряк Петр Голышкин, обратился в газету с жалобой на некоего Утешева, председателя колхоза, который отказывал больным старикам в соломе для починки крыши. «Настанет весна, оттепель, снег будет таять — объяснял в своем письме Петр Голышкин — и в избе вода. А как это для больного человека? Да и для здорового нехорошо».

Фрида Абрамовна поехала в село Ивановку, чтобы добиться для стариков соломы. В избе «пол земляной, дыра в крыше заткнута тряпьем»... Председатель колхоза Утешев встретил ее просьбу с презрительным недоумением: «И вы из-за этого сюда приехали? Я думал, вы из-за чего... А вы из-за соломы... Эх, товарищ, товарищ!»

Первый секретарь райкома комсомола тоже удивился: «Нам о поголовье скота думать, а вы о дырявой крыше беспокоитесь».

Соломы для Голышкиных Фрида Абрамовна все же добилась и, кроме того, записала со свойственным ей мастерством монолог, которым приветствовал ее выпивший на радостях Александр Васильевич:

«— Я советский человек, и ты меня не прижимай. Я так Утешеву и сказал! А он живет за счет народного достояния. Его поведения несознательная, не советская!

Соломы, если хочешь знать, у нас уйма... Рожь уродилась хорошая, и соломы много. Он, если хочешь знать, соломы пожег на пятьдесят крыш — из одной самодури пожег — вот он какой! Сын пишет — сходи, папа, к Соколинскому, а зачем я пойду, когда у них с Утешевым одна согласия. Утешев — он коварный. Он коварничает. Как тебя зовут? Запомню! Ничего не трудно! Запомню! Фрид Абрамовна! Милок! Дочка моя ненаглядная! Думаешь, солома мне нужна? Абрамовна, вот те крест, плевал я на солому, пускай Утешев ею подавится! Пускай опутает ею жану свою! А мне важна любовь! Милок мой, гостья дорогая! Мне человек важен! Что ты приехала, это я век не забуду и плевал я на солому! Эй, Марфа, старуха, куда стаканы убираешь? Я еще пить хочу.

Абрамовна! Милок! Я в Германии был! Я в Венгрии был! Во всех странах был! И мне все люди равны! Всех люблю! А ты, Абрамовна, кто? Правильно! Есть плохие, а есть хорошие, вот и вся деления! И другой разделении не признаю!

Марфа, дура, зачем водку убрала! Я еще пить буду! Абрамовна! Дочка моя золотая! Милок! Я в Германии был, в Будапеште был, в семи странах побывал! А Петя — мой сын — воспитанный, ну невозможно, ну сильно воспитанный, ну, нет сил, какой воспитанный! Эй, старуха, куда водку уносишь? Кто в доме голова — я или ты? Как ты смеешь меня обманывать и водку тайно уносить?

Абрамовна, милок мой, а на войне я — веришь ли — никого не убил! Вот крест! Никого не убил!

Дочка моя золотая, что я тебе скажу! Дети мои заняли все центральные города — дочь в Москве, сын в Казани, другая дочь в Липецке, другой сын в Ухте, ну, а Петя сын — моряк! Собой видный — моряк! Ну, такое дите — таких нету больше! Говорит — отслужу, жанюсь. А на ком ему жаниться? Если ему в пару себе, такую же невозможно-хорошую, то им только и останется не по земле ходить, а на аэроплане летать.

Милок, дочка золотая, я воевал, в семи странах был, но убивать — никого не убивал. Зачем мне людей убивать? Было дело, мне в Германии один сказал: смотри, домишко какой аккуратный, а живет в нем один дед. Давай этого деда убьем и домишко очистим. Я ему: разве так ученые люди поступают? Как так — взять, да убить? Нет, я не убивал! В Германии был — не убивал! В Будапеште был — не убивал! В семи странах был — не убил!»

8 июня

189) Ариадна Сергеевна Эфрон (1912-1975) — та самая «Аля», о которой так много рассказано в статьях, воспоминаниях и письмах Марины Цветаевой. «Аля» — дочь Марины Ивановны и Сергея Яковлевича Эфрона. Детство ее прошло в России; отрочество и юность за границей; она — автор мемуаров о своих родителях (см. «Страницы воспоминаний» — «Звезда», 1973, № 3 и 1975, № 6). Ею опубликованы в журналах многие произведения Марины Цветаевой, ею же (совместно с А. Саакянц) подготовлен к печати цветаевский том Большой Серии Библиотеки Поэта (1965). Ариадна Эфрон — переводчица; она переводила Бодлера, Теофиля Готье, Верлена, Лопе де Вега, Тирсо де Молина, Мольера, Скаррона.

Ариадна Сергеевна Эфрон вернулась из-за границы в Советский Союз в 1937 году; отца ее расстреляли, она же была отправлена в лагерь, а из лагеря в ссылку. Освобожденная в 1948 году — она в 1949-ом, в момент «повторничества», была арестована снова и снова сослана. Вернувшись из ссылки в 1955 г., Ариадна Эфрон в 1962 вступила в Союз Писателей.

190) Я прочла вслух пародию З. Паперного «Старик и Морев» — пародию на безграмотный и холуйский роман Ф. Панферова «Волга-матушка река». В сокращенном (и смягченном) виде пародия была опубликована 13 февраля 1960 года в «Литературной газете», я же располагала полным вариантом, который ходил по рукам. (Паперный, в частности, обыгрывает заглавие хемингуэевской повести «Старик и море» и фамилию главного панферовского героя, секретаря обкома — Морева).

191) Семен Израилевич Липкин (р. 1911) — поэт и переводчик. Сборники стихотворений Липкина начали выходить уже после кончины Анны Ахматовой («Очевидец» — 1967 и 1974; «Вечный день» — 1975; «Тетрадь Бытия» — 1977), но Анне Андреевне хорошо известны были стихотворения Липкина еще до их напечатания. Характерна надпись, сделанная Анной Андреевной на одной из ее книг: «С. Липкину, чьи стихи я всегда слышу, а один раз плакала. Ахматова. 6 июля. 1961. Ордынка».

Плакала А. А., слушая поэму Липкина «Техник-интендант», написанную в 1960 г. и не напечатанную до сих пор.

А. А. называла имя Липкина среди наиболее значительных наших поэтов каждый раз, когда речь заходила о советской русской поэзии. Она назвала его в разговоре со мной 28 сентября 1962 года и, за год до смерти, в 1965 году — в интервью о поэзии, данном ею сотруднику «Вопросов литературы». (См. примеч. 274).)

Называла Ахматова имя Липкина и среди искуснейших наших поэтов-переводчиков. С. И. Липкин десятилетиями занимался переложением эпоса: переложил индусский эпос — «Махабхарата», калмыцкий — «Джангар», киргизский — «Манас»; переводил Фирдоуси, Джами, Навои.

Знакомились Семен Израилевич и А. А. дважды: впервые, в 1943 г., в Ташкенте, куда Липкин приехал на 5 дней после Сталинградской победы для свидания с родными. Там А. А. расспрашивала молодого офицера не о литературе — о фронте. Вторично Липкин был представлен Ахматовой в Москве, в 1949 году, в доме у М. С. Петровых — и на этот раз как поэт. С этого времени Ахматова и заинтересовалась стихами, переводами и литературной судьбой Липкина. Он стал постоянным слушателем ее стихов.

Та «грубая» статья, о которой зашла речь за чайным столом у Ардовых — это анонимный фельетон, появившийся 3 июня 59 г. в газете «Известия» под презрительным заглавием «Альбомные стихи». Выдержан он был в похабно-издевательском тоне. (Редакции газет, журналов и издательств долгие годы желали считать С. Липкина переводчиком — и только. Такова судьба многих из наиболее самобытных наших поэтов). Примеч. 1978 г.

15 июня

192) «Кома» — Вячеслав Всеволодович Иванов (р. 1929) — многосторонний ученый, работающий в разных областях знания: литературовед, языковед, переводчик и киновед. Основные научные труды Вяч. Вс. Иванова посвящены сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков; клинописи хеттского языка; африканским языкам; енисейским языкам; теории письменности; а также славянской мифологии, общей семиотике, математической поэтике и математической лингвистике.

С Анной Андреевной Вячеслав Всеволодович познакомился еще мальчиком, в Ташкенте, в 1942 году; взрослым же стал бывать у нее, начиная с 1955 года.

Вяч. Вс. Иванов — автор воспоминаний о Б. Пастернаке, об Анне Ахматовой, о Зощенко и Корнее Чуковском.

12 сентября

193) По-видимому, А. А. имела в виду статью К. Чуковского о Бальмонте, а также следующие строки из Предисловия к книге «От Чехова до наших дней»:

«Период, о котором я говорю в этой книжке, характеризуется, раньше всего, тем, что впервые отдал всю русскую литературу во власть

города... все это создано в городе, городом и для города, и я нарочно взял наименее городского поэта, Бальмонта, чтобы обнаружить, что и он, романтик старинного закала, почти всецело сложился под давлением вывесок, газет и тротуаров». (К. Чуковский. «От Чехова до наших дней», издание 2-ое, дополненное. Т-во Издательское Бюро. СПб, 1908, стр. 8).

Той мысли, что в поэзию вошел город, целиком посвящена и более ранняя статья Корнея Чуковского. См. «О современной русской поэзии» — «Ежемесячные литературные и популярно-научные Приложения к журналу «Нива» на 1907 г. за Январь, Февраль, Март и Апрель». СПб, Издание А. Ф. Маркса, стр. 391.

21 сентября

194) Статья Марины Цветаевой «Эпос и лирика современной России» имела подзаголовок: «Владимир Маяковский и Борис Пастернак». Опубликованная впервые в Париже в 1932-33 году (в журнале «Новый град», №№ 6, 7) статья эта широко распространилась в Москве в машинописных копиях лишь в пятидесятые годы; опубликована же была в Советском Союзе впервые в 1967-м (см. журнал «Литературная Грузия», № 9).

О той же статье см. стр. 410.

23 декабря

195) *...обращено к тому высокому поляку.* — «Высокий поляк» — Иосиф Чапский (р. 1896) — живописец, литератор, публицист. Годы 1939-1941 Чапский провел в советских лагерях. Когда же немцы вторглись в СССР и Сталин решил создать союзную польскую армию, Чапский, как и другие офицеры-поляки, был внезапно освобожден. Встретился он с Анной Андреевной в Ташкенте, в 1942 году — о чем см. мои «Записки», т. 3.

С 1945 г. Чапский поселился в Париже и в 1947-ом опубликовал книгу о Советском Союзе, переведенную на многие языки мира — «На бесчеловечной земле». С 1948 года он стал членом редколлегии и постоянным сотрудником польского журнала «Культура», где и продолжает работать до сих пор. Как художник, Иосиф Чапский считает себя последователем французских постимпрессионистов.

1960

11 марта

196) Тамара Григорьевна Габбе скончалась от рака 2 марта 1960 года. Она умирала дома. Сменяя других, я часто дежурила возле ее постели. Была я и при ее последнем вздохе — вместе с А. И. Любарской (приехавшей из Ленинграда) и С. Я. Маршаком.

27 марта

197) Строки из стихотворения «По широким мостам» — см.: Георгий Адамович. Чистилище. Стихи. Книга вторая. Петербург, 1922, стр. 11.

3 мая

198) Привожу наиболее возвышенные строфы, относящиеся к Сталину, из поэмы Твардовского «За далью — даль». (См.: «Правда», 29 апреля 1960 г., глава «Так это было»).

...Когда кремлевскими стенами
Живой от жизни огражден,
Как грозный дух он был над нами, —
Иных не знали мы имен.
. . . .
Так на земле он жил и правил,
Держа бразды крутой рукой.
И кто при нем его не славил,
Не возносил — найдись такой!
. . . .
То был отец, чье только слово,
Чьей только брови малый знак —
Закон. Исполни долг суровый —
И что не так,
Скажи, что так...
. . . .
Ему, кто вел нас в бой и ведал,
Какими быть грядущим дням,
Мы все обязаны победой,
Как ею он обязан нам...
. . . .
Безмолвным строем в день утраты
Вступали мы в Колонный зал,
Тот самый зал, где он когда-то
У гроба Ленина стоял.
. . . .
В минуты памятные эти —
На тризне грозного отца —
Мы стали полностью в ответе
За все на свете —
До конца.

7 мая

199) Верстка моей книги «В лаборатории редактора». М., «Искусство», 1960. Я предпочитаю второе издание, вышедшее в 1963 году: оно в меньшей степени искажено цензурой.

200) Евгения Михайловна Берковская (1900-1966) — приятельница Анны Андреевны, интеллигентная одинокая женщина с неудавшейся

профессиональной и личной судьбой. Смолоду Е. Берковская, одаренная музыкальным слухом и голосом, пыталась стать певицей; после неудачи — сделалась машинисткой, зарабатывала себе на жизнь вязанием шерстяных шапок и кофточек. Одно время служила в водном бассейне. К нужде присоединилось жилищное неустройство: после войны Е. Берковская потеряла комнату и скиталась по чужим углам.

201) *Бранит отрывок из романа Хемингуэя... злая пародия на «Прощай, оружие!»* — А. А. имеет в виду отрывок из романа Эрнеста Хемингуэя «За рекой, в тени деревьев» — отрывок, напечатанный 7 мая 1960 г. в «Литературной газете» под названием «Расскажи мне что-нибудь о войне».

...«— Есть один отличный бифштекс, — сообщил возвратившийся Gran Maestro.

— Возьми его, дочка... Хочешь с кровью?

— Да, пожалуйста, с кровью.

. . . .

— А тебе много пришлось воевать?.. Ты расскажешь?

— Достаточно.

— А сколько ты убил?

— 122 верных. Не считая сомнительных.

— И совесть тебя не мучит?

— Никогда.»

11 мая

202) Валентин Фердинандович Асмус (1894-1975) — один из преданнейших друзей Пастернака и один из образованнейших людей нашего времени. Он был историком философии (преимущественно античной и германской); а также знатоком русской литературы, автором исследовательских работ о Пушкине, Грибоедове, Лермонтове, Толстом.

Знаменитое стихотворение «Лето» (1930), воспевающее дружбу («за дружбу — спасенье мое!») в журнальной публикации посвящено первой жене Асмуса Ирине Сергеевне. «Четыре семейства», вместе прожившие лето в Ирпени, это семьи Б. Л. и А. Л. Пастернаков, Нейгауза и Асмуса; это друзья

...для которых малы
Мои похвалы и мои восхваленья,
Мои славословья, мои похвалы.

Во время последней — смертельной — болезни Пастернака, Асмус жил у себя на даче в Переделкине, но столовался не дома, а в переделкинском Доме Творчества. Все, кто не хотел докучать расспросами родным больного, подстерегали на переделкинских дорожках Асмуса, зная, что Валентин Фердинандович может сообщить последний бюллетень.

14 мая

203) Анна Михайловна Зельманова-Чудовская (?) — художница, чьи работы (пейзажи и портреты) появлялись в десятые годы на выставках «Мира Искусства» и «Союза молодежи». Портрет Ахматовой (масло)

был исполнен Зельмановой в 1913-14 г. г. Где он теперь — я не знаю; фотография же хранится в коллекции ленинградского искусствоведа Вс. Н. Петрова.

16 мая

204) *...о войне и выступлении Хрущева в Париже.* — 17 мая 60 года «Правда» опубликовала заявление Хрущева, сделанное им в Париже, с требованием отмены намечавшегося между великими державами совещания в верхах. Заявление Хрущева вызвано было тем, что утром 1 мая американский самолет, поднявшийся с американской базы в Пакистане, нарушил советскую границу и продолжал полет вглубь страны, пока его не сбили. Было ли это в действительности так или как-нибудь иначе, мне, разумеется, неизвестно. Хрущев требовал, чтобы правительства великих держав — и в первую очередь, правительство США, осудили «провокационные действия военно-воздушных сил США в отношении Советского Союза».

Всю предыдущую неделю в советских газетах появлялись угрозы «ударить по базам тех стран, откуда осуществляются полеты».

22 мая

205) Борис Евгеньевич Вотчал (1895-1971) — знаменитый кардиолог, терапевт. Вотчал обладал огромным опытом военного врача: во время войны он был главным терапевтом армии, а затем фронта. После войны Борис Евгеньевич приобрел широкую известность в кругах официальных, а также литературных и артистических. (В частности, лечил Пастернака). С 1969 г. Б. Е. Вотчал — действительный член Академии Медицинских Наук СССР.

29 мая

206) В 1960 году в Большой Серии Библиотеки Поэта вышли из печати «Стихотворения» Саши Черного (Л., «Советский писатель». Вступительная статья и общая редакция Корнея Чуковского). В 1954-м, 55-м и 59-м годах, после чуть ли не тридцатилетнего перерыва, появились в переводе К. Чуковского «Короли и капуста» — см. О. Генри, Избранное, М., Гослитиздат.

1 июня

207) Несмотря на то, что сестра Бориса Леонидовича, Лидия Леонидовна Пастернак-Слейтер, узнав о его тяжелой болезни, настойчиво добивалась разрешения приехать в Советский Союз — визы ей не выдавали вплоть до известия о смерти Пастернака. Она прибыла в Москву уже после похорон.

6 июня

208) Думаю, что это была не Елена Ефимовна Тагер (москвичка, искусствовед), а Тагер Елена Михайловна (1895-1964) — ленинградская писательница, давняя знакомая Анны Андреевны, многие годы про-

бывшая в лагере. Но у меня в тексте инициалов нет, и идет ли речь об Е. Е. или об Е. М. — с уверенностью утверждать не могу.

В 1929 году в «Издательстве писателей в Ленинграде» вышла книга рассказов Е. Тагер «Зимний берег» (переизданная вторично после реабилитации автора — через 28 лет). Когда же Е. М. Тагер скончалась, в книжке IV альманаха «Воздушные пути», заграницей, появились ее воспоминания о Мандельштаме, а в книжках IV и V лагерные стихи.

209) *...ему (Пастернаку) будет очень много написано стихов. Ему и о его похоронах.* — Привожу стихотворение Владимира Корнилова, посвященное похоронам Пастернака. Оно было напечатано дважды (впервые см. «Новый мир», 1964, № 12, а вторично в сб. «Возраст», М., «Советский писатель», 1967) — но оба раза без посвящения.

Похороны

Мы хоронили старика.
А было все не просто.
Была дорога далека
От дома до погоста.

Наехал из Москвы народ,
В поселке стало тесно,
А впереди сосновый гроб
Желтел на полотенцах.

Там, в подмосковной вышине,
Над скопищем народа,
Покачиваясь, как в челне,
Открыт для небосвода,

В простом гробу,
В цветах по грудь,
Без знамени, без меди
Плыл человек в последний путь,
В соседнее бессмертье.

И я, тот погребальный холст
Перехватив, как перевязь,
Щекою мокрою прирос
К неструганному дереву.

И падал полуденный зной.
И день склонялся низко
Перед высокой простотой
Тех похорон российских.

19 или 20 июня

210) Александр Юльевич Кривицкий (р. 1911) — журналист; основная профессия — руководящий член редколлегий газет и журналов. Во время войны А. Кривицкий — специальный корреспондент и член секретариата газеты «Красная Звезда»; после войны — два раза (с 1946 по 1950 и с 1954 по 1958 г.) заместитель главного редактора (К. Симонова) в журнале «Новый мир». В промежутке, с 1950 по 1954 год, когда К. Симонов из «Нового мира» был переведен в «Литературную газету», А. Кривицкий шагнул вслед за ним в редколлегию газеты, где заведовал отделом международной жизни. С 1959 (или 60?) года перешел под знамена В. Кожевникова, то есть в журнал «Знамя»: там он — член редколлегии, одно время — заведующий отделом публицистики.

211) Когда «Март» печатался в «Знамени» (1954, № 4), редакция этого журнала тоже испугалась последних четырех строк, и Борис Леонидович вынужден был заменить их другими:

Перед приоткрытою конюшней
Голуби в снегу клюют овес,
И, приволья вешнего воздушней,
Пахнет далью мартовской навоз.

В ББП-П текст полностью восстановлен.

25 июня

212) Д. Самойлов. Ближние страны. М., «Советский писатель», 1958 стр. 86.

213) Хлопоча, в 1935 году, об освобождении сына и Николая Николаевича Пунина, — А. А. останавливалась в Москве у Пастернаков: Волхонка 14, кв. 9. Сын Бориса Леонидовича, Евгений Борисович, рассказывает, что именно к ним позвонил Поскребышев со счастливым известием.

214) Константин Васильевич Воронков (р. 1911) — орг. секретарь Союза Писателей; в настоящее время — зам. министра культуры СССР. Примеч. 1976 г.

215) История эта рассказана мною не с полною точностью. Уточняю. В октябре 1958 года, когда разыгрались пастернаковские события, Шкловский и Сельвинский отдыхали в Ялте. Узнав, что Пастернак получил Нобелевскую премию по литературе, Сельвинский послал новому лауреату поздравительную телеграму. Затем, когда 25 октября в «Литературной газете» появилась статья под угрожающим названием «Провокационная вылазка международной реакции» (подобные же сочинения появились и в других газетах), писатели, отдыхавшие в то время в Ялте — Сельвинский, Шкловский, а с ними Б. С. Евгеньев (заместитель главного редактора в журнале «Москва») и Б. А. Дьяков (заведующий отделом художественной литературы в издательстве «Советская Россия») отправились в редакцию ялтинской газеты, чтобы присоединиться к общему возмущению. В пятницу 31 октября 1958 г. в местной «Курортной газете», под мирным заголовком «На литературном четверге» с подголовком «Встреча с писателями» были напечатаны фотографии четверых литераторов, участников беседы, и их вы-

сказывания. Каждый говорил о своем: Сельвинский о трагедии в стихах «Смерть Ленина», которую он только что окончил; Б. Дьяков — о новосозданной газете; Б. Евгеньев — о недавно созданном журнале; Шкловский — об оконченной им книге по теории прозы и о том, как Алексей Максимович Горький учил писателей работать с молодыми. Но о чем бы кто ни говорил, все кончали одинаково: возмущались Пастернаком.

«Выступившие литераторы — сообщала своим читателям «Курортная газета» — присоединились ко всей советской писательской общественности и разделили ее гневное возмущение предательским поведением Б. Пастернака, опубликовавшего в буржуазных странах свое художественно-убогое, злобное, исполненное ненависти к социализму антисоветское произведение «Доктор Живаго».

— Пастернак всегда одним глазом смотрел на Запад, — сказал И. Л. Сельвинский, — был далек от коллектива советских писателей и совершил подлое предательство.

— Пастернак выслушивал критику своего «Доктора Живаго», говорил, что она похожа на правду, и тут же отвергал ее, — сказал В. Б. Шкловский. — Книга его не только антисоветская, она выдает также полную неосведомленность автора в существе советской жизни, в том, куда идет развитие нашего государства. Отрыв от писательского коллектива, от советского народа привел Пастернака в лагерь оголтелой империалистической реакции, на подачки которой он польстился.

216) Николай Корнеевич с детства любил и понимал поэзию — классическую и современную русскую и классическую английскую. Многие его переводы исполнены с увлечением и мастерством. Пастернака, Мандельштама, Ахматову, Заболоцкого он любил и знал наизусть. Собственную свою литературную жизнь Н. Чуковский начал как поэт: в Студии Дома Искусств был учеником Гумилева, затем вошел в кружок молодых поэтов «Звучащая раковина», а в 1928 г. опубликовал книгу стихов «Сквозь дикий рай» (Л., «Издательство писателей»). В юности Н. К. был знаком с Мандельштамом и впоследствии написал о нем воспоминания (см. журнал «Москва», 1964, № 8). Нередко встречался с Пастернаком и переписывался с ним.

Общую характеристику Николая Корнеевича Чуковского (1904-1965) — прозаика, автора романов, повестей и рассказов — препоручаю Краткой Литературной Экциклопедии (см. т. 8).

217) Татьяна Семеновна Айзенман (р. 1914) — искусствовед, автор нескольких работ о современных советских художниках (например, о Борисе Ефимове, о Леониде Сойфертисе) и о русском народном искусстве (плетение кружев, резьба по дереву и пр.). Мать Татьяны Семеновны — художница, ученица Л. О. Пастернака. Французская Библия — семейная реликвия в доме Айзенман потому, что дед Татьяны Семеновны, Александр Вениаминович Бари (1847-1913), инженер по металлоконструкциям, знаменитый строитель одного из павильонов на всемирной выставке в 1878 г. в Филадельфии — родом был из Швейцарии.

2 июля

218) Сейчас я не могу припомнить с точностью, какую именно фо-

тографию Мандельштама показала мне в тот день А. А. Думаю, ту, где молодой и кудрявый Осип Эмильевич сфотографирован в 1914 г. вместе с Ю. Анненковым, Б. Лившицем и К. Чуковским. В советском издании ББП-М она не появилась. Если мое предположение правильно — то именно эта фотография (помеченная: «из личного архива Ю. П. Анненкова») опубликована в зарубежном издании: Осип Мандельштам. Собр. соч., т. 2, 1966, между стр. 176 и 177.

219) *...привезли Сосинские.* — Владимир Брониславович и Ариадна Викторовна, вернувшиеся из-за границы в Советский Союз в 1960 г. В. Б. Сосинский (р. 1900) -- русский литератор, эмигрант, долгое время жил во Франции, был знаком с Мариной Цветаевой и переписывался с ней (см. ее письма к нему в сб. Марина Цветаева. Неизданные письма. Paris, YMCA-Press, 1972). Во время фашистской оккупации Владимир Брониславович участвовал во французском сопротивлении; в 1939 году принял советское гражданство; в 1947 сделался работником советского представительства при Организации Объединенных Наций и переехал в Америку. Ныне живет в Москве.

220) *«...он ведь знал те стихи».* — Стихи о Сталине. Написаны они были в конце 1933 года и из-за них Мандельштам в 1934 г. впервые был отправлен в ссылку (в Чердынь). Привожу эти стихи в том виде, в каком знала их наизусть еще до опубликования, т. е. цитирую не по автографу, не по Собранию Сочинений, а по памяти.

Мы живем под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на полразговорца —
Там припомнят кремлевского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,

Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей, —

Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет...
Он один и бабачит и тычет.

Как подковы кует за указом указ —
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.

Что ни казнь у него — то малина!
И широкая грудь осетина.

221) Лев Петрович Русланов (1896-1937) — актер театра Вахтангова, исполнитель ролей в пьесах Горького и Метерлинка; одно время — заведующий литературной частью театра.

Благодаря Русланову Ахматовой удалось встретиться с Енукидзе потому, что Русланов был лично знаком с его секретарем.

23 сентября

222) *...пошлет письмо с отъезжающим... в Ленинград Володей Адмони.* — Для меня Владимир Григорьевич Адмони — доктор наук, профессор — попросту «Володя» потому, что в отроческие годы мы учились в одной и той же школе: в бывшем Тенишевском училище в Петрограде.

Владимир Григорьевич Адмони (р. 1909) и жена его, Тамара Исааковна Сильман (1909-1974) — друзья Ахматовой и Петровых; оба они литературоведы и филологи, профессора ленинградских ВУЗов; оба — специалисты по теории немецкой грамматики и стилистики. Кроме того, оба переводчики и теоретики перевода. Т. Сильман переводила Рильке, Гейне, Мейера, Н. Грига; посмертно (в 1977) был опубликован сборник ее статей «Заметки о лирике». Совместно Адмони и Сильман написали книгу «Томас Манн. Очерк творчества» (Л., 1960). Такие книги В. Адмони, как «Строй современного немецкого языка» (Л., 1960, 1966, 1972) или «Основы теории грамматики» (Л., 1964), книга Т. Сильман «Проблемы синтаксической стилистики» (1976) вышли не только в СССР, но и по-немецки в ФРГ.

С Ахматовой В. Г. Адмони познакомился в конце тридцатых годов в Пушкинском Доме, но поначалу встречались они не часто; подружились прочнее в эвакуации, в Ташкенте, где Владимир Григорьевич стал бывать у нее вместе с Тамарой Исааковной. С тех пор Адмони и Сильман — постоянные посетители Анны Андреевны, слушатели ее новых стихов и переводов. Они навещали Ахматову и в Комарове и в больнице; не раз, когда оказывалось, что жить ей негде — она поселялась у них. (Об этом см. стр. 387 и 401.

Владимир Григорьевич с юности писал стихи. Ахматова отзывалась о поэзии Адмони с интересом и одобрением.

30 сентября

223) Ника Николаевна Глен (р. 1928) — переводчица, сотрудница одной из редакций издательства «Художественная литература» (специалистка по Болгарии). Ника Глен — близкий друг Анны Ахматовой; они познакомились и подружились в 1956 г.; с 1958-го по начало 1963-го Ника Николаевна Глен была литературным секретарем Анны Андреевны. С конца 1962 по начало 1963 А. А. гостила у нее в Москве (Садово-Каретная, 8, кв. 13), а летом и осенью 1962 г. Ника дежурила возле Анны Андреевны в Комарове, в Будке.

8 октября

224) Илья Эренбург. «Люди, годы, жизнь». — См. «Новый мир», 1960, №№ 8, 9, 10.

23 октября

225) *Там 90 стихотворений, из которых 85 я признаю.* — Предполагаю, что в «красненькой книжке» («Стихотворения», 1958) не признавала А. А. следующие, не любимые ею, стихи: «Прошло пять лет, —

и залечила раны», «Песня мира», «Говорят дети», «В пионерлагере», «Приморский парк победы». Впрочем, впоследствии два из них она все-таки включила в «Бег времени».

226) Арсений Александрович Тарковский (р. 1907) — поэт, переводчик, теоретик перевода, критик. Первый сборник стихотворений Арсения Тарковского «Перед снегом» вышел лишь в 1962 г., хотя изредка Тарковский печатался с конца двадцатых годов. Три десятилетия выходили в свет преимущественно его переводы. Но за первым оригинальным сборником 62 года последовали новые — «Земле — земное» (М., 1966), «Вестник» (М., 1969), «Стихотворения» (М., 1974) и «Волшебные горы» (Тбилиси, 1978).

А. А. всегда отзывалась о Тарковском, как об одном из сильнейших русских поэтов нашего времени. (См., например, стр. 441). А вот отрывок из ее рецензии: «Сборник стихов Арсения Тарковского «Перед снегом» — писала Ахматова — неожиданный и драгоценный подарок современному читателю <...> Самое поразительное то, что слова, которые мы как будто произносим каждую минуту, делаются неузнаваемыми, облеченными в тайну и рождают неожиданный отзвук в сердце. <...> Этот новый голос в русской поэзии будет звучать долго». (См. публикацию Н. Глен в «Дне поэзии 1976», М., «Советский писатель»).

Ценила А. А. и переводы Тарковского. Переводил он грузинских поэтов (Важа Пшавела, Симона Чиковани); туркменских (Махтумкули, Кемине, Молланепеса); армянских (Шираза и Чаренца) и мн. др. В 1967 г. 22 ноября в «Литературной газете опубликована статья Тарковского «Искусство перевода», а еще при жизни Ахматовой им написана статья о ее поэзии и о ее переводах. (См. сб. «Голоса поэтов», М., 1965).

Познакомились А. А. и Арсений Александрович незадолго до войны, в Москве, у Г. А. Шенгели.

В последних двух сборниках Тарковского «Стихотворения» и «Волшебные горы» опубликованы стихи памяти Анны Ахматовой: «Стелил я снежную постель», «Когда у Николы Морского», «Домой, домой, домой», «По льду, по снегу, по жасмину», «И эту тень я проводил в дорогу».

О Тарковском см. также «Записки», т. 3.

227) *...понял, что и простыми средствами можно добиваться того же.* — В доказательство своей мысли А. А. цитирует два стихотворения Мандельштама: одно «На каменных отрогах Пиэрии» со строкою «Простоволосая шумит трава» (ББП-М, стр. 112) — написанное в 1919 году; второе «Как по улицам Киева-Вия» со строкой «И на щеки ее восковые» (ББП-М., стр. 200) — написанное в 1937-м. «Вот и у Тарковского — «белые руки», как сильно». Говоря это, А. А. имеет в виду стихотворение Тарковского «Песня». Привожу его целиком:

Песня

Давно мои ранние годы прошли
По самому краю,
По самому краю родимой земли,
По скошенной мяте, по синему раю,
И я этот рай навсегда потеряю.

Колышется ива на том берегу,
Как белые руки.
Пройти до конца по мосту не могу,
Но лучшего имени влажные звуки
На память я взял при последней разлуке.

Стоит у излуки
И моет в воде свои белые руки,
А я перед ней в неоплатном долгу.
Сказал бы я, кто на поемном лугу
На том берегу
За ивой стоит, как русалка над речкой,
И с пальца на палец бросает колечко.

(Сб. «Земле — земное», стр. 38).

29 октября

228) Статья Крона, понравившаяся не только мне, но и Анне Андреевне, была напечатана во втором сборнике альманаха «Литературная Москва» (М., 1956). Называлась она так: «Заметки писателя».

С Александром Александровичем Кроном А. А. познакомилась в 1944 году вскоре после своего возвращения из эвакуации в Ленинград. Драматург и прозаик Александр Крон (р. 1909) — во время войны — морской офицер, участник обороны Ленинграда. Познакомила Ахматову и Крона Ольга Федоровна Берггольц.

О жизненном и литературном пути А. А. Крона см. КЛЭ, т. 3.

229) Лидия Чуковская. Рабочий разговор — см. «Литературная Москва», сборник второй. М., 1956, стр. 752.

19 ноября

230) Леонид Ильич Борисов (1897-1972) — писатель; первый его роман — «Ход конем» (1927), как сообщается в КЛЭ, посвящен «судьбе интеллигента, не сумевшего найти место в советской действительности». Судьбы людей искусства — постоянная тема романов, рассказов и повестей Леонида Борисова: им написаны рассказы о Гоголе, Некрасове, Тютчеве, Мопассане; романы о Жюле Верне и Стивенсоне; повести о Римском-Корсакове и Грине.

Грубое письмо к Анне Андреевне вызвано, по-видимому, некоторой истеричностью Л. И. Борисова, о которой свидетельствуют многие из его знакомых.

3 декабря

231) Ettore Lo Gatto (р. 1890) — итальянский славист, историк русской литературы, — в частности, автор нескольких работ об Анне Ахматовой. Последняя из мне известных помечена 1965 годом.

6 декабря

232) «Тэдди» (Теодор Соломонович) Гриц (1905-1959) — друг Н. И.

Харджиева, прозаик и литературовед. В 1940 г. в Гослитиздате вышел в свет том «Неизданных произведений» В. Хлебникова; прозу подготовил к печати Т. Гриц, поэзию — Н. Харджиев.

1961

13 января

[233]) Рассказ Анны Андреевны об успехе ее выступлений в 1924 г. в Москве интересно сопоставить, во-первых, с ее письмом, напечатанным в сб. «Памяти Анны Ахматовой» (стр. 38), а, во-вторых, с неопубликованной записью К. Чуковского, сделанной 17 апреля 1924 года.

«Москва. Сегодня приехал. Лежу в постели в гостинице «Эрмитаж» — через полчаса надо идти выступать в «Литературном Сегодня», которое устраивает журнал «Рус[ский] Современник». <...> Москва взбудоражена — кажется, мы черезчур разрекламированы. В «Эрмитаже» остановились также Замятин и Ахматова. Ахматову видел мельком, она говорит: не могу по улице пройти — такой ужас мои афиши. И действительно по всему городу расклеены афиши: «прибывшая из Ленинграда только на единственный раз». Сейчас я зайду за нею и повезу ее в Консерваторию. Она одевается. Эфрос очень недоволен сложившейся обстановкой: говорит, слишком много шуму вокруг «Современника». Особенно худо, если увидят в нашем выступлении контрреволюцию. Это будет гнуснейшая подтасовка фактов. Перед тем, как журнал начался, Тихонов при Магараме спросил всех нас: «Я спрошу вас без обиняков, намерены ли вы хоть тайно, хоть отчасти, хоть экивоками нападать на советскую власть. Тогда невозможно и журнал затевать. Все мы ответили: *нет*».

(«Русский Современник», литературно-художественный журнал, издававшийся Магарамом в Ленинграде «при ближайшем участии М. Горького, Евг. Замятина, А. Н. Тихонова, К. Чуковского, Абр. Эфроса», был закрыт на четвертом номере. Журнал успел опубликовать, кроме работ его основателей, стихи Анны Ахматовой, А. Блока, М. Цветаевой, В. Хлебникова, Н. Клюева, В. Ходасевича, стихи и прозу Б. Пастернака, прозу Бориса Пильняка, Леонида Добычина; историко-литературные и критические статьи Ю. Тынянова, Г. Винокура, Б. Эйхенбаума, В. Шкловского и др.).

15 января

[234]) Сергей Александрович Бондарин (1903-1978) и Дмитрий Миронович Стонов (1892-1962) — писатели, авторы повестей и рассказов. Оба они были арестованы (Бондарин, офицер Черноморского флота, в Севастополе, в 1944 году; Стонов, после войны, в 49-ом) и оба до 1954 г. пробыли в северных лагерях.

21 января

[235]) Мысль о победе поэзии, о той победе, которую одержала Ахма-

това, с полнотою и точностью выражена в записи К. Чуковского, сделанной им 24 ноября 62 года:

«Сталинская полицейщина разбилась об Ахматову. Обывателю это, пожалуй, покажется чуднó — десятки тысяч опричников, вооруженных всевозможными орудиями пытки <...> напали на беззащитную женщину и она оказалась сильнее. Она победила их всех. Но для нас в этом нет ничего удивительного. Мы знаем: так бывает всегда. Слово поэта всегда сильнее всех полицейских насильников. Его не спрячешь, не растопчешь, не убьешь».

28 января

[236]) Впоследствии напечатана в журнале «Знамя», 1961, №№ 5-6.

21 июня

[237]) См.: Юрий Анненков. Портреты. Петербург, «Petropolis», 1922.

[238]) «Чукоккала» — рукописный альманах Корнея Чуковского. Портрет Ольги Афанасьевны Глебовой-Судейкиной и записи Блока, которые 21 июня 1961 года показывал в Переделкине Анне Андреевне Корней Иванович — напечатаны ныне в факсимильном издании «Чукоккалы» (М., «Искусство», 1979).

В двадцатые годы Ахматова сама принимала участие в этом рукописном альманахе. Некоторые из ее записей воспроизведены в издании 79 года (см. стр. 272 и 312), а единственное стихотворение, когда-то вписанное ею в альманах, осталось невоспроизведенным. Воспроизводим автограф. Он вписан был в «Чукоккалу» 11 января 1920 г. Стихотворение «Чем хуже этот век предшествующих, разве» — см. впервые в журнале «Дом Искусств», 1921, № 1; а также в ББП на стр. 143 и в моих «Записках», т. 1, № 5.

[239]) Клара Израилевна Лозовская (р. 1924) — секретарь Корнея Ивановича (начиная с 1953 г. и до конца его жизни). Впоследствии автор «Записок секретаря» — см. сб. «Воспоминания о Корнее Чуковском». М., «Советский писатель», 1977, стр. 214.

[240]) В № 6 «Нового мира» за 1961 год были напечатаны три стихотворения Д. Самойлова: «Сороковые», «Слава богу! Слава богу!» и «Баллада о немецком цензоре» (отрывок из поэмы «Ближние страны»).

26 июня

[241]) Все оказалось правдой. Новый роман Вас. Гроссмана (1905-1964) был конфискован, а через некоторое время Гроссман заболел раком и умер. Накануне, в 1960 году, в № 21 газеты «Советский воин» он сообщил читателям: «...я закончил большой многоплановый роман «Жизнь и судьба». Работал над ним около десяти лет. В этой книге действуют многие герои, известные читателям по роману «За правое дело». Действие происходит в тылу и на фронте в период грандиозной битвы у стен Сталинграда».

Роман, писавшийся десять лет — десять лет! — был весною 1961 г. в один день изъят органами КГБ из письменного стола у Гроссмана. Толчком к катастрофе послужила попытка Василия Семеновича напе-

чатать роман в журнале «Знамя»: руководители журнала сочли необходимым «посоветоваться с ЦК».

Литературная судьба Вас. Гроссмана складывалась неблагополучно издавна. Роман «За правое дело» партийной печатью был встречен в штыки (достаточно прочитать статью М. Бубеннова в «Правде» от 13 февраля 1953 года). А еще задолго до этого, еще в сороковые, почти целиком погибла предыдущая работа Гроссмана. Он, участник войны, проделал вместе с нашими войсками сначала весь путь отступления, а потом наступления, от Волги до Берлина, и по просьбе «Антифашистского еврейского комитета» составил «Черную книгу»: собрание материалов, характеризующих расправу фашистов с евреями. Книга, драгоценная подлинностью документов, точностью свидетельств и литературным мастерством, была отпечатана, но пошла под нож. (Из всего собранного Гроссману удалось опубликовать в 1944 г., в «Знамени», одну лишь небольшую работу «Тремблинский ад». Затем в виде отдельной брошюры она вышла в свет к началу Нюрнбергского процесса).

Конфискацией романа «Жизнь и судьба» окончилась жизнь писателя Василия Гроссмана. Однако, не судьба романа. Ходят слухи, что один экземпляр все-таки сохранен друзьями, переправлен на Запад и, можно надеяться, в скором времени будет опубликован.

Примеч. 1978 г.

1 июля

242) Б. Сарнов. «Если забыть о часовой стрелке» — «Литературная газета», 27 июня и 1 июля 1961 г.

18 июля

243) Розалия Ивановна Вилтцин (1885-1966) — секретарь, домоправительница, экономка — женщина, работавшая в доме у С. Я. Маршака лет тридцать — еще с ленинградских времен (когда она была бонной при детях) и вплоть до кончины Самуила Яковлевича.

24 июля

244) Заметка: «Они встретились в Москве» — см. журнал «Америка», 1961, № 58, июль, стр. 8-10. Имена жениха и невесты: Сэм Драйвер и Клер де Сен-Фаулл. «Сэм Драйвер, — сообщалось в заметке, — пишет диссертацию о творчестве Анны Ахматовой».

1962

1 января

245) Д. Самойлов. «Чайная» — см. сб. «Тарусские страницы», Калуга, Калужское книжное издательство, 1961.

[246]) Слова Анны Андреевны о «неприятностях», постигших Рива, основаны, по-видимому, на недоразумении: книга «Aleksandr Blok» никакого порицания поэмы «Двенадцать» в себе не содержит. (Columbia University Press, 1962, New York and London).

F. D. Reeve (р. 1924) — поэт, прозаик, ученый; специалист по русской литературе XIX и начала XX века; профессор Уэзленского Университета в штате Коннектикут. В 1966 г. в Нью-Йорке вышло исследование Рива «Русский роман»; в 1968-м, тоже в Нью-Йорке — книга стихов «Среди молчащих камней» и повесть «Красные механизмы». В 1972 году Рив перевел на английский язык нобелевскую речь А. Солженицына (New York, Farrar, Straus, Giroux).

Анне Андреевне были известны некоторые стихи и литературоведческие работы Рива еще до напечатания: бывая в Советском Союзе, он неизменно посещал Ахматову. Познакомились они в 1961 году, в Москве, в доме у литературоведа-фольклориста Е. М. Мелетинского. Позднее Рив и Ахматова встречались в Комарове.

О приезде Рива в СССР вместе с Робертом Фростом в 1962 году см. стр. 428-429.

[247]) Ольга Александровна Ладыженская (р. 1922) — доктор физико-математических наук, профессор Ленинградского университета. Основные работы ее посвящены уравнениям математической физики.

Рассказ Ольги Александровны о ее поездке в Выборг послужил толчком для стихотворения Ахматовой «В Выборге» (БВ, Седьмая книга); над стихами стоит посвящение: «О. А. Л-ской».

13 мая

[248]) Как я понимаю теперь, этот «профессор-американец» — эстонский поэт-эмигрант Алексис Раннит (р. 1914), профессор Йельского университета, искусствовед и литературовед, автор статей о Пастернаке и об Ахматовой — в частности, автор статьи, напечатанной во 2 томе «Сочинений». А. А. не только послала ему автограф — как сказала мне, — но ответила на многие из его вопросов: см. «Сочинения», т. 2, стр. 305-306. Примеч. 1969 г.

[249]) Сильва Соломоновна Левина-Гитович (1913-1974), действительно, делала многое, чтобы облегчить быт и жизнь Анны Андреевны в Комарове. О Гитовичах подробнее см. мои «Записки», т. 3.

[250]) *...Корней Иванович накануне поездки в Англию...* — 19 мая 1962 года К. Чуковский вылетел в Англию; 21 мая в Оксфорде состоялась церемония присуждения ему степени «Доктора Литературы». Затем он прочел несколько лекций в Оксфорде, Лондоне и Эдинбурге.

20 мая

[251]) Раиса Давыдовна Орлова (р. 1918) — писательница, критик, специалистка по американской литературе. В то время мы жили в разных корпусах одного и того же дома по ул. Горького 6; Раиса Давыдовна и ее муж, германист, писатель Лев Зиновьевич Копелев (р. 1912) были друзьями Фриды Абрамовны Вигдоровой: благодаря ей с ними познакомилась, а потом подружилась и я.

О них обоих подробнее см. «Записки», т. 3.

22 мая

[252]) Роман Михайлович Самарин (1911-1974) с 1947 года заведовал кафедрой зарубежной литературы в Московском Государственном Университете, а с 53-го — отделом зарубежной литературы в ИМЛИ. Самарин — автор предисловий к произведениям Бальзака, Гете, Драйзера и других иностранных писателей; ему принадлежат также отдельные главы в учебниках по истории литератур Запада. Назвать Самарина человеком невежественным или бездарным было бы несправедливо; однако, истинное его призвание — интриги, проработки, доносы. Во время антисемитской кампании 1949-1953 годов (вошедшей в историю нашего общества как «борьба с космополитизмом») Самарин уволил из Университетета всех профессоров еврейского происхождения. В 1949 году, по прямому заданию КГБ, Самарин стал во главе комиссии, которой поручено было подвергнуть проверке научную деятельность сотрудника ИМЛИ, специалиста по американской литературе, А. И. Старцева. По докладу (доносу) этой комиссии А. И. Старцев был сначала уволен с работы, а затем арестован. Выступал Самарин с разоблачительными речами на студенческих и преподавательских собраниях и по поводу другого арестованного — проф. Л. Е. Пинского. Когда же, в 1956 г., после XX Съезда, после реабилитаций, бывшие лагерники, вернувшись в Москву, пытались добиться восстановления на работе — Р. М. Самарин делал все, от него зависящее, чтобы на работе их не восстанавливать.

В 1966 году Р. М. Самарин был выдвинут Институтом Мировой Литературы в члены-корреспонденты Академии Наук СССР. Против этой кандидатуры восстали академики В. В. Виноградов и В. М. Жирмунский, обосновывая свой протест тем, что писания Самарина научной ценностью не обладают, а его общественная деятельность — безнравственна. Самарин был забаллотирован, и в Академию Наук его кандидатура более никогда не выдвигалась.

[253]) Речь идет о статье К. Мочульского «Русские поэтессы», напечатанной в парижской газете «Звено» 5 марта 1923 года. В мае 1962-го с этой статьей ознакомила Ахматову Анна Александровна Саакянц, работавшая в ту пору, вместе с А. С. Эфрон, над подготовкой к печати избранных стихотворений Марины Цветаевой.

Константин Васильевич Мочульский (1892-1948) — историк литературы, автор работ о Достоевском, Гоголе, а также о поэзии символистов. В 1919 году Мочульский уехал из России навсегда. С 1922 года читал лекции по русской литературе в Сорбонне; уже после его смерти, в Париже опубликованы три работы: «Александр Блок» (1948); «Андрей Белый» (1955) и «Валерий Брюсов» (1962).

29 мая

[254]) Владимир Николаевич Корнилов (р. 1928) — поэт и прозаик. В газетах и журналах его стихотворения начали печататься с 1953 г. В 1964 году вышел первый сборник стихотворений Корнилова: «Пристань», в 1967 — второй: «Возраст». Уже в 1962 году, в разговоре со мною, А. А. назвала имя Корнилова среди наиболее талантливых на-

ших поэтов, а после появления сборника «Пристань» сочла возможным рекомендовать Владимира Николаевича в Союз Писателей.

Ее отзыв о поэзии Корнилова см. также на стр. 438 и 441.

С 1974 года Корнилов начал печататься за границей. В журнале «Континент» в №№ 1-2, в Париже, была опубликована повесть «Без рук, без ног»; в том же году, в журнале «Грани» в № 94 повесть «Девочки и дамочки»; в 1976 году в издательстве «Посев» — роман «Демобилизация». Кроме того, в 1975 г., в № 5 «Континента», напечатан цикл стихотворений Корнилова.

Нынче Корнилов член двух международных организаций: с 1974 года «Amnesty International», а с 1975 — писательской организации «ПЕН-Клуб».

Печатание на Западе и упорное заступничество за преследуемых и гонимых вызвали неудовольствие властей, и в марте 1977 года Владимир Корнилов был исключен из Союза советских писателей.

(Об этом эпизоде его жизни см. подробнее в моей книге «Процесс исключения»).

С Ахматовой Корнилов познакомился в 1959 году. В 1961 посвятил ей стихотворение («Анне Ахматовой»), вошедшее впоследствии в сборник «Возраст».

О Корнилове см. также мои «Записки», т. 3. Примеч. 1978 г.

255) Александр Петрович Межиров (р. 1923) — поэт, знаток русской поэзии, переводчик. К 1962 году им опубликовано было уже немало стихов; сборники — «Дорога далека» (М., 1947); «Возвращение» (М., 1955); «Стихи» (М., 1957); «Ветровое стекло» (М., 1961) и «Стихи и переводы» (Тбилиси, 1962).

Об А. Межирове см. также «Записки», т. 3.

256) Виктор Гусев (1909-1944) — бойкий стихотворец и драматург. Дважды лауреат Сталинской премии: один раз при жизни, один — посмертно.

5 июня

257) Martin Edward Malia (р. 1924) — американец, профессор-славист, полгода или год проживший в Москве «в рамках соглашения по культурному обмену». Malia изучал Чаадаева и часто бывал у меня; разговаривали мы, главным образом, о Герцене. Часто бывал он и у Анны Андреевны. Через несколько лет после его отъезда мы прочитали в газетах, будто Malia был шпионом. Давно привыкнув к шпиономании наших властей, мы, разумеется, этому открытию не поверили. Быть может, оно было вызвано каким-нибудь выступлением М. Е. Malia, нелестным для Советского Союза? Впрочем, в разговорах со мною, никаких критических замечаний по адресу советской действительности он не делал.

В настоящее время М. Е. Malia — профессор истории в Калифорнийском университете, в Беркли. Мне известны только две его работы и обе о Герцене: «Александр Герцен и крестьянская община» и «Александр Герцен и зарождение русского социализма». Примеч. 1979 г.

258) Вот отрывки из статьи Ираклия Андроникова, помещенной в отделе «Реплик» «Литературной газеты» 26 мая 1962 г. «Улыбка без

причины (По поводу заметки В. Назаренко)»: «...Вы нарочно сдвинули смысловые акценты, объявили второстепенное главным, представили дело в заведомо искаженном виде... и статья Эммы Герштейн «Вокруг гибели Пушкина» превратилась в нечто бессмысленное, нелепое, пошлое. Если Вы ее не поняли, позвольте, я Вам разъясню.

«Пушкина рукою Дантеса убило великосветское общество...» Эта истина, давно известная каждому школьнику, обоснована только в общих чертах. А подробности исследователи продолжают уточнять с каждым годом. Догадки подкрепляются новыми данными, предположения становятся истиной. Эмма Герштейн — талантливый советский исследователь, сделавший много ценных открытий в биографии Лермонтова, — потратила годы, чтобы прочесть зашифрованные дневники императрицы, жены Николая I. Она разобрала записи, которые, как казалось императрице, никогда и никем не будут прочитаны — «Записи для себя». И вот впервые мы узнаем, с какой поразительной наглостью и развязностью держался убийца Пушкина при дворе, с какой фривольностью позволял себя обращаться даже с самою императрицей. Мы узнаем имена тех, кто ему покровительствовал, кто направлял и ободрял его — это были ближайшие друзья жены императора, жесточайшие ненавистники Пушкина, жадная толпа палачей гения, окружавшая царский трон. И рассказ о том, как преследовали Пушкина придворные молодцы, знающие о своей безнаказанности, не возбуждает у меня, товарищ Назаренко, улыбки. Он возбуждает негодование и ужас. И я не пойму, что рассмешило Вас и что, собственно, составляет предмет Вашего фельетона?..»

259) Привожу это письмо полностью:

«В февральском номере вашего журнала опубликована статья Эммы Герштейн «Вокруг гибели Пушкина». Из дневников и писем жены царя Николая I установлены некоторые новые обстоятельства, новые факты, характеризующие ту светскую чернь, «жадною толпой стоящую у трона», которая так злобно и целеустремленно преследовала поэта.

Разумеется, можно оспаривать те или иные оценки и выводы автора, но совершенно бесспорно, что статья в целом плод серьезной, добросовестной и компетентной научно-исследовательской работы и что такие исследования полезны и необходимы для истории литературы.

Между тем в майском номере журнала «Октябрь» помещен фельетон «В покоях императрицы», который в тоне чрезвычайно развязного, пошлого зубоскальства попросту отвергает и статью Э. Герштейн и вообще исследования такого рода.

Все, кому дороги честь и достоинство нашей словесности, должны решительно осудить такое злоупотребление страницами журнала, органа Союза Писателей.

Анна Ахматова, Вс. Иванов, С. Бонди, С. Маршак».

(«Новый мир», 1962, № 7).

260) Аркадий Викторович Белинков (1921-1970) — публицист и литературный критик. Арестованный в 1943 году, на последнем курсе Литературного Института, Белинков провел в тюрьмах и лагерях 13 лет и возвратился в Москву в 1956 году тяжелобольным. В 1960 г. в издательстве «Советский писатель» вышла книга Белинкова «Юрий Тыня-

нов», имевшая большой успех среди читателей и в прессе. В 1963 году Белинков был принят в Союз писателей, а в 1965-м книга о Тынянове была издана вторично. В 1967 г. Белинкову разрешено было, по приглашению друзей, съездить в Польшу; в 1968-м, тоже по частному приглашению — в Югославию. Из Югославии Белинков проехал в Венгрию, а из Венгрии нелегально перебрался в ФРГ.

После книги о Тынянове Белинков начал работать над книгой об Олеше. В 1968 году в журнале «Байкал» (№ 1 и № 2) были напечатаны отдельные главы из этой книги под общим названием «Поэт и толстяк».

На Западе А. В. Белинков поселился в Америке. Он читал лекции в Йельском университете и был профессором в Индианском. Последние статьи А. Белинкова — «Страна рабов, страна господ...» и «Победа Ахматовой» опубликованы посмертно в 1972 г. в Лондоне, в альманахе «Новый Колокол», но я не имею возможности ознакомиться с ними.

Примеч. 1973 г.

261) *...раньше он писал какие-то мутные поэмы.* — Одной из таких «мутных поэм» А. А. считала «Таньку», ходившую по рукам в пятидесятые годы. Как и многие другие читатели (например, С. Маршак) Ахматова впервые оценила дарование Манделя-Коржавина, когда, в 1961 году, в сб. «Тарусские страницы» появился цикл лирических стихотворений: «Над книгой Некрасова» и др.

Отзыв Ахматовой о Коржавине см. также в примеч. 274).

Поэт Н. Коржавин (р. 1925) печататься начал в 1941 г. В 1947 г. был арестован; вернулся в Москву в 1954-м; первая — и единственная в Советском Союзе книга стихов Н. Коржавина — «Годы» — вышла в свет в 1963 г.

Стихотворение «о рижском кладбище», упоминаемое Анной Андреевной — это «Братское кладбище в Риге», напечатанное уже заграницей — см. Н. Коржавин. Времена. «Посев», 1976. В 1973 году Коржавин эмигрировал из СССР и ныне живет в Соединенных Штатах. В печати он выступает как публицист и поэт. В книге «Времена» собраны стихотворения разных периодов: до ареста и после, до отъезда и после отъезда. Примеч. 1978 г.

19 сентября

262) В это время К. Чуковский работал над статьями о русском языке, появившимися 6 и 13 октября 1962 г. в «Литературной газете» («О складе и ладе» и «Образ и слово»). Впоследствии, в переработанном виде, они вошли во второе издание книги «Живой как жизнь» (М., «Молодая гвардия», 1963).

263) Академик Михаил Павлович Алексеев (р. 1896) — знаток английской и французской литературы, автор многочисленных исследований о Шекспире, Чосере, Филдинге, Свифте, Байроне, Монтене, Вольтере, Дидро; автор «Очерка по истории англо-русских литературных отношений XI-XVII в. в.», а также работ о взаимодействии русской и западно-европейской культуры и о влиянии русской на европейскую. В 1959 году академик Алексеев сделался председателем Пушкинской комиссии АН СССР, членом которой была и Анна Ахматова.

Банкет состоялся в Академическом городке в Комарове, где у Алексеева дача. (Близ Академического городка расположены и дачи Литфонда, в том числе и ахматовская «будка»).

264) В 1962 году Нобелевскую премию по литературе получил действительно американец: но не поэт Роберт Фрост (1874-1963), а прозаик Джон Стейнбек (1902-1968).

265) Дмитрий Степанович Гумилев (ум. 1922) — старший брат поэта, моряк; жена его, А. А. Гумилева — автор воспоминаний о Николае Степановиче — см. «Новый журнал», № 46, 1956. Писала ли она что-нибудь об Анне Ахматовой — проверить я не имею возможности: этого номера журнала у меня нет.

266) Борьбу за то, чтобы повесть об «одном дне з/к» дошла до читателей, вел в течение одиннадцати месяцев Твардовский, главный редактор журнала «Новый мир». Все перипетии сложной борьбы за напечатание «Ивана Денисовича» изложены А. Солженицыным в книге «Бодался теленок с дубом. (Очерки литературной жизни)». — Paris, YMCA-Press, 1975. Там поминается имя Корнея Чуковского. Привожу отрывок из записей Корнея Ивановича:

«**9 апреля** /1962/. Твардовский <...> принес мне рукопись некоего беллетриста о сталинских лагерях.

<...> **13 апреля.** Я пришел в восторг и написал краткий отзыв о рукописи».

Я имею возможность привести этот отзыв целиком. (Говоря об авторе, К. Чуковский называет его «А. Рязанский» — под таким псевдонимом рукопись была представлена в «Новый мир»).

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧУДО

Шухов — обобщенный характер русского простого человека: жизнестойкий, «злоупорный», выносливый, мастер на все руки, лукавый — и добрый. Родной брат Василия Теркина. Хотя о нем говорится здесь в третьем лице, весь рассказ написан **ЕГО** языком, полным юмора, колоритным и метким. Автор не щеголяет языковыми причудами (как Даль, Мельников-Печерский, Ал. Ремизов), не выпячивает отдельных аппетитных словечек (как безвкусный Лесков); речь его не стилизация, это живая органическая речь, свободная как дыхание. Великолепная народная речь с примесью лагерного жаргона. Только владея таким языком и можно было прикоснуться к той теме, которая поднята в этом рассказе. Тема эта — злое мучительство, ставшее нормой людских отношений, многолетние страдания ни в чем неповинных людей, оказавшихся во власти организованных и вооруженных мерзавцев. Шухов, как и его товарищи по каторге, не совершил никаких преступлений. При помощи лютых побоев и пыток следователи принудили его объявить себя изменником родины. Остальные «зэки» (за исключением одного) тоже не знают за собой ни малейшей вины: «шпионы деланные, с нарошки: по делам проходят как шпионы, а сами пленники просто». Другой, более слабый автор непременно ударился бы в публицистику, стал бы проклинать и вопить. Но А. Рязанский — и в этом его величайшая сила — ничем не выражает своего страстного гнева. Он не публицист, а летописец. Ровным голосом, неторопливо, спокой-

но он изображает час за часом все поступки и мысли Шухова, который, благодаря своему цепкому, гениально-злоупорному характеру, чувствует себя даже счастливым среди ежеминутных беззаконий, насилий, глумлений над его человеческой личностью. В сущности рассказ можно бы назвать «**Счастливый** день Ивана Денисовича». Впрочем, трагическая ирония автора и без того ощутима на каждой странице.

Словом: с этим рассказом в литературу вошел очень сильный, оригинальный и зрелый писатель. Уже одно описание работы Ивана Шухова, его упоения работой кажется мне классическим. В каждой сцене автор идет по линии наибольшего сопротивления и всюду одерживает победу. Конечно, было бы ужасно, если бы редакция вздумала «исправлять» его текст. Если в тексте встречаются такие, например, конструкции, как «Не угостит ли его Цезарь покурить?», «Кружь пошла по телу» — здесь сила, а не слабость писателя. Мне даже страшно подумать, что такой чудесный рассказ может остаться под спудом. Ничего нецензурного в нем нет. Он осуждает **прошлое**, которого, к счастью, уже нет. И весь написан **во славу** русского человека. Очень жалко, что приходится выбрасывать такие слова, как «смехуечки», «фуяслице», «фуемник». Здесь они хороши и уместны.

Украинские фразы Павла следует, мне кажется, проверить.

Корней Чуковский»

[267]) *...ваша повесть.* — «Софья Петровна». Отказ «Нового мира» был к тому времени Анне Андреевне уже, конечно, от меня известен; но в записях своих об Анне Ахматовой я никаких разговоров на эту тему не нахожу. Предложена была «Софья Петровна» «Новому миру» 6 ноября 1961 г.; отказ сообщили мне 5 января 1962 г.; ознакомилась я с «внутренней рецензией» Твардовского — резко отрицательной — в самом конце января 62-го. Отметив, что моя героиня не чувствует «фона общенародной жизни», Твардовский оканчивал: «...скучно читать это литературное с о ч и н е н и е н а о с т р у ю т е м у (Разрядка моя. — Л. Ч.), потому что сочинительство здесь ничего не стоит. В повести никого не жалко, ничего не страшно, так как все пострадавшие (директор, парторг, сын героини, друг сына и др.) — все это не живые люди, чем-то успевшие стать нам дорогими и близкими, а всего лишь условные литературные обозначения, персонажи. Подробнее говорить об идейно-художественной несостоятельности повести нет необходимости. Автор не новичок, не начинающий, нуждающийся в литературной консультации, а многоопытный литератор и редактор, только взявшийся, по-моему, не за свое дело. Для «Нового мира» повесть во всяком случае совершенно непригодна».

[268]) М. Гершензон. П. Я. Чаадаев. Жизнь и мышление. СПб., Типография М. М. Стасюлевича, 1908.

[269]) А. А. не вполне точно пересказала обстановку допросов Жанны Д'Арк. В опубликованных протоколах процесса обстоятельства отречения запечатлены иначе. 24 мая 1431 года Жанну привели на кладбище, заставили взойти на помост, она увидела палача и тележку, в которой ее отправят на казнь, и, главное, выслушала приговор: если она не признает себя виновной, — ее сожгут. Тогда она произнесла требуемые судьями слова отречения. Однако 27 мая 1431 года она снова надела мужское платье и, как указано в протоколе, взяла свое отре-

чение обратно. В протоколе значится: «De peur du feu elle a dit ce qu'elle a dit» («То, что она сказала, было сказано ею из страха перед огнем». — См. В. И. Райцесс «Процесс Жанны д'Арк». М.-Л., «Наука», 1964, стр. 117). Автор этой популярной книги ссылается на подлинные документы процесса, опубликованные в 1960 г. во Франции: «Procès de condamnation de Jeanne d'Arc, édité par la Société de l'histoire de France. Texte établi et publié par Pierre Tissert. Paris, 1960, v. 1, p. 397).

270) Стихи Марины Цветаевой в пятидесятые и шестидесятые годы ходили по рукам в списках; постепенно они стали появляться в альманахах и в журналах. Я запомнила «Куст» по одному из списков в том виде, в каком позднее стихи были опубликованы в журнале «Новый мир» (1965, № 3); в ББП-Ц — другой вариант.

23 сентября

271) С Фридой Абрамовной Вигдоровой А. А. (как и я) познакомилась в эвакуации, в Ташкенте; там Ф. Вигдорова была корреспонденткой газеты «Правда» и не без ее инициативы стихотворение Ахматовой «Мужество» оказалось напечатанным в «Правде» 8 марта 1942 г.

«Имя педагога, журналистки и писательницы Фриды Абрамовны Вигдоровой (1915-1965) приобрело широкую известность в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов. Своими выступлениями в печати («Известия», «Комсомольская правда», «Литературная газета» и др.) ей не раз удавалось способствовать восстановлению справедливости». Так пишут о Ф. Вигдоровой Н. и С. Шулейко, составители сборника: Лидия Чуковская. «Открытое слово» (Нью-Йорк, изд-во «Хроника», 1976, стр. 9). Последним из подвигов Фриды Вигдоровой была художественно-документальная запись двух судов над Иосифом Бродским (18 февраля и 13 марта 1964 года) и организация защиты осужденного.

Перу Ф. Вигдоровой принадлежат повести «Мой класс» (1949), «Дорога в жизнь», «Это мой дом» (1957), «Черниговка» (1959) и др. Многое осталось ненапечатанным, например, «Девочки (Дневник матери)», о котором К. Чуковский отзывался как о лучшем из материнских дневников.

272) «Наташа», «Старик Державин», «Красная осень» — см. сб. «Второй перевал», М., «Советский писатель», 1963; «Я рано встал» — см. сб. «Дни», М., «Советский писатель», 1970.

28 сентября

273) «Георгий Иванов — парижанин, эмигрант в буквальном смысле слова. Ахматова и Пастернак — эмигранты внутренние», — пишет С. Завалишин в предисловии к книге: Георгий Иванов. Петербургские зимы. Нью-Йорк, Издательство имени Чехова, 1953.

274) В «шестидесятые годы» (начавшиеся несколько ранее) шумную известность приобрели трое молодых поэтов: Е. Евтушенко, А. Вознесенский и Белла Ахмадулина. Успехом среди читателей — и, главным образом, слушателей — и не только русских, но и западных, пользуются они и по сей день. В прессе — тоже. Перечисляя имена: «Тарковский, Корнилов, Самойлов, Липкин и Бродский» Ахматова хотела под-

черкнуть, что несмотря на их малую (в то время) известность — будущее русской поэзии, по ее убеждению, принадлежит им.

К перечисленным в приведенном разговоре именам А. А. имела обыкновение прибавлять имя М. Петровых, а иногда еще три имени: Александр Гитович, Наум Коржавин и Вадим Шефнер. См., например, интервью, данное ею весною 1965 года критику Е. Осетрову («Грядущее, созревшее в прошедшем» — «Вопросы литературы», 1965, № 4). В списке, приводимом Е. Осетровым, не упоминается, правда, Иосиф Бродский; но единственная тому причина — запрещение упоминать имя этого поэта в советской печати. Имя М. Петровых названо также Анной Андреевной в беседе с корреспондентом газеты «Times» 11 июня 1965 г.

275) Мною цитируются строки из стихотворения Ахматовой «Не с теми я, кто бросил землю» (БВ, Anno Domini) и из стихотворения Пастернака, которое в конце пятидесятых годов ходило по рукам. Ни в одном сборнике, ни в одном журнале его не найдешь до сих пор, напечатано оно (с некоторыми заменами) лишь в партитуре музыкального произведения: см. Г. Свиридов. Кантата для солистов, хора и симфонического оркестра. Партитура. М., «Музыка», 1975, а также в клавире кантаты в переложении для пения и фортепьяно. М., «Музыка», 1976 (слова приводятся в той части кантаты, которая названа «Снег идет»).

Я привожу это стихотворение полностью и в неискаженном виде:

Душа

Душа моя, печальница
О всех в кругу моем,
Ты стала усыпальницей
Замученных живьем.

Тела их бальзамируя,
Им посвящая стих,
Рыдающею лирою
Оплакивая их,

Ты в наше время шкурное
За совесть и за страх
Стоишь могильной урною,
Покоящей их прах.

Их муки совокупные
Тебя склонили ниц.
Ты пахнешь пылью трупною
Мертвецких и гробниц.

Душа моя, скудельница,
Все, виденное здесь,
Перемолов, как мельница,
Ты превратила в смесь.

И дальше перемалывай
Все бывшее со мной,
Как сорок лет без малого,
В погостный перегной.

(См. американское издание: Борис Пастернак. Сочинения. Том 3. The University of Michigan, 1961, стр. 63).

7 октября

276) Речь идет о статье Глеба Струве «Н. С. Гумилев. Жизнь и личность», служащей предисловием к книге: Н. Гумилев. Собрание сочинений в четырех томах. Под редакцией проф. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Том первый. Вашингтон. Издательство книжного магазина Victor Kamkin, Inc. 1962.

Г. П. Струве вовсе не утверждает, будто Машенька Кузьмина-Караваева была единственной любовью Гумилева; напротив, приводя это мнение на стр. VIII-IX, опровергает его. Строки же, цитируемые Анной Андреевной (предложение умереть), хотя и не содержат в себе подобного предложения, действительно неловки и двусмысленны. «Об этой личной драме Гумилева, — пишет Г. П. Струве на стр. XXI, — не пришло еще время говорить иначе, как словами его собственных стихов: мы не знаем всех ее перипетий, и е щ е ж и в а А. А. А х м а т о в а, не сказавшая о ней в печати почти ничего». Почему Ахматова должна была рассказывать о перипетиях «личной драмы» в печати? и, если бы пожелала, то, при запрещении имени Гумилева, — как она могла бы свое намерение выполнить? Поэзия же Ахматовой воссоздает образ пережитого разрыва если не полно, то, во всяком случае, с большою силой.

Говоря о невестке Николая Степановича, на чью работу ссылается Г. П. Струве, А. А. имеет в виду воспоминания А. А. Гумилевой «Николай Степанович Гумилев» («Новый Журнал», кн. 46, 1956). Говоря об Одоевцевой — указывает на нижеследующие строки, приведенные Г. П. Струве в его предисловии на стр. XXXVI:

«Так вот он какой, Гумилев! Трудно представить себе более некрасивого, более особенного человека... Все в нем особенное и особенно некрасивое. Продолговатая, словно вытянутая вверх голова, с непомерно высоким плоским лбом. Волосы, стриженные под машинку, неопределенного пегого цвета. Жидкие, будто молью траченные брови. Под тяжелыми веками совершенно плоские, косящие глаза. Пепельно-серый цвет лица, узкие, бледные губы. Улыбается он тоже совсем особенно. В улыбке его было что-то жалкое и в то же время лукавое. Что-то азиатское».

277) «Капитаны» Н. Гумилева опубликованы в № 1 журнала «Аполлон» за 1909 год; строки «Горе, горе! Страх, петля и яма / Для того, кто на земле родился» — это отрывок из поэмы «Зведный ужас» — см. «Цех поэтов», альманах второй, 1921.

Все это сбывается на наших глазах. А вот «Клоп» Маяковского не сбывается! — Альманах второй «Цеха Поэтов» был составлен еще при

участии Николая Степановича, а вышел в свет уже после расстрела. Второй номер «Цеха Поэтов» открывался известием о смерти Александра Блока; посреди, в отделе «Поэмы» напечатан «Звездный ужас», а в конце приложены стихи, написанные Гумилевым в июле и августе 1921 г., то есть накануне ареста и расстрела. Отдел, вставленный в альманах уже после казни, называется «Последние стихи Н. Гумилева».

Пьеса Маяковского «Клоп», в которой поэт весьма оптимистически изображает наше будущее, была поставлена за год до его самоубийства, в театре Мейерхольда, в 1929 г.

278) Статья Льва Озерова «Тайны ремесла» появилась 1 февраля 1963 г. в газете «Литературная Россия» под шапкой «О новых стихах Анны Ахматовой». Сравнение поэзии Цветаевой с ахматовской поэзией опущено. Пушкинская же тема сохранилась, но приглушенно. Указав, что Ахматова рано почувствовала «обаяние лирического стиля Батюшкова-Баратынского-Тютчева», Озеров продолжает: «Но самым животворящим был для Ахматовой пушкинский возвышенный строй души, опирающийся не на выспренность и патетику, а на правду чувств. Пушкинский прямой упрямый росток деятельно и неизменно прорывался сквозь жухлые лежалые листья модного стихотворчества. Он вел и обнадеживал. Он выпрямлял и направлял Ахматову, как и других поэтов. Я вижу это не только в исполненных любви стихах о Пушкине, не только в тонких и глубоких исследованиях его жизни и творчества. Главным образом эту традицию надо искать в сути ахматовской поэзии, в ее философской лирике последних десятилетий».

279) Строки из стихотворения Пастернака «Когда я устаю от пустозвонства» — см. ББП-П, стр. 371.

8 октября

280) Статья К. Чуковского «Ахматова и Маяковский» была опубликована в 1921 году в № 1 журнала «Дом Искусств».

12 октября

281) Речь идет о стихотворении «Перед судом». Оспариваемая Ахматовой мысль высказана В. Орловым в примечаниях к т. 3 «Собрания сочинений в восьми томах» Ал. Блока (М.-Л., Гослитиздат, 1960, стр. 552).

30 октября

282) Записывая эти два сло́ва — «явление природы» — в дневник, я не знала, что они не мои. Та же мысль давным-давно была высказана Мариной Цветаевой в одном из ее писем к Борису Леонидовичу:

«Милый Пастернак — разрешите перескок: вы явление природы, — писала Цветаева 11 февраля 1929 года. — Сейчас объясню, почему: проверяю на себе. Никогда ничего не беру из вторых рук, а люди — вторые руки, поэты — третьи. Стало быть Вы не человек и не поэт, а явление природы. Чистейшие первые руки. Бог по ошибке создал

Вас человеком. Оттого Вы не вжились ни во что...» (См. Марина Цветаева. Неизданные письма. YMCA-Press, 1972, стр. 277).

283) Sir Maurice Cecil Bowra (p. 1898) — автор капитальных трудов по античной литературе, знаток и переводчик греческой и русской поэзии. В сороковые годы им опубликованы книги «Наследство символизма» (среди русских поэтов он говорит о Блоке, Пастернаке, Ахматовой и Мандельштаме) и антология: «Книга русской поэзии». Вторично она издана в Оксфорде и в ней содержится пять стихотворений Ахматовой.

Корней Иванович познакомился с проф. Боура в Оксфорде, в мае 1962 года; между ним и его новым собратом завязалась дружеская переписка; проф. Боура стал посылать Корнею Ивановичу английские и русские книги. В их числе был и том стихотворений Вячеслава Иванова «Свет вечерний». Poems by Vyacheslav Ivanov. With an introduction by sir Maurice Bowra and commentary by O. Deschartor. Edited by Dimitry Ivanov. Oxford. At the Clarendon Press, 1962.

284) Лидия Дмитриевна Зиновьева-Аннибал (1866-1907) — жена Вяч. Иванова, писательница; перу ее принадлежат повести, драмы, стихи.

285) *...показала стихи одного молодого человека.* — Этот молодой человек со стихами был, как я узнала впоследствии — Анатолий Александрович Якобсон. Стихотворение, поднесенное им Анне Андреевне, привожу полностью:

Анне Ахматовой

Рука всевластная судьбы
Россию взвесила, как глыбу,
И подняла — не на дыбы,
Как Петр когда-то, а на дыбу.
И на весу гремят составы,
Несутся годы-поезда;
Отменная была езда:
Мгла — впереди и бездна — под,
И от заставы до заставы —
Все вывернутые суставы,
Все смертный хрип да смертный пот.
Но, извиваясь от удушья,
Вручая крестной муке плоть,
Россия, как велел Господь,
В ту пору возлюбила душу:
Себе самой могилу рыть,
Любые вынести глумленья,
Но душу спрятать, душу скрыть,
Спасти — живую — от растленья.
Надежный отыскать сосуд,
Чтоб в нем душа, как хлеб в котомке,
А там — какой угодно суд
Пускай произнесут потомки.
В одной крови себя избыть,
В одном дыханье претвориться —

В наперснице своей судьбы,
В сестре, избраннице, царице.
Найти такую. И обречь
На муки. И — святынь святей —
Собою заслонив, сберечь
От тысячи смертей.

Анатолий Александрович Якобсон (1935-1978) — эссеист, критик, переводчик, теоретик перевода. Сам он определял свою работу как опыт создания «литературы о литературе». Результатом явилась книга «Конец трагедии» — книга о Блоке, об Анне Ахматовой, о романтической поэзии 20-х годов (Нью-Йорк, изд-во имени Чехова, 1973).

С Ахматовой Якобсон познакомился у М. С. Петровых. В то время был он постоянным посетителем семинара переводчиков при Союзе Писателей; с 1959 по 1964 г. семинаром руководили В. Звягинцева, М. Петровых и Д. Самойлов. Якобсону принадлежат переводы из Поля Верлена, Теофиля Готье, Ованеса Туманяна; много занимался он испанцами (особо примечательны переводы из Мигеля Эрнандеса и из Федерико Гарсиа Лорки). В сборнике «Мастерство перевода» (М., «Советский писатель», 1968) Якобсон сопоставил и проанализировал переводы одного шекспировского сонета («66»): перевод, исполненный С. Маршаком, и перевод, осуществленный Б. Пастернаком («Два решения»).

А. А. Якобсон — не только писатель, но и общественный деятель, участник демократического движения в СССР. С апреля 1968 по октябрь 1970 он был одним из составителей самиздатской «Хроники текущих событий» (№ 1-17); с мая 1969 по октябрь 1972 — член «Инициативной группы».

Осенью 1973 г. Якобсон эмигрировал в Израиль. Потрясенный отъездом, психически заболел. Осенью 1978 года покончил с собой.

Одолевая болезнь, он и после отъезда продолжал, однако, свои исследования русской поэзии. В № 3 «Трудов Иерусалимского Университета» за 1978 г. («Slavica Hierosolymitana», v. III. The Magnes Press. The Hebrew University, Jerusalem, p. 302-379) опубликована его работа «"Вакханалия" в контексте позднего Пастернака». Написал он статью и о стихотворении Пастернака «Рослый стрелок, осторожный охотник» (статья печатается). Задумана им была книга о Марине Цветаевой. Продолжал переводить стихи. Незадолго до конца А. Якобсон сделал попытку заново перевести на русский язык отрывок из поэмы Адама Мицкевича «Дзяды» — «Друзьям в России».

286) *И послала...* (Подлинный текст сохранился в архиве Н. Н. Глен: «Глубоким волнением и радостью прочла Вашу замечательную статью «Известиях». Благодарю Вас. Анна Ахматова»). Схватка между Паустовским и Бондаревым с одной стороны и рецензентами двух журналов с другой была весьма знаменательна, и А. А. поняла это сразу... В сентябрьских номерах двух журналов — «Звезда» и «Октябрь» — появились рецензии В. Гусарова и Ю. Идашкина с нападками на роман Ю. Бондарева «Тишина» («Новый мир», 1962, №№ 3-5). Оба рецензента разными словами, но явно по единой шпаргалке обвиняли Ю. Бондарева в том, что, изображая времена «культа личности», он не изобразил героический труд народа; изображая арест одного честного ком-

муниста, подчеркнул беззащитность арестованного и всеобщий страх. По мнению Идашкина, арест коммуниста должен восприниматься как «трагическая ошибка», а не как «столкновение враждебной, грубо работающей машины с личной судьбой человека». Гусаров же напоминал автору, что «рядом с тишиной», в которой совершались аресты, «была еще народная героика восстановительных работ». В общем, оба рецензента спешили своими статьями подпереть казенную ложь, хотя страшная правда о злодеяниях сталинского времени и без того прорезывалась в романе Ю. Бондарева на свет Божий только еле-еле, чуть-чуть.

27 октября 62 г. К. Паустовский ответил обоим рецензентам в газете «Известия», в статье, озаглавленной «Сражение в тишине»:

«Остались еще люди, старающиеся придать тому, что творилось во времена «культа», невинную окраску и чуть ли не черты благополучия. Каждая попытка оправдать «культ» — перед лицом погибших, перед лицом самой элементарной человеческой совести — сама по себе чудовищна.

А между тем можно еще услышать <...> что пора мол, прекратить «вздорные разговоры», будто культ личности мешал развитию литературы.

Давайте согласимся. Хорошо, не мешал. Если не считать такого «вздора», как беспощадное, без всякой причины уничтожение множества ни в чем неповинных людей во всех областях жизни, в частности в литературе. Если люди так быстро и недостойно забывают о прошлом, то им следует об этом напомнить. Думаю, что только безразличие к судьбе народа может породить такие безапелляционные заявления. <...>

Тем и значителен роман Бондарева, что в нем автор с гневом и с огромной душевной болью говорит о том, что мы не вправе забывать и прощать. <...>

Это прошлое Бондарев воскрешает с тем большей силой, что переносит нас в отталкивающий быт — именно быт, — недавней бесчеловечности (а этот уродливый быт существовал и расцветал), в обстановку хорошо налаженной машины издевательства над невинным человеком. <...>

Бондарева обвиняют в том, что жизнь народа, который, несмотря ни на что строил, творил и боролся, осталась за пределами романа. <...>

Но все же надо спросить: то, что происходило во время культа личности и описано в романе Бондарева, имело отношение к жизни народа или нет?

Имело. Прямое и тяжкое отношение. Откуда же выползает неправда, что жизнь народа осталась за пределами книги?»

4 ноября

[287]) Об отношении читателей конца двадцатых годов к поэзии Ахматовой см. в ее письме 1960 г.:

«Тогдашняя молодежь, — пишет А. А., — жадно ждала появления какой-то новой великой революционной поэзии и в честь ее топтала

все кругом. <...> Тогда все ждали чудес от Джека Алтаузена». (Письмо это опубликовано в сборнике «Памяти А. А.» на стр. 36 с опечаткой в дате. Правильная дата: «1960, 22 янв. — 29 февр., Ленинград-Москва»).

288) *...о Новочеркасске... не знали ровно ничего.* — О страшной расправе с рабочими, совершившейся в июне 1962 года в Новочеркасске, я узнала толком и во всех подробностях гораздо позднее — лишь из «Архипелага ГУЛаг» Солженицына. Повышение цен на мясо и масло совпало с понижением заводской зарплаты. В городе началась забастовка и митинги. Мирная демонстрация протеста, — мужчины, женщины, дети — с портретами Ленина — отправились к зданию горкома партии. Власти приказали войскам открыть огонь по безоружной толпе. Солженицын так рассказывает о пролитой крови:

«Один очевидец говорит: впечатление было, что все завалено трупами. Но, конечно, там и раненных было много. По разным данным довольно дружно сходится, что убито было человек 70-80. (Несколько меньше, чем перед Зимним Дворцом, но ведь 9 января вся разгневанная Россия ежегодно и отмечала, а 2 июня — когда начнем отмечать? — А. С.) Солдаты стали искать и задерживать автомашины, автобусы, грузить туда убитых и раненных и отправлять в военный госпиталь, за высокую стену. (Еще день-два ходили те автобусы с окровавленными сиденьями).

<...> Вот что видел внимательный свидетель в два часа дня: «На площади перед горкомом стоят штук восемь танков разных типов. Перед ними — цепь солдат. Площадь почти безлюдна, стоят лишь кучки, преимущественно молодежь и что-то выкрикивают солдатам. На площади во вмятинах асфальта — лужи крови, не преувеличиваю, до тех пор я не подозревал, что столько крови вообще может быть. Скамьи в сквере перепачканы кровью, кровавые пятна на песчаных дорожках сквера, на побеленных стволах деревьев. Вся площадь исполосована танковыми гусеницами. К стене горкома прислонен красный флаг, который несли демонстранты, на древко сверху наброшена серая кепка, забрызганная бурой кровью. А по фасаду горкома — кумачевое полотнище, давно висящее там: «Народ и партия — едины!»

Аресты тоже были; арестовали и выслали в Сибирь семьи убитых и раненных.» (См. А. Солженицын. «Архипелаг ГУЛаг», ч. VII. Paris. YMCA-Press, 1975, стр. 557-564).

14 ноября

289) Калерия Николаевна Озерова (р. 1918) — с 1947 по 1955 г. — сотрудница отдела критики в «Литературной газете»; с 1955-го по 1971-й — заведующая отделом критики в журнале «Новый мир».

16 ноября

290) *... я ... пересказала слышанное мною... от Жени Ласкиной... на редколлегии доложил Аркадий Васильев.* — Евгения Самойловна Лас-

кина (р. 1914) в качестве старшего редактора с 1957-го по 1969 год работала в отделе поэзии журнала «Москва».

Аркадий Николаевич Васильев (1907-1972) — могущественный член редколлегии журнала, старый чекист и, в ту пору, секретарь партийной организации Московского отделения Союза Писателей. (В 1966 г. Васильев выступил как «общественный обвинитель» на процессе Синявского и Даниэля. Тот же Аркадий Васильев был первым, кто потребовал моего исключения из Союза; но умер он на полтора года раньше, чем мечта его исполнилась).

19 ноября

291) На вечере Марины Цветаевой, состоявшемся 25 октября 1962 года под председательством Ильи Эренбурга, А. А. не была. Рассказывает она с чужих слов. Надеюсь, в Литературном Музее сохранилась полная стенограмма. Я же попытаюсь извлечь выдержки из самиздатских записей, в частности, из записи Р. Д. Орловой.

«Илья Григорьевич Эренбург сообщил о своем первом знакомстве со стихами Цветаевой, а потом о знакомстве и с нею лично. «Ей был абсолютно чужд уют». «Она умела придать любому жилью характер разоренный и необычный». «Цветаева была несчастна не только по обстоятельствам, а и потому, что ей было присуще внутреннее несчастье». Далее Эренбург сказал: «Цветаеву любят все, кто любит поэзию». «Ее нам вернули, как ключ от запертой двери... Но родина встретила ее неласково... Я бесконечно счастлив, что дожил до нашего времени, что могу говорить вслух о большом поэте».

Борис Абрамович Слуцкий рассказал: «Незадолго до войны молодые поэты попытались добиться издания цветаевского сборника. Гослит отказался печатать стихи Цветаевой под тем предлогом, что, будто бы, их не понимают комсомольцы. Вместе с друзьями (Самойловым, Кульчицким, Коганом, Наровчатовым) я, — рассказал Слуцкий, — заявил о своей любви к поэзии Цветаевой. Однако скоро началась война, и сборник издан не был».

Евгений Борисович Тагер (р. 1906) — литературовед, автор многочисленных работ о Максиме Горьком и Владимире Маяковском. Е. Б. Тагер преподавал в Педагогическом Институте и долгое время был сотрудником Института Мировой Литературы. В 1939 году он познакомился с Мариной Цветаевой и стал часто бывать у нее. Насколько я могу судить по сохранившимся записям, Евгений Борисович о своем знакомстве с Мариной Ивановной рассказывал на вечере Литературного Музея так:

«Впервые я увидел Марину Ивановну в декабре 39 года в Голицыне. Она снимала комнату в избе, окружала ее житейская неустроенность. Ожидал я увидеть существо хрупкое, утонченное — изысканную парижанку. Все это оказалось не так: серый свитер, шуба с польского еврея. В облике Цветаевой поражала удивительная четкость, у нее было тонко нарисованное лицо. Стройность, но не гибкая, колеблющаяся, — а стройность прямоты и силы. Что-то чеканное, сильное, ясное. Той же ясностью отмечена была и ее поразительная русская речь. Зернистость, отчетливость, ясность. Во внутреннем облике ближе про-

ступала и даже преобладала ясность мысли, стремительная сила, логическая убежденность. На первых порах сложность ее стиха кажется противоречащей логической ясности ее мышления. Но, читая свои стихи вслух, она вносила в них разъясняющую интонацию, — это напоминало Пастернака.

При мне Марина Ивановна пересматривала свою «Поэму конца» и делала поправки. Помню одну: вместо «Час не ждет» — «смерть не ждет».

За ней никто ничего не записывал. Гениев мало, а Эккерманов еще меньше...»

Вечер закончился чтением стихов Марины Цветаевой. Читали участники «Студии молодых при Литературном Музее».

23 ноября

292) На появление в № 11 «Нового мира» повести «Один день Ивана Денисовича» с восторгом, необычайной быстротой и единодушием откликнулась вся советская пресса: 17 ноября в «Известиях» — Константин Симонов: «О прошлом во имя будущего»; 22 ноября в «Литературной газете — Григорий Бакланов: «Чтоб это никогда не повторилось»; 23 ноября в «Правде» — В. Ермилов: «Во имя правды, во имя жизни»; 28 ноября в «Литературе и жизни» — Ал. Дымшиц: «Жив человек» и др.

293) Наташа Рожанская — Наталья Владимировна Кинд (р. 1917) — геолог; в то время — жена физика Ивана Дмитриевича Рожанского; о дружбе Ахматовой с Рожанскими см. мои «Записки», т. 3.

5 декабря

294) Воспоминания В. Каверина о Зощенко, в том виде, в каком они были предложены автором «Новому миру» в 1962 году, не напечатаны нигде до сих пор.

Елена Викторовна (Леля) Златова (1906-1968) — жена поэта Степана Щипачева, нашего соседа по Переделкину; с Еленой Викторовной я была знакома издавна, еще по Ленинграду; она — автор многочисленных критических статей о советской литературе; одно время (до войны) она работала в отделе прозы журнала «Красная новь». Муж ее, С. П. Щипачев (1898-1980) в годы с 1959 по 1962 занимал должность Председателя Президиума Московского Отделения Союза Писателей РСФСР, и потому Елена Викторовна была в курсе самых разнообразных новостей.

«Солж. 2» — рассказ Солженицына «Не стоит село без праведника» («Матренин двор»), в ту пору распространявшийся в рукописи.

Гвоздем нашего разговора была выставка в Манеже. 1 декабря 62 года Хрущев со свитой посетил выставку московских художников. Мы узнали, что там он кричал и топал ногами перед скульптурой Эрнста Неизвестного, перед картинами Билютина и молодых художников-абстракционистов (Жутовского, Шорца, Грибкова); вызвали его негодование также работы Фалька, Штеренберга, Никонова, Древина, Васнецова, Пологовой и мн. др. Наиболее пристойным изо всех искусство-

ведческих терминов, какими пользовался Хрущев, было слово «мазня». Хрущев кричал, что выставленные картины намалеваны не рукою человека, а хвостом осла.

Организовали этот высочайший гнев художники-бюрократы — Иогансон, Серов и другие мастера социалистического реализма. Особенно усердствовал Серов.

Ходили слухи, что возражать Хрущеву осмелился один Эрнст Неизвестный.

2 декабря «Правда» сообщила: «Во время осмотра выставки, Н. С. Хрущев, руководители партии и правительства, высказали ряд принципиальных положений о высоком призвании советского изобразительного искусства»; «Правде» вторила «Литературная газета» (8 декабря): «В те же дни состоялась XIX сессия общего собрания членов Академии Художеств СССР. В своей заключительной речи В. Серов оценил встречу в Манеже, состоявшийся там разговор, как выдающееся событие в жизни советского изобразительного искусства».

Заметка кончалась так: «Президентом Академии Художеств единогласно избран В. Серов».

Через много лет, в своих воспоминаниях, называющихся «Мой диалог с Хрущевым», подробно описал эту встречу Эрнст Неизвестный (см. журнал «Время и мы», 1979, № 41). До этого, в «Очерках литературной жизни» («Бодался теленок с дубом») Солженицын назвал встречу в Манеже «первой атакой реакции <...> когда Хрущева натравили на художников». «Задумано это было расширительно», — добавляет Солженицын, имея в виду предстоящий разгром литературы (стр. 61).

Вот о том, перекинется ли разгром с живописи на литературу, и шли в декабре 1962 г. толки среди литераторов, в частности, между мною и женой Щипачева в Переделкине 5 декабря, когда я принесла ей рассказ Солженицына.

Цензурный запрет, наложенный на воспоминания Каверина о Зощенко, был дурным предзнаменованием.

15 декабря

295) В конце ноября журнал «Сибирские огни (издающийся в Новосибирске) известил меня, что «Софья Петровна» принята и будет напечатана в 1963 году в № 2. Позднее, 13 декабря, я получила от некоей Малюковой, сотрудницы «Сибирских огней», свою рукопись — копию той, что была уже отправлена редакцией журнала в набор — с просьбой «не вносить новых поправок». В переводе на издательский язык это означает, что редакция, игнорируя автора, «выправила» рукопись сама, и теперь всякая авторская попытка восстановить свой текст будет рассматриваться, как неприемлемая для типографии «новая правка».

Едва бросив взгляд на присланный текст, я сразу обнаружила вмешательство чужой руки: нарушение ритма и прочее редакторское самоуправство. Менее всего было вмешательств цензурных, зато мелких стилистических — множество. Я сверила творение Малюковой со своим текстом, все восстановила, все перепечатала заново и послала

в «Сибирские огни» с требованием: либо публиковать мою повесть по-моему, без всяких перемен, либо не печатать вовсе.

С той минуты, как я начала бороться за публикацию «Софьи Петровны», я завела для описания всех перипетий особую Записную книжку. Вот запись от 16 декабря 62 года: «Сверяла, выявляя «правку», Люша. Потом Таня (Литвинова). Потом я вместе с С. Д. Потом контрольно — Фрида.

Я от этого заболела. От гнусных «стилистических» поправок и от того, что даже друзья не понимают моей боли.

Написала письмо — сдержанное, благодаря Фриде, но бешеное.

«Редакторская работа над стилем» — все та же: вычеркивают местоимения, вычеркивают повторы, истребляют просторечье, рушат ритм, — вообще, это печальная иллюстрация к моей книге «В лаборатории редактора». Но я не для того писала и берегла «Софью Петровну», чтобы напечатать ее в конце концов не в подлинном виде.

Следовало бы мне полететь в Новосибирск, но, во-первых, с сердцем нехорошо, и, во-вторых, ходят слухи, что сюда летит Лаврентьев, главный редактор "Сибирских огней"».

Пока я переписывалась с Малюковой, редактор журнала «Москва» дал мне знать стороной, что моя повесть (в первом чтении) «запала ему в душу», что она «сильнее Солженицына» и он снова просит меня представить ему рукопись; хочет показать ее членам редколлегии. Я представила. Показал он «Софью Петровну» Аркадию Васильеву и Б. С. Евгеньеву. («Добра не жду: оба — волки», записано у меня 4 декабря). И в самом деле: 13 декабря Б. С. Евгеньев объявил мне отказ.

21 декабря

296) *У меня ... после разговора с Лаврентьевым не утихло сердцебиение.* — Виктор Владимирович Лаврентьев (р. 1914) — главный редактор журнала «Сибирские огни». Он прибыл в Москву на «встречу руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства», состоявшуюся в Доме Приемов на Ленинских горах 17 декабря 62 г. Побывав на этой встрече, Лаврентьев сказал моему другу, — тому, кто несколько месяцев назад передал в «Сибирские огни» «Софью Петровну»: в повести «не хватает фона общенародной жизни». Тот дал знать об этой нехватке мне, и я вынуждена была, прервав свое дежурство возле Корнея Ивановича, срочно ехать в город и добиваться встречи с Лаврентьевым. Главный редактор «Сибирских огней» принял меня в гостинице «Москва» 20 декабря 62 г.

Цитирую свою записную книжку: «Двадцать минут я слушала Лаврентьева не перебивая. Фон общенародной жизни, который я должна отобразить, это челюскинцы, папанинцы, новостройки, перевыполнение плана по выплавке чугуна и пр. Моя героиня должна быть увлечена этим фоном, и тогда гибель ее сына «займет», как он выразился, «правильное место в нашей жизни — место роковой случайности, ошибки». Мне очень трудно было слушать не перебивая, но я сдержалась. Ошибка! Потом я взяла слово. Я сказала, что таких, как Коля, были миллионы; что выплавка чугуна, новостройки и челюскинцы — это авансцена под огнями рампы, кулисами же, т. е. истинным

«фоном общенародной жизни» и было то, что изображено в моей повести: миллионы матерей и жен у ворот тюрьмы. Что новостройки мною, впрочем, показаны: Коля с увлечением трудится на новом заводе в Свердловске, но увлеченность не спасает его от гибели. Что Софья Петровна задумана мною как героиня отрицательная: ослепленная огнями рампы, всеми этими челюскинцами и новостройками, она не видит подлинного «фона общенародной жизни»; добрая по природе, она из-за своей ослепленности принимает всех женщин в очереди за жен шпионов и вредителей, хотя мужья их не большие вредители, чем ее сын. Софью Петровну, конечно, жаль, но она слепая курица. «Она у вас несимпатична», — сказал Лаврентьев. «Конечно, — сказала я, — она отравлена ложью газет и радио и потому лишена способности видеть общенародный фон. Но не ее в том вина. А тех, кто ее обманул». Лаврентьев понял, что спор наш зашел слишком далеко и, не отвечая, предложил снять предисловие и дату. «Да ведь дата и указывает на документальность повести! — сказала я. — Если повесть представляет какую-нибудь ценность, то ценность ее — в дате написания». «Неважно, к о г д а вещь написана, — назидательно ответил Лаврентьев, — важно, чтобы она была п р а в д и в а. Подумайте о фоне общенародной жизни».

Мочало начинай сначала. Если человек выключает собственное мышление, то он недоступен доводам, он способен только попугайски повторять циркуляр. Я простилась и ушла, позабыв о Малюковой. Мне ясно, что печатать «Софью» они все равно не станут».

297) Привожу стихотворение Вадима Шефнера полностью:

Невосстановленный дом

Вибрируют балки над темным провалом
И стонут, от ветра дрожа.
Осенние капли летят до подвала
Свободно сквозь три этажа.

Осеннего дождика тусклые иглы
Летят сквозь холодную тьму, —
И те, кого бомба в подвале настигла,
Не снятся уже никому.

Сюда, где печалились и веселились,
Где бились людские сердца,
Деревья, как робкие дети, вселились,
Вошли, не касаясь крыльца.

Подросток-осинка глядит из окошка,
Кивает кому-то во мглу,
И чья-то помятая медная брошка
Лежит на бетонном полу.

(«День Поэзии», Л., 1962, стр. 217).

Вадим Сергеевич Шефнер (р. 1914) — поэт и прозаик; в начале шестидесятых годов он стал соседом Ахматовой по писательскому до-

му в Ленинграде (на ул. Ленина, 34), бывал у нее и читал ей свои стихи. К 1962 г. в свет вышли уже несколько сборников В. Шефнера: «Нежданный день» (Л., 1958); «Стихи» (М.-Л., 1960), «Знаки земли» (Л., 1961) и др.

О Шефнере см. также примеч. 273).

298) 12 декабря 1962 г. на Сессии Верховного Совета СССР, Хрущев, в докладе о международном положении (см. «Правда», 13 декабря), заявил, что «партия подвергла решительной и острой критике ошибки и злоупотребления Сталина, хотя она и не отрицает его заслуги перед партией и коммунистическим движением».

Через несколько дней, 17 декабря 1962 года, состоялась «встреча руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства». Главному издевательству на этой встрече продолжало подвергаться искусство изобразительное: в Дом Приемов была привезена с выставки в Манеже неугодная властям скульптура и живопись. Но в докладе секретаря ЦК КПСС Ильичева слышались уже угрозы и по адресу литературы. В основном Ильичев говорил о «лишенной всякого здравого смысла абстракционистской мазне», представляющей собою «патологические выверты, жалкое подражание растленному формалистическому искусству буржуазного Запада». Но затем, отдав должное правдивости повести Солженицына, докладчик продолжал:

«Дело в том, чтобы, смело разоблачая то, что мешает нам, не ударять по самому советскому обществу. Мы должны различать жизнеутверждающие произведения острой критической направленности, которые поднимают и вдохновляют людей на борьбу с недостатками, от произведений упадочнических, паникерских, очернительских, которые сеют неверие в советское общество, ослабляют силы и энергию народа в борьбе за коммунизм».

И далее:

«Нельзя допустить, чтобы под видом борьбы с культом личности расшатывали и ослабляли социалистическое общество, социалистическую культуру. Разоблачение культа личности, преодоление его последствий должно не ослаблять, а укреплять наши силы. Если мы под видом критики последствий культа личности будем бить по нашему обществу, нашей идеологии, мы не создадим великое искусство коммунизма, а растеряем то, что приобрели».

На этой встрече присутствовал и Солженицын. В своих «Очерках литературной жизни» («Бодался теленок с дубом»), на стр. 72, он пишет:

«На той первой кремлевской встрече меня еще превозносили, подставляли под аплодисменты и объективы — но на «Иване Денисовиче» и выпустил последний вздох весь порыв XXII съезда. Поднималась уже общая контратака сталинистов, которую недальновидный Хрущев с благодушием поддерживал. От него мы услышали, что печать — дальнобойное оружие и должно быть проверено партией; что он — не сторонник правила «живи и жить давай другим»; что идеологическое сосуществование — это моральная грязь; и борьба не терпит компромиссов».

299) Ольга Берггольц. Стихи. М., «Художественная литература», 1962. В этой книжке действительно перепечатаны все три стихотворные послания на Каму.

300) ... *обсуждалась повесть Солженицына.* — Обсуждение, состоявшееся в Союзе Писателей на совместном собрании секции прозы и критики в 20-х числах декабря 62 г., дало повод О. Берггольц заговорить о сталинщине. Привожу отрывки из ее выступления (на основе записи Р. Д. Орловой):

«Наш разговор перехлестывает вопросы критических дискуссий, — сказала она, — выходит за пределы литературоведения. Это разговор о нашей жизни. О том, что происходило и происходит. Повесть Солженицына представляет собою ценность не только как выстраданный и пережитый материал, но и как художественное произведение. У Солженицына и матерщина — явление литературное. «Один день» это начало чего-то очень большого.

«Почему обо всем не сказал прямо?» — вот упрек Солженицыну. Мне нравятся эти максималисты. Вчера они «не знали ничего»; сегодня же, видите ли, Солженицын дал им слишком мало! Между тем, сделанная его повестью пробоина невероятно велика. Заслуга принадлежит также и Твардовскому и тем органам, которые разрешили напечатать повесть — это показывает их большой литературный вкус.

Скажу так: у нас спутались все категории и уже давно. Хохот мы принимали за оптимизм. А между тем, самая пессимистическая вещь на свете — «Ревизор» Гоголя... У нас огромность темы и огромность сооружения противопоставляли мелкотемью. А на самом деле сохранить человеческий облик и достоинство — вот это и был героизм. Я хочу рассказать вставную новеллу. Поехала я на Волго-Дон. Говорили о реалистической скульптуре Вучетича. Если же вдуматься, это и есть самый настоящий абстракционизм. Ничего в жизни не соответствовало этим размерам. Одну фуражечку на двух платформах везли.

Буду говорить лирически. Я сидела в тюрьме за десятикратное покушение на товарища Сталина. У меня там умер ребенок. Когда я впервые вступила в камеру, я была уверена: я-то здесь на два дня, а остальные — «враги народа»...»

301) Вечер памяти Марины Цветаевой состоялся в ЦДЛ 26 декабря 1962 года. Председательствовал Илья Эренбург, выступали (кроме него) П. Антокольский, Евг. Винокуров, М. Ваксмахер, Д. Самойлов и Белла Ахмадулина. Не знаю, как в стенограмме, а по записи Р. Д. Орловой речь Ахмадулиной представляется несколько сентиментальной, претенциозной и перегруженной красивостями:

«Странная и прекрасная судьба русской литературы, которая изменяется в своем масштабе. От величия она становится ж а л о с т н о б л и з к о й. Так становится б е з у м н о ж а л к о Пушкина, как будто бы он мое дитя». «Кроме того, что Марина Цветаева — большое явление в русской культуре, она д и т я, в с е м н а м д и т я, н е в е р о я т н о у я з в и м о е». «Она никогда не слукавила, она осталась для меня в н е в е р о я т н о й странной близости». «Цве-

таева — тело открытое бедам; нежное облако защиты должно было бы сгуститься над нею».

302) См. статью: «1831-1863» (Герцен, Собр. соч., т. XVII, стр. 92).

303) См. «Концы и начала». Письмо второе — Герцен. Собр. соч., т. XVI, стр. 147.

304) См. статью «1831-1863», Герцен, Собр. соч., т. XVII, стр. 97.

305) См. «Концы и начала». Письмо второе — Герцен, Собр. соч., т. XVI, стр. 174.

306) См. «Руфим Пиотровский». Герцен. Собр. соч., т. XVI, стр. 111-112.

⁂

СОДЕРЖАНИЕ

Achevé d'Imprimer sur la Presse de l'Imprimerie Ukrainienne
en Septembre 1980 - 3, rue du Sabot - Paris VI